

Роберт Скидальски

Джон Мейнард Кейнс
1883—1946

экономист • философ • государственный деятель





**Московская школа
политических
исследований**



Роберт Скенгельски

Роберт Скидельски

Джон Мейнард Кейнс
1883—1946

экономист • философ • государственный деятель

Книга 1

Перевод с английского
Демида Васильева



Московская школа
политических исследований

Москва 2005

Культура Политика Философия

Серия основана в 2000 году Московской школой политических исследований и издается под общей редакцией Ю.П. Сенокосова

Скидельски Р.

С 42 Джон Мейнард Кейнс. 1883–1946. Экономист, философ, государственный деятель. В 2-х книгах. Пер. с англ. яз. (Robert Skidelsky. John Maynard Keynes. 1883–1946. Economist, Philosopher, Statesman. — Macmillan. 2003.) — М.: Московская школа политических исследований, 2005. — Кн. 1, 784 с., илл.

Это первая на русском языке масштабная биография выдающегося английского экономиста XX века, разработавшего макроэкономические принципы регулирования капиталистической экономики, которые известны как «кейнсианство». В своей доктрине, совершившей в годы Великой депрессии (1929–1933 гг.) переворот в «классической» экономической теории, Кейнс установил количественные закономерности в соотношении макроэкономических величин, принципы и допустимые пределы государственного регулирования рыночных процессов. При этом экономический рост Кейнс видел в неразрывной связи с решением нравственной задачи — повышением благосостояния большинства населения.

Биография Кейнса, за которую Роберту Скидельски был пожалован титул пэра, сочетает жанры основательного научного исследования и увлекательного многопланового романа, где около пятисот действующих лиц. Значительное место автор отводит личной жизни Кейнса, счастливым годам брака с русской балериной Лидией Лонуховой, связям ученого с Россией.

Первая книга охватывает период жизни Дж.М. Кейнса с 1883 по 1931 г., вторая — с 1931 по 1946 г.

ББК 65.02(Вел)

*Издание осуществлено при поддержке
посольства Великобритании в России*

© Скидельски Р., 2003

© Иван Демидов, перевод, 2005

© Московская школа политических исследований, 2005

Посвящается моей семье

Предисловие к русскому изданию

Притом что Джон Мейнард Кейнс был английским экономистом, предлагавшим, как писал Шумпетер, «прежде всего английские советы для решения именно английских проблем, даже когда эти советы адресовались другим странам», его теории привлекли всеобщее внимание, потому что они появились как раз во время экономического краха, завершившегося Великой депрессией 1929–33 годов. Его выдающееся произведение '*Общая теория занятости, процента и денег*' (1936) очевидным образом выдержано в понятиях отвлеченных, имеющих всеобщее значение. Это была попытка объяснить то, что марксисты, тогда и позже, называли «общим кризисом капитализма».

Уже это, как мне представляется, могло бы пробудить интерес к Кейнсу у российского читателя. *Общая теория* явилась первым немарксистским, и по существу антимарксистским, объяснением кризиса капитализма. Хотя исходная для Маркса трудовая теория стоимости была еще в XIX столетии отвергнута теоретиками предельной общественной полезности, их методология равновесия лишила экономическую теорию способности объяснить такое явление, как упорно сохраняющаяся массовая безработица. Для объяснения экономического краха межвоенных лет западные социалисты приспособили марксову теорию эксплуатации труда. Массовая безработица, утверждали они, стала прямым следствием нера-

венства классовых сил и, соответственно, неравного распределения между классами национального дохода. Пролетариату, дескать, не хватало «покупательной способности» для приобретения товаров, которые может производить современная индустриальная система; отсюда бедность и безработица. Эти проблемы исчезли бы при более равномерном распределении. Но такое возможно только при социализме.

Кейнс порвал со всем набором и логикой этих представлений. Безработицу порождает «недостаток эффективного спроса». Такова действительно проблема капитализма, но это не проблема распределения. В децентрализованной капиталистической экономике, утверждал Кейнс, уровень занятости зависит исключительно от готовности деловых людей инвестировать капитал. Если атмосфера доверия в деловом мире подорвана, бизнесмены могут счесть за лучшее воздержаться от инвестирования капитала и отдать предпочтение хранению своих средств в наличных деньгах (или перевести их за границу). Это ведет к падению доходов и снижению уровня занятости. Кейнс показал, что в течение долгого времени экономика может пребывать в состоянии «равновесия при неполной занятости».

Общая теория Кейнса опрокинула марксистское объяснение безработицы; но, показав возможность длительного увязания экономики в трясине «равновесия при неполной занятости», она также отвергла установку на *laissez-faire*^λ. Она отвела важную экономическую роль государству в обеспечении дополнительных инвестиций, которых не приходится ждать от пессимистически настроенного делового мира и которые самым очевидным образом можно получить за счет бюджетного дефицита. В более об-

^λ Попустительство, невмешательство, пассивная позиция (франц.). Речь в данном случае идет о позиции государства по отношению к экономике. Здесь и далее значком *лямбда* отмечены примечания переводчика, звездочкой — примечания автора. Арабские цифры отсылают к авторским примечаниям по главам (весь справочный материал помещен в конце 2-й книги).

щем плане государству следует «управлять» экономикой с тем, чтобы предотвращать несоответствия, возникающие между совокупным спросом и совокупным предложением. В 1941 году, предлагая учредить всемирный центральный банк, Кейнс предусматривал такого рода «управление» для всей мировой экономики.

В Советском Союзе *общую теорию* оставили без внимания потому, несомненно, что проблема, которой она занималась — массовая безработица, — не имела, как казалось, никакого значения для централизованно планируемой экономики. Впервые обстоятельно рассказал о пей И.Г. Блюмин только в 1946 году. Это была критика, но выполненная в научных рамках. К 1948 году, когда появился первый (подчищенный) русский перевод, уже грянула «холодная война» и в 1952 году тот же Блюмин называл Кейнса бессовестным интриганом, злейшим врагом рабочего класса и трудящихся масс, «приспешником современного империализма». Даже и без «холодной войны» теории Кейнса бросали серьезнейший интеллектуально-политический вызов советской системе. Ибо, по сути, дела Кейнс отрицал неизбежность социализма в виде централизованно планируемой и управляемой коммунистами экономики. Он доказывал, что капитализм при некотором содействии государства способен преодолевать свои «кризисы». Так именно и повернулось дело после Второй мировой войны. Запад упивался благами «золотого века», к которому он пришел, вдохновляясь кейнсианскими рецептами, тогда как в Советском Союзе уровень и качество жизни оставались без изменений. О Марксе Кейнс отзывался язвительно. В 1935 году, прочитав переписку Маркса с Энгельсом, он писал Бернарду Шоу: «Вижу, что они изобрели некий метод развития своих мыслей и мерзкую манеру письма; их последователи преданно сохраняют и то и другое. Но когда вы говорите мне, что они нашли ключ к экономической загадке, я развожу руками, ибо обнаруживаю только отгремевшие в прошлом споры».

Другим связующим звеном между Кейнсом и Россией была его женитьба на русской балерине Лидии Лопу-

ховой. Никогда бы не состояться этому браку, не будь Кейнс пожизненно влюблен в балет. С Лидией он впервые встретился в октябре 1918 года, когда Дягилев снова привез свои *Русские балеты* на первый послевоенный сезон в Лондоне. Кейнс влюбился в Лидию в 1921 году, когда она танцевала в дягилевской постановке *‘Спящей красавицы’* Чайковского в лондонском театре *Альгамбра*. Они поженились в 1925 году, как только она получила развод от своего первого мужа Рандолфо Баррокки. Их брак был в высшей степени счастливым. (Лидия Кейнса пережила и умерла только в 1981 году.) Внимание к новообретенной родне трижды приводило Кейнса в Россию — в 1925, 1928 и 1936 году, а благодаря связям Лидии с ее ленинградскими родственниками и общению с русскими эмигрантами в Лондоне Кейнс постоянно получал из первых рук информацию о разворачивавшемся сталинском терроре.

Несмотря на свое неизменно презрительное отношение к советскому коммунизму как экономической системе, первоначально (в 1925 году) Кейнс усматривал в нем привлекательную «новую религию». Ибо была объявлена преступной погоня за личным обогащением, осуждаемая всеми главными религиями. Однако это легкое увлечение быстро развеялось, едва он осознал, что советская власть больше заботится об успехе своего эксперимента, чем о налаживании реальной жизни. Его приводили в ужас сталинские чистки 1930-х годов, пугало умерщвление интеллектуальной жизни в СССР. Но публично о советских делах он всегда высказывался с осторожностью, чтобы уберечь от неприятностей родственников Лидии. Он полагал — и в этом не ошибался, — что у советской системы есть встроенный в нее запас устойчивости, который позволит ей выживать на низком уровне эффективности.

На первый взгляд кейнсианская теория экономики мало что может предложить послекоммунистической России. Создавалась она с целью выработать экономическую политику для развитой страны, имеющей зрелую промышленную и финансовую систему. Так я и сам счи-

тал в середине 1990-х годов, подвергая критике то, что я назвал «кейнсианским коммунизмом» — программы деятелей, подобных Сергею Глазьеву. Кейнсианство — это в сущности теория занятости на краткосрочную перспективу. Она берет определенную индустриальную структуру как данность и устремлена лишь на обеспечение достаточного реального спроса на производимую продукцию. Как представлялось, в ней едва ли может быть какой-либо смысл, когда миллионы людей заняты на малопроизводительной работе. В таких условиях кейнсианское «расширение спроса» означало бы не более чем вливание денег в отрасли, не рассчитывающие, что их изделия будут продаваться на мировых рынках. Единственным в таком случае способом избежать инфляции стало бы возрождение советских методов управления заработной платой, ценами и импортом. Очевидно, что такая перспектива была бы крайне непривлекательной для общества, которое стремится уйти от коммунизма. С другой стороны, кейнсианская политика предполагает наличие компетентного и не зараженного коррупцией, а значит, заслуживающего доверия государства. Ни одной из этих предпосылок кейнсианства в послекоммунистической России не было.

Сегодня я не столь в этом уверен. Если правительство в достаточной мере компетентно — это важное условие, — кейнсианская политика может способствовать структурным преобразованиям, обеспечивая временные рабочие места в проектах инфраструктуры — на «общественных работах», как принято было их называть. Таков именно был первоначальный контекст, в котором в 1920-е годы в Англии появились идеи Кейнса. Первая мировая война подкосила традиционные экспортные отрасли британской промышленности — угольную, текстильную, судостроение, тяжелое машиностроение. Создавались новые производства потребительских товаров. Но в традиционных секторах сохранялись обширные очаги застойной безработицы. В 1929 году лидер британских либералов Ллойд Джордж пообещал «победить безработицу» с помощью чрезвычай-

ной программы строительства автомобильных и железных дорог, жилых домов, развития телефонной сети и электрификации. Деньги имелось в виду получить за счет займов. Основным автором этой программы был Кейнс. Он доказывал, что множественные эффекты этих дополнительных государственных расходов ускорят рост новых отраслей промышленности, который со временем поглотит рабочую силу, вытесненную из пришедших в упадок секторов. Эта рекомендованная им политика так и не была принята, но она и сейчас может оказаться весьма кстати в экономических условиях страны, в которой совокупный спрос урезан свертыванием традиционных производств.

В начале 1990-х годов казалось, что кейнсианство отправлено в могилу *Вашингтонским консенсусом*¹. Но множество последовавших затем событий поставили под вопрос состоятельность тогдашних упрощенных представлений. Сошлюсь хотя бы на длительную стагнацию в Японии и Германии, на финансовый крах 1997–98 года, на крушение Уолл-стрита в 2001 году. Ни одно из этих событий не означало «общего кризиса капитализма». Но каждое из них указывает на неудовлетворительную работу и неустойчивость системы, о чем у Кейнса нашлось бы, конечно, что сказать.

Три конкретных момента в доктринах Кейнса представляются особо заслуживающими внимания в нынешних условиях. Во-первых, он никогда не был горячим поборником невмешательства государства в экономическую жизнь. Он считал, что без внутренней политики, направленной на обеспечение полной занятости, страна вынуждена будет чрезмерно полагаться на экспорт как

¹ Общая система экономических взглядов либерально-рыночного толка, которая к концу 1980-х годов утвердилась в международных организациях развития со штаб-квартирами в Вашингтоне (в том числе в Мировом банке реконструкции и развития). Она стала основой рекомендаций странам (первоначально латиноамериканским), ищущим внешней помощи для преодоления отсталости своей экономики, ее модернизации и развития.

ведущую силу экономического роста, что в качестве обратной реакции повлечет за собой переход к протекционизму. «Великую сдержанность», писал он, необходимо проявлять в отношении экономической интеграции. Это предупреждение прямо касается нынешнего натиска глобализации.

Во-вторых, он полагал, что деловая жизнь всегда и обязательно находится во власти неопределенности. Деловые решения принимаются в соответствии с долгосрочными ожиданиями. Но «не существует никакого научного способа» произвести какие-либо расчеты вероятностей в обоснование этих ожиданий. Стало быть, финансовая неустойчивость всегда, по-видимому, будет присуща капиталистической рыночной системе, и против нее все еще необходимо иметь средства защиты.

Наконец, не получил еще удовлетворительного решения вопрос обменных валютных курсов. Кейнс верил в необходимость фиксированных ставок, изменяемых применительно к ситуации по соглашению заинтересованных сторон. На его глазах бушевали валютные войны 1920-х и 1930-х годов, он видел, как валютными курсами манипулировали ради получения конкурентных преимуществ. Сегодня экономисты почти единодушно отстаивают плавающие обменные курсы, исходя из того, что это способствует интеграции рынков капитала. Но Кейнса опыт приводил к выводу, что, помимо порождаемой таким образом финансовой нестабильности, всякое «плавание» непременно происходит в «грязных» водах. Он отвергал политику намеренного занижения страной курса своей валюты с целью подстегнуть экономический рост посредством усиленного развития экспорта. В безграничном накоплении резервов он увидел бы своего рода «накопление сокровищ», подавляющее общую экономическую активность. Он никогда не устал говорить, что резервы предназначаются для того, чтобы их расходовать. На это он нацеливал свой *Международный клиринговый союз* и сегодня вполне мог бы выступить с предложением о чем-то подобном.

Как я пишу в конце этой книги, наследие Кейнса будет живо, пока мир не может обходиться без того, что завещано его мыслью. Однако биография Кейнса непременно должна выходить за рамки изложения его экономических теорий. Лидия Лопухова, его жена, говорила на своем русифицированном английском языке, что он был «больше экономиста». Он внес вклад во многие отрасли знаний, в частности в философию, и во всех оставил след; его близкое знакомство с множеством научных дисциплин в свою очередь также отразилось на его подходах к теории и к проблемам экономики. Хотя экономисты стремятся «творить добро», немногие из них всерьез принимают этику. Они исходят просто из того, что всякое материальное улучшение жизни людей есть для них добро. А Кейнс упорно доказывал, что экономический рост может быть оправдан лишь в той степени, в какой он делает людей лучше с нравственной точки зрения. До какого-то момента экономика и мораль шагают в ногу. Но по достижении определенного уровня дохода их пути расходятся. Кейнс разделил бы с Солженицыным ужас перед необузданным меркантилизмом сегодняшнего Запада, где культура и духовные ценности приносятся в жертву «любви к деньгам».

В философии Кейнс был интуитивистом. Иными словами, он считал, что, независимо от нашего опыта, нам непосредственно и заранее дана способность различать добро и зло, правду и неправду, правильное и неправильное действие. В этом смысле он был больше кантианцем, чем приверженцем утилитаризма. Об Исааке Ньютоне он писал, что «мускулы его интуиции были самыми сильными и выносливыми, какими когда-либо был одарен человек». Почти то же можно сказать о самом Кейнсе. Его друг Освальд Фолк задавался вопросом: действительно ли у него был ум «столь типично западного склада, как это представляется на первый взгляд»? Он приходил к выводу, что аналитическая работа была скорее «внешним украшением», чем материалом его «умственной ткани», которая больше подошла бы художнику, чем ученому.

Как личность Кейнс представлял собой восхитительное сочетание эстета и управляющего. Его вкусы и предпочтения имели эстетическую природу; в его лучших сочинениях по экономической теории присутствует дыхание поэзии; но эти всполохи строго подчинены заботе о сохранении оказавшегося под угрозой общественного порядка. Не раз и не два он выражал готовность жертвовать тем, что считал истиной, ради того, что было, по его мнению, достижимым, ибо остро сознавал, что «цивилизация являет собой тонкую и хрупкую корку, созданную личностью и волей немногих, и поддерживается только правилами и соглашениями, умело объясняемыми и хитро сохраняемыми». И наконец, он по-прежнему требует нашего внимания потому, что сам был одним из этих «немногих», кто посвятил свою жизнь и мысль сохранению «тонкой и хрупкой корки» цивилизации.

Роберт Скидельски
26 марта 2005 года

Введение

I

Выход в свет этой сокращенной версии биографии Джона Мейнарда Кейнса был задержан моей работой над ранее изданным его же трехтомным жизнеописанием. Представляю дело именно таким образом потому, что контракт, заключенный в начале 1970 г. с издательством *Макмиллан*, обязывал меня написать биографию Кейнса и представить рукопись объемом в 150 тысяч слов «не позднее 31 декабря 1972 г.».

Тогда это выглядело разумно. Я много размышлял о Кейнсе, полагая посвятить ему заключительный том намеченной трилогии, которую открывала моя книга *‘Политики и кризис’*, изданная *Макмилланом* в 1967 году. Там я разбирал действия лейбористского правительства Британии во время Великой депрессии 1929–31 гг.; это была сокращенная версия моей магистерской диссертации в Оксфорде. Вопрос, на который я пытался ответить, состоял в следующем: почему правительство лейбористов отвергло «новый курс», предложенный для борьбы с массовой безработицей одним из его собственных министров, Освальдом Мосли, и одним из его экономических советников, Джоном Мейнардом Кейнсом? Мою «трилогию», как я себе представлял, быстро замкнут две книги, посвященные этим экономистам-радикалам, отвергнутым, как повествовалось в первой книге, стоявшими у власти лейбористами.

Один из них, Мосли, стал впоследствии фашистом, другой, Кейнс, совершил переворот в экономической теории и политике. О Мосли никогда не было написано ни одной приличной книги; официальная же биография Кейнса, принадлежавшая перу Роя Хэррода появилась двадцатью годами раньше, и ее содержание соответствовало обстоятельствам того времени. Книгу о Мосли я написал быстро, и скоро она вышла в свет. На Кейнса же у меня ушло тридцать лет, и дело кончилось изданием его биографии в трех томах.

Что сказать в оправдание столь непомерной задержки? Первое объяснение знакомо большинству биографов: проблемы доступа к документам. Хотя сэр Джеффри Кейнс, брат покойного экономиста, позволил мне знакомиться с личными бумагами Кейнса, хранящимися в Королевском колледже в Кембридже, экономист Ричард Кан, держатель прав на издание экономических сочинений Кейнса, находившихся тогда в университетской библиотеке им. Маршалла, не пускал меня в свою сокровищницу. Почему? Дон Моггридж, исследователь, работавший под его руководством, вел редакционную подготовку предпринятого *Королевским экономическим обществом* собрания сочинений великого человека, которое, по случайному совпадению, должно было выпустить в свет одно из отделений *Макмиллана*, то есть именно моего издательства, и ни в коем случае нельзя было задерживать осуществление этого плана. Не кто иной, как сам Гарольд Макмиллан, бывший премьер-министр, выступил ходатаем в мою пользу, но тщетно. Письмо лорда Кана в издательство *Макмиллан* от 9 февраля 1970 г. заканчивалось словами: «К сожалению, поскольку это касается доступа к экономическим документам, для издания еще одной биографии время выбрано неудачно». Моггридж пытался меня ободрить: он не собирается тянуть с завершением работы, и вскоре я смогу, мол, прочитать интересующие меня документы в публикуемом *‘Собрании сочинений’*. «Будьте уверены, — писал он мне 28 июля 1970 г. — что я не буду растягивать эту работу на всю

мою оставшуюся жизнь или хотя бы на полдесятилетия». Двенадцать лет спустя том за томом еще продолжали выходить из печати; последний появился в 1989 году. Собственная же книга Моггриджа, его однотомная биография Кейнса, увидела свет только в 1992 году.

Договор с *Макмилланом* оставался в силе, но срок сдачи рукописи по молчаливому согласию сторон был отодвинут. Расстроенный состоянием дел с Кейнсом, я решил поработать университетским преподавателем в Соединенных Штатах и там завершил биографию Освальда Мосли.

Тут меня и подстерегла то ли беда, то ли удача. Из-за шумихи, поднявшейся вокруг книги о Мосли (*Макмиллан* издал ее в 1975 г.), мне не досталось постоянное место в Школе углубленных исследований международных проблем Университета Джона Гопкинса в Вашингтоне. Так что нам с женой пришлось возвращаться в Англию — через Болонью, где мы провели чудесный год. Убежден, что, останься я в Соединенных Штатах, полномасштабной биографии Мейнарда Кейнса мне никогда бы не написать. По возвращении в Англию работа над Кейнсом возобновилась. Я рассчитывал опираться для начала на его личные бумаги и на немногие материалы, опубликованные в уже вышедших томах '*Собрания сочинений*', сохраняя при этом надежду, что ко времени, когда я покончу с ранним Кейнсом, для меня станут доступными и материалы последующих периодов его жизни. В мыслях я все еще не выходил за рамки однотомного издания.

С тем я и приступил в 1976 г. к серьезным занятиям в Кембридже. Я делал выписки в Королевском колледже и университетской библиотеке (никакие фотокопии тогда не позволялись, надо было обходиться карандашами) и знакомился с родственниками и друзьями Кейнса, такими как Дэди Райлэндс и Гарри Линтотт, с его бывшими коллегами — в их числе с Джоан и Остином Робинсонами, с Ричардом Каном. В 1977 г. мы с женой и двумя нашими малышами провели первый год (из многих следовавших) в уютном, безалаберном доме Никки и Клариссы Калдо-

ров, что стоит под номером 2 на Адамс-роуд. Никки в молодости также работал с Кейнсом и любил толковать об экономической теории — или, скорее, разъяснять ее собеседнику. В то время он считал необходимым спасти мир от зол «монетаризма» и мог распространяться на эту тему часами без перерыва. Я задавал вопросы, которые он, вероятно, списывал на мое невежество или профессиональную некомпетентность либо сразу и на то, и на другое, но они давали ему новые поводы дубасить Милтона Фридмана и прочих экономистов-«неоклассиков», равно как и приверженцев свободной торговли. Никки страдал нарколепсией и нередко засыпал на полуслове, а пробудившись через десять-пятнадцать минут, возобновлял свою лекцию точно с того места, на котором она прервалась. Это был замечательный преподаватель и друг, и меня многому научили его назидательные беседы, хотя я сильно подозревал, что в битве с силами тьмы он обречен на поражение.

Для составителя биографии главной личностью (после самого героя жизнеописания) является опекун памяти Великого человека — «вдова», по определению Вирджинии Вульф. В моем случае двумя *вдовами* были Джеффри Кейнс и Ричард Кан. (Настоящая вдова Кейнса, балерина Лидия Лопухова, не унаследовала ни одной из его бумаг). В конце 1940-х гг. сэр Джеффри уполномочил Роя Хэррода написать «официальную» биографию своего брата, и хотя он разрешил мне знакомиться с личными бумагами Кейнса в Королевском колледже, никакой необходимости в еще одном жизнеописании Кейнса не видел. Ему было далеко за восемьдесят, когда я начал мое исследование, и ничто не говорило о возможности смягчения его вошедшего в легенду крутого нрава.

Чтобы завоевать доверие сэра Джеффри, потребовалось несколько лет. Надо было преодолеть два главных препятствия. Первое состояло в том, что всякое упоминание о брате бредило слишком много чувствительных семейных ран. При всей своей заслуженной известности врача и библиофила, Джеффри страдал от сознания собственной вто-

росортности рядом с Мейнардом. Его также приводили в раздражение воспоминания о том, что даже родители из двух сыновей отдавали предпочтение Мейнард. Начав свои исследования, я взял за правило посылать ему статьи, которые писал о его брате, и однажды он мне сказал, что читать их ему «очень больно». Я не проявил должного такта и расценил это вскользь брошенное замечание как приглашение уточнить высказанные суждения. Но Джефффри свое слово сказал и настроился против меня. Он был близок к тому, чтобы лишить меня доступа к бумагам, так что пришлось налаживать наши отношения заново.

Другой проблемой был гомосексуализм Мейнарда Кейнса. Джефффри как-то спросил, зачем я об этом пишу — не с единственной ли целью оповестить мир, что его брат был педиком? Я ответил, что мир об этом уже осведомлен — после выхода в 1967–68 гг. написанной Майклом Холройдом двухтомной биографии Литтона Стрэчи. Я же стремился представить частную жизнь Кейнса в огранке его общественных достижений. Джефффри этим не удовлетворился. Раздражало то, что в печати, всякий раз как она выдавала мне похвалы, отмечалось, что, мол, интерес у большинства читателей вызывала именно эта сторона жизни Кейнса. Алан Уоткинс напечатал в *'Обсервере'* (*'Observer'* — 30 апреля 1978 г.) глупую статью, в которой утверждал, что я подрядился описать жизнь Кейнса «на простынях». Тем самым подтверждались худшие опасения Джефффри.

Постепенно все улеглось, и ко времени его кончины в 1982 г. наши отношения были лучше некуда. Путь к сердцу Джефффри пролегал через его библиотеку. Он был обладателем одного из выдающихся частных собраний антикварных книг, и после моего первого посещения его дома, Ламмас-хауса близ Кембриджа, мы неизменно проводили некоторое время, погружаясь в просмотр фолиантов. (Одним из особо им ценимых было первое издание эссе Фрэнсиса Бэкона с введением Уильяма Блэйка.) Повествуя историю каждой почтенной книги, рассказывая, как она к нему попала, суровый старик смягчался, и его лицо начинало

светиться очаровательной улыбкой. В такие моменты казалось, что он был почти готов примириться с надвигавшимися болезненными разоблачениями.

Однажды летним вечером его внук Саймон привез деда к нам на ужин в дом на Адамс-роуд. Я запомнил Джеффри выпрыгивающим из низко сидящего спортивного автомобиля Саймона. Вероятно, ему тогда было девяносто три. Его старческий облик нагонял страх на наших мальчиков. Впоследствии, в течение нескольких лет, всякий раз как попадался человек преклонного возраста, Уильям, наш младший, неизменно спрашивал: «он что, такой же старый, как сэр Джеффри Кейнс?»

Хранителем экономических тетрадей был Ричард Кан, «любимый ученик» Кейнса, который помогал ему в работе над *‘Общей теорией’* и который жил в Королевском колледже — тоже очень старый, хотя и не столь старый, как Джеффри, правда, в отличие от него, едва ли не совсем глухой. Лицо его было багровым, а густые бакенбарды росли прямо из ушей, но из всех мыслимых улыбок его была самой милой. Теперь, когда я больше не приставал к нему насчет «его» бумаг, он стал очень дружелюбным. Правда, которая тогда была мне неведома, состояла в том, что ему никогда не нравилась биография Кейнса, написанная Роем Хэрродом.

Но были у него и свои чудаческие слабости. При каждом моем появлении в Королевском колледже он тепло принимал меня в профессорской и просил заехать еще «для обстоятельного разговора». «Только, — бормотал он, — обязательно позвоните, чтобы договориться о встрече».

Как-то утром я ему позвонил. Голос на том конце провода произнес: «Ричард Кан». Я назвал себя. Раздались пронзительные свистящие звуки, означавшие, что он включает свой слуховой аппарат, затем последовал шелест перевертываемых страниц (он явно листал ежедневник и уточнял свое расписание), и наконец время встречи было назначено. Все вроде бы устраивалось очень просто, и я сказал Никки Калдору, что увижусь с Каном через два дня. Никки

встретил это сообщение громовым хохотом. «О нет, этого не будет. Вот увидите». В назначенный день утром раздался телефонный звонок: «Это Ричард Кан. Я ужасно сожалею, но оказалось, что мне сегодня предстоит важная встреча. Не могли бы вы приехать в то же время на следующей неделе?» Это повторялось на протяжении всего лета, так что я покинул Кембридж без «обстоятельного разговора».

Когда на следующий год я приехал в Кембридж для продолжения моих занятий, я столкнулся с Ричардом у входа в библиотеку Королевского колледжа. «Похоже, вы меня избегаете», — сказал он. В конце концов наша беседа состоялась. Был серый зимний день, Ричард угощал меня чаем в своем кабинете над библиотекой Королевского колледжа. Его стол был завален огромными кипами пожелтевших бумаг, среди которых, без сомнения, можно было бы найти несколько моих писем. Мне был предложен стул на некотором расстоянии от хозяина, что вовсе не облегчало нашу беседу. Поскольку дело шло к вечеру, свет за окном почти исчез, но Ричард и не подумал подойти к выключателю. И вот мы сидели друг против друга едва ли не в полной темноте. Я должен был кричать (несколько раз), задавая таким образом свои вопросы, и ждать, когда же из мрака явится ко мне ответ-призрак.

К 1981 г. я был готов сесть и приступить к написанию книги. У нас был дом в Ла Гард-Френе на юге Франции, куда мы и перебрались всем семейством, сопровождаемые огромной грудой книг. Первого сентября 1981 г. я написал два открывшие книгу предложения: «Джон Мейнард Кейнс был не только человеком сложившихся общественных групп; но и входил в элиту каждой группы, к которой принадлежал. Едва ли в жизни Джона Мейнарда Кейнса бывали времена, когда бы он не смотрел сверху вниз на других жителей Англии, да и большей части остального мира, причем с огромной высоты.

Ла Гард-Френе, расположенную на возвышенности и обдуваемую ветрами провансальскую деревушку, ни в коем случае нельзя было считать лишенной интеллекту-

альных ресурсов. Кристофер Толкиен (сын Дж. Р. Толкиена¹) с женой Бэйлли бежали туда из оксфордского мира английских литераторов. Экономист Иан Литтл и его жена Добс, мужественно, но безуспешно боровшаяся тогда со злокачественной опухолью, занимали дом сразу за деревенской околицей. Никки Калдор проводил там отпуск. Эти два экономиста были далеки от согласия, даже в теоретических вопросах. Более того, однажды, именно вслушиваясь в их рассуждения за завтраком у леди Джейн Хитон, я вдруг ясно представил себе, что экономическая теория есть не что иное, как форма послехристианского богословия, а экономисты суть священнослужители враждующих сект. Леди Джейн жила с некоторым подобием торжественной роскоши в переоборудованной часовне посреди деревни. В бывшем склепе, за длинным столом, расположившись по обе стороны от хозяйки, Калдор и Литтл разыгрывали партию высококлассного интеллектуального тенниса. Никки подавал и принимал мячи с великой яростью, но удары Иана, как мне показалось, были очень хороши. Предметом спора было: вытекает ли из теории сравнительных преимуществ Рикардо, что расширение масштабов экономики непременно несет с собой дополнительные выгоды? Да, гремел Калдор; нет, возражал Литтл. Леди Джейн председательствовала с очаровательным, но ледяным выражением лица, подливая им по очереди вкусный суп из большой глубокой миски.

Проглядывая свою переписку того времени, поражаюсь, что в апреле 1982 г. я все еще думал об однотомнике и имел в виду выпустить его в 1983-м. Лишь 21 ноября 1982 г. я обрушил на моего литагента Майкла Сиссонса плохую новость: выйти в 1983 г. книга может, но это будет только первый том из вырисовывающихся двух. Причина, объяснил я, в том, что «постоянно появляется слишком много новых материалов, которые требуют освоения, а не-

¹ То есть английского писателя южноафриканского происхождения Джона Роналда Ройла Толкиена, автора *'Хоббита'* и *'Властелина колец'*.

редко и переделки уже написанного». Хотя со сроками я всегда обращался весьма вольно, на сей раз это была правда. Выяснилось, что «экономические бумаги», к которым я наконец получил доступ той осенью, включали в себя массу неопубликованных философских рукописей, вообще не тронутых никакой подготовкой к изданию. Не кто иной, как молодой австралийский экономист Род О'Доннелл, сообщил мне об их существовании. Первое же знакомство с ними заставило меня переписать (в большой спешке) основополагающую главу первого тома, а вместе с тем обострило интуитивное ощущение необходимости показать важные связи между этическими воззрениями Кейнса и его теорией вероятности, с одной стороны, и его экономическими взглядами — с другой. Правдой, однако, было и то, что взятый мною масштаб его жизнеописания никак не позволял уложиться в один том.

Первый том вышел в ноябре 1983 г. и был встречен «блестящими», что называется, отзывами. Удалось, как я себе это представлял, освободить «молодого» Кейнса от «модной пелены», которой, по выражению Ноэля Аннана (в литературном приложении к *'Таймс'* от 23 февраля 1951 г.), окутал его Хэррод. Особенно приятно было получить отклик Ричарда Кана, писавшего мне 1 июня 1984 г.: вашу книгу «я нашел в высшей степени впечатляющей, интересной и прекрасно написанной. Вы проделали огромную работу, охватив гораздо более широкий круг тем, чем можно было ожидать... Я жду следующих томов».

Тут возникала определенная загвоздка. К этому времени я решил, что должно быть три тома, ибо я довел Кейнса лишь до 1919 г., когда ему исполнилось тридцать шесть, и только подступил к его экономической теории. Но я все еще упорно держался за 1985 г., считая его сроком окончания работы над вторым томом. На пути у меня стояла кейнсианская революция — тема, о которой не скажешь, что она оставалось недостаточно глубоко вспаханной. Уже появились тысячи статей и книг, сообщавших, что Кейнс говорил, что он при этом имел в виду, что ему

следовало бы говорить, что говорили другие о том, что говорил он, и т.д. Какое у меня было сравнительное преимущество, позволявшее влиться в этот поток интерпретаций? Какую стоимость я мог добавить?

II

Здесь начинается вторая линия моей обороны. По мере того как я все глубже погружался в работу, меня стали терзать два вопроса: как надлежит историку писать об экономисте и для чего нужна биография, в чем ее ценность? В то время, когда я писал о Кейнсе, рушились многие старые установки. Поле работы историков расширялось по мере того, как они получали лучшую техническую подготовку. В биографиях появилось больше откровенности, а биографы стали относиться к своему ремеслу более ответственно.

Ответ на первый вопрос был очевиден: надо изучать экономическую науку. Удивительно, что это не приходило мне в голову прежде, чем я взялся за свою книгу. Я набрался кое-каких экономических знаний, когда работал над *‘Политиками и кризисом’*: Марти Фелдстайн, бывший в 1960-х сотрудником Наффилд-колледжа, рисовал на доске графики, разъясняя мне на уровне учебника теорию Кейнса. Но всякая проблема, требовавшая специальных знаний, отправляла меня в нокаут, а история экономической мысли оставалась для меня закрытой книгой. Мое подлинное экономическое образование началось с «учебных бесед» с Никки Калдором, разговоров с Ианом Литтлом, освоения стандартных учебных пособий и посещения экономических курсов в Америке. Чтение самого Кейнса содействовало изучению экономической науки наилучшим образом, особенно тем, что позволяло понять, как работает ум экономиста. Три обстоятельства заставляли меня пересекать междисциплинарные границы: убеждение, что я обязан разобраться в теоретических построениях Кейнса, боязнь наделать ошибок, когда буду о них писать, и желание разо-

браться в образе мышления экономистов. В рецензии на мою книгу *'Политики и кризис'* Макс Беллофф отметил обнаруженное им у автора «необычное для историков желание разобраться в экономических проблемах по существу» (*'Daily Telegraph'*, 30 November 1967). Я никогда не мог всерьез присоединяться к общепринятому мнению, будто историку следует принимать идеи в их готовом виде и ограничиваться лишь изучением их воздействия на ход событий либо, хуже того, следовать марксистско-фрейдистским установкам, обязывающим считать, что идеи как таковые не порождают никаких последствий, а сами представляют собой следствия экономических или психологических причин. Если же исходить из того, что идеи определяют течение событий, тогда историк должен быть способным излагать относящиеся к его теме идеи и доктрины так же точно, как это делают теолог, философ или экономист. Коли это требует специальной подготовки, надо ее пройти. Любой разговор о жизни и деятельности Кейнса без погружения в его «теологию» будет историей, серьезно искаженной ее неполнотой.

Но обращаясь к изучению экономики, было все-таки важно не утратить видения, присущего историку. Важно было не допустить, чтобы внимание к экономике увлекло историка на ложный путь, ведущий к забвению, что экономические доктрины глубоко вплетены в исторический контекст и что биография — это прежде всего рассказ о характере человека и его месте в контексте, а не передача каких-то суждений. Даже притом что экономическая мысль всегда вращается вокруг некоего логического ядра, биографа Кейнса должен постоянно занимать вопрос: почему доктрины Кейнса торжествовали в области практической деятельности, в то время как теории его противников успеха не имели? Это вопрос, касающийся истории, а не экономической мысли. Моя работа над биографией Кейнса проходила в те самые годы, когда влияние кейнсианских идей пошло на убыль и возникала возможность смотреть на Кейнса как на личность, принадлежащую истории, —

как на воплощение и следствие достоинств и пороков его эпохи. Экономические знания необходимы для понимания «теологии» и Кейнса, и его оппонентов; обостренное же чувство истории необходимо, чтобы держаться на должном расстоянии от этой «теологии». Меня всегда радует, если рецензент отмечает, что по моим текстам невозможно установить, кейнсианец я или антикейнсианец.

Время, потребовавшееся на освоение экономической науки в объеме, достаточном для адекватного описания странствий Кейнса по дорогам теории и для отработки способа изложения, который не отталкивал бы читателя-неспециалиста, — вот чем в значительной степени был десятилетний перерыв между появлением первого тома и выходом в свет второго. Сегодня я назову себя скорее экономически грамотным историком, чем экономистом. Меня, признаться, несколько раздражает положение дел в нашей профессии. Просто удивительно, как плохо большинство историков, моих товарищей по цеху, понимают суждения экономистов; но точно так же потрясает, насколько слабо большинство экономистов представляют себе, какие пружины движут действиями человека и жизнью общества. Сейчас мне представляется, что главным недостатком второго тома моей трилогии было то, что экономической теории было отведено в нем избыточно много места. Я чересчур старался показать людям, что способен «справиться» с этим.

После выхода в свет второго тома работа растянулась еще на восемь лет, и трилогия была, наконец, завершена лишь в 2000 году. Я провел Кейнса через годы, когда он трудился над своей великой книгой *‘Общая теория занятости, процента и денег’*; всего-то надо было описать девять лет его жизни, но на них приходилось время его наибольшей общественной активности во время и после Второй мировой войны, связанной в том числе с его величайшим практическим достижением — Бреттон-Вудским соглашением 1944 г. Для этого последнего перерыва между томами никаких оправданий нет, есть только объясне-

ния. Большую часть 1990-х годов я должен был посвятить другим делам. В 1991 г. мне было дано пожизненное пэрство, и я стал председателем Социального рыночного фонда. В 1991 г. я совершил свою первую поездку в посткоммунистическую Россию и потом год писал небольшую книгу *‘Мир после коммунизма’* (изданную в Соединенных Штатах под названием *‘Дорога от рабства’*^λ). С 1992 по 2001 г. на мне лежали обязанности организатора фракции консерваторов в палате лордов. Однако свои политические карты я разыгрывал так ловко, что сумел освободиться или быть освобожденным от всех политических постов, на которые был назначен, что в свою очередь предотвратило новые предложения. В итоге путь, остававшийся до даты кончины Кейнса, был расчищен.

III

Этим мои объяснения не исчерпываются, поскольку я еще не затронул проблем, касающихся жанра биографии как таковой. Главная из этих проблем состоит в следующем: имеет ли жизнь мыслителя какое-либо отношение к его мысли? И если да, то какое? В 1946 г. в посвященном Кейнсу некрологе австрийский экономист Йозеф Шумпетер поднял этот вопрос, написав: «У него не было детей, и его философия жизни была в сущности рассчитана на короткий срок». Разговор о гомосексуализме Кейнса в первом томе моей трилогии вдохновил критиков его экономической теории. Уильям (ныне лорд) Рис-Могг написал (в *‘Таймс’* 10 ноября 1983 г.), что отторжение норм морали привело Кейнса к отторжению золотого стандарта, позволявшего «автоматически держать в узде денежную инфляцию» Поклонники кейнсианства предлагали своего рода зеркальную копию этих суждений, отрывающих *мысль* от *жизни*.

^λ В 1998 г. под тем же названием издана по-русски Московской школой политических исследований.

Так, Морис (ныне лорд) Пестон писал (в *'Нью стейтсмене'* 9 декабря 1983 г.), что «очевидную философскую чепуху представляет собой эта увязка [экономической теории Кейнса с его сексуальной ориентацией]; логическая состоятельность теории и ее практическая ценность существуют независимо от ее творца. (Может ли знакомство с жизнью Ньютона и Эйнштейна подействовать на нас в предсказаниях движения планет?)» И Рис-Могг, и Пестон допускают, на мой взгляд, ошибки — противоположного толка. Рис-Моггу следует возразить, что аналогия не равнозначна причинно-следственной связи, а Пестону можно напомнить, что экономика не есть наука, подобная физике.

Самая сильная теория, выдвинутая в объяснение связи между обстоятельствами жизни человека и его трудами, принадлежит Фрейду, и эта теория породила тьмутьмущую разнокачественных биографий. Я склонен с неприязнью воспринимать фрейдистские объяснения «успеха». Мне кажется, что они страдают неизлечимым недугом упрощенчества. Они, похоже, выдают биографу разрешение не принимать всерьез идеи его героя и не обсуждать их как таковые, а видеть в них лишь отголоски потрясений, которые человек пережил в детстве. Во всяком случае в работе над биографией Кейнса фрейдистский подход к делу я посчитал неуместным. Эдипов комплекс, конкретный психологический механизм, предложенный Фрейдом для объяснения бунтарского поведения личности, в случае Кейнса представлялся мне лишенной смысла попыткой объяснить как его гомосексуализм, так и его революционные экономические воззрения. Он поднял мятеж против ортодоксальных викторианских взглядов, но это не было восстанием против его собственных или семейных ценностей. Более убедительное решение предлагала социология. Представление о человеке времени короля Эдуарда, который обработкой фактов экономической жизни пытался после ужасов Первой мировой войны возродить викторианскую жизнерадостность, показалось мне, как и по сей день кажется, более подходящим биографическим ключом к

входной двери в экономическую теорию Кейнса, чем какие бы то ни было обстоятельства его детства.

К поэзии Фрейда я отношусь более благосклонно, чем к его психологии. Ему было присуще трагическое видение жизни, и он полагал, что подавление инстинктивных желаний — это плата за цивилизацию и прогресс. О Кейнсе можно было бы писать как о торжестве долга над влечениями, как о Блумсбери, принесенном в жертву Уайтхоллу. Но и это увело бы в сторону от сути дела. Никто не видит смысла в жизни, полной трагизма, зато каждый видит его в жизни, полной счастья, успехов и свершений. О Кейнсе с большой уверенностью можно говорить, что он смог взять наилучшее из всех открывавшихся ему миров. Примечательно, что Фрейд, при его-то богатейшем запасе классических стереотипов, никогда не поминал об Одиссее, муже «мягком речью, быстром умом и осмотрительным», на какового Кейнс более всего был похож.

В какой-то мере меня устраивает неомарксистский взгляд, согласно которому Кейнс был продуктом своего класса и полученного им воспитания и потому склонен был смотреть на проблему экономики под определенным углом зрения — глазами «образованной буржуазии», которая оказалась в центре погружавшейся в упадок империи. Очень многое можно было бы добавить в развитие этого взгляда. Но он все же не учитывает добавленную стоимость, которую производит гений как таковой, и потому биограф не освобождается от серьезного отношения к идеям Кейнса.

Работа гения — дело сложное, и надо бы разъяснить, что она предполагает. Даже в связи с достижениями естественных наук и математики мы многое можем сказать об имевшемся уровне знаний, о проблемах, остававшихся без внимания, о том, почему эти проблемы вызвали к себе интерес, об определенных способностях, понадобившихся для их решения. Иной крайний пример — произведения искусства, которые, как представляется, корнями более непосредственно уходят в личную жизнь художника или писателя. Посредине лежит поле, на котором трудился Кейнс и кото-

рое принадлежало отчасти науке, отчасти искусству. Этим многое сказано в пользу биографии как познавательного жанра. Во введении к моему первому тому я писал: «Если в основе теории Кейнса лежало его видение своего века, знакомство с его умонастроениями и порождавшими их обстоятельствами имеет существенное значение не только для того, чтобы понять, как он пришел к своим взглядам на мир, но и для того, чтобы вынести суждение о самой его теории».

При всем том я не хочу защищать жанр биографии ссылками на его утилитарное значение. Люди, конечно же, читают биографию отчасти из желания понять, что сформировало характер и определило деятельность выдающегося человека. Но читают и просто потому, что это — самая древняя форма повествования, появившаяся задолго до беллетристики. Нам хочется и всегда, по-видимому, хотелось знать, какой жизнью жили знаменитые люди, слушать рассказы об их подвигах, о великих событиях, участниками которых они были. Сегодня интерес этот несколько не угас, и потому биография остается для читателей одним из самых любимых жанров.

Как, наконец, биография соотносится с историей? На отпевании в Вестминстерском аббатстве над гробом Кейнса прозвучали знаменитые слова Писания: «Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода»¹. Именно этими словами можно передать сложившееся у меня в конечном счете восприятие Кейнса. Это сродни пониманию истории как творения великих личностей. Но я в это верю. Личности меняют мир, Кейнс его изменил. Не подлежит сомнению, что в долгом ходе истории отдельные воздействовавшие на него влияния сливаются вместе. Но сомневаюсь, что найдется

¹ «Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода: много славного Господь являл чрез них, величие Свое от века; это были господствующие в царствах своих и мужи, именитые силою; они давали разумные советы, возвещали в пророчествах; они были руководителями народа при совещаниях и в книжном обучении. Мудрые слова были в учении их; они изобрели музыкальные строи и гимны предали писанию». *Сир* 44, 1-5

сегодня серьезный историк, который не признавал бы в лице выдающихся личностей одно из таких «отдельных влияний». В том и оправдание пишущих о великих людях.

IV

Родившийся в 1883-м и умерший в 1946 г., Кейнс провел большую часть своей профессиональной жизни под воздействием двух мировых войн. Он начал оптимистом-эдвардианцем, убежденным, что автоматически наступающий прогресс будет неуклонно увеличивать число людей, обладающих возможностями для «благоденствия» в понимании его наставника Дж. Э. Мура и друзей по группе Блумсбери. Пришел же он к тому, что завещал миру теорию, политику и два международных учреждения (Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития), предназначенные упрочить основы свободной экономики и сделать возможным возвращение к людям надежд, с которыми он сам вырос. Между этими двумя вехами его жизни были военные катастрофы и движение вспять, сначала в Европе, потом в большей части остального мира. Любая попытка по достоинству оценить, чего он добивался и в чем преуспел, должна быть увязана с этим историческим контекстом.

Перечитывая при подготовке этой сокращенной биографии первоначально изданный трехтомник, я лучше чем прежде осознал, что в жизни Кейнса некоторые темы присутствовали неизменно и тем самым придавали его мысли основополагающее единство при всем многообразии конкретных способов ее выражения. В экономической теории его наиболее упорно повторяемые идеи касаются всепроникающей неопределенности и роли, которую она играет, мешая экономическим системам действовать на уровне эффективности, сколько-нибудь — если не считать моментов «возбуждения» — близком их потенциалу; это, далее, его представление, что экономика подобна скорее

«вязкой массе», а не «жидкости», из-за чего процесс ее восстановления после потрясений оказывается затянутым, тяжелым, дорогостоящим и неполным; это и его упор на обязанность правительств держать экономическую жизнь на должном уровне, иначе сказать, на уровне ее наибольших или близких к тому возможностей, то есть добиваться полного (в разумных пределах) и эффективного использования наличных и потенциальных ресурсов.

Именно неспособность теории, которую Кейнс называл «классической», приложить эти понятия к объяснению экономической жизни — особенно ее пренебрежение неопределенностью и принятая ею посылка, предполагавшая текучесть ставок зарплаты и цен, — толкнула его к тому, чтобы изобрести новый раздел экономической науки, «макроэкономику», теорию экономики, взятой в целом, способную выявлять любое количество равновесий, или уровней деятельности. Он утверждал, что классическая теория приспособлена к условиям полного отсутствия безработицы, но «экономическое общество, в котором мы живем», не знает столь счастливого состояния дел. Но как только с помощью предложенных им средств централизованного управления будет достигнут успех и полная занятость восстановлена, «классическая теория тут же вступит в силу и в дальнейшем будет действовать как прежде». То есть он не имел «ничего против» самого способа, каким классическая теория объясняла распределение недостаточных ресурсов между различными видами их использования и факторами производства, а следовательно, по логике вещей, и против рыночной системы конкуренции как наиболее мощного инструмента, обеспечивающего эффективность такого распределения*. Таким образом, даже на вершине своего радикализма Кейнс стремился примирить созданную им новую теорию с классической, определяя каждой разные области применения: первая должна была заниматься уровнем про-

* Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*. 1936, pp. 3, 378–80.

изводства, вторая — разделом произведенного. В общем и целом то были условия контракта, связывавшего кейнсианскую революцию с экономической теорией, которой она наследовала. Однако отсутствие теоретической «стыковки» между двумя сферами экономики — особенно неумение Кейнса объяснить массовую безработицу в понятиях индивидуальных действий и личностных мотивов поведения, этих единиц, непременно используемых в «классическом» анализе, — содействовало свертыванию кейнсианской революции в 1970-е и 1980-е годы.

Этой стороне деятельности Кейнса было уделено наибольшее внимание. И благодаря ей он получил признание как один из трех или четырех величайших экономистов мира. Но этим не исчерпывается его вклад в современную мысль. Его можно также считать философом, создававшим линию обороны индивидуализма от наступавших коммунизма и фашизма, как равно и крепившим рубеж противостояния оппозиционно и воинственно настроенным профсоюзам и растущей концентрации в промышленности. Таковы были конкретные проявления той самой «неподвижности» современных экономических систем, которая сделала политику *laissez-faire* столь опасной для либерального государственного управления. Как в 1925 г. выразился Кейнс, экономическая система не может требовать «от принципа диффузии больше, чем он в состоянии дать». В своем студенческом эссе о Бёрке Кейнс критиковал политического философа, которым он вообще-то восхищался, за то, что тот увидел различия между «центральной структурой» свободной системы, которую нужно любой ценой защитить, и «внешними пристройками», от которых можно и отказаться. Предложенная Кейнсом философия *Среднего пути* (мыслившегося, если сказать точнее, как *Разумный путь*) сознательно стремилась ради защиты «центральной структуры» поступиться кое-какими «внешними пристройками» индивидуалистической системы в пользу коллективизма. Вопрос о том, сколь многими «внешними пристройками» надо пожертвовать для сохранения свобод-

ного общества, стал предметом знаменитой полемики между ним и Хайеком в 1944 г. Представление Кейнса о безотлагательной необходимости поднять средний уровень капиталистической производительности поддерживалось его ощущением опасности. Как он писал в том же 1925 г., «современный капитализм совершенно лишен веры, не обладает внутренней сплоченностью, не отличается сильным общественным духом, часто, хотя и не всегда, это просто сборища собственников и жаждущих ими стать. Чтобы выжить, такая система должна действовать с громадным, а не просто умеренным успехом».

Настойчивое стремление Кейнса выжать из капиталистической рыночной системы дополнительную эффективность направлялось также этической струей в потоке его мысли. Чем быстрее удалось бы добиться от системы выполнения ее обещания создать богатство для всех, тем скорее появится у человечества возможность «благоденствовать» — ценить настоящее больше, чем будущее, придавать целям больше значения, чем средствам, ставить добро выше пользы. Сложившаяся у Кейнса в студенческие годы верность этическим взглядам Дж.Э. Мура не была только юношеским увлечением, а превратилась в пожизненное обязательство. В полной мере он отдал ей дань в восхитительном эссе *‘Экономические возможности для наших внуков’*, первоначально прочитанном перед группой винчестерских школьников в 1928 г. Мысль, которую он хотел передать, состояла в том, что решение «экономической проблемы» — это необходимое, но не достаточное условие существования цивилизации.

Экономическая философия Кейнса состоит, таким образом, из трех взаимосвязанных частей: узкопрофессиональной макроэкономики, приведенной в боевую готовность политической философии и ориентации на конечную этическую цель. С исчезновением главных политических угроз свободе, правомерно спросить, какая часть предложенной им самим «центральной структуры» все еще необходима. Сегодня в развитой части мира у поли-

тического либерализма нет никаких соперников. Так что политическая система может легче выдерживать давления экономической неустойчивости. Однако неустойчивость все еще несет с собой существенные потери в благосостоянии. И каждая такая потеря сокращает сегодняшние возможности «благоденствия» и задерживает их расширение для большего числа людей.

К неувядающим достижениям профессиональной экономической мысли принадлежит попытка Кейнса теоретически объяснить, как и почему возникает и упорно сохраняется массовая безработица. Именно благодаря такой постановке вопроса и поныне сохраняется жизненная сила исследовательской мысли кейнсианства, ибо некоторые проблемы так и остаются нерешенными в современной экономической теории. Однако способ исследования стал не совсем таким, как прежде, и с «классической» теорией обращаются не совсем так, как это делал Кейнс. Теперь признано, что «классическая» теория не сумела должным образом очертить институциональные рамки (включая денежно-кредитную, банковскую, политическую и правовую системы), в которых отвечало бы истине и имело силу ее положение о саморегулировании экономики; более того, она вообще обошла вопрос об институциональных структурах. Кейнс, тоже принимал институты как данность, и стремился поднять или стабилизировать ожидания средствами противочиклической денежно-кредитной и финансовой политики. Те, кто придает неопределенности серьезное значение, теперь больше напирают на создание стабилизационных институтов, на «тонкую настройку» делового цикла. Предметом спора остается отношение к набору институтов, правил и политики, потребных для придания устойчивости развитию рыночной экономики — легко ли, просто и дешево запустить его в дело, либо очень сложно и трудно? С крушением коммунизма этот спор приобрел всемирный размах. Но разлука с наивностью «классической теории» состоялась. Как бы сегодняшние экономи-

сты ни относились к Кейнсу, никаких экономистов до-кейнсианского толка больше не существует.

Не так давно Би-Би-Си провела опрос с целью выяснить, кого англичане считают величайшим среди своих соотечественников. Уинстон Черчилль занял первое место, принцесса Диана — третье. Кейнс не попал и в сотню избранных. Не попал туда вообще ни один экономист, включая Адама Смита. И неудивительно. С пантеоном великих мыслителей широкая публика почти незнакома. Этот класс исторических личностей вершит свое дело бесшумно: их место за кулисами нашей цивилизации. Их идеями пропитана атмосфера, откуда поступает интеллектуальный воздух, которым дышат практически действующие люди. Об источнике поступления этого воздуха они, как правило, не ведают. Большинство людей сегодня полагают, что правительства в состоянии и обязаны предотвращать экономические спады с их непременным спутником — массовой безработицей. На тысячу людей не найдется и одного, кто бы знал, что родоначальником этой идеи был Кейнс; и вероятно, на сто тысяч не найдется ни одного, кто смог бы более или менее точно рассказать вам, каким образом правительство должно это делать. Притом я имею в виду только людей англоговорящей части мира. Из великих экономистов Кейнс ближе всех подошел к порогу прижизненной славы. Но даже тогда его известность едва ли простиралась за пределы круга, который он называл «образованной буржуазией», — всегда и всюду крошечной части населения.

Но, «рано или поздно, во благо или ко злу, опасность создают именно идеи, а не групповые интересы», — гласит одно из самых знаменитых изречений Кейнса. Часто я в недоумении задерживался на слове «опасность». В выборе слов Кейнс был предельно осмотрителен. Каким же образом идеи могут создавать опасность для благого? Скорее, казалось бы, следует говорить о «силе», имея в виду, что на ход событий, к добру или ко злу, идеи воздействуют с «большей силой», чем групповые интересы. И так именно

это высказывание обычно толкуется. Но поминание «опасности» привносит дополнительную тонкость мысли, так свойственную Кейнсу: это указание на то, что опасно невежество, но не свободно от опасности и знание, потому что оно таит в себе соблазн гордыни, толкающей человека к узурпации божественных полномочий, что неизбежно открывает путь Возмездью. Одно то, что свой великий революционный манифест, *‘Общую теорию занятости, процента и денег’*, Кейнс счел нужным закончить на этой ноте уклончивого предупреждения поразительным образом свидетельствует о некоем величии, выходящем за пределы экономической теории. Интеллект, которому, казалось, не было границ, склонялся перед дисциплиной земных требований в управлении человеческими делами. Это — Кейнс, которого я люблю и чью индивидуальность, чьи достижения я пытался представить в книге.

V

Объем настоящего сокращенного издания уменьшился по сравнению с трехтомником примерно на 40 процентов. Это было достигнуто за счет изъятия части материала и уплотнения текста. Многое пришлось также переписать в свете новых размышлений, ради исправления ошибок, ввиду необходимости «заделать сварные швы» между прежними отдельными томами и учесть поступившие замечания критики и результаты позднейших исследований. Так что в известной мере это новая, самостоятельная книга, которую впервые можно прочитать как единое целое. Надеюсь, она привлечет новых читателей — из тех, для кого три объемистых тома о Кейнсе это просто слишком много.

Роберт Скидельски
июнь 2003

Часть первая

ДОЛГ И БЛАГОДЕНСТВИЕ

*Среди всего того, что мы знаем или можем вообразить, самое ценное — это некоторые состояния нашего сознания, которые приблизительно могут быть описаны как наслаждения, доставляемые общением с другими людьми и прекрасными предметами... Только этим — то есть стремлением расширять в каждое данное время возможности таких наслаждений — может быть для кого бы то ни было обосновано исполнение всякого общественного или частного долга; в этом *raison d'être* добродетели; то есть именно этим определяются рациональная высшая цель человеческого действия и единственный критерий общественного прогресса: вот, по-видимому, истины, которых обычно не замечали.*

G. E. Moore, *Principia Ethica*, pp. 188–9

I

Семейные корни

1. Предки

Едва ли в жизни Джона Мейнарда Кейнса бывали времена, когда бы он не смотрел сверху вниз на других жителей Англии, да и большей части остального мира, причем с огромной высоты. Он учился в лучшей английской школе — Итоне. Был студентом и преподавателем одного из ведущих колледжей Кембриджа — Королевского. Служил в Казначействе, одном из высших правительственных ведомств. Был близким другом одного и советником многих премьер-министров. Имел свое место в самом сердце экономической системы Англии и находился в центре ее финансовой олигархии. Был членом Блумсберийской группы, самого влиятельного в Англии кружка деятелей культуры. В общении с образованными людьми на его стороне всегда было превосходство непререкаемого авторитета. Такое положение было завоевано в основном силой его ослепительного интеллекта и его практическим гением. Но с самого начала он получил в жизни значительные преимущества, помогавшие ему легко проникать в те области, где можно было развивать деятельность, для которой он был предназначен своими талантами. Не возникало никаких вздорных помех, вроде «не того» происхождения или «не того» выговора. А первой его удачей было оказаться сыном Джона Невилла и Флоренс Ады Кейнсов, то есть появиться

на свет в Кембридже, в университетской преподавательской среде.

На пятилетие Мейнарда прабабка Джейн Элизабет Форд написала ему: «Ожидается, что ты вырастешь очень умным, поскольку все время живешь в Кембридже». Занятно, каким образом выражено это ожидание. Сегодня от всякого Кейнса ожидали бы проявления умственных способностей просто потому, что он родился Кейнсом. Но прабабушка Форд писала свое послание еще до учреждения династии. И о Кейнсах она знала только, что они прибыли из Уилтшира, что дедушка Мейнарда Кейнса имел успешный бизнес и что ее внучка Флоренс вышла замуж за его сына, слывшего умницей, — молодого кембриджского преподавателя по имени Джон Невилл Кейнс. Глядя на мир с высот провинциального сектантства, Джейн Элизабет Форд должна была представлять себе Кейнсов вполне заурядными людьми.

Да и у ее правнука не было особых оснований думать иначе, пока он не дорос до шестнадцати. Тогда только, уже в Итоне, он обнаружил довольно внушительные свидетельства глубоких исторических корней семейной ветви Кейнсов. Работая в библиотеке колледжа, он построил генеалогическое древо Кейнсов, начиная с первого, прибывшего с Вильгельмом Завоевателем.

На нечто, выводящее жизнь Мейнарда Кейнса за пределы обычного, указывает сама его фамилия. Даже когда ее пишут правильно, произносят то и дело неверно: *Кинс*; если же пишут со слуха, открывается дорога орфографическим ошибкам (например, *Canes* вместо *Keynes*). Это непредвиденная расплата за то, что первые Кейнсы прибыли из очаровательного вообще-то нормандского местечка Каань (*Caahagnes*)¹; название этого поселения в Кальвадосе произошло, вероятно, от латинского *casnus* (дуб), родоначальника современного французского *chêne*. Уильям де Каань был вассалом графа (впоследствии герцога) Роберта Мортэна, единокровного брата герцога Уи-

льяма (Вильгельма) Нормандского. Он дрался в битве при Гастингсе и получил от Роберта много земельных владений, общей площадью более пяти тысяч акров. В основном они находились в Додфорде в Нортгемптоншире (в «Книге Страшного суда» они упоминаются как «владения Уильяма де Кааня») и в Хорстэд Кейнсе в Суссексе. После смерти Уильяма его владения отошли к сыну и наследнику Ральфу; а после кончины Ральфа были разделены между его тремя сыновьями — Ральфом, Хью и Уильямом².

Наследственные линии первых двух стерлись к четырнадцатому столетию. «Судя по всему, Кейнсы не были особо воинственным семейством», — написал школьник Мейнард. Проявляя осмотрительность, «они вступали в битвы лишь тогда, когда отсутствие на поле брани грозило им денежными штрафами». Исключением оказался третий сын Ральфа, Уильям, потомком которого считал себя Мейнард Кейнс. В битве при Линкольне в 1141 г. он захватил короля Стивена и в награду получил поместье Уингкли (позднее Уинкли-Кейнс) в Девоне. Приблизительно в 1330 г. потомок Уильяма Джон де Кейнс женился на Изабелле Уэйк, чье приданое значительно расширило семейные владения в Сомерсете. В шестнадцатом и семнадцатом столетиях Кейнсы, обосновавшиеся теперь в Комптон-Понсфуте, оставались в лоне римской католической церкви и сохраняли верность Стюартам, совершая тем самым двойную ошибку, за которую и поплатились утратой всей своей собственности. Некоторые из них стали священниками-иезуитами. Наиболее известный, Джон Кейнс (1625–95 гг.), был профессором логики в университете Льежа. В 1683 г. папа назначил его архиепископом Англии, и он попал в число жертв, намеченных заговорщиками Титуса Отса. По словам Мейнарда Кейнса, «возможно, что из-за своих дурных советов он частично несет вину за падение Якова II». Его старший брат, капитан Александр Кейнс, «воевал в гражданской войне на стороне Карла I и в борьбе за дело короля расте-

рял последние остатки семейных владений. С этого времени семейство погружается во мрак неизвестности, и сколько-нибудь уверенно назвать следующие два звена не представляется возможным. У Александра было несколько сыновей, большинство их пошли в иезуиты. Но насколько мне удалось выяснить, его сын Генри был отцом Ричарда Кейнса из Уорхэма»³.

Дальше без особых трудностей прослеживается линия от этого Ричарда Кейнса, упокоившегося в 1720 г. Были еще три Ричарда, за ними Джон Кейнс, отец другого Джона Кейнса, дедушки Мейнарда Кейнса. Эти потомки капитана Александра Кейнса, если они были таковыми, начинали как приверженцы англиканской веры, но вскоре стали баптистами; они также объявились в Солсбери как штукатуры-декораторы и ремесленники, изготавливавшие кисти. В этой связи Мейнард Кейнс отметил: «похоже, традиция их более увлекательного прошлого полностью угасла»⁴.

Родословные таблицы способны нагнать скуку на кого угодно, кроме членов описываемого семейства и специалистов по генеалогии. И притом не всегда они освещают путь биографу, поскольку законы наследственности еще так мало изучены. Кто знает, что именно Мейнард Кейнс действительно «унаследовал» от всех этих Кейнсов? Оправданием только что изложенному служит то, что герой данной биографии полагал, что ему следует жить жизнью, достойной его имени.

Если история семейства по отцовской линии напоминала Мейнарду Кейнсу об отгремевшей славе сквайров, то с материнской стороны до него доносился призыв к нравственным и интеллектуальным усилиям. Родословная его бабушки по матери восходила к суссексскому контрабандисту Томасу Форду, убитому людьми короля в 1768 г. Но раскаяние пришло быстро и утвердилось надолго. Сын контрабандиста, Дэвид Эверард Форд, стал приходским священником, «подверженным припадкам хандры, возможно из-за религиозных проблем, возникавших

на почве его занятий окаменелостями»⁵. В 1834 г. его сын, также Дэвид Эверард (1797–1875 гг.), ставший приходским священником в Лаймингтоне (в Гемпшире), женился на Джейн Элизабет Даун, «молодой женщине выдающихся способностей и энергии», по материнской линии объединявшей в своем происхождении два старых семейства западной Англии — Хэйденов и Лэнгдонов. Она родила ему десять детей; в Лаймингтоне она также управляла школой-пансионатом для девочек. Когда Дэвид Форд в 1843 г. перебрался в Ричмондскую конгрегационалистскую церковь в Манчестере, она вместе со своей второй дочерью Адой Хейдон Форд заново создала там школу-пансионат.

Эта самая Ада Хейдон Форд из школы-интерната вышла замуж за Джона Брауна, дедушку Мейнарда Кейнса по материнской линии. Родившийся в 1830 г., отпрыск скромного ланкаширского бизнесмена Браун в пятнадцатилетнем возрасте был отдан в ученики наборщику. Видимо, не без влияния религиозных трактатов, тексты которых ему приходилось набирать, парень решил податься в священники. Он закончил школу в Лондоне, изучал древнегреческих и латинских авторов в колледже Оуэна в Манчестере и в 1851 г. получил в Лондоне степень бакалавра. В 1855 г. он стал священником конгрегационалистского прихода в парковой часовне на Читэм-Хилл-роуд в Манчестере, где и читал проповеди, пропитанные присущим ему драматизмом мировосприятия. Тяга к учительству и склонность к игре ума, наблюдавшиеся у предков Мейнарда с материнской стороны, стали исчезать у более близких нам представителей семейства Кейнсов. У женщин особенно сильно проявлялась склонность к нравственному негодованию — черта, которую Кейнс мог унаследовать именно от них. Но в основном мир — одинаково и Браунов, и Кейнсов — вращался вокруг часовни и торговли. Они были средним классом, даже при немалых деньгах, но никак не джентльменами в викторианском понимании этого слова.

2. Джон Невилл Кейнс

Состояние семейства Кейнсов восстановил не кто иной, как Джон Кейнс Солсбери, дед Мейнарда по отцу, родившийся в 1805 г. На портретах, запечатлевших его и в молодости, и в преклонном возрасте, он выглядит худощавым, стройным мужчиной с пронизательными глазами, улыбчивым ртом и общим видом довольного человека. Джон Кейнс мог быть доволен собой как человек, сам сделавший свою судьбу. В одиннадцать лет отданный учеником в отцовскую мастерскую, изготавливавшую кисти, он к 1830 г. превратил это заведение в «очень привлекательную мануфактуру». Но, как отмечал в дневнике этот склонный к поэтическим красотам садовод, «в груди его распускалась душа цветка». Семнадцати лет он выиграл свой первый приз — садовые ножницы для ухода за гвоздиками. Настроившись на извлечение дохода из цветоводства, он отказался иметь дело со щетиной и обратился к выращиванию георгин. В 1841 г. его личная выставка георгин в Стоунхендже привлекла тысячи посетителей. Так было положено начало его известности и заложена основа его состояния. Георгины сотворили его. Расчетливым выведением новых сортов он содействовал возникновению бума на рынке георгин; когда георгиновый пузырь лопнул, он успешно переключился на выращивание роз. По мере того как дела шли в гору, Джон Кейнс разнообразил свой бизнес, распространяя его на банковскую и другие коммерческие сферы. Как и большинство преуспевших бизнесменов викторианского времени, он приписывал свои достижения собственному напряженному труду и строгому соблюдению религиозных принципов. Он говорил, что его жизнь была счастливой, потому что он преуспел во всех своих начинаниях, и похоже, он действительно так именно и считал.

Успехи Джона Кейнса были весьма внушительными, но им предстояло померкнуть перед достижениями его сына. Женат он был дважды. Первая жена Матильда

Блэйк родила ему дочь Фэнни, со временем взявшую себе в мужа преуспевавшего бакалейщика Эдварда Перчейза. Матильда умерла от холеры, и в 1851 г. Джон Кейнс женился на Энн Мейнард Невилл, происходившей из фермерской семьи в Эссексе. Их единственный сын, Джон Невилл, отец Мейнарда, родился 31 августа 1852 г. Если к сотворению Мейнарда Кейнса Джон Кейнс начал двигаться с обрастания деньгами, то Джон Невилл сделал решающий второй шаг — обосновался в Кембридже. Это — тяжкая история.

Невилл, как его всегда называли, вырос в уютном доме на Касл-стрит в Солсбери, рядом с оранжереями своего отца. Судя по всему, это был добрый дом. Как именно складывались отношения Невилла с отцом, установить теперь трудно, но о своем родителе сын всегда говорил тепло и уважительно. Джон Кейнс был человек верующий, видевший в религии источник и опору нравственной дисциплины. В самом раннем из сохранившихся его поздравительных писем к сыну (от 21 января 1857 г.) читаем: «Мой дорогой маленький Невилл не собирается вести себя как плохой мальчик, добрый Иисус никогда не был плохим мальчиком, и ты должен стараться следовать его примеру». Религиозная поддержка шла и от матери Джона Кейнса, прожившей с ними вплоть до 1869 г., когда она скончалась в возрасте девяносто четырех лет. Вконец оглохшая старуха, она днями напролет сидела с Библией на коленях и изрекала слова Священного писания. Не подлежит сомнению, что Джон Кейнс, едва заметив у Невилла некие умственные способности, стал со страшной силой давить на сына, добиваясь от него успехов в учебе. Удачная ученая карьера прокладывала королевскую дорогу, уводившую прочь от торгово-ремесленных занятий, и Невилл, в любом случае, никогда не разделял садоводческих увлечений. Однако Джон Кейнс не был совсем уж суровым отцом семейства викторианского пошиба. Нрава он был легкого, общительного. Он был склонен к увлечениям, да в конце концов ведь и бла-

гополучие свое построил на хобби! С Невиллом они играли в шахматы, и в свои двенадцать лет сын начал отца обыгрывать. Джон Кейнс возил сына а Лондон смотреть пантомимы, пьесы, слушать оратории. Невозможно однозначно описать черты, унаследованные Невиллом от отца. Тут было и упорство, необходимое для достижения успеха, и представление, что к жизни не стоит относиться вполне серьезно. Невиллу суждено было жить в простилавшей отсюда раздвоенности. Он и рос, охваченный все возраставшим беспокойством, спасение от которого со временем должен был искать опять-таки во всякого рода хобби.

Невилл был очень близок с матерью. Она ушла из жизни, когда ему было далеко за пятьдесят; ее смерть он переживал очень тяжело. Это была сердечная, эмоциональная женщина, не глупая, но и не интеллектуалка и не склонная сыпать назиданиями, что обычно отличало большинство женщин в роду Кейнса с материнской стороны. Не было у нее и никакого интереса к социальной деятельности. (Как-то она пробовала продавать Библию, но впоследствии никогда, говорят, эту попытку не повторяла). В доме жила также тетя Мэри, незамужняя сестра Джона Кейнса, суматошная, беспокойная и обожавшая Невилла. Собиралась в доме сложившаяся компания друзей семьи, но наибольшим влиянием на Невилла пользовался, несомненно, Генри Фосетт. Отец Генри, Уильям Фосетт, был старым, еще по Солсбери, другом Джона Кейнса. С ним произошел ужасный случай на охоте: шальным выстрелом он лишил зрения своего тогда двадцатипятилетнего сына, студента кембриджского Тринити-холла. Несломленный Генри Фосетт университет не бросил, в 1863 г. стал профессором политической экономии в Кембридже, а в 1880-м министром почт в правительстве Гладстона. Это была типичная история успеха в викторианском духе, прославлявшая торжество личного мужества вопреки самым неблагоприятным обстоятельствам. Вдохновляющий моральный пример Фо-

сетта всегда был перед глазами Невилла, когда он, преодолевая себя, должен был оправдывать надежды отца. В нашем рассказе Фосетту принадлежит важная роль потому, что именно под его нажимом Невилл «положил глаз» на Кембридж.

В 1864 г., когда ему было одиннадцать, Невилл приступил к занятиям в Эмерсэм-холле, скромном нонконформистском учебном заведении в Кэверсэме близ Ридинга, где под руководством директора Эбензера Уэста около сотни мальчиков «получали как раз то образование, которое было необходимо, чтобы преодолевать помехи, встававшие на пути тогдашнего нонконформизма...»⁶. На игры и прочую ерунду там не отвлекались: Джон Кейнс платил свои 70 фунтов в год за успешно сданные сыном экзамены; правда, ученикам разрешали держать кроликов. Невилл прошел подготовку к поступлению в Лондонский университет и получил аттестат, подобный сегодняшнему свидетельству об окончании средней школы. По этой дороге Эмерсэм-холл отправил в жизнь множество своих «спорщиков»*, ставших знаменитыми врачами, фармацевтами, юристами и литераторами⁷.

Трудно сказать, насколько Невилл был доволен пребыванием в Эмерсэм-холле. Поступив туда, он начал делать записи в дневнике, который вел затем в течение пятидесяти трех лет — до 1917-го. Четырнадцатилетним он вышел среди своих соучеников на первое место по математике и на второе — по классическим авторам. С этого времени и начался взлет его научной карьеры, хотя не обходилось без сбоев. В его школьной характеристике от апреля 1869 г. выражалось мнение, что в «аттестате кое-какие очки могут быть потеряны из-за некоторой нер-

* Спорщики (wranglers) — принятое в Кембридже название студентов, отличившихся на экзаменах-трайпос по математике. Трайпос — экзамен, сдача которого предполагает получение оценки с отличием.

возности». Так оно и произошло. Выпускные экзамены он выдержал тем летом достойно, но не блестяще, и ему еще повезло, что удалось получить стипендию Джилкрайста для обучения в колледже Лондонского университета.

5 октября 1869 г., вскоре после своего семнадцатого дня рождения, он поселился в Блумсбери, на площади Гордон-сквер, в основанном в 1849 г. общежитии для студентов из неангликанских общин. Большинство в общежитии составляли выпускники Эмерсэм-холла, и у Невилла там оказалось много друзей, в том числе Генри Бонд, Артур Споукс и Уильям Лорд. В основном это были дети деловых людей, самостоятельно добившихся успехов на коммерческом поприще, и все студенты знали: от них ожидалось, что, получив образование, они расстанутся с профессиями отцов и сделают более достойные карьеры. Университетский колледж был приспособлен для достижения этой цели. Система обучения строилась на «весьма растянутых» экзаменационных сессиях⁸. И в глазах Невилла это не было тем, что намечал для него Фоссетт, «советовавший провести два года в Лондоне, а потом сменить его на Кембридж»⁹. Как единственный сын, Невилл нес на себе весь груз надежд своих родителей. Впоследствии он часто говорил, что больше никогда в жизни не работал так много и напряженно, как в годы учебы в Лондонском университете. Напряжение сказалось на здоровье и отразилось на его личности. Пошли жалобы на головные боли, ныли зубы, щемило в груди, так что его мать стала опасаться худшего. «Ты знаешь, что ты нам очень дорог, мой дорогой мальчик, — писала она ему, — и если случится тебя потерять, мы лишимся всего»¹⁰. До семнадцати он был «довольно болтлив». Потом стал говорить все меньше и меньше. Обосновавшись в Кембридже, он уже выступал въедливым хулителем праздных разговоров¹¹. Тогда же он перестал расти, остановившись на пяти футах четырех дюймах, что даже не дотягивало до викторианских стандартов.

В Лондоне он стал ежедневно учитывать количество часов, отданных работе, а потом суммировал эти показатели, подводя итог за год, — и неизменно следовал этой привычке, пока не бросил вести дневник. Рабочий день в колледже длился у него десять часов. Тем не менее он находил время для своих хобби. Участвовал в шахматных турнирах. Коллекционировал марки. Стал играть в ручной мяч. Каждый выходной он сбегал в неземной мир викторианской мелодрамы, комедии, пантомимы, оперы; иногда отправлялся с отцом в Лондон по его садоводческим делам. С женщинами общался только на каникулах: катался на коньках с Флосси Уильямс, играл в крокет и вист с Минни Тодд. В порыве страсти он поцеловал руку Минни и в знак взаимности получил локон ее волос. Но скоро он «с удовольствием» стал проводить время только с Флосси, «будто никакой Минни Тодд и не существовало».

В июле 1870 г. Невилл получил высший балл, сдав первую серию экзаменов на степень бакалавра; экзамены второй серии в октябре 1871 г. по логике и нравственной философии выдержал с отличием. Следующим летом, выиграв высшую стипендию для занятий математикой (60 фунтов), он был уже в кембриджском Пембрук-колледже. Впереди его ждали большие неприятности. Беда была в том, что он ошибся в выборе предмета. Скоро выяснилось, что математику он ненавидит. Ему больше были бы по душе введенные в 1848 г. «*трайпос*» (экзамены на бакалавра) по гуманитарным предметам. Они, однако, не только не обеспечивали никаких стипендий (почему Невилл и устремился в Кембридж по стезе математической науки), но и не сулили преподавательских должностей, которые представлялись почти исключительно за высокие оценки на экзаменах по математике и классическим дисциплинам. Выбор, судя по всему, выглядел так: либо и дальше корпеть над ненавистной математикой, либо переключиться на дисциплины гуманитарного цикла, что не открывало никаких академических перспектив. Лишь один выход представлялся Невиллу возможным: сразу же оставить Кемб-

ридж. Он написал родителям два полных горечи письма — 19 и 20 октября 1872 г. Не намерены ли они забрать его из колледжа? Может быть, они, «что вполне естественно», переоценили его способности? Похоже, он всего-то и годится на то, чтобы быть законником-ходатаем по делам коммерсантов, так что не начать ли готовиться к этому прямо сейчас? «Я ничего не имею против, чтобы надо мной насмехались и называли дураком, каковым, понятное дело, я предстану. Думаю, с моей стороны, лучше всего и отважнее всего будет признать ошибку, которую я сейчас осознаю, и мужественно делаю то, что почитаю наиболее полезным для обеспечения моего будущего благополучия»¹². Он также тревожился, не стал ли чрезмерным финансовым бременем для своего отца, которому было уже под семьдесят, и здоровье которого начинало пошаливать.

Родители не дрогнули. 22 октября 1872 г. Невилл коротко пометил в дневнике: «Они очень не хотят моего отъезда из Кембриджа, так что согласился остаться». План был в том, чтобы продолжить усердные занятия математикой до мая, «а там поглядим, какие у меня с ней сложатся отношения». Но решение задач под приглядом Рота, известного кембриджского математика-репетитора, повергало его в отчаяние. Во время рождественских каникул он принял решение. Наставнику колледжа К.Е. Сарлу (впоследствии директору Пембрука) он написал, что хотел бы оставить математику и вместо нее заняться изучением этики; «я не просил его совета, поскольку вполне составил свое мнение». Но в Солсбери спор не прекратился. Фосетт уговаривал его математику не бросать. 21 января 1873 г. он вернулся в Кембридж, где его «настиг приступ очень глубокой хандры. Серьезно сомневаюсь, правильно ли я делаю, возвращаясь в Кембридж. Морда моя все еще дергается». На следующий день он встретился с Сарлом.

Он был очень любезен и намекал, что, по его мнению, мне светит преподавательская должность, так что его совет в сочетании с тем, что говорил мистер Фосетт, равно как и с известным мне желанием отца, в конце концов заставили ме-

ня продолжить занятия математикой до мая. Сам я не считаю, что это правильно, и не могу начать работу с каким-либо «запалом», но надеюсь, по крайней мере, доставить удовольствие другим.

Свою битву с математикой он вел до лета 1873 г. и затем, отнюдь не проникнувшись к ней любовью, решил наконец оставить это¹³. Он поступал таким образом в уверенности, что вовсе не теряет шансов на получение преподавательской должности. В то лето он установил для себя новый режим умственной работы. Долгие каникулы в колледже он посвятил составлению комментария к *‘Основам политической экономии’* Милля, и это доставило ему «огромное удовольствие»¹⁴. 31 августа, в свой двадцать первый день рождения, он начал бриться.

К изучению гуманитарных наук Невилл приступил в очень знаменательный момент исторического развития как иерархии ученых степеней, так и университета в целом. Старинные университеты пробуждались от долгой спячки, чтобы проникнуться осознанием своей ответственности и выступить лидерами в век индустриализации, падения религиозной веры, подъема демократии и интеллектуального брожения. Присутствие Невилла в Кембридже само по себе говорило о новом гостеприимстве университета, который открывал свои двери интеллектуальному нонконформизму, еще недавно прочно заколоченные перед ним правилами семнадцатого столетия. Цикл гуманитарных наук в Кембридже был одной из точек этого пробуждения. Он обладал немалой привлекательностью для ученых, потому что входившие в него дисциплины — этика и политическая философия, логика, психология и экономическая наука — находились в движении, что открывало возможности творчества. Привлекало это и студентов, таких как Невилл, у которого логическая хватка превышала математические способности. Постепенно отдельные гуманитарные науки — особенно этика, политическая философия и политическая экономия — получали признание источников общественной мудрости, перенимая отчасти функции, до то-

го выполнявшиеся религией. Переключение Невилла на гуманитарные науки определило атмосферу, в которой предстояло расти Мейнард Кейнсу. Он оказался продуктом гуманитарной научной традиции Кембриджа, в который экономическая мысль Кембриджа развивалась в обнимку с кембриджской этикой.

К концу 1860-х в пока еще небольшое отделение гуманитарных наук потянулись молодые способные преподаватели и лучшие студенты. Генри Сиджвик оставил занятия классиками; Альфред Маршалл ушел из математики; обоим отличало сознание высокой интеллектуальной и педагогической ответственности. Уильям Каннингэм, Герберт Фоксвелл, Фредерик Мэйтлэйд и Джеймс Уорд принадлежали к числу выдающихся дипломированных выпускников конца 1860-х — начала 1870-х; Артур Бальфур, будущий премьер-министр от консерваторов, был вторым на экзаменах по гуманитарным наукам в 1869 г.

На курс этики и политической философии Невилл записался к Генри Сиджвику. Сиджвик, вышедший в 1869 г. из ученого сообщества Тринити-колледжа ввиду нежелания поддерживать его «догматические установки», был типичным представителем нового времени, требовавшего интеллектуальных исканий и чувства высокой ответственности. Он пытался создать стройную систему светской этики взамен ее религиозного понимания, но его ум был настроен слишком критично, чтобы можно было рассчитывать на успех. Невилл, подобно почти всем прочим, находился под очень сильным влиянием притягательной личности Сиджвика, его одержимости в поисках истины и всегда обостренной заботы о справедливости; но сам, не отягощаемый религиозными сомнениями, оставался равнодушен к метафизическим спекуляциям Сиджвика. Умственно он был ближе Альфреду Маршаллу, преподававшему экономическую теорию в Сент-Джонс-колледже. От математики к экономической науке Маршалл пришел через этику, которую он оставил, посчитав пустой тратой

времени. Вскоре, как сообщал Невилл, «он стал очень высоко отзываться о моих докладах, и даже поминал их на своих лекциях»¹⁵. Невилл начал посещать занятия по философии у Фоксвелла, еще одного молодого преподавателя Сент-Джонс-колледжа, и по логике — у Джона Венна, сотрудника Киз-колледжа. Здесь он проявил себя очень способным студентом, хотя некоторые лекции Венна показались ему «бесполезными»¹⁶. Наконец-то он попал в интеллектуально близкую ему среду и смог вернуть себе чувство собственного достоинства. В дневнике он записывает: «Споукс (тоже переместившийся в Кембридж) передает, что слышал, как мою манеру говорить называли заносчивой»¹⁷.

В эти годы он не переставал работать с яростным усердием. За всю жизнь никогда больше он не проявлял столько умственной энергии. Помимо занятий в Кембридже, он готовился также к экзаменам в Лондоне на степень бакалавра естественных наук, которые в октябре 1874 г. он сдал полностью и с отличием, удостоившись высших оценок по геологии и химии. В июле 1875 г. кембриджский наставник С.Е. Сарл советовал ему добиваться в Лондоне золотой медали (которую давали там за первое место при сдаче экзаменов на магистерскую степень). Он не пошел на это только из-за Фосетта, предложившего ему повременить, пока не управится с *трайпос*¹⁸. Целью всех этих усилий, предпринимавшихся за пределами Кембриджа, было одно — повысить шансы на получение места преподавателя. И будто всего этого было мало, он еще оказался во власти «шахматной лихорадки». Он играл на первой доске в университетской команде и давал сеансы игры вслепую, хотя и расплачивался за это головными болями¹⁹.

Награда за шесть лет изнурительного труда явилась в декабре 1875 г. Он был объявлен старшим специалистом по предметам гуманитарного цикла, что последовало за первым местом, занятым на экзаменах соответствующей группы *трайпос*.

Экзаменаторы единодушно отметили его «очень ясный ум», но обратили внимание на недостаток самостоятельности в его философских суждениях. Вопрос о членстве в ученом сообществе колледжа оставался пока открытым. Вакансия в Пембруке была, но на нее, вне всякого сомнения, имелись и другие кандидаты. Решив дополнительно упрочить свои шансы, Невилл в июне 1876 г. сдал в Лондоне магистерский экзамен по политической экономии. Через четыре дня он узнал, что к уже состоявшемуся зачислению его в почетные члены ученого сообщества Университетского колледжа добивалась золотая медаль. А затем, 10 августа 1876 г. пришла телеграмма, сообщившая, что он «единодушно, и почти без обсуждения избран в Пембруке членом ученого сообщества...»²⁰. То был двойной триумф семейства, ибо тогда же, не прошло и двух месяцев, его отец утвердился на посту мэра Солсбери. Правда, жить Джону Кейнсу с его подорванным здоровьем оставалось менее полутора лет.

Невилл добился, чего хотел; но он, надо полагать, уже понимал, что полученное им место ненадежно, потому что систему гарантированных преподавательских должностей как раз собиралась преобразовать назначенная в 1876 г. комиссия специальных правительственных уполномоченных. Главным в предстоявшей реформе было то, что она должна была покончить с негодной практикой, позволявшей членам ученых сообществ колледжей на протяжении всей жизни исправно получать жалованье, не исполняя при этом равным счетом никаких обязанностей. Реформа, как предполагалось, должна была положить этому предел и ограничить срок пребывания в ученом сообществе шестью годами*. Задним

* Действовавшим членам ученых сообществ предоставлялся выбор: они могли держаться прежних правил, либо должны были подчиниться новому порядку. Требовалось также подтверждение пригодности для продления срока пребывания на некоторых должностях, например казначея колледжа. (Phyllis Deane, *The Life and Times of. Neville Keynes*, pp. 44–5)

числом надо признать, что в период до 1882 г. Невилл не смог как-либо проявить себя в должности старшего специалиста. До того, как оставить Пембрук, он ничего не написал. В результате выбор дальнейшей карьеры сузился.

Нелегко установить, что, собственно, не заладилось. Притом что самые высокие оценки были им получены по логике, он под влиянием Маршалла решил специализироваться на экономической теории. Двадцать лет спустя Маршалл говорил о Невилле как об одном из двух-трех лучших студентов из всех, какие у него когда-либо были. Маршалл подтолкнул его к участию в конкурсе на только что учрежденную в университете *премию Кобдена*, хотя Невилла и не вдохновляла предложенная тема: «Воздействие механизации на заработную плату». Премия досталась Джозефу Шилду Николсону, который благодаря ей получил кафедру в Эдинбурге. Похоже, неудача в борьбе за премию стала для Невилла тяжким ударом и сильно подорвала его веру в себя.

В 1877 г. Маршалл перебрался в университетский колледж в Бристоле, ибо ему пришлось оставить место в Сент-Джонс-колледже после женитьбы на своей студентке Мэри Пэйли; это оторвало Невилла от политэкономии и он стал читать лекции по логике в нескольких колледжах, а также в двух новообразованных женских колледжах-пансионатах — Гертоне и Ньюеме. Это свело его со странными, необычными существами, с незнакомой разновидностью молодых женщин — только-только начавших утверждаться в Кембридже студенток. (К сдаче экзаменов-*трайпос* женщины были официально допущены в 1881 г, но присваивать степени им стали лишь с 1947 г.) Одним из побочных следствий высшего образования для женщин стали браки в академических кругах. Маршалл положил начало этой традиции; Невилл пошел по его стопам. Его упорно тянуло к женщинам, и особенно к одной из его собственных студенток, кокетливой Фэнни Хойл, которая, однако, показала себя

слишком легкомысленной, чтобы быть подходящим партнером для брака.

В октябре 1878 г. поступила в Ньюнем семнадцатилетняя Флоренс Ада Браун, старшая дочь преподобного Джона Брауна. Семьдесят три года спустя, в интервью Би-Би-Си по случаю своего девяностолетия, она вспоминала:

Так вот, в те дни в колледже-пансионате Ньюнем было лишь около тридцати студенток. Нашей директрисой была мисс Клаф — выдающаяся личность. Друзья из Кембриджа предлагали ей выступить пионером университетского образования для женщин. И естественно, что она больше всего заботилась о достойном поведении своих подопечных... Так, она хотела видеть нас одетыми скромно, неброско. Но, к огорчению бедной милой мисс Клаф, нас привлекал скорее стиль прерафаэлитов. И нам нравилось щеголять в нарядах, раскрашенных, как павлиний хвост — в платьях синего, терракотового, оранжевого цвета... Не хотелось быть неприметными и нравилось, чтобы все на нас смотрели!²¹

Флоренс была самой молодой воспитанницей мисс Клаф: «Я очень стеснялась и чувствовала себя совершенно неопытной» Но время от времени, под присмотром старших, она выходила в свет и однажды оказалась в гостеприимном доме Бондов в Бруксайде. Уильям Бонд, преуспевавший местный бакалейщик, знал Джона Брауна и дружески поглядывал на его дочь. В Эмерсэм-холле и колледже Лондонского университета его сын, Генри Бонд, учился вместе с Невиллом и теперь также был дипломированным специалистом в Кембридже; свои виды имела на Невилла сестра Генри Энни. Именно в Бруксайде в декабре 1978 г. произошла первая встреча Невилла и Флоренс. Освободившись от пьянившей его и превратившейся в кошмар мечты, то есть от безумного увлечения Фэнни Хойл, Невилл оказался открытым для новых стрел Амура. 20 мая 1880 г. он сделал Флоренс предложение, и она его приняла.

3. Флоренс Ада Браун

Поступление Флоренс в Ньюнем было знаком признания нонконформизма, обладавшего достаточной силой, чтобы преодолеть широко распространенное викторианское предубеждение против образования женщин. Флоренс Ада, старшая дочь Джона Брауна и Ады Хейдон Форд, родилась в Манчестере 10 марта 1861 г. Три года спустя Джон Браун переселился с женой и маленькой дочерью в Бедфорд, получив там в свое ведение приход Бунниан. Позднее семейство пополнили Алиса, Джесси, Уолтер, Гарольд и (лишь в 1879 г.) Кеннет.

В пасторском доме на Дэйм-Алис-стрит в Бедфорде «соблюдался высокий уровень духовной и интеллектуальной жизни», требовавший от его обитателей обоих полов постоянных усилий, поддерживавшихся суровой окружающей обстановкой. В написанной ею истории семейства Флоренс вспоминала большой, продуваемый сквозняками дом, почти не отапливавшийся, но битком набитый памятными вещами Джона Бунниана, одного из первых руководителей Бедфордского собрания. Зимой река Уз замерзала, как замерзало и мыло в мыльнице. В спальнях этажах царил ледяной холод, и не существовало никаких ватных одеял, никаких бутылок с горячей водой²².

Недостаток тепла восполнялся книгами и проповедями. Литературные, политические и теологические интересы плотно заполняли жизнь семейства. Отец Флоренс, Джон Браун, вопреки его все более выраженной внешности патриарха, был общительным ученым, человеком разума, который гасил свои религиозные сомнения постоянным чтением лекций и непрерывными исследованиями по истории и доктрине нонконформизма. Его повествования о Бунниане были развернуты в популярную биографию, изданную в 1885 г. Прекрасный проповедник, он был возведен в сан местного нонконформистского «епископа». Брат Мейнарда Кейнса Джефффри запомнил

его «проповедником на кафедре, высоко вознесенным над конгрегацией, с торчащей белой бородой, здоровым розовым лицом и пронизательными синими глазами, покоряющим своим серебристым голосом увлеченных им слушателей».²³ Убежденный и деятельный либерал в политике, он развлекал членов своей семьи чтением драматических выдержек из речей премьера Гладстона и канцлера Казначейства.

Сама Флоренс была «печальным, тихим и чувствительным ребенком», из тех, про кого друзья сочувственно говорили, что «матери никогда не удастся ее вырастить»²⁴. Ее детство было отягощено напоминаниями о том, что все мы смертны; одна за другой уходили из жизни ее тетки, подолгу длились поминальные службы и траурные мероприятия, уносившие душу в торжественную высь. Теснившиеся рядом с пасторским домом приюты для нищих служили также постоянным напоминанием о нашем долге пред бедными. Ада Хейдон Браун состояла в Лондонском миссионерском обществе, отдавала себя благотворительной деятельности и либеральной политике. Как и у многих викторианцев более позднего времени, сознание общественного долга сохранялось у Флоренс дольше, чем религиозная вера.

Именно мать постаралась устроить встречу Флоренс с подававшим надежды молодым преподавателем из Пембрука. «При своем деятельном уме, неистощимой энергии и унаследованной от собственной матери страсти к образованию»²⁵ Ада Браун основала в пасторском доме школу специально для своих дочерей, которые иначе не смогли бы получить образования.

С привлечением извне некоторой помощи в преподавании языков и математики, Ада Браун сумела на месте устроить для дочери экзамены на поступление в Кембридж — и достаточно успешно, чтобы та получила небольшую стипендию, позволившую ей готовиться в Ньюнеме к экзаменам более высокого уровня, а потом и к преподаванию в школе своей матери. К тому времени она

уже помогала матери в управлении воскресной школой общины Буньяна. Пусть при первом своем появлении в Ньюнеме она страдала от застенчивости и неопытности, но, оказавшись в положении старшей дочери матери-хозяйки, она быстро освоилась и прониклась ответственностью.

Трудно воспринять Флоренс так же однозначно, как воспринимается Невилл. Ее долгая жизнь разворачивается перед нами столь же сухим повествованием и перечнем фактов, как и написанные ею на старости лет две книги — о Кембридже и о связях семейств Браунов-Кейнсов, в кругу которых она провела жизнь. Факты и достижения — все там есть, но стоявшие за ними личности тщательно прикрыты, глубоко спрятаны. Написанные ею некрологи — это какие-то списки комитетов. Энергией и интересами Флоренс была слишком богата, чтобы они могли замыкаться в домашних стенах. Она была отпрыском семейства, посвятившего себя совершенствованию — собственному и всего мира. Ее время, совпавшее с ростом общественной и частной благотворительности, дало ей гораздо больше, чем было у ее матери, возможностей проявить себя на этой ниве.

Но этот образ энергичной женщины, общественной деятельницы, вечно преследующей благие цели, не дает полного впечатления о ее личности. Она, несомненно, была женщиной, умевшей скорее очаровывать и убеждать, но не притеснять коллег. На ее смерть местный корреспондент отозвался такими словами: она все делала с таким милосердием и добротой, что работать с нею каждый почитал за удовольствие. Для своих детей, отметил автор некролога в *'Таймс'*, она была «и матерью, и товарищем». Флоренс была не из тех матерей, чья любовь к человечеству затмевает все, не оставляя сил и времени для любви к собственной семье. Она не подчеркивала своих привязанностей, но не оставляла ни малейших сомнений, что на первом месте у нее всегда стояли муж и дети.

В ее отношениях с Мейнардом наверняка было и еще нечто очень важное. Флоренс выросла в суровой школе. Как у многих английских женщин нонконформистского воспитания, ее предпочтения и вкусы были высокодуховными, но отличались определенной узостью. Целые области эстетической и эмоциональной жизни оставались для нее недостижимыми. Тем не менее она упрямо сопротивлялась превращению в памятник своего времени. Интересы детей она делала своими собственными. В большей мере, чем потухший прежде нее Невилл, она перешагнула вместе с ними в двадцатое столетие. Это позволило ей возвыситься над своим викторианством — настолько даже, чтобы перекинуть, неким необычным образом, мост через ров, отделявший пасторский дом в Бедфорде от Блумсбери. Именно потому, что она умела расти вместе с детьми, родительский дом никогда не становился для них слишком тесным.

4. Викторианская закваска

Из дневника Невилла за 1881–82 гг. вырвана примерно треть страниц. Отсутствующие и поврежденные записи приходятся на то время, когда Невилл, молодой холостяк, начинающий бакалавр-преподаватель становился благополучным отцом семейства и поистине брел через долину отчаяния, поддерживаемый одной только Флоренс, которая надежно прикрывала его от жизненных невзгод.

Отец Невилла Джон Кейнс умер от рака желудка в феврале 1878 г. Он оставил в наследство около сорока тысяч фунтов — сумму по тем временам весьма существенную. Доля Невилла составила 17 тысяч, сестра Фэнни получила 12 тысяч. Вдове Энн достались 12 тысяч в доверительном управлении и вдобавок дом в Солсбери, а также доля Кейнса в оранжереях и других предприятиях, которые были распроданы²⁶. Располагая твердым годовым до-

ходом в 800 фунтов, Невилл имел возможность жениться и начать семейную жизнь в обычном буржуазном стиле, то есть обзавестись просторным домом и нанять приличествующее число слуг.

Вскоре после объявления о помолвке, в мае 1880 г., Флоренс сдала на месте экзамены повышенного уровня* и возвратилась в Бедфорд, чтобы помогать матери в управлении Школой. Там она и продолжала жить до свадьбы, состоявшейся двумя годами позже. Раз в три недели Невилл навещался в Бедфорд — меньше часа поездом. Время от времени она приезжала повидать его в Кембридже, останавливаясь в Бруксайте у Бондов. Каникулы они проводили вместе — то в Бедфорде, то в Солсбери.

Во время этих ухаживаний Невилл пребывал по большей части в сильно подавленном состоянии. Отчасти его мучили физические недуги: помимо не оставлявших его неприятностей с зубами, наваливались головные боли, терзали простуды, приносившие с собой острые приступы ипохондрии, с которыми он никак не мог справиться²⁷. Он убедил себя, что Флоренс собиралась связать себя с инвалидом, которого ей придется выхаживать в течение всей ее, неизбежно краткой, замужней жизни²⁸, — притом еще если самой удастся выжить. «Часто она выглядит так неважно, — нашептывала Невиллу его мать. — Должно быть, у нее очень хрупкое здоровье. Порой меня это невольно тревожит, особенно потому, что и ты не крепкого склада. Будем тем не менее надеяться на лучшее»²⁹. Энн Кейнс и Невилл были очень близки друг другу. Она писала ему в 1882 г.: «Ты для меня — все. Я благодарю Бога за такого сына. В значительной мере ты восполняешь мне то, чего я лишилась в твоём возлюбленном отце»³⁰. К его недовольству собственной неспособностью достойно выразить свою любовь к матери теперь добавилось чувство вины за то, что он же-

* Флоренс не стала сдавать *трайпос* даже неофициально, как это сделала Мэри Пэйли. Поэтому она не считалась "выпускницей" Ньюнема.

нится и покидает ее. Дело осложнялось тем, что Энн Кейнс находила Флоренс несимпатичной. Флоренс, со своей стороны, наложила вето на предложение, чтобы после свадьбы свекровь переехала и жила вместе с ними³¹. Вероятно, прилично образованная девочка Флоренс находила Энн Кейнс развязной и недостаточно развитой, совершенно лишенной интеллектуальных интересов и общественных забот, которыми постоянно жили обе ветви ее собственного семейства. Только летом 1881 г. появились признаки, что Энн Кейнс готова примириться с помолвкой Невилла и с самой Флоренс³². Зимой 1881–82 гг. мать и сын устроили себе прощальное путешествие по Франции и Италии, во время которого Невилл открыл для себя Монте-Карло, как «самое восхитительное место на Ривьере»³³. Поездка, заключил он по возвращении, «доставила мне большое удовольствие тем, что я был с нею, и смог, кажется, выказать ей немного любви»³⁴.

Встречи с Флоренс и ее письма, часто восхитительные, порой наводили на подозрение, что ее любовь к нему не столь страстна и неизменна, как хотелось бы. Такого рода мысли повергали в отчаяние и заставляли думать, что он ее не достоин. В иных случаях они сердили его и настраивали на критический лад. Она казалась бесчувственной, взбалмошной, неблагодарной. В летние каникулы 1881 г. он вел себя с нею «по-скотски»³⁵. Флоренс с жаром защищалась: «Да, вы — критикан... мне следует разобраться в вашем характере и точно выяснить, каким образом можно выносить непрерывную критику»³⁶. Одновременно она изо всех сил старалась его утешить: «Вы говорите так, будто любой обнаруженный мною у вас недостаток мог бы подорвать мою любовь к вам. Но это послужит лишь дополнительной причиной надеяться, что вы не будете чересчур строго относиться к моим недостаткам. Я люблю вас и всегда буду любить»³⁷. Самое Флоренс разрывал внутренний конфликт между Невиллом, которого она любила, преданностью

собственному семейству и работой в Бедфорде. Но ей никогда не грозила опасность утонуть в пучине отчаяния. Как ни мало у нее было жизненного опыта, она чувствовала себя в браке более сильной стороной и видела свою задачу в том, чтобы заботиться не о теле, а о доверии мужа.

У меня тоже есть свои переживания, но я не терплю мрачных мыслей — я умею отодвигать их на потом, чтобы обдумать в лучшие минуты, а тем временем они вообще улечиваются. Мои переживания всегда возникают на почве размышлений о самой себе и о своих способностях. Порой я себя так презираю, что мне кажется вполне естественным, вполне в порядке вещей, если вы испытываете ко мне те же чувства, — и это мне нравится. Все эти мысли лучше гнать прочь, потому что, как я полагаю, болезненное копание в себе скорее мешает, чем способствует развитию...³⁸

Хотя внешне Невилл мог казаться сложившимся деловым человеком, в действительности именно Флоренс поддерживала их партнерство на плаву.

Мало того, что отношения с Флоренс наполняли душу Невилла беспокойством, они еще рождали неопределенность относительно его будущей карьеры. Как раз во время помолвки Невилл признался Флоренс в том, что она признала его главным недостатком: в отсутствии у него честолюбия. После помолвки у нее были основания думать, что ему предназначено подняться на вершину академической лестницы. Но этому не суждено было случиться. Едва состоялась их помолвка, как он принял решение, сыгравшее в его карьере определяющую роль, хотя без этого можно было бы и обойтись. Ко времени, когда они обручились, стало ясно, что, согласно новым правилам, его членство в ученом сообществе прекратится через шесть лет — в 1882 г. В Кембридже не было никаких открытых академических вакансий. Зато было место в университетской администрации. В 1858 г. университет учредил местный экзаменационный синдикат или комитет для приема эк-

заменов у школьников и выставления оценок их знаниям. В 1873 г. в рамках движения за расширение университетского образования возник еще один синдикат — для чтения выездных лекций. У этих двух синдикатов был один общий секретарь, но на каждый приходилось по особому помощнику секретаря. В начале 1881 г. освободилась должность помощника секретаря в экзаменационном синдикате. Большинство друзей Кейнса советовали ему не притязать на нее, и твердо держать курс на получение академической работы. После смерти У.С. Джевонса открылось профессорство по экономической теории в колледже Лондонского университета. Маршалл дал ему блестящую рекомендацию, которая, даже со скидкой на обычные в этих случаях преувеличения, показывала, какие огромные надежды он на него возлагал. Тем не менее, когда Невиллу предложили административную должность, он решил забрать свою заявку на профессорство, доставшееся Фоксвеллу. Это решение огорчило Флоренс³⁹. Впоследствии успехи ее детей, особенно Мейнарда, вероятно, принесли ей то самое удовлетворение, которого она так тщетно ждала от карьеры Невилла. Пока же Невиллу, обладавшему недюжинным умом, но лишенному честолюбивых устремлений, была предоставлена возможность способствовать восхождению своих детей, не вступая в соперничество с ними.

С поступлением на работу в Кембридже возникла необходимость обзавестись там жильем. Они решили купить дом, строительство которого завершалось в «спецпоселке» для семейных преподавателей. Проект был утвержден в ноябре 1881 г., и дом уверенно рос всю зиму и весну, предвещая начало новой жизни.

Свадьба была назначена на 1882 г. и приурочена к окончанию его членства в ученом сообществе Пембрука. Невилл проникался все большей симпатией к Браунам. «Наконец-то мы с Джесси поцелуемся, как подобает брату и сестре», записал он в дневнике в феврале 1882 г. Признавался, что испытывает все большую любовь к Уолте-

ру⁴⁰, находил малолетку Кеннета «занятым»⁴¹ и получал все большее удовольствие от проповедей мистера Брауна. Они его успокаивали⁴².

Джон Браун написал Флоренс, что Невилл — это «дорогой славный парень» и что он вполне доволен ее выбором. У Флоренс были «припадки истерических рыданий»⁴³, не могла удержать слез и Ада Браун⁴⁴. Много плакали и в Солсбери. 17 июля 1882 «прощались с мамой и тетей Мэри. Боюсь, обе восприняли это как крушение дома Солсбери. Но я полагаю, что мать во всяком случае больше получит, чем потеряет от моего замужества». Самые глубокие чувства Энн Кейнс нашли себе выход в письме Невиллу, в котором она сразу после свадьбы обсуждала возможность для нее жить с молодыми в Кембридже:

Опять-таки мне следует ближе узнать Флоренс. Как и ты, она очень сдержанна, настолько, что я не вполне ее понимаю. Я совершенно уверена, что она умеет ценить доброту — впрочем, хорошо бы побольше ее проявлять — и со временем это, несомненно, придет. Ты знаешь, дорогой Невилл, что мой любящий и нежный муж, твой дорогой отец, был для меня всей той любовью и привязанностью, о которой я ужасно скучаю — и тем больше, чем дальше идет время, — и это возможно, делает меня более чувствительной. Считаешь ли ты, что Флоренс станет меня благодарить за жизнь в Кембридже? Она ни разу этого не предложила, как не поминала об этом и г-жа Браун. Так вот, все это — между нами, дорогой Невилл. Все еще образуется, я знаю... Я чувствую, сейчас подходящий случай сказать то, что у меня всегда лежало на душе. Ты знаешь, как я радуюсь вашему счастью, и это в конце концов превосходит для меня все личное⁴⁵.

По мере приближения дня свадьбы Невилл и Флоренс все крепче цеплялась друг за друга в поисках надежной опоры. Она подтверждала свою любовь страстной прозой⁴⁶; он изливал свои чувства в полных отчаяния стихах⁴⁷. Она призывала его не ныть по поводу своих недостатков. Он писал в дневнике: «Моя дорогая единствен-

ная! Она еще не знает всего, что ей, вероятно, придется переносить ради меня!»⁴⁸ С 12 августа он перестал быть человеком Пембрука. Если бы «не переживания, которые и не исчезают, и не поддаются обузданию», он был бы вполне счастлив. «Моя дорогая дева очень скоро станет моей дорогой женой. Если только смогу вести себя более или менее сносно...»⁴⁹

Наконец, 15 августа 1882 г. Невилл, охваченный паникой, повел Флоренс к алтарю. Церемония в Бедфорде была прежде всего делом Брауна. Служба, которую служил отец Флоренс, оказала «глубокое воздействие своей серьезностью и простотой». (Невеста в парчовом платье цвета слоновой кости была на полтора дюйма выше жениха.) Проводить свой медовый месяц они отправились в Швейцарию. Их брак продолжался шестьдесят семь лет, до смерти Невилла в 1949 г. в возрасте девяносто семи лет. По всем признакам, это был счастливый союз по любви. В четырнадцатую годовщину свадьбы Невилл записал в дневнике: «Вместе мы сейчас счастливы больше... чем когда-либо прежде. Вся жизнь в браке действительно была сплошь временем счастья». Три года спустя он написал: «каждый год я поздравляю себя снова и снова с тем, какую замечательную мудрость и сколько предвидения я проявил в выборе жены». Нетрудно, действительно, поверить, что без твердой, как скала, опоры в лице Флоренс, без силы ее духа, железная дисциплина, державшая Невилла в его работе, рухнула бы гораздо раньше, чем это случилось. Не столь ясно, был ли Невилл идеальным мужем для женщины с темпераментом Флоренс. По мере того, как его жизнь мало-помалу угасала, ее амбиции неуклонно уводили ее от мужа к сыновьям.

По возвращении после медового месяца в Англию они купили мебель для нового дома⁵⁰. 11 ноября 1882 г. они провели свою первую ночь на Харви-роуд, 6. В это время Флоренс «чуть не целый день чувствовавшая себя неважно», сказала об этом матери, и та объяснила, «что с нею происходит. Мы оба были удивлены»⁵¹. Теперь их

одолевали мысли о превращении в родителей. 18 февраля 1883 г.: «Мы так счастливы. Не слишком ли мы счастливы? Не нуждаемся ли мы в дисциплине страдания? Мы много думаем и говорим о «беззащитной малышке».

Схватки начались в 3.00 5 июня 1883 г.

Невилл сообщал матери:

В 9.30 я пошел послушать под дверью... Флоренс время от времени тихо стонала (говорят, она держалась очень мужественно), и в 9.45 я услышал эдакое *хул-ла-ла-балу*, и г-жа Браун выглянула в дверь и сказала, что это мальчик. (Для меня чувствительный удар — я хотел девочку, — но думаю, ты будешь довольна)... Говорят, мальчик — вылитый я. Это нечто достаточно уродливое... А теперь, что ты думаешь об имени Джон Мейнард? Именно его мы предлагаем...

Джон Браун написал из Бедфорда: «Мне нравится предложенное имя — Джон Мейнард Кейнс звучит весомо, как имя солидного героя из серьезного романа»⁵².

II

Кембриджская цивилизация: Сиджвик и Маршалл

1. Кризис авторитетов

По рождению Мейнард Кейнс попал в определенную цивилизацию в некий конкретный момент ее истории и оказался в числе возвращенных ею выдающихся плодов. Он разделил ее устремления и вобрал в себя ее противоречия. Он рос в тени ее великих деятелей, особенно Генри Сиджвика и Альфреда Маршалла, учителей и коллег его отца. На его образе мысли и выборе жизненных путей лежит узнаваемый отпечаток Кембриджа. Рой Хэррод, его первый биограф, часто толкует о «предрасположениях, вложенных в него домом № 6 по Харви-стрит». Но предрасположения, вложенные цивилизацией Кембриджа, имели гораздо более глубокую основу. Многого в жизни Кейнса не понять, если не познакомиться с особенностями этой цивилизации.

Интеллектуальную жизнь викторианского Кембриджа сформировали кризис и последующее угасание религии. 1860-е годы были десятилетием, когда люди Кембриджа утратили веру: Эдвард Карпентер, Лесли Стивен, Генри Сиджвик, Альфред Маршалл, Артур Бальфур — все принадлежали к классу «усомнившихся» шестидесятников. Начато это десятилетие было изданием в 1859 г. дарвиновского *‘Происхождения видов’* со всеми вытекавшими из него следствиями, а завершилось результатами второй парламентской реформы 1867 г. Смерть Бога и рождение

массовой демократии, более или менее совпавшие по времени, удивительным образом замкнули умы людей на проблемах личного поведения и общественного устройства.

Викторианский миропорядок опирался на евангелическую веру и почитание существующего общественного порядка. На скальных порогах этих «данностей» английские и шотландские мыслители Просвещения возвели политические, нравственные и экономические учения, основанные на суверенитете личности, ее интересов и предпочтений. Им никогда не приходило в голову, что эти интересы и предпочтения могли бы стать предметом изучения и развития на нехристианской основе, что они способны выйти за пределы ограничений и согласований, принятых существующей социальной структурой. Угроза слома этой охранительной системы оставляла их наедине с собственным индивидуализмом как единственной опорой в жизни, и это немедленно ставило их перед лицом сложнейших проблем. Где была гарантия, что индивидуальные выборы и предпочтения дадут в сумме желательный общественный результат? Что — если не считать награды на небесах — могло служить гарантией совпадения личного счастья с общественным долгом?

Из всех существовавших учреждений кризис христианской веры более всего затронул старые университеты. Их интеллектуальная деятельность складывалась в значительной мере из богословских или богословски окрашенных спекуляций. Они поставляли господствующей Церкви ее священнослужителей. Они были, таким образом, одной из неперенных опор унаследованного обществом порядка. Но как могли они по-прежнему исполнять свою социальную функцию в условиях, когда богословие теряло способность вести привычную нравственную и политическую работу, а их дипломированные выпускники не стремились больше к церковной карьере — или, по крайней мере, таких становилось гораздо меньше, чем прежде?

Такого рода вопросы господствовали в движении за университетскую реформу. Одним из ответов стало то,

что двери университетов открылись перед лицами, не принадлежавшими к англиканским общинам, и именно благодаря этому Невилл Кейнс смог попасть в Кембридж. В основе лежал консерватизм — желание предотвратить появление соперничающего или инакомыслящего класса интеллектуалов. В этом плане успех был достигнут: за исключением небольшой группы фабианцев, ни один выпускник Оксфорда или Кембриджа не оказал в последующие шестьдесят лет сколько-нибудь значительного влияния на развитие английской мысли — в резком контрасте с предшествовавшим шестидесятилетием, когда большинство оригинальных интеллектуалов работали вне университетского мира. Не подлежит сомнению, что относительная замкнутость, вкладываемая в английское понятие «джентльмен», содействовала этой консолидации интеллектуальной собственности. Никто не назвал бы Невилла Кейнса иначе, как джентльменом, хотя его отец в одиннадцатилетнем возрасте начал самостоятельную жизнь учеником в мастерской по изготовлению кистей.

Однако сплочение класса интеллектуалов было только частью отклика на падение религии. Что от интеллектуалов требовалось и что многие ведущие умы среди них намеревались дать обществу, так это авторитетное учение — авторитетное в том смысле, чтобы оно, по словам Сиджвика, могло обеспечить «добровольное единодушие» экспертов. Поначалу задачу создания такого учения оставили за философией, главным образом — за этикой, философией нравов. Именно она, как ожидалось, могла создать истинную веру светской эпохи.

С освобождением от богословия в этике сложились два главных направления, открытых для продвижения интеллектуалов: интуитивизм и утилитаризм. Оба имели свои богословские корни, но одинаково были приспособлены к развитию вне теологии, потому что обращались прежде всего к человеческому разуму. Различие между ними проще всего показать следующим образом: интуитивизм стоял на том, что поступки и действия могут быть

правильными или неправильными, независимо от их последствий; утилитаризм же настаивал, что о поведении надлежит судить сообразно его результатам: в *бентамовском* и *гедонистском* толкованиях благие результаты суть те, что способствуют приросту человеческого счастья. Взывали к двум разным сторонам человеческой души: образно говоря, в одном случае, вели речь о монете, в другом — о способе счета. Предполагались разные виды знания. За интуитивизмом скрывалось некая мораль, и она питала нравственные чувства; утилитаризм же все внимание отдавал последствиям. Философия, ставившая во главу угла благие побуждения, приходила в столкновение с философией, ратававшей за благие результаты.

Из этих философских разногласий вытекали серьезные политические последствия. Утилитаризм имел своих радикалов. Учреждения или методы должны, мол, быть отброшены или преобразованы, если не выдерживают проверки их полезности. Это было естественным убеждением тех, кто находился вне сложившейся системы учреждений. Интуитивизм, в противоположность этому, сам был внутренней доктриной системы. Говоря словами Уильяма Пэйли, одного из ранних утилитаристов, любая система этики, исходящая из наличия врожденных идей, «найдет причины и доводы, чтобы оправдать существующую практику». Этот взгляд разделял, конечно, и Джон Стюарт Милль. Он назвал интуитивизм большим интеллектуальным подспорьем ложных доктрин и негодных институтов. С его помощью, писал он, «закоренелая ложь и всякое неведь откуда взявшееся вожделение наделяется способностью интеллектуально себя оправдывать без необходимости доказывать свою состоятельность»¹. Ведущие кембриджские интуитивисты, такие как Адам Седжуик и Уильям Уэвелл, оба из Тринити-колледжа, считали обосновавшихся в Лондоне последователей Бентама опасными смутьянами. По мнению Седжуика, утилитаризм толкал людей к «насильственным и неуместным нападкам на социальный строй, готовил их к дерзким преступлениям».

С точки зрения Уильяма Уэвелла, он подрывал «завещанное традицией почтение... к нравственности и религиозному воспитанию, к тому, что до сих пор представляло собой охраняемые формы моральных благ»². К этой полемике не стоит относиться чересчур серьезно: философские споры велись согласно установленным и общепринятым правилам и в пределах богословской традиции «свободомышлия», — достаточного, чтобы удовлетворить наиболее разумных людей. В Англии девятнадцатого века не было ничего реально соответствовавшего наблюдавшемуся на континенте размежеванию между реакционерами и либералами, клерикалами и антиклерикалами. Интеллектуальная энергия, которая во многих других частях Европы выливалась в борьбу за те или иные формы народного правления, в Англии могла быть мобилизована на то, чтобы ограничить ее возможные последствия.

В сущности, философские разногласия этих двух школ могли бы быть достаточно легко преодолены, изменись только их восприятие в обществе. С середины девятнадцатого века интеллектуальный нонконформизм, главный источник утилитаристской мысли, был поглощен и усвоен господствовавшими институтами. Естественно, что взгляды, складывавшиеся внутри системы казались более привлекательными, чем те, что предлагались ей извне. С другой стороны, интуитивисты, видя, как рушатся их теологические опоры, готовы были принять некий высший принцип, который позволил бы упорядочить их «интуиции», выпущенные ими из своего ящика Пандоры. Для обеих сторон остро стоял социальный вопрос. Вдобавок исторические, социологические и юридические исследования способствовали сближению двух школ, подчеркивая функциональное значение многих учреждений и обычаев, которые философы раннего Просвещения расположены были зачислять в разряд никчемных суеверий. В результате появился известный викторианский компромисс, на основе которого интуитивистов убедили признать полезность как критерий конечной проверки докт-

рины, а утилитаристы, в свою очередь, согласились, что существующие социальные порядки оправданы тем, что не лишены в конце концов кое-какой полезности. Благодаря этому философскому сплаву особая английская традиция совершенствования консерватизма получила должное интеллектуальное обоснование, и смогла затем успешно содействовать промышленному развитию. Даже рабочее движение вынуждено было бороться за свои политические и социально-производственные цели, оставаясь в кругу тех идей, которые в значительной мере (хотя и не исключительно) были предложены этими интеллектуальными представителями класса собственников.

Все же интеллектуальный синтез соперничающих философских традиций ни в коем случае не достиг совершенства. Философское согласие было возможно, пока дело касалось общества. Едва речь заходила о соотношении общественного и личного поведения, — появлялись трудности. В конце концов оказалось невозможным в пределах последовательной небогословской структуры идей сочетать социальную философию и этику. Социальная философия не могла обойтись без утилитаризма; этике же ужиться с ним было непросто.

Чтобы понять, почему возникала эта трудность, следует припомнить некоторые особенности викторианской эпохи. Коротко говоря, многие особенности тогдашней жизни отнимали у думающего человека права и на эстетическое удовольствие, и на личное счастье. С одной стороны, намного более резко обозначились различия между трудом культурного содержания и деятельностью, далекой от культуры. Старая дворянская культура, включавшая в себя образование и занятия искусствами, теперь решительно противостояла сильно разросшемуся миру предпринимательства, делания денег и политики. С другой стороны, широко распространившаяся пуританская этика сумела подавить куда более мягкие моральные установки восемнадцатого столетия; она сильно ужесточила нравственные требования, предъявлявшиеся личности

именем общественного долга. За свои материальные достижения и социальную стабильность викторианская цивилизация по обоим этим счетам уплатила высокую цену культурного обнищания и психического напряжения. Едва богословие перестало показывать думающему викторианцу аксиоматически бесспорную связь между этикой и общественными нуждами, как обнаружилась и стала разрастаться напряженность между идеалами цивилизованной жизни и потребностями общества, между личным счастьем и общественным долгом.

Эта напряженность была сердцевиной движения за университетскую реформу. В глазах реформаторов проблема состояла в том, как сохранить уровень культуры и вместе с тем приспособиться к обслуживанию общества, занятого деланием денег. Было принято решение шире открыть двери университета для элиты, чтобы воспитать ее в духе старой дворянской культуры³. Обязательный вступительный экзамен по древнегреческому был сохранен; стоявшие в учебных планах материалы древней классики и математика (в Кембридже) преподавались строго в отрыве от практики их возможного применения. Таким способом университет защищал себя от наплыва отпрысков коммерсантов и — того важнее — стремился получить гарантию, что его дипломированные выпускники сами не пойдут в бизнес. Прежде в большинстве своем они становились священнослужителями. Теперь их путь лежал в систему образования, на государственную службу, в науку. В первой половине двадцатого века эта встряска должна была поставить во главе общественной жизни Британии людей с образованием, не запятнанным какими-либо знаниями об индустриальном обществе, и с глубокой внутренней неприязнью к погоне за материальной выгодой. До сих пор не унимаются споры — хорошо это оказалось для Англии или плохо⁴. В некоторой степени это также дало Англии правящий класс, который стал воспринимать общественную деятельность как отклонение от более высоко ценимой частной жизни. Укрепившееся представление, что частная

жизнь должна быть отделена от жизни публичной и находится от нее на расстоянии, а в известном смысле и в оппозиции к ней, подорвало попытку философски примирить два начала. Джону Стюарту Миллю, в частности, это не позволило связать социальную философию и этику принципом полезности. В одном Милль преуспел. Взявшись создать «объединяющее учение», в которое вошли бы главные позитивные положения его критиков-интуитивистов⁵, он смог дать утилитаристские оправдания многому из текущей общественной практики. Что Миллю удалось гораздо меньше, так это соединить свою социальную доктрину с этикой.

Автобиография Милля — блестящий анализ кризиса, постигшего викторианство на середине его исторического пути. Там подняты две проблемы, имеющие ключевое значение для понимания цивилизации, пребывавшей во дни Кейнса в переходном состоянии. Во-первых, если дороги личного счастья и общественного долга расходятся, как примирить их между собой? Далее, может ли счастье или удовольствие быть достойной целью человеческого поведения? Разве не бывает такого, чего стоит добиваться, таких желаний, которые надо удовлетворять, потому что они заслуживают этого сами по себе, не нуждаясь ни в каких утилитаристских оправданиях? Не лучше ли быть страдающим Сократом, чем всем довольным дураком?

Что Миллю удалось, так это привить Кембриджу бентамовскую составляющую своих воззрений на социальную политику. Утилитаризм Милля, математика Кембриджа и неконформистские верования Кембриджа — вот что слилось в кембриджской школе экономической мысли, основу которую заложил Альфред Маршалл. Что не получилось у Милля, так это сделать бентамовской этику Кембриджа. Генри Сиджвик, великий современник Маршалла, пытался, но не сумел заделать бреши в стенах бентамовской крепости Милля. Постигшая его неудача оставила открытым путь Дж.Э. Муру, который, опираясь

на ряд других особых традиций Кембриджа, смог создать кембриджскую школу этики антибентамовского содержания. Социальная философия и этика в их кембриджском понимании распались, и никогда больше не сходились вместе. Мейнард Кейнс провел жизнь, выписывая зигзаги между ними.

2. Кембриджская среда

С точки зрения обсуждаемой темы, интерес для нас представляют две главенствующие личности поздневикторианского Кембриджа — Генри Сиджвик и Альфред Маршалл. Они были почти ровесниками. Сиджвик родился в 1838 г., Маршалл — в 1842. Оба преподавали гуманитарные науки, готовили студентов к сдаче *трайнос*. Сиджвик стал профессором этики в 1882 г., Маршалл — профессором политической экономии в 1885. Оба получили в наследство проблемы разрушавшегося богословия и оба были заняты по существу одним и тем же делом: искали авторитетную замену богословию. Оба понимали, что это требовало приспособления к викторианскому складу умов. Подобно Миллю, они оба были сторонниками компромиссов и синтезаторами. Но если усилия Сиджвика были сосредоточены на проблемах этики, то Маршалл обращал внимание в основном на определенную прикладную область этики, каковой он считал экономику. Это расхождение объяснялось различиями в интеллектуальной подготовке и темпераментах. Сиджвик был классицистом, Маршалл — математиком. Утрата религиозной веры также сказалась на Сиджвике куда болезненнее, чем на Маршалле. Замах у Сиджвика был, таким образом, больше. Он хотел на место богословия поставить светскую философию как научную основу всякого общественного и личного поведения. Маршалл быстро понял, что такая попытка обречена на провал. Экономическая наука располагала, по его мнению, гораздо большим по-

тенциалом развития, при условии отделения ее от этики. В рамках кембриджской организации исследовательского процесса это расхождение во взглядах вылилось в надолго затянувшееся сражение, которое Маршалл развернул против Сиджвика, добиваясь освобождения экономической науки от оков этических *трайпос* — сражение, которое он выиграл лишь после смерти Сиджвика. Сиджвик потерпел поражение — и интеллектуальное, и организационное. Его *‘Методы этики’* (1874 г.) были встречены одобрительно, не в последнюю очередь им самим, но поставленной цели он не достиг, в то время как *‘Принципы экономической теории’* Маршалла (1890 г.) были немедленно признаны авторитетным трудом. Тем не менее неудача Сиджвика ни в коем случае не была столь сокрушительной, чтобы удержать других от попыток поставить этику на научную основу. Для многих воспитанных в христианстве интеллектуалов насущной оставалась потребность в авторитетном руководстве жизнью — таком, которого не давала им экономическая теория.

Сиджвик был человеком немалых способностей; беда в том, что они плохо сочетались между собой. Он потратил жизнь в попытках разработать философию, которая должна была содействовать нужному их согласованию друг с другом. Но так этого и не добился. Для примирения его противоречий требовалась вечность, но вечность была именно тем, во что Сиджвик верить не мог. Он был, по слову Карлейля, типичным викторианским интеллектуалом, «лишенным веры и приходившим в ужас от скептицизма».

Сын англиканского священника, Сиджвик в 1858 г. получил в Кембридже высшие оценки по предметам классического цикла и по математике. Он стал членом ученого сообщества Тринити-колледжа, как раз когда возшла звезда Милля, а богословие обратилось в отступление. Неудивительно, что он заглотнул утилитаризм Милля и потерял свою веру, хотя и не потребность в ней. Со временем, в 1869 г., он вышел из ученого сообщества, обнаружив, что не может больше принимать «39 статей», то есть свод дог-

матов англиканской церкви. Сиджвик стал одним из самых богатых связями людей своего времени; он легко — пусть и небезболезненно — перемещался между несколькими мирами викторианских забот. Благодаря замужеству своей сестры с Э.К. Бенсоном, будущим архиепископом Кентерберийским, и его собственный женитьбе на сестре Артура Бальфура, возвышавшегося политического деятеля-консерватора, он получил доступ в высшие сферы англиканской церкви и в большую политику. Но ни церковь, ни влиятельные политики, вместе взятые, не способны были указывать ему, что он должен делать. Поиск ответа на этот мучительный и остававшийся без ответа вопрос перебрасывал его с одного странного занятия на другое — то он изучал арабский язык, то посвящал себя исследованиям в области психологии. Кроме того, он был глубоко вовлечен в проблемы своих друзей-гомосексуалистов, вроде Джона Аддингтона Симондса, читая им стихи и сжигая их собственные поэтические опусы. Его душа — окно во все обители викторианских недугов.

Тем он, конечно, и поразил Мейнарда Кейнса. В 1906 г. Кейнс, время от времени игравший с Сиджвиком в гольф, сделал на его счет жестокую в ее точности запись: «Он никогда ни о чем ином не думал, кроме как об истинности христианства, искал доказательства, что это не так, и тешил себя надеждой, что все-таки оно истинно». Ради примирения личного счастья и общественного долга Сиджвик нуждался в христианстве, в которое он больше не мог верить. Раз уж дело обернулось крахом, он не намеревался расстаться с собственным разумом ради «месива мистической похлебки». Но в результате его уделом стал, как он выражался, «искалеченный интеллект».

Подобно Миллю, Сиджвик считал, что люди должны жить так, чтобы содействовать росту общего счастья. Но как могли они оправдать такую жизнь, если при этом надо было поступаться собственным счастьем? Существовали опять же определенные действия, состояния души, жизненные повороты, которые, как говорил ему ин-

стинкт, оказывались во благо или во зло, независимо от того, увеличили они или уменьшали собственное или всеобщее счастье. Эти дилеммы были предложены Сиджвиком, но не получили удовлетворительного разрешения в изданных в 1874 г. *‘Методах этики’*. Три «методами» этических суждений он назвал *разумный эгоизм, интуитивизм и разумную благосклонность*.

Соотношение между разумным эгоизмом (стремлением к моему собственному счастью) и разумной благосклонностью (стремлением к всеобщему счастью) Сиджвик определил как «глубочайшую проблему этики». Он считал, что людям следует действовать, руководствуясь именно разумной благосклонностью. Но он не мог убедить себя, что это сделает их счастливыми. Он писал, что «неразрывной связи между утилитаристским долгом и соответствующим наибольшим счастьем личности не может быть дано удовлетворительного эмпирического обоснования». Причиной тому — отсутствие каких бы то ни было «эмпирических» свидетельств существования Бога. Божественных установлений «было бы, конечно, достаточно, чтобы постоянным личным интересом каждого стала полная отдача сил на увеличение всеобщего счастья»⁶.

Сиджвику казалось, что он далеко продвинулся в разрешении второй дилеммы — между требованиями интуиции и разумной расчетливостью. Интуитивизм, говорил он, не стоит в оппозиции к утилитаризму, так как все, что мы принимаем для себя как благо, вносит счастье и в мир в целом. Поэтому большинство наших интуитивных моральных суждений и вытекающих из них этических правил может быть обосновано и утилитаристски.

Установив, что необходимым условием целостной и непротиворечивой этической системы является бессмертие, Сиджвик остаток жизни потратил в значительной мере на отыскание его эмпирических свидетельств. Он пытался устанавливать контакт с умершими, став ради этого председателем общества психологических исследований. Главным результатом этих исследований стало, увы, «зна-

чительное расширение моих представлений о способностях человека верить и быть доверчивым»⁷. Избрание его в 1883 г. главой кафедры этики в Найтбридж-колледже повлекло за собой духовный кризис, отразившийся в следующей его дневниковой записи:

28 января 1886:

Я столкнулся с тем фактом, что у нас нет, и невероятно, чтобы когда-нибудь появилось, эмпирического свидетельства существования индивидуума после смерти. Скоро, поэтому, моим долгом как разумного существа — и тем более профессионального философа — будет, по-видимому, выяснить, на каких же основаниях должна при этих обстоятельствах человеческая личность строить свою жизнь. Около пятнадцати лет назад, когда я писал книгу об этике, я был склонен разделять мнение Канта, что мы должны постулировать вечное существование души, чтобы обосновать ту гармонию долга с личным счастьем, которая казалась мне обязательной для разумной моральной жизни. Во всяком случае я думал, что мог бы *предварительно* постулировать это на время, пока буду вести серьезный поиск эмпирических доказательств. Если я прихожу к выводу, что поиск ни к чему не привел, должен ли я решительно и окончательно принять этот постулат? Могу ли я поступить так, последовательно сохраняя верность всему моему представлению об истине и способе ее достижения? И если на каждый из этих вопросов я отвечаю «нет», есть ли у меня вообще какая-либо этическая система? А если нет, могу ли я оставаться Профессором...?»⁸

Неспособность Сиджвика доказать свой «постулат» бессмертия обнаружилась в особо тревожное время. Экономические невзгоды 1880-х привели к тому, что в оксфордском словаре английского языка издания 1888 г. впервые появилось новое злое слово «безработица». Совпадение экономических трудностей, расширения в 1884–85 г. избирательных прав рабочего класса, терроризма и взрыва массового недовольства в Ирландии, возрождения социализма и появления демагогов, вроде Парнела, Джозефа Чемберлена и лорда Рэндольфа Черчилля, — все

указывало на наступление новой и чрезвычайно тревожной эры, когда в политике невежество и безумие станут вытеснять разум. Следующий отрывок из дневника Сиджвика за 1885–86 г. имеет смысл сопоставить с нарисованной Роем Хэрродом картиной уверенности и «неуклонного материального подъема» Англии⁹.

26 января 1885:

Знакомство с данными о росте коммерческого величия Англии рождает смешанные чувства любопытства и патриотической тревоги. Кажется, ясно, что через вершину мы перевалили, и, собственно говоря, будь иначе, это противоречило бы всем историческим прецедентам. Теперь предстоит катиться вниз. Что нас ждет — разрушения, чувствительные удары или постепенный безболезненный спуск? Это, боюсь, единственный практически важный вопрос; но кто может на него ответить?

Притом что создать свою систему Сиджвику не удалось, общественной мысли Кембриджа он сумел придать бентамовский уклон. Вероятно, такое и было неизбежно в университете, который стремился выпускать викариев, скорее подкованных в математике, нежели обогащенных знаниями древней классики. Но это имело свои важные последствия. Только философия, основанная на гедонистическом расчете, могла обеспечивать точность в суждениях об общественной политике: Альфред Маршалл был изданием кембриджской фабрики Сиджвика. С другой стороны, Сиджвик оставил этику в расхристанном состоянии. Идеи интуитивизма возрождались с примесью гегельянства, то есть в более динамичной форме идеализма. Но его штаб-квартира находилась скорее в Оксфорде, чем Кембридже; его апостолами были оксфордские философы Брэдли и Т.Н. Грин. Кембридж стал чересчур критичным, слишком эмпирическим, чтобы его этику можно было принимать в метафизической форме. Дж.Э. Муру был открыт путь к построению кембриджской системы, отдельной и от бентамовских установок, и от метафизики. Мур

так же как Маршалл, оказался следствием неудачи, постигшей Сиджвика.

Если Сиджвик наделил учеников лишь своими сомнениями, то Альфред Маршалл одарил студентов ощущением их миссии. Маршалл стал основателем английской академической экономической мысли, придав ей новый научный и моральный авторитет, позволивший ей взять на себя по крайней мере часть политической работы, которую выполняло богословие и которая оказалась не под силу философии.

Маршалл был еще одним продуктом сплоченных клерикальных групп, подчинявших себе английскую интеллектуальную жизнь. В школе у него проявилась склонность к математике. Это предвещало Кембридж, а не Оксфорд, и в 1865 г. он вышел из школы вторым *«спорищиком»*. Занятия математикой, однако, не укладывались пока ни в его собственные планы, ни в виды семейства на его будущее; и как изящно отмечал Мейнард Кейнс в воспоминании о Маршалле, «двойственная природа ученого и проповедника прочно владела им до конца жизни». Обе стороны его натуры сыграли роль в формировании кембриджской традиции экономической мысли. Обычный кризис религиозного сознания произошел только в середине 1860-х и совпал с его первыми контактами с кругом Сиджвика, но «после краткой схватки его религиозные верования улетучились, и он стал... агностиком»¹⁰. Маршалл никогда не испытывал нужды в христианстве как в этической опоре. Он просто перенаправил свою энергию — переключил ее со службы Богу на службу экономической теории. Прогуливаясь по тротуарам и разглядывая лица встречаемых, он пришел к выводу, что этика — это в значительной мере функция экономических обстоятельств, и поэтому их улучшение есть самое важное условие морального совершенствования.

Для того, чтобы экономика могла стать двигателем морального прогресса, ее следовало подвергнуть основательному переустройству. За ставшую делом его жизни

работу экономиста Маршалл взялся как раз в то время, когда научные основы экономической теории были отброшены. Центральное положение классической теории стоимости — что цена товара определяется издержками производства, — было оспорено Джевансом и другими в угоду теории субъективной полезности. Угроза гораздо большая, чем путаница (или разгул) теорий, исходила от кризиса методологии. Притязания экономической теории на звание науки со своими законами, инвариантно действующими, независимо от места и времени, оспаривались, с одной стороны, социологами, настаивавшими, что она лишь частично и ограниченно описывает поведение человека, а с другой стороны — немецкой исторической школой, утверждавшей, что каждая эпоха подчиняется собственным законам развития и раскрыть их может только история. Обсуждались эти проблемы в среде, где не было ясно, кто из участников споров экономист, а кто нет. В начале 1870-х Фоксхоллу казалось, «будто наука уступила место войне мнений»¹¹.

Моральный авторитет экономической теории также был невысок. Основанная Адамом Смитом и его последователями классическая политическая экономия не могла быть созвучной викторианскому евангелизму, поскольку не оставляла места для благочестивых побуждений.

Критики требовали права опираться на этические нормы в суждениях о действиях, совершаемых ради создания богатства. Этические соображения переплетались с политическими. Великие викторианские моралисты, вроде Карлейля и Рёскина, твердили, что социальная политика, основанная на учении экономистов-классиков, подрывая сложившиеся общественные отношения, породит анархию и революцию. Это заставляло звучать викторианские струны.

Маршалл вознамерился восстановить гармонию в разладившейся мировой экономической мысли. В феврале 1885 г. по случаю вступления в должность профессора политической экономии в Кембридже он прочитал свою

первую лекцию под названием *‘Нынешнее состояние экономической мысли’*, в которой поставил перед собой три задачи: поднять научный авторитет экономической теории, подравнять ее с моральным и политическим духом викторианства и заинтересовать этим предметом лучших людей Кембриджа. На протяжении двадцати трех лет своего пребывания на кафедре в Кембридже Маршалл добивался решения всех трех задач с такой энергией, какую только оставляла ему его ипохондрия.

Маршалл был самым великим синтезатором экономических знаний. Он примирил теорию издержек производства с теорией субъективной полезности, предложив свое известное их сравнение с двумя лезвиями ножниц и установив таким образом преемственность со старой доктриной, тогда как Джевонс пытался революционным образом их разорвать. Он придал общий характер основному положению теории стоимости — тому, что стоимость определяется в точке равновесия спроса и предложения, — охватив тем самым одновременно и теорию распределения, и теорию денег, которые до того считались сферами действия не связанных между собой законов. Маршалл также сыграл ключевую роль в прекращении методологического спора. Экономическая теория была признана наукой о «поддающихся измерению побуждениях». Она стала утверждать, что экономичность или расчетливость свойственна всем видам деятельности, а не только тем, которые люди совершают ради приращения материального богатства. Отдавал он дань и немецкой исторической школе, хотя его собственные представления об истории были, по словам Дж.С. Николсона, «расплывчатыми, старомодными и крайне недостаточными»¹². Подлинно оригинальным Маршалл был в толковании времени и частичного равновесия. Это выводило экономическую мысль Кембриджа за пределы всех прочих школ. Сорок лет спустя это позволило Мейнард-Кейнсу придумать его «общую теорию». Наконец, Маршаллу принадлежала критически важная роль в создании профессии английского экономиста с особой

системой обучения и подготовки, с общепринятыми требованиями к уровню выполнения работы. В этом плане его главным вкладом было учреждение в 1903 г. сдачи в Кембридже экзаменов — *трайнос* — по экономическим дисциплинам.

Своей второй цели — примирить возрожденную экономическую науку с этическими возжелениями просвещенного среднего класса — Маршалл достиг посредством включения в свои экономические построения теории морального развития. Инструмент морального развития — это ни больше ни меньше, как сама деловая жизнь. Конкретно «свободная промышленность и предпринимательство», связанные с наращиванием двух групп достоинств: 1) энергии, инициативы и предприимчивости; и 2) рациональности, бережливости, производительной деятельности и честного ведения дел. Маршалл также полагал, что улучшение материальных условий само по себе рождает лучший — более энергичный и самоотверженный — характер в результате прямого воздействия на гены человека. Долгосрочным следствием капитализма будет «морализация» потребностей.

Маршалл не мог пожаловаться, что его неправильно поняли. Когда в 1890 г. появились его *‘Принципы экономической теории’*, успех, по отзыву Мейнарда Кейнса, был «немедленный и всецелый».

Поставленная Маршаллом цель привлечь к изучению экономической теории «свежие, сильные, красивые юные умы» со временем также была достигнута. К 1920-м гг. более 200 студентов Кембриджа были заняты изучением экономических дисциплин, к 1980-м их было уже 450.

Жизнь и работа Маршалла имели своим следствием то, что викторианский запрос на авторитетную социальную доктрину обернулся одним из важнейших научных достижений — созданием кембриджской экономической школы. Связь Мейнарда Кейнса с заложенной таким образом традицией — одна из центральных тем этой биографии. Взаимоотношения Кейнса с этой традицией никогда

не обходились без проблем, потому что дело Маршалла осталось незавершенным. Он показал, каким образом существующий моральный кодекс может быть поставлен на службу скорее обществу, чем Богу, но в его трудах не было ничего разъясняющего, какие нужны изменения, чтобы сделать возможной более счастливую или более цивилизованную жизнь индивидуумов. Сам Маршалл, кажется, не испытывал потребности уделять этому внимание. Но у Сиджвика, как и у многих думающих викторианцев, такая потребность была. Именно переустройство личной, а не общественной жизни показалось, судя по всему, неотложной проблемой следующему поколению, особенно сразу после того, как рассеялись социально-экономические тучи 1880-х и 1890-х гг. и засияло яркое солнце эдвардианства.

III

Детство в Кембридже

1. Харви-роуд, дом 6

Родившийся 5 июня 1883 г. Мейнард Кейнс был первым из трех детей: сестра Маргарет родилась 4 февраля 1885-го, а брат Джеффри — 25 марта 1887 г. Он рос на Харви-роуд, 6, в доме, архитектурно «лишенном обаяния и собственного лица»¹. Это была часть нового жилого комплекса, построенного для молодых семейных преподавателей на земле, принадлежавшей Киз-колледжу и находившейся тогда в городском предместье. Это было строение с двумя фасадами, окнами-«фонарями», облицованное темным желтым кирпичом — цвета покойников, как определяли его дети, — и имевшее в высоту четыре этажа, включая цокольный. Дом был удобный. Но не слишком просторный, если учесть, что жить в нем — вместе со всей обслугой — должны были десять человек.

В год рождения Мейнарда Невилл купил еще дом по соседству, имея в виду, что там ему, может быть, удастся поселить свою мать. Но из этого ничего не вышло, ибо Флоренс страшилась «неявных критических уколов по мелочам, без которых Мама редко умела обходиться»². Вместо этого в 1885 г. Энн Кейнс переехала на виллу Сидней в расположенной поблизости Бэйтмэн-стрит. По воскресеньям Невилл большей частью водил детей к ней на чаепитие, сам засыпая в гостях у матери счастливым сном. Много времени спустя он прибрал себе комнату в

нижнем этаже дома № 5 на Харви-роуд и сделал ее своим рабочим кабинетом, а остальную часть дома сдавал в аренду семьям ученых. Его обрастание недвижимостью продолжилось покупкой в 1895 г. за 1070 фунтов дома № 55 по Бэйтмэн-стрит — соседнего с виллой, где жила мать.

В доме Кейнсов не было ничего способного возбудить эстетическое чувство. В Солсбери отец Невилла купил картин, но среди них, за исключением небольшого полотна Джорджа Морлэнда, не было ничего примечательного — даже по викторианским меркам. Флоренс и Невилл редко покупали новые картины, хотя в 1889 г. она повесила в гостиной гравюру Фреда Уолкера под названием *Дождливый день*³. Музыка тоже не присутствовала в их жизни, если не считать одного случайного выхода на Джильберта и Салливэна; впоследствии, впрочем, Невилл коллекционировал пластинки с оперными ариями.

Вместо Искусства была Природа. Сама Харви-роуд примыкала к открытому пространству. Позже Флоренс писала: «Из окна своей комнаты мои дети смотрели на 'Бычий луг', где погонщики держали скот в течение всего уикенда, чтобы представить его на рынок в понедельник, и мычание коров было для них привычным звуком. Если не считать построек по дороге па станцию, между нами и Гогом (Магог-хиллом)⁴, действительно ничего или почти ничего не было».

Добраться с Харви-роуд до города можно было пешком, конкой или наняв элегантный экипаж. В отличие от более состоятельных кембриджских семейств, вроде Джеббсов, кареты у Кейнсов не было. В 1880-х появились велосипеды, но Кейнсы их не покупали вплоть до 1895 г., когда Мейнард на двенадцатый день рождения преподнесли машину с муфтой свободного заднего хода. Он тут же столкнулся с кэбом и повредил мизинец⁵. Годом позже попытки его родителей научиться езде на велосипеде также не увенчались успехом: взобраться на велосипед и слезть потом на землю Невиллу представлялось почти совершенно невозможным подвигом, а Флоренс постоянно

забывала пользоваться тормозами. Она падала с велосипеда так часто, что Невилл старался вообще ограничивать ее выезды⁶.

В июле Невилл и Флоренс любили покидать дом и пару недель скрываться в Шотландии или Швейцарии. А потом, в августе и частично с захватом сентября, семейство в полном составе, с детьми, слугами, родственниками, имело обыкновение перебираться в Норфолк, Девон, Йоркшир или Корнуолл, и жить там недель шесть в снятом на время каникул доме. Рождество проводили в пасторском доме в Бедфорде, где катались на коньках на замерзшей Узе и полностью отдавались ничегонеделанию. Невилл с удовольствием гостил у родственников жены, пока они держались подальше от политики и религии.

Как и большинство викторианского среднего класса, Кейнсы много читают. Чтение романов было главным семейным развлечением, читали вслух, собравшись все вместе, особенно в отпускное время. Читали викторианских классиков, но не оставляли без внимания и авторов полегче, вроде Энтони Хоупа и Райдера Хэггарда. Французскую литературу и Невилл, и Флоренс считали пустой, лишенной смысла, но *'Анна Каренина'* представлялась им «замечательной книгой»⁷. Невилл слыл заядлым театралом — и в Кембридже, и в Лондоне. Но вкусы его были обычными, традиционными. Хотя пьесы Ибсена он счел «очень интересными», стать поклонником Ибсена не мог, потому что не видел оправданий Норе, бросившей в *'Кукольном доме'* мужа и детей⁸. Жизнь это, мол, и без того юдошь скорби, и искусству следовало предлагать утешения и иссушать слезы, а не отягощать наши души еще больше.

Помимо нерегулярных выходов в театр или на пантомимы, семья старалась развлекать себя и собственными силами. От скуки спасались не только чтением, но и множеством игр и хобби. Невилл был одержим разного рода увлечениями. Он имел то выдающееся достоинство отца, что умел вникать в интересы детей и полностью разделять их. В былой холостяцкой жизни молодого преподавателя он

играл в шахматы и в теннис. Эти увлечения сохранились, но теперь сил и времени он отдавал им, конечно, меньше. Зато на Харви-роуд он учредил клубы книги и игры в вист⁹. Мейнард в трехлетнем возрасте проявил интерес к почтовым маркам, и 20 марта 1887 г. в дневнике Невилла появилась многозначительная запись: «В мои-то преклонные годы (ему было тридцать четыре) я по существу опять начал собирать марки». К 1895 г. в его коллекции насчитывалось восемь тысяч марок, которые Мейнард оценивал в 2000 фунтов¹⁰. Вечерами в доме на Харви-роуд он любовно размещал их в альбомах, слушая чтение Флоренс. Каждое воскресное утро он кучками раскладывал на своем столе изымаемые из коллекции дубли и разрешал детям по одной забирать их себе до полного истощения запаса и опустошения стола. «Вооружившись каталогом, они тщательно изучили цены и сортировали марки соответственно. Так они учились пользоваться каталогом и набирались множества знаний о разных странах», — назидательным тоном рассказывала об этом Флоренс¹¹. В записи от 3 августа 1895 г. появляется первое упоминание о ловле бабочек с Джеффри и Маргарет. У Джеффри к этому энтомологическому энтузиазму добавилась затем страсть собирать и классифицировать кости; отец помогал своими знаниями, полученными при подготовке к экзаменам на бакалавра естественных наук в Лондонском университете. Область собирательства оба брата, но не их отец, в дальнейшем расширили, включив в ее пределы коллекционирование книг. Маргарет же проявляла больше интереса к кустарным поделкам, живописи и садоводству.

С 1892 г. появилось у Невилла сильнейшее увлечение, подчинившее себе всю середину его жизни. 20 сентября в Шерингэме, в Норфолке, под проливным дождем друг дома Генри Бонд посвятил его и Флоренс в тайны гольфа. Запись в дневнике Невилла о «невероятном количестве промахов» стала первой из множества подобных, часто чрезвычайно пространных и заполненных почти такими же внутренними переживаниями и колебаниями, ка-

кие в других случаях — и столь же безуспешно — викторианцы проявляли в борьбе с грехом. Невиллу удалось пробудить у Мейнарда интерес к гольфу, продержавшийся даже дольше увлечения марками, и в гольф они играли с отцом до самого начала Первой мировой войны. В 1890-е гг. они часто появлялись вместе на площадке в Ройстоне, в нескольких милях от Кембриджа; в 1900 г., за несколько недель перед смертью Сиджвика, Мейнард сыграл там партию с ним. В 1900-х гг. Мейнард имел обыкновение сопровождать отца на каникулах, которые тот брал себе для игры в гольф.

По выходным вся семья сливалась в единый редакционный коллектив и занималась выпуском газеты. На протяжении 1890-х гг. вышли несколько номеров. Мейнард и его отец любили развлекаться игрой слов, перекидываться каламбурами, смешно переставлять буквы в словах. Особым пристрастием к играм Мейнард не отличался, но его увлекала статистическая сторона дела. Он составлял таблицы, отражавшие успехи и неудачи участников состязаний. В 1896 г. каждый свободный летний вечер он проводил на примыкавшей к Харви-роуд площадке для крикета, наблюдая за действиями университетских игроков. И он, и его отец неукоснительно вели счет очков в своих партиях гольфа. Измерение результатов обладало для них обоих неизъяснимым очарованием.

Слуги были постоянной, незаменимой частью этого мира. На протяжении большей части детства Мейнарда у Кейнсов их было трое: повар, горничная по дому и горничная для детской. Временные подкрепления появлялись, когда Флоренс была беременна и после родов. В 1892 г. появилась гувернантка мисс Лакстон. Она прожила у них два года, и затем ее сменили две немки. Слуг мы знаем только по имени, так как они прошли через Харви-роуд и затерялись на путях к своим неведомым судьбам.

Немецкие гувернантки, фрейлейн Ротман и фрейлейн Хубб, дали Мейнарду добротную основу знания немецкого языка, что впоследствии послужило ему незаме-

нимым подспорьем в работе над *‘Трактатом о вероятности’*. Мейнард рос в доме, где преобладали прогерманские настроения. В этом не было ничего необычного, особенно в образованных кругах. Германия все еще считалась символом философии и науки, а не прусского сапога. Как раз перед поступлением в Ньюнем Флоренс провела несколько месяцев в Бонне с пастором, другом доктора Брауна. Маргарет и Джеффри также подолгу жили в Германии в свои подростковые годы. Кейнсы — что тоже было в порядке вещей — невысоко ставили французов. Следы этих рано усвоенных пристрастий улавливаются и в суждениях взрослого Мейнарда.

Образ жизни Кейнсов имел своей опорой вполне приличный доход, к тому же постоянно возрастающий. Маршалл считал, что семейному человеку, «чей мозг по необходимости постоянно работает в большом напряжении», требуются по меньшей мере 500 фунтов стерлингов в год¹². Невилл и Флоренс начали совместную жизнь с тысячью фунтов. Из них 600 фунтов поступали как доход на унаследованный капитал Невилла (частично вложенный теперь в два дома на Харви-роуд, стоившие чуть более 2000 фунтов); 400 он получал как помощник секретаря экзаменационной комиссии и в виде гонораров за лекции и прием экзаменов. Налог взимался по отнюдь не карательной ставке — шесть пенсов с фунта. Он не был обременен никакими обязательствами содержать иждивенцев: Энн Кейнс была вполне обеспечена, получая доход, составлявший в 1891 г. 700 фунтов¹³. Невиллу обычно удавалось экономить до 400 фунтов в год, которые он добавлял к основному капиталу. В счет 600 фунтов своих годовых расходов они позволяли себе два длительных отпуска. Уходило на это немного. Снять летом на неделю большой сельский дом — 5 фунтов. Десять дней, которые Невилл и Флоренс провели в 1889 г. в Бельгии, обошлись им в 23 фунта 10 шиллингов — на все про все. Месяц в Швейцарии в 1891 г. стоил 68 фунтов. По мере того как подрастал Мейнард, его родители становились все богаче.

И капитал, и доходы увеличивались, в то время как цены падали. К концу 1880-х гг. средний годовой доход Кейнсов составлял 1400 фунтов, а их расходы — 1000. В 1892 г., когда Невилл стал секретарем местной экзаменационной комиссии, его заработок поднялся до 500 фунтов; в 1896 г. — до 775. Невилл был спокойным и благоразумным распорядителем своих денег. В конце 1870-х, холостяк со свободными средствами, он вложил часть их в совместное предприятие с Фрэнком Тиффином, другом детства из Солсбери, ставшим страховщиком у Ллойда. Но Тиффин оказался ненадежным партнером, и Невилл, прикинув, что прибыли от страхового дела не уравнивают «переживаний и беспокойства», вышел из игры¹⁴. 30 июня 1888 г. он заметил очень разволновавшее его падение цены олова, с которым он совершал спекулятивную операцию на сумму порядка 600 фунтов. К 1900 г. его капитал вырос до 24 тыс. фунтов. По смерти матери в 1907 г. он получил большое наследство, и к 1908 г. имел уже 38 тыс. фунтов. При его характере в каждом падении рыночной конъюнктуры он видел страшный оскал надвигающегося на него краха. Но оценивая ситуацию задним числом, можно лишь поражаться, до чего же прочным было его положение. Все время он только богател и богател, не прилагая к тому больших усилий.

От своего богатства Невилл получал тем большее удовольствие, что оно не было омрачено никаким чувством вины. При своем баптистском воспитании он начинал как обычный либерал в политике, хотя и не питал сколько-нибудь значительной любви к реформе. В 1878 г. ему довелось завтракать с Гладстоном, и он знал, что его мать разделит «выпавшую мне радость». Но по природе он был слишком склонен отдаваться во власть уныния и тревоги, чтобы из него мог получиться убежденный либерал¹⁵. Он считал, что гладстоновский Первый билль о гомруле это «насквозь плохой билль», а возражения Чемберлена и Хартингтона находил великолепными¹⁶. 8 июня 1886 г. он записал в дневнике: «Моя вера в Гладстона рухнула, и боюсь, моя ве-

ра в демократию, никогда не бывшая очень прочной, тоже рухнет». Подобно многим другим ученым-либералам Кембриджа, в 1886 г. он голосовал за тори. В 1890-е гг. он причислил бы себя к либералам-юнионистам, а в 1990-е — к либералам-империалистам. Но в течение долгого времени он в глубине души инстинктивно тянулся к консерватизму. В 1898 г., так же как в 1900-м, на выборах в университетский совет он согласился включить свое имя в списки и консерваторов, и либералов. О социалистах, социализме и рабочих он отзывался все менее и менее благосклонно, хотя никогда не допускал яростных на них нападок.

Одним из существенных источников его консерватизма было его пристрастие к церемониалам. Его волновали красочные политические зрелища, но не проблемы, вокруг которых они устраивались. Он был также подобием некоего социального сноба. Общение с аристократами или даже относительная близость к ним грели его душу. Восьмилетнему Мейнарду он как-то написал: «Мы имели честь ехать в одном поезде с эрцгерцогиней Валерик, дочерью Императора Австрии»¹⁷. Очень для него показательно: особы такого статуса всегда настраивали его на подобный лад. Это резко контрастировало с непочтительным и несколько ироничным отношением Мейнарда к именитым и высокопоставленным деятелям. Но у Мейнарда тоже была некая завышенная оценка внешних знаков наследственно высокого положения. То был один из способов психологического приспособления неконформистской интеллигенции к жизни внутри высших эшелонов общества.

Либерализм Флоренс был более грубого и здорового помола. Как собственные наклонности, так и традиция семьи толкали ее к самосовершенствованию и добрым делам. После того как постепенно поутихло совместное чтение романтических стихов¹⁸, Флоренс занялась вечерней школой, собраниями матерей и лекциями Маршалла¹⁹. Осенью 1890 г. ее собственные лекции по медицине для матерей собирали гораздо больше слушателей, чем лек-

ции по логике, которые Невилл читал девочкам в Гертон-колледже. Флоренс глубоко интересовалась медицинскими вопросами. Ее брат Уолтер и сестра Алиса стали врачами. Она серьезно беспокоилась о здоровье своих детей, пичкала их тонизирующими средствами и старательно оберегала от сквозняков — возможно, в виде запоздавшей реакции на пренебрежение, с каким относились ко всему подобному ее родители. В феврале 1895 г. в ее публичной жизни произошел заметный поворот, когда она стала секретарем Кембриджской организации милосердия. С этого времени ее общественная деятельность нарастала в истинно брауновской манере: «Как эта женщина предана делу! — писал Невилл Мейнард в Итон спустя пять лет. — Если наследственность что-нибудь значит, ее детям, конечно же, должно быть присуще чувство долга»²⁰. Но втихомолку именно это качество Флоренс вызывало у него раздражение, и он постоянно пытался ограничить ее общественные занятия. Он не терпел, когда ее не было дома²¹. Невилл был всецело домашним человеком. Флоренс была добропорядочной женой и матерью, но ей требовалось большее, чтобы выплескивать переполнявшую ее жажду общественной деятельности. И здесь опять-таки, помимо ее собственных достижений, Мейнард оказался способным восполнять для нее многие радости, которых она была лишена в семейной жизни с Невиллом. Так что в лице родителей Мейнарду достались разные люди: отец, живший ради частных удовольствий, и мать, отдававшая себя обществу.

2. Нервозность Невилла

К тому времени как Мейнард исполнилось десять, его отец перешел в университет на полную ставку, занял административную должность и переключил свою интеллектуальную энергию с собственной научной работы на заботы об успехах детей. Отказ Невилла строить свою ка-

рьеру на признанных достижениях заслуженного специалиста по этике вызвал у его коллег большое разочарование, но то было вполне в его духе. Хотя ум его был больше приспособлен к оценочным суждениям, чем к творчеству (из него получился бы прекрасный судья или государственный служащий), подлинным препятствием для его академической карьеры было не отсутствие оригинальных идей, а тревоги, переполнявшие его душу. Стратегия жизни Невилла состояла в том, чтобы облегчать ложившийся на него груз забот. Задачи, которые он себе ставил, если только их целью не было «доставить кому-нибудь удовольствие», сводились к предельному устранению всякой напряженности. Одним способом были хобби, другим — погружение в работу, не требовавшую особых интеллектуальных усилий. В отличие от Маршалла, рано отказавшегося в жизни от действий, которые вели в «никуда», Невилл предавался им все более и более. Избегать положений, в которых о нем могли судить равные ему по уму и образованию коллеги, притом сообразно принятым высоким стандартам, стало для него постоянной заботой.

К этому он пришел не сразу. Были немалые надежды — Невилл их разделял и поддерживал, — что явится на свет некий плод большой энергии и большого интеллекта. После благополучного рождения Мейнарда, он начал 5 июля 1883 г. работу над «небольшой книгой задач и упражнений по формальной логике» на основе материалов читанного им учебного курса. Работая быстро, он уже к 14 июля расправился с шестьюдесятью двумя задачами, так что бедной Флоренс приходилось корпеть над ними по вечерам и в выходные. К 27-му он расширил книгу, включив в нее *понятия, суждения и силлогизмы*. В сентябре все было почти закончено. То, что получилось, его не обрадовало. Удручала собственная неспособность сделать «действительно высококлассную литературную работу»²². 27 октября он отметил в дневнике, что Джеймс Уорд был «довольно крут в отзыве о предмете моей книги. Лучшее, что он сказал, это то, что работа сделана *тщательно*, чего, мол, от

меня и следовало ожидать». «Опыты и упражнения по формальной логике» были изданы *Макмилланом* в феврале 1884 г. и были встречены хором похвал со стороны кембриджских друзей. В работе было нечто новое: в части IV делалась попытка развить своего рода булеву алгебру в пределах структуры традиционной логики, притом без использования математических символов. Невилл полагал, что символика логических рассуждений должна держаться по возможности близко к языку, которым изложены ее исходные положения²³. Это была черта интеллектуального стиля Кембриджа, стиля, унаследованного Мейнардом Кейнсом. Невилл несколько раз критически пересмотрел свою книгу перед тем как отправить ее наконец в издательство в 1906 г. Но для дальнейшей разработки заявленной темы он больше не делал. Он зашел в тупик. Книга дала ему то, чего он хотел, — место университетского лектора по этике. Следующая книга также явилась побочным продуктом его преподавательской деятельности. 16 февраля 1885 г. он записал в дневнике: «Я решил читать лекции в Оксфорде о методах политической экономии; и есть мысль написать небольшую книгу на эту тему. Этой работе можно было бы посвятить большие каникулы». Конечно, Маршалл, не кто-нибудь иной, вернул его к экономической теории. В письме из Оксфорда, куда Маршалл давно перебрался, покинув Бристоль, сквозили намеки на таланты, впустую растрачиваемые в экзаменационном синдикате. В ноябре 1884 г. умер Генри Фосетт, и Маршалл был избран на его место профессора политической экономии в Кембридже. Это предполагало, что после четырех сроков очень успешной работы в оксфордском Бейллиол-колледже он должен был теперь его оставить. Он пригласил Кейнса последовать за ним, воззвал к помощи Флоренс и стал забрасывать их письмами и телеграммами. Он был чрезвычайно захвачен желанием учредить в Оксфорде форпост «научной» экономической мысли и полагал, что Невилл, его лучший студент, был как раз тем человеком, которому следовало это доверить.

Благодаря энергичным ходатайствам Маршалла Невиллу поступило из Бейллиола предложение временно взяться за чтение курса лекций. От волнения у Невилла появились стреляющие боли в груди, приковавшие все его внимание к вопросу: сколько же еще осталось жить?²⁴ В конце концов он поддался на уговоры Маршалла и даже согласился во время весеннего или летнего триместра 1885 г. раз в неделю посещать Оксфорд с лекцией. Оксфорд показался ему городом определенно более милым, чем Кембридж. Слушателей его лекций, в значительной мере кандидатов, готовившихся к экзаменам для поступления на государственную службу в Индии, было много, и они с благодарностью ловили каждое его слово. Но Невилл никогда не разделял рвение Маршалла. Хотя при Джоветте Бейллиол, как впоследствии писал Мейнард Кейнс, «достиг высшего блеска и наибольшей известности», Невилл так к нему никогда и не прикипел. Он не любил оксфордских людей; он полагал, что Бейллиол «мог бы уделять мне побольше внимания»²⁵. Продолжения не последовало. После лекций в Оксфорде Невилл по существу прекратил преподавать экономическую теорию и в Кембридже, поскольку возвращение Маршалла сбило спрос на его услуги.

Книга, за которую взялся Невилл, по существу представляла собой упражнение в намеченном Маршаллом искусстве согласования взглядов разных школ с целью восстановить то, что Фоксвелл именовал «правомерным авторитетом экономической науки в законодательстве и деловой жизни». В 1885 г. Дж.С. Николсон жаловался, что экономическая теория нуждается не в бесконечных обсуждениях методологии, а в «полезных указаниях, какой же метод является правильным»²⁶. Ответ Кейнса состоял в том, что, пока не будет решена методологическая проблема, разделяющая дедуктивную, индуктивную и этическую школы, экономическая теория не сможет добиться никакого практического влияния. В 1885 г. это соображение не было лишено смысла. К 1891 г, когда появилась книга Не-

вилла, проблема методологии была не более чем увядшим цветком. Все 350 страниц Невилла явно представляли собой итоговое обобщение соперничавших и уживавшихся между собой давно установленных методологических положений. Его вторая книга, не меньше чем первая, «убивала» сам предмет — не в последнюю очередь в его собственных глазах. Затянувшуюся работу над книгой — она заняла пять лет — частично можно объяснить тем, что временами он отвлекался на другую работу, а частично тем, что его отнюдь не вдохновляли поступающие критические замечания.

Существовавший в Кембридже обычай пускать по рукам рукописи, еще находившиеся в работе, годился для людей с более здоровой психикой и более уверенных в себе, чем Невилл. К 1888 г. у него был готов первый проект текста, который он показал Маршаллу. Маршалл развенчал всякие надежды на скорую публикацию. «Он меня очень удручил», записал Невилл в дневнике 21 апреля 1888 г. «По существу он хочет, чтобы я посвятил год изучению немцев, а потом переписал все заново». Беда усугублялась тем, что Невилл не читал по-немецки. Поэтому Флоренс засела за работу с немецкими экономистами. Одновременно в течение 1888 и 1889 гг. Маршалл отсылал Невиллу пространные части первоначального варианта своих *‘Принципов’*. Кейнс великодушно отвечал, заполняя свои письма длинными, добросовестными комментариями, хотя, по мнению одного наблюдателя, он был «слишком застенчив и самокритичен», чтобы выступать в роли полезного критика²⁷. Отчасти по этой причине книга Маршалла созрела для выхода в свет летом 1890 г., тогда как менее объемистый труд Кейнса приотстал.

В январе 1888 г. скончался оксфордский профессор политической экономии Бонами Прайс. Маршалл тут же написал Невиллу: «Я очень рад слышать о вашем намерении быть кандидатом». Невилл отозвался: «Впервые слышу». И, отклоняя предложение, пустился в рассуждения: «моя книга, к сожалению, еще не издана. С другой стороны,

мне неприятно думать о том, чтобы оставить Кембридж и здешнюю мою работу»²⁸. Сиджвик, Уорд и Маршалл — все советовали ему выдвинуть свою кандидатуру.. То же говорил тесть доктор Браун, считавший, что «ваша нынешняя работа, связанная с приемом экзаменов на местах, несоразмерна вашим интеллектуальным силам...»²⁹. Фоксвелл настаивал, чтобы он оставался на прежнем месте:

Молю вас, не соглашайтесь. Много лучше, когда исследование сосредоточено в одном конкретном месте. Тут появляется много преимуществ такого же рода, как и при концентрации производства. С вашим отъездом раскрылась бы отвратительная рваная рана в организации наших гуманитарных наук.

Он продолжил, переходя на более легкий тон:

Какой смысл в благоустроенной жизни семейного человека, если приходится отдавать вдруг швартовы и пускаться в дрейф! Подумайте, как это скажется на вашем сыне. Он может скатиться к зубоскальству и сочинению эпиграмм, либо стать владельцем какой-нибудь желтой газетенки, либо выдвинуться в герои какой-нибудь крикливой партии, вместо того чтобы последовать благородному примеру отца и стать проникательным, мудрым человеком Кембриджа и провести жизнь в достойном и нетребовательном служении себе подобным, встретить потом смерть в кругу любящих его друзей, сохранив уважение мудрых и оставшись неизвестным для масс, что в большинстве случаев и является истинной заслугой и достоинством человека³⁰.

Невилл все же попросил кафедру, не особо рассчитывая получить ее, и когда она досталась историку экономики Торолду Роджерсу, выглядел вполне удовлетворенным.

Но Маршалл продолжал его донимать. Дело шло к запланированному созданию Экономической ассоциации (позднее Королевского экономического общества) со своим профессиональным журналом (первый номер *'Economic Journal'* появился в 1890 г.)

Маршалл хотел видеть Кейнса его редактором. Кейнс отказался. «Это доставило бы мне хлопот сверх всякой меры», — сказал он Маршаллу³¹. Дело было передано в руки Эджуорту. В 1911 г. его сменил Мейнард Кейнс, никогда от подобных вызовов не уклонявшийся. Эджуорт настойчиво заставлял Невилла писать, но ничего не получалось: «К сожалению, отточенного писательского пера у меня нет, и быстро делать какую бы то ни было литературную работу я не могу»³².

Предмет и метод политической экономии был, наконец, издан Макмилланом в январе 1891 г. Методологический спор между различными школами Невилл решил, сведя его к вопросу об упорядоченной классификации различных точек зрения. Он согласился с первичностью дедуктивного подхода к делу — «предварительным определением основных действующих сил с дальнейшим выводением последствий». Но дедуктивные заключения следует подвергать исторической и статистической проверке. Этике отводилась роль установления норм, которые позволяли бы выносить суждения об экономических мерах и действиях. Книгу хвалили за то, что «она нашла себе так много читателей, за беспристрастность и точность суждений»³³. Все это послужило основанием для присвоения Невиллу степени доктора наук. Четырехлетний Джеффри с тревогой спрашивал: «а папа останется жить с нами, раз он теперь доктор?»³⁴ Флоренс, которой принадлежала немалая заслуга в отмеченной многими мастерской обработке немецких источников, не удостоилась в книге благодарственного упоминания³⁵, и ее муж не потрудился восполнить это упущение в последующих изданиях. Знакомство с хвалебными отзывами заставляло с облегчением ощущать, что решающее слово было, по-видимому, сказано. «Ибо нельзя скрывать, — писал Эджуорт в *Economic Journal*, — известное раздражение, возникавшее каждый раз, как снова и снова поднимался вопрос, по которому по существу все авторитеты пришли вроде бы к согласию».

Написав одну книгу по чистой логике и другую по логике прикладной, Невилл совершил плавание, миновав берега своих интеллектуальных интересов. Ему исполнилось тридцать восемь. После этого он прожил еще шестьдесят лет. Кроме нескольких статей для *'Словаря политической экономии'* (Инглиса Палграва) и нескольких эссе, в дальнейшем он пользовался пером только для того, чтобы вносить правку в прежние свои работы, делать записи в дневнике, писать письма и составлять памятки. Закончи он свою вторую книгу раньше, он получил бы кафедру, когда еще был открыт для мысли о росте, для чувства долга, которых, даже в отсутствие интеллектуальной энергии, могло бы хватить на создание многих новых книг, писанных в его ясной, тщательно выверенной манере.

Возможно, он скорее заслуживает восхищения, чем жалости, за то, что умел молчать, когда ему нечего было сказать. Так или иначе, но вскоре после выхода в свет *'Предмета и метода'* Дж.Ф. Браун, его шеф в Синдикате, был сделан каноником Собора св. Павла. В 1892 г. Невилл последовал за ним в качестве секретаря местной экзаменационной комиссии с окладом 500 фунтов в год. Маршалл наконец признал свое поражение. «Я никогда не был твердо уверен, что работа — это то, что вам нужно, — написал он ему. — Но всегда твердо знал, что вы именно тот человек, который нужен для работы»³⁶. Невиллу нравилось быть хозяином здания Синдиката³⁷. На административную работу у него теперь уходило все больше и больше времени. Позднее в том же году его избрали в Сенатский совет Университета, где впоследствии довелось служить и Мейнاردу. Шестью месяцами позже, он стал его почетным секретарем — с сего момента бессменным в этой должности. Отклоняя полученное им в 1894 г. предложение стать профессором политической экономии в Чикагском университете, Невилл писал, что он, мол, «чересчур глубоко врос в Кембридж, чтобы мог думать о каких-либо перемещениях». «Сдается мне, я осел здесь навеки» — эти заключительные слова он вычеркнул³⁸.

3. Ранние годы Мейнарда: 1883–1897

Оба родителя души не чаяли в младенце Мейнаarde: Невиллу казалось, что он мог глядеть на него часами подряд, но при этом заранее переживал, вырастет ли он «крепким телом и душой»³⁹. От рождения он страдал дефектом речевого аппарата⁴⁰, и пришлось сделать небольшую операцию, чтобы Флоренс могла нормально кормить его, пока по истечении девяти месяцев его не отняли от материнской груди. По этой или по какой другой причине он и во взрослой жизни слегка шепелявил. 24 марта 1884 г. Невилл записал в дневнике: «Флоренс говорит, что она любит Крошку так сильно, что это становится похоже на болезнь. Что же до меня, то могу сказать, что его улыбки и легкого движения ручонки достаточно, чтобы доставить одну из самых больших радостей, какие я только знал в жизни».

Родительское обожание Мейнарда не мешало подвергать его наказаниям за отклонения от правил поведения. Время, прожитое Мейнардом между двумя и семью годами, отмечено нередкими шлепками и даже «порками». Потом это прекратилось, по-видимому, с «пробуждением разума». Мейнарда били, когда им «завладевал дух злобы, мешавший ему проявлять свое доброе начало»⁴¹. Обоим мальчикам — и ему, и Джефффри — сделали обрезание, «чтобы уберечь их от мастурбации»⁴². Когда это произошло — с точностью установить не удастся. Но по всей вероятности, операция была произведена в Лондоне в 1891 г., когда Джефффри было четыре, а Мейнардусе восемь⁴³.

В пределах принятых тогда нравственных понятий и Невилл, и Флоренс были любящими и заботливыми, даже сверхзаботливыми, родителями. Дневник Невилла свидетельствует, что с самого начала он был очарован Мейнардом — больше, чем другими двумя детьми. Флоренс дневника, по-видимому, не вела, так что трудно установить, какие чувства испытывала она к своим детям или какой она была матерью. И этот пробел не восполняется дневниками Джефффри Кейнса, в которых Флоренс и Не-

вилл удостоены лишь одного невыразительного предложения⁴⁴. Совершенно не очевидно, что Мейнард был любимчиком Флоренс. Общность интересов и дружеские отношения связывали ее с Маргарет теснее, чем с любым из мальчиков. Более сдержанная, чем Невилл, она не умела особенно открыто выказывать свои чувства. Еще одно различие между отцом и матерью состояло вот в чем: чем дети становились взрослее, его интересы все более замыкались на семье, а ее, наоборот, все дальше раздвигались в сферы общественных занятий.

В разное время чувства, питаемые Мейнардом к матери, естественно, то теплели, то охлаждались. Он был особенно близок с ней и как бы удалялся от отца в свои шесть-восемь лет. Именно в это время он называет Флоренс своим «самым большим другом на свете» и своим «градом спасения»; говорит, что один взгляд на нее делает его невероятно счастливым, и ему хочется быть в точности таким, как она, хочется никогда с ней не расставаться или, на худой конец, чтобы Невилл подобрал ему жену точно такую же, как она. Напоминанием о любви к матери его можно склонить к любому доброму делу, когда никакие иные уговоры не действуют⁴⁵. С 1891 г. намного больше места в его жизни начинает занимать отец. Их притягивает друг к другу общее увлечение марками. Начиная с восьми-летнего возраста, через все школьные и студенческие годы и всю взрослую жизнь отношения Мейнарда с отцом имеют существенный вес. Позднее, когда отец впал в апатию, все изменилось. Но в целом эти отношения, как ни странно, поддерживались на протяжении шестидесяти двух лет. У обоих было полно времени приспосабливаться к меняющимся интересам, новым жизненным обстоятельствам и переменам характера каждого.

Есть основания предполагать, что к сестре Маргарет Мейнард был ближе, чем к брату Джеффри: с двадцатимесячной разницей в возрасте совладать было легче, чем с сорокапятимесячной. Маргарет первой была дана возможность воспринимать его поучения. Однако помимо возра-

стных различий, сказывалось и то, что в умственном развитии Мейнард быстро обгонял сестру и брата, и одного этого было достаточно, чтобы он тянулся к старшим. В одном из ранних воспоминаний Джеффри запечатлелась, по-видимому, самая суть его детских отношений с Мейнардом: в 1897 г., когда брат получил стипендию на учебу в Итоне, он бросился обнять его, чтобы выразить свою радость, но Мейнард лишь раздраженно оттолкнул его⁴⁶. Из родственников, более или менее близких ему по возрасту, вероятно, наилучшие отношения складывались у Мейнарда с «дядей Кеннетом», самым младшим братом Флоренс, бывшим лишь четырьмя годами старше Мейнарда. Харви-роуд был вообще густо заселен детьми университетских преподавателей. Но друзья появились у Мейнарда и стали играть заметную роль в его жизни только в Итоне.

Он рос худым, тщедушным, долговязым ребенком. Флоренс и Невилл быстро пришли к заключению, что он не отличается могучим здоровьем, и это мнение поддержал их семейный врач, доктор Верри, «высокий человек — меланхолик в лице и манерах»⁴⁷. Часто страдавший простудами и поносами в свои первые три года жизни и «приступами лихорадки» впоследствии, Мейнард, как полагали родители, был слишком активным — несоразмерно его ослабленному организму. Его часто забирали из школы или освобождали от школьных заданий. Не исключено, что частично проблему порождало его неравномерное физическое развитие. Его детство отмечено стремительными, истощавшими его рывками роста, а к четырнадцати годам он уже перерос отца.

С шести лет Мейнард был убежден в своей «предельной уродливости. Уверен, что отродясь на белом свете не было никого столь же уродливого»⁴⁸. И это не было просто блажью детского воображения; много лет спустя он сказал Литтону Стрэчи, что таким представлением он был «одержим твердо, постоянно, неизменно» и «всегда» от него страдал. Фотография двенадцатилетнего Мейнарда, снявшегося с братом и сестрой, показывает нам лицо,

далеко не подпадающее под характеристику Джорджа Элиота, утверждавшего, что «в нем вроде бы невозможно различить черты, обычно присущие мальчишеской физиономии»; но это лицо пи в коем случае не лишено привлекательности. Это очень необычное лицо, светящееся умом, настороженное, наделенное бесспорными личностными чертами, так что рядом с ним младшие сестра и брат выглядят просто симпатичными. «Рачок», называл его отец, намекая на высоко выступающие скулы и легкую усмешку, пробегающую по глазам и губам.

Если бы Мейнард не оправдал всеобщего мнения, возлагавшего на него обязанность быть умным, он разочаровал бы очень многих — не только прабабушку Форд. Но опасаться тут было нечего. Ему еще не было и двух лет, а Флоренс уже тревожилась, что он «перегружает свои мозги»⁴⁹. За Мейнардом признавалась такая способность опережать собственное развитие, что много лет спустя его одноклассник по Кембриджу Ч.Р. Фэй написал: «Я слышал, что, будучи нескольких месяцев от роду, он отбил тщательно продуманные доводы своей няни, пытавшейся влить в него некое неприятное лекарство, указав, что эластичность спроса на предлагаемый ею товар равна нулю». Но большинство свидетельств, приводимых его отцом в подтверждение, что у него растет подающий надежды гений, — это не более чем яркие словечки, брошенные остроумным, наблюдательным мальчиком. Здесь нет, конечно, ничего близкого к выдающимся высказываниям Джона Стюарта Милля. Однако знаток раннего созревания вполне мог бы просмаковать определение процента, данное будущим экономистом в возрасте четырех с половиной лет: «если я дам тебе полпенса, и ты продержишь его у себя очень долго, ты должен будешь вернуть мне эти полпенса и еще столько же. Это и есть процент»⁵⁰. О том, что его понимание экономики было все-таки ограниченным, говорит выраженное им удивление, что после воинственной речи кайзера Вильгельма II опрокинулись и повалились стулья (а не акции)⁵¹. Он усвоил привычку спо-

собного мальчика выпаливать замечания, повергавшие присутствовавших в смущение. Однажды, когда семейство выходило из церкви после воскресной службы, он четко и во всеуслышание провозгласил: «молитвы я не люблю больше всего на свете»⁵². Однажды в Кингтоне на Пасху Тетя Мэри Кейнс, допустив редкую для нее языковую оплошность, сказала *it* вместо *him*. Мейнард тут же сухо и серьезно заметил: «Я полагаю правильнее будет *him*». Притом ему не было еще и шести. И не очень-то он прислушивался, когда родители толковали ему, что нехорошо, мол, задевать чужие чувства. «Отец и мать сами часто задевают мои чувства»⁵³, — был его ответ. По случаю своего шестого дня рождения он довел сестру Марго до слез, доказывая ей, что она *вещь*. «Она не хотела бы быть ничем, а если она не есть ничто, значит, она должна быть чем-нибудь; если же она является чем-нибудь, стало быть она есть некая вещь». Логик У.Э. Джонсон, бывший в гостях у Кейнсов, решил продолжить разговор. «Вы называете Маргарет вещью, но могут ли вещи говорить? — сказал он. — Вот этот стол — вещь?» — «Да». — «Ну вот, он говорить не может, а Маргарет может». Мейнард невозмутимо заявил: «*Некоторые* вещи говорить не могут, но *другие* могут».

Уже взрослым Мейнард с любовью вспоминал людей, составлявших круг его отца:

В начальное время в Кембридже сложилось сообщество семейных преподавателей и их царственных супругов, жен директоров колледжей и нескольких профессоров, затем этот узкий круг впервые расширился благодаря тому, что несколько наиболее известных преподавателей, особенно Школы гуманитарных наук, взяли себе в жены студенток Ньюнема. Двойная смычка между мужьями и женами дополнительно сплотила маленькое культурное общество, придав ему простоту и достоинство. В мои мальчишеские годы этот круг был в полном расцвете сил, и когда я достаточно повзрослел, чтобы получать приглашения на завтрак или на обед, именно в эти дома я и шел. Запомнились до-

машний уют, интеллектуальная атмосфера, которые не так-то легко найти в сегодняшнем распухшем разношерстном Кембридже⁵⁴.

Джеффри добавляет, что Мейнард с раннего возраста был готов включаться в ученые беседы⁵⁵. У.Э. Джонсон, добавлявший тонкость своих суждений к доброму расположению духа, был ближайшим другом Невилла. Его сестра Хатти была именитой правительницей школы, которую посещали Маргарет и Джеффри. В памяти Мейнарда сохранились разговоры отца с Джонсоном, обсуждавших за нескончаемыми завтраками сложные вопросы логики. Строгий, но очаровательный Сиджвик, с белой окладистой бородой, был неизменным компаньоном как на площадке по гольфу, так и за обеденным столом. Еще в числе друзей был философ и физиолог Джеймс Уорд, «существо вспыльчивое и раздражительное», как он сам себя называл; летом Кейнсы и семейство Уордов любили устраивать пикники на берегу реки. Экономист-библиофил Герберт Фоксвелл, женившись, перебрался на Харви-роуд в 1898 г. Частым посетителем дома 6 на Харви-роуд, не столько гостем за обеденным столом, сколько участником оживленных дискуссий, бывал нелепый, но очаровательный Альфред Маршалл. В круг друзей Невилла входили также экономисты, жившие и работавшие за пределами Кембриджа, — Джеймс Бонар, Генри Викстид, Роберт Гиффен и Инглис Палграв. Вне всякого сомнения, прабабушка Форд имела в виду образовательное воздействие именно такого общества, когда она писала Мейнард: «Ожидается, что ты вырастешь очень умным, поскольку все время живешь в Кембридже».

Когда ему исполнилось пять с половиной, его поместили в детский сад при Школе Перса для девочек. К концу 1889 г. в нем обнаружили «способности к арифметике». Но 10 октября 1889 г. взволнованный отец отметил: «нервы Мейнарда кажутся очень расстроенными». «Он постоянно мигает и порой так ужасно закатывает глаза,

что видны одни белки». К 30 октября дерганье глаз стало «пугающим» и его на некоторое время забрали из детского сада после того, как доктор Верри диагностировал пляску святого Витта, истолкованную как последствие пережитого летом приступа ревматической лихорадки. Годом позже, в декабре 1890 г., Мейнард выказывал особую «мощь» в арифметике; но в это время его навсегда забрали из детского сада, и дальнейшее образование он в течение года получал дома.

В январе 1892 г. он стал посещать дневные уроки в подготовительной школе Святой Веры на Трампингтон-роуд. Основателем и руководителем этого заведения был Ральф Гудчайлд, суровый педагог викторианского склада, считавший себя способным распознавать с первого взгляда «материал, пригодный для учебной обработки. Невилл быстро и разумно вмешался, чтобы прекратить эксплуатацию своего сына:

Ясно [написал он Гудчайлду 12 февраля 1892 г.], что для Мейнарда работа, длящаяся полдня, — это многовато. Иногда — как сегодня — он приходит домой совершенно измученным. Я буду очень признателен, если вместо того, чтобы оставаться в школе и заниматься там выписыванием своих ошибок, он сможет приходить домой сразу по окончании уроков, а работу над ошибками откладывать на вечер... Он также жалуется, что его ударил линейкой по голове и вывернул ему запястье ученик по имени Уотсон, всего двумя годами старше его, когда они находились вдвоем в классной комнате. Самому мальчику не нравится, что я собираюсь отправить Вам это письмо, и поэтому Вы меня очень обяжете, если ничего не станете пока говорить об этом ни Уотсону, ни другим ребятам. Я напишу Вам снова, если услышу еще о чем-нибудь подобном.

К марту отец отметил, что Мейнард «очень быстро соображает в арифметике и алгебре». Попутно следовало, однако, замечание, что «вряд ли ему удастся сколько-нибудь превзойти своего отца в делах спортивных»⁵⁶. Главная проблема состояла в том, чтобы унять Гудчайлда и не

позволять ему ускорять учебный процесс. К десяти годам Мейнард освоил *Первую Книгу* Евклида, решал алгебраические квадратные уравнения, производил процентные исчисления с арифметическими величинами, знал Овидия, бегло читал латинскую прозу и *Самсона Агонистеса* по-английски⁵⁷.

Обеспокоенные тем, как все это сказывается на его здоровье, родители осенью 1893 г. отправили Мейнарда в Бедфорд, где прабабушка приняла его во вновь открытой по этому случаю классной комнате. Миссис Браун была глубоко потрясена правнуком: «Общие способности и уровень интересов — совсем не по годам — что и показывает в литературе. Она говорит, что он очень собран и целеустремлен во время работы, но ему трудновато дается постоянное применение своих знаний на деле», — таковы ее замечания, то и дело повторяемые в это время⁵⁸. Но Невилл не был вполне доволен бедфордским экспериментом. «Мейнард возвратился не совсем на уровне», отметил он 2 января 1894 г. «Возможно, Флоренс обращает на болезни слишком много внимания, но в Бедфорде они впадают в противоположную крайность, не придавая никакого значения его диете и лишь посмеиваясь, когда он жалуется на недомогание».

Однако именно по возвращении из Бедфорда Мейнард действительно стал преуспевать в учебе. В июле 1894 г. он впервые вышел первым на экзаменах и в классной работе — потренировавшись с Невиллом в технике сдачи экзаменов. Его превосходство над соучениками в школе Святой Веры, державшееся на неколебимой основе математики, теперь получало новую опору в виде эссеистики, к которой он определенно имел склонность. С октября 1894 г. он четыре раза в неделю отдавал по два часа упражнениям в этой области. 30 ноября отец отметил: «Мейнард самостоятельно обнаружил способ возведения в квадрат суммы двух чисел, применив формулу $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ » — первое свидетельство о наличии у него способности к алгебре — главного его достоинства

как математика. В декабре того же года его преподаватель Холт, сам из «спорщиков», сообщал, что Мейнард «время от времени делает действительно блестящую работу, но быстро утомляется и не проявляет настойчивости в преодолении трудностей». В июле следующего года Невилл с облегчением отметил, что «его работа, кажется, перестала быть для него тяжким трудом, и, похоже, сам он теперь парень покрепче прежнего». Исключительно быстро схватывая суть дела, Мейнард не отягощал себя вниманием к подробностям. Гудчайлд говорил Невиллу: «Работа, на которую требуется два часа, выполняется менее чем за половину этого времени». Раздражает к тому же, — продолжал Гудчайлд, — что он «исправляет свои ошибки быстрее, чем я их замечаю, заглядывая сверху в его тетрадь»⁵⁹. В это время Мейнард был так одержим своей алгеброй, что в часы семейных молитв нашептывал: «Примем маму за икс, а Джеффри пусть будет игрек»⁶⁰.

Позади остались дни, когда ему приходилось терпеть обиды от однокашников. И так-то не по возрасту высокий, он вскоре после возвращения из Бедфорда рванул ввысь еще больше. Когда в конце 1896 г. Гудчайлд написал Невиллу, что Мейнард «головой и плечами возвышается над всеми остальными ребятами в школе», он имел в виду и физическую, и умственную сторону дела.

Не подлежит сомнению [вспоминает его брат], что... однокашники смотрели на него почти как на божество. Рассказы о рабе, который носил за ним его книги и тетради в обмен на помощь и защиту, или о другом парне, с которым у него было скрепленное кровью «коммерческое соглашение», предписывавшее тому никогда не приближаться к Мейнарду менее чем на пятнадцать ярдов, — это не апокрифы. Я мог бы привести и еще пример⁶¹.

Он также установил на Харви-роуд нечто вроде верховной власти математики. Давно забыв про суровые наказания за нарушение правил, он теперь засиживался за книгами далеко за полночь и считал ниже своего достоинства

спускаться к завтраку раньше полудня. Он работал вместе с Невиллом в его кабинете. Когда родители уезжали в отпуск, Мейнард со знанием дела разбирал их почту. Благодарный Невилл приговаривал: «Мой дорогой личный секретарь». Основой того положения, которое Мейнард занимал в доме, было окружавшее его родительское восхищение, возраставшее с каждым достававшимся ему очередным призом. «Я уже сверх всякой меры горжусь моим дорогим мальчиком, — записал Невилл 12 января 1897 г. — Моя гордость им и моя любовь к нему питают друг друга».

Несмотря на тревоги по поводу его усиливавшегося заикания, в конце 1896 г. родители решили записать его на сдачу предстоявших в июле вступительных экзаменов в Итонский колледж. Мейнард так и так попал бы в закрытую среднюю школу. Гудчайлд советовал Тонбридж, поскольку родители Мейнарда отошли от неконформизма, принадлежали теперь к «благонадежному» слою общества и были этим весьма довольны. Но двери в Итон открывали Мейнарду именно его мозги, ибо сами родители не осмелились бы и мечтать о том, чтобы отправить его в среду аристократов или богатых горожан. Итон — это значило Итон-колледж, куда каждый год около пятнадцати мальчиков «избирались» на конкурсной основе. То был для Мейнарда первый шанс помериться силами с отборной частью подававшей надежды интеллектуальной элиты Англии.

Невилл, как и следовало ожидать, не был настроен пускать дело на самотек. Наняты были специальные репетиторы. Каждое утро отец и сын вставали в семь и вместе работали до завтрака с целью приучить Мейнарда к обычным часам работы с конкурсными бумагами. Неудивительно, что Невилл начал чувствовать себя «очень усталым». К депрессии, наваливавшейся на него всякий раз, как он задумывался о будущем сына, добавлялась «горькая мысль... как бы дорогой мальчик во всяком случае не очень долго задерживался с работой в моем кабинете»⁶². К понедельнику 5 июля, когда он, Флоренс и Мейнард от-

правились в Итон, он находился в «ужасно беспокойном состоянии». Как на грех, их гостиница на Главной улице оказалась «невыносимо шумной», так что он всю ночь не смыкал глаз, буруеваемый мрачными мыслями.

Во вторник 6 июля все они встали в 6.15 утра, чтобы Мейнард мог вовремя поспеть в школу и сесть за латинское сочинение. Когда Невилл решил покинуть гостиницу и пойти узнать, как идет экзамен, Мейнард, написавший свое сочинение досрочно, уже весело шагал ему навстречу. Далее предстояли перевод с латинского и математика.

На другое утро Мейнард, наскоро перелистав греческую грамматику и в подкрепление хлебнув мясного бульона, снова пустился в ранний путь. Сдал трудный экзамен по математике и после обеда опять быстро разделался с греческим переводом, пожаловавшись, что дни «тянутся так мучительно долго». Его родители тем временем пригляделись к итонским мальчикам и вынесли самое благоприятное впечатление об их манерах. Утром в четверг Мейнард держал экзамен по латинской поэзии и в заключение подал сочинение на общую тему, «которое не очень-то пришлось мне по душе»⁶³.

Волнения вокруг экзаменов сменились волнениями по поводу итогов. Подавленный мрачными суждениями Гудчайлда об оценках Мейнарда и встревоженный отсутствием доброжелательной улыбки на лице вице-канцлера, одного из итонских экзаменаторов, Невилл предавался отчаянию: «Ладно, я полагаю, что мой дорогой мальчик выложился в полную силу». Когда никаких новостей не появилось и в понедельник, они с Флоренс оставили всякие надежды. Хорошо, пусть будет Тонбридж или, на худой конец, Регби. «И все же, побывав в Итоне, мы еще острее ощутили, что речь должна идти именно об этой школе: в конце концов я, который разжег в мальчике эти ожидания, просто не могу думать о его поражении в первом же общественном испытании». Наконец, в 5.30 попо-

лудни принесли телеграмму: «Мейнард 10-й стипендиат колледжа». Математика в конце концов его вытянула, и по этому предмету он разделил первое и второе места. «Это, — писал расчувствовавшийся Невилл в дневнике, — была, я полагаю, лучшая телеграмма в моей жизни. Мои собственные успехи никогда не доставляли мне такой радости». Это было для него первое из многих подобных удовольствий. Потому что, сколько бы потом отец ни поднимал планку ожидаемых от сына успехов, Мейнард всегда ее перекрывал.

Тем летом на ферме Ли, в Тинтэйджеле, Невилл любовался своим вымахавшим под потолок сыном. «В Мейнарде, — записал он в дневнике, — весьма причудливо сочетаются изрядная доля ребячества, такого, что он готов полностью отдаваться играм и простейшим удовольствиям, забавляющим Джеффри, а то и еще меньших детей, с признаками взрослости, позволяющей ему очень заметно и серьезно, вполне по-мужски проникаться достойными жизненными идеями»⁶⁴. Гудчайлд пометил: «Все больше он производит на меня впечатление человека, обладающего всеми лучшими качествами».

IV Итон

1. Учеба в Итоне

«Десятого стипендиата Королевского колледжа» Мейнарда поселили в самом колледже на сентябрь 1897 г. По мере приближения срока явки на учебу в Итон он впадал в подавленное состояние духа и становился раздражительным. Будто в знак протеста он подхватил сильнейшую простуду и вынужден был пропустить начало первой *половины* (в Итоне триместры именовались «половинами»: из трех «половин» складывалось целое). «Достойно всяческого сожаления, что дорогой мальчик не сможет появиться в Итоне в положенный день», — отметил его отец, беспокоившийся одинаково и по поводу здоровья Мейнарда, и насчет соблюдения правил приличия. В конце концов Мейнард, сопровождаемый матерью, смог покинуть Кембридж 26 сентября, четырьмя днями позже срока, и все еще с видом, говорившим о его нездоровье. Мисс Хакетт, домоправительница колледжа, гостеприимства не выказала: «Здесь не больница», — раздраженно сказала она Флоренс. Но одна из приставленных к мальчикам горничных, «такая славная, по-матерински заботливая женщина», разложила одежду Мейнарда в выделенном ему шкафу. Флоренс сочла, что все в порядке, и успокоилась. 4 октября Мейнард написал брату:

Дорогой Бофф,

...Мы проверяем [sic!], насколько тепла вода в ванне, по трубам, называемым сифонами. За любую повинность наказывают тем, что будят такими ударами по сифону, и это называется просифониванием. Сегодня я первый раз играл в Стенку. Это поразительная игра, никакому описанию она не поддается. А играют в нее в самых странных и невероятных одеяниях, которые зовутся *стенными мешками*.

Передай, пожалуйста, маме, что посылку с чулками и книгами я сегодня получил.

Остаюсь

Твой нежный брат

Дж.М.К.

Аллилуйя

Опоздание принесло Мейнард по крайней мере ту пользу, что он избежал традиционной первой встречи новичков с директором школы. Преподобный Эдмонд Уорр, великий силач и великий христианин, никогда не упускал случая выступить с предупреждением об опасностях «мерзости»; предупреждением, которое звучало тем более впечатляюще и таинственно, что расслышать другие слова в его речи было нелегко¹. Бабушка Браун не преминула вмешаться, чтобы заполнить провал в его назиданиях: «Никогда не делай и не говори ничего такого, что заставило бы твою маму устыдиться, окажись она здесь», — написала она внуку.

С этими традиционными назиданиями, звучавшими в их ушах, Мейнард и другие мальчики его «набора» окунулись в процесс, который должен был превратить их в «итонцев». Пять лет спустя он вышел из него тем узнаваемо взрослым человеком, каким ему суждено было оставаться до конца жизни. Через что он прошел?

В Итоне он отличался выдающимися успехами и был там по большей части счастлив. Это помогает понять ту роль, какую он сыграл в жизни Англии. Многих одаренных отпрысков английских буржуазных семей сделали несчастными их родители или их школы-пансионаты; иные в результате стали бунтовщиками. Но сколь бы вер-

но это ни было в отношении некоторых выходцев из среднего класса, Кейнса это не касается ни в коей мере. Он является собой пример первоклассного интеллигента, который никогда не был «изгоем».

Одна причина ясна. Дома у него никогда не было нужды бунтовать. Ценности, отстаиваемые его родителями, покоились на ученых знаниях и интеллекте, а не на чувствах; и он никогда не расставался с этой частью своего наследства. Но следует воздать должное и Итону. Тамошняя жизнь Мейнарда не давала ему оснований превращаться в бунтаря. Самое же главное было, может быть, то, что все семьдесят мальчиков-стипендиатов жили вместе, в одном здании — Колледже, — и не были рассеяны по окрестным домам. В Колледже его ум мог развиваться в созвучной интеллектуальной обстановке и в среде, благоприятствовавшей ученым занятиям. Само существование Колледжа оживляло остальную часть школы. Мейнард никогда не приходилось воевать с обывательским тупоумием или доказывать свои атлетические способности, то есть тратить силы на то, что столь многих мальчиков заставляет страдать или повергает в состояние скуки. И дома, и в Итоне, и позже в Королевском колледже в Кембридже окружающая обстановка благоприятствовала его умственному развитию, никак его не затрудняла и не искажала.

Итон никогда не поддавался давлениям чересчур воинствующего христианства. Само положение школы на вершине общественно-образовательного мира допускало процветание внутри нее более гуманной, не столь репрессивной, как в других местах, культуры. Родители учеников воспринимали свой дворянский статус как нечто само собой разумеющееся и не добивались, чтобы школа лепила из их отпрысков создания, соответствующие неким наперед заданным стандартам. Просвещенные учителя, вроде Уильяма Джонсона и Оскара Браунинга, придававшие больше значения воспитанию ума и чувств, физическим упражнениям тела, могли, по крайней мере какое-то время, успешно работать в значительной независимости от

директора школы, поддерживаемые в этом отношении еще одним беспримерным учреждением Итона — системой наставников, наблюдавших за успехами каждого ученика и помогавших ему общими советами. Помимо всего прочего — и это было важнее всего, — каждый учащийся (после первого года пребывания в колледже) обладал замечательным благом в виде собственной комнаты, служившей кабинетом и спальней и обеспечивавшей необходимое уединение. Сама школа, не так как другие, оказывала на учащихся меньше давления в попытках подгонять их к единому стандарту. Как писал об Итоне один его старый воспитанник, «там вы могли думать о том и любить то, что вам нравилось: только во внешности, в одежде или в манере вам полагалось следовать общему примеру»².

Сохранялась значительная разница между двумя ветвями Итона — стипендиатами колледжа и *оппиданами* (учениками на платной основе). Колледж, если воспользоваться удачным выражением Бернарда Крика, представлял собой «интеллектуальное вторжение в сердце социальной элиты»³. Одно из практических следствий этого отмечается в письме Мейнарда домой, которое он написал на третьем году учебы (28 января 1900 г.):

Вчера после молитв Гудхарт [директор колледжа] прочитал нам лекцию о лени и расточительности среди обучающихся в колледже оппиданов.

Мысли были вполне здравые: учащиеся должны сами обеспечивать себя средствами к жизни и поэтому должны уже сейчас работать; к тому же тем, кто может позволить себе расточительство, не место в колледже, а у кого средств не хватает, тем не следует ими бросаться.

Атмосфера в колледже была умственно насыщенная и свободная от земных забот. Все было настроено на воспитание священнослужителей, ученых и учителей; стражей благополучия итонских богачей, государственных деятелей, банкиров. От «тягачей», как называли зачисленных по конкурсу, ожидалось, что они должны «по-

теть» или делать более трудную работу, чем *оптиданы*. Они носили школьную одежду на уроках и стихари в часовнях. У них была своя спортплощадка, так называемое Поле колледжа, где они предавались непостижимой игре в Стенку. У них были своя общественная организация и свой, только им понятный язык. Географически колледж и школьный двор составляли центр школы, *оптиданы* же квартировали по частным домам вокруг. В первые три года все интересы, дружеские связи и действия Мейнарда ограничивались колледжем. Даже при совместных занятиях с *оптиданами* он и другие из его «набора» составляли интеллектуальное меньшинство и верхушку каждой студенческой группы, внутри которой и шла между ними борьба за призы.

Два человека оказали особенно заметное влияние на жизнь Мейнарда в Итоне. Первый — его наставник Сэмюэль Гэрни Лаббок, сам только что вернувшийся в Итон помощником директора после того, как занял первое место на экзаменах по классической культуре в Королевском колледже в Кембридже. Наведя справки в Королевском колледже, Невилл лично пригласил его на работу в Итон. Это был превосходный выбор. Лаббок был истинно ученым джентльменом, воплощением идеала всестороннего развития. Он сразу же разглядел в Мейнаarde исключительно одаренного юношу с чрезвычайно богатыми способностями и широким диапазоном интересов и всячески способствовал их дальнейшему разворачиванию. Мейнард, который, как увидим, инстинктивно противился поклонению каким бы то ни было авторитетам, своего наставника любил и уважал. Влияние Лаббока можно уловить в последующем решении Мейнарда сдавать экзамен в кембриджский Королевский колледж, как и в его отказе специализироваться по математике — предмету, в котором он был сильнее всех. И именно Лаббок пробудил у него интерес к средневековой латинской поэзии. Вторым по влиянию человеком был для Мейнарда не кто-нибудь, а сам Невилл Кейнс. «Пиши каждую неделю, как у тебя

дела, как продвигаешься в работе», — написал он Мейнард, едва тот отправился в Итон. Мейнард так и поступал. В ответ ему шел поток советов и указаний, как усваивать уроки, как сдавать экзамены, как отрабатывать литературный стиль и вообще как себя вести.

Вскоре об учебных достижениях сына, о его положении в итонском обществе, о конкурентоспособности та-мошних учеников Невилл знал почти столько же, сколько и сам Мейнард. Сын следовал советам Невилла, но у него были собственные, независимые интеллектуальные интересы. И прежде всего, иным был стиль и ритм его работы. Для Невилла любое академическое достижение всегда связывалось с тяжелым, болезненным трудом; к Мейнард-у успех приходил гораздо легче. По мере поступления все новых и новых призов тон Невилла постепенно менялся — от назидательного к почтительному: «Похоже, все это достается тебе само собой — хочешь ты того или нет», — написал он 4 февраля 1901 г.

2. Школьник

О школьных годах Мейнарда в Итоне многого мы, вероятно, так никогда и не узнаем. У нас есть полный набор отчетов о его школьных успехах, его письма домой. Сохранилось некоторое количество его эссе и записных книжек. Он хранил дневник за три последних школьных года, но тут многое записывалось позже, по памяти, или вставлялось из писем родителям. Из всего этого можно получить довольно полное представление о его умственном развитии, его интересах, спортивных достижениях, его суждениях на самые разные темы, его литературном слоге и тех чертах его личности, которые он старался выставить напоказ преподавателям и родителям. С другой стороны, его внутренняя жизнь, его отношения с одноклассниками приходится, в лучшем случае, выводить из очень смутных косвенных свидетельств. Это относится ко

времени, когда Кейнс и его друзья не начали еще вести обильную переписку с анализом своих «душевных состояний». Сохранилось несколько довольно бессодержательных писем, которыми обменялись Кейнс и его школьные друзья. Чувствуется, что их не собирались прятать от родителей глаз.

В школьных отчетах Мейнард предстает как образцовый ученик, притом неоднократно отмечаются некоторые заслуживающие особого внимания свойства его ума и личные качества. Говорится о скорости, с какой он выполняет свою работу благодаря умению быстро схватывать суть дела, не упускать из виду детали и понимать предмет или тему в целом. Часто отмечалось его умение превосходно изъясняться по-английски. И все же его познания в математике, основанные на исключительных способностях к алгебре, достигли такой полноты, что на третьем году обучения он был отстранен от участия в конкурсе на решение задач, поскольку никто, кроме Гилберта Харрисона, его наставника по математике, не хотел, чтобы он специализировался по предмету, в котором был сильнее всего. Луксмур, слывший лучшим классицистом Итона, выражал надежду, что точные науки не погасят в юноше любви и понимания более высоких и вдохновляющих забот человеческой души. Его небольшое эссе на тему «Антигона» не было похоже на работу математического склада (апрель 1901 г).

В Итоне Кейнс был потрясающим завоевателем призов. Он получил их десять в первый год учебы, восемнадцать — во второй, одиннадцать — в третий; всего же ему их досталось шестьдесят три. Он выиграл все главные призы школы по математике и даже умудрился прихватить по дороге приз по химии. Но что особенно радовало Лаббока, так это отсутствие в работе Мейнарда какого бы то ни было «духа наемника». В работе он находил радость самой работы и не искал в ней удовольствия в виде получения очередного приза. «Он — один из очень немногих, кто, похоже, понимает ценность и достоинства книг, с которыми он ра-

ботае» (декабрь 1898 г.). Здесь Джеффри Кейнс предлагает, возможно, несколько одностороннее видение своего брата. Отец, писал он, «придавал огромное значение нашим оценкам и общему положению в классе и тем самым разжигал в Мейнарде дух соревнования, а тот наслаждался своей способностью обходить, обскакивать других ребят»⁴. Первая часть этого сообщения, несомненно, соответствует истине. Письма Невилла Мейнард изобилуют высказываниями в том духе, что, мол, «ты не сообщил мне, насколько отстал от Херрингэма и Бейли в первом двухнедельном зачете по классикам» (28 февраля 1898 г.); «Похоже, Эйнджер движется хорошо. Ты не должен допустить, чтобы он побил тебя на испытаниях» (12 мая 1898 г.). Насколько находившийся вдали и сам вполне конкурентоспособный Мейнард нуждался в подобных понуканиях — вопрос открытый. Правда в том, что Невилл, судивший только по себе, никогда бы не смог понять, какое огромное удовольствие Мейнард получал от хорошо сделанной работы как таковой.

Ко времени его пребывания в Итоне относятся два красноречивых примера, никак не связанных с гонкой за призами. Это — его занятия семейной родословной, захватившие большую часть четвертого года учебы, и его увлечение средневековой поэзией. Отца тревожили подобные отклонения от главной школьной колеи. Всю жизнь Мейнард проявлял эту способность цепляться за нечто постороннее для его главных усилий, но в конечном счете, как выяснялось, их же и обогащавшее. Интересы, выходившие за пределы школьной программы, придали дополнительные измерения его экономическим работам.

Будь то в рамках учебной программы или за ее пределами, мысли Кейнса далеко не замыкались на чисто интеллектуальных вопросах. Поначалу Лаббок находил его манеру поведения несколько угрюмой, но на втором году он с радостью отметил, что «стиль стал немного более задорным» (апрель 1898 г.). В августе того же года он отметил, что Кейнс, «стал проявлять большой интерес к спортивной и школьной жизни». В крикете его достижения

были скромными. «Счет у меня был 5, 3 и 2», — докладывал он Невиллу 22 мая 1898 г. с обычной для него точностью. Летом второго года он занялся греблей и от души наслаждался жизнью на реке, старательно, в компании с друзьями, двигая лодку по Темзе к любимым местам для купания и чаепития.

Умение делить с товарищами обычные школьные радости несколько сократило масштабы его пугающего величия и таким образом сделало менее оторванным от одноклассников. «Много говорит в его пользу, — записал Лаббок 5 августа 1899 г., — что немало малограмотных учеников из моей группы, с которыми он общается, любят и очень уважают его». Ребята из его набора смотрели на него как на выразителя своих интересов⁵. Он был чуть старше большинства из них, поскольку попал в школу четырнадцати лет, а не тринадцати, как они. Он был очень высок, и это предполагало, что прямо с утра должен был облачаться в черную фракную пару, надевать черный шелковый цилиндр и белый галстук-бабочку. (Флоренс обычно покупала их ему связками: надел раз — и выбросил). Голос у него уже сломался: один из одноклассников припоминает «довольно высокого, невероятно угловатого» малого, исполняющего на уроке пения *Три Синих Бутылки* и при этом не прилагающего ни малейших стараний попасть в такт мелодии. В конце своей первой «половины» он был избран в *Chamber Pop* (дискуссионный клуб колледжа) и активно участвовал в дебатах не без помощи отца, который подбрасывал темы и подавал технические советы. В свою «третью половину» Мейнард стал *капитаном клуба*, заняв положение, «отнюдь не вызывающее у меня неприязни» (как сказал он Невиллу). Ничто не свидетельствует, будто он кривил душой: Мейнард пользовался уважением соучеников.

Столь же хорошее впечатление производил он на преподавателей. Его скромное поведение, отсутствие всякого самодовольства, его обстоятельность, готовность откликнуться на любую просьбу — все это отмечалось и ценилось. Он редко вступал в распри со старшими ребятами,

сумев избежать «обработки» (побоев тростью) вплоть до пятого триместра, да и тогда совершенно незаслуженной, как он записал в дневнике 3 июля 1899 г. Бедой, неизменно преследовавшей его в глазах начальства, была его неспособность вовремя встать утром. Это было единственное проявление его бунта против правил. О том, что Кейнс был уже меньше доволен начальством, чем начальство им, ясно следует из его писем домой. Они полны острых нападок на глупость или унылость экзаменаторов, проповедников, казначеев, медсестер, и т.д. Даже в Итоне он не испытывал удовольствия от общения с дураками. Об экзаменаторах он, похоже, всегда был более низкого мнения, чем они о нем. Того, кто в его первый год в Итоне, предложил задачу, за решение которой он выиграл исходный приз по математике, «следовало изолировать от общества как опасного сумасшедшего», — написал он домой 3 июля 1898 г. Это — Кейнс во всей его красе. Его постоянные препирательства с сестрой-хозяйкой колледжа — «Каргой», как ее называли, — послужили причиной редкого родительского выговора: «Ты не можешь допускать, чтобы ее мелкие недостатки ослепляли тебя так, что ты уже не в состоянии видеть ее хорошие качества». 14 октября 1900 г. он жаловался на отсутствие горячей воды: «Но чего еще можно ждать от коменданта, считающего все это излишним, потому что он не помнит никакой — ни холодной, ни горячей — воды в Ковчеге, где он однажды проводил летние каникулы со своим старым другом Ноем?» Впоследствии коменданту Королевского колледжа приходилось не раз корчиться под ударами подобных презрительных замечаний.

Ему нравились учителя, способные его просветить или развлечь, но он терпеть не мог нагонявших скуку. Среди преподавателей настоящим *bkte noire** был для него «Майк» Митчелл, фанатик крикета, у которого Мейнард осваивал на третьем году классику. Мейнард «с трудом мог вообразить, что человек способен быть таким скуч-

* Пугало, предмет особой ненависти (фр.)

ным; во всяком случае в этом триместре я не буду страдать от недосыпа» (6 мая 1900 г.). Двумя неделями позже: «мы все же преуспели в исследовании глубин его невежества. Дна там не обнаружилось». Отчет Митчелла оказался единственной кислой нотой в ведомости о школьных делах Мейнарда. «Мальчик, изрядно нарушающий школьный порядок, — часто читает записки, не уделяя внимания объяснениям учителя; если не пресекать со всей строгостью, будет болтать с соседом. Стараются создавать о себе впечатление привилегированного ребенка, возможно зараженного некоторым интеллектуальным тщеславием». Тут что-то напоминает истину: так много дарований и так много скромности, о чем говорит Лаббок, заставляет думать о совершенстве, выходящем за рамки возможного.

В часовне проповедники вызвали у него самые нехристианские чувства. 12 ноября 1899 г. он «сидел и терзался в течение двадцати пяти минут». Проповедь читал «архидьякон, но об этом вы еще должны были догадаться, потому что, я полагаю, с такой отвратительной проповедью мог бы выступать и сам епископ». Четыре месяца спустя (4 марта 1900 г.) он отмечает «отвратную работу. Надо бы незамедлительно произвести его в архидьяконы, у него для этого все данные». Чтение проповедей предоставляло несравненные возможности громогласно пороть чушь. Здесь соединялись две самые ненавистные Мейнардлу вещи: расплывчатость суждений и пустая трата времени.

Кейнс был сама точность. Он требовал точного смысла произносимых слов. Что такое «нерушимая опора вещей?» — спрашивал он, прочитав одно из стихотворений Киплинга. У него была страсть к точной информации, особенно представленной в числовой форме. Его письма полны сведений о длине стихотворений, расписании поездов, весе и росте людей, температуре его собственного тела, состоянии финансовых счетов и так далее. В своем дневнике он следовал привычке отца записывать количество часов, отработанных утром, пополудни и вечером, перечислять прочитанные за год книги, счет в сыгранных

партиях в гольф. Он постоянно следил за тем, на что тратил время; помечал, сколько его пойдет на то-то и то-то. Письмо Флоренс от 2 мая 1902 г. гласило: «Это письмо достойно всяческого восхищения: я писал его всего десять минут — по часам». В конце 1901 г. он поразил отца статьей, которую написал для *'Итонской хроники'* по заказу, полученному всего минутой раньше; притом час спустя статья была уже в типографии. «Статья, — отзывался Невилл, — очень здорово придумана, а построена она, с учетом обстоятельств, просто замечательно. Хорош и слог». Мейнард мчался по жизни, как бы подгоняемый тиканьем встроенных внутрь него часов, но он редко производил впечатление человека, который куда-то спешит.

Многие его замечания о жизни вне школы выдают, как и следовало бы ожидать, предубеждения его собственного класса, названного им впоследствии «образованной буржуазией». Его отношение к королевским особам, толпившимся в Виндзоре, было по-мужицки непочтительным. Отливающий звездным блеском рассказ Невилла о посещении Кембриджа королем Швеции — «великолепная внешность — король каждым дюймо́м» (15 мая 1900 г.) — резко расходится с вышедшим из-под пера Мейнарда (26 ноября 1899 г.) куда менее торжественным описанием кайзера Вильгельма II: «на меня произвела впечатление его королевская статья, а усы превзошли все мои ожидания». Невилл в своем верноподданническом настроении очень беспокоился, удастся ли Мейнарду хоть мельком взглянуть на Ее Величество. В конце концов ему повезло, и он оказался поблизости от «славной леди», но «несомненно из-за скверной погоды нос у нее оказался, к сожалению, красным» (20 мая 1900 г.). Не то чтобы большее удовольствие доставляли ему низкие и грубые формы жизни. «Население Виндзора необычайно хулиганское», — писал он домой 26 ноября 1899 г. При посещении сестры Маргарет в школе в Хай-Уайкомбе он сожалел «о полном отсутствии в городе умеренно богатых жилых домов». Когда же австралийцы сумели выиграть отборочный матч со счетом 8:9 за пять с половиной часов,

Мейнард прокомментировал: «А чего же ждать от команды каменщиков и им подобных» (19 июля 1899 г.). Интересно не то, что подобные суждения он выносил в те годы своей жизни, а то, что они так никогда и не менялись до конца его дней. Аристократы всегда оставались нелепостью; пролетариат был всегда «невоспитанным». Все хорошее в жизни имело своим источником средний класс.

Ни один экономист не владел пером лучше и не умел воздействовать на читателя больше, чем Мейнард Кейнс. Эти способности начинают пробиваться у Кейнса уже в его письмах домой, но не на маловыразительных страницах его дневника. Его умение сразу схватывать суть дела часто сочеталось с пониманием нелепости самой этой сути. Не останавливался он и перед дерзостями. В преддверии намечавшегося визита кайзера он писал, что «в прошлый раз он просил показать ему, как происходит телесное наказание, но директор уклонился от исполнения монаршей просьбы, оправдываясь тем, что сейчас как раз нет никого, заслуживающего наказания. Вильгельм тут же предложил к услугам экзекутора часть своего гардероба».

Стиль Мейнарда был строгий, сжатый, прозрачный. Он укладывался в короткие предложения и короткие абзацы. Четко переходил от одного предмета к другому. Почти никогда и ничего Мейнард не вычеркивал. Он описывал события, но редко людей и никогда настроения; находил, что намного проще сообщать факты, чем живописать картины; при необходимости оправдывался: «у меня нет никакого дара воображения» (17 февраля 1901 г.). Но он переживал по поводу того, что называл своим «телеграфным стилем». За два дня до своего шестнадцатилетия писал: «Только что перечитал свое письмо, это собачий лай из очень коротких судорожных предложений. Как мне исправиться?» Невилл ответил (9 июня 1899 г.): «Не думаю, что твое письмо построено плохо. Есть настоящее достоинство в коротких предложениях, если переход от одного к другому — не слишком резкий. Не сомневаюсь, что с практикой ты добьешься отличного английского стиля». К счастью,

Мейнард не перенял у отца некоторой склонности к неуклюжим и высокопарным речениям (вроде: *я ответил в негативном смысле*), хотя стиль Невилла мог служить тогда образцом четкого, пусть и несколько напыщенного, академического языка. Мейнард никогда не умел полностью справляться с проблемой перехода от одного довода к другому, с одного уровня аргументации на другой, от обсуждения одного предмета к рассмотрению другого. Причина — то, что его идеи и интересы, подобно различным чертам его личности, существовали как бы разгороженными между собой. Выигрышем от этого недостатка была его удивительная способность отключаться от темы и тут же полностью сосредоточиваться на другой. Без этого, он никогда не мог бы заниматься столь многими делами и справляться с ними так хорошо. Расплачиваться приходилось некоторой хрупкостью построений.

О чем письма домой умалчивали, так это об одной из сторон его личности, которая стала уже очень важной и выдвигалась на центральное место: то была его тяга к привязанностям, потребность любить и быть любимым. Первая дружеская связь Мейнарда возникла в Итоне. В юности развитие его чувств начало догонять рост его интеллекта — вполне обычное дело для умного мальчика. Некоторые подростки главные выходы своим бушующим эмоциям находят в поэзии или религии. Их чувства могут быть пробуждены естественной красотой или подвигами героев. Мейнард был человеком слишком умственным и ироничным, чтобы его могли трогать такие вещи. Поэзия доставляла ему подлинное удовольствие, но была источником столько же статистических, сколько и духовных экстазов. Часовня религиозных чувств не пробуждала. Правда, некоторые псалмы трогали его душу. На третьем году он, кажется, даже принял конфирмацию, которую назвал «ужасным ритуалом» (31 марта 1900 г.). Но никогда он не был способен принимать религию всерьез и видел в ней только странную аберрацию человеческого ума. Даже в школе он то и дело подкалывал своих религиозно настроенных дру-

зей, опровергая доводы, которые они приводили в доказательство существования бога. Мало расположенный к поэтическим или эстетическим переживаниям, Мейнард пришел к тому, что стал вкладывать все свои чувства в две точки: работу и дружеские привязанности. И в том и в другом содержались сильные энергетические заряды. И судя по всему, в обоих случаях там были уготованы для него боль и счастье — особенно в дружбе. Он не был внешне привлекательным или красивым мальчиком. Более того, по словам Джеффри Уинтропа Янга, поступившего в Итон в 1900 г. ассистентом учителя, «с первого взгляда Мейнард производил впечатление явного уродца, с выпяченными губами, как бы задиравшими кверху его правильно скроенный нос, и тяжелыми надбровными дугами несколько обезьяньего покроя»⁶. Наверно, эта внешность подвигла одноклассников наградить его прозвищем *Морда*. Впрочем, впечатление уродства быстро рассеивалось. У него были очень выразительные глаза, его лицо, оживляясь, становилось привлекательным, а голос звучал очень приятно. Сам он, однако, был убежден в своем уродстве. Сколь угодно умного школьника отсутствие веры в собственные физические силы и недостаток спортивного мастерства способны довести до агонии, и это тоже сыграло роль в образовании дружеских связей, которые становились для Мейнарда особенно важными.

Естественно, что первыми школьными приятелями были мальчики из его собственного «набора». На первом месте среди них был Диллвин Нокс, с которым в первые четыре года учебы они вместе столовались на протяжении нескольких триместров.

Дилли был вторым из четырех видных сыновей епископа. Хотя он был двумя годами моложе Мейнарда, оба слыли самыми умными мальчиками в их «наборе». Дилли, смахивавший на чучело, был в Итоне главным соперником Мейнарда в борьбе за отличия по математике; а что касалось предметов классического цикла, выказывал себя учеником блестящим, пусть и несколько узко мыслив-

шим. Среди друзей Мейнарда он был также наиболее интересным. О характере их отношений можно судить по двум письмам, которые Кейнс написал несколько лет спустя. Первое, датированное Рождеством 1905 г., адресовано самому Дилли. Оно никогда не было отправлено. Заключительные его слова были: «Но с тех пор, как мы начали столоваться вместе, даже после занятных случаев, которыми отмечены наши последние два года в Итоне, между нами сохранялась своего рода привязанность»⁷. *Занятные случаи* почти наверняка имели сексуальную окраску. Несколько лет спустя Кейнс поведал о них еще одному другу из Колледжа, Суизинбэнку. «Я никогда ни у кого не наблюдал такого припадка удивления и ревности. Похоже, он сам стремился к тому же, но так и не отважился...»⁸.

3. Война с бурами

Значительная часть третьего года учебы Мейнарда в Итоне пришлось на время, когда империя занялась охраной своих далеких рубежей. «Не знаю, что и думать об этих делах в Трансваале, — написал он отцу 8 октября 1899 г. — Но думаю, что я все более настраиваюсь на антивоенный лад». Через три дня он записал в дневнике: ультиматум буров истек сегодня в 3.10. Херрингэм, стоявший рядом с Аллкоком, достал часы как раз в назначенную минуту и сказал: «Вот вам, сэр, и война». Ему вlepили 200 строк¹ и предупреждение»

Во время двух мировых войн Кейнс находился в центре британской правительственной машины или в непосредственной близости от него. Большая часть его жизни после 1914 г. была занята размышлениями о национальных интересах и собственном к ним отношении. В 1899 г. эти вопросы захватили его ум впервые. В общем и целом школьные представления предвосхитили его будущие

¹ То есть переписать 200 строк из книги — в порядке наказания.

взгляды, а сами эти представления в значительной степени отражали, конечно, то, что думали и говорили дома.

Родители держались умеренной позиции. «Конечно же, я хочу победы, — писала Флоренс 20 октября, — но признаюсь, у меня кровь стынет, когда читаю, как эти белые люди убивают друг друга, — с дервишами как-то проще, то есть расправы с ними не так потрясают». Мейнард писал домой 22 октября: «к джингоизму я расположен ничуть не больше, чем прежде, но теперь, когда началась война, по необходимости приходится с ним мириться». Отец выразил согласие и одобрение.

Вскоре тяжелое поражение, нанесенное бурами Буллеру, сделали Кейнсов еще более твердыми сторонниками войны. «Мама и я ужинали в понедельник вечером с Маршаллом, — писал Невилл Мейнард 13 декабря. — Профессор Маршалл настроен в пользу буров, и нас это очень сильно раздражает».

С началом нового триместра («половины») — и нового века — война постучалась в двери колледжа. Шестнадцатилетний Херрингэм из группы Мейнарда оставил учебу и вступил в армию. 29 января 1900 г. Мейнард записал: «После 12 директор провел со старшеклассниками (беседу) на тему о Добровольцах. Он сказал, что в национальном кризисе, подобном нынешнему, долг каждого — делать все возможное, чтобы стать настоящим бойцом, присоединившись к добровольцам» Родителям написал: «Следует ли мне вступить в их ряды? Страстного желания нет, да и военные упражнения удовольствием для меня не будут. Но я твердо намерен делать то, что должен. Было бы неприятно оказаться единственным, не попавшим в стрелки». Мать стала обдумывать привычную дилемму между моральными ценностями и общественным долгом или иначе — как соединить ценности Бедфорда и Итона: «Как тебе известно, — писала она 4 февраля, — мы никогда не горели желанием, чтобы ты шел в добровольцы, нет у нас такого желания и сейчас — более того, мы предпочитаем, чтобы от этого шага ты воздержался. Вместе с тем, если ты чувству-

ешь, что правильно было бы поступить именно так и что, не вступив в их ряды, ты окажешься в неудобном положении, с нашей стороны не будет никаких возражений...» Мейнард принял жесткое решение. «Я немного поколебался — и вперед! Дело сделано — или, вернее, не сделано. Наверно, без вашего письма, клонившего к отказу, я поддался бы общему поразительно горячему воинственному настроению, охватившему школу. Некоторые говорят, что патриотизм требует присоединения к бесполезным итонским стрелкам, но мне кажется, что это похоже на тот вид патриотизма, который предполагает лишь размахивание Юнион-джеком¹».

Освобождение Кимберли подогрело патриотический раж отца Мейнарда. «Есть нечто объединяющее всю страну, — пометил он в дневнике 18 марта 1900 г., — и это восхищение Лордом Робертсом». В приливе этих чувств он подписался на 4-тысячный военный заем, хотя облигацию взял только на 500 фунтов. Мейнард проявил больше сдержанности. «Директор, — писал он домой 18 февраля, — совсем чокнулся на военном энтузиазме и ни о чем другом говорить не в состоянии». «На днях он пришел для беседы о грамматике и заявил нам, что, лишь оберегая правила языка и т. п., Англия показала себя способной выигрывать сражения». И чтобы поубавить энтузиазм отца, он написал 18 марта: «триумфальный поход Робертса по Свободной Оранжевой республике это великое дело, но мне кажется, что радость встречавших его жителей Блумфонтейна была слишком раздута, ибо в конце концов в большинстве своем это были британцы».

19 мая 1900 г. Мейнард принял участие в бурных празднованиях по случаю освобождения Мэйфкинга, но в письме домой по обычаю поделился своим особым мнением:

Газеты именуют это «счастьем благодарной души». Не думаю, однако, что мы здесь такие лицемеры. Большинство из нас знает, что Мэйфкинг — славный предлог для долгого

¹ То есть флагом Соединенного Королевства.

отпуска и для прощания со всякой дисциплиной. Мы не бьем окна как ошалевшие от радости, мы их не бьем потому, что при данных обстоятельствах можем делать это безнаказанно.

Вместе с тем ликование «виндзорской толпы» задело и другую струну:

Пьяные мужики раскачивались из стороны в сторону, между ними валялись толстые, неописуемо грязные женщины. Это было здорово, это был Мэйфкинг, а не попавший в осаду королевский городок Виндзор.

И в заключение: «городок Виндзор — гриб на Королевском дубе»⁹.

В эссе *‘Английский национальный характер’*, которое он написал по материалам войны в марте 1901 г., Мейнард изложил свою концепцию истинного патриотизма. Типичный англичанин, писал он, не является «ни реакционером, ни радикалом». В этом ключе он поддерживает идею Киплинга, изображавшего показного патриота, «размахивающего флагом над раздувшимся брюхом», но «не меньшую ненависть» вызывал у него «показной антипатриот», ставший, к сожалению, «знаковой фигурой» времени. «Отчасти это реакция на современный империализм, отчасти же следствие возросшей терпимости в мысли и речи, но в основном это произошло из-за своего рода любви к меньшинствам, которая, кажется, овладевает определенным классом англичан». Кейнс был уже мыслящим патриотом, каковым ему и предстояло остаться. Его вера в империю пережила англо-бурскую войну. Он был слишком молод, чтобы связать себя с антиимпериализмом старшего поколения, с антивоенными радикалами, подобными Дж.А. Гобсону, — тем более, что никакое давление из дома в эту сторону его не подталкивало. На протяжении всей своей жизни он принимал империю как данность и никогда не обнаруживал ни малейшего интереса к отказу от нее. Вместе с тем в экономике он был

слишком большим либералом, чтобы хоть сколько-нибудь сочувствовать попыткам слить ее в некое экономическое целое — тому, чем были заняты Джозеф Чемберлен и иже с ним. Он никогда ни на йоту не отходил от представления, что, с учетом всех «за» и «против», управлять миром лучше было бы англичанам, чем кому-либо еще.

4. Блеск призов

К четвертому году пребывания в Итоне Мейнард достиг *Первой Сотни*, то есть на самом деле стал учеником шестого класса. Теперь он был волен выбирать себе специализацию. Херст, его учитель математики, хотел, чтобы он отставил в сторону все прочие предметы. Мейнард это очень не понравилось. Его любознательность росла вширь, а не съеживалась. В классике он тянулся к Луксмуру, с удовольствием воспринимая его близкую себе по духу саркастическую манеру и сожалея только о его склонности не уступать в защите бессмысленных стихов. Он всей душой наслаждался дополнительными занятиями по истории под руководством С.К. Мартена и старался вникнуть, не был ли Пороховой заговор¹ организован властями специально чтобы дискредитировать католиков. (В то время он как раз не расставался со своими предками-иезуитами, каждое воскресенье просиживая в библиотеке колледжа, где исследовал историю собственного семейства.) В летнем триместре 1901 г. Лаббок пробудил в нем и еще один интерес, когда они взялись вместе читать «крайне увлекательную поэму» Бернара из Клуни *'De contemptu mundi'* (*'О презрении к мирскому'*). «Средневековая латинская поэзия становится теперь одним из его хобби», — отметил Невилл в дневнике 22 июня 1901 г. Как можно было хотя бы поду-

¹ 5 ноября 1605 г. был раскрыт заговор католиков, намеревавшихся убить короля Якова I: под здание парламента, куда должен был прибыть король, заговорщики (во главе с Гаем Фоксом) заложили бочки с порохом.

мать, чтобы бросить все это ради математики? У Херста отыскался, однако, дополнительный довод. В июне 1901 г. Р.Дж. Готри, бывший студент Королевского колледжа, а впоследствии чиновник министерства финансов, сумел выбраться лишь на восемнадцатое место в экзаменах (*трайпос*) по математике. Херст указывал на это как на опасное предупреждение всякому, кто станет слишком разбрасываться в своих занятиях. Мейнард не поддался. Готри, написал он Невиллу 16 июня 1901 г., «не отличается выдающимися математическими способностями, и в любом случае смеху подобно, если Готри думает, будто он лишился части своей души, зная нечто, помимо математики». Оба замечания указывают на причины, по которым Мейнард отказывался от специализации; с этим отказом согласился и отец, у которого, возможно, всплыли в памяти собственные страдания начинавшего студента-математика.

Интересы Мейнарда распространились и на область спорта. Хорошим игроком он не был, но не был и полным «тюфяком». В Михайлов триместр¹ он участвовал в простейших соревнованиях, известных под именем *Итонского футбола*. В следующей «половине» — в почти столь же необычной игре, называвшейся *Итонские пятерки*, которая зародилась столетия назад и состояла в перебрасывании мяча по кругу между часовней и ее оградой. Со временем он взял в руки ракетки и обнаружил, что «это превосходная игра». Он также приобщился к гребле и в феврале 1901 г. завоевал выпел своего колледжа. Однако соревнования в гребле на ледяном ветру и под дождем особого удовольствия ему не доставляли. Он рассудительно заключил, что «время и труд, потребные, чтобы стать хорошим гребцом, несоизмеримы с достигаемыми выигрышами», и радовался своему «повышению» — переводу на лодку *Монарх* — в команду неважных гребцов, которые «ценой отказа от честолюбивых планов покупали себе

¹ Осенний триместр, начинающийся в сентябре-октябре; в школе длится три месяца, в университете — два.

культурный отдых» (12 мая 1901 г.). Мейнард любил плавать по реке с друзьями. Летом ему нравилось также присоединяться к другим гребцам в бесхитростной игре в «водный» крикет на спортивном поле Колледжа.

Но из всех видов спорта самые острые ощущения вызывал у него *уолгейм* («стенка») — еще одна, нигде больше не существующая спортивная достопримечательность Итона, определенным образом связанная с наличием на школьном участке стены, ворот и дерева в углу игрового поля. Отталкиваясь от этих опорных вех, поколения итонцев изобрели игру, нагоняющую предельную скуку на зрителей, но способную доводить до экстаза ее участников. Две противостоящие команды устраивают потасовку у стены, и каждая стремится завладеть прилегающей к ней площадкой и вытолкнуть с нее противника. Для этого нужно вбросить в пределы площадки мяч — один-единственный на всю игру — и кому-то из игроков хоть недолго посидеть на нем (на том и конец игры). Мейнард считал игру «великолепной». На неделе он не раз возвращался с поля в свою комнату грязный, усталый, возбужденно радостный. Даже «ужасное» чувство, когда невозможно дышать под грудой сплетенных человеческих тел, не охлаждало его страсти к этой игре; и он всегда был готов самым серьезным образом обсуждать подробности прошедших состязаний, приводить взвешенные доводы в пользу своих мнений, предлагать мелкие усовершенствования правил. Мейнард отличался слишком небольшим весом, чтобы быть хорошей «стеной», но рост и мужество делали его ценным игроком. Каждый год в День Святого Эндрю, 30 ноября, проводилась большая игра между итонцами из колледжа и оппиданами, напоминая сражения на Западном фронте Первой мировой войны, когда перемещения мощных войсковых соединений не приводили ни к каким осязаемым переменам. В 1900 г. Мейнард был двенадцатым игроком колледжа. На следующий год он постоянно выступал как «2-я стена» колледжа и однажды продержался на мяче восемь минут, что было потрясающей доблестью в сражении

с противниками-гигантами. В 1901 г. в День Святого Эндрю родители без особого удовольствия приехали посмотреть его игру: «Мейнард и другие выглядели ужасно истощенными, — записал Невилл в дневнике. — Он сказал, что в какой-то миг подумал, что ему конец, что не справится с навалившей на него бандитской кучей, не сможет ни вздохнуть, ни на помощь позвать». Лаббок был в восторге, что Мейнарда «так захватывают подобные вещи».

В колледже Мейнард был теперь личностью с определенным весом. В осенний триместр 1900 г. он на широкую ногу «сотрапезничал» с Гамильтоном, Дундасом и Янгом в верхней чайной комнате, коей сам числился *капитаном*. «Вчера вечером, — писал он Невиллу 30 сентября, — мы заказали к чаю на три шиллинга котлет, потом я соорудил нечто вроде закатанной в булку сосиски, и мы завершили это дело прекрасными домашними джемом и пирогом, которые принес Янг. Этим утром после овсянки у нас был омлет из 15 яиц, потом еще сардины и джем». Мать взволновалась по поводу такого чревоугодия: «Однако, мой дорогой сын, продолжая таким образом, ты готовишь себе несметное множество приступов». Удар явился несколькими неделями позже в виде нарывов на коленях — видимо, из-за царапин и их заражения во время игры в *уолгейм*. По заключению врача, в крови Мейнарда поселилась зараза¹⁰. Как и на протяжении всей его жизни, рабочая нагрузка Мейнарда не менялась, несмотря ни на какие неприятности со здоровьем. Он перенес корь во время второго триместра; четвертый триместр был для него отмечен лицевым тиком. Одолевавшие его загадочные лихорадки он называл своими «периодическими изданиями». Флоренс и Невилл не сомневались в его болезненности. Они настаивали, чтобы он кутался в холод, раздевался в жару, избегал сквозняков. Они забрасывали его посылками с тонизирующими средствами и указаниями насчет необходимой диеты. Когда он на веслах, следует, мол, обязательно носить большую белую хлопчатобумажную шляпу, писала Флоренс 25 июля 1900 г. — «ибо я уверена, что небезопас-

но держать голову и шею открытыми». Она подписалась: «Твоя сверхзаботливая мать». Мейнард никогда не выказывал ни малейшего недовольства по поводу подобных назиданий, умея, с его-то чувством юмора, быстро обращать их в семейные шутки.

В январе 1901 г. его положение в товарищеской среде дополнительно укрепилось, когда он был избран в дискуссионный клуб — третьим из своего «набора», после Дундаса и Гамильтона. Клуб собирался в субботние вечера в читальном зале колледжа. Членство в клубе было знаком определенной популярности, ибо любого старшие могли забаллотировать на неопределенно долгий срок. Мейнард был активным оратором, охотно выступал с остроумными речами на такие, например, темы: *«Эта Палата предпочла бы видеть Англию свободной страной, а не оплотом презвостности»*. Он также проявил пристальный интерес к темам частного бизнеса, при обсуждении которых члены клуба пытались вырабатывать всякого рода собственные правила и политику читального зала. Будущий экономист выступил в этой связи с замечаниями относительно предлагавшегося взимания штрафов за забытые в читалке личные вещи (3 марта 1901 г.): «Не думаю, что делать штрафы источником дохода — это хорошая политика. В сущности за этим скрывается чрезвычайно раздражающая форма косвенного налогообложения; к тому же сопряженная с большими трудностями в сборе средств... Вместо штрафов я бы предложил ввести подписку с твердыми обязательствами каждого...» Обращаясь к высоким принципам общего порядка, Мейнард попросту рассчитывал сократить собственные издержки на взносы в казну читального зала, где он вечно забывал свои спортивные перчатки. Его административная деятельность приобрела особенно широкий размах в последний год учебы. Он оказался в составе библиотечной комиссии и удалил 112 томов из книжного собрания колледжа; нашлось ему место и в Комитете управления школьными складами, в котором он потратил многие часы, проводя инвентаризацию запасов школьного

магазина; далее, его ввели в комитет спортивного общества. «Замечаю, — написал он отцу 9 февраля 1902 г., — что, когда меня куда-нибудь кем-нибудь назначают, я, подобно тебе, неизменно вынужден выполнять всю работу сам». Так что его жизнь в Итоне была насыщена интересами и деятельностью. В школе не было ничего нагонявшего на него скуку, ничего оставлявшего его равнодушным — обычный удел ярких, одаренных ребят. Чтобы отец мог по достоинству оценить богатство его интересов, он выражал сожаление, что в сутках не тридцать шесть часов, а в неделе — не четырнадцать дней¹¹. Извиняясь, что резко обрывает письмо домой, писал: «Через минуту с четвертью я должен погасить свет, а мне еще так много надо сделать!» И так ему суждено было жить всю жизнь.

В Итоне были два главных школьных приза — *Ньюкасл* по классике и богословию (присуждался в марте) и *Томлин* (в июне — по математике). На своем четвертом году Мейнард решил бросить все силы на математику. Невилл взялся со свойственной ему дотошностью нести все заботы по подготовке. Запись в его дневнике (11 апреля 1901 г.): «Мейнард, не разгибаясь, работает примерно по три часа в день под моим руководством. Чувствую себя весьма похожим на тренера, будто готовлю его к скачкам или гонкам на приз». Конкурс *Томлин* начался 5 июня 1901 г., в восемнадцатый день рождения Мейнарда. Алгебра и анализ оказались смехотворно легкими, — рассказывал он отцу, — но «дифференциальное исчисление и теория уравнений были, как мне показалось, явно более сложными, чем обычно. По ходу экзаменов с планом я сверялся очень мало». Они с отцом решили, что основными соперниками будут он и Диллвин Нокс; на деле же Мейнард одержал легкую победу, поскольку Нокс сумел набрать лишь необходимый минимум положительных оценок. Нокс, по мнению Мейнарда, был выведен из строя своим механицизмом и неполной ясностью мысли. «Я почти не встречал никого с такой путаницей в мозгах, как у него», писал он Невиллу 15 июня. «Даже в обычной беседе он совершенно не способен выра-

зить смысл того, что хочет сказать; к тому же он весьма неряшлив в работе и вечно забывает особо выделять самые необходимые действия».

Когда Джеффри услышал об успехе Мейнарда, он сказал: «Бедняга, ничего ему с этой привычкой не поделать». Из всех полученных Мейнардом призов это был самый крупный — книги общей стоимостью в 32 фунта. Он уже начал покупать подержанные издания в книжном киоске Дэвида на кембриджском рынке и был решительно настроен брать часть выигранных томов не в кожаных переплетах (как было установлено правилами), а в обложках попроще, чтобы увеличить количество приобретаемых книг. В конце концов он уговорил директора школы пойти ему навстречу и в результате смог получить на свои призовые деньги сорок пять томов. Ко времени, когда он покидал Итон, в его книжном собрании насчитывалось более 300 названий: из них почти половина — школьные призы. В виде прощального подарка колледжу он преподнес прекрасное издание Псалтири, принадлежавшее Николасу Юдоллу, директору Итонской школы в 1530-е гг.

Покончив с *Томлином*, Мейнард позволил себе на несколько дней расслабиться, провести время с друзьями на реке в ожидании очередных экзаменов. В последнюю неделю июля он «состряпал» тридцать докладов, подаваемых в Кембридж на получение свидетельства об образовании. Свидетельство — то же экспертное заключение, какое Флоренс получала в Ньюеме. Главной приманкой был *приз Чемберлена* в виде 60-фунтовой стипендии для четырехлетней учебы в университете. Итон предоставлял ее кандидату с наивысшими оценками, и деньги шли в счет платы за обучение. «Мне никогда не работалось так трудно, — сказал Мейнард отцу, добавляя характерные для него подробности: — До последней недели я никогда не работал больше 10 часов в день или в среднем, в расчете на неделю, больше 7 с половиной, но на последней неделе в среднем получалось 10 с четвертью в день, а в четверг даже 12 с половиной». У него сложилось впечатление, что на сей раз математика

оказалась намного труднее, чем на конкурсе *Томлина*. Однако математика и история, вместе взятые, обеспечили ему общее первое место, перекрыв неудачу, которую он потерпел с классиками. «Даже я, — написал Лаббок Невиллу 2 августа 1901 г., — был заслуженно обрадован достигнутым результатом. Это было выдающееся действие. Он, конечно же, удивительным образом добивается успехов, но и не скажешь, чтобы кто-нибудь заслуживал их больше. И показательно, как он принимает почести — спокойно, искренне, скромно как всегда... Надеюсь, он не перетрудился».

Было намечено, что Мейнард должен добиваться университетской стипендии. Не вставал даже вопрос, о каком университете должна идти речь: «Ни при каких условиях не хочу в Оксфорд» (24 ноября 1901 г.). Давно было определено, что он попытается сдавать экзамены в кембриджский Королевский колледж, родственное учреждение Итона. «В Кембридже больше и податься-то некуда», — заключил Мейнард.

Выбор предмета, под который ему следует добиваться стипендии, тщательно обсуждался. Лаббок считал, что Мейнард наверняка обеспечены первые места по классикам, если только он займется их чтением. Херст был убежден, что он будет первым среди двенадцати претендентов по математике¹². Остановились на математике как на предмете, в котором Мейнард был особенно силен, но и в этом случае оставался вопрос: следует ли ограничиться математикой или, что дозволялось, добавить к ней и классиков?

Херст хотел, чтобы он ограничился математикой. Но Мейнард безошибочный инстинкт подсказывал, что он выступит более внушительно, если пойдет на комбинацию предметов. В известном смысле он расплачивался таким образом за отказ от узкой специализации. Но все-таки этот отказ основывался на проницательном предположении, что математика не есть его жизненное призвание. Что поражает во всей этой подготовительной деятельности, так это как мало отдавалось на волю случая. Мейнард

явился на экзамен 1 декабря в состоянии досконально подготовленной скаковой лошади, все возможности которой, как и возможности ее соперниц, заранее были в точности известны, с учетом всех условий гонки и каждого расставленного на пути препятствия. Результат мог быть предсказан с предельной точностью. Все это, конечно, становилось возможным благодаря тесной связи между несколькими школами и колледжами.

Девяносто пять кандидатов в классике и шестьдесят в математике оспаривали десять открытых стипендий; из них по четыре с каждой стороны собирались экзаменоваться и по второму предмету. Кроме того, общим для всех заданием было написать эссе: Мейнард взял тему '*Деньги*'. Невилл впал в свое обычное состояние растерянности. На его взгляд, Мейнард плохо показал себя в механике и дифференциальном исчислении. Он пытался собрать и обдумать отрывочные сведения, по которым мог бы сделать вывод о работе сына, и провел ночь без сна. К 9 декабря его страдания кончились. По крайней мере один из закрытых конкурсов Мейнард выиграл. Но добавление экзамена по классике превращало эту стипендию в открытую (размером в 80 фунтов). Невиллу было сказано, что из всех эссе, представленных математиками, сочинение Мейнарда было единственно достойным чтения. Остин Ли, ректор, написал Мейнарду: «Вот вам особый знак признательности — в дополнение к 80 фунтам стипендии вы будете освобождены от платы за обучение и за жилье на весь срок до получения первой ученой степени»¹³. На том хорошие декабрьские новости не кончились. «Ты вряд ли согласишься, — писал Мейнард Невиллу 15 декабря, — но меня выбрали в *Поп*». *Поп* — или *Итонское общество*, если назвать его собственным именем (не смешивать с *Попом* колледжа) — был самым изысканным светским клубом Итона, о котором Рэй Хэррод замечает: «эти молодые люди некоторое время управляют школой так, как они рассчитывают... или могли бы рассчитывать... позднее управлять всей страной»¹⁴. Избрание Мейнарда выпадало из обычая, потому что *Поп* был известен как общест-

во, в котором главенствуют атлеты. Членство в столь высоком ордене давало многообразные привилегии в одежде и дисциплине; хотя круг итонских знакомств для Мейнарда таким образом несколько расширился, его лучшими друзьями оставались однокашники в колледже.

Даже и теперь не допускалась мысль о том, чтобы расслабиться. Невилл уже составлял планы на будущее. 14 января 1902 г. он писал в дневнике: «Я посмотрел Уставные документы Королевского колледжа и сдается мне, что к Михайлову триместру 1908 г. Мейнард будет слишком стар, чтобы подавать заявку на избрание в ученое сообщество. Полагаю, ему следует сдавать *трайпос* в 1905 г. и экзамены на гражданскую службу в 1906-м; при таких условиях у него будет время для написания диссертации, открывающей путь в ученое сообщество». Таким образом, очередные шесть лет были размечены. Тем временем в Итоне оставался еще один приз, Мейнардом не взятый, — *Ньюкасл*, или приз за богословие. «Ты знаешь, богословие дьявольски интересная вещь», — сказал он Дундасу. Он пошел на экзамен 21 марта 1902 г. без особой надежды, поскольку соперниками были классицисты посильнее его. Он занял достаточно высокое — седьмое — место, так что отец не преминул отметить, что такого результата после 1888 г. обладатель приза *Томлина* смог добиться впервые. Невилл подсчитал, что у Мейнарда получились лучшие показатели среди всех школьников его итонского «набора». Давным-давно, припоминал Невилл, г-жа Гудчайлд сказала, что «он гений», на редкость наделенный «общими способностями», и это мол, полностью подтверждается итогом последнего испытания¹⁵.

В свой последний итонский год Мейнард вступил в таком солнечном сиянии признания и славы, каким английские закрытые средние школы на короткое время одаривают своих умнейших и самых популярных питомцев, так что потом для многих остающаяся часть их жизни превращается в долгое разочарование. Мейнард, по

словам его отца, был теперь одним из тех школьников — правителей колледжа, «которые держали под своим влиянием всех мальчиков из младших наборов»¹⁶. Как шестикласснику ему было поручено поддерживать общую дисциплину в школе. Несомненно, он также возбуждал обычные чувства страха и зависти меньших смертных, когда гордо прогуливался по школьным помещениям в белом жилете и рука об руку с каким-либо другим членом *Пона*. Он расцветал на общественных мероприятиях Итона, красуясь, как того требовал обычай, роскошными изделиями портновского искусства; на февральском маскараде в белых бриджах до колен и черных шелковых чулках он выразительно декламировал Бёрка, его *‘Хвалу Лисе’*; четвертого июня он появился «в жилете под настоящего голубя — цвета лаванды с бледно-розовыми крапинками». В каком-то смысле его светские успехи превосходили его интеллектуальные достижения и для его будущего имели не меньшее значение. Мейнарду не хватало прославленного итонского обаяния. Но он уже выделялся замечательную способность завоевывать уважение и признание начальства и однокашников. Его интеллект не был ни узким, ни колючим, и он всегда был в распоряжении сообщества. И это сочеталось с благосклонностью, спокойной и очень нравившейся манерой человека, знающего себе цену. Позднее люди за пределами его круга стали замечать высокомерие Мейнарда. Свои ценности он стал чаще скрывать, превращать в личное достояние. Но природа его дарований продолжала все-таки толкать его к обществу. Никогда не терял он способности брать лучшее от обоих миров — уважение и тех, кто был равен ему по интеллекту, и тех, кто принадлежал к одинаковому с ним общественному кругу.

К этому следует добавить способность сохранять любовь друзей. При всех его успехах в обществе лучшие и счастливейшие часы его жизни проходили в составе небольших групп. Два частично пересекавшихся между собой круга занимали главенствующее место в последние два

триместра его школьной жизни. Первый составляли друзья по колледжу, особенно Бернард Суизинбэнк из его собственного «набора», Гарольд Батлер из «набора» 1896 г. и Дэниел Макмиллан из «набора» 1898 г. Вторым кругом было Итонское литературное общество, которое он и Гарольд Батлер вытащили из полумертвого состояния в феврале 1902 г., когда Мейнард стал его президентом. В числе других членов общества были Чарльз Бакстон и Хэмфри Пол, оба оппиданы, Бернард Суизинбэнк из колледжа. Они провели пару встреч, посвятив их чтению сочинений друг друга на литературные темы. Собственным вкладом Мейнарда был доклад о Бернаре из Клуни, который он прочитал 3 мая 1902 г. Он провел почти все пасхальное каникулы, работая над этим сообщением, к великому испугу Невилла, который хотел, чтобы он возобновил подготовку к кембриджскому экзамену по математике. Доклад состоял частью из литературных, частью из филологических рассуждений. Но личность этого бенедиктинского монаха, оставившего мир и удалившегося в монастырь, захватила Мейнарда не меньше, чем его поэма, так что Мейнард много раз перечитывал, расширял и переписывал свой доклад. Его тема — выбор джентльмена: между жизнью деятельной и жизнью созерцательной; между нашим миром, набитым тщеславием и испорченными нравами, и небесным градом с его «покоем, радостью и светом». Слог был превосходный, разве что на протяжении всего текста несколько отрывистый. И возникает вопрос: не тяга ли к самоутверждению побудила его закончить доклад следующими строками Бернара из *'De contemptu mundi'*:

Не те только,
кто чистым эхом откликаются на глас божий,
достойны чести — они действительно благословенны,
что бы там ни говорил мир.
Но и те, до кого долетает смутный отзвук этого гласа,
когда толпа остается глухой,
И видят белые ризы богов на холмах,
Которых не видит слепая толпа, и они, хотя не находят

Музыки, созвучной их видениям, тоже благословенны.
Не их надо жалеть.

Завершив доклад, он на другой день написал отцу: «Он во всяком случае пробудил у Бернарда Луни [Бернарда Суизинбэнка] желание прочитать все работы Бернара из Клуни». Годом младше Мейнарда, хотя и из того же «набора», Суизинбэнк, сын англиканского священника, поступил в колледж на два триместра позже него. Поэтому их академические и школьные пути мало пересекались, пока в июле 1901 г. Суизинбэнк не был избран в *Поп* колледжа. После этого их дружба росла быстро, и в последний год Суизинбэнк стал лучшим другом Мейнарда. В своих речах в дискуссионном клубе Мейнард шутил насчет «эпиграмматических» губ мистера Суизинбэнка и расхваливал его как «дитя всего наилучшего, что дал восемнадцатый век».

Суизинбэнк, прекрасный классицист, внешне привлекательный, легко ранимый, не от мира сего — словом, сочетание всего, что неизменно нравилось Мейнард. Он видел в нем изящное, достойное поклонения творение искусства, которое следует всячески оберегать и лелеять. Те же чувства наполняли две более поздние любви его жизни — к Дункану Гранту и Лидии Лопуховой. Главным «объектом» их общего внимания был Даниэль Макмиллан, тогда шестнадцатилетний, умный, красивый мальчик, оставшийся пожизненным другом Мейнарда и издателем всех его книг. Со временем Бернард Суизинбэнк описал по памяти царившую там эмоциональную атмосферу:

В колледже чувства и вожделения были направлены почти исключительно в мужскую сторону; я едва ли знал хоть кого-нибудь, думавшего о женщинах. Это не значит, что там царил сплошной «порок»; более того, многие, кого робость или добродетельность заставляли подавлять свои желания, поглядывали на все это неодобрительно, хотя иногда и с налетом зависти. М[ейнард] разделял общие чувства. Я не знаю, отдавался ли он этим утехам. В Кембридже его глубоко трогали платоновы картины одухотворенной страсти¹⁷.

Итонская жизнь Мейнарда закончилась в такой же напряженной обстановке, в какой и началась. Он и другие члены *Шекспировского общества* сыграли на 4 июня отрывки из *'Много шума из ничего'* (Мейнард выступал в роли Догберри). Нашлась Мейнарду роль и в инсценировке шеридановских *'Соперников'*. В начале июля у него опять случился короткий приступ «загадочной лихорадки», и Суизинбэнк «заботливо его выхаживал»¹⁸. В конце июля 1902 г., в значительной мере вопреки желанию, но без сомнения в действенности этого противоядия безделью, он опять отправился в Кембридж сдавать экзамен на некое высшее свидетельство об образовании и снова занял первое место, несмотря на полное отсутствие подготовки. Ему было теперь девятнадцать; Итон больше ничего не мог ему дать. 30 июля он написал Невиллу: «Я только что достиг самого грустного рубежа. Вчера дискуссионный клуб проголосовал за выражение мне благодарности — этого я, пожалуй, хотел больше всего из того, что здесь еще можно было получить, — Итон был ко мне намного добрее, чем я заслужил». Лаббок написал:

Его отъезд вызывает сожаление у каждого, кто его знал. Здесь он был, мне кажется, счастлив. Лучшие ребята, по моим наблюдениям, были в последние год-два в высшей степени милыми, и ему, конечно же, принадлежало видное место среди них. У него, несомненно, очень тонкий, зрелый ум, который его, однако, не завораживает, как это случается со многими мальчиками в этом возрасте; я редко встречал парня настолько умного и одновременно настолько далекого от каких бы то ни было следов зазнайства. Боюсь, не скоро появится у меня ученик, у которого так же будут сочетаться способности и трудолюбие; что касается его характера, могу сказать одно: это мальчик, на которого можно полностью положиться. При всем своем уме он воспринимает налагаемые на него обязанности с готовностью исполнить их и не задаваясь вопросом: а не разбирается ли он сам в этих делах лучше?

Кембриджский студент

1. Королевский колледж

В Кембридже Мейнард пережил философское и эмоциональное пробуждение, перевернувшее его представления о ценностях. Он никогда не терял унаследованного сознания общественного долга. Но теперь его приходилось уравнивать в соответствии с требованиями дружбы и эстетического опыта. В этом Королевском колледжу принадлежала важная роль.

Колледж был основан королем Генрихом VI в 1441 г. как родственное (старшее) учебное заведение Итонского колледжа. Намерение короля состояло в том, чтобы «наши бедные ученые школы Святой Марии в Итоне, после достаточного освоения первых начал грамматики, подлежали перемещению отсюда в наш вышеупомянутый Колледж в Кембридже... с тем, чтобы обстоятельно обучаться там свободным искусствам...». Четыре столетия спустя эта схема все еще сохраняла силу. В Королевском колледже «числилось семьдесят человек — сотрудников и ученых. Соотношение между ними менялось в обратной пропорции. Сотрудник Итонского колледжа в определенное время, когда открывалась вакансия, без дополнительных испытаний переходил в члены ученого сообщества Королевского колледжа, получал степень и, если только не женился и не начинал добывать средства к жизни иным способом, мог до конца дней своих оставаться при должнос-

ти, почете и возрастающих доходах¹. Но то, что по крайней мере потенциально могло быть «великолепной системой материальной поддержки ученых исследований», к тому времени стало «своего рода пожизненным домом отдыха» для тех, кого не смущало долгое пребывание в Комнате ужасов Итона².

В первой половине девятнадцатого столетия Королевский колледж должен был производить впечатление красивого, величественного, но в значительной степени заброшенного строения. Два великолепных здания — часовня, завершенная в 1515 г., и дом членов ученого сообщества (или Gibbs), существовавший с 1725 г., располагались посреди красивых парков и лужаек. Но во все это не было ни малейших признаков интеллектуальной жизни и мало что говорило просто о физическом присутствии человека. Члены ученого сообщества, совершенно не обремененные в большинстве своем обязанностями кого-либо учить, жили вдали от колледжа, хотя бесперебойно извлекали приличные доходы из принадлежавших ему земельных владений. Ученых никогда не набиралось больше дюжины или около того.

Из спячки оба королевских заведения вывела волшебная палочка викторианской реформы. Возрождение Королевского колледжа относится к 1850-м гг., будучи следствием двойного давления — внешнего со стороны парламента и внутреннего со стороны новопришельцев из преобразованного Итона. Майнард появился там, когда Королевский колледж был на гребне волны. «Десятилетие 1875–1884 гг., — вспоминал он намного позже, — было выдающимся временем, я тогда был молод и в полной мере наслаждался престижем колледжа»³. Делая ставку на привлечение ученых и упорно настаивая, чтобы все студенты сдавали *трайнос*, Королевский колледж целенаправленно занимался подготовкой академической элиты. Из тридцати четырех студентов, проживавших в колледже в 1873 г., не менее девятнадцати удостоились на экзаменах высших отличий. Ко времени поступления Кейнса

в Королевском колледже числилось 30 членов ученого сообщества, 30 аспирантов и более 130 студентов (всего в Кембридже было 3000 студентов); по уровню академического и социального престижа соперничали с ним только немногие большие колледжи — Тринити и Сент-Джонс. Притом что имели место обычные трения между учеными и энтузиастами-любителями, равно как и не исчезало разномыслие между итонцами (доля которых упала до 13 процентов) и всеми прочими — при всем при этом Мейнард попал в общество, очень похожее на то, которое он оставил, — с тем же почитанием интеллектуальных ценностей, с той же унаследованной от Итона традицией близости и тесного общения между преподавателями и студентами. В состав ученого сообщества Королевского колледжа конца девятнадцатого столетия явно входили скорее выдающиеся учителя, чем ученые.

Королевский колледж времени Кейнса сложился прежде всего усилиями Оскара Браунинга. *О.Б.*, как его принято было называть, был самой примечательной фигурой Кембриджа. «Гений, подпорченный бездонной ограниченностью», — таков был известный и неточный приговор, который, упреждая фрейдистскую стилистику, вынес ему Э.Ф. Бенсон. Фактически же гениальность *О.Б.* как педагога (ибо ученым он был никаким) держалась на его «подпорченности», каковой была любовь к мальчикам. *О.Б.* был одним из переживших свой век викторианцев. Его тайной силой был его стиль. Он был неистовый, сквернослов, остряк, ехида, сама простота, сноб, эгоцентрик, нежный, любвеобильный, но чуждый откровенному разврату. В те скованные времена, когда близости искали, но ее же отвергали, *О.Б.* играл роль разрушителя барьеров: его нелепость заставляла воспринимать их как абсурд. Его дар состоял в способности погружать людей в состояние непринужденности. В результате, при своем в высшей степени эксцентричном поведении, не преступая никаких пределов допустимого, он сам стяжал и дал людям очень много любви.

Целью О.Б. был обеспечить образование, необходимое государственным деятелям. Исходя из этого, он противостоял двум главным образовательным тенденциям своего времени — поклонению спорту и стремлению к специализации. Подобно своему университетскому коллеге Дж.Б. Сили, профессору современной истории, он полагал, что основой того образования, которое он имел в виду, лучше всего могли бы быть история и политика. Руководить преподаванием истории в колледже Браунинг был назначен в 1880 г., а в 1883 г. стал университетским лектором по истории. При нем Королевский колледж стал самым привлекательным местом для желавших изучать историю, хотя сам О.Б. был равнодушным наставником и погружался в глубокий сон, пока его студенты зачитывали свои эссе. Его дидактическая метода не связывалась с точностью научных знаний и критической их оценкой — она строилась на новых отношениях между преподавателями и начинающими студентами. Он основал свое знаменитое Политическое общество, учредил свои воскресные вечера *«на дому»* и подключался к самым разным видам студенческой жизни (в качестве президента университетского велосипедного клуба он однажды пересек Альпы на трехколесном велосипеде). Как и раньше, когда был помощником директора в Итоне, он брал с собой любимых учеников в Большой континентальный пробег с целью раздвинуть их культурные горизонты. Не было пренебрежения и к образованию людей из рабочего класса. О.Б. был основателем и в течение восемнадцати лет руководителем кембриджского дневного колледжа, в котором вели занятия преподаватели Королевского колледжа. Он деятельно интересовался жизнью кембриджского отделения Военно-морской лиги, и его биограф Х.Э. Уорзгем отмечает, что «один из многих теплых уголков его души всегда служил прибежищем для моряков». Он имел обыкновение водить их группами на спектакли в лондонские театры. Молодых людей из рабочей среды он брал себе в слуги. Они спали в общей с ним комнате, мыли его в ванне, терли ему спину, а

он учил их играть на музыкальных инструментах. Его значение в нашей истории определяется не тем, что он и Мейнард были особенно близки друг другу, а тем, что общественная атмосфера Королевского колледжа во времена Мейнарда и на много лет вперед была в значительной степени создана *О.Б.*

В 1908 г., когда *О.Б.* исполнился 71 год, он одновременно был отстранен и от своей должности в колледже, и от руководства дневными занятиями для желающих, по общей причине преклонного возраста, но и на более конкретном основании «неисполнения служебных обязанностей». Он посчитал, что обошлись с ним ужасно, и хотя все еще оставался членом ученого сообщества Королевского колледжа, перебрался в Рим, где и жил до 1923 г. «отнюдь не в состоянии спящего вулкана»¹. Мейнард, к тому времени также ставший членом ученого сообщества Королевского колледжа, постановил себе поддерживать с ним связь и помогать ему улаживать налоговые дела. Одно из последних писем, посланных *О.Б.* Мейнарду из Рима, датировано 19 января 1918 г.: «Я занят очаровательным делом — пишу историю мира — единственную историю, которую стоит писать». И приписка: «Хорошо, что мне 81».

Не столь мощным, как *О.Б.*, влиянием пользовался преподаватель истории бакалавр Голдуорси Лоус Дикинсон, принятый в ученое сообщество колледжа в 1887 г. Если *О.Б.* представлял, умозрительно по крайней мере, уходящий в прошлое дух колледжа (он трижды неудачно выдвигался кандидатом в парламент), то Голди старался превратить это учреждение в обитель, огражденную от внешних воздействий мира. За этим стоял его характер, а вовсе не убеждения. Он стремился служить человечеству, но ему никогда не удавалось ударить по нужным клавишам своей пишущей машинки. Тогда он укрылся в Королевском колледже и создал, говоря его собственными словами, философию, построенную на пороке. Жажда любви и стремление подчиняться любви мужчин гетеросексу-

альной ориентации — так он изобразил основы идеального мира, объединяемого взаимной любовью товарищей. Его самые значительные книги были написаны в форме диалогов «в духе Сократа»; свое влияние в стенах Королевского колледжа он осуществлял не на основе формальных учебных занятий, а через созданное им Дискуссионное общество, построенное по образцу платоновских симпозиумов. На собраниях этого общества, пишет Эсме Уингфилд-Стрэтфорд, знавший Королевский колледж времени Кейнса, «культивируемая по общему согласию непочтительность» соединялась с «атмосферой некой греческой двусмысленности».

Задавая уровень дискуссии, Голди не проявлял способности насыщать разговор интеллектуальной или эмоциональной страстью. Когда в 1914 г. большой пожар войны сжег его надежды на сладостную и светлую жизнь, он стал винить в этом свою «вечную неспособность говорить и действовать так, чтобы люди готовы были ко мне прислушаться». В Королевском колледже многие тем не менее, подобно Э.М.Форстеру, его другу и биографу, вели ту же работу и решительно поддерживали высокое значение частных привязанностей и личной преданности. Подобно Сиджвику и Браунингу, Голди был типичным поздневикторианским интеллектуалом, у которого сохранившееся сознание общественного долга вело постоянную битву с неосуществленными личными страстями; неспособный развести их умом, не мог он и привести их во взаимную гармонию.

Было там немало и других преподавателей, вносивших свою долю оригинальности и эксцентричности — Натаниел Ведд, ведущий классицист, обожавший красные галстуки и богохульство, Дж.Э. Никсон, прославившийся как запасливый собиратель зонтов, «Монти» Джеймс, библиофил огромной эрудиции и неумный педант, развлекавший своих любимых итонцев историями собственного сочинения о призраках. Главное, Королевский колледж, вопреки всем стараниям и надеждам Бра-

унинга, так никогда и не стал яслями для выращивания государственных деятелей. Это было «отлично налаженное учреждение, где принуждали к сосуществованию людей с уникальными характерами, носившими в себе любые крайности — от величия до нелепости»⁵. Он мог бы остаться надежным прибежищем и защитой для тех, кому излишняя собственная застенчивость или эксцентричность подсказывали избегать столкновений с внешним миром; то есть он мог бы складываться как общество умных, слегка чокнутых поселенцев, в чью среду то и дело прибывали новые очаровательные юноши, чтобы будоражить начинавшие засыпать эмоции. Мейнард Кейнс, вполне отдавая себе отчет в том, что способен предложить Королевский колледж, сам был скроен отнюдь не для такого монастырского существования. Тем не менее Королевский колледж вместе с Итоном остался предметом его безоговорочной верности и страстной преданности, к сохранению которых он приложил все практические навыки своего интеллекта.

2. Новичок

В свой первый студенческий год он был расквартирован в убогом доме в Королевском переулке*. Тогдашний коллега, тоже новичок Чарльз Ри Фэй, впоследствии историк экономики, запомнил, как молодой человек «при усах и в причудливом жилете» позвал его в первый же день на чашку чая. «Я — Кейнс. А вас как зовут?». Несколько позже он сказал Фэю: «Я тут хорошо огляделся и пришел к выводу, что местечко слабоватое». Лучшим другом Мейнарда в Королевском колледже стал другой новичок, обитатель того же переулка, Робин Фёрнесс, умный, изящный, игрок в регби, ученый-классицист, потрясающий знаток непристойностей в литературе всех языков и

* Переулок был уничтожен в 1967 г., чтобы освободить место под строительство Дома Кейнса.

веков. Другой житель переулка новичков был Уильям Нортон Пэйдж, ученый-математик, с которым Мейнард вместе ходил на занятия к Эрнесту Гобсону, позже профессору математики, и его старшему брату Дж.А. Гобсону, неортодоксальному экономисту. О математике Гобсоне Мейнард многие годы держался гораздо более высокого мнения, чем об экономисте Гобсоне.

По-прежнему, то есть не больше чем в Итоне, был Мейнард готов к тому, чтобы заточить себя в математику. На это, как он говорил отцу, он не пошел бы даже с перспективой «оказаться в этой области студентом номер один»⁶. Вскоре по прибытии в колледж он погрузился в вихрь книжных закупок; включился он и в соревнования по гребле. Но прежде всего он оказался в обществе, оснащенном клубами и дискуссионными группами, причем многие из них имели свои корни в Королевском и Тринити-колледже. Хотя некоторые были по крайней мере на итонском уровне исключительности, Мейнарда с его большой репутацией в том маленьком мире, скоро стали осаждать приглашениями. Среди желавших видеть его у себя были *Политическое общество* Оскара Браунинга и *Дискуссионное общество* Дикинсона.

Было там и Тринити-общество *эссеистики*, в котором 10 ноября 1902 г. он услышал выступление Литтона Стрэчи и назвал его «самой блестящей сатирой на христианство» (вероятно, тогда он впервые увидел Стрэчи, в то время студента-третьекурсника). Вскоре Мейнард был уже членом четырех дискуссионных обществ, в том числе *Десемвиоров*, составленного из десяти приглашенных новичков Королевского и Тринити-колледжа.

На кое-какие занятия математикой Мейнард выделил время в первые рождественские каникулы; но «это я объединил с изучением работы Пьера Абеляра, ибо в настоящее время собираюсь написать сочинение об этом джентльмене». Это эссе, сказал он Суизинбэнку, еще в Итоне давалось мне все меньше, «но не бери в голову, я делаю это скорее для собственного удовольствия, чем

для моих слушателей, и пусть они убираются к черту»⁷. В следующем семестре на заседании Аппенинского литературного общества Королевского колледжа Мейнард читает свой доклад о Пьере Абеляре, богослове двенадцатого столетия, возлюбленном Элоизы, который был осужден за ересь по доносу Бернара из Клуни, давнишнего героя Мейнарда. Бернард восхищал Мейнарда своими идеалами аскетизма, Пьер Абеляр привлекал его верой в разум. Кейнс цитировал Абеляра: «Верить в нечто надо не потому, что так учил Бог, а потому, что данная истина доказана»⁸. В сочинении о Бернаре Мейнард установил наличие конфликта между монашескими идеалами и деятельной жизнью. В докладе о Пьере Абеляре он сделал упор на противоречия между требованиями разума и любви, с одной стороны, и установками веры и бытовой морали — с другой. Он вырос, он вращался в эдвардианский век.

Как всегда, Мейнард горел нетерпением испытать что-либо, показавшееся ему заслуживающим размышления и внимания. Во втором триместре это подвигло его защитить изучавшего историю Фэя на лекции Дж.Э. Мура по этике и Дж.Э. Мактаггарта по метафизике. Мактаггарт говорил о метафизических аспектах времени, и вскоре Кейнс уже писал доклад на тему '*Время и перемены*' еще для одного общества Королевского колледжа — *Парресиасты*⁹. Вместе с друзьями — собирателями книг, вроде Артура Кола, он участвовал в организации *Баскервильского клуба*. Стал играть в бридж со старым однокашником по Итону Стивеном Гэйсли. «Чересчур всего много», — с грустью отметил Невилл.

Сам Невилл открыл тропу, уводящую от математики. Он сделал Мейнарда пожизненным членом *Кембриджского союза*, или *Дискуссионного общества*, и 4 ноября 1902 г.

⁷ То есть *говорящие свободно*. *Парресия* — понятие, восходящее к школе киников и означавшее в Древней Греции умение говорить в собрании свободно, мужественно, не считаясь ни с какими предписаниями и установившимися мнениями.

Мейнард выступил со своей первой речью — «совершил самый смелый поступок, на какой когда-либо отваживался в жизни», — сказал он отцу. '*Crania*', студенческая газета, сочла речь превосходной. Такую же оценку дал президент *Союза*, Эдвин Монтегю, пригласивший Мейнарда через пару недель прочитать письменный доклад. Монтегю, поднимавшийся либеральный политик, стал первым и важнейшим политическим покровителем Кейнса. Это был ужасно некрасивый человек, чье уродство, однако, искупалось обаянием, безжалостным интеллектом и страстной любовью посплетничать. В начале своей карьеры у Мейнарда было много оснований быть ему благодарным. Кейнс покорял президента *Союза* больше своей логикой, чем подачей материала, которая особого впечатления на него не производила. В течение первого года своего студенчества Кейнс постоянно выступал по политическим вопросам, бывшим основными предметами дискуссий, и в июне 1903 г. — со второй попытки — был избран в состав *Комитета союза*.

Отсутствие страсти в ораторских упражнениях Мейнарда отражало отсутствие у него твердых политических убеждений. Он вошел в университетский либеральный клуб, потому что либералы представлялись партией интеллекта, а не потому, что он испытывал большой энтузиазм к реформе. Так, в мае 1903 г. мы видим его выступающим в *Союзе* против самоуправления Ирландии по практическим соображениям. Если тема его захватывала, он способен был говорить гораздо более красноречиво, и так именно происходило всякий раз, как предметом разговора оказывались христианство и его моральные несовершенства. Во время его второго года обучения они вместе с Джеком Шеппардом, тоже из Королевского колледжа, занялись объединением всех антиклерикальных сил колледжа в стремлении предотвратить учреждение *миссии Высокой Церкви*¹ в лондонском Ист-Энде, то есть со-

¹ Тяготеющее к католицизму направление англиканской церкви; придает большое значение авторитету духовенства, таинствам, обрядности.

рвать инициативу, соответствовавшую набравшей в то время вес установке на принудительное облагодетельствование нуждающихся. Как он писал 5 февраля 1903 г. Суизинбэнку,

Шеппард, я и еще несколько человек сумели организовать устойчивую оппозицию, и в конечном счете взяли большинство на собрании Колледжа – 75 против 25, настояв, что такие вещи надо делать на чисто светской основе... Это был огромный триумф... я должен был держать речь перед ректором, перед почти всем Колледжем и неск. преподавателями.

Годы спустя о речи Мейнарда вспоминали как о шедевре ораторского искусства.

Его сотоварищ в битвах с церковниками Джон Тресидер Шеппард, сын баптистского пастора, а впоследствии ректор Королевского колледжа, был продуктом либеральной воспитательной деятельности О.Б. Он стал одной из знаковых фигур Кембриджа; протестуя и гарцуя, он прокладывал свой путь в *Союзе*, президентом которого в конце концов стал. Истинной его любовью были греческие трагедии, и воспринимал он их скорее как драмы жизни, а не предметы академических исследований, и лекции свои по языческой этике он читал со всем красноречием баптистского проповедника. Человек невысокого роста, ангелоподобный — таким увидел его Мейнард при первой встрече. А первым впечатлением Шеппарда от Мейнарда были «чувствительные, выразительные руки и красота его глаз». Они скоро подружились и всю жизнь оставались коллегами.

Жадная тяга Мейнарда ко всему, кроме математики, не давала покоя Невиллу Гобсон был непреклонен: Мейнард должен надеть «шоры», чтобы преуспеть в *трайпос*. «Вероятно, его сердце не лежит к этому предмету», — записал Невилл у себя в дневнике, памятуя горести собственного первого года учебы. Хотя Мейнард и признавался, что его «тошнит от математики», и

говорил отцу, что «худшего предмета»⁹ для него не существует, Невилл страдал по этому поводу больше, чем он сам.

3. Апостолы и феномены

Как-то в декабре первокурсника Мейнарда посетили два высоких молодых человека — один худой и бледный, при усах и в пенсне, другой темный, с вытянутым, грустным лицом. Они представились как мистер Стрэчи и мистер Вулф. Сэр Рой Хэррод ручается нам, что последовавшая оживленная беседа вовсе не имела своей целью установить пригодность Кейнса для привлечения его в наиболее избранное университетское общество Кембриджа — *Conversazione*, именовавшееся еще *Апостолами*. Само его существование предполагалось держать в тайне, частично чтобы избежать обид со стороны неприглашенных друзей *Апостолов*, а частично в порядке обычной заботы о спокойном уединении. Но тайна не была полной; стремившихся попасть в общество было больше, чем избранных. Мейнарда нетрудно было определить как подходящий «эмбрион», то есть как вероятного кандидата в общество, для которого поле поисков было по существу ограничено двумя колледжами — Тринити и Королевским. Оба изобиловали *Апостолами*, действующими и почетными. Большинству Мейнард был уже известен и своей блестящей репутацией в Итоне, и своими исключительными научными достижениями, и как сын Невилла. В первые его учебные годы Оскар Браунинг и Лоус Дикинсон, оба *ангелы*, то бишь отставные *Апостолы*, одобрительно относились к его деятельности. Шеппард, *Апостол* из студентов, познакомился с ним в кембриджском Союзе. После визита Стрэчи и Вулфа он был подвергнут секретной процедуре избрания. Устроил ее пребывавший в роли секретаря Стрэчи, и состояла она из завтрака и чаепития, во время которых другие *Апостолы* присматривались к нему

и старались его оценить. Сочли достойным. В субботу 28 февраля 1903 г. он был введен или, как там говорилось, «рожден» в Общество с обычным в этих случаях принесением тайной клятвы и соблюдением прочих освященных временем ритуалов. Шеппард был определен его «отцом» или попечителем. Для новичка то была редкая честь, но и сам Мейнард был редкий новичок.

Мейнард стал *Апостолом* под номером 243 в соответствии с порядком, нерушимо поддерживавшимся, начиная с Джорджа Томлинсона, основавшего *Общество* в 1820 г. Заседания проходили в основном так же, как во дни Сиджвика. Во время учебных триместров каждый субботний вечер активные члены братства запирались в комнате секретаря. Часто, хотя и не обязательно, к ним присоединялись *ангелы*. «Модератор» зачитывал доклад на заранее согласованную тему; затем следовало ее обсуждение членами клуба, располагавшимися «на ковре»; порядок выступлений определялся жребием; решение поставленных вопросов выносилось на голосование. Эти интеллектуальные занятия сопровождались потреблением тостов с анчоусами, — *китами*, как их здесь называли, — и чая или кофе. Похоже, что цель и общая атмосфера этих собраний не очень-то менялись со временем и оставались такими, какими их некогда описал Сиджвик: «стремление к истине в условиях совершенной взаимной преданности и полной раскованности группы близких друзей». Доклады часто носили юмористические названия, а серьезные темы, как считалось, выигрывали, если подносились в остроумной и забавной обработке. Встречаясь каждую субботу и по существу совместно проживая в промежутках между этими встречами, *Апостолы* напоминали скорее некое семейство, чем клуб. На их заседаниях не смолкали шутки, разговоры постоянно сбивались на личное, изобиловали пряными выражениями и намеками. Богохульство и сексуально окрашенная болтовня звенели так же, как прежде в школе. Новые компаньоны Мейнарда были умные, философски настроенные, непочтительные и чуждые светских услов-

ностей. Во время его приема в Общество «активными братьями» были три студента из Тринити — Литтон Стрэчи, Сэксон Сидней-Тёрнер и Леонард Вулф — и два из Королевского колледжа — Джек Шеппард и Леонард Гринвуд. Старшие *Апостолы*, вроде Э.М. Форстера, Ральфа Готри, А.Р. Эйнсуорта и Г.О. Мередита, все недавно ставшие дипломированными специалистами Королевского колледжа, часто посещали встречи-заседания. Из более ранних времен появлялись *ангелы* 1890-х, особенно Чарльз Перси Зангер, Бертран Рассел, Р.К. и Дж.М. Тревельяны, Дж.Э. Мур, Г.Г. Харди и Десмонд Маккарти, все из Тринити. Из еще более далекого прошлого бывали братья Дэвисы (Теодор и Кромптон), Роджер Фрай, Дж. Эллис Мактаггарт, Лоус Дикинсон и А.Н. Уайтхед. О.Б. оставался старейшим источником *апостольских* обычаев; он преподнес *Апостолам* сундучок из кедра (оберегаемый как «ковчег»), в котором *Общество* хранило свои отчеты.

Членство в *Обществе* оказывало на жизнь Мейнарда глубокое воздействие. Наиболее очевидным образом это выражалось в появлении нового круга друзей; притом пополнялся этот круг постоянно из того же самого источника, что и само *Общество*, «рождавшее» новых *Апостолов*, а их отбору и воспитанию Мейнард уделял немалое внимание. Дальнейшая его жизнь в большой мере прошла в среде *Апостолов*, старых и новых, и их друзей. К этому кругу следует отнести двух близких друзей Литтона Стрэчи из Тринити — Тоби Стивена и Клайва Белла, хотя сами они *Апостолами* не были. Со временем они сыграли ключевую роль в создании того лондонского ответвления группы кембриджских *Апостолов*, которое получило известность под именем Блумсбери. Нельзя сказать, чтобы старые друзья Мейнарда отпали и враз исчезли: Дилли Нокс (поступивший в Королевский колледж в 1904 г.), Бернард Суизинбэнк и Дэниел Макмиллан (оба ставшие студентами Бейллиол-колледжа в Оксфорде) — все они продолжали связывать его с итонским прошлым. Он сохранил дружеские отношения с Фёрнессом и Фэем, осо-

бенно с первым. Но он вышел в новый, более яркий мир, заставивший потускнеть мир его прежней жизни.

С переменами в составе друзей стали меняться и представления о ценностях. Частично это происходило, конечно, просто с ростом самосознания; но тому немало способствовало и членство в *Обществе*. В Итоне он был школьником, наделенным исключительно широким набором многообещающих дарований: исследователя с «художественной» жилкой, интеллектуала с выраженной практической сметкой. После 1903 г. его жизнь более очевидным образом делится на частную и общественную. В одну сторону отходят философия, эстетика, дружба; в другую — политические и практические дела. Заметно, что начиная с этого времени он стал придавать гораздо большее значение первому, чем второму. Это отражало сдвиг в выборе ценностей. Гений Мейнарда пробивался во всем, что он делал; но начиная с 1903 г. и далее его страсти все глубже погружались в частное, сколько бы «приятного», «доставляющего удовольствие» или «занятого» он ни находил в политике или администрировании. Приоритет, отдаваемый им частной сфере, стал отражением того особого воспитания, которое началось с его вступления в общество *Апостолов*. Оно дало ему возможность, стимул и оправдание, чтобы стать человеком того типа, каким он хотел быть.

Свершившуюся перемену можно обобщенно представить пущенной *Обществом* в оборот шуткой в кантианском облачении: только оно «реально», все остальное в мире «феноменально». Когда Мактаггарт неожиданно, в позднем возрасте, женился, он должен был оправдываться перед «братьями» за то, что берет в жену простую «феноменальную» женщину; неапостолов Мейнард и сам называл «феноменами». Вот что все это означало: внешний мир следует рассматривать как нечто менее существенное, менее достойное внимания, чем коллективная жизнь самого *Общества*. Это предполагало, что о мире судили по невероятным критериям и устанавливали, что он им не отвечает. То была шутка с серьезным подтекстом.

Откуда бралась сила *Общества*, его способность преобразовывать жизнь своих членов? Как мог клуб, во многом бывший не более чем «типичным дискуссионным обществом студентов и, как положено, средоточием недомыслия»¹⁰, обладать такой силой влияния? Ни в коем случае нельзя недооценивать эффекта тайны. Многие из того, что делает для нас остальной мир чуждым, связано с этим простым фактом. Тайна была обязательством, которое очень основательно расширяло влияние *Общества* на жизнь его членов, подминая под себя другие их интересы. Гораздо легче, в конце концов, проводить время с людьми, от которых ты не должен скрывать больших секретов; и долгое совместное времяпровождение значительно усиливает то, что впервые свело вместе. Важно было и то, что членство в клубе определялось как пожизненное. Старшие *Апостолы* не исчезали, делая свои карьеры. Они отходили в сторону, но часто не дальше ближайшей профессорской, откуда они могли без затруднений поддерживать связь с делами *Общества*. С 1903 по 1908 или 1909 г., то есть когда Мейнард было от двадцати до двадцати пяти — двадцати шести лет, в его частной жизни, в его разговорах, обменах мнениями и слухами ссылки на *Общество* постоянны. Столь длительное общение с небольшой группой одинаково мыслящих людей не может не наложить пожизненного отпечатка на принятые человеком ценности и его отношения с людьми.

Членство в *Обществе*, несомненно, развивало чувство превосходства по отношению к миру феноменов и его заботам. Ни один член *Общества* не сомневался, что принадлежит к числу избранных в среде кембриджской молодежи. «Именно благодаря существованию *Общества* я вскоре узнал людей, достойных знакомства»¹¹, — писал Бертран Рассел. Такое самовосприятие лишь отчасти соответствовало истине: как отметил Стивен Тоулмин, большинство великих кембриджских ученых девятнадцатого столетия — Дарвин, Рейли, Джинс и Эддингтон — сумели проскользнуть сквозь ячейки сети¹². Избежали этого плена

также Гальтон и Карл Пирсон, Альфред Маршалл, Артур Пигу. Однако слишком удобно было жить с ощущением, что ты вознесен на вершину одинокого превосходства. «Не мономания ли это колоссальное моральное превосходство, которое мы ощущаем? — писал Мейнард Литтону Стрэчи двумя годами позже. — Мне сдается, что большинство остальных никогда ничего вообще не видят — слишком много глупости или чересчур много злобы»¹³.

«Студенты, образовавшие кембриджское общество *Conversazione*, — пишет Тоулмин, — похоже, проживали жизнь в словах...» Это существенно. Традиция *Общества* была философская. Со дней Мориса и Стерлинга в начале девятнадцатого столетия через Генри Сиджвика, Мактаггарта и Мура, философия, и особенно этика, составляла главную их заботу. При Мейнаarde в *Общество* входили Уайтхед, Мактаггарт, Рассел и Мур — все, кому судьба предназначила стать философами с мировой известностью. Едва ли стоит удивляться, что первый устойчивый интеллектуальный интерес Мейнарда оказался связанным с философией, а не с экономикой, хотя здесь надо дополнительно учесть влияние его собственного дома и бесконечных дискуссий между его отцом и У.Э.Джонстоном, обсуждавшим проблемы логики. Но важным обстоятельством в этом философском ученичестве было то, что сменявшие друг друга поколения *Апостолов*, и Мейнард не составлял исключения, много внимания уделяли нацеленному на практику, и потому здравому, теоретизированию о том, как следует строить собственную жизнь. Спустя полгода после избрания Мейнарда в *Общество* появилась работа Дж.Э. Мура '*Principia Ethica*' ('*Основы этики*'), самая важная книга в его жизни. Об этических взглядах, которые он усвоил от Мура, мы еще поговорим. Пока же отметим лишь, что они были далеки от бессвязных, поверхностных словопрений, звучащих в большинстве студенческих собраний за полуночным кофе. Они способны были предложить руководство в жизни, задать ей направление. Другой важный интерес *Общества* времени Мей-

нарда был эстетический. *Апостолы*, такие как Десмонд Маккарти, Г.О. Мередит, Э.М. Форстеру, Сэксон Сидней-Тёрнер, Литтон Стрэчи и Шеппард, равно как и Клайв Белл и Тоби Стивен, проявляли больше интереса к литературе и живописи, чем к философии как таковой. Однако их внимание к этим предметам, ценность, которую они им придавали, способ, каким они о них говорили, — все это в значительной степени определялось философией и особенно философией Мура. Оба течения, философское и эстетическое, удерживались в русле «поиска истины», свойственного Обществу во времена Мейнарда, и его собственные доклады *Апостолам* могут быть в целом разделены на эти две темы. Экономика там была едва представлена. Политике вообще места не находилось.

Интересы *Общества* имели и еще одну особенность: они были оторваны от мирского. *Апостолы* в большинстве своем были преподавателями — начинающими, действующими или отставными. Их избирали в члены *Общества* именно потому, что они соединяли в себе большой ум и полную непричастность к мирским заботам. Источники этой их чуждости свету, их жизни в режиме «не от мира сего» разнились от случая к случаю. Дж.Э. Мур был настоящим святым, и его безгреховность была четко ощутима. Лоус Дикинсон был просто миром смят. Литтон Стрэчи, как отмечал его биограф Майкл Холройд, «не был лишен честолюбия, но не выходил из состояния неуверенности». Другая, более общая их черта состояла в том, что *Апостолы* времени Мейнарда, за одним или двумя исключениями, были явно лишены обаяния и внешней привлекательности, то есть тех качеств, которые привязывают людей к обществу. Мало того, что у них, как позже отметила Вирджиния Вулф, отсутствовал «физический блеск»; им не было дано умение поддерживать светскую беседу, они были высокомерные, колючие, замкнутые. Все это они компенсировали блеском и бесстрашием интеллектуальных нападок друг на друга, преувеличенным отлучением своих идеалов от мирских забот и светских интересов и отсутствием всякой

гибкости в суждениях о человеческой драме, разворачивавшейся за пределами их круга. То были люди, склонные держаться вдали от женского общества, делая исключения лишь для своих родственниц. Таков был обычный образ жизни взрослой молодежи Кембриджа, даже точнее викторианского Кембриджа, но его подчеркивали и выпячивали как раз те особенности *Общества*, которые отсекали его от мира. Так *Общество* возводило «защитный вал», чтобы оберегать своих членов, слишком стеснительных или неуклюжих, либо чересчур умных — словом, тех, кто неуютно чувствовал себя в мире и нуждался друг в друге для проявления своих дарований или как в средстве социальной терапии. Вместе с тем не следует пренебрегать значением идеала отстранения от мирской жизни — идеала, обладающего немалой положительной силой для умных молодых людей, которые выросли на классиках и традициях джентльменства и которым многое в викторианской действительности казалось уродливым и гнетущим.

Когда двое из кембриджских *Апостолов* 1930-х, Гай Берджес и Энтони Блант были разоблачены как советские агенты, в газетах появились жесткие передовицы, подчеркивавшие тлетворные последствия, уготованные людям, отсекающим себя от «обычной морали» в угоду собственным эзотерическим вкусам. И все же самая поразительное в *Апостолах* — это их глубочайшая *английскость*. Их собственная исключительность коренилась в более широкой исключительности английской жизни — исключительности, позволившей им быть избранными из состава небольшой группы, которая сама пережила сложную процедуру отбора, начавшегося со дня их рождения. Их сознание собственной особой ценности эхом повторялось в любой группе англичан, готовых сверху вниз смотреть на всякую иную группу, не обладавшую, как она считала, достоинствами, которые были у нее. Они были плодом очень *английского* отклика на жизнь в индустриальной среде, выраставшего на культе мертвых языков, галантности, нравственных утопиях и отторжении коммерческих карьер. Они

были ответом цивилизации на варварство образовательной системы английских закрытых школ для мальчиков и на удушающие моральные устои английской семьи; и в то же время это было выражением особой английской способности удерживать мужскую молодежь высшего класса в состоянии окаменевшего подросткового возраста. Наконец, они были выразителями и носителями еще одной черты древней университетской цивилизации — представления о Кембридже как мире ученых знаний и красоты на земле варваров и обывателей. Их назидательным идеалом были Елисейские сады на реке Кем. И даже при всем том, что мы пока что установили и что знаем о карьере Мейнарда, ясно, что *Общество* коснулось лишь некоторых сторон его личности. Он мог бы получать удовольствия от жизни в ее более энергичных проявлениях.

Поскольку Мейнард был в Кембридже, родители отменили традиционный в семье августовский отпуск: важно было, чтобы их старший сын оставался в Королевском колледже, что решало проблему жилья на время шестинедельных каникул. 12 июля 1903 г. он переехал в свои новые комнаты в подъезде А Дома Уилкинса напротив часовни. Невилл и Флоренс купили ему новый письменный стол, несомненно с тайным умыслом подтолкнуть к новой попытке заняться математикой. Возникали обычные неурядицы. Появились гости — друзья из Итона; в конце августа он провел неделю с Хэмфри Полем в Суссексе. Вернувшись на Харви-роуд, он сказал Суизинбэнку: «Я наслаждаюсь бесполезным существованием, изучая электричество, динамику и гольф». Он был также занят сочинением эссе о Диккенсе, которого Королевский колледж в обязательном порядке требовал от студентов-новичков. «Это — автор, к чтению которого я неприспособлен физически, так что приходится изобретать чисто умозрительные теории о нем — и затем обнаруживать (вполне естественно), что у меня нет никаких подкрепляющих примеров...» 25 сентября он на неделю уехал с отцом в Шерингэм — позаниматься математикой и поиграть в гольф.

Невилл, находившийся в очередном припадке «гольф-плеврита», отметил, что к концу каникул Мейнард «вполне восстановил силу удара».

В какой-то мере он растерял ее в *Союзе*, где 24 ноября 1903 г. он отстаивал свободную торговлю в речи, которая, согласно отчету в *'Granta'*, показала «столь полное отсутствие живости и ораторского воодушевления», что Невилл задумался о необходимости организовать для сына занятия по постановке голоса¹⁴. Но Мейнард достаточно продвинулся в умении выступать с докладами — настолько, что к концу своего второго года был избран секретарем *Союза*, и тем самым ему был проложен путь к председательскому креслу. Спор вокруг протекционизма и свободы торговли, вспыхнувший в 1903 г. в связи с призывом Джозефа Чемберлена к протекционизму и защите имперских привилегий, подстегнул Мейнарда заняться экономикой, так же как политикой: в сентябре 1903 г. отец отмечает, что он взялся за изучение политической экономии¹⁵. Подобно большинству экономистов Кембриджа (Маршалл был главным автором *'Манифеста свободной торговли'*, появившегося в *'Таймс'* 15 августа 1903 г. и уверенно объявлявшего, что увеличение импорта никакой безработицей грозить не может), Мейнард был твердым приверженцем свободы торговли; более того, свобода торговля была единственным политическим делом, за которое он выступал перед Первой мировой войной. «Консерватизм умер и вот рождается снова — низкое животное», — скажет он несколько позже в кембриджском *Союзе*¹⁶. Суизинбэнку он написал 15 декабря: «Сэр, я ненавижу всех священников и сторонников протекционизма... Свободная торговля и свободная мысль! Долой римских пап и тарифы. Долой тех, кто заявляет, что мы выброшены и прокляты. Прочь все схемы выкупа или возмездия».

Еще одним развлечением в том триместре была повторявшаяся в Кембридже каждые три года постановка греческой пьесы, каковой на сей раз были *'Птицы'* Аристо-

фана и в роли Писфетера гримасничал Шеппард. Гамильтон, Суизинбэнк и Дундас приехали из Оксфорда; Дэниел Макмиллан из Итона. «Непутевый мальчик уже дважды побывал на греческой пьесе», — отметил Невилл 27 ноября 1903 г. Следующим вечером он снова отправился туда с Флоренс и итонской компанией. «Мейнард не в состоянии много заниматься математикой, — записал 2 декабря его отец. — За 14 дней у него нашелся только один свободный вечер». Но на каникулах дисциплина была восстановлена. Суизинбэнку Мейнард написал 22 декабря: «На протяжении всего триместра я говорю и веду себя, и опять говорю, оставаясь отчаянно нормальным. А на каникулах я сижу и читаю и пишу, и в голову мне лезут самые нелепые вещи, и за неделю у меня постоянно одно за другим меняются настроения».

Более приятное семейное дело заполнило каникулы Мейнарда в следующий раз. Его сестра Маргарет, «чрезвычайно симпатичная и привлекательная» в глазах Невилла, провалив экзамены в Аббатстве Уайкомба, в октябре 1903 г. была отправлена в Германию. Там она проводила безрадостные шесть месяцев в обществе обедневшей аристократки, баронессы фон Гиссинг. В середине марта 1904 г. Флоренс и Мейнард отправились ей на выручку. В Германию он попал впервые, и некоторое время они отвели осмотру достопримечательностей, а также навестили его бывшую немецкую гувернантку, теперь уже замужнюю фрейлейн Ротман. Из Дрездена 24 марта Мейнард написал Суизинбэнку:

Все художники — здесь, но мне по вкусу более всех немцы начала шестнадцатого столетия — Дюрер, Гольбейн и Крах. Хотел бы я понять причины моих предпочтений — если существуют вообще такие причины. В Берлине мы видели много других картин — особенно запомнилась одна кисти Гольбейна, и здесь и там много скульптур, греческих, римских и более поздних; в Берлине же бюсты двух красивейших мальчиков времени Августа и самый великолепный бюст Сципиона Африканского — но перечню нет конца...

По возвращении Мейнард читает *Апостолам* доклад на тему '*Красота*' (30 апреля 1904 г.), в котором он пытается показать, что природу любить лучше, чем картины и статуи, но статуи более красивы, потому что с природой имеют больше сходства, чем картины. Этот отчет, достаточно верно отражающий эстетическую теорию среднего викторианца, показывает, что интерес Мейнарда к изобразительным искусствам, по крайней мере, предшествовал его связи с Блумсбери.

5 июня 1904 г. Мейнард у исполнился двадцать один год. Он получил часы от Невилла и Флоренс и много других подарков от членов семейства. Хотя часть его жизни выпала из-под контроля родителей и даже вообще ушла из их поля зрения, участливое внимание отца и матери к его будущему не уменьшилась. Невилла умеренно ободрило сообщение о математических занятиях сына: «Он думает, что мальчик не закис... чего одно время можно было опасаться». Не успокоенный заверениями, Невилл «сделал ряд предложений» о будущей работе Лэзему, новому наставнику Мейнарда¹⁷. Но роль дома 6 по Харви-роуд этим не ограничивалась. Во время учебного триместра это был его второй дом. Каждый уикенд Мейнард приводил туда и потчевал своих друзей. Какими глазами Невилл и Флоренс смотрели на визгливого, нескладного Литтона и дрожащего Леонарда Вулфа — история умалчивает. Но их гостеприимство не было отравлено придиричивым любопытством. Твердо усвоенные манеры скрепляли викторианский и эдвардианский миры даже после того, как их ценности начали расходиться. Несомненно, Невилл и Флоренс потихоньку подбирались к проблеме сватовства. В доме на Харви-роуд по разным случаям бывало много молодых женщин, дочерей коллег Невилла или студенток из Гертона и Ньюнема, где он все еще читал лекции по логике. Невилл, с его старомодной галантностью, вероятно, проявлял к ним больше интереса, чем Мейнард. Были также обычные приглашения на танцы и балы, которые Мейнард либо отклонял, либо принимал с

неподобающе скорбным видом. Танцы он ненавидел. Слава небесам, на этот год я отбился от всех приглашений, писал он сестре Маргарет 23 декабря 1903; «ни одна дама в ловушку меня не заманила».

Кембриджские друзья Мейнарда теперь представляли собой смесь *Апостолов* и феноменов. В июне 1904 г. он побывал с Фэем в Ливерпуле, откуда Фэй вынес воспоминания о том, как блистательно Мейнард опровергал христианство и как отвратительно он играл в гольф¹⁸. С Берtrandом Расселом и его женой Элис в их коттедже близ Фарнхэма он провел в середине июля уикенд — намечавшийся как тихий, спокойный. Нежданно нагрянуло двадцать шесть гостей¹⁹. Вышедшие в 1903 г. *‘Основы математики’* Рассела только что утвердили его в положении одного из ведущих философов мира. Литтону Стрэчи Кейнс написал: «В субботу вечером несколько часов подряд Рассел сражался с человеком по имени Леонард Хобхауз — удивительно захватывающее зрелище»²⁰. Рассел составил себе самое высокое мнение об интеллекте Кейнса — «самый острый, самый ясный из всех, какие я когда-либо знал. Когда мы спорили, мне казалось, будто на кону стоит моя жизнь, и редко мне удавалось выбраться из разговора, не чувствуя себя дураком»²¹. 29 августа 1904 г. Мейнард отправляется в недельный пеший поход по Уэльсу с ранцем за спиной. Его напарник — Леонард Вулф. Они поднялись на Сноудон, заглянув по пути к Зангеру и его жене Доре в Абердароне. Выдающимся ходоком или альпинистом Мейнард никогда не был. Но в памяти Леонарда Мейнард остался как «необычайно хороший компаньон» в этой отпускной прогулке: они все дни говорили о философии, а по вечерам играли в *безик*²². В Кембридже во время осеннего триместра 1904 г. Мейнард взял за правило воскресные послеобеденные прогулки с *ангелом* Джорджем Тревельяном, тоже из Тринити, историком и неутомимым ходоком старой школы. Мейнард только что стал президентом и Либерального клуба, и Кембриджского Союза, участвовал в дебатах в Оксфорде и Эдинбурге.

Он также возил команду Королевского колледжа в Итон играть в *Стенку*. «Я и вправду считаю Итон самым поразительным местом в мире, — писал он Суизинбэнку 5 ноября 1904 г. — Среди всех сложных образований он априори представляется самым невероятным». Тревельян склонял его к политической карьере. «Сдается мне, что ты рожден быть политиком», — сказал он ему, высказав на редкость лишенное проницательности суждение²³.

4. Состояние души

В последний студенческий год в Кембридже лучшим другом Мейнарда был Джайлс Литтон Стрэчи. Будущий автор биографий выдающихся викторианцев был тогда аспирантом Тринити-колледжа, где писал диссертацию об Уоррене Гастингсе. Среди всех друзей, которые когда-либо были у Мейнарда, в одном отношении Стрэчи имел наибольшее значение. Он единственный, кто когда-либо имел над ним заметную моральную власть. Обычно в отношениях с близкими друзьями Мейнард был главенствующим звеном. Он превосходил их умом, способностью точнее выражать свои мысли, большей светскостью и большей практичностью. По мере того как его достоинства нарастали, его стали считать (и он сам стал себя считать) высшим судьей во всех вопросах. В дружбе со Стрэчи роли оказались обратными. Стрэчи был тремя годами старше и обладал более сложившимся и более определенным характером. Он не стал профессиональным философом, но у него был острый, аналитический ум, и он был способен отстаивать свою линию даже в спорах с самим Расселом. Стрэчи был философом вкусов и чувств. Много времени спустя после завершения интимной стадии их дружбы (1908 г.) он сохранил свое влияние, позволявшее ему повергать Мейнарда в нравственно неуютное состояние.

Дитя лондонских интеллектуальных аристократов, восьмой ребенок в семье, имевшей прочные связи с Ин-

дийской администрацией, Стрэчи вырос «очень странным джентльменом». Его внешность, когда Кейнс впервые с ним встретился, была само смущение. Даже по отношению к самому себе. Он был длинный, тонкий, бледный и несобранный, наделенный паучьими ногами и руками, близорукий, большеносый; изо рта, как сообщает его биограф, выступали «ужасные лошадиные зубы». Его голос никогда не поддавался нужному переходу в более низкий регистр, глубокие и низкие мужские тона чередовались с взвизгами и *фальцетто* каких-то дудочек. Свой фамильный дом № 69 у Ланкастерских ворот сам Литтон описывал как «дом, пораженный элифантиазом». Здесь он вырос вместе с шестью сестрами, братом и многочисленной родней в непрерывных разговорах, причем говорили, как правило, все одновременно пронзительными голосами с преувеличенными нажимами на слова — в той манере, которая получила известность как *стрэчистская*. Его образование строилось опасно спазматическим образом, в основном из-за невнимания и причуд его матери, приводивших к странному чередованию педагогических завихрений и низкокачественных уроков. Привратника Тринити-колледжа охватило большое подозрение, когда тщедушный, вертлявый Литтон впервые предстал перед ним в Кембридже в 1899 г. «Ни за что не подумаешь, что это сын генерала», — заметил он. Не верилось в это и большинству его новых товарищей по колледжу. Скоро Литтон Стрэчи, объединившись с несколькими избранными студентами, близкими ему по духу, спрятался в сети крошечных литературных обществ, откуда он в 1902 г. вышел в *Апостолы*.

Из такого вот мало что обещавшего материала Стрэчи вылепил свою неповторимую личность, наделенную необычайной силой авторитета, пусть и ограниченную по части внешней привлекательности; он был способен утвердить себя определенностью своих взглядов и явной весомостью своих особенностей. То и другое было глубоко связано между собой: Стрэчи был одним из тех, кто спосо-

бен продавливать собственный взгляд на жизнь всей тяжестью своего «характера». Ключом его силы были стиль и тон его самовыражения — с этими неожиданными голосовыми выделениями нужных слов и мыслей, с этими ему одному присущими шутками, с этими его пугающими минутами молчания, которым он оповещал мир о своем одобрении или неодобрении. Намного позже Кейнс писал, что когда-то, «сорока годами раньше он слышал, как Стрэчи назвал кого-то «тусклым», и это определение лишь с его легкой руки вошло в обиход». У них также было другое, более крепкое определение для того, кто был еще хуже, чем тусклый: о таком говорили: «пагубно тусклый». Его называли «пачка смерти». Стрэчи доставляло наслаждение стряхивать с людей викторианские табу. На званом обеде, обсуждая с некой вдовой различия полов, он заметил, что «весь вопрос, как в гольфе, сводится к различию между мячом и лункой». Его подрывное остроумие, составлявшее одно из украшений его высказываний, его писем и позже его биографий, всегда состояло на службе его собственного набора ценностей. Эти ценности были в значительной степени усвоены от Дж.Э. Мура, но Стрэчи внедрял их собственными средствами и с большой уверенностью. Люди и действия были либо в пределах, либо вне признаваемого им круга. Своих друзей и врагов он описывал мастерски; их характеры разбирал беспощадно. Он любил умных людей, и это — одна из причин, почему он любил Кейнса. «Он анализирует с удивительным упорством и блеском. Мне никогда не попадался такой *активный* ум, — говорил Мейнард Леонарду Вулфу. — Он ведет беседу необычайно живо и занимательно. Его в высокой степени интересуют люди»²⁴. С другой стороны, он никогда не одобрял Мейнарда полностью. Он не считал, что у того в целом «хороший характер» — оценка, в которой, как увидим, присутствует много ревности. Мейнард между тем поклонялся Литтону, даже если тот нередко, по-видимому, причинял ему неудобства. Он достиг той точки в жизни, когда готов был пойти на разрыв условностей, связывав-

ших его с Харви-роуд. С Литтоном они могли теперь отдаться общим пристрастиям к богохульству и привлекательным молодым людям.

Вскоре после того как это началось, их дружба почти разбилась из-за соперничества вокруг молодого новичка Тринити-колледжа по имени Артур Ли Хобхауз. Хобхауз был потрясающе красивым итонским оппиданом. Это Стрэчи заметил и представил его Кейнсу в качестве «эмбриона», то есть возможного *Апостола*. Вулфу, отправленному на Цейлон отбывать семилетний срок службы на административной должности, Стрэчи ликующе доносил 30 ноября 1904 г.: «Хобхауз белокурый, с выющими волосами, хорошим цветом кожи, арочным носом, и самым очаровательным выражением лица. Делает замечательные успехи в беседах... Он интересуется метафизикой и людьми, он — не христианин, и весьма неплохо понимает шутки. Я порядочно влюблен в него, и Кейнс, завтракавший с ним сегодня... убежден, что он — то, что надо... он выглядит розовым и восторженным, как и подобает эмбрионам»²⁵. В значительной степени в результате энергичной кампании, проведенной Стрэчи, согласие «братьев» (включая важное согласие Дж.Э. Мура) на избрание Хобхауза было получено. Однако вскоре Литтон обнаружил, что Хобхауз к Мейнардлу испытывает много больше нежности, чем к нему; и, более того, именно Мейнард стал спонсором нового «рождения» 18 февраля 1905 г. Измена Хобхауза (как это понимал Литтон) нанесла сокрушительный удар по его слабой вере в собственную сексуальную состоятельность. Он прервал отношения с Мейнардом. «Он так мне противен,— написал он Вулфу на Цейлон, — что мне трудно останавливать себя, чтобы не бросать ему оскорбления прямо в лицо».

Избрание Хобхауза в *Апостолы* было истолковано как вежа, открывшая новую стадию в истории *Общества*, ту, когда критерием для выбора стала скорее симпатичная внешность, чем умственные или духовные качества. Бертран Рассел в своей автобиографии пишет, что после

«долгого, затянувшегося сражения между Джорджем Тревельяном и Литтоном Стрэчи... гомосексуальные отношения среди членов были какое-то время обычным делом, но в мое время они не существовали»²⁶. Это не только вообще не соответствует истине, но вводит в заблуждение по поводу причин избрания Хобхауза. Возможно, на Стрэчи и Кейнса повлияла главным образом его внешность, но Джордж Тревельян одобрил его выбор по иным причинам. «Я в высшей степени рад насчет Хобхауза, — писал он Мейнард в феврале 1905 г. — Помню его очень хорошо и мне казалось, что особые качества его ума возвышали его над другими кандидатами»²⁷.

Если не считать опытов школьных лет, Хобхауз был первой большой любовью в жизни Кейнса. В следующие семнадцать лет у него было несколько любовных связей с мужчинами, в том числе с одним очень важным лицом; это помимо некоторого количества случайных половых общений. Нет никакого удовлетворительного объяснения склонности к гомосексуализму. И брат Мейнарда, и его сестра были бисексуалами. Но что, если что-нибудь вообще, может быть, порождало в этом семействе гомосексуализм во всех трех его молодых представителях, — сказать трудно. Больше наводит на размышления тот факт, что Мейнард и многие молодые люди подобного социального положения проводили свое отрочество и значительную часть взрослой жизни в среде, исключавшей присутствие женщин, помимо родственниц либо компаньенок, либо прислуги. Не было особой нужды ломать отношения, складывавшиеся дома или в школах-пансионах. Но даже и при этих условиях правила и привычки, конечно, нарушались бы, будь побуждение к этому достаточно сильным.

Интеллектуальные ребята, бывшие ученики закрытых школ через гомосексуализм искали контакт с нормальным и несложным. В 1903 г., рассказывая в письме Шеппарду о понравившемся ему младшем офицере, Литтон Стрэчи рассуждал: «Что все Мы, ужасно умные, несчастные, художественно одаренные, разобщенные, опро-

кинутые, чтим превыше всего, наиболее неистово и наиболее безуспешно, — так это любовь». На неумелости обычного человека завязывать связи легко было строить идеологию, утверждавшую более высокую форму любви. Кейнс и Стрэчи были воспитаны в представлении, что женщины и духовно, и телесно суть существа низшие. Любовь к молодым людям была, по их убеждению, лучше, чем любовь к женщинам. Они сконструировали этическую позицию (называли ее «*Высокой Содомией*»), положив в ее основание сексуальное предпочтение. Кейнс полностью сознавал опасности своего выбора. Осуждение и позор Оскара Уайльда были свежи в памяти. «Пока никто не связывается с представителями низших классов или людьми с улицы, — писал он Стрэчи 20 июня 1906 г., — и пока соблюдается известная осмотрительность в письмах к нейтралам, нет ни капли риска — или всего-то капля». В их письмах друг другу нужды в осмотрительности было меньше. Кейнс и Стрэчи полагали, что будущие поколения будут считать их первопроходцами, а не преступниками. Они тщательно сохраняли свою переписку и ожидали, что однажды ее содержание станет достоянием общест-венности.

В марте 1905 г. для Мейнарда, университетская жизнь которого приближалась к концу, завершилось и его пребывание на посту президента кембриджского *Союза*. Его прощальная речь с нападками на правительство консерваторов была, согласно '*Cambridge Review*', выдержана в лучшем стиле этого оратора — она была «прохладна, логична и тем не менее проникнута уважением прежде всего к самым высоким и лучшим моральным принципам государственной деятельности... Мы ожидаем его большой карьеры в других кругах»²⁸. 30 марта они с Хобхаузом отправились в трехнедельный «рабочий отпуск» в Труро. В письмах домашним Мейнард подчеркнул, что готовится к *трай-нос*. 16 апреля он написал: «У меня это самая плодотворная неделя в этом году. Астрономия кончилась, оптика началась... Возвращаюсь в следующий четверг, а пока больше

сообщить нечего, кроме того, что мои утренние часы вас бы удивили». Успокоенный Невилл отметил: Мейнард, «похоже, тихо но приятно проводит время».

Об истинном содержании трех недель в Труро Мейнард больше рассказал в письме, написанном 23 апреля с Харви-роуд Литтону Стрэчи, с которым были восстановлены настороженные отношения:

Тот эпизод кончился; интересно, узнаешь ли ты когда-либо в точности, что произошло... клянусь, я понятия не имел, что попаду в нечто так глубоко меня потрясшее. Даже нелепо предполагать, что ты поверишь в кошмар переживаний, через которые я прошел.

Однако ты, возможно, кое-что поймешь, когда мы встретимся. Все, что могу сказать, — только то, что сейчас я влюблен в него более безумно, чем когда-либо, и что мы приплыли в тихие воды — надолго ли, не знаю.

Он непрерывно болел и пытался заставлять себя работать сверх сил.

Тем не менее — *этически* — это были самые ценные три недели в моей жизни.

Из Ройстоунского гольф-клуба Мейнард 27 апреля написал Хобхаузу:

Несмотря на твои изменнические мысли, я очень хочу тебя видеть снова. Да, у меня умная голова, слабый характер, нежное расположение души и отталкивающая внешность. Мой самый последний недуг — чтение романов; годами у меня не было никаких приступов, и этот застал меня врасплох...

Так или иначе, живи хорошо, держись с честью и — если возможно — люби меня. Если до любви никогда не доберешься, рассчитываю все же на твою симпатию — и ее я хочу иметь, по крайней мере, столько же, сколько имеет другой.

Твой назойливый, нежный,

ДжМК

Хобхауз не допустил в Труро никакой физической близости; как он впоследствии говорил Джеймсу Стрэчи, брату Литтона, «всякий раз, как проявления его [Кейнса]

чувств становились очень интенсивными, я страдал, не будучи в силах сдержать свое отвращение». Мейнард вспоминал, что «он [Хобхауз] имел обыкновение обманывать меня одной рукой и затем каждые три дня сообщал, в порядке проявления честности и искренности, как подobaет *Апостолу*, что ненавидит меня». В годовщину отпyска в Труро Кейнс написал Хобхаузу письмо, подписавшись: «Твоя постоянная истинная любовь, ДжМК». Воспоминания о Труро все еще наполняли его глаза слезами; он сомневался, сможет ли возобновление романа принести с собой все великолепие его первых дней. Но постепенно накал его чувств исчез, погашенный сопротивлением Хобхауза. «Он просто не знает, что это такое, — говорил он Литтону Стрэчи. — Он не ведает страсти».

Одним из самых полезных свойств Мейнарда была его способность полностью отключиться от только что занимавшего его предмета, когда его уму необходимо было перейти к очередному делу. Едва с приближением *трайпос* закрутились экзаменационные машины Харви-роуд, Хобхауз был выселен из его ума. Отец возобновил исполнение своей обычной роли: «Мейнард очень методично распланировал свою работу. Освоить предстоит очень много материала». К 11 мая настроение Невилла стало портиться; 15 мая начались *трайпос*. «Очень рано я зашел в комнату Мейнарда удостовериться, что он встает». В конце первой недели Невилл «чувствовал себя очень утомленным и подавленным... Я думаю, он покажет себя ужасно, и меня гнетет мысль, что я зря вообще толкал его в математику. Этот предмет всегда вызывал у него раздражение».

Наконец все осталось позади. «Мейнард полагает, что он может добраться аж до двенадцатого места; но я боюсь, что он слишком самонадеян». Так Мейнард оценивал свой заключительный рывок к совершенству. В течение трех студенческих лет он делал, что хотел, и сумел тем не менее выйти двенадцатым *спорищиком*. «В целом мы удовлетворены, — с облегчением писал Невилл, — «хотя мальчик мог бы, конечно, добиться большего успеха, посвети

он себя исключительно математике. Большинство людей поздравляют меня, некоторые сочувствуют (те, что надеялись сразу увидеть его в ученом сообществе). В Королевском колледже они, кажется, очень довольны...» Невилл никак не мог полностью смириться с результатом: «я предполагаю, что Мейнард был не очень хорошо, недостаточно мудро подготовлен для сдачи *трайпос*». ²⁹ На самом деле Мейнард следовал программе отца почти буква в букву. То, что высшего места ему не видать, можно было знать заранее. Теперь математику можно было, наконец, отодвинуть в сторону и освободить место для более интересных интеллектуальных поисков. 28 июня 1905 г. он начал обстоятельно изучать '*Принципы экономической теории*' ('*Principles of Economics*') Маршалла.

VI

Начала моей веры

1. Дж.Э. Мур и «PRINCIPIA ETHICA»

9 сентября 1938 г. Кейнс выступил в блумсберийском Клубе биографов с докладом под названием *‘Начала моей веры’*. В 1949 г. этот доклад был издан посмертно его другом Дэвидом Гарнеттом, а также воспроизведен затем в X томе его *‘Избранных сочинений’*. Это ключевой документ для понимания работы всей его жизни — и по одной главной причине. Он был достаточно близок «верующему» поколению, чтобы испытывать потребность в «истинной вере». Возможно, это особая черта того века, резко отличающая его от века нашего. Дело не столько в том, что мы потеряли некую определенную веру, сколько в том, что мы утратили веру в возможность самого существования истинной веры. И это по необходимости означает, что вера предъявляет нам меньше требований. Значение, которое Кейнс придавал открытию истинной веры, степень интеллектуального внимания, которое он уделял соотношению между верой и действием, постоянно ощущавшаяся им потребность в вере для оправдания своих действий — все это предполагало настрой ума, теперь по существу исчезнувший. Это был также взгляд на мир, позволявший Кейнсу обладать моральной властью. Его замыслы и действия были подчинены целям, в истинную ценность которых он верил.

Философия дала основу жизни Кейнса. Она появилась до экономической теории; и философия целей при-

шла прежде философии средств. Философия Кейнса была выработана между 1903 и 1906 г., в его два последних студенческих года и затем в год аспирантуры. Она складывалась главным образом в кругу *Апостолов* как набор ответов на основные интересовавшие их вопросы. К счастью, выясняя, что это была за философия, у нас нет необходимости целиком полагаться на его доклад 1938 г. Часть эссе и отрывков сохранилась с тех ранних лет, когда он бился над проблемами ценностей и поведения, над теми проблемами, решения которых в докладе, представленном Клубу, даются задним числом — не всегда в соответствии с тем, как было на самом деле, и далеко не в исчерпывающем виде.

Стержень доклада — разговор о '*Principia Ethica*' Дж. Э. Мура и об оказанном им влиянии. Об этом влиянии он свидетельствует определенно, безоговорочно. «Его воздействие на нас, — говорил Кейнс, — и предшествовавшее, а затем последовавшее обсуждение книги, затмило, и может быть, все еще затмевает все остальное». Он продолжал: «Это захватывало, возбуждало, это было начало нового Ренессанса, открытие новых небес на земле». То не были суждения, обращенные к прошлому. Через несколько дней после выхода '*Principia Ethica*' он писал Суизинбэнку (7 октября 1903 г.): «Это — громадная и восхитительная работа, *величайшая* по данному предмету». А 21 февраля 1906 г. он написал Литтону Стрэчи: «невозможно преувеличить чудодейственность и *новаторство* Мура; люди начинают говорить так, как будто перед ними всего лишь своего рода эклектичная мешанина из логики. Ах, почему им не дано видеть?»

Работа Мура '*Principia Ethica*' была творением времени, места и личности. В философском плане ее можно рассматривать как продолжение усилий в развитии этики с той точки, где их оставил Сиджвик и где все еще оставалось неупорядоченным. Она наследовала проблемы, породившие замысел Сиджвика, и старалась дать им решения, которых Сиджвику, как он почувствовал, найти не

удалось, — речь шла об опасении, что лишенная Бога Вселенная ввергнет нас в «космос хаоса», о несостоятельности гедонистического утилитаризма, о потребности в философии, которая облегчала бы бремя принятой в обиходе этики. Сделал ли Мур настоящий шаг вперед или его, как говорил Сиджвик, «постигла неудача, которую Мур принял за некое открытие и освобождение мысли»¹, — это вопрос, по которому до сих пор идут споры. Пока что достаточно отметить, что ученики Мура полагали, что он двинул этическую мысль вперед и тем самым дал им «начальные основы истинной теории этики».

Теория Мура удовлетворяла спрос на рационально оправданную переоценку ценностей, она связывала обязанности с теми благами, которыми считали нужным дорожить *Апостолы*, а не с теми, в которых общество видело пользу. Ожидалось, что сдвиг во взглядах, уже происшедший среди кембриджских *Апостолов*, должен быть узаконен. Книга Мура была в большей мере результатом этого сдвига, чем его причиной, хотя она дала рациональное средство для его защиты и укрепления. Перемена взглядов была описана Десмондом Маккарти в докладе, который он прочитал *Обществу* в декабре 1900 г. Там он сопоставил отношение своего поколения к жизни с отношением его апостольских предшественников. Ключевое различие виделось в том, что его поколение «все воспринимало более *лично*, чем они». «Отношения людей друг к другу и прочие задачи мы в целом рассматриваем не так широко». Сдвиг, пояснял Маккарти, произошел из-за того, что «все установления, семья, государство, законы чести и т.д. — все, что предъявляет личности требования... оказалось неспособным дать убедительные доказательства своего права на власть». Он продолжал:

Но есть другое обстоятельство, которое является результатом поколебленной веры в правила подчинения старшим и начальству, равно как и в обязательность обычно предписываемых установок в жизни, и оно тоже придает но-

вое, повышенное значение непосредственно личным отношениям. Они [предыдущее поколение] не доверяли своим непосредственным суждениям так полно, как мы, и это упрощало для них и общественные, и другие отношения в жизни. Взамен у них появилось больше правил, которые они принимали и которым следовали с полным доверием...

Как особо важную мысль Маккарти подчеркивает то, что чем больше человек размышляет и чем больше его размышления подрывают «правила подчинения» и «предписываемые установки в жизни», тем больше он вынужден полагаться на собственные «непосредственные» суждения о ценностях. Но такие «непосредственные», или, как бы мы сказали теперь, «интуитивные», суждения имеют своим следствием как раз отрыв от широких общественных целей и тягу к сплочению с теми, кто разделяет ваши собственные, личные интуиции. Именно возросшее значение «состояния личных отношений в любое данное время» относительно «их прочих целей» Маккарти объявил отличительной особенностью сегодняшних братьев-Апостолов. «Предыдущее поколение окружало своих друзей не меньшим вниманием; но о них лично они думали меньше — меньше не о дружбе с ними, но меньше о близости»². Достижением Мура становился особый язык, оправдывавший происшедшую перемену и позволявший удобнее к ней приспособиться.

Личность самого Мура играла очень важную роль в этом достижении. Леонард Вулф назвал его «великим человеком, единственным великим человеком, когда-либо встречавшимся на моем пути»³. Он был почитаем не только за его ум и обаяние. Собственно, частью этого обаяния была его целеустремленная самоотдача поиску истины. Получив образование в Далвич-колледже в южном Лондоне, он в тринадцатилетнем возрасте «заразился» религией так сильно, что на протяжении двух лет в каждом сомнительном случае ставил вопрос: «А как бы поступил Иисус?». Утрата им христианской веры настолько его потрясла, что он решил испытать все возможности, предла-

гаемые другими учениями. В 1892 г. он поступил исследователем-классицистом в кембриджский Тринити-колледж. Два года спустя он переключился на гуманитарные науки и в 1898 г., представив диссертацию по Канту, удостоился членства в ученом сообществе Тринити.

Мур был избран *Апостолом* в 1894 г. С самого начала система его взглядов, страсть к философствованию и ставшая предметом насмешек забывчивость производили в *Обществе* взрывной эффект. «В те дни он был красив и художав, — пишет Рассел, — со взглядом, почти светившимся вдохновением, и с интеллектом столь же страстным, как у Спинозы. Он отличался своего рода изящной чистотой»⁴. Тему своего первого выступления перед *Апостолами* Мур обозначил словами: «Мы должны раздвинуть скептицизм до таких пределов, чтобы каждый наконец знал, что мы не можем знать абсолютно ничего». В этом месте на него обрушился истерический смех. «Все мы были им наэлектризованы, — продолжал рассказывать Рассел своей невесте Элис Пирселл Смит, — будто до того мы дремали и никогда не имели понятия, что такое бесстрашный, чистый, и настоящий интеллект». Три дня спустя Рассел написал Элис: «Я не вижу возможности ни любить его, ни не любить, потому что пока я не заметил в нем и следа чего-нибудь человеческого. Но в разговоре с ним есть нечто странно возбуждающее: его критика напоминает воздух Высоких Альп»⁵.

Скептицизм Мура был направлен и против идеализма, представленного в *Обществе* Мактаггартом и Лоусом Дикинсоном, и против утилитаристской традиции, завещанной Сиджвиком. В идеализме версии Мактаггарта-Дикинсона *Абсолютное* означало «состояние, определяемое общением бессмертных душ в совершенной любви и дружбе»⁶. Мур не имел ничего против этого как идеала — по существу его собственные Небеса были тому весьма подобны, — но он не мог принимать стиля философствования, пытавшегося выводить это из существования непостижимого мира, то есть теистической философии, оставлявшей Бога за бортом. Равным образом Мура не

устраивали язык и настроения утилитаризма. Это выплеснулось в его отзыве о Фабиане Грэме Уоллесе, с которым он встретился в 1896 г.: «животное, дурак... все должно обслуживать его треклятую полезность — обучение масс. Обучение ради чего? Этого он вам поведать не в состоянии. Он — слепой поводырь слепых...»⁷.

Секретом силы Мура как философа был свойственный его мышлению буквализм. Он принимал слова всерьез и буквально, особенно слова повседневного, обыденного языка. Когда люди называли что-либо хорошим или плохим, красивым или безобразным, умным или глупым, он считал, что они имеют в виду именно это, а не что-нибудь иное; они, мол, говорят о *вещах* столь же реальных, как и любые объекты естественного мироустройства. Кейнс писал: «Муру однажды приснился кошмарный сон, в котором он не мог различить суждения и столы. Но даже бодрствуя, он не мог провести различие между любовью и красотой, между истиной и мебелью. Все это у него определялось одинаково четко, одинаково обладало устойчивостью, осязаемостью, объективными качествами и чертами общепонятной реальности»⁸. Девиз его '*Principia Ethica*' был взят у епископа Батлера: «Все является тем, что есть, а не чем-нибудь иным». Приемы аргументации Мура действовали сокрушительно. «Что именно вы имеете в виду?» — это был его любимый вопрос; и если он получал нечеткий ответ, на его лице изображалось безграничное изумление, говорившее: как это можно быть настолько бестолковым? Кейнс как-то отметил, что он умело расставлял «акценты непогрешимости»⁹. Извергаемый им поток увещеваний, сильное покачивание головой, отчаянные попытки раскурить свою трубку — все это были неотъемлемые части его философского действия. Своими трубками, жестикующей, тоном своей речи и логическими доводами Мур выкуривал из Кембриджа дух идеализма. Мактаггарт был побежден, но не раскаялся. Он держался своего идеализма ради покоя, какой тот давал его душе. Он ограничивался тем, что говорил: «Ну, ладно,

так или иначе, а я уверен, что Мур неправ»¹⁰. Лоус Дикинсон вообще бросил философию. «Я измочален до смерти, — написал он Р.К. Тревельяну в 1898 г. — и это результат метафизического остроумия речей Мура. Что за мозг у этого парня! Мой он просто высушивает! Осушает мои моря и озера... превращая их в бесплодные песчаные пустыни»¹¹.

Пол Леви справедливо замечает, что многое в авторитете Мура вытекало из его характера, в котором были некие черты Божественного Дурака. Вести легкую светскую беседу он не умел: все сказанное принимал с чрезвычайной серьезностью. Он начисто был лишен воображения: его ум, как выразился однажды Кейнс, никак не был украшен. Очень внушительное впечатление производила агония, в которую ввергали его напряжение мысли, его страдания в случаях, когда ему не удавалось донести до слушателей то, что казалось ему в высшей степени важным. В представлении Кейнса, его философия «была вырвана, с болью и страданиями выжата из стиснутой запором прямой кишки». Леви подчеркивал безгрешность Мура. Тот признавался *Обществу*, что, впервые попав в Кембридж, он не знал, что там может оказаться хоть один прелюбодей или что гомосексуализм вообще существует в современном мире¹². Когда он узнал, что такие вещи в Кембридже есть, его отношение к ним не изменилось. Он остался пуританином. Добрые расположения ума всегда, казалось ему, предполагают много боли. Такого человека легко было почитать, трудно было в общении с ним чувствовать себя удобно. «Он слишком отдален для непринужденности или близости, — писал Кейнс Стрэчи 20 декабря 1905 г., — но едва ли можно было бы смотреть на него как на постороннего». И чуть позже (25 января 1906 г.): «Мур стал для меня слишком мифической личностью, чтобы включить его в список [достойных любви *Апостолов*]. Я, кажется, знаю его только по описаниям, а живет он в обществе Сократа, Шекспира и Томлинсона — троицы нашей святой веры».

Было четыре главных строительных блока, из которых Мур соорудил здание своей этической системы. Первым была неопределенность понятия добра. Добро — это название простого, неестественного качества, аналогичного «желтому», которое может быть идентифицировано только непосредственным изучением или интуицией. Оно не поддается определению, утверждает Мур в *'Principia Ethica'*, ибо можно показать, что любая попытка определить его — то есть придать ему значение чего-то иного, например, «приятного» или «красивого» или «более развитого» — непременно сорвется. Из любого состояния, выражающего одно из этих качеств, всегда еще можно вывести вопрос: а есть ли это добро? Попытки определить добро ссылками на подобные другие качества Мур называл «естественными заблуждениями». Многие основания для этих утверждений уже были заложены Сиджвиком. Общим и для Сиджвика, и для Мура является отказ от попытки основать этическую философию на фактах человеческой природы, то есть вывести желательное из желаемого. Мур только продвигает дело дальше, ломая связь, которую Сиджвик пытался сохранить между совершенством и счастьем.

Второй строительный блок Мура — это утверждение в знаменитой заключительной главе его *'Идеала'*, что единственно ценны расположения ума сами по себе, то есть «радости человеческого общения и наслаждения, доставляемые красотой созерцаемых объектов»¹³. Среди многих смыслов этого утверждения сразу можно выделить тот, что расположению ума отдается этический приоритет перед состоянием действия.

Третий блок в системе Мура образует доктрина, согласно которой правильное действие нацелено на то, чтобы создать желательные состояния дел — в пределе именно те самые ценные расположения ума. Мур писал: «Только этим — то есть стремлением расширять в каждое данное время возможности таких наслаждений — может быть для кого бы то ни было обосновано исполнение всякого общественного или частного долга»¹⁴.

Наконец, мнение Мура, согласно которому действие должно быть нацелено на создание желательных расположений ума, дополнялось оговоркой в виде доктрины *органических единств*, которая провозглашала, что лучшие из достижимых состояний должны в каждом случае представлять собой «сложное целое», ценность которых не складывается в сумму ценностей их частей¹⁵. Этим он хотел сказать, что блага, заключенные в отдельных состояниях, имеющих нулевую или даже отрицательную ценность, могут в соединении с внутренне ценными благами (расположениями ума) образовывать целое, обладающее большей ценностью, чем та, которая у них есть по отдельности. Основное применение принципа органических единств было направлено на ограничение возможности увеличивать количество добра путем сложения изолированных расположений ума. Включив в понятие хорошего состояния дел дополнительные характеристики, в том числе относящиеся к действиям, которые сами по себе добром не являются, Мур оставил дверь открытой для «обычных жизненных целей», присутствовавших в построениях Маккарти.

Как мы видели, *Апостолы* искали этику, которая могла бы направлять внимание на цели, отличные от обязанностей, возлагавшихся на викторианского джентльмена. Это Мур им дал. Он снял оковы с современной ему этики, освободив ее от уз общественной полезности и обыденной морали, установив ее высшей целью добро, выходявшее за рамки викторианского образа жизни и поставив «должен» в зависимость от количества этого добра. Отбросив гедонизм и объявив внутренне ценными расположения и состояния ума, которые Милль и Сиджвик вынуждены были рассматривать опосредствованно, он обошел стороной проблемы, которые разрушили их попытки создать цельную, внутренне непротиворечивую систему. Из тех, кто отнюдь не собирался всерьез следовать толкованию добра по Муру, никто не мог вернуться к серьезному и полному восприятию

викторианской этики. Чего Мур не добился, так это ответа на вопрос о том, как увязать его понятия добра с делами практической жизни, которые в большинстве своем никакого отношения к его установкам не имели. Оказалось, что трудности, выпавшей на долю Сиджвика в его попытке найти гармонию между частным и общественным, между добродетельной жизнью и жизнью полезной, Мур так и не преодолел: он просто заявил о ней еще раз, другими словами.

2. Кейнс и Мур

В 1938 г. в своем докладе Клубу биографов Кейнс говорил: «Итак, от Мура мы ни в коем случае не взяли всего того, что он нам предлагал». Кейнс и его друзья «принимали религию Мура... и отвергали его мораль». Под религией Кейнс разумел «отношение человека к себе и Конечному», под моралью — «отношение к внешнему миру и посредникам» — различие, приблизительно соответствующее разнице в понятиях «быть хорошим» и «делать добро»¹⁶.

Их религией был *Идеал* Мура: «Ничто не имело значения, кроме состояний ума... главным образом нашего собственного. Эти состояния ума не были связаны с действием или достижением или с их последствиями. Они представляли собой вневременные, страстные состояния созерцания и общения, в основном лишённые измерений «до» и «после». Подходящими предметами для страстного созерцания и общения были возлюбленный человек, удовольствие от эстетического творчества и опыта, обретение знания. Среди всего этого на первом месте и далеко впереди любовь...» Он и его друзья были «в основном озабочены спасением наших собственных душ. Божественное пребывало в пределах замкнутого круга». Действенная жизнь не была частью Идеала. О власти, мирском успехе, амбициях, «экономических побуждениях и экономических

критериях» он и его круг заботились меньше, чем Святой Франциск Ассизский, «который по крайней мере заботился о пропитании птиц»¹⁷. Религия Мура привлекала Кейнса тем, что он мог видеть в ней новейшую версию монашеского идеала, который возбуждал у него восхищение еще в школьные годы. «Таким образом, — подводил итог Кейнс, — нас воспитывали на Платоне, поглощавшем добро как таковое, на схоластике, превосходившей самого Святого Фому, на кальвинистском воздержании от радостей и успехов Ярмарки тщеславия и на всех страданиях и печалях молодого Вертера»¹⁸.

Едва ли это была зрелая религия. Трудно понять, как она могла пережить процесс взросления. Скорее, ее значение для псаломщиков должно было состоять в том, чтобы задавать ценностные критерии, позволявшие выносить суждения об обычных жизненных устремлениях. В этом смысле она продолжала оставаться Идеалом Кейнса. Став старше, Кейнс все еще принимал «основополагающие интуиции *Prindpia Ethica*». «Мы были в числе первых из нашего поколения, возможно единственными в нашем поколении, кто стремился бежать от бентамовской традиции» с ее «завышенной оценкой экономического критерия». Это уберегло «очень многих из нас от бентамовского учения, которое, будучи доведено до крайнего абсурда, известно под именем марксизма»¹⁹. Но теория Мура страдала ограниченным зрением. Она не замечала «некоторых мощных и ценных пружин чувства», причем как слепых страстей человеческого сердца, так и тех, что относятся к устройству жизни сообществ²⁰.

Это затрагивало вопрос морали. Целью Мура, указывал Кейнс, было «провести различие между добром как атрибутом состояний ума и правотой как атрибутом действий». Моральные установки Мура были основаны на викторианском компромиссе между «бентамовской расчетливостью» и «общими правилами надлежащего поведения». Эти установки, утверждал Кейнс, коренились в двойной ошибке рассуждения. Обращение Мура с веро-

ятностными исчислениями было «пронизана огрехами», а «общие правила» Мура мало чем обосновывались, помимо христианского «фокуса-покуса». «Мы полностью отвергали свою личную обязанность подчиняться общим правилам. Мы требовали права судить каждый случай по достоинству, и жаждали мудрости, которая позволяла бы делать это успешно... Мы полностью отвергали общепринятые моральные нормы, условности и традиционную мудрость. Это значит, что в строгом смысле слова мы были аморальными»²¹.

С годами Кейнс стал считать, что это высокомерие опиралось на «катастрофически ошибочное» понимание человеческой природы. Он и его друзья, отменяя понятие первородного греха, полагали, что человеческие существа достаточно разумны, чтобы быть «избавленными от... нестигаемых правил поведения, и быть отныне и навсегда предоставленными их собственным... надежным интуициям добра». Это представление пренебрегало тем фактом, что «цивилизация являет собой тонкую и хрупкую корку, созданную личностью и волей немногих, и поддерживается только правилами и соглашениями, умело объясняемыми и хитро сохраняемыми»²².

Рассказанная Кейнсом в 1938 г. история его ранних верований не встретила единодушного одобрения ни в его собственном кругу ни со стороны позднее писавших авторов, откликнувшихся на посмертное (1949 г.) издание этого доклада. Некоторые, как Бертран Рассел и Леонард Вулф, старались защитить Мура от того, что им виделось как опошление Кейнсом его учения: доктрина «органических единств», говорили они, прямо выводила на вопрос о правильном поведении, а следовательно и на заботу о мирских делах²³. Другие, как Рой Хэррод, Р.В. Брэйтвейт и Род О'Доннелл были озабочены тем, чтобы защитить Кейнса от его собственных суждений насчет того, как воздействовали на него ценности Мура. Это, мол, не соответствовало той истинной жизни, какую он вел молодым человеком; это было даже в еще меньшей мере правдой от-

носителем его жизни в целом. Тем не менее, если по мнению Хэррода, жизнь Кейнса доказывает, что он бежал от «монашеских и анемичных ценностей»²⁴ Мура, то Брэйтвейт и О'Доннел полагают, что Кейнс был верным последователем Мура, но что учение Мура, что бы там Кейнс ни говорил, толкало его к «гуманному утилитаризму»²⁵. Другие, например, ученый-литературовед Ф.Р. Ливис утверждает, что биография Кейнса показывает, насколько тривиальной и незрелой была цивилизация Кембриджа на рубеже столетий²⁶.

Большинство этих критических суждений носит излишне безапелляционный характер. Свой доклад Кейнс читал особой аудитории друзей, и некоторые вольные отступления от строгой правды во имя желаемого отклика со стороны слушателей и ради их развлечения были вполне уместны. Он также преувеличивал чуждость своего поколения мирским заботам, имея в виду внушить молодым слушателям, что в жизни можно найти кое-что и помимо Маркса, признавая вместе с тем важность их общественных забот.

Подлинной проверкой точности воспоминаний Кейнса должно служить то, как протекала жизнь этого молодого человека и как он и его друзья воспринимали и толковали в то время философию Мура. Чтобы составить представление о жизни юного героя, читателя приглашают продолжить чтение этой книги. Что касается второй стороны дела, мы располагаем множеством свидетельств, главным образом в виде его юношеских записных книжек и неопубликованных текстов, которые он читал *Апостолам*. Все это показывает, что молодой Кейнс действительно был страстным приверженцем Мура. Но это было учение Мура, приспособленное к психологическим потребностям группы привилегированных интеллектуалов, зараженных оптимизмом нового столетия, отнюдь не ожидавших, что мир станет предъявлять им непомерные требования, и полагавших, что их жизнь в зрелом возрасте будет продолжением жизни студенческой.

3. Философское ученичество Кейнса

Лучшим введением в раннее творчество Кейнса могут служить кое-какие его наброски, названные им «*Miscellanea Ethica*» и сделанные между июлем и сентябрем 1905 г., сразу после сдачи им *трайпос*.

Моя схема полного трактата по этике выглядела бы примерно так: сначала деление на два раздела — спекулятивная этика и этика практическая.

Спекулятивная этика затрагивала бы прежде всего некоторые квазиметафизические или логические вопросы; здесь устанавливалось бы употребление и значение более фундаментальных понятий. Из этого вытекал бы анализ... понятия «добра» как такового. Сюда по существу вошли бы (говоря словами Мура) «пролегомены к любым будущим теориям этики, которая может претендовать на научность». Самого Мура можно было бы использовать (за небольшую, но достаточную плату) для того, чтобы написать это под его общим руководством.

На этой основе можно было бы составить *Catalogue Raisonni* достойных целей и добрых чувств. Недобрые чувства получили бы свою долю внимания; и очень немного было взято из опыта или из чувств, о чем авторы не могли бы написать, имея к тому расположение.

Природа красоты и трагедии, как и любви и подобного отношения человека к истине, стала бы интересным предметом обсуждения, хотя выводы в результате не прибавили бы мудрости тому, что уже сказано Аристотелем.

Второй раздел — Практическая этика — был бы посвящен поведению; здесь исследовался бы трудный вопрос вероятных оснований действия, и занятой связи между 'вероятным' и 'долженствующим'; и делалась бы попытка сформулировать или скорее исследовать существующие общие максимы, имея в виду их строгую соотнесенность с конкретными обстоятельствами. Здесь также было бы уделено внимание средствам создания (а) добрых чувств, (б) достойных целей. Возможно этот раздел оказался бы менее интересным, чем раздел спекулятивной этики, но в нем могло бы найтись место для попыток ответить на такие вопросы, как:

(i) природа и ценность достоинства, (ii) теория и методы образования, (iii) теория и методы политики.

(iv) Практическая целесообразность и надлежащие пределы эгоизма — то есть степень, в какой мы должны рассматривать себя как цели и средства соответственно.

(v) Исключения из правила, ставящего истину превыше всего.

Все это в целом было бы напечатано шрифтом баскервиль и издано в 150 томах²⁷.

Этот отрывок в достаточной мере свидетельствует, что интересы Кейнса были изначально сосредоточены на соотношении между «спекулятивной» и «практической» этикой и на проблемах их взаимосвязи, которые поднял своим учением Мур.

Его первой мишенью была доктрина органических единств. Мур говорил, что добро в своей цельности состояло из добрых состояний ума и того, что само по себе хорошим не было. Так, о состояниях «эстетического удовольствия» и «личной привязанности» говорилось, что в них содержались соответственно материальные объекты (предметы красоты) и умственные объекты (качества интеллекта), которые приятно было созерцать. Кейнс расценивал эти утверждения как своего рода извращение: могло бы быть желательно, чтобы такие объекты существовали, но они не могли быть частью добра в его этическом измерении, которое складывается исключительно из добрых состояний ума. Мы располагаем его свидетельством, что «однажды субботним вечером принцип органического единства был отменен»²⁸. Когда имел место этот важный случай, неизвестно, но, должно быть, до 1906 г. Кейнс предложил поправку, основанную на различии между добром как признаком состояния ума и «достоинством» как признаком объектов. «Хорошими могут быть только расположения ума, — написал он в *Теории Красоты* (1905 г.). — Объекты же, пробуждающие хорошие чувства, суть достойные... Каждому хорошему чувству соответствует достойный объект... Достойным является тот

объект, созерцание которого *должно* рождать хорошее состояние души».

Кейнс взывал к логике: если чувства сами по себе хороши, объект не может тоже быть хорошим. Но его довод потенциально воздействовал на практическую этику: если для хороших чувств требовалось наличие достойных объектов, то, конечно же, задачей практической этики становилось создание целого мира таких объектов. Это соображение подкреплялось важностью, какую Кейнс вслед за Муром придавал *истинной* вере как атрибуту добра: вселенная навозных куч должна рождать чувства отвращения или порождать плохие состояния ума. Однако в то время «отмена» доктрины органических единств, конечно, имела целью оправдать сосредоточение сил на создании хороших состояний ума самих по себе — точно так, как Кейнс вспоминал в своей автобиографии.

Эта гипотеза подкрепляется тем, как Кейнс обращался с другой имеющей к этому отношение проблемой. Если добро в этическом смысле сводится только к состояниям ума, должна ли наша цель состоять в улучшении состояния нашего собственного ума или следует стремиться к тому, чтобы улучшить состояние умов всего мира? Мур утверждал, что последнее — это единственно разумная этическая цель. Но это, по мнению Кейнса, держалось на простом утверждении — и только. Выдвигались два сильнейших возражения. Во-первых, «поскольку у нас никогда нет возможности прямого обследования [расположения умов других людей], невозможно указать, какие действия увеличивают общее количество добра во всем мире» [провозгласил он в «*Miscellanea Etica*»]. Во-вторых, Мур не сумел рационально обосновать обязанность добиваться всеенского добра за счет собственного блага. «Разве мы, каждый из нас, не являемся непосредственно самоцелями для самих себя?» — задавался Кейнс вопросом в докладе об «Эгоизме», который он читал Апостолам в 1906 г. Должен ли некто становиться *плохим* (то есть идти в политику), чтобы улучшить состояния ума других? Кейнс отри-

цал, что Муру удалось превзойти Сиджвика в трактовке этой проблемы.

Третья главная трудность в *'Principia Ethica'* Мура состоит в его путаной теории последовательности — доктрине, согласно которой правильность поступка должна оцениваться по его результатам, действительным или ожидаемым. Вопрос стоит так: какого рода знания необходимы, чтобы сделать возможной систему, строящуюся на учете последствий? Следует отвечать: знание вероятностей; отсюда важный смысл сделанного Кейнсом в предисловии к его *'Miscellanea Ethica'* замечания о «занятной связи между 'вероятным' и 'должным'».

В одной из глав *'Principia Ethica'*, названной *'Этика в отношении к поведению'*, Мур следовал за Юмом, основывая всякое вероятностное знание на опыте. В таком случае нетрудно было показать, что опыта недостаточно для получения знаний о вероятных отдаленных последствиях, и заключить вместе с Юмом, что в отсутствие такого знания обычай или привычка должны быть «великими проводниками человеческой жизни». Это консервативное заключение застряло в глотке молодого Кейнса. «Перед небесами, — вспоминал он в 1938 г., — мы твердили, что сами являемся судьями в наших делах». Между 1906 и 1914 г. его свободное время по большей части уходило на разработку теории вероятности, которая должна была оправдать эту претензию. Первое обсуждение этой темы состоялось 23 января 1904 г., когда он зачитал Апостолам доклад *'Этика применительно к поведению'*. Он не оставляет сомнений, что его интерес к теме взошел непосредственно на интеллектуальных дрожжах *«Principia Ethica»*. Этот доклад уже содержит главную посылку того, чему предстояло стать кейнсовским *'Трактатом о вероятности'*, который не публиковался до 1921 г. Он имеет поэтому ключевое значение в его биографии*.

* Доклад Кейнса *'Этика и поведение'* значится под регистрационным номером UA/19 в Архиве Кейнса, хранящемся в Королевском колледже в Кембридже. Документ не датирован. Когда в 1983 г. вышел первый том

В своем докладе 1904 г. Кейнс обвинял Мура в том, что тот держится неправильной теории вероятности. Его доводы были следующие. Если я говорю, что «А» вероятнее чем «Б», я не настаиваю, что «А» наверняка будет происходить более часто, чем «Б», но говорю лишь, что у меня имеется больше свидетельств в пользу «А», чем в пользу «Б». Если я знаю, что в непосредственном будущем «А» произведет больше добра, чем «Б», и не имею оснований предполагать, что в более отдаленном будущем плохих последствий будет больше, чем хороших, тогда у меня имеется больше оснований держаться мысли, что правильнее делать «А», а не «Б». Как говорил по этому поводу Кейнс, «незнание не может быть препятствием для каких бы то ни было суждений, касающихся вероятности». Скорее это способ нейтрализации неизвестного. Ссылаясь на принцип безразличия, или недостаточности основания, Кейнс смог показать, что вероятностей гораздо больше, чем это грезилось Муру в его философии.

Доклад 1904 г. ясно указывает на логическую теорию вероятности, в которой вероятность представляется Кейнсу свойством скорее суждений, чем событий, и, как у Мура в его концепции «добра», познаваема интуитивно. Интеллектуальным источником этой позиции был изложенный Расселом в 1903 г. в его *‘Принципах математики’* взгляд... согласно которому логика есть основа философии и основополагающие истины этики, математики и науки являются самоочевидными. С точки зрения био-

моей биографии Кейнса, я был связан обещанием не указывать источник названной мною даты. Мне ее сообщил г-н Г. Ллойд, в то время сотрудник и преподаватель классики в Королевском колледже. Он нашел ее в закрытых для исследователей протоколах заседаний Апостолов. Эта датировка впоследствии была оспорена Д.Э. Моггриджем в его книге *‘Кейнс: биография экономиста’*, pp.131–6, который, ссылаясь на свои личные сведения, высказывает мнение, что доклад был написан, вероятно, в 1906 г. В представленной в 1982 г. диссертации на соискание степени доктора философии *‘Кейнс: философия и экономическая теория’* Р.М. О’Доннел отнес эту дату «приблизительно к 1904 г., вероятно не позже апреля» (с.10); впоследствии он согласился с моей датировкой.

графии Кейнса это можно рассматривать как попытку обосновать индивидуальные решения личными нравственными нормами в общих рамках концепции учета последствий.

Пока что нет оснований говорить, что в докладе 1938 г. Кейнс отошел от истины, повествуя о своих «ранних убеждениях». Пересмотр учения Мура был у него направлен на относительное расширение частного за счет общественного. Те аспекты этической системы Мура, где выпячивались долг и «обычные жизненные цели», были приглушены; те же, что поощряли сосредоточение сил на «страстном восхищении друг другом клики избранных», как уничижительно выражался Рассел, были поставлены в центр внимания.

Тем не менее составленная Кейнсом в 1905 г. схема «полного этического трактата» включала раздел практической этики, то есть области, где речь идет о «делании хорошего», а не о том, чтобы «быть хорошим». Его теория вероятности была применима и к общественному действию.

Поскольку Кейнсу предстояло более всего проявить себя в сферах искусства, наук и государственного управления, интересно посмотреть, как разные стороны общественной жизни виделись ему в юном возрасте.

Важным ключом здесь может служить шкала предпочтений, принятая Кейнсом для сравнительных оценок разных занятий, призваний, выборов карьеры. «Найдется ли среди нас хоть один брат, — спрашивал он в докладе *Апостолам* в 1909 г., — хоть один, который не предпочтет быть ученым скорее чем бизнесменом и художником скорее чем ученым?» Художников и ученых он выносит на вершину, потому что их занятия ассоциируются с самой высокой этической ценностью. Из этих двух Кейнс ставит ученого несколько ниже художника «не потому, что его деятельность полезна, а не только ценна, но прежде всего потому, что... его качество [вероятно] ниже; и во-вторых, потому что большую часть своего времени он бу-

дет отдавать тому, что вообще не имеет какой бы то ни было ценности». Критерий ранжирования у Кейнса простой. Он проводит различия между занятиями, связанными ценными состояниями души, и теми, что просто полезны, да к тому же весьма вероятно могут привести к плохим состояниям души. Бизнес полезен, но связан с плохим состоянием души — любовью к выгоде. К ранним годам жизни Кейнса относятся много свидетельств, что политику он ставил на одну доску с тем, что он называл «бизнес и бридж», или даже отводил ей еще более низкое место. И сам он, несомненно, встраивал самого себя в эту иерархию как ученого, наделенного некоторыми способностями художника.

В ряду разделов '*Miscellanea Ethica*' предполагался трактат о «теории и методе государства». Сам Кейнс никогда его не публиковал, но в его бумагах есть неопубликованное эссе в сотню страниц, посвященное политическим доктринам Эдмунда Бёрка. В ноябре 1904 г. оно было представлено на конкурс сотрудников университета, где это английское эссе естественным образом выиграло приз²⁹. Интерес Кейнса к Бёрку возник еще в Итоне. То, однако, был слишком необычный предмет, чтобы писать о нем либеральному нонконформисту, ибо Бёрк был одним из отцов-основателей современного консерватизма. (О Джоне Стюарте Милле Кейнс никогда не имел сходных по объему знаний и сопоставимых оценок). Интересно поэтому познакомиться с одним из суждений, которое способен был вынести последователь Мура по поводу ценности общественной жизни.

В этической схеме Мура политика — это в лучшем случае средство для достижения добра. Но средство косвенное. Кейнс представлял Бёрка как первого политического философа-утилитариста — первого, кто последовательно принял принцип «наибольшего удовлетворения». Но он подчеркивает, что Бёрк рассматривал этот принцип как политический и что в этом он с Бёрком согласен. Физический покой, материальный комфорт и интеллекту-

альная свобода рассматривались как средства, способные совместно обеспечивать удовольствие и этическое достоинство, так что правительство, «которое ставит на первое место счастье управляемых, будет служить благой цели, какова бы ни была вдохновляющая его этическая теория». Равенство в смысле отсутствия в законе или политике «искусственной дискриминации индивидуумов или классов» рассматривается здесь Кейнсом как вклад в обеспечение удовлетворенности, а не самостоятельный политический или этический принцип.

Кейнс полагал, что одним из важных следствий политического утилитаризма Бёрка была его позиция в защиту «целесообразность против абстрактного права», наиболее четко проявившаяся в его выступлении против принудительного удерживания американских колоний. Кейнс с одобрением его цитирует: «для меня вопрос не в том, имеете ли вы право делать свой народ несчастным, а в том, что не в ваших интересах делать его счастливым». Эта позиция, по мнению Кейнса, ставила Бёрка в ряды «очень великих».

Другим следствием [у Бёрка] была «чрезвычайная робость в представлении существующего зла ради будущих выгод»:

Бёрк всегда считал, и правильно считал, что в редких случаях бывает правильно жертвовать существующей выгодой ради сомнительного преимущества в будущем.... Нет мудрости в том, чтобы заглядывать слишком далеко вперед; наши возможности предвидеть невелики, наши возможности определять результаты ничтожно малы. Поэтому именно счастье наших современников является нашей главной заботой; мы должны быть очень осторожны, принося в жертву множество людей ради некой неопределенной цели... Мы никогда не можем знать достаточно, чтобы стоило браться за дело... Есть и еще одно соображение, которое необходимо подчеркнуть: недостаточно, чтобы состояние дел, которого мы добиваемся, было лучше предшествовавшего; оно должно быть настолько лучше, чтобы это компенсировало бедствия переходного периода³⁰.

Кейнс поддерживает это принципиальное отрицание революции. Он также настоятельно поддержал «робость» Бёрка в связи с вступлением в войну: «с большим благоразумием, оглядкой и расчетом следует подходить к этому делу», — цитирует он Бёрка. Кейнс держался разумного представления, что лучше отстаивать консерватизм в общественной, чем в частной жизни, так как случись неудача, число пострадавших в первом случае будет намного больше, чем во втором.

С другой стороны, он полагал, что враждебное отношение Бёрка к рациональным схемам общественных преобразований заводило принцип благоразумия слишком далеко. Его недоверие к рациональности проистекало, по мнению Кейнса, из двух источников: ему казалось, что массы будут больше удовлетворены, а государство, как и моральные устои, будут прочнее, если не покушаться на традиции и обычаи, и он «подозревал, что текущие объяснения правильных действий были в многих случаях необоснованными...» Что касается туманно преподнесенного второго довода в пользу консерватизма Бёрка, то он, кажется, имеет в виду, что Бёрк не столь настороженно относился бы к преобразованиям, не следуй он, подобно Муру, неправильной теории вероятности.

Кейнс ударился в некоторые длинноты, доказывая совместимость рациональности с демократией, потому что-де пока что возможности демократии были чрезвычайно ограничены, и через какое-то время ее осуществление могло бы поднять уровень рациональности в сознании и поведении граждан. Однако он не стал особо разбираться с вошедшими уже тогда в моду «маленькими взводами» Бёрка. Он был вигом, а не приверженцем общинной жизни.

Если недоверие Бёрка к разуму оттолкнуло Кейнса от политического консерватизма, то доводы Бёрка относительно прав собственности отвратили его от социализма. Бёрк отстаивал права собственности по двум основаниям. Перераспределение богатства не дало бы ничего ре-

ально нового бедным, поскольку численностью они далеко превосходят богатых. Кроме того, это «намного сократило бы число тех, кто мог бы *наслаждаться* бесспорными благами богатства и кто способен давать государству преимущества, которые всегда обеспечиваются наличием богатых граждан» (курсив мой — Р. С.). Кейнс чувствовал, что этот двойной аргумент «несомненно имеет очень большой вес: в сообществах некоторых типов он подавляет все, и должен всегда приниматься во внимание как одно из сильнейших возражений против любой схемы, направленной к установлению равенства как своей конечной цели». Однако Бёрк доводил свою защиту существующих прав собственности до крайности. Он был так озабочен «перегибами» системы, что не хотел замечать опасностей, которые они создают для самой «основной системы». Выдвигавшийся Бёрком принцип целесообразности мог быть использован против его собственных настояний на священности контракта.

Кейнс предложил неоднозначную итоговую оценку политического наследства Бёрка:

Все его блага присутствуют в настоящем — мир и покой, дружба и привязанности, семейная жизнь и маленькие акты милосердия, посредством которых один индивидуум может иногда помогать своим собратьям. Он не думает о гонке, через кровь и стрельбу пробивающей свой путь к некому большому и великолепному благу в отдаленном будущем; для него не существует никакого великого политического тысячелетия, жизни и продвижению которого надо содействовать сегодняшними усилиями и сегодняшними жертвами... Едва ли это правильный настрой ума. Но большие политические идеалы, вдохновлявшие людей в прошлом — пусть они были безумием или заблуждением — обеспечили более мощную побудительную силу, какое бы то ни было из предложений, имеющих в запасе у Бёрка... При всей его страстности, при всем красноречии перед нами ученый резонер и философ, предлагающий нам тщательно выверенные и прикрытые оговорками предписания, но не лидер, способный вести за собой людей. Государственные дея-

тели должны поднабраться мудрости в школе Бёрка; если же они пожелают приложить ее к достижению какой-нибудь большой и трудной цели, основных качеств лидерства им следует поднабраться где-нибудь в другом месте³¹.

Можно понять, почему Кейнс, особый тип последователя Мура, находил писания Бёрка привлекательными: он предлагал и обосновывал принципиальное возражение против чрезмерных требований общественной жизни. Кейнс не мог, конечно, предвидеть, что предписания Бёрка будут охаиваться на протяжении большей части двадцатого столетия и что это определит течение его собственной жизни. Но хорошо заметные следы Бёрка можно обнаружить в его собственном подходе к государственной деятельности.

VII

Кембридж и Лондон

1. Крушение

Пребыванию Мейнарда в Королевском колледже пошел четвертый год. 16 июля 1905 г. Невилл записал в дневнике: «Мы еще не решили, следует Мейнард сдавать *трайпос* второй ступени по гуманитарным наукам или по экономической теории». Мейнард начал еженедельные занятия под надзором Альфреда Маршалла. Но он ни в коем случае не принимал решения стать экономистом. Его основной интеллектуальной заботой все еще была этика. С уходом Стрэчи («зловредные преподаватели Тринити не сумели протащить меня в ученое сообщество», — сказал он Дункану Гранту) Кейнс стал также секретарем *Апостолов*. Сократившись и сохранив в своем составе лишь одного студента Хобхауза, *Общество* остро нуждалось в свежей крови. Мейнард сделал своей целью поставить дело на прежнюю ногу. Большая часть его аспирантского года ушла именно на это.

Октябрь начался с визита Суизинбэнка и первого смотра «эмбрионов». «Никогда еще триместр не открывался, имея столь радужную перспективу», — ликовал Мейнард в письме Литтону. Радужная перспектива виделась в трех новичках — Генри Нортоне и Генри Гудхарте, поступивших в Тринити из Итона, и младшем брате Литтона — Джеймсе, который пришел в Тринити из Сент-Пола. Мейнард представлялось, что Нортон, математик, обладал «очень хоро-

шим логическим складом ума», несмотря даже на то, что его личность «была оплетена паутиной таких эстетических и литературных вкусов, для усмирения которых никаких средств я — пока что — не нашел». Внешность его была «обычной для ученика закрытой школы». У Гудхарта вид был «очень *апостольский* — как и его ум». Джеймс Стрэчи никогда не бывал в своих комнатах. С Суизином в его последний вечер состоялся замечательный разговор, сообщил Мейнард Литтону. «Мы добрались, насколько это возможно, до чистой дружбы, без всякой страсти» Из кэба, увозившего его на станцию, Суизин высунулся и улыбнулся. «Здесь я покидаю небеса»¹, — сказал он.

Обнаруженная вскоре Мейнардом беда состояла в том, что Кембридж мог быть чем угодно, только не небесами. Игра кончилась. Он чувствовал, что оказался в мире пережитков. Фэй и Фёрнес были достаточно приятными товарищами, но ни тот ни другой не был настроен на волну заповедей Мура. Шеппард, теоретически следовавший Муру, не имел того, что Г.О. Мередит называл «серьезным основанием». Он усложнял жизнь Мейнарда тем, что никогда не считал нужным беспокоиться о подготовке доклада, который, согласно очереди, должен был представить *Обществу*. Хуже всего обстояло дело с Хобхаузом. Упорно добиваясь своих посредственных оценок по естествознанию, «Хобби» представлял собой невыносимое напоминание о несбывшихся надеждах. Даже его манера есть масло заставляла Мейнарда содрогаться от ужаса, «и все потому, что одно время я был влюблен в него беззаветно, а сейчас такого, каков он есть, ненавижу. Он никогда ничего не *добавляет* к жизни... Он живет по правилам и старательно заставляет себя их отыскивать, даже когда они не существуют»².

Открывшиеся было перед *Обществом* перспективы скоро исчезли. Нортон за счет своих умственных данных сохранил статус «эмбриона». Гудхарт быстро стал скатываться ниже требуемого уровня: «Он — крепкий церковник... В нем также проявляется вызывающая большую тревогу склонность к невероятно скупной многоречивос-

ти»^{3*}. Джеймс Стрэчи был личностью многообещающей, но выглядел невероятно молодым, и, подобно своему брату, был склонен к затяжному молчанию. В Оксфорде были по крайней мере Суизинбэнк и Дэниел Макмиллан; последний пленил Литтона, наведавшегося туда в начале ноября. «Что касается *Общества* в целом, — сообщал Литтон Мейнард, — я был как обычно поражен всеобщей необычайно нежной любезностью и высоким уровнем интеллекта. А тебе не приходит мысль, что *Общество*, вероятно, разрушило Кембридж? Если не считать *Общества*, где еще в Кембридже можно найти вдохновляющий стимул, несущий в себе хотя бы умеренную дозу смысла, культуры и необузданного порыва? Для пас существует только все или ничего, а Оксфорд — это торжество деления пополам»⁴.

В таком духе эти двое друзей часто возвращались к разговорам об учении Мура. Его идеал общения «нос к носу», похоже, уводил их из жизни, существовавшей за пределами *Общества*. Требовался, мол, некий «новый метод, нечто создающее непринужденность, которая позволит идти по одной линии, когда тянут в десять разных сторон, и действовать на полную катушку, когда навязываются полумеры», отвечал Мейнард на письмо Стрэчи⁵. Греческий стиль многозначительных намеков, так хорошо принимавшийся между *братьями*, посторонних мог наводить на подозрения о наличии у них недобрых чувств, которые Мейнард, по крайней мере, были чужды. Обманувшись в надеждах на своего брата Джеффри и Руперта Брука, прибывших в декабре на успешно выдержанные ими конкурсные испытания (в Пембрук и Королевский колледж соответственно), он настроился на «очень мизантропический лад... распушенность и прикрывающая ее пустота; и моя чрезвычайная беспомощность и неспособность произвести желаемое впечатление». Хобхауз, Нортона, Шеппард, Фёрнес и он в течение пяти часов крути-

* Генри Гудхарт-Ренделу предстояло стать поддерживаемым фондом Слейда профессором изящных искусств в Оксфорде.

лись вокруг игравших в регби школьников. «Мне показалось,— продолжал Мейнард в письме Литтону, —

что мы пытались затащить Руперта и моего бедного брата в наш собственной мусорный мешок; и сама судьба полностью разрушала наши старания, как только мы принимались за это дело. Я хочу выступить против наших методов — ибо не думаю, что все мы внутренне испорчены. Дело в том, что мы — как целое — неподходящая компания для молодежи.

Угасание эмоциональной жизни Мейнарда не мешало ему рваться с ответами на интеллектуальные вызовы. Он набрел на экономическую теорию, вызвав довольное возбуждение у Маршалла. Сохранились четыре папки его заметок и эссе — «Чистая экономическая мысль», «Капитал», «Налогообложение» и «Тресты и железные дороги». Для пополнения теоретических знаний он изучил два напечатанных в частном порядке доклада Маршалла — «Чистая теория внешней торговли» и «Чистая теория внутренних ценностей», а также работы Джевонса, Курно и Эджуорта. Маршалл увлекся работой Мейнарда, красными чернилами, размашистым почерком он накарябал свои замечания по всем страницам его эссе. Сочинение о «Капитале» пришлось ему не по вкусу (чересчур много внимания терминологии, спору о словах), зато признал «блестящим» рассуждение Кейнса о сравнительных железнодорожных системах. Мейнард, со своей стороны, 15 ноября написал Литтону Стрэчи:

Я нахожу, что экономические занятия приносят мне все больше и больше удовлетворения, и я думаю, что весьма в этом продвигаюсь. Хочу управлять железной дорогой или организовать трест или по крайней мере дурачить вкладчиков капитала. Так легко и приятно овладевать принципом этой деятельности.

И еще 23 ноября:

Маршалл непрерывно пристает ко мне, чтобы я стал профессиональным экономистом и пишет лестные замеча-

ния на моих сочинениях, излагая свои доводы. Как считаешь, есть что-нибудь в этом? Я полон сомнений.

При желании я, вероятно, мог бы получить здесь работу. Но оставаться здесь дальше, я уверен, будет смерти подобно. Единственный вопрос — не будет ли подобно смерти и какое-нибудь правительственное учреждение в Лондоне?

Стрэчи ответил 27 ноября: «О нет, было бы, конечно, безумием оказаться экономистом в Кембридже. Приезжай в Лондон, иди в Казначейство, селись в доме по соседству со мной. Ну и вечеринки будем закатывать...» Мейнарда весьма прельщала перспектива безостановочной болтовни с Стрэчи в Лондоне. Кроме того, у него, вероятно, появилось желание покинуть Харви-роуд. Поездка в Лондон 14–18 декабря, когда он остановился у Литтона в доме 69 у Ланкастерских ворот, решило дело. По возвращении он сказал родителям, что откажется от сдачи *трайнос* по экономической теории и бросит все силы на конкурсные экзамены для поступления на государственную службу. Маршалл сожалел о его решении. Еще в мае 1906 г. он продолжал уговаривать Мейнарда не отказываться от *трайнос*, «просто за несколько дней до экзаменов надо перечитать тексты, и вы, вероятно, получите первое место»⁶. Но Мейнард был непреклонен. Он так никогда и не получил степени по экономической теории.

По возвращении из Лондона он ненадолго заинтересовался политической деятельностью в связи с всеобщими выборами, которые Кэмпбелл-Бэннерман, глава правительства либерального меньшинства, назначил на январь 1906 г. через несколько недель после того, как консервативный премьер-министр Бальфур оставил безнадёжные попытки управлять страной, имея за собой партию, совершенно расколотую в своем отношении к протекционизму. Налогообложение было единственным вопросом из тех, что могли удерживать Мейнарда в гуще политической кампании, и он провел несколько дней в поддерживающей команде Эдвина Монтэгю в Кембриджшире и Фредди Геста в Стаффордшире. Если оше-

ломляющая победа либералов 12 января не сумела вызвать у него большого энтузиазма, то по крайней мере она подтолкнула его к тому, чтобы направить деятельность *Общества* в более политизированное русло. Он написал Стрэчи 20 января:

Сегодня утром я попробовал по-новому устроить свой завтрак — с Килингом* и Фэем. И думаю, получилось неплохо. Мы начали с рабочего движения, закончили этикой. Они, похоже, знают о производственном сотрудничестве столько же, сколько мы о непроизводительном совокуплении, и беседа у нас шла великолепно.

План сделать *Общество* более политичным, который включал в себя избрание Фэя, вскоре был мягко отодвинут в сторону. Как только режим свободы торговли был надежно закреплен, непричастность Мейнарда к политике стала настолько полной, насколько это вообще было возможно для человека с его характером.

Его работа с *Обществом* приняла новую форму: были сделаны попытки возобновить дружбу с «Дилли» Ноксом. Нокс прибыл в Королевский колледж в 1903 г., но с Мейнардом они виделись нечасто, поскольку вращались в совершенно разных кругах. Теперь зашла речь о Ноксе как о возможном *Апостоле*. «Ему бы чуточку больше сообразительности, и он, несомненно, будет превосходен», — доверительно заявил Мейнард Литтону Стрэчи 28 ноября 1905 г. Но в том-то и была беда Нокса. Его блестящий ум пребывал во власти педантизма и банальностей; у него не было «серьезного основания». Тем не менее в течение нескольких месяцев Мейнард пытался «ворваться в цитадель Нокса, чтобы сорвать с него маску насмешника»⁷ — не только для пользы *Общества*, но и ради их старой дружбы. «Воспрянь, воссияй», — написал он ему в письме, которое так и не отправил⁸. Но скоро Нокс снова ис-

* Фредерик (Бент) Килинг поступил в Тринити-колледж предыдущей осенью. Он возобновил деятельность университетского Фабианского общества.

чез. Это оставило Кейнса с его двумя первоначально намеченными «эмбрионами» — одержимым математиком Генри Нортоном и молчаливым Джеймсом Стрэчи. Их «рождения» состоялись 17 февраля 1906 г.

В декабре 1905 г. Мейнард начал заниматься психологией, готовясь к экзаменам для поступления на государственную службу. В январе 1906 г. он переместился на более знакомую ему территорию. «Читал ли ты *‘Этику’* непревзойденного Аристотеля? — спрашивал он Стрэчи 23 января. — Никогда не говорилось таких разумных вещей — ни до, ни после».

7 февраля он написал:

Мой дорогой, в эти последние несколько дней я был глубоко погружен в греческую философию, общался с Фалесом и Пифагором, Зеноном и его возлюбленным Парменидом. Я был удивительным образом счастлив, читая часами подряд этих странно въедливых спорщиков; и меня не удивляет, что Аристотель ставит эту интеллектуальную деятельность на первое место. Тем не менее я с ним не согласен. Сначала любовь, второй должна идти философия, третьей поэтика и четвертой политика. Я готов бы с тобой поменяться — ибо он [Дункан Грант], кажется, тебя любит.

Если метафизика очаровала его, политическую науку и юриспруденцию, за которые он теперь взялся, повергали его в тоску. «Я почти не работаю и никогда не смогу пробиться в эту проклятую государственную службу», — заявил он Стрэчи.

В начале марта Мейнард провел длинный уикенд в Оксфорде. Он присутствовал на встрече Общества Джоветта, где открыл «тоскливое обсуждение» доклада о «Времени и Абсолюте» и поужинал в заведении «У всех душ», роскошь которого оценил как «невероятную». Но его заигрывание с Дэниелом Макмилланом ни к чему не привело. Когда Стрэчи выразил сожаление по поводу его неумения воспользоваться «полуобъятием», Мейнард ответил (11 марта): «Мой дорогой, я всегда страдал, и пола-

гаю, всегда буду страдать от неизменно и самым жестоким образом осаждающей меня мысли: физически я так отталкиваю людей, что не имею никакого права навязывать свое тело кому бы то ни было. Эта мысль так прочно закрепилась и так постоянна, что, видимо, ничто уже — и, конечно, никакой довод — не может когда-либо ее поколебать».

В понедельник 19 марта Мейнард покинул Англию и отправился в Италию. Он ненадолго задержался в Париже повидать Дункана Гранта, поехавшего туда изучать живопись, провел пару дней с Литтоном в Генуе, «где поедались омлеты и шли разговоры об этике и содомии»⁹, и затем присоединился к Мэри Беренсон во Флоренции. Представляла его Элис Рассел, сестра Мэри Беренсон. Мэри Беренсон была женщина сорока одного года — полная жизненных сил, экстравагантная, кокетливая. Она происходила из семейства филаделфийских квакеров и вела свой род от обосновавшегося некогда в Англии Логана Пирсела Смита. Мэри вышла замуж за юриста-фабианца Фрэнка Костеллоу, от которого у нее были две дочери Рэчел и Кэрин, а потом сбежала в Италию со знатоком живописи Бернардом Беренсоном, что вызвало шок и язвительные комментарии в благопристойных кругах. Одетый в меховое пальто, Мейнард пустился в недельное путешествие по Тоскане вместе с матерью, двумя ее дочерьми и оксфордским студентом Джефффри Скоттом. Литтону Стрэчи он написал 2 апреля:

Мэри — именно тот человек, с которым надо путешествовать на моторе — ввиду ее невероятной компетентности как хозяйки; все что требуется для удобства, было обеспечено. Она битком набита итальянскими словами и деньгами и знаниями лучших отелей и где подают лучшую еду. Мы, надо думать, обошлись ей в несколько бочонков золота, потому что все-все, вплоть до входных билетов в галереи, было оплачено.

Интерес, проявленный мною к еде, едва ли не выходил за рамки приличия... На моторе почти все время чувствуешь себя голодным, и мы ели целыми днями. За час-два до предполагаемой остановки мы начинали составлять меню. И едва добирались до гостиницы, как тут же принимались заказы-

вать намеченное. А она все время громко хохочет, разрешает смеяться над собой и никогда никого ничем не беспокоит.

Мэри Беренсон и ее дочери оставили Кейнса и Скотта в Сиене, где они решили поработать десяток дней в населенном одиннадцатью старыми девами пансионе на Виа-делле-белле-Арте. Мейнард стал по шесть часов в неделю заниматься историей, повторяя в каждом письме Литтону, что никогда не имел дела с предметом, «настолько легким и так быстро надоедающим».

Итальянская поездка завершилась неделей, проведенной с Беренсонами на их вилле *И Тамми* в Сеттиньяно как раз рядом с Флоренцией, где Мейнард упивался картинами старых мастеров («их шесть у меня в спальне и в кабинете», — докладывал он родителям) и позволил себе слегка влюбиться в Рэчел. «Но поскольку она не мужеского полу, у меня не возникало ни единой мысли о шагах в соответствующем направлении», — сообщал он Литтону.

Тем временем ужасные вещи происходили в Париже. Почта принесла от Литтона известие, что Хобхауз посетил там Дункана.

Дункан влюбился в него, а он в Дункана. «Великий боже! — писал Мейнард в ответном письме. — Большей дикости и большего безумия мир до сих пор не видывал. Ох! И ведь сотворили-то это мы. Это выплеснулось из наших членов — моего и твоего, и теперь будет растекаться по всему миру». Он тем не менее осторожничал, искал слова, чтобы смягчить положение: «ты знаешь, что я, как всегда, люблю тебя и Дункана, вместе, как единое целое, и мне трудно отделиться от мысли, что это всего-навсего преходящий эпизод».

18 апреля он покинул *И Тамми*, чтобы присоединиться к брату Джеффри в Германии. Встреча успеха не имела. Мейнард сообщил Литтону на следующий день из Фельдбергофа:

Вот мы с моим братцем — памятник физической выносливости на вершине высокой горы посреди снега. Я думал, что воспользуюсь этой возможностью лучше узнать его — и я

мечтал, как буду вытягивать из него признания обо всех его амурах или, на худой конец, рассказы о последних скандалах в школе Рагби.

Но какой удар! Вот ему девятнадцать, но какой же он необразованный. Что проку в этой Рагби?

Мейнард и Невилл основательно, как обычно, подготовились к предстоявшим экзаменам на государственную службу. На время экзаменов, которые должны были продолжаться со 2 по 24 августа, Невилл снял квартиру в доме 33 на Колерн-корт, куда Мейнард переехал вместе с Флоренс и Маргарет 1 августа. На следующий день он писал английское сочинение, выбрав темой своего эссе *‘Драма, мелодрама, и опера’* — тему, на которую как-то уже читал доклад Апостолам. Джеймсу Стрэчи он написал (2 августа) о тех, кто вместе с ним сдавал экзамены: «Они выглядят единой командой — некоторые по моим понятиям вполне презентабельны. Но боже правый! Я трепетал за судьбу нашей Индийской империи, когда смотрел на основную их массу». «Семейство отметило конец экзаменационным терзаниям в пятницу 24 августа выходом в театр (*Ройял корт*): смотрели пьесу Шоу *‘Поживем — увидим’*. Потом Мейнард помчался в Суррей провести уикенд со своим итонским другом Хэмфри Полом. «Макмилланы сняли там дом, — написал он Стрэчи 28 августа, — так что вчера я провел большую часть дня с Дэном. Его брат Гарольд, только что поступивший в колледж, вырастет подобием Дэна, но гораздо более изящным... Я играл с ним в гольф». В середине сентября он отправился в Шотландию на Северное нагорье, где провел десять дней с Джеймсом Стрэчи и Генри Нортоном в доме около Инвернесса. Здесь к ним присоединился Литтон для совместных «потрясающих экскурсий в горы». Мейнард сказал отцу, что начал заниматься теорией вероятности, «и весьма надеюсь, что мой метод довольно-таки нов...» Освободившись от экзаменов для поступления на государственную службу, он начал работать над диссертацией, которая должна была проложить ему путь в ученое сообщество универси-

тета, и стал строго следовать плану-графику, заранее составленному отцом пять лет назад.

Просмотрев вместе с отцом свои экзаменационные бумаги, Кейнс заключил, что войдет в первую десятку. Этого могло бы оказаться недостаточно, потому что он решил соглашаться только на Управление по делам Индии или Казначейство. Занял он, однако, второе место с 3498 баллами из 6000 возможных. Первым стал Отто Нимейер, ученый-классицист из Бейллиол-колледжа с 3917 баллами; он поступил в Казначейство, где стал проводить экономическую политику, на которую впоследствии нападал Кейнс.

4 октября Мейнард объявил Литтону Стрэчи: «Итак, я — клерк Управления по делам Индии — триумфально прошедший медосмотр с необычайно совершенными, как они сказали, показателями по дальтонизму, яйцам и зрению. Поступили мои оценки и привели меня в бешенство. Поистине знания выглядят как непреодолимое препятствие на пути к успеху. У меня оказались наихудшие результаты только по тем двум предметам, которые я знал основательно — по математике и экономической теории».

2. Управление по делам Индии

16 октября 1906 г. Мейнард начал свою карьеру на государственной службе в должности младшего клерка в Военном отделе Управления по делам Индии, с окладом 200 фунтов в год; его первым делом было обеспечить отгрузку в Бомбей десяти бычков эйрширской породы. Управление состояло из шести отделов, управляемых секретарями. Было шесть помощников секретарей, восемь старших клерков, десять младших клерков и семьдесят шесть клерков второго разряда. Главным занятием Управления была пересылка бумаг в Индию и из Индии — всего около ста тысяч единиц в течение года. То была работа, едва ли способная пробудить у Кейнса какой-либо интерес. Все сводилось к рутине — дань уходящему миру, где все про-

блемы тоже стали рутиной. Эта ископаемая машина приводила в действие британское владычество в Индии. Руководивший Управлением государственный секретарь Джон Морли сам принадлежал к разряду почти ископаемых; постоянный заместитель министра сэр Артур Годли смахивал на реформатора, но он не мог продвинуться вперед, сколько-нибудь значительно отклоняясь от традиции.

Управление по делам Индии Кейнс выбрал потому, что оно было одним из двух высших государственных внутриполитических учреждений, а не потому, что его как-либо занимала Индия. Конечно, его отношение к британскому господству было во всех отношениях обычным. Он верил, что колониальный порядок защищает бедняков против хищных ростовщиков, внедряет правосудие, несет с собой материальный прогресс и дает стране здоровую денежную систему: короче, обеспечивает хорошее управление в тех сферах жизни страны, которые самостоятельно развиваться не смогли бы. В отличие от Леонарда Вулфа, который наблюдал колониальное правление глазами скромного окружного чиновника на Цейлоне, и в отличие от путешествовавших по Азии Э.М.Форстера и Лоуса Дикинсона, Мейнард всегда видел британское владычество из стен Уайтхолла: он никогда не обращал внимания на человеческие и моральные измерения имперского правления и не задавался вопросом: не эксплуатируют ли британцы индийцев? Хотя ему приходилось писать пространные бумаги и подавать советы насчет индийских дел, дальше Египта он на Востоке никуда не добирался; единственными индийцами, которых он когда-либо видел, были те, что попадались ему в Кембридже или Лондоне; единственными книгами, которые он когда-либо читал по Индии, были специальные издания, посвященные финансам. То была традиция, установленная в девятнадцатом столетии Макколеем и Миллем: хорошее управление Индией требовало не знания местных условий, а приложения к месту здоровых утилитаристских принципов, вырабатываемых в Лондоне.

Одним преимуществом такого подхода к выработке и проведению в жизнь политики состояло в том, что чрезвычайно сокращалось время пребывания на службе. Жизнь на гражданской службе была, насколько возможно, приспособлена к привычкам попавших в административное учреждение выпускников Оксфорда и Кембриджа. Поздний утренний подъем обеспечивался установленным на 11.00 началом рабочего дня. Занятия заканчивались в 17.00 при часовом перерыве на обед. Ежегодно предоставлялись два месяца отпуска, плюс банковские выходные и, конечно, День Дерби. По субботам присутственные часы были с 11.00 до 13.00. «Я с огромным удовольствием обнаружил, что у нас рабочие часы короче, а отпуска длиннее, чем в любом другом учреждении», — сообщил Мейнард отцу 17 октября. Флоренс поначалу думала, что у него не будет времени для работы над диссертацией. Ей не стоило волноваться. Скорость, с какой Кейнс очищал папку входящих бумаг, всегда была выдающейся. И в служебные часы у него находилось очень много времени, чтобы писать свою диссертацию и вести личную переписку. По-видимому, кому-то пришло в голову, что таланты Кейнса в Управлении растрачиваются зря или, может быть, просто надо было заполнить вакансию в другом месте. После беседы с Годли, «проведенной с невероятной помпой»¹⁰, в начале марта 1907 г. он был переведен в отдел доходов, статистики и торговли. Отцу он сообщил, что это «совсем небольшая рутинная работа... относящаяся ко всем вопросам торговли, поземельных налогов, чумы, голода, торговли опиумом и т.д.». Помещенный в «отдельную очаровательную комнату с видом на парк»¹¹, он получил задание редактировать годовой отчет о нравственном и материальном прогрессе Индии. «Особенностью издания нынешнего года, — сплетничал он Литтону, — должно быть иллюстрированное приложение, посвященное содомии». 7 марта он ему написал: «Вчера я в первый раз присутствовал на заседании комиссии Совета. Это просто работа для выживших из ума: по крайней мере у половины присутствовавших

были очевидные признаки старческого распада, а другие хранили молчание».

По двухлетнему договору, с годовой арендной платой 90 фунтов, он снял себе служебную квартиру по адресу 125b, Сент-Джеймс-корт — в пяти минутах ходьбы до службы. Вскоре он стал сетовать на «эпидемию званых обедов — по пять-шесть дней в неделю». Со Стрэчи он виделся постоянно — за завтраком или за чаем. Они говорили о Дункане Гранте, и Мейнард выражал соболезнования в связи со смертью Тоби Стивена, скончавшегося от тифа 20 ноября 1906 г. В то время Мейнард еще не был непременной частью Старого Блумсбери. Он едва знал Клайва Белла и Тоби Стивена в Кембридже; с Ванессой и Клайвом Беллами он иногда обедал в Лондоне, но домашних собраний в Блумсбери не посещал. В Лондоне, однако, помимо Литтона, было много *Апостолов*, тесно друживших с Зангерами. Сложилось итонское звено в составе двух Янгов, Джеффри и Хилтона, Робина Мэйора и Ральфа Готри. И была Мэри Беренсон, имевшая квартиру на набережной Виктории, где она принимала Мейнарда и Джеффри Скотта, который иной раз оставался ночевать у Мейнарда в Сент-Джеймс-корте. Культурная жизнь включала выходы в театры — на пьесу Шоу *‘Человек или сверхчеловек’* или оперу Вагнера *«Тристана и Изольда»*. К марту 1907 г. относится первый случай проявленного Мейнардом очевидного интереса к покупке картин. Стрэчи взял его в Лейтонхауз на выставку Саймона Басси, женатого на сестре Литтона Дороти. «Одну, мне кажется, следует купить — самую дешевую», — написал он Флоренс¹².

Каждый уикенд Мейнард покидал Лондон, в Кембридже останавливаясь обычно у родителей и посещая собрания *Общества*. Ничто, казалось, не менялось. Литтону Стрэчи 5 ноября 1906 г. Мейнард рассказывал:

Перси Зангер унес с собой наши сердца, почему мы не могли подумать поцеловать его, когда он нас покидал.

Берти [Рассел] там тоже был.

МакТ[аггарт] в воскресный час эссе прочитал доклад об этике Мура. По форме это было нападение, но в действительности окончательная капитуляция. Ибо в конце концов МакТ — человек искренний. А его физическая красота просто поражает.

Что касается меня и Дила — ну, не думаю, чтобы было много чего тебе рассказать.

В марте 1907 г. снова пришло отпускное время. Мейнард, Джеймс Стрэчи и Нортон отправились в Париж на длинный уикенд с Дунканом Грантом. По возвращении Мейнард присоединился к чтениям Мура, устроенным в Северном Молтоне в Девоншире. Это было его первое приглашение на один из тех известных сборов, которые считались высшей данью уважения Муру. Среди прочих были два Стрэчи, Нортон, Эйнсуорт, Боб Тревельян и Зангер¹³. Погода была «совершенно невообразимая». Стрэчи написал 1 апреля Дункану Гранту: «В последние две недели я не видел ни облачка». Эйнсуорт лежал рядом с ним «с парой синих очков на глазах, спасаясь от солнечных лучей, и... читал Платона». Тревельян, поэт, «быстро заснул и мечтал о своей опере о Бахусе и Ариадне, которую он только что написал и искал, кому бы заказать музыку, выставив тем временем напоказ самые большие шары, какие вы только способны вообразить». На расстоянии несколько футов под зонтиком сидел Мейнард и читал Голсуорси, а рядом с ним на траве Нортон занимался решением математических задач, тогда как Мур, «растянувшись в полный рост на коврике, в тени зонта, чиркал карандашом свои замечания на полях эссе Локка относительно человеческой способности понимания».

В июне Мейнард снова отправился странствовать, устремившись на сей раз к французским Пиренеям, где они с Фэем, читавшим теперь лекции в кембриджском Крайст-колледже, присоединились к Невиллу и Джефффри, чтобы провести отпуск в прогулках и восхождениях на горы. Мейнард никогда не имел особой склонности к любому из этих времяпрепровождений и воспользовался драгоценны-

ми часами свободы, чтобы у себя в спальне позаниматься теорией вероятности и почитать Джейн Остен у подножья скалы. «Я не прочь бы продолжать здесь эту жизнь месяцами, — написал он Литтону Стрэчи 5 июля. — Вместе с тем очень давно не было, чтобы меня так мало беспокоило вождение (полагаю, это результат длительной ходьбы)...»

Мейнард и Фэй оставили Невилла и Джеффри, дошли до Биаррица и провели три дня в крестьянской хижине в Испании, около Торлы, в «самой замечательной долине, какую я когда-либо видел»¹⁴. В Биаррице у Мейнарда получился отдых того вида, который доставлял ему наибольшее удовольствие: завтрак в постели, потом час другой на чтение романа, еще пара часов работы над проблемой вероятности, а затем, как он рассказывал матери, «еда и солнце и лень весь день». Вечером они ходили в казино, где, следуя своей особой системе игры, Мейнард скоро спустил все имевшиеся у него деньги, и дело кончилось его попытками вернуть хоть что-нибудь, играя уже в гостиничной спальне с Фэем в пикет.

Хотя не кто-нибудь, а сам государственный секретарь Джон Морли поздравил Кейнса с авторством «многообещающей записки», Мейнард начал тяготиться своей работой. Его раздражала необходимость проводить невыносимо жаркое лето в Лондоне. Сначала он говорил, что чересчур много работы. Потом стал говорить, что работы слишком мало, делать почти нечего. В поисках противоядия от депрессии он бросился в вихрь книжных закупок. И одним из его приобретений стало «красивейшее издание *in quarto* в совершенно великолепном, мастерски выполненном переплете 17 столетия» работы отца-иезуита Джона Кейнса¹⁵. Именно в это лето Мейнард решил оставить Управление по делам Индии, пожаловавшись 13 сентября Стрэчи, что «девять десятых времени меня заедает тоска, а еще одна десятая довольно бессмысленно уходит на раздражение, когда чего-то не удастся сделать по-своему».

Только в субботу 12 октября 1907 г. Мейнард снова прибыл в Кембридж проводить там трехнедельный от-

пуск. «Я редко бывал в Кембридже так долго, — написал он Стрэчи 16-го, — и так мало могу сообщить. Я тружусь над диссером, ежедневно играю в гольф с Фэем и Дилом (с его очками в золотой оправе) и это все». В кембриджском Союзе Бернард Шоу «всех нас обратил в социализм», Литтон Стрэчи прибыл для своего ежегодного смотра «эмбрионов», и после многих стараний, месяцы спустя после того, как Мейнард уже вернулся в Лондон, Руперт Брук был надлежащим образом «рожден» *Апостолом*.

Три недели жизни в Кембридже раззадорили Мейнарда еще больше. Его надежды на быстрое увольнение из Управления по делам Индии связывались с выигрышем конкурса в Королевском колледже. Он теперь почти полный рабочий день отдавался занятиям теорией вероятности. 6 декабря он написал Флоренс: «В среднем на службе я не перенапрягался, так что хорошо поработал над диссертацией». Ее он представил 12 декабря 1907 г. Экзаменаторами были У.Э. Джонсон и Альфред Норт Уайтхед.

3 февраля 1908 г. Невилл говорил с У.Э. Джонсоном о видах на успех Мейнарда. «В целом его приговор кажется более благоприятным, чем отзыв Уайтхеда». Невилл ни в коем случае не разделял страстного желания Мейнарда уйти из Управления. Выигрыш конкурса сохранял силу только на шесть лет. Это не сулило никаких карьерных перспектив, но им можно было воспользоваться, сохраняя службу в Управлении. 1 марта 1908 г. у отца с сыном произошла первая и единственная известная ссора. «Мейнард хочет оставить Управление по делам Индии, если пройдет по конкурсу и станет членом ученого сообщества Королевского колледжа. Мой спор с ним ничего не дал. Я думаю, он бы уступил, скажи я определенно, что я согласен. Но не думаю, что я должен принимать такие решения в подобной ситуации. Он собирается отказаться от надежного положения и предпочитает рискованное, это соответствует схеме его жизни, но не моей».

На следующий день Мейнард сказал Пигу, одному из участников голосования, что, если его изберут, он вер-

нется в свое жилье. Голосование состоялось 17 марта. Было четыре кандидата на два места. Только после подачи пятнадцати голосов стало ясно, что Мейнард места не достанется. Двумя новыми членами ученого сообщества стали Пейдж и Доббс. «Мы полны разочарования и чувствуем себя подавленными», — записал в дневнике Невилл. — «Я примирился с отказом Мейнарда от Управления, поскольку он целиком, кажется, настроился на возвращение в Кембридж и к студенческой жизни». Мейнард был не столько разочарован, как разъярен. Он был особенно раздражен, когда было сказано, что одной из причин отклонения его кандидатуры было то, что он сохраняет за собой возможность снова попытаться счастье в следующем году. Он негодовал на некомпетентность Уайтхеда как экзаменатора, утверждая, что тот даже не сделал попытки понять, что, собственно, Мейнард говорил.

Диссертация Кейнса была по существу развитием идей его доклада *Апостолам* в январе 1904 г. Он намеревался создавать «новый вид логики», применимый к «сомнительным доводам и неопределенным заключениям»¹⁶, которые могут, тем не менее, быть разумными и объективными. Его аргументация обобщенно представлена в следующих отрывках из первой главы:

В обычном течении мысли и доводов мы постоянно утверждаем, что истинность одного заявления, хотя и не *доказывает* другого, является однако *некоторым основанием соглашаться с этим другим*. Мы утверждаем, что, располагая доказательством, мы должны держаться такого-то и такого-то мнения... Мы признаем, что *объективно* свидетельство может быть свидетельством *реальным* и все же не *доказательным*... я не думаю, что искажаю смысл слов, говоря об этом как о вероятностном отношении или как отношении вероятности.

Представление о том, что посылка, имеющая некоторый вес для заключительного вывода и располагающаяся где-то между убедительностью и чем-то к делу не относящимся, совершенно чужда логике, в которой посылка должна либо доказывать либо не доказывать предполагаемое заключение. Это мнение, по самой природе разбираемого случая, не подда-

ется положительному доказательству. Понятие, как я полагаю, предстает уму как нечто независимое и уникальное...

Все же эта «вероятность», в строгом смысле не поддающаяся определению, не должна нас особо тревожить; это свое свойство она разделяет со многими из наших необходимых и основополагающих идей...

Одной из самых поразительных черт диссертации была смелость притязаний Кейнса. В его аргументацию было неявно, но ощутимо заложено представление, что вероятность должна по праву рассматриваться как *общая теория* логики, так что дедуктивная логика оказывается на положении частного случая. Точно так же в 1936 г. ему придется доказывать, что он создает «общую теорию» занятости, «частным случаем» которой является теория классическая.

Неудача с избранием в ученое сообщество Королевского колледжа в 1908 г. была худшим ударом из всех, какие когда-либо доставались Мейнарду на академической ниве. Но и на сей раз это было всего лишь отсрочкой. Возможность возобновить жизнь ученого явилась раньше, чем он ожидал. Две недели спустя после провала на конкурсе Мейнард получил загадочное послание от Маршалла. Из собственного профессорского фонда Маршалл ежегодно выплачивал 100 фунтов стерлингов за чтение курса лекций по экономической теории. Получатель этого щедрого вознаграждения только что возглавил кафедру в университете Лидса, и Маршалл осторожно уведомил Кейнса, что указанная сумма могла бы быть предложена ему. Осторожный тон был вполне объясним. Маршалл собирался выходить в отставку. Он не мог связывать своего преемника какими-либо обязательствами. Но был уверен, что если заменой ему станет предпочитаемый им самим кандидат, Пигу, предложение возымело бы силу. На деле же именно Пигу предложил Маршаллу обратиться к Мейнард.

30 мая первое условие возвращения Мейнарда в Кембридж было выполнено, когда после Маршалла Пигу был избран главой кафедры, оттеснив Эшли, Кеннана и Фоксвелла. Возглавляемый Невиллом совет по экономи-

ке и политике 3 июня утвердил два лекционных курса по экономической теории; один был предложен Мейнард, другой Уолтеру Лейтону, свежему выпускнику Тринити-колледжа. Была достигнута договоренность, что Пигу будет выделять каждому из них по 100 фунтов в год. Невилл тут же предложил Мейнард еще 100 фунтов на срок, в течение которого эти деньги будут ему нужны. В день своего двадцатипятилетия, 5 июня 1908 г., он подал заявление об уходе из Управления. «Не подумайте, пожалуйста, — тактично писал он сэру Томасу Голдернессу, — что мне не нравилась моя работа в департаменте доходов... Но представился выбор между двумя совершенно противоположными образами жизни, и в целом, я думаю, по крайней мере сейчас, что избранный мной путь лучше».

Его начальники на государственной службе, очень сожалея о его уходе, ничуть не сомневались, что он сделал правильный выбор. «Лично я буду в числе последних, кто станет оспаривать это решение», — написал Годли. Для Голдернесса письмо Мейнарда оказалось ударом, но «я никогда не мог полностью убедить себя, что в этой стране правительственное учреждение — это лучшее, что может быть для молодого человека, полного энергии и достойных амбиций. Это удобное средство зарабатывать на жизнь и верный, хотя и медленный путь к умеренной компетентности и обеспеченной старости. Но он редко сулит возбуждение или требует напряжения сил и не может обладать привлекательностью для человека, в чью природу заложены бойцовские качества и стремление к самоутверждению»¹⁷. В 1914 г. Эдвин Монтегю, тогдашний заместитель государственного секретаря по делам Индии, писал Голдернессу «Я часто поражался убийственно скучной жизни младших чиновников нашего Управления. Если бы... Кейнсу была дана свобода выражения и предоставлены возможности действовать, разве было бы нам суждено когда-нибудь его потерять?»¹⁸ Вероятный ответ — да.

Как ни коротко было пребывание Мейнарда в Управлении по делам Индии, оно имело важные последствия для

его карьеры. Легкомысленный и недовольный тон его писем к Стрэчи лишь частично отражал его настроение, хотя, несомненно, передавал главное. Оставалось без упоминания, как успешно он справлялся со своей работой, как хорошо ладил с начальством. Его тайной силой были по-настоящему выдающиеся способности плюс то, что Десмонд Маккарти, называл умением «вести разговор с расчетом произвести впечатление на сорокалетних». Он, конечно же, интересовался статистическими аспектами своей работы в департаменте; и от Лайонела Абрахамса, главы финансового отдела, много узнавал об организации денежного обращения в Индии. Годли в письме от 30 марта 1909 г. выражал надежду, что Мейнард «продолжит следить за индийскими делами»; Фрэнсис Дрейк, помощник секретаря департамента доходов и статистики не сомневался, что «мы найдем, чем беспокоить вас время от времени». Эти заявления оказались преуменьшениями. Его экспертные оценки положения в Индии, подкрепленные его знаниями и преподаванием экономической теории, а также контакты с государственными служащими вполне логично привели его к работам, посвященным денежной системе Индии, и к членству в Королевской комиссии по денежному обращению и финансам Индии. Все это, в свою очередь, принесло ему известность в Уайтхолле и позволило завязать новые важные политические связи. Кейнса призывали на помощь стране во время кризиса в 1914 г. и Казначейству в 1915 г. — и не просто как экономиста, знакомого с проблемами денежной политики, но и как человека, способного приложить теорию к практике управления. Остин Робинсон прав, говоря, что в Управлении по делам Индии Кейнс научился «смотреть на проблемы экономики глазами управленца».

21 июля 1908 г. Мейнард возвратился на Харви-роуд и на другой день перебрался в Королевский колледж. Он был более счастлив, чем о том знали его родители. Ибо он не только вернул себе Кембридж — он завоевал Дункана Гранта.

VIII

Литтон, Дункан, Мейнард

В 1908 г. Дункану Джеймсу Корроуру Гранту было двадцать три, на восемнадцать месяцев меньше, чем Мейнарду. Родившийся 21 января 1885 г. в Шотландии в Дан-Инвернесе, в фамильном доме Грантов Ротимурских, он провел свои ранние годы в Индии, где служил его отец, майор Бэттл Грант. Оттуда его послали в Хилброу, в подготовительную школу Рагби, а в 1899 г. — в Сент-Пол, который он посещал как приходящий студент, проживая со своими кузенами Стрэчи в доме 69 у Ланкастерских ворот или у родителей в Хампстеде, когда они бывали в Англии. В семнадцать лет он завершил свой «весьма краткий курс школьного образования в Сент-Поле» стал студентом Вестминстерской школы искусств. Дункан унаследовал красоту своей матери, Этель Макнил, и музыкальные пристрастия отца. Родители любили единственного сына, но никогда толком не знали, что с ним делать. Дункану иной раз казалось, что в семье его считали слабоумным.

Мейнард познакомился с ним через Литтона Стрэчи. Фактически в течение нескольких лет он знал о нем больше, чем тот о Мейнарде, поскольку Литтон постоянно изливал Мейнарду чувства, которые питал к своему кузену. В свою очередь, Литтон был утешителем Мейнарда при его разладах с Хобхаузом. Чувствуя себя отвергну-

тыми, они доверяли друг другу свои переживания — в письмах, которые отправлялись чуть ли не каждый день на протяжении почти года: у Стрэчи они полны романтики и насмешек над своей страстью; у Кейнса сплошь короткие абзацы, пересказывающие с любви на кембриджские сплетни и рабочие дела.

Роман, завязавшийся между кузенами, почти сразу стал источником переживаний. «В его привязанности отчетливо проявляется нечто вроде любви, если даже не страсти», — жаловался Литтон Мейнард 13 октября 1905 г.; Мейнард в ответном месте настоятельно просил его не думать, будто впереди его ждут сплошные неприятности. Скоро Литтон стал слезливо жаловаться на холодность Дункана — на «каменную, непробиваемую скалу, которую никакая сила под небесами не способна сдвинуть с места». Мейнард ответил, что Дункан, вероятно, переутомлен своими занятиями живописью в Национальной галерее. Кейнс, как можно заметить, не очень-то был доволен положением душеприказчика. Литтон был одновременно и рационалистом, и романтиком. Он жаждал доказательств, что его опасения безосновательны, но притом хотел наслаждаться печалью неразделенной любви — стремления едва ли совместимые. Кейнс делал, что мог. Позднее Литтон говорил, что здравого смысла Мейнарда хватит, чтобы заморозить вулкан. Он назвал его «Апостолом без слез». Возможно в неуклюжих откликах Мейнарда на его агонии следует искать семена распада их близости. Однако пожары Литтона отчасти были сугубо эпистолярными; истину он приносил в жертву стилю. И Мейнард это было известно достаточно хорошо.

В феврале 1906 г., когда по случаю его двадцать первого дня рождения тетя Элеонор, леди Колвилл, дала ему 100 фунтов стерлингов, Дункан Грант получил возможность изучать живопись в Париже. Он записался в художественную школу *Ла-Паллетт* Жака-Эмиля Бланша и поселился в отеле *де л'Юнивер и дю Португаль* близ Палэ-Ройаль. Скоро завязался его роман с Хобхаузом,

продолжавшийся с перерывами до конца года: в августе они вместе провели отпуск в Ротимуркусе. На сей раз Дункан был полностью захвачен своими чувствами. «Мой любимый, — писал он Хобхаузу 10 июля, — если бы я только мог быть уверен, что ты действительно любишь меня, я был бы совершенно счастлив.... О, мой дражайший ангел, сообщи, пожалуйста, что у нас это по-другому, чем было с Кейнсом». Забыв о своем прошлом соперничестве, Литтон и Мейнард объединились в сожалениях о поведении Хобхауза. «Из всех проституток духовно одаренные — наихудшие», — высокомерно заявлял Стрэчи. Жизнь в постоянном напряжении сказывалась на здоровье Литтона — «боли в груди, боли в мошонке и мечты, полные вожделений, невыносимо частые... Что угодно отдам, лишь бы повидать тебя, Мейнард». К декабрю все кончилось. «Артур сказал, что у него не было ко мне никаких чувств вообще», — сообщил Дункан Джеймсу Стрэчи 18 декабря.

В октябре 1906 г. Дункан возвратился в Париж, который до лета 1907 г. оставался местом жительства этого странного человека без родины в мировой столице художников. Мейнард навестил его там в марте 1907 г. в компании Нортон и Джеймса Стрэчи. «Видеть здесь Кейнса и Нортон было очаровательно, — сообщал Дункан Литтону. — Кажется, Кейнс понравился мне гораздо больше, чем прежде...» После эпизода с Хобхаузом роман Литтона с его кузеном возродился в виде нерегулярных встреч. Похоже, он никогда не видел в Мейнард возможного соперника в этом любовном клубке. В сравнении с его собственным даром *grand amour* слабые сердечные всполохи Кейнса не создавали, вроде бы, никакой возможной угрозы. Ему бы следовало насторожиться при виде этих глаз, которые, как он заметил, «горели двусмысленным огнем». Еще больше его должно было беспокоить то, что он знал о характере Дункана. От Мейнарда, менее страстной личности, притязаний на Дункана исходило бы меньше, чем от Литтона — притязаний, справляться с которыми Дункану

было не под силу. Из представлений Литтона о Мейнарде выпадала его способность лелеять тех, кого он любил, — нечто очень существенное для Дункана, который был слишком горд и невинен, чтобы самому защищать себя от мира.

Среднего роста, смуглый, наделенный привлекательной внешностью, Дункан обладал глазами «необычного серого цвета, влажными, очень светлыми, с сильно развитой сетчаткой и длинными ресницами», а также «неповторимо сладострастными губами»¹, как отзывался о них Стрэчи. Он был человеком оригинального, но совершенно не тренированного ума. Мейнард пришел бы в восторг, узнай он, что тот никогда не мог совладать с таблицей умножения. Он любил музыку и танцы. Очень наблюдательный, «он остро замечал и глубоко переживал все, что попадалось ему на глаза; а видел он в основном то, к чему большинство других людей оставалось слепо». Само его равнодушное безразличие, заставлявшее обычных людей принимать его за слабоумного, — его одежда, например, выглядела, и часто была в действительности, чужими обносками, — для Мейнарда было частью его обаяния. Но он твердо знал, что ему в жизни надо. Короче, Дункан был человеком того типа, которому Мейнард всегда был предрасположен поклоняться: художник, внутренне цельная и чистая натура, но нуждающийся во внешней защите.

В начале июня 1908 г. Литтон отправился на месяц в Кембридж, оставив Дункана и Мейнарда в Лондоне. Их роман начался, едва Литтон уехал. В воскресенье 28 июня Флоренс написала Невиллу в Швейцарию: «Джон привел с собой Дункана Гранта. Сегодня утром мы все сидели в саду и читали, а после обеда они вдвоем отправились на велосипедах в Клэйхайд на чай». Эта поездка в Кембридж, судя по всему, состоялась без ведома Литтона. Из Хампстеда Дункан 29 июня написал Мейнард: «Я знаю, что мне нет нужды говорить тебе, какое удовольствие доставила мне поездка в Кембридж... поистине, думаю, я никогда

не был так совершенно счастлив, по крайней мере в после-школьные годы». Они продолжали часто встречаться в Лондоне. 14 июля Литтон позвал их на обед и встревожился, уловив фразу, которую Кейнс прошептал Дункану и которую он, согласно его письму брату Джеймсу, расслышал так: «связь между Дунканом и нашим дорогим *Ditraquy*»². На другой день они встретились с Кейнсом, и все вышло наружу. Кейнс немедленно написал своему новому возлюбленному:

Дорогой Дункан, у меня был Литтон. Его первые слова: «Слышал, что вы с Дунканом уже вместе». Я чувствую себя совершенно ошеломленным этой беседой, но полагаю, что на самом деле это не так уж и страшно. Он держится циничной линии — ведет себя так, будто с интересом исследует людскую жизнь. Но, сказал он, это ставит его на очередь... О, дорогой, не знаю, что и думать о нашем разговоре, но чувствую себя весьма расстроенным. Как бы я хотел, чтобы в мире не было никого, кроме тебя».

Два дня спустя ярость Литтона выплеснулась в письме брату Джеймсу:

Что меня потрясло в разговоре с «ним», так это то, что он объявил о случившемся с невообразимым спокойствием, без тени каких-либо чувств. Даже мне это давало возможность вести себя так же. Думаю, если бы я перевел беседу с обсуждаемого предмета на теорию вероятности, он бы ни за что не заметил. К сожалению, я был слишком честен и находился в припадке, который по крайней мере подтолкнул к очень смутному осознанию, что для него довольно необычно и важно оказаться «влюбленным».

Из всех пережитых Стрэчи любовных кризисов, пишет его биограф, этот был «самым ужасным»³. Тем не менее примирение кое-как устроилось. Первый шаг сделал Мейnard, написавший Литтону 20 июля:

Я очень хочу написать и не знаю, что сказать. Миновало ли твое замешательство? Разобрался ли ты, что о нас

думаешь и чувствуешь? Пожалуйста, не сердись и, если сможешь, не проникайся ко мне ненавистью. Здесь это моя последняя минута, но вероятно пробуду в Лондоне до среды.

«Письмо, мне кажется, проникнуто нежным чувством», — написал Литтон своему брату 21 июля. Мейнард он ответил: «Знаю одно: мы были друзьями слишком долго, чтобы теперь эту дружбу прервать». Вернувшись 22-го на Харви-роуд, Мейнард нашел там «три прелестнейшие книги — подарок от Литтона. Знаю, что это знак доброго согласия — с его стороны это очень *здорово* поступить таким образом»⁴.

Мейнард перебрался в Королевский колледж 25 июля. Два дня спустя Дункан отбыл на Оркнейские острова. Погостить на острове Хой его пригласил миллионер Томас Миддлмор, друг его матери, купивший остров в 1898 г. за 32 тысячи фунтов стерлингов.

Хотя Мейнард страшно скучал по Дункану, он был чрезвычайно рад снова оказаться в Кембридже и потчевал своего друга обычными сплетнями. «Нигде не может быть такого тихого существования, как здесь», — писал он Дункану 26 июля. На другой день, пока Дункан качался на волнах, пробиваясь в ночной тьме к Хою, Мейнард слушал доклад '*Взаимоотношения*', который читал «фабианским мальчикам» мистер Шлосс* в комнате Бена Килинга.

Ужасающий, глупый, пустопорожний доклад, сопровождаемый бессмысленной речью Дэдди Дальтона**. Хотя комната была битком набита женщинами, в докладе речь шла в основном о гомосексуализме, который именовался «страстной любовью товарищей». Джеймс действительно

* Артур Шлосс поступил в Королевский колледж в 1907 г. Впоследствии он сменил имя на Уэйли и стал знаменит переводами китайской поэзии.

** Хью Дальтон, политик-лейборист, поступил в Королевский колледж из Итона в 1906 г.

совершенно прав: эти фабианцы ни о чем другом говорить и не умеют... За два года моего отсутствия явление разрас-талось скачками и взлетами, так что по существу в Кембридже каждый, кроме меня, открыто и признанно является гомосексуалистом.

Шоува* я видел уже дважды. Он явно наилучший из них — на голову выше прочих, по-моему. Более того, он очень мил, хотя, осмелюсь заметить, не так уж умен, и обладает самой приятной внешностью...

Дорогой Дункан, если бы я мог поцеловать тебя и поддержать твою руку, я был бы совершенно счастлив, а в отсутствие такой возможности недоволен жизнью и весьма, но не совсем, несчастен. Подыщи на Севере симпатичный домик, и мы там с тобой поселимся навеки.

Тем временем, Дункан мужественно перенес бурное трехчасовое морское путешествие из Штромнесса на Хой, где был встречен бутылкой шампанского по прибытии в имение Миддлмор в Мелсеттере. «Я не в состоянии описать красоту этих островов, ты намерен увидеть их сам, так что даже не буду пытаться», — написал он Мейнарду 29 июля. Дом Миддлмора — «шедевр Кельтского искусства», стоит над морем, полон карикатур Берна-Джонса, акварелей Тёрнера, и гобеленов Морриса. «Старый Миддлмор являет собой образец истинной галантности, но говорит он медленнее всех на свете, а думает еще медленнее». Дункан рисовал и читал, прогуливался с женщинами, беседовал с мужчинами, играл в карты и с теми, и с другими, ел и пил неумоно и отчаянно скучал по Мейнард. «Я бы отдал душу дьяволу за твои поцелуи и возможность целовать тебя, — писал он 20 июля. — Хорошо бы ты был здесь — между мною и миром».

Они встретились в Штромнессе 18 августа. «Я знаю, мы будем счастливы», — написал Дункан. Его надежда оправдалась. Действительно, следующие два месяца бы-

* Джеральд Шоув также появился в Королевском колледже в 1907 г.; впоследствии — экономист.

ли, возможно, счастливейшими в жизни Мейнарда. Они провели первые два месяца в Штромнесе, где жили в *Мэсонс-армс-отеле*. «Сверху, из этого города, — писал Мейнард Литтону, — можно любоваться как бы Неаполитанским заливом и островом Капри. Этим вечером мы прогулялись, чтобы лучше осмотреться, где мы находимся. Представь себе наш ужас, когда вернувшись мы увидели все наше жилье заплеванным: по нему прошло стадо коров. Но картина только выиграла, и теория вероятности не меньше...» Они вернулись на Хой и теперь уговорили владельцев полюбившейся им фермы поселить их на ней. Здесь и обосновались, установив, как сообщил Кейнс матери, «твердые часы для занятий рисованием и проблемой вероятности». Торфяные светильники все время были зажжены, а скот выглядел так необычно и его было так много, что даже у Мейнарда пробудилось к нему некоторое любопытство. Единственной проблемой было то, что все были на подозрении как германские шпионы, так что «им приходилось к нам привыкать, прежде чем дать согласие на позирование для портрета». Около 13 сентября Дункан начал писать портрет Мейнарда. Хребет вероятности был перебит, и Мейнард взялся за статью для *‘Экономического журнала’* (*‘Economic Journal’*)⁵. К этому времени Дункан относил первое проявление у Мейнарда способности понимать и ценить живопись. «Мейнард за письменным столом был хорошей моделью, так что, пока он был погружен в свою *‘Теорию вероятности’*, я целиком отдавался стараниям схватить черты его лица. Итогом, я думаю, было то, что Мейнард постепенно признал тот факт, что живопись тоже имеет свои трудности, более того, он признал, и без моих на то указаний, что художник занимается серьезным делом»⁶.

Лишь 22 октября они с Дунканом оторвались друг от друга; Дункан отправился в Ротимуркус, а Мейнард к вечеру 23-го вернулся в Кембридж; как всегда, его там уже ждал отец и встретил на станции. 24-го он поселился

в своих комнатах в Королевском колледже. Литтон был его первым гостем. «Я так рад оказаться в Кембридже, что веселюсь от всей души, — написал он Дункану. — Когда у меня будете вы оба и Кембридж, я стану счастливейшим созданием на свете»⁷. Литтон, со своей стороны, далеко не радовался компании своего удачливого соперника. «Едва ли это было чем-нибудь, кроме ужаса, — писал он своему брату. — И дело не только в его бестактности, полнейшей, скажем прямо, и нескончаемой, но и в ощущении, что от этой их связи ничего хорошего ждать больше не приходится... Остались пепел да высохшие кости. Со временем я переберусь в Тринити»⁸. Провалу этого воссоединения в течение нескольких наступивших месяцев суждено было иметь для Мейнарда печальные последствия.

Прежний уклад жизни восстановился. Гольф с Невиллом под непрерывным дождем в Ройстоне заставил его принимать хинин. Дикинсон выступил с докладом о бессмертии. Руперт Брук называл теперь Кейнса Мейнардом. Появились красивые создания, подлежащие смотру на предмет приема в *Общество*: Джордж Мэллори смотрелся «совершенно очаровательным»*. Дункан приехал 31 октября. «Его поезд опоздал на семнадцать с половиной минут. Так что мне, по крайней мере, Мейнард сообщил в 1.14, — рассказывал Стрэчи своему брату. — Общий вид *чрезвычайно* передает состояние женатого. Если, однако, Д. поселится здесь, наверняка пойдут его заигрывания — о, с кем угодно. Но сейчас я вижу, что это не будет иметь ровным счетом никакого значения... Машина будет только развлекаться и восклицать «Ты всегда возвращаешься ко мне...ко мне... ко мне!» И так оно и будет»⁹.

10 ноября Мейнард отправился в Лондон проследить за упаковкой и отправкой своих вещей из Сент-

* Джордж Ли Мэллори, погибший при попытке покорить Эверест в 1924 г., был тогда на третьем году обучения в Модлин-колледже. Он был другом скорее Джеффри, чем Мэйнарда.

Джеймс-корта; там он подхватил инфлюэнцу и заболел так сильно, что вынужден был провести пару дней в больнице в Хампстеде. Стрэчи видел его «упакованным в шотландские шерстяные жилеты с выпростанными длинными серыми руками, с весьма пустым выражением лица, ни дать, ни взять — горилла, желающая выглядеть знаменитой актрисой. Ужасающе до невероятия! И бедный дорогой Дункан на краю кровати, одаривающий его нежными взглядами... Я бежал оттуда, воя на ходу»¹⁰. Мейнард, все еще не оправившийся после болезни, 16 ноября вернулся на Харви-роуд, где проблема вероятности занимала большую часть его времени, а 20-го опять перебрался в Королевский колледж.

Он и Дункан, вернувшийся в Лондон в начале ноября, переживали теперь тяжелое время — отчасти из-за последствий перенесенной обоими инфлюэнцы. Дункан, подыскивавший теперь студию, которая была бы местом его занятий живописью и которой Кейнс мог бы пользоваться как своим опорным пунктом в Лондоне, к 18 ноября «впал в крайнюю депрессию и... почти плакал в совершеннейшем расстройстве чувств. Просто потому, что нет тебя, чтобы привести меня в порядок. Такие неожиданные припадки депрессии у меня время от времени бывают просто из-за того, что кто-нибудь обронит словцо, свидетельствующее, что он понимает меня не больше, чем кочан капусты». Поначалу Мейнард был доволен жизнью днем, но вечерами впадал в грусть из-за отсутствия Дункана; «чувствовал себя, как школьник, скучающий по родному дому»¹¹. К 23 ноября он был «сверх меры несчастен значительную часть дня и едва знал, как существовать дальше... Если бы я знал, что ты собираешься приехать, я бы приободрился в ожидании...» Он заманивал Дункана на долгий визит, обещая, что «миллионы людей придут тебе позировать... Если приедешь, я буду счастлив душой и телом и действительно смогу работать. Не скрашивали его существования и новички, из которых удостоился упоминания

только некий «Мистер [Деннис] Робертсон из Итона и Тринити, приехавший вчера пообедать и погулять со мной. Многого говорит в его пользу, но голова у него слегка смахивает на пудинг»¹². Неясно, говорилось это о его внешности или о его мыслительных способностях. (Робертсон был отвергнут как возможный кандидат в *Апостолы* и был принят в *Общество* лишь в 1926 г. в необычно позднем возрасте — к этому времени ему было уже тридцать шесть.) Дункан приехал 28 ноября и прожил с Мейнардом в Королевском колледже до 15 декабря; он закончил портрет, начатый на Оркнейских островах. Невилл купил его для Флоренс — первая из многих продаж, удавшихся Дункану при посредничестве Мейнарда.

Приезд Дункана оживил интеллектуальные интересы Мейнарда. Уточненная версия его диссертации была по существу закончена к 4 декабря¹³. Приезд Суизина стал, как всегда, событием желанным, хотя и сопряженным с волнениями. Суизинбэнк, невзрачно прошедший через экзамены по классике в Бейллиоле и почти удержанный от согласия отправиться санитарным инспектором на Фиджи, поразил всех тем, что в сентябре занял третье место на экзаменах для поступления на государственную службу. Это, казалось, гарантировало должность на государственной службе внутри страны; но, возможно, по той причине, что он никогда не метил так высоко, он определил для себя более низкий уровень — только на Индийскую гражданскую службу — и теперь был занят чтением книг по Бирме, готовясь отправиться туда окружным комиссаром. Дункан, только что встречавшийся с Суизином в лондонском доме Стрэчи, нашел его «самым красивым человеком, какого я когда-либо видел». В Королевском колледже Мейнард и Суизин имели одну из своих обычных великих бесед, длившуюся большую часть ночи¹⁴. В отличие от этой беседы, разговор с другой прежней пламенной любовью, Хобхаузом, «совершенно разрушил» Мейнарда. Он «показался мне ужасным, страшным,

чем-то подлежащим устранению с дороги; и все же я не мог бы забыть, как я был в него влюблен. Я уверен, тогда он был иным — иначе невозможно»¹⁵. Дункан арендовал студию в Сент-Джон-вуде, и Мейнард провел с ним первые две январские недели. По утрам Пернель, одна из сестер Литтона, позировала художнику, писавшему ее портрет, и занималась изучением финансов. Они сами готовили себе обеды и во второй половине дня большей частью принимали душ. Вечерами ходили в театр. «Новая студия, — сказал он своей сестре Маргарет, — действительно очаровательное место — довольно просторная белая комната с двумя окнами прямо от пола»¹⁶.

Помимо физической привлекательности, не поддающейся определению, взаимную тягу Мейнарда и Дункана в значительной мере порождала противоположность их качеств. Каждый восхищался в другом тем и ценил то, чего не находил в себе. Дункан был красив, артистичен, не от мира сего; Мейнард был умен, практичен, добр. Но в этом отсутствии совпадений таился очевидный потенциал для тренировок. Мейнард любил хорошо устроить свою жизнь; Дункан жил хаотично. Мейнард вдумчиво относился к друзьям; Дункан был беспечен. Мейнард начал жаловаться, что не может вести переписку регулярно; стал сетовать на появившуюся привычку переносить назначенные встречи. Дункан и думать не мог о соблюдении порядка, о рутине переписки и обмена визитами, и бесплодные ожидания назначенных встреч стали терзать душу Мейнарда, прокладывая путь к размолвке возлюбленных. «Любимый Мейнард, каким же зверем ты меня изображаешь», — писал Дункан 29 декабря в ответ на жалобы Мейнарда, что Дункан так и не написал ему в обещанный день¹⁷.

«Дорогой Мейнард, мы не должны часто вести себя подобно тому, как мы делали сегодня, — написал Дункан в начале 1909 г. — Это чересчур изматывает нервы... Ты должен попытаться — нет, это бесполезно... я должен постараться вести себя лучше, не так неопределенно и эго-

истично, и тогда все пойдет более гладко...» Привычный для Мейнарда способ выказывать свою привязанность денежными подношениями также мог вызывать недоразумения. Дункан был «очень разгневан» получением к своему двадцать четвертому дню рождения (21 января 1909 г.) почтового перевода на пять фунтов стерлингов. «С твоей стороны это совершенно нелепо, — написал ему Мейнард. — Сумма хороша как некий знак и сама по себе не имеет какого бы то ни было значения»¹⁸.

И Мейнард, и Дункан вели очень насыщенную жизнь. Мейнард начал читать лекции, преподавать и писать в Кембридже; Дункан приступил к профессиональным занятиям живописью в Лондоне. Светская жизнь каждого из них также была переполнена. Но если Мейнард всегда строил свою жизнь так, чтобы оставлять в ней место для Дункана, планы Дункана, как правило, исключали общение с Мейнардом. Значительная часть свободного времени Дункана уходила на посещение концертов — иногда с Литтоном. 24 января он взял билеты на вагнеровское *'Кольцо'*, к которому относился с «большим волнением». Мейнард не любил музыку. Он боялся, что Дункан «втягивается во все более широкий круг ненужных мероприятий, которые будут делать невозможными какие бы то ни было новые наши встречи»¹⁹.

К середине февраля Мейнард напомнил Дункану, что за последние пять недель они встретились только три раза. Но отсутствие Дункана не было единственной причиной его плохого настроения в это время. Стрэчи, как оказалось, не простил увод от него Дункана, при том даже, что он теперь находил Дункана «на редкость непривлекательным». Он и его брат затеяли злобную кампанию против *Поццо ди Борго*¹, как они стали именовать

¹ Шарль-Андреа Поццо ди Борго (1764–1842), с 1825 граф. Корсиканский адвокат, ненавистник французской революции и Наполеона. Сопровождал Суворова в итальянском походе. В первой половине XIX в.

Мейнарда в среде своих кембриджских друзей — Апостолов и «эмбрионов», — и добились того, что повернули против него общественное мнение*. Мейнард чувствовал себя обиженным и нелюбимым. В конце концов Стрэчи понял, что зашел слишком далеко. «Я чувствовал себя весьма неловко насчет Поццо, — писал он Джеймсу 14 февраля. — В среду вечером я был в Ричмонде, и Мур между делом упомянул, что он выглядел приниженным и был очень молчалив — «так, будто чувствовал, что люди относятся к нему с неприязнью». Я надеюсь, что здесь нет ничего серьезного или, возможно, это даже вообще неправда. Но не могу не чувствовать себя довольно-таки виноватым... Кроме того, предполагаю, что, возможно, он начинает ощущать холодность Дункана или готов даже думать, что Дункан не очень-то много может предложить из того, что ему нужно. Однако, несомненно, наиболее вероятная вещь состоит в том, что он только испытывает некое бесконечно неопределенное беспокойство. Только мне не нравится так думать; а если, *aprus tout, il a lu ces letters!*»

Настроение Литтона легко понять. В дружбе с Мейнардом он всегда был лидером. Теперь Мейнард стал слишком преуспевающим. Преуспел в работе, тогда как Стрэчи все еще бился, стараясь свести концы с концами, кропя множество ненавистных ему рецензий, Мейнард к тому же преуспел и в любви — притом за счет него, Литтона. Да еще так и не смог преодолеть привычки обращать любовь в цифры. «Его статистика выворачивает меня на-

был заметной фигурой на международной политической сцене Европы. В 1803-м и затем с 1812 г. состоял на русской дипломатической службе. «Как рассказывают, Поццо ди Борго для забавы выпытывал тайны собеседников, расставляя им дипломатические ловушки; он поступал так, подчиняясь Непреодолимой привычке, и обнаруживал при этом свой испытанный в хитростях ум» (Бальзак).

* Вопреки тому, что говорилось, навешивая на Мэйнарда это прозвище, Литтон Стрэчи вовсе не имел в виду использовать имя известной личности. См. его письмо Джеймсу Стрэчи от 26 ноября 1908 г. В переводе с итальянского «*porzozzo*» означает «яма, колодец, сточная канава».

изнанку», — писал Джеймс Литтону, когда Мейнард поведал подробности о числе своих сексуальных встреч. (Он вел им счет, делая дневниковые записи). Скабрёзные подробности, которыми он разукрашивал свои повествования об этих эпизодах, казались теперь Стрэчи просто мерзостями — по отношению к Дункану. «Его рассказ, — писал он несколько позже Джеймсу, — воистину представляется мне непомерно гадким. Я чувствовал себя так, будто иду по сточной канаве».

Отношение Стрэчи к Мейнард, складывавшееся в это время, способствовало тому, как впоследствии его стали воспринимать в Блумсбери. Его выпады против Кейнса не ограничивались тем, что он сообщал брату. 5 февраля 1909 г. он писал Леонарду Вулфу на Цейлон:

Что до бедняги Кейнса, то он совершеннейший топляк — поистине примечательный случай, чуть прикрытый крах. Если существовала когда-либо обреченная человеческая душа, то это о нем. И, бог свидетель, свою судьбу он заслужил. Оглядываясь назад, я вижу его отвратительным и бессодержательным, на любом повороте и в любом кризисе, злым гоблином, который что-то бормочет о чужих судьбах... Он кончит духовным Никсоном* с целым набором металлических частей для замены легких, глаз, сердца и половых органов, но он и знать об этом не будет; сам лязга металла никогда не услышит.

Вирджиния Стивен получала такого же рода отзывы о Кейнсе. Вирджиния едва знала Мейнарда, и Вулф в свои цейлонские годы слышал о нем от Литтона мало, но только дурное. Их пожизненно критическое отношение к Кейнсу могло, таким образом, иметь свои корни в сексуальной ревности Литтона.

* Дж. Э. Никсон (1839–1916) был эксцентричным лектором-классицистом, тело которого было частично изготовлено из «сменных металлических деталей». Легенда гласила, что двое мужчин, Никольсон и Диксон, так разбились в аварии, что оставалось только из оставшихся частей сложить одного — Никсона.

Эта ревность была вполне реальной. Но следует также принимать во внимание их взаимные дружеские чувства в свете той философии, которую Стрэчи в эпистолярной форме развернул перед Шеппардом 25 марта 1903 г.: «Гораздо легче говорить грязные вещи, чем произносить любезные слова, из-за которых можно переживать точно так же, если не больше... Потребовалось бы четырнадцать лет, чтобы сказать все, что один думает о другом. Поэтому говорится то, что кажется наиболее занимательным, а заодно, конечно, и самым гадким».

Как только его соперник был повергнут, собственная рана Литтона стала заживать. Он мог себе позволить стать менее ядовитым. 16 марта 1909 г. Мейнард узнал о своем избрании по конкурсу в ученое сообщество Королевского колледжа, о полном развале всякого противодействия его диссертации. Из своего нового фамильного дома в Белсайз-парк-гарденз Литтон написал ему 17 марта:

Дорогой Мейнард,

Я был очень рад услышать о твоём избрании. С этими чертами никогда ни в чем нельзя быть уверенным! Полагаю, ты теперь устроен до конца дней, и становится ясно, что действовал ты мудро...

Я собирался тебе написать некоторое время назад, хотя, думаю, что в этом едва ли есть необходимость, — разве что сказать, что ты всегда должен считать меня своим другом. Я буду думать о тебе так же. Но я боялся, что в последнее время ты, возможно, стал думать, будто все изменилось. Единственное изменение в том, что я порой испытываю беспокойство и чувствую неловкость, отчасти, полагаю, из-за моей нервной конституции, которая не очень-то хороша. Но не вижу, что тут можно исправить. Я могу только молить тебя обращать на это как можно меньше внимания и верить мне, что я остаюсь разумным порядочным человеком, помнящим и знающим.

Мейнард был очевидным образом доволен этим деликатным извинением. Но ему не удалось найти нужных слов в своем ответе 21 марта:

Дорогой Литтон,

Я был очень рад твоему письму.

Сегодня я второй раз обедал за их высоким столом. Еда отличная, но, боже мой, чувствуешь себя преподавателем. Я играю свою роль восхитительно, возможно она моя по праву, но я хотел бы изнасиловать какого-нибудь студента в профессорской, просто чтобы заставить их увидеть вещи в их истинном свете... Надеюсь быть в Лондоне как-нибудь на этой неделе, но заботы о жилье на следующий триместр и все такое заставляют меня торчать здесь.

Литтон пожаловался брату, что ответом на его примирительный жест было «пустое письмо». С Мейнардом они остались друзьями, но лучшие дни их дружбы ушли в прошлое.

Часть вторая

У КРАЯ ПРОПАСТИ

И вот в Сараево прогремел выстрел, разрушивший цивилизацию... которую я знал в течение первых 34 лет моей жизни.

Leonard Wulf,
Beginning Again: An Autobiography of the Years 1911 to 1918, p.144

Каким же исключительным эпизодом в истории экономического прогресса человечества была эпоха, конец которой положил август 1914 г. Правда, большая часть населения неустанно трудилась, довольствуясь низким уровнем жизни, но, судя по всему, была тем не менее удовлетворена своей судьбой. Для любого человека, наделенного способностями выше средних, существовала возможность выбиться в средние, а то и высшие классы общества, которым жизнь за низкую плату и с наименьшими неприятностями предлагала удобства и обилие благ, выходившие за пределы того, чем располагали самые богатые люди и самые могущественные монархи прежних веков. Житель Лондона, не вставая с постели и прихлебывая свой утренний чай, мог заказывать по телефону самые разнообразные товары со всех концов земли... и обоснованно ожидать их скорой доставки к его порогу; он мог одновременно и тем же самым способом вложить свои деньги в разработку природных ресурсов и создание новых предприятий в любом уголке мира и, без малейших с его стороны усилий и без тени беспокойства, пользоваться их предполагаемыми плодами и выгодами; или он мог принять решение о соединении безопасности своего состояния с доброй волей горожан любого имеющего вес муниципалитета на любом континенте, который он выбрал бы сообразно собственным сведениям или по рекомендации. Он мог, стоило только пожелать, направиться в любую другую страну, другую климатическую зону, без промедления получив для этого дешевые и удобные средства передвижения, без паспорта, без всяких иных формальностей, а от служащего соседнего банка получить потребное количество драгоценных металлов и затем путешествовать за границей, смело заглядывая в любой квартал любого города — без знания тамошней религии, языка, обычаев... Но всего важнее то, что такое положение дел он считал нормальным, естественным и неизменным, разве что не исключаящим дальнейшего совершенствования...

J. M. Keynes,
Economic Consequences of the Peace, pp. 6–7

IX

Первые шаги экономиста

1. Отношение к экономической науке

До 1914 г. Кейнс проявлял интерес к экономике лишь от случая к случаю. К возвращению в Кембридж его привели скука, которой он томился в *Управлении по делам Индии*, и желание жить в городе, но не любовь к экономической науке. Его ум занимали главным образом теория вероятности и статистика. Самые ранние из его опубликованных работ были посвящены проблемам статистического измерения. Его поставили, однако, читать лекции по теории денег, которые в конечном счете привели к созданию его главной работы. Но в довоенных условиях мало что могло пробудить у него интерес к денежной политике — разве что специальные меры, принимавшиеся для устройства денежной системы Индии, те, о которых он знал и помнил по своей работе в Управлении. Для Англии это было время процветания и полной занятости. Существовавший международный режим золотого стандарта был вне поля сомнений и споров и, управляемый в значительной степени из Лондона, работал, судя по всему, гладко. Не подогревался интерес Кейнса к экономике и социальными проблемами. Свобода торговли обещала автоматические сдвиги к лучшему; а кроме того он был поглощен личной жизнью.

В своем новом ремесле Кейнс в огромной мере все еще пребывал на стадии ученичества. У него не было уни-

верситетской степени по теории экономики. Формально его подготовка в области экономической науки ограничивалась работой с Маршаллом в рамках одного аспирантского срока. Учился он главным образом на работе. По сравнению с нынешними временами постигать требовалось немного, да и эта малость не представляла никаких трудностей. До Маршалла большинство английских экономистов были людьми, выраставшими на одной-единственной книге — *‘Принципах’* Джона Стюарта Милля. Их преемники тоже, как правило, были людьми одной книги — *‘Принципов’* Маршалла, подкрепленных устной традицией, выступлениями Маршалла перед парой Королевских комиссий и частным образом распечатанными отрывками с мыслями Учителя. Принадлежавший Кейнсу экземпляр книги Маршалла был ее третьим изданием 1895 г. Он был испещрен пометками, свидетельствовавшими что книга была прочитана досконально — вероятнее всего, летом 1905 г. Кроме того, немало экономических знаний Кейнс впитал дома, и, притом что он не числился в финансовом отделе Управления по делам Индии, Уайтхолл он покинул с хорошим рабочим знанием денежного обращения и банковской системы Индии. Но прочитал он не так много. За Адама Смита взялся только в 1910 г. и так никогда и не стал большим знатоком экономической литературы. К своему пониманию теории он приходил не столько через чтение, сколько через самостоятельную разработку проблем и их обсуждение с другими. Таким образом он обретал довольно твердое понимание некоторых ограниченных разделов теории.

Занявшись экономикой, Кейнс был не менее большинства экономистов настроен на то, чтобы показать свою профессиональную компетентность, и использовал при этом все возможности, открывавшиеся благодаря его связям. Его карьера экономического журналиста началась почти сразу по возвращении в Кембридж. У него был стиль, писал он ясно, а главное, делал это быстро. Дункану Гранту он писал 6 февраля 1909 г.:

О, не помню, говорил ли тебе, что я взялся за журналистику. Вечером в прошлый вторник я получил из *'Экономиста'* письмо с вложенной в него статьей *'Грузоотправители, банкиры, и брокеры'*... и вопросом, не возьмусь ли я как можно скорее написать по этому поводу письмо, «наводящее на размышления и провоцирующее мысль». Я схватил ручку и в пределах полутора часов послал ответ. Сегодня открываю *'Экономист'* и вижу свою колонку на редакционной полосе, а редактор [Ф.У. Херст] пишет, что он принимает мое письмо как работу, выполненную для журнала. Так что я получу по крайней мере гиней.

Его дебютом профессионального экономиста стала напечатанная в марте 1909 г. в *'Экономическом журнале'* статья *'Недавние события в Индии'*, в которой он попытался установить взаимозависимость между движением цен в Индии и притоком и оттоком золота. Сбор «доказательных статистических данных», писал он Дункану Гранту 18 декабря 1908 г., привел его в «состояние огромного волнения... Ничто, кроме совокупления, не способно вызвать такого восторга».

Вехой в приобщении Кейнса к профессиональным занятиям теорией экономики стало его назначение в октябре 1911 г. редактором *'Экономического журнала'* — на должность, которую двадцатью годами ранее отказался принять его отец. Чтение рукописей играло важную роль в его экономическом образовании. Поскольку его, двадцативосьмилетнего, считали слишком молодым для такой работы, над ним поставили надзорный редакционный комитет; но с самого начала он принимал решения самостоятельно, и первое, что он сделал по собственной редакторской воле, — это отверг статью экономиста-историка Архидьякона Каннингема. «Это была груда грязного белья, не имевшая никакого отношения к экономике», — сказал он отцу. Из Кейнса получился превосходный редактор, изобретательный в добывании материалов, незамедлительно отзывавшийся на каждую поступавшую рукопись, всегда готовый помочь полезными замечаниями. Основой

его успеха в редакторской работе была скорость, с какой он действовал. В 1912 г. он стал членом элитного Клуба политической экономии, основанного в 1822 г. Он неукоснительно ездил в Лондон на собрания Клуба каждую среду вечером, по четвергам отправляя материалы своего *‘Экономического журнала’* в Адельфи Террас¹.

Несмотря на все приращения к его образованию, диапазон интересов и познаний Кейнса оставался более узким, чем у Маршалла или Пигу. Перед войной он читал лекции главным образом по чистой и прикладной теории денег. Он посещал лекции Маршалла о деньгах в 1906 г. и помнил, что они были иллюстрированы «рядом очень изящных диаграмм». До 1914 г. Кейнс не делал ничего, чтобы развить теорию денег дальше той точки, на которой ее оставил Маршалл. Но он был зачарован поведением финансовых рынков, усматривая в нем наглядное подтверждение собственной теории рационального поведения в условиях неопределенности. В 1908 г. он сказал отцу: «По утрам я часами лежу в постели, читая трактаты по философии вероятности, сочиняемые членами Фондовой биржи. Самая разумная постановка вопроса исходит пока что от владельца магазина, торгующего ведрами»¹. На инвестора, писал он в 1910 г.,

будет, как это очевидно, воздействовать не чистый доход, который он в конечном счете получит от своих капиталовложений, а его ожидания. Они часто будут зависеть от моды, от рекламы или от наката совершенно иррациональных волн оптимизма или уныния².

Тут он уже указывает на роль, какую «ожидания, неосведомленность и неопределенность» играют в решениях об инвестировании³.

Другой большой интеллектуальный интерес вызвала у него проблема причинно-следственных связей в

¹ Возведенный в Лондоне во второй половине XVIII века и перестроенный в 1930-е гг. комплекс жилых и административных зданий.

экономическом поведении — особенно, что может и что не может быть выведено из статистических данных. В конечном счете Кейнс держался того мнения, что использование статистических материалов может иметь главным образом описательное значение. Это соответствовало его неприятию статистических теорий вероятности. Только при очень узких и жестких условиях прошлое может служить указанием на будущее.

После отставки Маршалла и ухода Фоксвелла интерес Кейнса к проблеме денег соответствовал заботам Кембриджа о *трайнос* по экономике. Группа, которую Маршалл, поступая в Кембридж, называл «блестящим сплоченным собранием серьезных людей», состояла из Профессора (Артура Пигу), У.Э. Джонсона, Лоуса Дикинсона, Джона Клэпэма, С.Р. Фэя, Х.О. Мередита, Уолтера Лэйтона и Л. Элстона. Теория экономики все еще занимала в *трайнос* небольшое место — только шесть кандидатов экзаменовались по I ступени в 1905 г.; к 1910 г. их было двадцать пять. Пигу и Кейнс были двумя главными теоретиками — истинными преемниками Маршалла и Фоксвелла.

В 1915 г. Кейнс писал: «Сила нашей экономической школы и ее привлекательность для очень способных людей в последние несколько лет в значительной степени зависела, по моему мнению, от сочетания в преподавательской среде согласия в принципах с большим разнообразием взглядов, пристрастий и методов»⁴. Принципами были принципы Маршалла. Кейнс был верным учеником старого профессора, хотя и не разделял почитания, которое выказывал Маршаллу Пигу, считавший, однако, старика «довольно глупым [человеком] в его частной жизни»⁵. Имелось и немаловажное различие в пристрастиях, ибо Кейнс, в отличие от Маршалла, не признавал в экономической теории «служанку этики» — здесь он не видел деятельности, способной дать практический выход его этическим воззрениям. Он был последователем Мура, разорвавшего существовавшие для

Маршалла связи экономики с этикой. Более того, социальная философия Кейнса была уже несколько архаична по меркам прогрессивной мысли того времени. Подобно своей матери и Обществу организации милосердия, он полагал, что скорее хорошие душевные качества создают хорошие условия жизни для человека, чем наоборот: «любой человек со способностями и характером выше среднего уровня мог бы вырваться из нищеты», — писал он⁶. Что касается экономического прогресса общества в целом, он вместе с Маршаллом полагал, что это могло бы быть спокойно предоставлено рынку для действий в существующей структуре права и учреждений. Ключевым требованием было сохранение свободы торговли. Перед Первой мировой войной он не был даже реформатором денежной сферы, разве что частично в отношении Индии. Его взгляды сводились к отрицанию необходимости введения каких-либо существенных новшеств в экономической теории или практике. На Кейнса сильное влияние оказала возродившаяся в 1900-е годы вера в «автоматический» прогресс, против которого говорил опыт его собственной жизни. В его сочинениях не найти никакого предупреждения о надвигавшемся экономическом упадке Англии, призрак которого преследовал Сиджвика и Джозефа Чемберлена.

Хотя своим учителем Кейнс признавал Маршалла, в некоторых отношениях он лично был ближе к Фоксвеллу, который написал немного, но был выдающимся знатоком истории экономической мысли и институтов. Кейнс восхищался его свободомыслием, его литературным стилем, его библиоманией, любовью к изящным искусствам и музыке. Короче говоря, ценности Фоксвелла были ему ближе духовного мира Маршалла. Фоксвелл, со своей стороны, решительно отдавал Кейнсу предпочтение перед Пигу, и не только потому, что тот забрал себе его профессорство. «Он такой педант», — говорил Фоксвелл о Пигу в 1901 г.

Отношения Мейнарда с *Профом*, как называли Пигу, были дружественные, но не близкие. Они знали друг

друга еще со времен, когда Мейнард был студентом и они вместе играли в *пятёрки* и говорили об экономике. Но разделяющим барьером между ними стояли их характеры и представления о ценностях. Пигу унаследовал моральный авторитет Маршалла. Высокий и красивый («как викинг»⁷), выпускник Харроу и сын армейского офицера, Пигу всегда держался будто на параде. Моральные качества в его представлении были неразрывно связаны с физическими данными, и он не знал большей радости, как отправиться в компании красивых, спортивных молодых людей на прогулку в горы Швейцарии или в Озерный край. Экономическая наука была для него моральным действием. Во вступительной лекции в 1908 г. он особо приветствовал студента, решившего взяться за изучение экономики, потому что «побродил по лондонским трущобам».

Между коллегами Кейнсом и Пигу были кое-какие трения. Пигу был назначен профессором в тридцатилетнем возрасте, не имея никакого опыта административной работы, к которой никогда не обнаруживал больших способностей. Будучи плодовитым автором (чтобы изучить тот или иной вопрос, Пигу должен был написать о нем книгу), он не любил читать лекции и экзаменовывать студентов — по крайней мере так было до войны, и в 1911 г. Кейнс «должен был снабжать его своего рода шпаргалками, которые он принимал очень хорошо. Он сказал, что совершенно не замечает, что производит впечатление человека, уклоняющегося от своих обязанностей...»⁸ Отец Кейнса записал в дневнике 8 октября 1911 г., что «во многих ситуациях он [Мейнард], кажется, работает вместо Пигу профессором политической экономии».

До 1914 г. скорее Пигу, чем Кейнс, был в Кембридже интеллектуальным лидером профессуры. Кейнс занимался теорией экономики, потому что у него это хорошо получалось, а не потому, что считал своей миссией улучшить мир. Он не ставил этот предмет очень высоко, но некото-

рые разделы доставляли ему истинное интеллектуальное удовольствие и не поглощали чрезмерно много времени: это было важно, поскольку главным, что занимало его ум, оставалась работа над теорией вероятности, и выпавшие долгие каникулы он в значительной мере посвятил переработке своей диссертации в книгу.

Во вторник 19 января 1909 г. Кейнс прочитал первую из двух назначенных на каждую неделю лекций о деньгах, кредите и ценах, выступив «перед огромной и космополитичной аудиторией — думаю, их там было по меньшей мере 15 [человек]»⁹. Учитывая, что при подготовке он должен был тщательнейшим образом штудировать предметы своих лекций, его годовая лекционная нагрузка в довоенное время была весьма внушительной и на третьем году достигала сотни или в среднем четырех часов в неделю на протяжении более трех триместров. В это время своей жизни он был превосходным лектором, еще не прибегавшим к чтению лекций по гранкам своих книг. Его отец, оценивая происходящее как спортивное соревнование, отмечал, что его лекции были популярнее лекций Мередита или даже Пигу.

Мейнард репетиторствовал, проводил индивидуальные занятия — главным образом за плату. Ставка была десять шиллингов за час. «[Это] настолько хорошо, — говорил он Дункану Гранту, — что я едва ли мог устоять»¹⁰. К осеннему триместру 1909 г. он имел двадцать четыре ученика, получая почти 100 фунтов за триместр. Он вычислил, что за год его доход составит 700 фунтов. К декабрю 1910 г. он уже смог отложить 220 фунтов. Многие в этих индивидуальных занятиях было изнурительной шаблонной работой, которую он ненавидел. Он чувствовал, что становится «каким-то подобием автомата, торгующего часовыми дозами экономической науки»¹¹. Особенно он не любил заниматься со студентками. «Я, кажется, ненавижу каждое движение их умов», — говорил он Дункану Гранту¹². Он решил как можно быстрее создать себе источник доходов, не связанный с репетиторством, и

к концу 1909 г. уже приступил к сокращению индивидуальных занятий.

Репетиторство не нравилось Кейнсу потому, что отнимало слишком много времени, а вовсе не потому, что он не любил общения со способными студентами. 21 октября 1909 г. он открыл Клуб политический экономии, который с годами стал наиболее известным учреждением кембриджских преподавателей. Клуб был создан по образцу смешанных (преподавательских и студенческих) дискуссионных клубов Королевского колледжа и Тринити. Заседания проходили по понедельникам вечером в комнате Кейнса. Членами клуба становились по приглашению. Каждую неделю делался доклад; все присутствовавшие выступали со своими комментариями в порядке очереди, определявшейся жребием. Кейнс обычно подводил итог обсуждению. Он бывал в своей лучшей форме, когда напряженная интеллектуальная деятельность могла развертываться в близкой его духу атмосфере. Он был крайне чувствителен к окружающей его обстановке. «Форма помещения... представляется чрезвычайно важной для спокойствия участника и потока его идей... Весьма трудно быть непринужденным в очень высокой комнате или в помещении, переполненном разнообразными предметами»¹³.

Его клуб собирался в длинной комнате приятных размеров, на фоне фресок, выполненных Дунканом Грантом и изображавших полуобнаженных сборщиц винограда и балерин. Погрузившись в удобное кресло, втянув руки в рукава, Мейнард являл собой вид полного расслабления. Но машины ума тарахтели без остановки. Аудитория всегда нетерпеливо ждала его заключительных выступлений с подведением итогов и обобщениями, толкавшими в полет воображение и пересыпанными, как сказал один довоенный студент, «множеством человеческих и едких замечаний». Он был всегда добр к своим студентам, втягивал их в разговор и не крушил их не совсем созревшие мысли. С другой стороны, с именитыми посетителями допускалось не самое вежливое обращение. «На нескольких

поворотах разговора меня загнали в тупик», — жаловался Норман Эйнджел (автор 'Большой иллюзии' — 'The Great Illusion'), которого изрядно потрепали на одном заседании в 1912 г.¹⁴

Многие из его студентов этого времени стали потом личными друзьями; некоторым, уже как коллегам и сотрудникам, предстояло сыграть важную роль в развитии кейнсианской революции. Главным среди них был Деннис Робертсон, сын священнослужителя, поступивший в Итон в тот самый год, когда его покинул Кейнс, и приступивший к изучению классики в Тринити-колледже в 1908 г. Кейнс руководил занятиями Робертсона, когда тот переключился в 1910 г. на подготовку к *трайпос* II степени по экономике. Но на раннюю работу Робертсона о деловом цикле Пигу оказал большее влияние, чем Кейнс¹⁵. Другим важным сотрудником в 1920-е гг. был Хьюберт Гендерсон, шотландец из Абердина, который прибыл в Эмманьюэл-колледж в 1909 г. Фредерик Лэвингтон, еще один студент, умерший молодым, оставил заметный след в развитии кембриджской теории денег. Дадли Уорд, студент Сент-Джонз-колледжа и друг Руперта Брука, впоследствии присоединился к Кейнсу на службе в Казначействе во время Первой мировой войны. Хью Дальтон также учился у Кейнса, но предпочитал Пигу. Студенты Фредди Хардман, убитый на войне, и Арчибальд Роуз стали его близкими друзьями. Еще одним его студентом довоенного времени был Клод Гиллебод, племянник Маршалла.

Мейнард был отчаянно предан своим студентам. Когда Пигу и Эдвард Кеннан написали отрицательные отзывы на диссертацию Джеральда Шоува, посвященную системе ранжирования, и представленную в 1914 г. на конкурс для избрания в ученое сообщество Королевского колледжа, Мейнард распространил среди экзаменаторов свое «особое мнение», полное такого негодования по поводу вынесенного заключения, что Клэпэм счел его «оскорбительным».

2. Деньги, статистика, торговля

Лекции Кейнса почти целиком были о деньгах и их роли в экономической жизни. Непосвященному человеку представляется, «деньги крутят миром», но экономистам это виделось не так. Экономическая теория того времени не придавала деньгам существенного значения — считала их просто несколько расширенной формой обмена. Их использование ничего не добавляло теоретическому пониманию того, что стало главной целью экономического исследования, а именно — показать, как действует система наиболее эффективного распределения ресурсов по различным видам их использования. Маршалл, например, в своих *‘Принципах’* (1893 г.) обошел возможные осложнения в теории цен из-за «изменения общей покупательной способности денег»¹⁶. Дальнейшее исследование этого вопроса было им отложено до III тома — *‘Деньги, кредит и торговля’* (*‘Money, Credit, and Commerce’*), — который так и не появился до 1923 г. Деньги приобретали самостоятельное значение только во времена кризиса и паники — что почти не допускало никаких обобщающих суждений и, как ожидалось, будет терять значение по мере того, как станут улучшаться финансовые учреждения. Потребовалась кейнсианская революция, чтобы дать деньгам звездную роль в экономической драме.

Довоенные лекции Кейнса разъясняли преобладавшую тогда количественную теорию денег. Она старалась доказывать, что меняющееся предложение денег влечет за собой пропорциональное изменение уровня цен, то есть никак не воздействует на объем торговли и уровень занятости. Связь между деньгами и ценами демонстрировалась известным «уравнением обмена». Кейнс в своих лекциях использовал две формы этого уравнения, версию «сделок» Ирвинга Фишера*, первоначально изданную в 1911 г., и ранее предложенную Маршаллом (и неопубли-

* Ирвинг Фишер был профессором Йельского университета.

кованную) концепцию «остатков на счетах», причем Кейнс считал, что «практически они говорят об одном и том же». Фишеровское уравнение обмена, $MV=PT$, исходит из того, что в любой период времени количество денег (M), помноженное на скорость их обращения (V) (среднее число раз, когда доллар или фунт переходят из рук в руки), равно средней цене сделок (P), умноженный на их общее количество (T). Все это означает, что ценность денег, пошедших на расходы, равна ценности денег, на которые сделаны покупки, — едва ли удивительное заключение. У Маршалла в его версии «остаточной наличности» — $M = kPT$, — M , P и T имеют те же значения, что и в уравнении Фишера, а k — средняя доля средств, которые общество держит на счетах как доступную наличность, и соответствует величине V , скорости обращения.

Кембриджское уравнение подчеркнуло роль денег как временного — между продажей и закупкой — прибежища покупательной способности. Тем самым признавалось, что заработная плата и другие доходы не полностью расходуются в момент их получения. Но отсюда следовало, что индивидуальные мотивы сбережения ликвидных средств заслуживают дальнейшего анализа. Маршалл высказал догадку, что индивидуум определяет долю (k) средств, которую он хотел бы держать в форме наличных денег после «сопоставления» сравнительных удобств хранения денег в виде наличности с процентами или доходами, которые он может получить от инвестирования. Это подразумевало, что сокращение процентных ставок после увеличения предложения денег не обязательно могло бы вести к пропорциональному увеличению в расходах, а лишь к удешевлению хранения наличных денег в форме, не приносящей дохода. Это — зачаток более поздней теории Кейнса о процентной ставке, рождающей предпочтительность наличности, когда процент является вознаграждением за расставание с деньгами.

Три условия должны быть соблюдены, чтобы преобразовать «уравнение обмена» в теорию уровня цен: во-пер-

вых, наличие причинно-следственной связи между деньгами и ценами; во-вторых, что скорость обращения денег — либо доли средств, представленных наличностью, — установлена институционально и может меняться только медленно, и в-третьих, что объем сделок определяется «реальными» переменными, такими как производительность и бережливость. Если эти условия соблюдены, M и P должны изменяться пропорционально. Это — количественная теория денег.

В своих довоенных лекциях Кейнс обращался с количественной теорией денег не как с логическим построением, то есть с определением условий, при которых она становится истинной, а как с набором реальных предпосылок, отражающих действительное положение в мире. Он твердо верил в причинно-следственную связь между деньгами и ценами и сурово осуждал «бизнесменов» и «общественное мнение», державшихся противоположных взглядов¹⁷. Он полагал, что «скорость обращения» или «стремление сохранять наличность» определены институционально и не подвержены беспорядочным изменениям¹⁸. Он также принимал третье положение: число сделок, или объем производства и уровень занятости, определяются «реальными» силами¹⁹. В то же время он признавал, что колебания в ценах могут оказывать временные воздействия на скорость обращения и состояние торговли, хотя его рассуждения на эту тему отличались явной небрежностью. Самое интересное, что при этом он отдавал предпочтение падающим, а не растущим ценам²⁰.

Описание «механизма перехода» от денег к ценам Кейнс подавал строго в духе Маршалла, усиленно подчеркивая тем не менее роль банковской системы в создании кредита: «увеличение покупательной способности зависит от банковского дела и золота — одновременно»²¹. По словам Кейнса, увеличение золотых резервов центрального банка ведет к снижению процентных ставок. Предприниматели увеличивают заимствования денег; расходуются их депозиты, что сначала заставляет цены повы-

шаться, и этот стимул «постепенно распространяет свое действие на все секторы жизни общества, пока не потребуются новые поставки золота, чтобы финансировать объем реальной торговли на уровне не выше... прежнего»²². Важно, однако, что для поступления денег требуется время, прежде чем оно окончательно скажется на ценах, и от того, как цены приспособляются к изменениям в поступлении денег, зависят либо рост, либо сокращение торговли.

Один из довоенных анализов делового цикла, представленный Кейнсом Клубу политической экономии (в Лондоне в декабре 1913 г.), был озаглавлен *«В какой мере банкиры несут ответственность за чередование кризиса и депрессии?»* Кейнс утверждал, что банкиры могут предоставлять займы предпринимателям без того, чтобы заимствовать эквивалентные суммы у держателей сбережений; предоставление кредита может, мол, быть независимым источником инвестиционного капитала. Однако, когда капиталовложения «опережают» сбережения, должна последовать депрессия, чтобы позволить сбережениям «догнать упущенное»²³. Ему предстояло вернуться к этим идеям в 1920-е гг.

На этом этапе Кейнс не очень-то разделял рвение Фишера, настаивавшего на управлении деловым циклом путем стабилизации ценности денег. Все же его ортодоксальная подача количественной теории держалась только за счет многочисленных оговорок, которые станут осью вращения его будущей работы. Например: «тот факт, что деньги используются не только для немедленных целей обмена, но и как средство сохранения ценностей, как инструмент для будущих обменов, ставит их текущую ценность в зависимость не только от их существующего объема, но также и от представлений об их будущем количестве и будущем на них спросе»²⁴. Эта оговорка в значительной мере разрушает практическую пользу количественной теории. Но до войны у Кейнса не было ни нужды, ни желания обдумывать значение своей идеи.

Часть экономической теории, которая в это время интересовала его больше всего, касалась проблемы использования статистики и злоупотребления ею. Враждебного отношения к статистике у Кейнса не было. Он обладал замечательной «способностью наблюдать и осваивать факты, а в разряд фактов для него входили числа. Он любил ощущать масштаб проблем, с которыми имел дело»²⁵. Он воевал за создание лучшей статистики, и именно его стараниями статистик Адни Юл получил лекционный курс в Кембридже в 1912 г. Неправильное употребление статистики, явилось, как он полагал, результатом того, что статистик почти бессознательно переходит от статистического описания к индуктивному обобщению.

Что особенно раздражало его на этом скользком склоне, так это возникавшая в умах квалифицированных статистиков и мастеров математических манипуляций иллюзия точного знания и совершенного контроля событий человеческой жизни. Негодование граничило у него с одержимостью, и все это было результатом его занятий проблемой вероятности. В своей представленной на конкурс диссертации Кейнс обрушился на частотную теорию вероятности, согласно которой вероятность является отношением числа (относительной частотой) наступивших событий к числу событий, которые могли бы произойти. Это, таким образом, индуктивная теория, пользующаяся фактами прошлого для предсказания будущего. Диссертация Кейнса представляла собой в основном положительное изложение его собственной логической теории вероятности. Но он также видел необходимость подорвать частотную теорию, поставив под сомнение оправданность индукции как инструмента, пригодного для прогнозирования. В 1910 г. он начал работу над новым разделом диссертации, посвященным логике и оправданию аргументов индукции и расширенным так, чтобы включить туда вопрос о логическом основании статистических выводов. Его более поздний (известный, или печально известный) скептицизм по поводу эконометрики — то есть

использования наблюдаемых отношений между двумя или более переменными для их оценки в будущем — берет свое начало в этой ранней работе.

Самой трудной частью его индийской статьи для «*Экономического журнала*» оказались статистические таблицы. Первые, приводившие его в экстаз, реакции на, казалось бы, обнаруженную положительную корреляцию между поступлениями золота и движениями цен скоро уступили место трезвой переоценке пределов установлению истины статистическими методами: «индекс цен рассчитывается плохо, объем денег в обращении может быть дан только в оценочном измерении и согласованность показателей может оказаться всего лишь случайно возникшим равновесием факторов, не связанных с обсуждаемой проблемой»²⁶.

Лучший «индекс цен», конечно, помог бы. Но как его следует построить? «Я занят работой над самому мне пока не понятным трактатом под названием *‘Метод числового индекса с его особым значением для измерения общей ценности обмена’*, — сообщал Кейнс Литтону Стрэчи 4 апреля 1909 г. В течение пасхальных каникул он писал с невероятной скоростью и 10 мая мог сообщить Дункану Гранту, что выиграл университетскую премию Адама Смита (60 фунтов стерлингов). Это эссе, возвращавшееся к предмету его первых работ для Маршалла в 1905 г., было блестящей работой, показывавшей, что при всей своей молодости Кейнс был очень толковым математиком. В этом трактате следует видеть первое известное нам среди положенных на бумагу рассуждение Кейнса о проблеме измерения национального дохода. Как обычно, суждения экзаменаторов привели его в бешенство, особенно отзыв Эджуорта. «Я убежден, что прав почти в каждом пункте, против которого он возражает, а где я выдвигаю новый довод, он просто не обращает на него внимания. Эта критика свидетельствует о его замкнутом уме...»²⁷

Проблема, которую Кейнс выдвинул на первый план, не исчезла, ее просто задвинули в угол. Дело в том,

что «не существует точно измеренной в числах величины, соответствующей понятию общего уровня цен», и поэтому нет никакого надежного способа построения общего индекса цен — такого, чтобы он измерял «среднее» движение цен вверх или вниз в течение какого-то времени. В любой период одни цены повышаются, другие падают. Если бы относительное значение потребляемых товаров никогда не менялось, проблема могла бы быть решена правильным определением их относительных долей, то есть весов. Но на практике их относительный вес в потреблении постоянно изменяется вместе с их ценами, так что нет никаких постоянных величин, которые можно было бы сравнивать из года в год. Лучшее, что могло бы быть сделано, это построить индекс, который охватывал бы цены по возможности большего количества предметов потребления — как абсолютно важных, так и относительно постоянных в своем значении, причем товары должны быть правильно «взвешены», и все это при условии частого пересмотра базового года. Он ожесточенно обрушился на альтернативное решение, исходившее от Джевонса и Эджуорта, предлагавших воспользоваться невзвешенной средней величиной из случайной выборки цен и считать ее искомой мерой на том основании, что общий фактор, деньги, воздействует на все цены по существу пропорционально и что колебания относительных цен могут быть предметом «исчисления вероятностей». Реальные проблемы, говорил он, не могут решаться на основе изящных математических теорем²⁸. Когда Эджуорт умер в 1926 г., Кейнс написал: «надежда... на то, чтобы постепенно поставить гуманитарные науки под влияние математической логики неуклонно угасает»²⁹.

Кейнс в высшей степени скептически относился к методу «индуктивный корреляции», считая, что условия, при которых он мог бы быть действенным, в жизни складываются редко. Он с презрением взирал на старания эмпирически доказать состоятельность количественной теории денег:

Что касается истории цен на золото... факторы, отличные от добычи золота, менялись и колебались так сильно... что ссылаться в поддержку К.Т. [Количественной теории] на любое кажущееся совпадение между уровнем цен и добычей золота — это грубый пример логически несостоятельного аргумента: *post hoc, ergo propter hoc*. Так как другие факторы не оставались постоянными, теория только призывала бы нас ожидать совпадения между ценами и поступлением золота в случае, если другие факторы уравнивали бы друг друга; но доказать это можно без всяких ссылок на теорию³⁰.

Но самым свирепым нападением Кейнса на то, что он расценил как злоупотребление статистикой, была критика, с которой он обрушился в 1910 г. на Карла Пирсона, лидера статистической школы вероятности. В исследованиях, которые Пирсон проводил среди детей, населявших трущобы Эдинбурга и Манчестера, он поделил их родителей на две группы — на трезвенников и алкоголиков. Он установил отрицательную корреляцию между бедами и лишениями детей и алкоголизмом родителей, но положительную — между теми же страданиями детей и слабостью их родителей. Кейнс обвинял его в злоупотреблении статистикой ради подтверждения выводов евгеники, с которыми тот носился. Из того, что дети родителей-алкоголиков материально жили не хуже детей трезвенников, вовсе не вытекало, что алкоголизм и нищета не имеют между собой никакой связи. При правильной постановке вопроса следовало выяснить: что, детям первой группы было бы лучше по сравнению с детьми второй группы, если бы не пьянство их родителей? Это была битва во вполне викторианском духе: позади статистических канонад располагались, с одной стороны, укрепленные позиции борцов за трезвый образ жизни (представленных здесь матерью Кейнса), а с другой, приверженцы и поклонники евгеники. Поражает, как строго Кейнс толковал положение: *при прочих равных условиях*. То, что такое положение бывает крайне редко, служило, по его мнению, главным препятствием для статистических исследований

социальных проблем и индуктивных обобщений эконометрических данных.

Идее свободы торговли Кейнс был предан не меньше, чем количественной теории денег. Доводы в пользу свободы торговли он считал научно обоснованными; отрицание их расценивал как свидетельство некомпетентности в экономических вопросах. Из сохранившихся обширных записей, показывающих, какие доводы он приводил до 1914 г. в защиту свободы торговли, есть несколько заметок, подготовленных им для речи в кембриджском Союзе 8 ноября 1910 г., где Кейнс утверждал, что протекционизм не способен содействовать росту занятости. Он подчеркивал невозможность общего перепроизводства. Безработица, возникает, дескать, только из-за того или иного просчета. Первым же следствием введения защитных пошлин станет учащение подобных просчетов. Кончались его заметки так:

Я не привел никаких положительных доводов в пользу
С[вободы] Т[орговли]
Международные отношения
Внутренняя коррупция
Тресты
Рост стоимости жизни
Нежелательное перераспределение богатств
Рост издержек производства, ограничивающий конкуренцию на нейтральных рынках.

Столь же ортодоксальной была статья Кейнса, написанная им для *'Нового квартального обозрения'* в феврале 1910 г., в которой он отстаивал неограниченную свободу передвижения капитала. Никаких троп для новых мыслей он тут не прокладывал.

Нужно помнить, что после 1880-х «перебои с занятостью» постоянно и все более и более признавались как серьезное социальное зло. В своей кампании за тарифную реформу, начатой в 1903 г., Джозеф Чемберлен особенно напирал на протекционизм как средство от безработицы.

Многие его аргументы были, несомненно, несостоятельными; особенно ему никак не удавалось определить соотношение между внешней торговлей и занятостью. Позиция Кейнса в это время кажется неоправданно соглашательской. Но развитие событий никак не вдохновляло на то, чтобы заново продумать старые ортодоксальные установки. Между 1900 и 1914 г. британская экспортная торговля оживилась; свобода торговли казалась действенным средством, чтобы поддерживать процветание страны. С учетом всех ее очевидных достоинств, как равно и того факта, что протекционизм превратился в кредо наименее прогрессивный, наиболее экономически неграмотной — с точки зрения Кейнса — части консервативной партии, на него не было никакого спроса, никто не приглашал и ничто не звало его отойти от унаследованных им профессиональной и политической позиций.

X

Грани частной жизни

1. Приоритеты

В годы по возвращении в Кембридж темп жизни Кейпса возрос. Не обремененный трудами младший клерк Управления по делам Индии стал плотно загруженным кембриджским преподавателем экономической теории, журналистом, редактором и автором. Его первая книга о денежной системе Индии появилась в 1913 г. в Англии; с 1909 до 1912 г. он четырежды посвящал большие каникулы переработке в книгу своей диссертации о вероятности, притом что дело постоянно затягивалось переписыванием и добавлением новых глав. Но проблема вероятности сопровождала его и в Пиренеях, и в Греции, и на Сицилии; таблицы индексов он брал с собой в Версаль; материалы по денежному обращению в Индии — в Египет. В отличие от своего отца он умел сочетать интеллектуальную работу с практическими делами. Он начал управлять финансами своего колледжа; в 1913 г. был назначен в Королевскую комиссию по денежному обращению и финансам Индии. Гольф отошел в тень, но он не упускал случая пополнить свои книжные собрания; в 1911 г. он впервые приобрел значительные произведения искусства. Он играл на деньги в Монте Карло, и с 1913 г. — на Фондовой бирже. Как и на протяжении всей жизни, он всегда находил время, чтобы отдаваться интеллектуальным увлечениям.

Только политика была в загоне. Если либеральная Англия умирала, то Мейнард и его друзья странным образом об этом не ведали. Фабианцы добрались до Кембриджа, суфражистки прошлись маршем и приковали себя к садовой ограде, бюджет Ллойд Джорджа 1909 г. и реакция на него палаты лордов вызвали конституционный кризис, классовая борьба усилилась, Ирландия взбунтовалась, один международный кризис следовал за другим. Мейнард обо всем этом знал, кое к чему было немного причастен, но в основном воспринимал текущие события с безразличием и имел крайне смутные представления, какими будут долговременные последствия происходящего. В том, как он писал о Европе после мировой войны, виделась иная перспектива — это было отражение его путешествий, свобода обмена и стабильность валют, ощущение прогресса, упорядоченное состояние жизни. Вкус «беспримерной горечи социального и политического конфликта», о которой вспоминал Эсме Уингфилд-Стрэтфорд, едва ли ощущался в его мире.

Частично это было потому, что он все еще находился под воздействием *Principia Ethica*. Но в то время существовала вроде бы возможность искренне лелеять надежду, которую отняла война. В своей пользовавшейся влиянием книге *‘Великая иллюзия’*, изданной в 1911 г., Норман Эйнджел близко подошел к утверждению, что большая война и невозможна экономически, и нелепа. Мир стал, дескать, слишком взаимозависимым; в нем не могло быть никаких «победителей» в сколько-нибудь разумном смысле этого слова. Кейнс и его друзья, подобные Эйнджелу, были рационалистами и совершенствователями. Они сознавали, что мир полон темных сил, затаившихся и только выжидающих момента, чтобы обрушиться на цивилизацию, но верили, что они будут рассеяны «автоматическим» экономическим прогрессом. В предвоенные годы Кейнс и его друзья были погружены в культуру Ренессанса. Это занимало передний план их сознания, и атавистические гримасы угроз со стороны государственных

деятелей казались им «развлекательными материалами моей ежедневной газеты», как позднее сказал об этом Кейнс.

2. Кембриджские связи

Летом 1909 г. Мейнард переехал в квартиру из нескольких комнат, расположенных в надвратном этаже старого сторожевого дома между Кингз-лэйн и Вебб-кортом. Это помещение он занимал до самой смерти. Он никогда не был знаковой фигурой «Колледжа», подобно Оскару Браунингу, Шеппарду или Пигу, не пытался поражать студентов сколько-нибудь необычным поведением. За пределами крошечного круга он был «доном, способным завалить вас цифрами»¹. Узкий круг все еще состоял из *Апостолов* и их друзей. Ничто здесь, вроде бы, особенно не менялось. «Даже любители женщин склонны держаться ниже травы из опасений лишиться общего уважения», — сообщал он Дункану вскоре после возвращения того в Кембридж². Большим событием в первый срок его лекционной работы было «рождение» Джеральда Шоува — после упорных возражений со стороны Литтона. «Выбор — ужасная и ужасающая вещь!» — сказал Мейнард Дункану. Нормы поведения в Королевском колледже становились все менее и менее стеснительными. На другой день после банкета в честь Основателя (5 декабря 1909 г.) Мейнард написал Дункану:

Вчерашний вечер навсегда, я думаю, останется вехой, открывшей новую эпоху в истории нравов Королевского колледжа. Если была распушенность, то в частном порядке. Расправились не с моральными установками, а с манерами. Совершенно неожиданно наши строгие правила и соглашения о том, что никто никого не целует на публике, рухнули — и мы все напропалую целовались! Что происходило, поистине не опишешь. Альфред, Фрэнки [Биррел], Джеральд, мис-

тер Хардман*, Шеппард и многие другие... все были там. Что станет с нашими репутациями, ведают только небеса... Прежде мы никогда так себя не вели — и удивлюсь, если подобное когда-нибудь повторится...

Несомненно, Мейнард стучал краски на потребу находившемуся в Лондоне Дункану, но тем не менее историк Королевского колледжа Патрик Уилкинсон отмечает, что в 1908 г. посетителя колледжа поражало, как «откровенно мужские пары выставляли напоказ свою взаимную привязанность»³.

7 апреля 1909 г. Мейнард и Дункан отправились в двухнедельный отпуск в Версаль. Это вызвало первый кризис в их отношениях. Действительно, ко времени возвращения все, казалось, было кончено. Дункан написал Джеймсу: «Я сказал, что больше не люблю его»⁴. Литтон отметил этот поворот событий с мрачным удовлетворением. Сообщение, однако, было преждевременное. Ясно тем не менее, что, в то время как Мейнард был влюблен в Дункана сильнее, чем когда-либо («я все еще живу здесь в надежде снова тебя увидеть», — слезливо писал он ему из Королевского колледжа 26 апреля), Дункан отказывался быть запертым в клетке единственной связи. Примирение было кое-как налажено, и отношения продолжались. Литтон тем временем заявлял: «чувствую, что я совсем не влюблен в Дункана, но мой гнев против Поццо только нарастает»⁵.

В Кембридже устроителем самого запомнившегося события летнего семестра стал Джеффри, теперь студент последнего курса в Пембруке. Он и два его друга пригласили в Кембридж романиста Генри Джеймса. Тот приглашение принял, и Мейнард сообщил об этом Дункану «в огромном письме, даже посложнее романа». В воскресенье 13 июня 1909 г. Мейнард дал в Королевском коллед-

* Фрэнсис Биррел, сын политика-либерала Огэстина Биррела. В 1908 г. поступил в Королевский колледж из Итона, изучал историю и был «эмбрионом». Альфред Брук был братом Руперта Брука. «Фредди» Хардман — один из студентов Кейнса.

же завтрак в честь Генри Джеймса. Успеха это не имело. Среди прочих приглашенных был Гарри Нортон, на любое замечание отвечавший безумным смехом. Генри Джеймса это не развлекало. Десмонд Маккарти запомнил его печально склонившимся над «холодным яйцом всмятку и бледным как смерть» в окружении почтительно притихших студентов. Однако визит этого гостя дал жизнь классической фразе Джеймса. Когда ему сказали, что улыбающийся время от времени светловолосый юнец по имени Руперт Брук пишет никуда не годные стихи, Генри Джеймс заметил: «Ну что ж, мне полегчало. Если бы к такой внешности ему еще и был приложен талант, это уж вышло бы за всякие рамки справедливости»⁶.

Свою операцию с Генри Джеймсом Джеффри увенчал первым местом в *трайпос* по естествознанию. Семейство отпраздновало это отпуском в Пиренеях, где они были двумя годами прежде. Мейнард нашел компанию своего брата очень разочаровывавшей. «Джеффри безнадежен, — жаловался он Дункану 28 июня. — Я, право, не знаю, что я здесь делаю». Они ездили и ходили по горам. Скоро Мейнард смог сообщить, что выполняет «умеренный объем работы с большим удовольствием». Но он испытывал «страшную нехватку возбуждения». Этому отпуску с родителями па континенте суждено было стать последним.

Он провел только четыре дня в Кембридже — достаточно, чтобы взглянуть одним глазком на Огэстаса Джона, расположившегося в Грэнтчестере с двумя женами и десятком голых детей. Затем, 26 июля, умчался в Бертфорд, в Котсволзе, где арендовал дом на все лето и стал одного за другим принимать гостей. Первым был Суизинбэнк, набитый бирманскими словами, скандальными историями об Итоне и Дэне («чрезмерное пьянство и женщины»), сетованиями на то, что тот «никогда не совокупляется, и, насколько ему дано судить, не будет и впредь». 31 июля появился Джеймс Стрэчи; 2 августа Суизин перестал давать консультации Гарольду Макмиллану, младшему брату Дэна, теперь студенту Итона. 3 августа появились Шеппард с

Сесилом Тэйлором (известным под кличкой 'Мадам'). Дункан приехал 5 августа и возобновил работу над портретом. «Какой скандал! — писал Джеймс Литтону. — В наши-то времена два человека должны жить в столь неопределенных отношениях [как Мейнард и Дункан]. Очевидно, мы их потому не понимаем, что они сами себя не понимают». И бедный Дункан! «Извини, Дункан, но, право же, ты не должен ставить туда эту чашку». «Положи, пожалуйста, на место эту книгу, если она тебе больше не нужна»¹.

Если не считать краткого, в середине месяца, визита Флоренс и Маргарет, сентябрь Мейнард и Дункан провели в Бертфорде одни. Он возобновил работу над проблемами вероятности; Дункан писал натюрморты по утрам и пейзажи после полудня. Они совершали долгие велосипедные прогулки, возвращая себе радости жизни и товарищеские отношения, оставленные когда-то на Хое. Уайтхед предложил Мейнарду немедленно издать его диссертацию. Но Мейнарду это не нравилось. «Нужно еще многое изменить, — писал он Литтону 23 августа. — Часть I будет скоро закончена... После каждого очередного к ней прикосновения она все больше кажется мне пустяшной и банальный. Все, задевающее ум, приходится постепенно убирать как несоответствующее истине, а что остается — довольно неясное и напыщенное изложение чего-то такого, в чем ни один разумный человек и без меня не может усомниться». «Скоро я отложу вероятность до пасхальных каникул», — сказал Мейнард отцу 3 октября. Он закончил шестнадцать глав из намеченных двадцати; изложил основополагающие идеи и представил их в математическом выражении. Он рассчитывал на скорую публикацию.

3. Политика

7 ноября 1909 г. Мейнард посетил Руперта Брука в Грэнтчестере и застал его, прикрытого единственным предметом одежды — вышитым свитером, в тесном кольце

восхищенно глядевших на него женщин-фабианок. Женщины и политика вторглись в студенческую жизнь. Местом их собраний было кембриджское университетское фабианское общество. Восстановленное в 1906 г. «Беном Киллингом» как первый студенческий клуб, открытый для представителей обоих полов, спустя год оно насчитывало уже сотни членов... Теперь радикализм в Кембридже был равнозначен социализму, а женщины имели больше голов, чем гомосексуалисты и атеисты. Несомненно, на этих переменах как-то сказался успех, одержанный на выборах 1906 г. образовавшейся незадолго перед тем Лейбористской партии. В Кембридже появились смутьяны Кеир Харди и Рамсэй Макдональд. В женское движение влились суфражистки, и оно приняло воинственный характер в общенациональном масштабе. 29 апреля 1909 г. Ллойд Джордж привел в бешенство правых своим бюджетом «классовой войны», в котором предлагались умеренный «сверхналог» и налог на земельную собственность в качестве источников финансов для строительства больших военных кораблей и социального страхования. В Англии, как, впрочем, и на континенте, радикализм и реакция, похоже, готовились к боевой схватке, вынуждая втягиваться в политику даже наименее к ней причастных.

Изменение в сексуальной атмосфере имело множество причин. В том числе образование в Кембридже нового поколения студентов и появление среди них Руперта Брука — сильного лидера гетеросексуального направления. Как отмечает Хилтон Янг, Брук при всей своей внешней красоте напоминал скорее «бифштекс с пивом, чем нектар с амброзией»⁸. Сказывалось также влияние, исходившее от школы совместного обучения Бидейла¹. Сказывалось и присутствие группы умных, привлекательных и неуправляемых студенток. Три семьи прилагали много усилий, чтобы найти женщинам место в Кембридже, по крайней

¹ Бидейлз-скул — основанная в 1893 г. первая в Англии частная школа-интернат для совместного обучения мальчиков и девочек.

мере в студенческой элите: Костелло, Оливье и Дарвины; главами первых двух были фабианцы. Хотя в 1911 г. в Кембридж, с нисколько не потускневшей, как утверждал Кейнс, славой, возвратился Мур, новому поколению студентов он был не так интересен, как супруги Вебб, Бернард Шоу, Герберт Уэллс и даже Уильям Моррис. Собрания чисто мужских компаний для чтения в комнатах деревенских гостиниц уступили место вылазкам на природу, устройству кемпингов, пешим прогулкам, совместным купаниям, при том что в гетеросексуальной среде возродились и прежние идеалы жизни в простоте, легкой одежде и сытной, здоровой пище. «Ка [Кокс], шагая пешком, поспела вчера на завтрак, — писала своей сестре в 1911 г. Вирджиния Вулф, — с ранцем за спиной, с красными бусинками и маргаритками, облепившими ее пальто»⁹. «Неоязычники», как она именovala круг Руперта Брука, гнездились в летних фабианских школах в Уэльсе, где спали на пляже и выводили из себя чопорную Беатрис Вебб «своими анархическими выходками в сексуальных делах».

С появлением фабианцев как нового центра притяжения *Апостолы* несколько утратили свой блеск. Были, конечно, точки пересечения. Руперт Брук был крестоносцем социализма среди мысливших «приземленно»; Джеймс Стрэчи проповедовал в летних фабианских лагерях доктрину Мура. Общество сопротивлялось социалистическому наступлению, опираясь на испытанную традицию безучастия: между 1909 и 1912 г. прошли только одни выборы, но к этому времени социалистический папор в значительной степени выдохся. Образ жизни Мейнарда не избежал влияния этих новых течений. Женщины моложе него — особенно Ка Кокс и Дафна и Брингильда Оливье — вошли в круг его друзей, хотя нет никаких свидетельств, что в его поведении появилось сколько-нибудь меньше строгости и больше кокетства, чем замечалось прежде.

Питер Кларк описал политические позиции Мейнарда того времени; точнее, привел бесспорное свидетельство его серьезной политической преданности новому ли-

берализму¹⁰. Известно, что в феврале 1911 г. в беседе с Сиднеем Веббом он высказался в поддержку инициативы обсудить в кембриджском Союзе идею, что «прогрессивная реорганизация Общества сообразно принципу коллективистского социализма является и неизбежной, и желательной»¹¹. Можно было бы добавить, что несколькими месяцами позже он объявил, к удивлению своего отца, что выступает «за конфискацию богатств» и что в 1913 г. он завтракал с Беатрисой Вебб в Ньюнеме и эта встреча стала для него «глубоким духовным опытом». Как подтверждение «серьезного политического обязательства» ссылки на эти свидетельства крайне зыбки. Каковы бы ни были политические взгляды Кейнса и его *обязательства*, следовал он им и воплощал любое из них в жизнь очень слабо.

Выступая в кембриджском Союзе, Кейнс отстаивал государственную службу как мотив для действия. Нельсон, мол, был «государственным служащим и действовал он эффективно, руководствуясь не личным своекорыстным материальным расчетом, но потому что ему нравилось делать эту «работу» как можно лучше». В более общем плане политические взгляды Мейнарда были обусловлены в то время ходом финансовых дебатов, в которых прогрессивное или «конфискационное» налогообложение рассматривалось как главная альтернатива протекционизму. Выступления Кейнса в поддержку повышения прямых налогов имели своей основой скорее его приверженность свободе торговли, чем какую бы то ни было тягу к «перераспределению». Угроза «старому», а не привлекательность «нового» либерализма — вот что раскачивало его оживлявшуюся время от времени политическую деятельность в эти годы. Как секретарь кембриджской университетской Ассоциации свободы торговли он председательствовал на ее большом собрании 30 апреля 1909 г., на другой день после бюджетной речи Ллойд Джорджа. Тем летом, отставив в сторону теорию вероятности, он высвободил время, чтобы написать, для *‘Нового квартального обозрения’* (*‘New Quarterly’*), выходявшего под редакцией его друга Десмонда

Маккарти, статью, в которой давал отпор утверждениям протекционистов, будто бюджет может вызвать бегство капитала из страны. После того как 30 ноября палата лордов отвергла бюджет Ллойда Джорджа, создав тем самым основание для проведения всеобщих выборов, Кейнс написал статью в *'Кембриджские новости дня'* (*'Cambridge Daily News'*) с призывом к читателям голосовать за либералов, ибо победа консерваторов породила бы конституционный кризис. Он колесил по дорогам по направлению к Бирмингему, участвуя в предвыборной кампании Хилта Янга, противостоявшего Остину Чемберлену в Восточном Вустере, и, как написал 14 января 1910 г. Литтону Стрэчи из бирмингемского отеля *Куинс*, изнывал от скуки за отсутствием по вечерам больших аудиторий слушателей. 8 ноября 1910 г. он еще раз выступал в защиту свободы торговли в кембриджском Союзе. «Его холодный, интеллектуальный стиль хорошо подходил для сокрушительной критики экономических ошибок, и он был восхитительно неотразим», отметила *«Granta»*. Он снова проводил кампанию, на сей раз в пользу Эдвина Монтегю, в Хистоне на всеобщих выборах в декабре. То были вершины довоенного участия Кейнса в политике.

4. Блумсбери

В этот период интересы влекли его не в Вестминстер, не в Уайтхолл и не в Сити, а в Блумсбери. В декабре 1909 г. Дункан снял квартиру в цокольном этаже дома 21 на Фицрой-сквер. Передняя комната служила ему студией; спальня Мейнарда располагалась в задней части квартиры. Группа Блумсбери — «Старый Блумсбери», как потом стали называть ее Вирджиния Вулф и Ванесса Белл, — уже появилась, начала существовать, взяв себе имя по названию местности с особым складом социальной и культурной жизни некоторой группы друзей, проживавших на двух смежных застроенных в георгианском стиле площа-

дях в немодной части Лондона. Удобнее всего вести отсчет с марта 1905 г., когда дети Стивена — Ванесса, Тоби, Вирджиния и Адриан — начали устраивать свои *домашние посиделки* — «четверговые вечера» в доме 46 на Гордон-сквер, куда стали съезжаться друзья Тоби по Кембриджу, в частности Сэксон Сидней-Тёрнер, Клайв Белл, Литтон Стрэчи и Десмонд Маккарти. Тоби Стивен («Гот») с его связями среди *Апостолов* был ключевым звеном, соединявшим между собой миры кембриджский и лондонский. Но почва для их общения была уже подготовлена. Ибо почти в тот самый момент, когда *Апостолы* поколения Стрэчи разрабатывали под влиянием Мура философию жизни, которая презирала мирские ценности и общепринятые обязанности, дети Стивена сбежали из душной респектабельности своего дома в Южном Кенсингтоне с его запретами на изящно смелые отношения и устремились к тому, что Вирджиния назвала «необработанной и дерзкой» жизнью Блумсбери — и уже имея, возможно, намерения учредить салон для друзей Тоби. Беседы о красоте, любви, философии, возможно, раскрепощали, но они были далеки от оживленного обмена мнениями. Помимо тех случаев, когда Клайв Белл — приходившийся здесь весьма ко двору охотник на лис, человек с художественным вкусом — появлялся, развязывал языки и давал выливаться потокам болтовни, на собраниях царила глубокая тишина. Другой существенной чертой *домашних посиделок* в Блумсбери было то, что они создавали возможности для свободного от флирта общения между полами. Ванесса и Вирджиния, обе красавицы, отказались выставлять себя на рынок невест, сходявший в их глазах за некую форму обычной светской жизни. Друзья Тоби либо не интересовались женщинами, либо в их присутствии оказывались во власти каких-то сексуальных стеснений. Для обеих сторон эта ситуация обеспечивала своего рода безопасность. Мужчины к тому же отличались тем, что Вирджиния называла недостатком «физического блеска». Как она однажды заметила, «если вы женщина — общество гомиков дает много преимуществ.

Это просто, это честно, это позволяет быть... в некоторых отношениях непринужденной»¹².

В 1907 г. после трагической смерти Тоби от тифа — события, связавшего обе стороны общим горем, — Клайв Белл женился на Ванессе Стивен. Было теперь два салона Блумсбери — у Беллов в доме 46 на Гордон-сквер и у Вирджинии с Адрианом, переехавших в дом 29 на Фицрой-сквер. Ванесса Белл, с ее лицом предрафаэлитки, но грубыми манерами и похабной речью, была настроена сделать карьеру на ниве живописи. Ее клуб «по пятницам» стал центром обсуждения изобразительных искусств. Вирджиния, неуклюжая в светском общении и побаивавшаяся людей, начала работать над своим первым романом *'The Voyage Out'*. Их младший брат Адриан был любезный, неумелый гигант. В Кембридже он был (по слову Квентина Белла) «вечерней тенью» Тоби; но он был умным, ироничным и порой пугающе возбужденным. Четверговые вечера на Фицрой-сквер часто посещали *Апостолы* нового поколения и их друзья — Гарри Нортон, Джеймс Стрэчи, Джеральд Шоу, Фрэнсис Биррел. Постепенно утверждались отличительные черты Блумсбери — болезненная честность в разговорах и личных отношениях, страсть к литературе и изобразительным искусствам. Политика наряду с буржуазными условностями по поводу секса предавались проклятью как самые вопиющие примеры ханжества и лицемерия; но всегда прилагались старания к глубокому проникновению в тонкости интеллектуального и культурного строя, а также постоянная озабоченность проблемой прислуги.

Что еще не начиналось, так это выяснение, чего добивается Блумсбери. За что выступает? Кто входит в группу? Что хорошо — что плохо? То есть не поднимались вопросы, волновавшие и стойких приверженцев группы, и отщепенцев. Да и не могли они будить дискуссии, пока группа не добилась — личными достижениями своих членов, а также их взаимной поддержкой — положения влиятельного культурного сообщества. Публичный образ

Блумсбери начал складываться еще в довоенное время, и в общественных глазах это были сторонники «шокирующих» направлений в художественном и архитектурном творчестве. Такое восприятие подчеркивалось их общим враждебным отношением к войне. Оно закрепилось после того, как Литтон Стрэчи развенчал «знаменитых викторианцев». К 1920-м гг. главное направление критики обозначилось вполне четко. Как написал Арнольд Лунн в письме Клайву Беллу от 16 января 1957 г., худшей из ошибок Блумсбери было отторжение всех общепринятых ценностей, на «которые, хихикая, поглядывали с презрительно поднятой бровью»¹³.

Майкл Холройд в биографии Стрэчи, изданной в 1965 г., обратил внимание на еще одну сторону коллективной жизни Блумсбери: там процветали гомосексуализм и бисексуальность, вертелась сексуальная карусель, так что любовники то и дело становились просто друзьями, а потом наоборот. Сегодня Блумсбери выглядит столь же отталкивающе, сколь и притягательно. Могли ли эти люди когда-нибудь питать серьезные чувства к кому-либо или к чему-либо? Сам их словарь пуст и бессодержателен: люди ли, мысли ли бывали у них только «очаровательными», либо «забавными», либо «нелепыми». Вместе с тем они были беспощадными врагами лицемерия и большими любителями искусства.

Стоит поднять разговор на эти темы, и становится невозможно уйти от вопроса о влиянии на Блумсбери Дж.Э. Мура с его «*Principia Ethica*». Это отнюдь не значит, будто в Блумсбери все действительно книгу прочитали: достаточно было сделано, чтобы они признавали ее дух своим общим достоянием. Сам Мур пересмотрел ее содержание и переиначил основную тему: думать надо было не о том, «что я должен делать?», а о том, «что есть благо?». В точном философском смысле и адресуясь к определенной группе людей, Мур поставил на обсуждение проблему: «что значит быть цивилизованным?». Он развивал эту тему с учетом широко распространившегося ра-

зочарования идеалами и нормами поведения, которыми восторгались викторианцы, включая сюда и обычные нравы сексуальной жизни, и погоню за материальным успехом, и превознесение занятий, приносящих пользу и т. д., а заодно и сопутствовавшего всему этому мещанского восприятия искусства.

Христианская вера, что там говорить, в Блумсбери не присутствовала. Но это не было его особой отличительной чертой, и шел этот атеизм не от Мура. Действительной особенностью Блумсбери была враждебность к *религиозным* убеждениям. Любую свою веру человек должен быть готов отстаивать, в том числе доводами разума. Если христианство на это неспособно, тем хуже для христианства. Но то же самое относится к марксизму, да и ко всему тому, что Кейнс называл «социальной псевдослужбой». В межвоенные годы скептическое отношение Блумсбери к любым политическим догмам навлекало на эту группу нападки в одинаковой мере и слева, и справа. И несомненно, это толкало к политической пассивности, хотя не всегда именно к ней и приводило. Политическая деятельность, безусловно, могла быть оправдана, если возникала прямая угроза ценностям цивилизации — например, угроза войны. Гораздо более сомнительным считалось ставить жизнь, отданную политике, выше жизни просто доброй, одухотворенной.

При всем том невозможно отрицать напряженность, разделявшую кембриджский рационализм и чувствительность Блумсбери. Вирджинию Вулф потрясало «вредоносное влияние кембриджского *аналитического* духа» на ее отца, духа, «не смягченного никакими отвлекающими интересами — ни музыкой, ни искусством, ни театром, ни путешествиями...»¹⁴ Мировоззренческая затея Блумсбери состояла в попытке поженить рационализм Кембриджа на эстетической и сексуальной эмоциональности. Путь к этому виделся в приложении аналитического метода к любви и искусству. Дорогу к этому браку призвана была облегчить доктрина Мура, пояснявшая что «благо» существует само по себе и непосредственно анализу не поддается.

Другой взгляд на Блумсбери — это представление о группе друзей при обязательном условии, что они «нашли» друг друга, потому что им это было очень легко сделать. Конечно, нельзя упускать из виду возможности случайных знакомств и личного выбора как способов сплочения группы. Однако факт остается фактом: группа Блумсбери сложилась из нескольких существовавших ранее семейств с перекрещивавшимися культурными связями: *Апостолы* Кембриджа, с одной стороны, и два семейных клана Стрэчи и Стивенсов, с другой. Это в некоторой степени объясняет исключительность Блумсбери.

Блумсберийцы, как они сами себя называли, не без любопытства поглядывали на чужаков. Они их побаивались, но сами могли обдавать их холодом неприятия. В Блумсбери человек мог найти покой и прибежище, уединение от людей — очень важные возможности для тех, кто в ранней жизни был так или иначе травмирован контактами с внешним миром. В пределах своего близкого круга они развивали потрясавшие непосвященных мнения, оттачивали стиль беседы, образы поведения, даже манеру одеваться. Богохульство было частью их кредо, возвращением ко дням Кембриджа; похабщина была почти обязательной нормой. Личности и сексуальные вкусы их друзей, непрерывная пересмена партнеров были темами, поглощавшими их интересы. Кейнс к такой обстановке был приспособлен достаточно хорошо. Его нельзя было ввести в смущение; а развязность в общении с друзьями обычно расценивалась как некий социальный актив. «В гостях вы весьма смахиваете на китайского Будду, — написала ему 16 апреля 1914 г. Ванесса Белл после одной домашней вечеринки. — Вы тихий, но не настолько, как Сэксон, и умеете создавать атмосферу, в которой все оказывается возможным. Может быть, вы говорите больше, чем полагалось бы Будде. Во всяком случае мне кажется, что с Буддой все было бы так же. Можно беседовать о траханьи, о гомосексуализме, об оральном сексе, о кустах вокруг — и все без тени смущения»¹⁵.

Третья грань Блумсбери: это было культурное, а не академическое образование. Мейнард Кейнс был одним из очень немногих, кто занимался научной работой. Возможно, это был в английской истории последний случай, когда группа такого высокого интеллектуального уровня собиралась в Лондоне за пределами университетской системы. Именно это соединение тонких умов, соответствующее традиции салона, а не просто места общения, и придало Блумсбери такую огромную культурную силу. В Блумсбери входили и творцы, и публицисты. У последних достижений в конечном счете было больше. По мировым меркам художники Блумсбери — Ванесса Белл, Дункан Грант, Роджер Фрай — не были в первых рядах знаменитостей. Подобным же образом и в литературе только Вирджиния Вулф стала бесспорной величиной высшего класса. Но в своей деятельности, направленной на пересмотр отношений между культурой и обществом, в отстаивании определенных теорий публицисты Блумсбери были первоклассными мастерами.

То, что существовала возможность создать кружок умных и захваченных стремлением к культуре людей, задним числом выглядит самоочевидностью. Блумсбери был конкретным выражением «бунта против викторианства» и направлял выступления бунтарей. Отказ от принятой сексуальной этики был одной, но только одной, из форм восстания против «ложных ценностей», от имени которых викторианцы приносили в жертву возможность предаваться хорошей жизни. Члены Блумсбери были, как правило, исключительными детьми исключительных родителей, которые смотрели на жизнь предыдущего поколения как на стиснутую и загроможденную ненужными правилами и обязанностями. Идеалом, исходившим вместо этого от Блумсбери, было не «делай то, что нравится», а «делай то, что хорошо». За сердцевину хорошей жизни были приняты культурные удовольствия. На место культуры как подспорья хорошего поведения, само хорошее поведение получило культурообразующее значение. Это в свою очередь вело к изменению теории и практики культуры. Была предпринята попытка отделить объект куль-

туры от общепринятых ассоциаций. Еще до 1914 г. Роджер Фрай, Клайв Белл, два главных художественных публициста Блумсбери, настаивали, что эстетическое удовольствие дает сама «значащая форма» картины, а не ассоциации, вызываемые ею у зрителя. В романах Вирджинии Вулф повествование также приносится в жертву форме. Литтон Стрэчи в своих биографиях сознательно искажает портреты описываемых им лиц, чтобы потрясти читателей новым видением знакомых им героев. Как в своих произведениях, так и в собственной жизни члены группы отказывались подчинять чувства общепринятым представлениям. Они не были сексуальными анархистами, а скорее творцами нового сексуального порядка, присущего надлежащему пониманию хорошей жизни. Вот почему в Блумсбери имелась возможность частых переустройств чувственных связей и при этом сохранения (относительного) свободы от сексуальной ревности.

Так члены группы Блумсбери проявляли себя революционерами в культуре и сексе. В других областях они оставались в цепях своего времени. Более того, каждая конкретная форма их «восстания против викторианцев» зависела от того, какая именно сторона викторианской жизни по-прежнему сохраняла силу и влияние. Культура не считалась силой, достаточной, чтобы переделать общественные отношения, а способной лишь просветить элиту, открыть ей глаза на то, «что есть благо, что хорошо». Блумсберийцы так же враждебно относились к любой идее «пролетарской культуры», как и ко всякому понятию «культуры буржуазной». И в том и в другом они видели симптомы разлагающейся индустриальной системы. В Блумсбери мало было желания искать контакты с «массовым сознанием», мало было веры в возможность «культуры для всех». Культурные творения Блумсбери предназначались для высококолобых, их пропаганда целиком была направлена на (хорошо) образованный средний класс. Всегда существовала напряженность между культурными традициями и демократическими чувствами: цивилизация, как говорил Клайв Белл, всегда опиралась на наличие делающих грязную работу. Как мы увидим, Мейнард Кейнс пытался пре-

одолеть это противоречие; но не приходится утверждать, что сильно в этом преуспел. И он, подобно остальным блумсберийцам, в повседневной жизни полностью зависел от домашней прислуги. В этом отношении группа Блумсбери всеми корнями сидела в классовых представлениях викторианцев. Покушение на пересмотр викторианского образа жизни, как правило, тянуло их назад в восемнадцатый век с его идеей культурной аристократии, а не к идеалу цивилизованной демократии; или, иначе сказать, они не могли вообразить цивилизованной демократии без унаследованного достояния в виде аристократии таланта со всеми вытекающими отсюда чертами неравенства; между тем их собственный опыт, казалось бы, доказывал, что из ниоткуда такая аристократия появиться не может.

Культурное влияние, которое приобрела со временем группа Блумсбери, основывалось на ясности мысли ее публицистов и на взаимной поддержке достижений ее членов. Но следует добавить и еще две составляющие: относительную финансовую независимость и мощное покровительство. Богачами члены группы не были. Но они никогда не были вынуждены зависеть от чуждых их духу учреждений. Полученных по наследству средств было достаточно, чтобы поддерживать нравившийся им образ жизни, пока их собственные таланты не стали обеспечивать им самостоятельно заработанную независимость. Никакой группе Блумсбери не бывать бы в случае, если люди, подобные Стрэчи и Беллу, Вирджинии и Ванессе, оказались бы рассеянными по провинциальным университетам. Не менее важно было то, что группа Блумсбери за эти годы сумела найти выходы и платформы для публичного представления своих работ и теорий во влиятельных журналах и художественных галереях и таким образом, до некоторой степени, стать законодательницей вкусов. Располагая такими позициями, группа получила возможность находить рабочие места для своих молодых друзей, включать их в комиссии, устраивать им выставки. Ничто подобное не было бы возможно, не обладай они

подлинным и немалым мастерством в работе пером и кистью. Но этого было недостаточно. Финансовая поддержка все равно была необходима. Здесь роль Мейнарда Кейнса приобрела ключевое значение. Он обрастил Блумсбери финансовыми мускулами не только прямыми щедрыми вкладами собственных средств, но и своим умением организовать денежную поддержку различных начинаний группы. (Еще до 1914 г. он начал принимать в доверительное управление часть денег своих друзей.) Более того, за время после Первой мировой войны почти невозможно указать какое-либо культурное начинание Блумсбери или внутреннее мероприятие группы с участием ее членов, — такое, чтобы оно обходилось без той или иной формы его помощи, будь то просто щедрые взносы, квалифицированные консультации или привлечение полезных контактов. Обреченный или избранный, способный или расположенный работать, имея на уме преимущество средства, а не цели — таким он двигался по пути воздаяния должного тому видению благоденствия, которое разделял со своими друзьями.

Именно зимой 1910–11 гг. мир впервые обнаружил существование Блумсбери. 5 ноября 1910 г. Роджер Фрай, старый *Апостол*, только что отклонивший выгодное предложение работы в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, устроил в *Графтон-галереях* выставку «Мане и постимпрессионисты». В истории развития британского художественного вкуса это было событие чрезвычайной важности. Ядро выставки составляли двадцать одно полотно Сезанна, тридцать семь Гогена и двадцать Ван Гога, которые Фрай и Десмонд Маккарти выбрали у дилеров и частных коллекционеров в Париже. Хотя большинство картин были двадцати-тридцатилетней давности, они привели в ужас британскую публику, прозевавшую и сам импрессионизм (представленный в Англии только изделиями Нового английского художественного клуба), который все еще сходил поэтому за то, что Фрэнсис Сполдинг называл «рассказами в красках». Критики отвергали французские

картины как «продукцию сумасшедшего дома». Для некоторых дерзкий цвет, ломаные штрихи и искаженные формы служили предвестниками распада общественного порядка. Роджер Фрай был к этому времени близок с Беллами; и дело постимпрессионистов горячо было подхвачено Блумсбери. В марте 1911 г. Ванесса и Клайв Белл, Вирджиния, Адриан, Роджер Фрай и Дункан Грант — все отправились на бал, устроенный в честь постимпрессионистов, где женщины шокировали прессу и гостей сшитыми из африканских тканей нарядами гогеновских дикарей. В октябре 1912 г. Фрай устроил вторую выставку постимпрессионистов, более профессионально организованную; тут преобладали работы Пикассо и Матисса, но нашлось место и для Дункана Гранта, равно как и для ряда молодых английских художников. Менее революционным, но более драматичным по силе воздействия на художественную жизнь Лондона стал в июне 1911 г. первый сезон русского балета, когда Дягилев представил лондонской публике легендарного Нижинского в *‘Карнавале’* Шумана и *«Призраке розы»* Вебера — в обоих случаях в хореографии Михаила Фокина. Во втором балете прыжок Нижинского, легкого, как лепесток на ветру, и его приземление возле спящей Карсавиной словно электрическим током произвели лондонские аудитории.

Леонард Вулф, вернувшийся в 1911 г. после семилетнего пребывания на Цейлоне, остро почувствовал общую взбудораженность жизни, когда казалось, будто мир дошел до грани, переступив которую он станет цивилизованным. Это было чудесное солнечное лето. В политике все выглядело так, «будто милитаризм, империализм и антисемитизм обратились в бегство». Автомобиль и самолет начали творить свою революцию; Фрейд, Резерфорд и Эйнштейн делали свою работу. «Столь же волнующие события происходили в искусстве. На сцене потрясающее воздействие Ибсена все еще не утрачивало своей мощи, и мы чувствовали в Ибсене достойного преемника Шоу как революционера... В живописи в самом разгаре была революция Сезанна, Ма-

тисса и Пикассо... А венчали все это вечера в Ковент-Гардене, куда мы все мчались, зачарованные новым искусством, откровением, каким стал для нас, титулованных англичан, русский балет звездных дней Дягилева и Нижинского»¹⁶. В Блумсбери ничто не служило предостережением о надвигавшемся бедствии, было только радостное чувство пробуждения после долгой викторианской ночи.

5. Конец романа

Если принять во внимание, сколько общих ценностей и дружественных связей Мейнард делил с Блумсбери, можно только удивляться, как долго затягивалось его вступление в этот заколдованный круг. В 1909 г. и для Ванессы, и для Вирджинии он все еще был Кейнс, а не Мейнард. Враждебность со стороны Литтона, возможно, в какой-то мере объясняет, почему члены группы Блумсбери так долго тянули с привлечением Кейнса. На сей раз именно Дункан облегчил Мейнарду дорогу в Блумсбери: очарование Дункана было принято гораздо быстрее, чем ослепительный, порой злорадный гений Кейнса.

Для Дункана Гранта перебраться в 1909 г. в Блумсбери оказалось таким же актом освобождения, каким это было пятью годами раньше для сестер Стивен. «*Фицровия*» стала к тому времени обителью художественного авангарда. Одетый по последней моде Уолтер Зикерт, старosta *Клуба нового английского искусства*, имел свою студию в доме 19 на Фицрой-сквер, где он выступал в роли хозяина, принимавшего группу, в которую входили живописцы, такие как Спенсер Гор, Огэстас Джон, Роберт Беван и Гарольд Джилмэн. Генри Лэм принял от Огэстаса Джона студию в доме 8 на Фицрой-стрит. Молодые художники школы Слэйда Гвен Дарвин и Стэнли Спенсер ходили к Ванессе Белл в ее клуб «*по пятницам*». Здесь 21 февраля 1910 г. Дункан слушал выступление Роджера Фрая на тему «*Представление как средство выражения*»¹⁷. Фрай пе-

реживал мучительный жизненный перелом, которому предстояло превратить его из копииста подражательных пейзажей семнадцатого века и знатока старых мастеров в своего человека в Блумсбери, революционного первопроходца и теоретика современного искусства. В своем новом окружении Дункан установил быстро развивавшиеся дружеские отношения с Ванессой и Клайвом и Роджером. «Возможно, Дункан на пути к тому, чтобы стать большим живописцем, — написала Ванесса Клайву в 1910 г. — Мне видится что-то замечательно прекрасное в его работе и в большом размахе. Он, конечно, самый интересный из молодых художников»¹⁸.

В феврале 1910 г. Дункан обедал в доме 44 на Бедфорд-сквер с экзотической леди Оттолайн Моррел. Она нашла его застенчивым, неопределенным, неуловимым и околдовывающим; она с готовностью включила его в свой мир блеска и иллюзии, а он был очарован ее необыкновенным лицом с выступающей челюстью и ее фантастической одеждой. Оттолайн не входила в группу Блумсбери, но она вносила желанное послабление в ее строгие правила и была прекрасным противовесом ее зломыслию и культурному снобизму. Щедрая, умная, пусть и несколько нелепая аристократка — поклонница искусств, она считала своей миссией вдохновлять и продвигать писателей и художников, чего добивалась с большим успехом, не получая, конечно, никакой вполне ею заслуженной благодарности. Дункан стал постоянным членом ее салона. В 1912 г. он встретил там Нижинского. Первое появление Мейнарда на званом обеде в доме Оттолайн имело место не ранее четверга 15 июня 1911 г.

Поглощение Дункана его новой жизнью неизбежно отодвинуло в даль и Мейнарда, и Кембридж. Он стал захватывать в дом 29 на Фицрой-сквер — к Вирджинии и Адриану, одетый в чужие, непомерно большие для него брюки, загадочный, очаровательный. Его сближение с ними было подкреплено знаменитой «Проделкой с дредноутом» 20 февраля 1910 г., когда Адриан с друзьями отрядили его

исполнить роль императора Абиссинии в окружении монаршей семьи. В экзотических одеяниях, усыпанные драгоценными камнями, как подобает принцам крови, он и Вирджиния прибыли на стоявший на якоре в Уэймауте британский корабль вместе со своим «отцом», и на флагманском судне им были отданы королевские почести адмиралом, сэром Уильямом Фишером, кузеном Адриана, который был полностью введен в заблуждение своим высоченным (шесть футов, пять дюймов) родственником, замаскированным под переводчика. «Какая безумная затея! Вы хотите отправиться в тюрьму?» — с тревогой спрашивал Мейнард, когда сообщения о проделке, предоставленные одним из ее участников, появились на первых полосах газет. (Дункана матросы временно задержали, но в официальном порядке он отделался мягким порицанием со стороны Реджинальда Маккенны, первого лорда Адмиралтейства¹.)

28 февраля 1910 г. Дункан признался Мейнарду, что влюблен в Адриана Стивена. «У Адриана, — писал Дэвид Гарнет, — были необыкновенно невинные глаза: он смотрел ими на все происходящее, как ребенок в сказке Андерсена о новом платье короля — будто не верил тому, что эти глаза видят. Потом, не полагаясь на возможность изъясняться словами, он привлекал к себе внимание собеседника и либо корчил ужасную комическую рожу, либо раздражался смехом»¹⁹. Можно понять, почему Дункан с его глазом художника, наметанным на абсурд и нелепость, с его всегдашними подозрениями, что умные люди не принимают его в полной мере себе равным, должен был чувствовать себя в компании Адриана уютно и непринужденно. Мейнард сделал вид, что легко воспринимает его безумное увлечение. «Это выглядит замечательно, с точки зрения удовольствия», — написал он ему 3 марта. Замечание представляется неудачным. Но Мейнард уже понял, что вспышки взаимных обвинений и припадки отчаяния, как в

¹ Традиционное (до 1964 г.) наименование поста военно-морского министра.

случае со Стрэчи, только уничтожат их дружбу. Как только мог, он старался приспособиться к новой ситуации. Дункан не отставил Мейнарда; он просто добавил к нему Адриана; любовь Мейнарда к Дункану не умерла. Но он смирился с тем, что Дункан постепенно будет занимать все меньшее место в его жизни. И это помогло ему и принять новых друзей Дункана, и быть принятым ими.

17 марта 1910 г. Мейнард и Дункан отправились из Лондона в Марсель, где погрузились на пароход *Дунай* и в течение семинедельного отпуска побывали в Греции и Малой Азии. Они заняли на двоих большую каюту. К 22 марта Мейнард прочитал «почти половину Адама Смита. Это — замечательная книга». В Афинах они останавливались в гостинице с видом на Парфенон, а оттуда совершили недельную конную прогулку по Пелопоннесу. Своим родителям Мейнард расхваливал «замечательного Гермеса Праксителя» и «самый совершенный храм» Аполлона в Бассэ, но местом, наиболее впечатлившим путешественников, была древняя османская столица Брусса, где они провели неделю в городе, «переполненном мечетями, банями и мавзолеями». Возвращались через Константинополь и Берлин, в Англию прибыли 8 мая.

Тем летом Мейнард предпринял решительные усилия, чтобы закончить работу о вероятности, добавив новый раздел в оправдание индуктивных методов. «Нигде не найти на эту тему ничего ясного и удовлетворительного», — писал он²⁰. 7 июня Литтон, задержавшись в Кембридже, нашел «Общество... невероятно косным и метафизичным. Поццо об индукции — такой жесткий и грузный рядом с Готри, бедным старым Дикинсоном, Робинот Мэйором, Харди и остальными *en suite*». Мейнард продолжал работать над индукцией в Королевском колледже в течение долгих каникул. Работа оказалась для него очень трудной. «Я должен был переписать то, что я делал много раз, — сказал он Дункану 10 июля, — но думаю, что я действительно несколько продвинулся и мое заключительное описание природы научного аргумента лучше

любого другого. Но еще хватит времени сломаться». Первая глава по индукции была закончена 27 июля.

Проблема вероятности вернулась с ним в *Домик*, который он снова снял на лето в Бертфорде. Гости наезжали посменно. Дункану он объяснил: «Мне кажется, что вообще-то я не люблю пребывать в полном одиночестве. Больше работать, чем обычно, я не могу, а собственная душа изводит меня донельзя»²¹. Джеймс Стрэчи приехал 3 сентября из своей летней школы фабианцев и застал Мейнарда и Джеральда Шоува за обсуждением проблемы вероятности. «Признаюсь, мне необходимо ощущать хотя бы легкое прикосновение красивого артистизма, — докладывал он брату Литтону. — Они же не были особо привлекательными. По вечерам Поццо теперь раскладывает пасьянсы»²². Когда Стрэчи уехал, Мейнард отправился в одиночную велосипедную прогулку до Беркшира, прихватив с собой томик Харди. Он возвратился через три дня после двадцати проколов шин по дороге. Вероятность продвигалась получше. 19 августа ему уже казалось, что «конец теперь действительно виден». К 29 августа он закончил Часть III, состоявшую из шести глав об индукции и аналогии, и приступил к Части IV — разделу о применении установленных правил. К 25 сентября у него на руках был первый полный текст задуманной книги, и он рассчитывал той же осенью передать ее в типографию Кембриджского университета.

Лишь 14 сентября на две недели приехал, наконец, Дункан. Он провел недолгое время с Мейнардом в Кембридже в конце июля, но эта встреча успеха не имела. «Надеюсь только, что я вел себя не так невыносимо, чтобы сделать наше общение слишком невыносимым для тебя», — написал он после расставания. Вместо намеченного приезда в Бертфорд в августе он отправился с Адрианом проводить время в Скагнессе. Себе в утешение Мейнард прицепился к «молодой разбитной бабочке» Фрэнки Биррелл. «Я должен проверить, могу ли влюбиться в кого-либо, кроме тебя», — написал он Дункану.

Хотя они с Дунканом все еще время от времени занимались любовью, песочница их чувств пустела. Дункан взял за правило бегать трусцой к Адриану перед завтраком; он теперь часто проводил уикенды с Роджером Фраем в его доме около Гилдфорда. 17 декабря Мейнард написал записку из Фицрой-сквер, 21:

Дорогой Дункан.

Чувствую себя несчастным, не застав тебя здесь — хотя ожидал, что в конце концов ты появишься в доме 29. Не знаю, как быть с Лондоном — задерживаться ли? Ты теперь женат на Адриане, чего прежде не было. Так что, естественно, ты постоянно хочешь быть с ним, раз нет других обязательств. Стало быть, я едва ли буду тебя видеть, разве что ты по доброте своей сочтешь нужным сделать что-нибудь в этом направлении. Получается, что в своем положении я всегда буду принуждать тебя делать нечто такое, чего бы ты делать не хотел, и заставлять тебя раздумывать, сколь многого, собственно, требуют от тебя твои ко мне нежные чувства. Такого положения вещей я переносить не могу. Отвратительно наживаться на твоей доброте, и к тому же постоянно быть в неуверенности, появишься ли ты вообще.

Что ты думаешь? Мне кажется, что, когда мы только вдвоем, у нас все в порядке. Но если ты со мной, а Адриан в соседнем доме, ты чувствуешь себя оторванным от него и остаешься со мной только потому, что этого хочу я, а не ты. Пожалуйста, правильно пойми это письмо. Это — ошибка судьбы, а ни в коем случае не твоя. Но я чувствую себя очень разбитым и не знаю, что мне делать. Всегда любящий тебя

Дж.МК

PS. Пожалуйста, читая письмо, постарайся точно понять, какие оно вызывает у тебя чувства.

Дункан ответил на следующий день словами, которые далеко не были утешительными, хотя, вероятно, им предназначалась именно эта роль.

Дорогой Мейнард,

Пожалуйста, не впадай в такое уныние. Я надеюсь, что твоя депрессия — это по большей части результат страшной

усталости и переутомления от работы, потому что, честно, я не думаю, что все изменилось так, как ты думаешь. Конечно, когда я с тобой, я вовсе не всегда хочу быть с Адрианом. С одной стороны, быть с ним не всегда возможно, а когда я уверен в привязанности Адриана ко мне, я могу позволить себе быть, как ты это называешь, много «добрее», чем в случае, когда меня одолевают сомнения. Я просто имею в виду, что у меня не осталось прежних тревог и могу поэтому больше наслаждаться жизнью как угодно, включая и общение с людьми, которые мне нравятся.

Из совершенно практических соображений я должен, вероятно, бывать в студии в любом случае... в течение почти всего дня каждый день. Я мог бы проводить с Адрианом вечера, но порой это невозможно. Не знаю, как тебе нравится такое положение дел, но это означало бы частые встречи с тобой...

Твой

Дункан Грант

Мейнард нашел способ как-то восполнить образовавшийся пробел Сент-Джорджем. Сент-Джордж (как Мейнард и Дункан всегда его называли) был «милейший» парень-кокни по имени Фрэнсис Сент-Джордж Нельсон, семнадцати лет от роду в 1909 г., когда Дункан впервые пригласил его натурщиком. Он был занят в пантомимах и надолго исчезал, когда разваливалась его театральная труппа, а сам он вынужден был перебиваться гастрольями в прибрежных городах, и тогда на Мейнарда ложилась забота устраивать спасательные операции. Мейнард и Дункан искренне любили Сент-Джорджа, который отнюдь не был противником «игр и забав».

Свой последний предвоенный отпуск за границей Мейнард и Дункан проводили вместе в Марокко и Сицилии в марте-апреле 1911 г. И снова возникла неприятность с составлением плана поездки: Дункан настаивал на встрече с Адрианом в Италии. После нескольких дней в Тунисе («арабы замечательный народ — очень красивы и первая раса гомиков на моем пути», — сообщал Мейнард Литтону) они перебрались морем в Палермо, где пошли в оперу. В Та-

ормине они остановились в гостинице, которую содержали доктор и миссис Дэшвуд: гостям полагалось одеваться и выходить к столу как в английском загородном доме. В Седжесте они восхищались «одним из самых прекрасных [греческих] храмов на Сицилии». В Монреале они осмотрели величественный собор, «целиком покрытый картинами и мозаикой», после чего отправились в Сиракузы. На Дункана сильное впечатление произвели остатки византийской культуры, влияние которых скоро начало сказываться на его живописи; Мейнарда же весьма впечатлил итальянский язык Дункана. Отпуск закончился плохо. Дункан отплыл с Сицилии 9 апреля, оставив Мейнарда в компании сестры Литтона Дороти, которая была замужем за художником Симоном Бюсси. 15 апреля друзья пережили болезненное воссоединение в Неаполе:

Я отправил тебя только сегодня вечером [писал Мейнард], до предела утомленный, когда мои нервы и чувства были очень напряжены переживаниями дня. Ты пытался отрицать, что у меня есть какие-то чувства, и я думал, что в одиночестве я мог бы пожить неплохо. Но оказалось не так, и я должен написать это письмо, потому что в этом злосчастном городе чувствую себя несчастным и одиноким. Ты мог сделать меня намного более счастливым, если бы только твои чувства позволили тебе открыто сказать хоть одно доброе слово. Дорогой Дункан, я приехал, остро нуждаясь в каком-то внятном знаке привязанности, и хотя я чувствовал, что где-то в глубине у тебя такая привязанность таилась, ты выглядел подавленным и лишенным всякого желания что-либо мне дать.

Рана, нанесенная холодностью Дункана, лишь частично затянулась за три дня, проведенные на вилле *И Там-ти*, где он застал Джеффри Скотта, и дал своим нервным тканям подсушиться в горячих лучах все более и более плодотворного художественного партнерства Беренсона с Джозефом Давином.

Последовавшие затем месяцы были безрадостным временем в жизни Мейнарда. Дункан служил ему эмоциональной опорой, которая теперь рушилась. Кутерьма со-

ставлявшихся и распадавшихся вокруг него браков стала напоминать о неопределенности его собственных перспектив. Жак Равера и Гвен Дарвин, Оливер Стрэчи и Рей Костелло, Фэй — все они капитулировали летом 1911 г. Даже Фёрнес, во время отпуска, объявил о своем намерении жениться.

Однако, вопреки опасениям Литтона, Мейнард пришел в себя гораздо быстрее. Книга о вероятности осталась незавершенной, потому что в результате разногласий с Карлом Пирсоном (см. выше.) он решил все же добавить еще один раздел о логических основаниях статистики²³. Большую часть июля и августа 1911 г. он провел в Королевском колледже, работая над дополнительными главами, хотя мучительные грезы о Дункане постоянно заставляли его просыпаться в слезах. Бывали обычные развлечения. Он навестил Руперта Брука в Грэнтчестере, где появился Джеффри, «более чем всегда похожий на дерево или еще какой-то объект природы»²⁴. Возник умеренный флирт с Джастином Бруком, напомнившим Мейнарду «фавна или какого-то подобного обитателя леса». Когда статистика приедалась, он ускользал в Лондон «полюбоваться ногами мистера Нижинского»²⁵. Была краткая поездка в Корт-плейс, где он останавливался у Мэри Беренсон. Оттуда 29 июля он написал Дункану: «Мы отправляемся на пикник с полной ватагой Оливье. Что я, бедный, буду делать посреди такого обилия женской красоты?» К 22 августа он (как сам говорил Литтону) был «совершенно одиноким читателем бесконечных и ужасных немецких книг и был бы вполне доволен жизнью, если бы не этот сердитый отросток, тщетно требующий для себя немного возбуждения».

Угмонить отросток удалось за несколько дней, проведенных в конце августа в кемпинге в Девоне с несколькими женщинами — Вирджинией Стивен, Ка Кокс и Дафной Оливье. Отцу Мейнард написал, что «лагерная жизнь вполне мне подходит. Жесткая земля, утреннее купание, отсутствие мясной пищи и никаких стульев — и

ничто из этого не приносит никаких ожидавшихся огорчений». Но Дункан приехать отказался. Он провел начало лета в Дербенсе с Роджером Фраем и Ванессой Белл, которые только что стали любовниками. Теперь он оставался в Лондоне, разрисовывая стены Политехнического городка купальщиками и футболистами, которые рецензенту *'Таймс'* напоминали скорее «первобытных обитателей Средиземноморья на заре истории», чем купальщиков-кокни в сегодняшнем Серпантине¹. По возвращении в Кембридж Мейнард был «целиком во власти одиночества и жары. Одно из моих утешений брать каждый полдень несколько книг с полки и относить их мистеру Стокли в переплет. После этого я бреюсь»²⁶. Посещение Дункана в Лондоне в начале сентября обернулось полной неудачей и оставило у него чувство унижения. «Я всегда так сильно хочу тебя видеть, что очень страдаю, если как раз при возможности повидаться хотя бы на короткое времени нечто вдруг появляется внутри твоей души и встает между нами». В отчаянии он затащил мальчика на Фицрой-сквер, 21. «Он сказал мне, что сейчас их гораздо меньше, потому что на прошлой неделе полиция усердствовала и схватила двоих». Несмотря на случаи вроде этого, Мейнард, как он говорил Дункану, «никогда особенно не поддавался... механическим способам удовлетворения похоти»²⁸. Ему прежде всего нужна была нежная привязанность, и он не мог больше добиться ее от Дункана.

По возвращении из Лондона новое приключение отвлекло его от занятий проблемой вероятности. Героем события стал индеец по имени Бимла Саркар («Жених Богини Чистоты»), который прибыл в Кембридж прошлой осенью с целью поступления в один из колледжей. Однако преуспел он только в накоплении долгов, которые его отец отказался платить. Что впервые свело с ним Мейнарда, неизвестно. Во всяком случае он взялся расхлебать кашу. 16 марта 1911 г. Саркар писал ему, что «пока я жив, со

¹ Искусственное — узкое, змеевидное — озеро в Гайд-парке.

мной всегда будет самая благодарная память о вашей ко мне доброте». Он решил, что хочет изучать экономическую теорию под руководством Кейнса. Когда в сентябре после летнего лагеря с неоязычниками Мейнард вернулся в Королевский колледж, он нашел Саркара в ожидании. «Сегодня я провел много времени, вникая в его дела и стараясь его утешать и переубеждать», — говорил Мейнард Дункану 7 сентября.

Он — странное и очаровательное существо. Я не знаю, как и чем кончатся наши отношения. Сегодня весь день я испытывал к нему самые яростные сексуальные чувства; и он со своей стороны нанес мне четыре-пять визитов под тем или иным предлогом, сказав под конец, что приходит, потому что в любом ином месте чувствует себя крайне несчастным.

Саркар стал еще одним протеже Мейнарда. Он устроил его в Клэр-колледж, но вскоре тот должен был уйти оттуда, поскольку его отец отказался посылать деньги. Мейнард поддерживал его в течение нескольких месяцев, но под конец пригрозил передать репатриационным властям. Саркар отказался: позор был бы слишком велик. Постепенно его положение улучшилось. Он нашел дядю, взявшегося содержать его в Лондоне. Мейнард продолжал видеться с ним, подбрасывал подарки и помогал в критические минуты²⁹.

Заключительное развлечение этого одинокого лета было преподнесено политикой. В середине сентября Мейнард отправился с Джеральдом Шоувом в двухнедельный тур по Ирландии с группой из пятидесяти парламентариев от Либеральной партии — членов Клуба-80, в котором он также состоял. Компания политических деятелей была замечательным средством восстановить веру в себя. «Ты, полагаю, никогда тесно не общался с политиками, — писал он Дункану 3 октября. — Они ужасны. Некоторые, я думаю, просто отбросы общества, но я обнаружил (раньше не считал это возможным), что политики ведут себя в частной жизни так же и говорят точно те же слова, как и

публично. Их глупость бесчеловечна». Мейнард в конечном счете сумел улизнуть от своих «50 надутых спутников» и провести неделю в одиночестве. Ирландию, кроме Голуэя, он нашел, огорчительно лишенной какой-либо таинственности. Сельская местность вокруг Гленгариффа показалось ему точно такой, какой ее сотворил бы обладавший профессиональным вкусом хозяин гостиницы; «хотя местность здесь дикая и почти необитаемая, мне чудится, будто когда-нибудь около 1850 г. королева Виктория и Принц-консорт сдернули с нее покрывало и объявили открытой». Поездка, говорил он матери, сделала его сторонником гомруля, хотя «совершенно ясно, что народ сейчас в целом процветает и что обстановка и настроения двадцатилетней давности исчезли навсегда»³⁰. Эти замечания — еще один образец политического самодовольства Кейнса перед Первой мировой войной.

Он возвратился в Кембридж в намного лучшем настроении. Дункану он написал 31 октября: «Сегодня вечером я чувствую себя необычайно счастливым и очень влюбленным в тебя, причем так, будто это ни в малейшей степени не зависит от того, что ты делаешь и кому даришь свою любовь. Но предполагаю, что это — временное помешательство».

XI

Индийское золото

1. Смена обстановки

Кейнс был одним из тех редких людей, которые умеют держаться на высшем уровне и в мыслях, и в действиях. Его жизнь делится на циклы или стадии, в которых центр тяжести перемещается с одного на другое. Эти сдвиги определялись тем, что происходило в мире. В иные времена, особенно в периоды двух мировых войн, возростал спрос на практический гений Кейнса, и от его применения он получал большее удовлетворение в жизни. Но циклы можно представлять себе также в понятиях действий и противодействий. Большое интеллектуальное напряжение требует затем для себя выхода в практической деятельности, а практическая деятельность побуждает, рано или поздно, стремиться к монастырскому затворничеству. До 1914 г. желание монастырского уединения преобладало у Кейнса частично потому, что в это время он более всего находился под непосредственным влиянием философии Мура, а частично потому, что характер его сексуальных отношений вписывался в личную жизнь лучше, чем в общественную, и это обстоятельство имеет существенное значение даже сегодня, и тем большую роль оно играло тогда, когда гомосексуализм был вне закона и угроза шантажа намного опаснее.

По мере того как он приближался к своему тридцатилетию, все более стала заявлять о себе практическая,

административная, мирская сторона его характера. Хребет вероятности был наконец перебит в 1912 г. К тому времени завершилась также его история с Дунканом. Ему нужна была работа, требовалось больше «развлечений», чтобы заполнять пустые часы. Если уж он втягивался в какое-нибудь дело, желание делать его досконально, а также присущая ему быстрота исполнения всех начинаний гарантировали, что его вовлеченность в развернутую деятельность непременно будет крепнуть и углубляться.

Первый случай такого резкого переключения с одного на другое может быть отмечен еще в дни его кембриджской жизни в предвоенное время. Письмо, написанное Дункану в ноябре 1910 г., хорошо раскрывает тогдашние его настроения:

У меня очень мало нового, поскольку я был очень занят, и вроде бы все более и более обрастаю вполне деловыми обязательствами. Но стоит мне с ними покончить, как я чувствую себя недовольным собственным существованием. Собираюсь немного включиться в избирательную кампанию. А в свободное время расположен играть в бридж. Порой это меня развлекает, но, как говорит Сент-Джордж, в конечном счете быть довольным собой — не самое лучшее. И будущее не сулит ничего лучшего, потому что я отчаянно хочу и одновременно не хочу этим заниматься. На днях ректор послал за мной, и я пошел, пытаюсь догадаться что ему от меня надо. Оказалось, он только хотел знать, не согласился ли бы я в скором времени стать казначеем Колледжа (то есть управлять недвижимостью Колледжа). Я сказал, что готов, если это не потребует много работы, отвлекающей от более серьезных занятий. В этом случае мое пребывание в ученом сообществе станет постоянным, и это, конечно, будет меня немного развлекать. Мередит возведен в профессора в Белфасте, и я, вероятно, смогу получить университетский лекционный курс, от которого он откажется. [Мейнард получил пятилетний лекционный курс по экономической теории в декабре 1910 г.] Почему так трудно провести черту между свободой от всяких рутинных занятий и чересчур большим объемом работы?

Мейнард стал постоянным членом ученого сообщества в июне следующего года, когда получил в колледже должность лектора, то есть младшего преподавателя экономической теории. Но предложение ректора указывает, в какой области жизни колледжа начало проявляться его влияние. Все связанное с финансовым управлением «развлекало» его, и он уже стал критическим взглядом оценивать счета колледжа, инспектором которых был назначен в 1909 г. В 1911 г. он прошел квалификационное испытание, позволившее ему стать членом *Комиссии по недвижимости*, и это положение вдохновило его на организацию кампании против консервативной администрации казначеев, Гранта и Корбетта, считавших, что обслуживание колледжа и инвестиции следует держать на голодном пайке, ради накопления наличных средств. Собрав вокруг себя молодых сотрудников — в число которых теперь вошел Диллвин Нокс — он добился осуждения политики казначеев на ежегодном собрании колледжа 11 мая 1912 г. Как мятежник-победитель он был, естественно, введен в *Комитет казначеев*. Его восхождение на сам казначейский корабль было теперь предопределено. В 1912 г. он вошел в комиссию голосующих за прием в ученое сообщество, и это предполагало, что ежегодно он должен был прочитывать несколько огромных диссертаций на какие угодно темы. Эти разросшиеся обязанности по работе в колледже нагромодились на полностью сохранившиеся прежние заботы об университетском хозяйстве. Он по-прежнему состоял в комитетах *Союза и Либерального клуба*. Он неукоснительно присутствовал на собраниях большинства старых обществ, и в 1911 г. был приглашен Мактаггартом войти в новое — *Eranus*. Он все больше интересовался явлениями психики, регулярно посещал встречи *Университетского общества психических исследований* и в 1911 г. вошел в состав его комитета. Были ли какие-то проблемы с психикой у него самого — документы умалчивают. Но любопытно, что это был своего рода кивок в сторону Генри Сиджвика, чьи по-

пытки эмпирически установить бессмертие души Кейнс так безжалостно высмеивал в 1906 г.

«Развлечения» Кейнса ни в коем случае не затмевали серьезных сторон его жизни в Кембридже, прежде всего поисков дружбы. Он «улетел» от *Апостолов* в ноябре 1910 г., прочитав в *Обществе* в течение почти восьми лет двадцать докладов. Тем не менее в друзьях у него все еще оставались главным образом *Апостолы*, в то время как смотр «эмбрионов» по-прежнему приносил эмоциональное удовлетворение, правда все менее и менее глубокое. К 1911 г. его самым близким другом в Кембридже был Джеральд Шоув — «молчальник Шоув», как прозвал его Руперт Брук, — человек, подверженный мрачным состояниям духа, но не чуждый неистовых, дерзких порывов и порой склонный вести себя как богохульствующий сорвиголова, что Мейнард было по вкусу. Вместе они ходили смотреть состязания университетских атлетов, причем Шоув был совершенно зачарован красотой Филипа (позднее Ноэля) Бейкера*, студента Королевского колледжа, бежавшего на дистанции в полмили. Высказывалась догадка, что обмороки, случавшиеся у Пигу, имели ту же причину. В марте 1912 г. они с Мейнардом устроили себе праздник «чревоугодия и азартных игр» в Монте Карло — первые в течение трех лет пасхальные каникулы, которые Мейнард проводил без Дункана.

Романтические интересы Мейнарда звали его в другую сторону. Весной 1912 г. было кратковременное «приключение» с новичком Королевского колледжа по имени Честер Пёрвес. Но тем же летом он более серьезно увлекся Гордоном Ханнингтоном Люсом из Эмманьюэл-колледжа (одним из выдающихся студентов, поступивших тогда в этот колледж), Он стал *Апостолом* в январе 1912 г. Люси, как друзья его называли, был тринадцатым сыном бедствовавшего священника, светловолосым и крепко

* Впоследствии политический деятель, лейборист, лауреат Нобелевской премии 1959 г.

сложенным, наделенным поэтическими амбициями. Мейнард очень полюбил его и взял на себя обычную роль покровителя, помогал ему деньгами, чтобы тот не оставлял своих занятий английской литературой. Люс отвечал ему нежной привязанностью, и роман этих двух мужчин недолгое время расцветал летом 1912 г. Но у честолюбивых поэтов без средств в Англии перспектив было немного, и, подобно Суизинбэнку, Люс решил отправиться на Восток. Мейнард использовал свои связи в Управлении по делам Индии и выхлопотал для него работу преподавателя английской литературы в правительственном колледже в Рангуне. Он сел на корабль в сентябре 1912 г., сопровождаемый Фёрнесом, который возвращался в Египет, и Э. М. Форстером и Лоусом Дикинсоном, отбывавшими в Индию. В Бирме он встретился с Суизинбэнком, который нашел его изможденным, красивым, но бледным, «нежным, но настроенным распоряжаться... не холодным, но несколько замкнутым»¹. Люс, к великому разочарованию Мейнарда, вскоре женился на бирманской девушке Тити Моунг Тин. Дружба их, однако, это пережила.

Спустя несколько дней после отъезда Люса в Бирму Мейнард поехал в Венгрию навестить другого *Апостола*, Ференца Бекасси, аристократического друга Ноэля Оливье, выпускника школы Бидейла, в октябре 1911 г. поступившего в Королевский колледж для изучения истории. Он был далек от того, каким обычно надлежало быть *Апостолу*. Предпочитал Ницше Муру, а действие — созерцанию, но при этом имел также склонность к поэзии. Мейнард провел две сентябрьские недели 1912 г. в его наследственном доме, в средневековой роскоши, навевавшей думы о России Толстого; возвращался он через Вену, где сильное впечатление произвели на него «множество новых зданий в стиле плоской архитектуры» и «поразительные» полотна Брейгеля².

Именно по возвращении из Вены судьба свела его с одним из самых прекрасных произведений той блестящей культуры — стройным молодым человеком двадцати трех

лет, светловолосым, синеглазым, одержимым страстью к философии. Имя его было Людвиг Витгенштейн. По воле своего отца, промышленника-миллионера, Витгенштейн записался в манчестерский университет для изучения аэронавигационной инженерии, пребывавшей тогда в зачаточном состоянии. Но прочитав *'Principles of Mathematics'* ('Основы математики') Рассела, он был пленен *Парадоксом Рассела** и решил, расставшись с попытками конструировать самолеты, заняться изучением философии в Кембридже под руководством Рассела. Мейнард был представлен ему Расселом 30 октября 1912 г. и сразу признал в нем гениального человека и две недели спустя устроил его избрание в *Апостолы*, пропустив мимо ушей предупреждение Рассела, что благодарности от Витгенштейна он за это не услышит. Рассел был прав. Витгенштейна привела в отчаяние мысль о необходимости проводить субботние вечера в компании Бекасси, которого он не переваривал как венгерского аристократа, да еще и Фрэнсиса Блисса, студента-новичка, у которого начисто отсутствовала философская жилка. После одного собрания Витгенштейн заявил о своем уходе, пожаловавшись Кейнсу, что *братья* пока не научились, как вести себя в туалете³. Литтон Стрэчи убедил его отозвать заявление об уходе, но посещать собрания Витгенштейн прекратил. Кейнс видел в нем «замечательную личность... мне чрезвычайно нравится его общество»⁴. Витгенштейн выказал широту своей души, когда выделил 200 фунтов в год на то, чтобы освободить У.Э. Джонсона от преподавательской нагрузки. Но отношения с этим колючим гением никогда не были легкими. Недоразумения, которыми у всех были отмечены деловые отношения с ним, становятся понятным из его записки Мейнарду, занимавшемуся деталями практического использования предложенного Витгенштейном

* Рассел представил в логико-математической форме знаменитый парадокс о критяnine, утверждающем, что критяне всегда лгут. Если это правда — значит, он лжет. Если лжет — значит, говорит правду.

дара. «Большое спасибо за труд, который вы взвалили на себя в связи с моим делом. Причина, по которой мы не виделись чаще в последнем триместре, в том, что я не желаю продолжать наше общение без какого-либо знака, подтверждающего, что этого общения хотите вы»⁵.

Двумя студентами Мейнарда, не ставшими экономистами, но превратившимися в близких личных друзей, были Сидней Рассел Кук («Куки»), впоследствии биржевой брокер, и Арчибальд Роуз, уже дипломат. У Мейнарда был роман с «Куки», длившийся несколько месяцев в 1913–14 гг.; они вместе скромно играли на Фондовой бирже. Арчибальд Роуз был студентом, имевшим за плечами тринадцать лет консульской службы в Китае, — очень маленький, скрупулезный человек, с забавными манерами, изучивший язык мандаринов и неплохой жокей-любитель. Мейнард приобщил его к экономическим знаниям, а Роуз Мейнарда — к верховой езде. В 1912 г., когда Мейнард бывал в Кембридже, они, как правило, совершали по субботам послеполуденные конные прогулки. Роуз, снова уехавший на Восток в 1913 г., был одним из немногих близких друзей Мейнарда, кто понимал активную сторону его личности и кому она нравилась. «Я хочу, чтоб у тебя была своего рода «пересадочная станция» где-нибудь вне Кембриджа. Это кажется мне необходимым тебе для самореализации», — писал он ему из Дели 4 февраля 1914 г. 24 июля того же года он убеждал его делать «что-нибудь прежде всего практически». Его пожеланию суждено было осуществиться раньше, чем он ожидал⁶.

Кук и Роуз были друзьями, не принадлежавшими к обычному миру Мейнарда. Им не было никакого доступа в общую среду кембриджских *Апостолов*, эмбрионов и неоязыческих женщин, которые все еще собирались в деревенских гостиницах, чтобы беззаботно проводить праздники, подперченные интригами и сплетнями. На новый 1912 г. Мейнард присутствовал на собрании-вечеринке — «чтениях», устроенных Рупертом Бруком в Западном Лулуорте, в Дорсете. Пока Мейнард писал конспекты лекций для оче-

редного триместра, Ка Кокс, повергая в ярость Руперта, разводила шашни с живописцем Генри Лэмом. С меньшим успехом тем же занимался Литтон Стрэчи. Этот новогодний праздник стал определенной вехой в культурной истории времени, ибо положил начало отчуждению Брука от Блумсбери и его перерождению из интеллектуала-фабианца в сержанта-шовиниста в 1914 г.⁷

Сам Мейнард поселился в гостинице *Корона* в Эверли, близ Мальборо на июль-август 1912 г. Это был еще один случай неоязычества с участием трех сестер Оливье, появившихся вместе с Ка Кокс, отвергнутой Рупертом и зализывавшей открытую еще рану. Брингильда, самая красивая, пусть и не самая умная из девиц Оливье, была в это время очень увлечена Мейнардом. Это доставляло ему удовольствие, достаточное, чтобы брать ее с собой в конные прогулки. Но она никуда с ним не продвинулась и вскоре вышла замуж за таможенного чиновника А.Э. Попхэма. Мейнард все еще воспринимал женщин как посторонних, вторгающихся в его монастырь, если только речь не шла о таких, как Ванесса или Вирджиния, от которых не исходила угроза эмоционального смятения. Из *Короны* он написал Дункану 26 июля:

Меня не очень трогает атмосфера, создаваемая этими женщинами, и здешнее сборище мне нравится гораздо меньше того, что было на прошлой неделе. Рождество прошло очень хорошо, а Дафна очень невинная. Но Брингильда слишком глупая, и я начинаю испытывать к ней сильную неприязнь. Из окна я вижу, как Руперт занимается с ней любовью... держит ее руку, сидит у ее ног, пристально глядит в ее глаза. О, эти любители женщин. Как и что, черт возьми, он, собственно, может сделать?

Отношения Мейнарда со своим семейством в предвоенные годы также менялись. Он все меньше зависел от отца и все больше оказывался под влиянием матери. В октябре 1910 г., в возрасте пятидесяти восьми лет, Джон Невилл Кейнс стал управляющим делами Университета, за-

нял должность, которую исполнял с образцовым тактом и здравым смыслом в течение пятнадцати лет. Шестью месяцами позже его сделали почетным членом ученого сообщества его старого колледжа, Пембрука. Наконец, железная хватка обязанностей начала ослабевать. Количество его рабочих часов упало с двух тысяч в 1910-м до полутора тысяч в 1913 г. В отличие от этого, энергия Флоренс продолжала нарастать, ее жажда деятельности была не утолимой. В 1911 г. она была избрана городским советником Кембриджа; вошла в комитет Национального совета женщин. Она путешествовала по всей Англии, посещая то одну, то другую конференцию. Накручивая педали своего велосипеда, она стала всем хорошо знакомой, хотя и не совсем безопасной, участницей дорожного движения в Кембридже. Она все время мчалась, чтобы успеть внести свой вклад то в одно, то в другое доброе дело: то ее вызывал Комитет здравоохранения, намечавший срочные санитарные меры, то она искала средства устранения безработицы среди молодежи. Для друзей Мейнарда она была «доброй матушкой Кейнс». Неясно, что, если вообще хоть что-нибудь, знала Флоренс о сексуальной ориентации Мейнарда. «С мамой и Маргарет у меня был ужасный разговор о браке, — написал он Дункану Гранту 11 октября 1910 г., — и по существу я должен был признать, что я собой представляю. Что они поняли — не знаю». Возможно, Флоренс что-то подозревала; в любом случае она оставалась ему преданной и гордой его успехами. Он платил ей такой же преданностью. Не было между ними никаких разрывов, никаких ссор, были только развитие отношений и их изменения.

Менее успешно складывались отношения Мейнарда с Джеффри. Он был весьма доволен, услышав, что брат занял первое место на конкурсных экзаменах для поступления в ученое сообщество Больницы Святого Варфоломея, что было первым шагом в его врачебной карьере. «Пожалуйста передай ему мои поздравления, — написал он Невиллу 30 сентября 1910. — Мы и вправду за-

мечательное семейство, если поглядеть как мы все, на круг, выгядим на испытаниях. Может быть — я надеюсь — самое замечательное в королевстве. Если только система конкурсных испытаний продержится еще двести-триста лет, мы станем, я уверен, Королевской семьей». У Джефффри был тот же, в значительной мере, двойственный характер, что и у Мейнарда, — характер ученого, который превыше всего ставил искусство. К 1911 г. он представил в университетскую типографию Кембриджа свою первую библиографию произведений Блэйка. (Она была отвергнута.) Он собирал антикварные книги, любил балет, дружил с Рупертом Бруком и скульптором Эриком Джиллом (Мейнард купил пару его скульптур). Но ему не доставало поэтического начала. Мейнард же в своих близких всегда хотел чувствовать долю воображения. Джефффри жестоко страдал от равнодушия брата и очевидного предпочтения, которое родители отдавали Мейнарду. Отказ отца выдать Джефффри 350 фунтов на покупку шедевра Блэйка был для сына жесточайшим ударом. «Блэйк — это культ», — отрезал Невилл, обрывая разговор. В противоположность этому, Невилл все более доверял финансовым суждениям Мейнарда, передав ему в управление приданое Флоренс, составлявшее 5000 фунтов стерлингов. Но в основном Джефффри держал свои переживания внутри; они по недосмотру вырвались наружу только в его автобиографии, написанной семьюдесятью годами позже. Внешне жизнь семейства по-прежнему протекала гладко.

С сестрой Маргарет Мейнард был намного ближе. «Вчера Маргарет приехала ко мне позавтракать, и вместе нам было очень хорошо, — говорил он Дункану 1 июля 1910 г. — Она очаровательна; думаю, намного милее твоего ужасного Джефффри». Конкурсные успехи Маргарет, по меркам Кейнса, были скромными — «два вторых приза за работу с однолетними растениями и третий с бобовыми», — сообщал Мейнард родителям. Однако в феврале 1911 г. он нашел «необыкновенно хорошей» ее брошюру *Проблема*

мальчишеского труда' (*The Problem of Boy Labour*) — «так написано, что и читать интересно, и даже чувства пробуждает»⁸. До замужества в жизни Маргарет была большая любовь — Эглантайн Джебб, с сестрой которого Дороти они вместе были в Ньюеме. Близость между Мейнардом и Маргарет была углублена тем, что он знал об этих отношениях. В феврале 1913 г., после недолгого ухаживания, включавшего совместную работу в одном комитете, Маргарет была помолвлена с физиологом А. В. Хиллом, членом ученого сообщества и помощником декана в кембриджском Тринити-колледже. Они поженились в июне 1913 г. и родили дочь, которой дали имя Мэри Эглантайн, но называли всегда Полли. Хилл был человеком «ужасающе пуританских нравов, но это ее устраивает», — рассказывал Мейнард Дункану⁹.

В 1908 г. Мейнард уехал из Лондона в Кембридж, а теперь его все более и более тянуло опять в Лондон. С осени 1911 г., когда он начал редактировать *‘Экономический журнал’*, правилом для него стало проводить середину недели в столице, и так продолжалось до 1937 г.

По-новому установленная регулярность его посещений совпала с общим требованием пересмотра порядков проживания в Блумсбери. Вот как это описывает Квентин Белл:

Срок арендного договора на дом 29 на Фицрой-сквер истекал; Вирджиния и Адриан, измученные, вероятно, своей склочной жизнью tkte-a-tkte, предложили произвести домашнюю революцию: разделить дом — предполагался большой дом — с другими друзьями; имея это в виду, они стали приглядываться к одному дому на Бедфорд-сквер, но только № 38 на Брунsvик-сквер, куда они переехали в октябре [1911 г.], оказался как раз тем, чего они хотели¹⁰.

Эта революция устраивала Мейнарда, который был физически стеснен и чувствовал себя эмоционально угнетенным в своей задней комнате у Дункана. Арендный договор на дом 38 на Брунsvик-сквер был составлен на его

имя. Он взял себе комнату в цокольном этаже, простиравшуюся вдоль всей длины дома. Адриан занял первый этаж, Вирджиния — второй. Пару месяцев спустя вернувшийся с Цейлона Леонард Вулф поселился на самом верху. Ванесса решила, что он ей «очень нравится... Конечно, он очень умный и, пожив в диких местах, приобрел, похоже, более интересное видение мира, чем то, что есть у большинства нашей «компашки»»¹¹. Вирджинии было поручено ведение домашнего хозяйства. Жизнь была коллективной, но питание индивидуальным; каждый «житель», как выражалась Вирджиния, брал себе в зале поднос и по окончании трапезы относил на место. Квартирная плата, сбором которой занималась Вирджиния, колебалась от 35 шиллингов до двух фунтов в неделю. «Единственно, что, кажется, не подлежит сомнению, — писала Вирджиния Оттолайн Моррел, — это, что дом обеспечивает самую дешевую жизнь, а если у вас есть дом, у вас должна быть прислуга»¹². Такая организация дела оставалась основой коллективной жизни холостых и незамужних поселенцев Блумсбери в течение следующих десяти лет или около того.

Мейнард оставался на Брунсвик-сквер, 38 три года. За это время многое переменилось. В августе 1912 г. Леонард Вулф женился на Вирджинии Стивен, и в октябре они оба съехали. В январе 1913 г. комнату Леонарда на самом верху занял брат Мейнарда Джеффри. В своей автобиографии Джеффри счел нужным особо подчеркнуть, что он никогда не входил в группу Блумсбери и к некоторым ее членам — особенно Клайву Беллу и Гарри Нортону — испытывал большую неприязнь¹³. К Вирджинии он ближе всего подошел в сентябре 1913 г., когда спасал ей жизнь после того, как она приняла сверхдозу веронала в комнате Адриана. Не то чтобы Вирджиния питала особо нежные чувства к Мейнард. «Нет: пребывание в Испании не прибавляет мне любви к нему», — писала она Ка Кокс во время своего медового месяца¹⁴. Джеральд Шоув и Генри Нортон в разное время занимали прежние комна-

ты Вирджинии. В эти годы значительно преобразилась также комната Мейнарда, когда Дункан и Фредерик Этчеллз расписали ее стены уличными сценами в стиле Синьяка. В центре композиции было столкновение двух изящных кэбов. Едва ли Мейнард считал, что это может подействовать успокоению его нервов. Но ведь его лондонская жизнь предназначалась для волнений, а не для покоя.

Бродили слухи, не более того, что в 1920-е гг. Мейнард имел планы подвести более прочную основу под свое лондонское существование. Возникали разговоры о директорстве в Городском управлении и о должности редактора газеты *'Морнинг пост'* (*'Morning Post'*), но все кончилось ничем¹⁵. Его почти сделали председателем фонда *Джилкрайст*, но в конечном счете опекуны решили, что предпочтение надо отдать скорее «прошлому опыту», чем «свежей крови»¹⁶. Он отклонил работу консультанта с окладом 200 фунтов¹⁷. Используя свое членство в клубах, где регулярно, поочередно в Кембридже и Лондоне, собирались на обеды люди, занимавшиеся экономической теорией, как и связи в Клубе политической экономии, он начал устанавливать контакты с журналистами, пишущими на финансовые темы, например, с Ф.У. Херстом, редактором *'Экономиста'* (*'Economist'*), а также с банкирами и деловыми людьми, могущими оказаться полезными в будущем. Он начал вкладывать в акции часть собственных сбережений, как и деньги, откладываемые на дни рождения Невилла. В 1914 г. он начал также проводить спекулятивные операции, воспользовавшись разрешением его банка *Барклиз* превысить кредит по своему счету на тысячу фунтов, а также займом на тысячу фунтов, взятым у Роджера Фрая. Нарисованный им в 1919 г. портрет «довоенного жителя» Лондона, который снимает телефонную трубку и, лежа в постели и попивая утренний чай, может вложить свои деньги в любое дело в любой точке мира, — этот портрет стал уже все больше обретать сходство с ним самим.

2. Денежное обращение и финансы Индии

Сохранившийся у Кейнса интерес к индийским финансам выходил за пределы его связи с Бимлой Саркаром. После своей отставки из Управления по делам Индии он играл деликатную роль общественного защитника и частного критика развития финансовой системы Индии. В весеннем триместре 1911 г. он выступил в Лондонской школе экономики и в Кембридже с шестью лекциями на тему *‘Деньги, финансы и уровень цен в Индии’*. Эти лекции легли в основу доклада *‘Последние сдвиги в денежном обращении Индии’*, который он прочитал в Королевском экономическом обществе 9 мая 1911 г. Как обычно, он показывал проект доклада Лайонелу Абрахамсу, финансовому секретарю Управления по делам Индии, где статус критика был за Мейнардом закреплен особой лицензией.

Мейнард уловил суть денежной системы Индии, а именно то, что она представляла собой не половинчатый или прихрамывающий золотой стандарт, а «более научную и экономическую систему», пролагающую путь к прогрессу в денежном обращении, к тому, что он назвал «золотообменным» стандартом. «Если золото требуется только для платежей за границу, а не для внутреннего обращения, — писал он в феврале 1910 г., — дешевле в одном из больших финансовых центров мира открыть кредит, который при необходимости может быть по первому требованию конвертирован в золото и на который, при отсутствии спроса на золото, будет начисляться небольшой процент»¹⁸. Общая идея явилась намного раньше, чем он был готов работать над выводами относительно ее практических последствий. Но, как он сказал в Королевском экономическом обществе, он был убежден, что эта система разовьется в создание «валюты будущего». Даже не приступая еще к чтению своих лекций в Лондонской школе экономики, он начал подумывать о превращении их в «небольшую книгу»¹⁹.

Решение порвать с вероятностью и написать книгу об Индии явилось внезапно в начале ноября 1912 г. Денежная система Индии стала на недолгое время вопросом общественного внимания из-за разразившегося в начале месяца индийского «серебряного скандала», отголоска бушевавшего тогда куда более крупного «скандала Маркони». Связующей нитью между ними были распространявшиеся утверждения, что кое-какие видные деятели, некоторые среди них евреи, использовали свое политическое положение в целях личного обогащения, передавая правительственные контракты фирмам, в которых у них были личные финансовые интересы. *‘Таймс’* поместила пять статей о финансовой системе Индии; в палате общин один за другим задавались вопросы на эту тему.

15 декабря Кейнс подписал контракт с издательством *Макмиллан*, взявшись написать книгу о денежных делах Индии; одновременно он решил, что его книга, по вероятности, также должна быть издана *Макмилланом*, а не издательством кембриджского университета, создававшим трудности с передачей пока еще не законченной им рукописи в типографию. Оба контракта с *Макмилланом* предусматривали равное половинное участие автора и издательства в прибыли от издания книг. Привлекательнейшей стороной этого сотрудничества было то, что Мейнард у предстояло иметь дело со старым итонским другом Дэниелом Макмилланом.

Книга (название которой изменили на *‘Индийские деньги и финансы’*) была написана удивительно быстро, в основном за время рождественских каникул. 3 марта 1913 г. Невилл уже начал читать гранки — за два дня до отъезда Мейнарда в Египет, где он собирался провести время с Фёрнесом, занявшим высокую должность в египетском министерстве внутренних дел, что сулило Кейнсу «все развлечения, сделавшие Гоморру таким широко посещаемым курортом в добрые старые времена». Во время пребывания в Египте он принял предложение своего прежнего начальника сэра Томаса Голдернесса войти в состав Ко-

ролевской комиссии по денежному обращению и финансам Индии, созданную правительством, чтобы утихомирить своих критиков. Этой высокой чести Мейнард удостоился за два месяца до своего тридцатилетия.

Книга *‘Индийские деньги и финансы’* открывалась описанием эволюции и перечнем достоинств золотообменного стандарта, системы, основанной на бумажных деньгах, имеющих паритет с золотом, искусственно поддерживаемый за счет заграничных кредитов в фунтах стерлингов, в противоположность собственно золотому стандарту, при котором золото служит и деньгами для внутреннего обращения, и резервом для погашения долгов за границе. Обладая отнюдь не второразрядным статусом, золотообменная система, утверждал Кейнс в получившей заслуженную известность главе второй, будет соответствовать «господствующей тенденции эволюции денег», потому что позволит экономить золото и во внутренних, и в международных расчетах, повышая таким образом «эластичность» денег в зависимости от деловых потребностей. Устремляя свой взгляд за пределы Индии, Кейнс предвидел, что международный золотой стандарт уступит место научно более обоснованной системе, опирающейся на один или два центра резервной валюты. «Предпочтение физически осязаемой резервной валюте, — уверенно провозглашал он, — есть... пережиток времени, когда в этой области правительства пользовались меньшим доверием, чем сейчас»²⁰.

Описывая взаимодействие различных механизмов — покупки и продажи в Лондон векселей индийских властей, регулирования выпуска банкнот, и управления государственными резервами и счетами наличности, — которые государственный секретарь использовал для поддержания обменного курса рупии, Мейнард показал, что отлично знает, как работают финансовые учреждения. Он разъяснял, почему, вопреки утверждениям националистов, Индия только выгадывает от того, что ее резервы держатся в Лондоне²¹.

Однако отсутствие центрального банка — это слабое место системы. Правительственные резервы для обмена не были частью резервов, которые держали и которыми распоряжались банкиры. Это означало, что денежный рынок Индии испытывал голод с оживлением деловой ситуации, когда золото и серебро надо было доставлять из Лондона, и это излишне поднимало процентную ставку, чтобы покрыть расходы на перевозку металлов. Часть ввозимых металлов уходила также на образование сокровищ. Если бы правительственные резервы могли быть объединены с резервами банкиров, это позволило бы расширить выпуск банкнот и тем самым сбить ставку процента и поставить преграду на пути изъятия денег из обращения и их тезаврации. О практической возможности учреждения центрального банка Кейнс говорил уклончиво, и его осторожность подпитывалась сведениями о предстоявшем его назначении в Королевскую комиссию.

Как всегда у Кейнса, общий стиль, мастерство и серьезность изложения специальных вопросов оживлялись игрой воображения и мимолетными колкостями и едким подтруниванием в адрес представителей официальных кругов. Приведя слова государственного секретаря, наложившего в 1867 г. вето на предложение основать центральный банк, он замечает: «Нет необходимости называть его имя, это речь бессмертного госсекретаря, а не какой-то временной в этом мире личности». Разумный проект был «утоплен в великолепной и пустой риторике политического глубокомыслия»²². Обнаружив «потрясающий» факт, что биржевому брокеру индийского правительства установлено жалование большее, чем любому другому должностному лицу, кроме вице-короля, он задавался вопросом: «долго ли будет считаться необходимым платить людям из Сити несоизмеримо больше того, что получают другие служащие общества, выполняющие для него работу не менее полезную, не менее трудную?»²³. Именно этот тон, скорее чем выраженная им мысль, имел

тот подрывной характер, который отчасти обеспечил Мейнарду его репутацию сторонника радикализма.

Ко времени выхода в свет книги *‘Индийские деньги и финансы’* Королевская комиссия уже целый месяц собирала показания. Она провела свое первое заседание 5 мая 1913 г. и назначила себе летний перерыв до 6 августа. Ее председатель Остин Чемберлен, сын Джозефа Чемберлена, впервые прочитавший книгу Мейнарда в августе, не знал, «поздравлять Вас или утешать самого себя», ибо на Мейнарда, конечно же, будут смотреть как на «автора доклада Комиссии»²⁴. Мейнард активно участвовал в перекрестном опросе лиц, призванных отвечать перед Комиссией, и вел особенно острые споры с защитниками золотого стандарта для Индии и с противниками учреждения центрального банка.

По главному вопросу — о том, должна ли Индия стремиться к золоту стандарту, — дело выглядело так, что Комиссия, за исключением одного ее члена, склонялась в пользу мнения Кейнса о целесообразности сохранить существующий золотообменный стандарт. Но в вопросе о банке раскол был очевиден. Лайонел Абрахамс из Управления по делам Индии в июне подготовил для Комиссии записку, утверждавшую, что главным преимуществом наличия центрального банка будет «помещение в Банк денег, находящихся сейчас в составе казначейских резервов, которые могли бы быть предоставлены в распоряжение торговли с благоприятными последствиями для процентной ставки и бизнеса в целом»²⁵. Однако Комиссия отказалось поддержать это предложение, остановившись на том, что попросила двух своих членов — Кейнса и сэра Эрнста Кейбла — составить в течение лета схему организации Государственного банка.

Мейнард наслаждался своей лондонской жизнью. При исполнении служебных обязанностей он являл собой совершенное воплощение бюрократической респектабельности; в Комиссию приходил «вылощенным и в цилиндре», обменивался улыбками и приветствиями с государст-

венными служащими и политическими деятелями. Состоялась его первая встреча с Асквитом²⁶. В своей светской жизни он был окружен людьми иного рода, которых он, несомненно, не прочь был пощекотать пряными сплетнями из высоких кругов. Вечера на Брунsvик-сквер, 38 часто проходили за игрой в покер с Адрианом, Джеральдом Шоуом и Сэксоном Сидней-Тёрнером. Иногда заглядывали Ноэль Оливье и Кэрин Костелло; бывали еще неловкий юный друг Адриана по имени Дэвид Гарнетт, в то время студент биологии в Королевском научном колледже; он имел прозвище «Кролика» в память о кроличьей шапке, которую носил мальчиком. Собрания в Блумсбери становились все более лихими. Кэрин в конце июня 1913 г. описала одно из них своей матери Мэри Беренсон:

Оливер [Стрэчи] и я были Нижинским и Карсавиной (он в красном трико, я в накидке из фиолетового атласа и с венком в волосах). Мы танцевали в *Призраке розы* — и с большим успехом. Затем был балет *Иов*, в котором Кейнс, как дьявол, лил кипящую смолу (вишневый сок) на корчащегося Роджера Фрая. Потом ставили пьесу Литтона, где играли Клайв, Марджери, Ванесса и Дункан. Это были дикие выкрутасы-экспромты самих актеров, изящно отделанные, очень остроумные и не совсем приличные...²⁷

Были более серьезные культурные события. Тем летом Дягилев привез в Лондон две премьеры — Шляпина в *‘Борисе Годунове’* и *‘Весну священную’* Стравинского. 8 июля на Фицрой-сквер, 33 Роджер Фрай открыл свою мастерскую *Омега* — предприятие, целью которого было обратить таланты живописцев Блумсбери и их приятелей к декоративному искусству.

Мейнард был среди первых посетителей, хотя, по видимому, роли финансового покровителя на себя не брал. «Набивные ткани *Омеги* смотрятся на моих стульях великолепно, — сообщал он Дункану 25 сентября. — К сожалению, обойщик положил их, на мой взгляд, изнанкой наружу».

Он сумел выкроить себе пару-тройку отпусков. В июле провел несколько дней с Сиднеем Расселом Куком и его семейством на острове Уайт, а потом недолго пожил у Макмилланов в Бёрч Гроув, в Суссексе. (Возможно, именно к этому времени относится воспоминание Гарольда Макмиллана о том, что его родители были раздражены появлением Кейнса за завтраком в шлепанцах). В середине августа была недолгая жизнь в кемпинге с Дунканом, Ванессой, Адрианом, Роджером, Джеральдом и Дафной Оливье в Норфолке. 10 сентября он присоединился к Клайву с Ванессой и большой компании блумсберийцев на долгом уикенде в Эшеме, загородном доме Вулфов в Суссексе, после чего помчался в Бирмингем на встречу Британской ассоциации содействия науке. Все приличные гостиницы в Бирмингеме были забиты, так что он остановился в своего рода высокоразрядном пабе. Дункану он написал 11 сентября: «Вчера вечером я нашел Сент-Джорджа (излечившегося, слава богу, от своей [венерической?] болезни), и он живет со мной в этой квазигостинице, — правда, только ночью, поскольку я покидаю его на весь день ради моих научных друзей». В дополнение к ночам с Сент-Джорджем и дневным ученым дискуссиям с Фэем и Мередитом, Мейнард сходил на футбольный матч, оставшийся у него в памяти как посещение римского амфитеатра — «толпа, почти все время уныло ревет, впадая в безумие от волнения и гнева по поводу любой мелочи» — и посетил бирмингемский *Репертуарный театр*. Это именно то, сказал он Дункану, «что нам следовало завести в Кембридже». Эта мысль жила в его душе еще долгие годы спустя после того, как из его жизни исчез Сент-Джордж.

Между тем 27 августа, когда он отправился в гости к сэру Эрнсту Кэйблу в Девон, возобновились занятия индийской денежной системой. Кэйбл, владелец большого джутового дела в Индии, в прошлом член Бенгальской торговой палаты, набросал примерный план записки по поводу капитализации предполагаемого Государственного банка. Он пригласил Мейнарда погостить у него, чтобы

обсудить этот меморандум и «выкроить пару дней для курпатов». Мейнард возвратился в Королевский колледж, чтобы сделать окончательную версию записки, которая, как он сказал, «должна заставить рот любого банкира истекать слюной». 6 октября 1913 г. она была роздана членам Комиссии — за его единственной подписью.

В записке было несколько разделов, посвященных уставу банка, капитализации, задачам и т.д. Кейнс отклонил модель Английского банка как не отвечающую индийским условиям. По его схеме, скроенной так, чтобы сохранить существующие учреждения, банки трех «президентств» — Калькуттского, Бомбейского и Мадрасского — превращались в «головные конторы» федеральной системы, руководимой центральным правлением в Дели: модель была выстроена по германскому образцу и походила на создававшуюся в то время в Соединенных Штатах Федеральную резервную систему. Для изучающего движение мысли Кейнса наиболее интересным покажется, возможно, утверждение, что некоторые государственные функции предпочтительнее возложить на полунезависимые учреждения, а не непосредственно на государственные органы. Это предвестник аргументации, содержащейся в его хорошо известном эссе 1925 г. 'Либерал ли я?' Большое преимущество независимости центрального банка состояло в том, что она позволяла вывести Государственного секретаря из-под политической критики²⁸.

Столь же твердо он настаивал на выгодах экономического характера. Способность центрального банка собирать воедино резервы, пока что рассеянные по многим банковским и казначейским учреждениям, наделила бы Индию гораздо лучшими возможностями реагировать на любой банковский кризис. В положении держателя государственных средств и управляющего резервами бумажных денег банк будет как обладателем больших ресурсов, так и больших возможностей выпускать кредитные деньги²⁹.

С 23 октября по 14 ноября возросло число лиц, дававших показания Комиссии. Затем Чемберлен и Бэзил

Блэкетт, секретарь Комиссии, составили проект доклада, который они распространили для замечаний.

К этому времени ясно обозначились области согласия и разногласий. Золотой стандарт был определенно отвергнут. Относительно учреждения центрального банка оставалось слишком много сомневающихся и заинтересованных противников. Кое-как был достигнут компромисс: записку Кейнса присоединили к докладу в виде приложения и рекомендовали создать комитет экспертов для ее изучения. Комиссия склонялась к тому, чтобы предложить меры повышения эластичности денег, исходя из того, что центрального банка не будет. На заседаниях, посвященных подготовке документов, благоприятное впечатление на Кейнса произвел председатель, так что он даже написал матери: «Должен сказать, что Остин выдержал тяжкое испытание очень хорошо, и, думаю, он еще станет премьер-министром. Не вижу, чтобы в чисто интеллектуальном отношении он хоть сколько-нибудь уступал Кэмпбеллу-Бэннермэну».

Именно в это время вспыхнула ссора по поводу того, что Чемберлен счел уместным назвать «урегулированием мелкого пункта в одном из полученных замечаний». Предмет спора был чисто техническим. Кейнс был решительно настроен затвердить принцип, согласно которому различные резервные средства — золотой резерв, резерв бумажных денег и наличные деньги правительства в казначейских резервах — рассматривались как единый резервный фонд с точки зрения выдачи ссуд. Это, однако, было выше понимания его более прозаичных коллег, считавших, что технические реформы, предлагаемые им и другим членом Комиссии, Р.У. Джилламом, представляют собой нечто чересчур мудреное.

Комиссия прервала работу на рождество, так и не решив проблему. В начале января 1914 г. Кейнс оставил Англию и отправился на Ривьеру — правда, без Сиднея Рассела Кука, на сопровождение которого он рассчитывал, — с надеждой возвратиться к следующему заседанию, назна-

ченному на 12 января. Но как раз когда он собирался ехать домой, «у него случился тяжелый приступ тонзиллита, температура подскочила до 103»³⁰. Его, как он сообщал, выхаживала сестра Дороти Басси, госпожа Рендел. Через час по получении телеграммы, извещавшей, что его диагноз изменен на дифтерию, Флоренс покинула Кембридж и 14 января пересекла Ла-Манш. В полночь 15-го она добралась до Ментона, где теперь находился в частном санатории уже почувствовавший себя лучше Мейнард. Его подбодрил приезд не только Флоренс, но и прибывшего с нею Дункана. Поскольку Мейнард считался заразным больным, Флоренс (трудно даже поверить!) отправилась в компании Дункана к игровым столам Монте-Карло. «Мой компаньон выиграл существенно больше, чем я проиграла, и был очень недоволен, когда я вытаскивала его из зала», — рассказывала она много лет спустя³¹. Отъезд Мейнарда был отложен на месяц, и потом, даже в марте, ему еще прописывали стрихнин «от паралича мягкого нёба». Тем временем его отец отметил в дневнике (22 января 1914 г.), что «Мейнард боится, как бы в его отсутствие реакционная партия не увела за собой Комиссию слишком далеко».

В отсутствие Кейнса члены Комиссии, пытаясь разобраться в его заметках, умудрились вставить формулу, несколько более ограничительную, чем сначала предлагали они сами. Возмущенный, Мейнард немедленно (23 января) послал из Ментона письмо, заявляя в нем, что в случае принятия нового проекта он вынужден будет приложить к докладу запись о своем несогласии. По возвращении в Англию он 3 февраля направил Чемберлену обстоятельное письмо. Основной порок новой формулы, писал он, в том, что она не позволяет думать о различных фондах иначе, как об отделенных друг от друга водонепроницаемыми перегородками. «Реальная способность правительства выдавать временные ссуды зависит от сумм, которыми оно располагает в виде, взятых вместе, запаса бумажных денег и остатков на своих счетах... Предложенная же схема по существу расширяет и увековечивает многосоставные резервы, кото-

рые и так является большим недостатком индийской системы»³². Он предложил новые поправки к проекту. Перед таким нажимом Чемберлен не устоял и собственной властью утвердил поправки. Сомнительно, сознавал ли он, что делает. По его мнению, проблема не имела большого практического значения. Маршалл, прочитавший доклад, когда он вышел в свет, был «очарован [меморандумом Кейнса о Госбанке] как чудом созидательной работы. Поистине, нам, старикам, пора бы повеситься, раз молодые люди могут прокладывать свой путь столь прямо и с такой очевидной непринужденностью через такие большие трудности»³³.

3. На краю цивилизации

Задним числом сгинувшие миры всегда видятся иными, чем они были на самом деле: более светлыми или более мрачными. Радости и страдания никогда не бывают столь сильными, какими они предстают в воспоминаниях или исторических преданиях. В частности, большие утраты своего, привычного всегда выставляют прежние времена в преувеличенно розовом свете. Поэтому неудивительно, что Кейнс и его друзья, оглядываясь на мир до 1914 г., думали, что он был для них самым удобным миром и вот-вот должен был стать еще более удобным, если бы не эта война. Они, конечно, составляли в высшей степени привилегированную группу, и золотым веком в их представлении был именно тот, в котором они жили. Тем не менее они не совсем ошибались ни по поводу собственных перспектив, ни относительно общих возможностей; и даже если бы ошибались, с точки зрения биографии это не имеет значения, ибо только их собственное понимание пережитого оказывало влияние на их дальнейшие жизни и их будущие действия.

В своем эссе *‘Перед войной’*, датированном 1917 г., Клайв Белл писал: «Я предполагаю, что после 1789 г. не было дней, обещавших больше, чем весенние дни 1914 г.»³⁴ Для Блумсбери обещание в 1914 г. означало главным об-

разом культуру, культурой же для них был прежде всего балет. Балет был формой искусства, определявшей лицо века, как тридцатью годами ранее это была опера Вагнера. Своим восхождением на вершину века балет был обязан главным образом Дягилеву, величайшему импресарию двадцатого столетия. Дягилев не только познакомил Запад с гениальным певцом Шаляпиным и гениями танца Карсавиной и Нижинским, но и был полон решимости сделать балет катализатором всего современного и волнующего, что могло предложить искусство. Он сотворил удивительный сплав партитур Равеля, Стравинского, Штрауса и Дебюсси; его постановки производили глубокое зрительное воздействие благодаря декорациям и костюмам Бенуа и Бакста, благодаря полетам Нижинского. Как пишет Ричард Шон, «это влияние широко распространилось и сказывалось в театре, в оформлении интерьеров и моде, в живописи... Это не было просто открытием нового цвета, захватившего воображение художников, это были никогда прежде не виданные движения тел и подчинение пространства танцорам»³⁵.

Но влияние *Русских балетов* не было ограничено областью искусства. Оно свело общество и искусство вместе так, как этого не смог сделать постимпрессионизм, и здесь группа Блумсбери — очень наивно, конечно, — усматривала большую надежду: правящий класс наконец-то становился цивилизованным. Как позднее говорила Лидия Лопухова, Дягилев «хитро замыслил... соединить превосходное с шикарным, революционное искусство с атмосферой старого режима»³⁶. Оттолайн Моррел и леди Кьюнард возглавили движение. Как утверждает Осберт Ситуэлл, «Марго Асквит сделала Даунинг-стрит, 10 «центром такой насыщенной и напряженной жизни, какой здесь сто лет не видели и едва ли увидят когда-нибудь еще»³⁷. К цивилизаторской и возвышающей миссии искусств группа Блумсбери относилась серьезно. Это было сплетено с их оптимистическим видением будущего. В довоенном Лондоне не было и намека на то, чтобы обращаться к эстетизму как

средству спасения разваливающегося общества, что, как считается, преобладало в культурном сознании Вены в преддверии 1914 г. Скорее искусства рука об руку с «прогрессивными» политиками и экономическими реформами прокладывали дорогу к лучшему будущему. Занятие политикой само по себе может восприниматься без особого уважения; уж во всяком случае публицисты Блумсбери имели лишь самые туманные представления о том, каким образом массы могут быть встроены в этот новый, наконец-то цивилизованный мир; но что все идет к лучшему — они не сомневались. Отсюда и глубина потрясения, вызванного событиями августа 1914 г. Им и в голову не могла придти мысль, будто эти архаичного вида личности, опереточные герои в униформах и шапках с высокими тульями способны положить конец цивилизации.

Кейнс был слишком озабочен доказательствами своей теории вероятности, чтобы замечать, как собираются военные тучи. Хотя эрцгерцог Франц Фердинанд был убит 28 июня, первое упоминание об ухудшении международной обстановки появляется в письмах Кейнса лишь месяц спустя. Показательно, что появилось оно в контексте соображений насчет одной операции на Фондовой бирже. Мейнард подал приказ на покупку акций *Canadian Pacific* и *Rio Tinto*, «что с моей стороны является очень смелым шагом... Шансов, как мне представляется, чуть-чуть больше за то, что Россия и Германия в войну не вступят»³⁸. 30 июля в письме Невиллу он все еще болтал о своих комнатах, в которых только что сделал ремонт («не могу придти к твердому мнению, какие ковры настелить в большой комнате»), и о планах отправиться в поход в Корнуолл с Джеффри и сестрами Оливье — Марджери и Брингильдой. 31 июля Мейнард написал отцу, что военные новости «страшно мешают моей работе — не могу достаточно спокойно мыслить». На следующий день Германия вторглась в Бельгию. 4 августа 1914 г. Англия объявила войну Германии, и мир Блумсбери — и Мейнарда — изменился навсегда.

Часть третья

РАЗЛУКА С НЕВИННОСТЬЮ

Мои рождественские мысли таковы: дальнейшее продолжение войны ... означает, вероятно, исчезновение общественного порядка, который мы знали до сих пор. С некоторым огорчением я думаю, что в целом мне этого не жаль. Устранение богатых будет скорее приятным оборотом дела, и в любом случае так им и надо. Что меня пугает больше, так это перспектива общего обнищания. Пройдет год, и мы утратим все, на что надеялись, вкладываясь в создание Нового Мира, и взамен эта страна отойдет по закладной Америке. Хорошо, единственный курс... должен быть воинственно большевистским; и когда утром я лежу в постели, я с большим удовлетворением думаю, что из-за некомпетентности наших правителей в сочетании с их же безумием и злобой одна определенная эра определенного вида цивилизации очень близка к своему концу.

Дж. М. Кейнс — Флоренс Кейнс,
24 декабря 1917

Как и ты, я могу в значительной степени спокойно воспринимать сокращение больших доходов — даже включая наш собственный... Предполагаю, что все мы будем покупать еду в общественных кухнях, и мы уже начинаем к этому готовиться. Труднее будет перестраивать наши дома, чтобы сократить потребности в домашней прислуге...

Флоренс Кейнс — Дж. М. Кейнсу,
26 декабря 1917

Если мы намеренно стремимся свергнуть Центральную Европу в нищету, осмелюсь предсказать, что возмездие не заставит себя ждать.

J. M. Keynes,
The Economic Consequences of the Peace, p. 170

XII

Прилаживаясь к войне

1. Где и как себя применить

Кейнсу не дано было предаваться созерцательному безделью в Кембридже. За два дня до того, как Англия объявила войну, он получил таинственное письмо из Казначейства от Бэзила Блэкетта, извещавшего, что он срочно хотел бы завладеть его мозгами «в интересах страны». Кейнс уговорил своего шурина А.В. Хилла в тот же день прихватить его с собой в Лондон в коляске его мотоцикла и по прибытии сразу явился в Казначейство. 6 августа он уже мог сообщить отцу из Казначейских палат:

С угрозой финансового кризиса должно быть покончено завтра.

Банкиры совсем потеряли голову и в полном ошеломлении просто неспособны были высказать две связанные мысли.

Выплаты звонкой монетой Английский банк сохранил — едва-едва и в последний момент. Сейчас главные точки приложения сил — это спасение акцептных домов (сомневаюсь, существует ли сегодня хоть один кредитоспособный директор Английского банка) и решение вопроса о выпуске однофунтовой банкноты. Я только что слышал, будто, по их мнению, я сыграл важную роль в предотвращении запрета на платежи звонкой монетой, поскольку, мол, именно моя записка убедила Ллойд Джорджа.

Кейнс издал три пространных описания кризиса, которые он намеревался собрать в небольшую книгу, так никогда и не появившуюся. Основу кризиса он видел в неспособности иностранцев погасить свои долги фирмам Сити. Двойная цепная реакция грозила привести к утрате Английским банком запасов золота, требовавшихся для защиты золотого стандарта.

На конец июля 1914 г. неучтенными оставались векселя на общую сумму 350 миллионов фунтов стерлингов — долг иностранцев лондонским коммерческим банкам. Неспособность иностранцев перевести в Лондон средства в положенные сроки угрожала платежеспособности держателей этого долга и, в свою очередь, их промежуточных держателей, учетных домов, и их конечных держателей, акционерных банков. Вторым источником напряженности для банков была неспособность иностранцев в установленные сроки расплачиваться с биржевыми брокерами, через которых они покупали акции на фондовой бирже. Принудительная продажа ценных бумаг сократила стоимость еще одной части банковских активов. Банки реагировали на это, отзывая свои займы дисконтным домам (которые из-за этого вынуждены были переучитывать свои векселя в Английском банке под растущие процентные ставки), обращать банкноты в золото в том же Английском банке и отказывать в выплатах золотом — даже небольших сумм — своим клиентам, создавая тем самым очереди на Среднидл-стрит, куда люди стекались, чтобы получить золотую монету в Английском банке. «Внутреннее бегство» золота за несколько дней обошлось Английскому банку в 12 миллионов фунтов из его общего золотого запаса в 27 миллионов. Чтобы защитить свои резервы, банк поднял учетную ставку с 3 процентов (29 июля) до 10 (1 августа). Августовские банковские выходные были продлены на три дня. 31 июля была закрыта фондовая биржа.

Председатели правлений банков 1 августа направились к Асквиту и Ллойд Джорджу с просьбой освободить

их от обязательства платить золотом по первому требованию. Ллойд Джордж склонен был с ними согласиться. В ожидании окончательного решения правительство объявило месячный мораторий на погашение всех долгов.

В ходе этого кризиса Кейнс подал совет, который ему пришлось повторять снова и снова на всем протяжении войны. В критически важном меморандуме от 3 августа, который убедил Ллойд Джорджа, он приводил доводы против приостановки платежей разменной монетой, «прежде чем это станет абсолютной необходимостью». Он встал на позицию Бэйджхота, согласно которой золотые запасы нужны, чтобы ими пользоваться, а не накапливать в виде сокровищ. Он ссылаясь на фактор доверия. Будущее положение Сити было бы подвергнуто опасности, если оно приостановит платежи разменной монетой при первых признаках осложнения ситуации. Это тем более так ввиду растущей роли Лондона как банкира-держателя чужих резервов, что само по себе является «делом прибыльным и чрезвычайно укрепляет положение Лондона как денежного центра». Кейнс предлагал ограничить выплаты золотом внутри страны, но сохранить их в международных операциях¹. Это было мнение, которому более или менее последовали. Золотые запасы банков были централизованы в Английском банке. Казначейство было уполномочено осуществить чрезвычайный выпуск одно- и десятифунтовых банкнот, прозванных «*брэдбери*», поскольку на них стояла подпись постоянного секретаря Казначейства сэра Джона Брэдбери. Платежи золотом по внешним долгам сохранялись. Банковский кризис был преодолен.

Оставалась задача вдохнуть новую жизнь в Сити. Кейнс утверждал, что необходимо только одно: пусть Английский банк гарантирует новые сделки акцептных домов при моратории на прежние акцепции, оставляя банкам и дисконтным домам некоторые ненадежные долги — на некоторое время. (Никто — это следует подчеркнуть — не ждал, что война продлится долго².) Однако вместо этого правительство приняло комплекс мер, которые Кейнс

считал крайне экстравагантными. Располагая правительственной гарантией от потерь, Английский банк сам скупил долговые обязательства на сумму в 180 миллионов фунтов стерлингов, облегчив тем самым положение Сити и акционерных банков за счет налогоплательщиков и наводнив денежный рынок средствами, которые сбили процентную ставку и заложили основу для инфляционного финансирования в начальные месяцы войны³.

Что проглядывает в публикациях Кейнса в *‘Экономическом журнале’* и других изданиях, так это глубокая неприязнь к директорам акционерных банков. Он критиковал их за необоснованное ограничение займов, поступающих на биржу, за отзыв в неоправданных объемах ссуд, предоставленных дисконтным домам, за изъятие золота из запасов Английского банка и накапливание его в качестве сокровищ, а также за отказ расплачиваться с клиентами золотом, когда они того требуют. «Нашу систему, — писал он, — подвергли опасности не люди, набросившиеся на банки, а банки, набросившиеся на Английский банк»⁴. Маршаллу он жаловался 10 октября, что сэр Феликс Шустер, управляющий *Юнион-банка* трус, а сэр Эдвард Холден, председатель *Мидлэнд-банка* эгоистичен; остальные «робки, безгласны и не имеют руководства». Он выражал недовольство низким уровнем банковских директоров и управляющих⁵. Тем не менее Марчелло де Секко, современный нам автор, видит в действиях банкиров, как и других участников тех событий, часть непрерывной борьбы за власть в Сити, когда акционерные банки (главным образом они) пытались отобрать контроль над золотыми резервами у Английского банка и прибыльный бизнес у коммерческих банков. В письме Кейнсу от 9 октября 1914 г. сэр Феликс Шустер, отклоняя резкую критику Кейнса, вину за падение цен на акции и за «внутреннее бегство» золота возложил в значительной степени на дисконтные дома. В той мере, в какой банки в этом соучаствовали, их ввел во грех Английский банк, исчерпавший запасы бумаги для печатания денег и не сумевший обеспечить их пяти-

и десятифунтовыми банкнотами, которые требовались клиентам в период летних отпусков. Еще важнее то, что не председатели банков просили приостановить платежи разменной монетой: на этом настаивал лорд Канлиф, управляющий Английского банка. Кейнс отказался от некоторых своих критических высказываний.

В своей статье в декабрьском (1914 г.) номере *‘Экономического журнала’* Кейнс высмеивал представление, будто золотой запас нужен только для того, чтобы выставить его напоказ: будь оно так, можно было бы с превеликим успехом «расплавить золотые резервы, отлить из золота огромную статую главного кассира и воздвигнуть ее на столь высокий пьедестал, чтобы ее никогда невозможно было спустить вниз». С его точки зрения, более существенным указателем для будущего было то, что золотой стандарт означает помеху в решении задачи управления денежным обращением, тогда как «интеллектуальная и научная часть этой проблемы уже решена». Он боялся, что приток золота, вызванный успехом Британии, единственной среди союзников, в сохранении разменной монеты, приведет к инфляции.

Если это свидетельствует об одном из последствий нынешней борьбы, а именно, что золото наконец-то лишилось своей деспотической власти над нами и теперь низведено до положения конституционного монарха, то откроется новая страница истории. Человек сделает еще один шаг по пути к самоуправлению...⁶

С этим кризисом было связано одно личное обстоятельство. Дело в том, что Мейнард и его отец вложили деньги в дисконтный дом. Как и другие, кто поступил подобным образом, они опасались дефолта. Убеждая правительство (в своей записке от 5 августа) не гарантировать вкладов в дисконтные дома, Кейнс давал совет, прямо противоречивший его собственным интересам.

Меморандум Кейнса от 3 августа 1914 г., возможно, помог превратить Ллойд Джорджа в эксперта по денеж-

ным делам. Это не привело их к взаимному сотрудничеству. Инициатива Кейнса не поспособствовала его немедленному назначению на должность в Уайтхолле. Вместо этого своим специальным советником Ллойд Джордж назначил финансового журналиста сэра Джорджа Пэриша, с которым он давно консультировался по экономическим вопросам. Кейнс был отправлен обратно в Кембридж.

Он пробовал окупиться в прежнюю рутину. Возобновил работу над доказательствами вероятности. 23 августа он на несколько дней отправился в поход в Корнуолл с сестрами Оливье. Но покоя себе не находил. Ему требовалось занятие, связанное с войной. Его он нашел в сочинении материалов для публикации. Его статья *‘Валютная политика за границей’* (*‘Currency Measures Abroad’*) уже появилась в *‘Морнинг пост’* 11 августа. Из Эшема, где Кейнс прожил с 28 августа по 7 сентября, он вел переписку с *‘Экономистом’* о золотых запасах акционерных банков. Завершил свое описание финансового кризиса для *‘Экономического журнала’*. Не будучи лично причастен к работе военного механизма, лучшее, что он мог делать, это подавать советы со стороны. По крайней мере одним человеком, который рад был их выслушивать, оказался Эдвин Монтегю, с февраля финансовый секретарь Казначейства. В письме от 4 сентября Кейнс предупреждал Монтегю об угрозе инфляции и выражал недоверие Ллойд Джорджу «как одному из тех немногих, для кого конкретное знание этих дел не связано с личной заинтересованностью; мне противно быть пассивным сторонним наблюдателем», — писал он⁷. В середине декабря он ускользнул в Париж, чтобы собрать материал «о французских финансах». Он писал в газеты о военном финансировании в Германии, осуждал цензуру за ограничение доступа к немецкой печати⁸. Такими способами он подтверждал обоснованность своих притязаний на подходящую служебную должность.

10 октября 1914 г. он возвратился в Кембридж, оставшийся без студентов, но выкроивший место для военного госпиталя на задах Королевского колледжа. Он те-

перь читал лекции «чернокожим женщинам», утешал «раненых *томми*... Некоторые из них смотрятся очень мило», и помогал Шеппарду ухаживать за бельгийскими беженцами — «уродливыми, мещанистыми и скучными»⁹. С жильем в Лондоне обстановка тоже изменилась. В конце сентября срок аренды дома 38 на Брунсвик-сквер истек. Кейнс перебрался в комнаты, отведенные ему в доме 10 на Ормонд-стрит. Блумсбери снова был охвачен перестройкой чувств. Адриан Стивен, закончив свой роман с Дунканом Грантом, только что обручился с Кэрин Костелло. Тем временем Дункан стал вместо Роджера Фрая объектом любви Ванессы. Влюбленности между ними не было, но занятие живописью соединило их, и когда коммунальное хозяйство на Брунсвик-сквер рухнуло, он пошел жить в дом 46 на Гордон-сквер, а студию себе взял в доме 22 на Фицрой-стрит. В начале октября Ванесса нашла Мейнарда очень мрачным: «[Он], кажется, жутко одинок в своих комнатах. Очень много говорил о Дункане и сказал, довольно горько, как мне показалось, что странно, мол, что брак Адриана должен отдалять его от Дункана, с которым они жили вместе в течение 6 лет».

На плюсовой стороне была возраставшая дружба Мейнарда с самой Ванессой, зародившаяся в 1913 г. во время их совместной жизни в кемпинге в Норфолке и полностью вызревшая в апреле 1914 г., когда Ванесса присоединилась к гостям Мейнарда, собравшимся у него в Эшеме, в доме, который он арендовал у Вулфов. Присущий Мейнардлу недостаток деликатности, который оскорблял даже Литтона, возбуждал любительницу непристойностей Ванессу, желавшую проходить по ряду мальчиков.

К осени 1914 г. их близость была скреплена общей безответной любовью к Дункану. Ванесса предложила взять Мейнарда квартирантом в дом 46 на Гордон-сквер, но он, предчувствуя, возможно, что ситуация могла бы оказаться чересчур эмоционально перегруженной, решил остаться на Ормонд-стрит.

Одной линией действий, о которой Мейнард никогда и не помышлял, могло быть поступление на военную службу. Не только потому, что он считал себя способным больше содействовать военным усилиям страны на каком-то ином поприще, но и потому, что всякая драка лишена была для него романтической привлекательности. В этом отношении он коренным образом расходился с соскучившимися от жизни аристократами, вроде Джулиана Гренфела, который видел в войне спасение от собственной ничемности. Друг Мейнарда Ференц Бекасси разделял настроение Гренфела, и это очень угнетало Кейнса. Он как мог отговаривал его возвращаться домой с намерением завербоваться в австрийскую армию. Точно так же старался остановить своего брата Джефффри, решившего пойти добровольцем в Королевский армейский медицинский корпус — все зря. Он боялся, как бы Дункан под нажимом военных традиций своего семейства не счел себя обязанным идти в добровольцы.

С другой стороны, Мейнард поначалу не испытывал сколько-нибудь большого антивоенного чувства. Пацифистом он не был, и политическими причинами войны не интересовался. Например, он не имел никакого отношения к *Союзу демократического контроля*, созданного левыми либералами и либерально мыслящими социалистами, которые усматривали причину войны в секретных военных обязательствах, взятых Британией перед Францией. Его отношение к войне определялось инстинктами экономиста и государственного служащего. Война была фактом жизни. Пока она идет, ею следует управлять настолько эффективно, насколько возможно, и он чувствовал (справедливо), что может внести свой вклад в решение такой задачи. Он также разделял общее представление, что война закончится быстро — не потому что полагал, будто силы государств Антанты скоро будут в Берлине, но потому, что считал, подобно Норману Эйнджелу, что современный мир устроен для мира и его не просто переставить на военную основу. Его начальное отношение к войне было, таким

образом, довольно равнодушным, потому что и ее привлекательность, и ее ужасная реальность не вмещались в пределы его воображения.

Друзья Мейнарда разделились в своих реакциях на войну. Бекасси вернулся домой, чтобы воевать на стороне центральных держав. Другой близкий друг Мейнарда, Ф.Л. ('Питер') Лукас, классицист из Тринити-колледжа, недавно избранный *Апостолом*, тоже пошел в армию. Так же поступил Руперт Брук. Десмонд Маккарти вызвался служить добровольцем в отрядах Красного Креста. Но большинство блумсберийцев и их друзей противились призыву на военную службу. По словам биографа Стрэчи, «сам Литтон, кажется, полагал, что все физически крепкие интеллектуалы должны быть подготовлены для защиты берегов Англии, но с одной оговоркой: физически крепких интеллектуалов практически не бывает»¹⁰. В Лэкетте, который Литтон арендовал у Хилтона Янга возле Мальборо, он, прерывая чтение Мейнардом его статьи о финансовом кризисе, «вязал кашне из темно-синей шерсти на шею какому-нибудь нашему парню-моряку. Не знаю, кто он, но у меня есть свои видения»¹¹. В основе всех желаний Блумсбери было одно — оставили бы в покое. Нежелание воевать пока еще не доросло до активного противодействия войне. В этом было отличие от позиции Бертрана Рассела, который с самого начала выступал против войны по политическим причинам. В расселовском поколении *Апостолов* был изрядный запас прогерманских, антирусских чувств, от которых не был защищен и сам Мейнард.

Только когда стали поступать сообщения о военных потерях, о жертвах войны, ужас происходящего начал доходить до сознания Мейнарда. 15 августа, он получил бодрое письмо от Фредди Хардмана: «Есть ли что-нибудь конкретное, что бы ты хотел получить, когда я вернусь из Берлина — небольшую гравюру или что-нибудь в этом роде?» Мейнард ответил 25 октября письмом, полным сплетен из Кембриджа. Письмо вернулось назад с надписью через весь конверт — единственным словом: «Убит». Хардман погиб,

командуя своими ребятами в рукопашной схватке. «Слишком ужасно, что могут происходить такие вещи, — написал Мейнард Дункану 4 ноября. — Это заставляет горько страдать и ждать, чтобы эта война скорее кончилась — почти на любых условиях. Мне невыносимо думать, что он должен был умереть». 9 ноября он сообщил, что Лукас приехал попрощаться. «Это ужасно, что он должен идти. Все мое подсознание глубоко подавлено; прежде такого не было. Это едва ли делает нашу предстоящую победу сколько-нибудь лучше».

2. Чиновник Казначейства

6 января 1915 г. по рекомендации Эдвина Монтегю Кейнс наконец получил должность в Уайтхолле, став помощником сэра Джорджа Пэйша с годовым окладом в 600 фунтов стерлингов. Назначение было временное — пока идет война. Ему дали письменный стол в комнате Бэзила Блэкетта в Казначейских палатах, в Уайтхолле (с видом на казармы конногвардейцев за спиной) и разрешили по-прежнему редактировать *‘Экономический журнал’* и выступать в печати без права использовать официальные материалы. Он приступил к работе 18 января. А 21-го он писал отцу: «После расхлябанного начала я теперь очень занят, став секретарем особого комитета Кабинета, руководимого самим премьер-министром. Первое заседание сегодня утром. Так что теперь я точно знаю, как выглядит заседание кабинета. Конечно, все это совершенно секретно»¹². (Асквит сказал своей наперснице Венеции Стэнли, что секретарь Комитета «умный молодой кембриджский преподаватель по имени Кейнс».) Перед Комитетом стояла задача разобраться с ростом цен на продовольствие. К 25 января Кейнс подал докладную записку; в следующие пару месяцев он был занят организацией правительственных закупок индийской пшеницы по ценам ниже мировых.

30 января его отец получил еще новость: «Я еду в Париж; мы трогаемся в воскресенье или понедельник. Это — компания самых избранных: Ллойд Джордж, Монтегю, управляющий Английского банка [лорд Канлиф] и я, вместе с личным секретарем. Мы будем гостями французского правительства»¹³. Кейнс получил свой шанс, потому что Ллойд Джордж, как он сказал Монтегю, «не видел толку» в своем постоянном секретаре Брэдбери и главе финансового отдела Малколме Рамсее. Монтегю предложил Кейнса, и его взяли, вместе с Блэкеттом, как представителей Казначейства. Друзья нашли его «радостным и возбужденным» предстоящей поездкой. Англия, сказал он им, собирается предоставить России заем в пределах от 60 до 100 миллионов фунтов, а Италия крупную сумму, в сущности взятку, за ее вступление [в войну] ... жутко безнравственно»¹⁴. В Париже Кейнс встретился с Александром Рибо, французским министром финансов, и присутствовал на приеме, устроенном президентом Пуанкаре. Газеты отметили появление нового лица на союзнической сцене: профессора Кейнса из Лондонской школы экономики.

Парижская конференция, на которой Кейнс присутствовал со 2 по 5 февраля, была первой международной конференцией союзников. Она положила начало целой сложной системе международных военных кредитов. Россия и, в меньшей степени, Франция не могли больше экспортировать достаточно товаров или золота, чтобы оплачивать свои закупки необходимых военных материалов за границей. Англии, чье международное финансовое положение было намного прочнее, пришлось начать их финансирование. Англия и Франция согласились предоставить совместный заем России; Россия согласилась увеличить свой экспорт пшеницы, как только будут открыты Дарданеллы. Россия и Франция также согласились переводить золото в Английский банк. Первый британский кредит Франции последовал в апреле. Из решений, принятых на конференции, выросла целая проблема послевоенных долгов, так как было решено, что переводы денег

будут иметь форму займов, а не безвозмездных ссуд. Едва Англия начала финансировать своих союзников, неизбежно родилось ее стремление следить за расходованием предоставленных средств, ради уверенности, что деньги не растрачиваются впустую или не используются просто на поддержание курса валют заемщиков. Финансовый контроль постепенно вел к централизованной системе закупок, при которой союзнические заказы за границей размещались через Англию и оплачивались средствами британских кредитов, находившимися на союзнических счетах в Английском банке. Это была система, которую Кейнс помог создать в течение следующих двух лет и которую ему предстояло возглавить.

Пока что он был просто одним из множества младших советников. Но он быстро стал заметной фигурой в Казначействе, чему поспособствовал стремительный закат сэра Джорджа Пэйша. Когда грянула война, вспоминал он впоследствии, Пэйша

вызвал г. Ллойд Джордж, чтобы послать его в Казначейство как своего ведущего финансового эксперта, и на протяжении примерно полутора суток в августе 1914 г. он был в Казначействе очень важным лицом. Как обычно, однако, он скоро надоел, и г. Ллойд Джордж перестал читать его длинные записки. Ему, однако, платили хорошее жалованье, сохраняли за ним высокий чин... и... служебный кабинет на почтительном расстоянии [от начальства], в Дорожном управлении в Кэкстон-хаузе¹⁵.

Кейнс служил в Казначействе в годы обеих мировых войн. Здешняя атмосфера подходила ему гораздо больше, чем в Управлении по делам Индии. Гладстон сделал Казначейство сердцевиной британского правительства, чтобы навязать экономию расходов другим министерствам — в основном, по условиям тех дней, военным ведомствам, — и оно унаследовало гладстоновскую доктрину ежегодно сбалансированных бюджетов и гладстоновскую же веру в то, что деньги лучше всего вызревают, когда их оставляют

в карманах у людей. Эти предписания не столь очевидным образомгодились для условий ведения большой войны, как, впрочем, и — много позже Кейнс должен был на это указывать — для экономической политики в условиях депрессии. Но в период между 1914 и 1918 гг. Казначейство вело ожесточенные арьергардные бои против военных расходов без ограничений, и в этой борьбе не могло бы найти более стойкого и устрашающего воителя, чем Кейнс. Казначейство жило по собственным экономическим рецептам. Департамент, в котором начал работать Кейнс, был небольшим и исключительным по своему положению, и даже беспримерные нужды тотальной войны не смогли привести к расширению численности его постоянных служащих более чем на 3 единицы — с 37 до 40, хотя на временной основе была дополнительно принята примерно дюжина чиновников. Служащие были разбиты на шесть отделов, которые отвечали за повышение доходов правительства и распределение его расходов. Сохранение малой численности персонала подразумевало, что и младшим клеркам, и даже временным служащим могут давать самые ответственные поручения. Кейнс уже знал Ральфа Готри, одного из экономистов Казначейства, и Бэзила Блэкетта, чиновника первого класса из финансового отдела (D1). Познакомился он и с другими, например, Отто Нимейером, с которым у него произошла стычка в 1920-е гг., и Фредериком Филлипсом, ставшим его союзником в 1930-х. Именно в этом «своего рода клубе избранных» Кейнс набрался знаний о государственных финансах и приобрел репутацию «посвященного лица», которая в дальнейшем придавала исключительную авторитетность его публичным высказываниям.

Как справедливо замечает Элизабет Джонсон, Кейнс, похоже, «с самого начала обладал особым казначейским глазом»¹⁶. Он умел быстро соотносить предложения об отдельных статьях расходов с общими принципами финансовой политики и оценивать связь между внутренними и внешними финансами. Он имел незаме-

нимый дар государственного служащего — по первому требованию представлять четкие, ясные служебные записки. Он наслаждался атмосферой Казначейства — «очень умной, очень сухой и в некотором смысле очень циничной; интеллектуально очень уверенной в себе и не потакающей слабостям людей, которые чувствуют, что они на виду и не совсем уверены, что знают, о чем ведут речь». Он ценил, что эстетика Казначейства — сама форма Казначейского проекта — была обязательной составляющей престижа этого ведомства. Это было одним из источников его расхождений с Ллойд Джорджем. Канцлер, писал он позже, «был совершенно лишен эстетического восприятия формы». Он также «не имел ни малейшего представления о значении денег»¹⁷. Во время своей первой поездки в Париж Кейнс не постеснялся сказать Ллойд Джорджу в глаза, что его взгляды на французские финансы — «вздор»¹⁸.

Мейнард отметил свое назначение в Казначейство, пригласив 6 января 1915 г. семнадцать человек на вечеринку в кафе *Ройял*. В числе гостей были Беллы, Шеппард, Сесил Тэйлор, Фрэнки Биррел, Дункан Грант, Дэвид Гам, многочисленные Оливье и Стрэчи, а также Десмонд Маккарти. Из кафе они вернулись в дом 46 на Гордон-сквер, где их ждали Клайв и Ванесса. Там они слушали трио Моцарта и затем поднялись наверх смотреть заключительную сцену пьесы Расина в исполнении трех кукол, изготовленных Дунканом, в сопровождении текста, произносимого мрачными голосами представителей семейства Стрэчи. «Вечер завершился возведением на престол посреди комнаты Джеральда Шоува и возложением на него венка из роз...»¹⁹. Дух Блумсбери возрождался после первого удара войны. Оттолайн Моррел возобновила свои вечерние обеды «по четвергам», за которыми поглощалось много спиртного и потом следовали безумные танцы под пианолу Филлипа Моррела. Веселье тех, кто воевал, и тех, кто оставался в тылу, еще не угасло: ужасная бойня предстояла в основном в будущем.

На своем званом обеде Мейнард поместил Дэвида Гарнетта между Ванессой и Дунканом и это, фигурально выражаясь, было то место, где ему предстояло находиться в течение следующих четырех лет. Дункан страстно, и полыхая ревностью, влюбился в Кролика, чьи собственные животные чувства были, как пишет Майкл Холройд, «сильными и до удивления разнообразными»²⁰. (Однажды ночью он даже оказал Мейнарду «добрую услугу».) Ванесса, любившая Дункана, поняла, что единственный способ удержать его — это дать согласие Кролику на жизнь втроем. Этот *ménage-a-trois* скоро развился в процесс найма одного за другим сельских домов. Весной 1915 г. они сняли у Сент-Джона Хатчинсона виллу Элеонор, около Западного Виттеринга в Суссексе. Мейнард навещал их на уикендах, был четвертым в роли доброго дядюшки. Сегодня до утра, писал Дункан Хилтону Янгу с виллы *Элеонор* в апреле 1915 г.,

у нас была домашняя гулянка с участием Литтона Стрэчи и Кейнса. Мейнард теперь очень великий человек... Он ходит в Казначейство каждый день и работает очень напряженно, и он сказал мне, что за одно утро сэкономил правительству миллион фунтов стерлингов... Литтон становится очень мягким и пишет, как мне говорят, очень хорошую книгу, состоящую из коротких биографий знаменитых несимпатичных викторианцев...²¹

Мейнард не нашел никого, кто мог бы занять в его жизни место Дункана. Фрэнки Биррел спал с ним «в память о прошлом»; бывали также случайно подхваченные партнеры. Эти одиночные приключения не были безопасны. Его домовладелица на Грейт-Ормонд-стрит, заинтересовавшись странным сексуальным поведением жильца, намекнула на возможность шантажа²². В феврале 1915 г. Мейнард от нее съехал, поселившись на Гауэр-стрит, дом 3. Здесь он сдал верхние комнаты Джеральду Шоуву и Джону Шеппарду, работавшему переводчиком в военном министерстве. Чердаки взяли себе Кэтрин

Мэнсфилд и Миддлтон Мэрри, впоследствии поженившиеся.

Погружение в дела Уайтхолла и развлечения Влумсбери помогали Кейнсу не думать о судьбах его воевавших друзей, как и о больших проблемах, которые волновали некоторых его приятелей, охваченных антивоенными настроениями. Но в общении с этими последними его веселость казалась натянутой, его аргументы — неискренними. Хорош он был на своей работе — выдававший изящные записки через двадцать четыре часа после поступления запроса и наслаждавшийся этим. Кроме того, оправданно отождествляя общественный интерес с собственной работой, он убедил себя, что ведение войны наконец-то оказалось в способных руках. «Мы обязаны победить — и притом одержать великую победу, применив в последнюю минуту все наши умственные способности и все наше богатство», — говорил он Вулфам за устрицами в Ричмонде 20 января 1915 г. Но он испытывал неловкость, если его спрашивали, почему он допустил мобилизацию своего мозга. Его обычным ответом было утверждение, что он работает только для удовольствия — и работа на войну это удовольствие ему приносит. Бертран Рассел и Д.Г. Лоуренс, с которыми Мейнард обедал в Кембридже 7 марта 1915 г., не были одиноки в оценке этого ответа как попытки увернуться. «Кейнс, — писал Рассел Оттолайн Моррел, — был твердым, умным, неискренним, старавшимся использовать свой интеллект, чтобы скрыть муки, терзавшие его душу... [Он] говорил так, будто жаждал только череды приятных моментов, что, конечно, неправда». Как Рассел, так и Лоуренс приписывали легкомыслие Кейнса «стерилизующему» действию гомосексуализма; Лоуренс дошел до того, что посчитал Кейнса «испорченным и грязным»²⁴. Все же в ответе Кейнса была правда, хотя она не обеспечивала полного к нему доверия. Он и не начинал серьезно думать о своем отношении к войне. Он был захвачен работой — и это служило ему достаточным оправданием. Более тревожные мысли он от-

метал, уговаривая себя, что война все равно скоро кончится. «Германские финансы рушатся», — заявил он Вулфам в январе.

Все же внешняя бодрость никак не могла глубоко упрятать его подавленное состояние. 25 апреля он писал Дункану:

Это был ужасный уикенд, и снова, хотя не думал, что это повторится, чувствую себя так же, как после смерти Фредди. Вчера пришли известия, что двое из наших студентов убиты, обоих я знал, хотя не очень хорошо, и любил. А сегодня смерть Руперта. Несмотря на все, что когда-либо говорилось, я плачу по нему. Это слишком ужасно, кошмар, от которого надо любым способом избавиться. Пусть никакому иному поколению не доведется жить под тучей, под которой должны жить мы.

25 июня в Буковине был убит Бекасси. В письме Дункану Мейнард упомянул и о нем, перед тем как добавить: «Но нет смысла говорить о нем. Думаю, лучше забыть об этом так быстро, как только возможно».

Смена правительства в мае 1915 г. принесла Кейнсу новые обязанности. 19 мая Асквит сформировал коалицию с консерваторами. Это было вызвано двумя обстоятельствами. Нехватка боеприпасов обернулась общественным скандалом. И лорд Фишер [начальник главного морского штаба] после «тревожных раздумий» пришел к выводу, что он больше не в состоянии быть коллегой Черчилля в Адмиралтействе»²⁵. Глубинной основой такого поворота дела были провал англо-французского весеннего наступления на Западном фронте (утверждалось, что оно было отбито из-за недостатка снарядов у союзной артиллерии) и отпор, данный союзникам у Дарданелл. Ллойд Джордж был сделан первым министром вооружений; Реджинальд Маккенна возглавил Казначейство, «удерживая этот пост как теплое место для Ллойда Джорджа»²⁶. Мейнард стал членом финансового отдела Казначейства, центрального ведомства, занятого финансирова-

нием войны. В начале июня он сопровождал нового канцлера в Ниццу на однодневные переговоры с министром финансов Италии, новейшего союзника Британии. Пересечение Ла-Манша на линкоре и возвращение на эсминце наполнили его ребячьей радостью.

Едва приступив к своим новым обязанностям, он вынужден был уйти почти в двухмесячный отпуск, сначала из-за аппендицита, потребовавшего срочной операции, а потом по случаю воспаления легких. Только 9 июля он возвратился в Кембридж, на машине с родителями. 14 июля он уже мог обедать в Королевском колледже. Пару дней спустя его выздоровление продолжилось близ Оксфорда в Гарсингтоне, который Оттолайн Моррел только что преобразовала из довольно запущенной усадьбы эпохи Тюдоров в пышный, ароматный оазис для своих друзей — писателей и живописцев. Кейнс «страшно понравился» Оттолайн — больше, чем в самые первые дни войны, когда он оставался на ночь на Бедфорд-сквер. Тогда она видела в нем «этого сатира Кейнса, жаждущего работы, славы, влияния, господства, поклонения», с манерами, которые, исключая его отношения с несколькими близкими друзьями, «граничат с наглостью». В более расслабленной обстановке Гарсингтона она начала ценить «атмосферу его личности — независимой, размышляющей и все же проявляющей почти ласковый интерес к собеседнику, с головой, склоненной набок, с любезной и все же снисходительной улыбкой и совсем очаровательными глазами, блуждающими в поисках и размышлениях — и вдруг, откровенный, доверчивый и, возможно, вызванный чем-то своим, по-домашнему тихий смешок...»²⁷ В следующие месяцы Мейнард часто бывал на домашних сборищах в Гарсингтоне, где толпились друзья по Блумсбери и сверкали либеральные политики. Перед возвращением в Казначейство в начале августа с лордом Канлифом, управляющим Английского банка, он провел уикенд на острове Уайт.

XIII

Заботы военного времени

1. Что это за война?

Едва Кейнс возвратился к активному исполнению своих обязанностей, как оказался втянутым в крупную ссору Маккенны с Ллойд Джорджем по поводу организации военных усилий Британии. У Казначейства была своя четко определяемая позиция, которую оно называло «избирательным подходом». На все, что требовалось, ресурсов не хватало. Поэтому надо было выбирать, куда их направлять — создавать многочисленное войско, выпускать снаряды или производить товары на экспорт. На посту канцлера Ллойд Джордж держался этой логики¹. Но смена должности привела к смене взглядов. В качестве министра вооружений Ллойд Джордж рассчитывал теперь получить достаточно снарядов для действующей армии в составе семидесяти дивизий. Маккенна, однако, унаследовал прежнюю программу Ллойд Джорджа — «дискриминацию», которую он истолковывал как меньшее внимание большим армиям и вооружениям с перенесением центра тяжести на производство экспортных товаров. Доводы Казначейства были просты. Финансовая структура Альянса союзников зависела от способности Британии экспортировать или заимствовать достаточно, чтобы оплачивать внешние расходы государств Антанты. Так что экспортные отрасли промышленности должны были сохраняться любой ценой; и

Англия должна была поддерживать свою кредитоспособность в глазах Соединенных Штатов, не допуская снижения обменного курса своей валюты. Ллойд Джордж склонен был с презрением отметить такие аргументы. Он утверждал, что ресурсов на самом деле больше, чем представляется Казначейству. Например, к работе можно привлечь женщин, а кредиты американцы всегда дадут — исходя из собственных интересов.

В лице Маккенны Казначейство получило канцлера, близкого сердцу Кейнса. По темпераменту Ллойд Джордж и он были полярными противоположностями. «Ум, видевший все на свете в образах, столкнулся с другим, который все воспринимал в цифрах и постоянно производил вычисления, опускавшие всякие чувства на землю»². И в лучшие-то времена он и Ллойд Джордж раздражали друг друга. Теперь они снова были по разные стороны в политическом споре. Ллойд Джордж вместе с большинством консерваторов — членов коалиции выступал за обязательную воинскую повинность. Маккенна, Грей, Рансимэн, Крю и большинство старых либералов в окружении Асквита были против.

Именно в связи с вопросом о воинской повинности экономические соображения приобрели серьезный политический вес. Все были согласны, что нет ничего более желательного, чем победа в войне. Но оставался простор для разногласий в ответах на вопрос о том, какого рода войну следует вести Британии. Линия Казначейства была по душе всем тем, кто считал, что Англия должна вести войну, которая в наименьшей степени будет нарушать установившийся порядок вещей. Такова была основополагающая позиция Асквита и его сторонников. Они принимали войну как необходимое зло, но боялись ее последствий и старались ограничить наносимый ею ущерб. Слабым местом окружения Асквита был сам Асквит. Он выступал против воинской повинности, но ратовал за значительное наращивание британской военной мощи, что само по себе делало обязательную армейскую службу неизбежной. Асквит это-

го не понимал. Он и его военный министр лорд Китченер поддержали предложенную генералами стратегию сосредоточения вооружений и войск для большого прорыва на Западном фронте, имея в виду избежать воинской повинности и не иметь нужды ее вводить. Но успех своей политики генералы должны были обеспечить быстрыми победами, которые они обещали и которых не умели добиться. Ллойд Джордж не страдал этой внутренней противоречивостью. Он хотел, чтобы Англия вела полномасштабную войну, которая создала бы ему возможности раскрыть свой организационный и политический гений. Но его инстинктивное недоверие к любым экспертам распространялось и на генералов с их обещаниями военного прорыва во Фландрии. Он хотел иметь большие армии, но использовать их в другом месте.

Маккенна как глава Казначейства занимал, естественно, ключевое положение, позволявшее влиять на эти дебаты, и этим подразумевалось, что Кейнс, ставший вскоре его любимым советником, также был вовлечен в споры. Эти два человека приблизительно одинакового происхождения и воспитания прекрасно ладили друг с другом. Кейнса экономические знания и его общие симпатии склоняли на сторону Асквита. Он также не был в то время против войны, а выступал лишь за ограничение ее воздействия. Он занимал удобное положение, позволявшее оценивать влияние внутренней политики на внешние финансы и понимать, как ограничения международной финансовой деятельности могут использоваться, чтобы влиять на внутреннюю политику. Главное же, он отчаянно беспокоился, чтобы государство не вторглось в жизнь его друзей. Все его инстинкты поэтому подводили к тому, что Англия должна вести войну субсидиями, а не развернутыми армиями. Это была традиционная британская политика и она имела экономический смысл. Ее нравственность сомнительна. Получалось, что английские либералы безразличны к убийству людей, если речь идет об иностранцах. Кейнс скоро понял это, и начиная с 1916 г.

стремился к завершению войны неким миром на компромиссной основе.

Появляется ряд характерных позиций, которым предстояло вновь проявиться во время Второй мировой войны. В расчете на кратковременную войну правительство решило финансировать свои дополнительные расходы за счет займов. Однако первый военный заем в размере 350 миллионов фунтов был предоставлен в ноябре 1914 г. банками, которые смотрели на обязательства Казначейства как на часть собственных резервов и выдавали частным клиентам ссуды в тех же объемах, что и прежде. Это дало толчок инфляции. Как только Кейнс появился в Казначействе, он стал твердить, что правительственные расходы должны финансироваться налогами, а не инфляционными кредитами. Он отмечал в записке от 15 мая 1915 г.: «Население — единственный решающий источник власти над материальными ресурсами страны; и прямое обращение к нему — единственный безопасный путь к власти над этими ресурсами, если исключить временные периоды, когда речь идет о не слишком больших суммах»³. Кейнс был против инфляции из-за ее последствий для платежного баланса и, соответственно, для обменного соотношения фунт-доллар⁴. Правительству надлежало либо «урезать» богатства в гораздо большем масштабе, чем оно это делало, либо снизить темп роста своих военных расходов. Кейнс выступал за второй вариант по политическим соображениям. Маккенна решил следовать обеим стратегиям одновременно. В своем бюджете от 21 сентября он поднял ставку подоходного налога и ввел налог на чрезмерную прибыль, а также «пошлины Маккенны» на некоторые статьи импорта. В то же время он стал приводить доводы в пользу предложенной Ллойд Джорджем модернизации вооружений.

И.У. Морган пишет, что «долларовый курс стерлинга был ключевой проблемой, поскольку от достаточного поступления долларов по разумной цене зависела вся обширная программа закупок продовольствия, материалов

и боеприпасов для нас самих и для наших союзников»⁵. К весне 1915 г. обстановка с обменом на доллары стала неблагоприятной — то есть американские экспортеры предъявляли больший спрос на фунты стерлингов, чем британские — на доллары. В результате цена на доллары начала расти. В апреле 1915 г. Английский банк приступил к отгрузке золота из Оттавы нью-йоркскому агенту британского правительства Дж.П. Моргану и скупке долларовых ценных бумаг у британских граждан. (В июле Маккенна сумел выйти из отчаянного положения, распорядившись в порядке авансового платежа по контракту на поставки боеприпасов выдать компании *Америкэн Пруденшл* 40 миллионов долларов принадлежавшими англичанам бумагами.) В то же время Англия оказала давление на своих союзников, требуя сосредоточить их золотые запасы в Английском банке в обеспечение выдаваемых Британией кредитов.

Эти меры не смогли предотвратить курсовой кризис в августе 1915-го. К 1 сентября фунт стерлингов продавался в Нью-Йорке со скидкой в 7 процентов (за фунт давали 4.47 доллара при официальном курсе 4.80 доллара). Для восстановления позиции своей валюты Банк отправил в Нью-Йорк больше золота; Казначейство также открыло у Дж. П. Моргана собственный счет, на которые оно помещало доходы от продажи долларовых бумаг, заложенные ценности и золото. Но американский заем, полученный в результате сентябрьских переговоров лорда Ридинга, принес разочарование: вместо ожидавшихся 200 миллионов фунтов кредит составил только 100 миллионов, причем из них лишь 33 миллиона американцы дали на частной основе. Стало ясно, что за пределами нью-йоркского финансового сообщества и связанного с ним производства вооружений мало кто горит желанием одалживать деньги союзникам.

23 августа 1915 Маккенна представил новому Комитету по военной политике свои возражения против требований Ллойд Джорджа заняться созданием крупных

войсковых соединений; первоначальным составителем докладной записки был Кейнс. Его главным доводом было, что «рабочая сила Великобритании настолько полно занята полезными делами, что отвлечение ее на использование в военных целях представляет собой *альтернативное*, но не *дополнительное* средство британского содействия делу союзников». Невозможно, утверждал он, управлять производством, не применяя столь же жестких мер управления потреблением. Следовательно, «если не прибегать к конфискации частных доходов, значительное увеличение армии и дальнейшее субсидирование союзников являются собой *альтернативу*»⁶.

Сверхсложность доводов Маккенны не была единственной причиной, помешавшей ему убедить своих коллег. Важное решение в пользу западной военной стратегии уже было принято. 20 августа — за три дня до того как Маккенна выступал перед специальным Комитетом Кабинета — Китченер сообщил правительству, что он вынужден был согласиться с требованием французов возобновить осеннее наступление. Жоффри, французский главнокомандующий, был убежден, что сможет одержать большую победу. Для англичан результатом битвы при Лоос — начатой 25 сентября и свернутой через две недели без каких-либо территориальных приобретений — были 60 тысяч убитых; французы потеряли 150 тысяч. Генералы откликнулись на это планом еще больших наступлений в 1916 г.

Пока цеппелины сбрасывали бомбы, падавшие вокруг Мейнарда на Гауэр-стрит, он писал матери (8 сентября): «Я чрезвычайно занят в Казначействе, но наслаждаюсь работой. Сегодня канцлер поручил мне писать важный меморандум; и, как обычно, на это мне дан только один день». Распространенный среди членов кабинета меморандум Кейнса от 9 сентября, '*Финансовые перспективы текущего финансового года*', закладывал основу заявления Маккенны 13 сентября о подготовке к чрезвычайному осеннему бюджету. Маккенна сказал, что до 31 марта 1916 г. мог бы

поддерживать привычный ход дел, используя знакомые краткосрочные меры; но опять вернулся к своей концепции, что, помимо этого, Англии следует заботиться о сохранении ресурсов, чтобы пережить Германию финансово. В записке Кейнса финансовые перспективы были изображены чрезвычайно мрачно. Он исчислил бюджетный дефицит текущего года как равный 700 миллионам фунтов и быстро возрастающий. Около половины этого дефицита (500 миллионов), полагал он, можно было бы покрыть за счет «реальных» ресурсов: поступлений от налогов и займов, продажи или ликвидации активов и доходов от выданных за границу ссуд. Для баланса требовалось «инфляционное» средство — печатать деньги. «Нам следует быть готовыми делать это, не создавая катастрофы в текущем финансовом году, при условии, что наступление мира даст возможность отменить эту инфляционистскую политику немедленно. В противном случае расходы последующих месяцев быстро сделают наши трудности невыносимыми». Ибо инфляция приведет к краху обменного курса и лишит нас возможности оплачивать импорт из США⁷.

Как заметил один обозреватель, «заявление Маккенны и меморандум Кейнса поставили канцлера и его блестящего молодого помощника в положение Лаокоона и Кассандры британского правительства»⁸. Паникерские суждения Кейнса привели в бешенство Ллойд Джорджа. В своих *‘Военных мемуарах’* он пишет, что

психика г. Маккенны была поколеблена этими пророчествами его главного советника г. Дж. М. Кейнса. Последний был слишком суетливым и импульсивным советником для условий высокой напряженности чрезвычайного положения. Он рвался к конечным выводам с непринужденностью акробата. Дело не менялось к лучшему, когда он так же лихо и проворно спешил делать противоположные заключения... Когда пробил роковой час, и мы все еще гораздо больше прежнего закупали за границей продовольствия, сырья и боеприпасов и платили за них, и наш кредит стоял все еще высоко, надвигавшийся крах отодвинулся на осень⁹.

Линия Маккенны-Кейнса не поколебала и Асквита. Финансовый пессимизм склонял его к тому, чтобы поставить на скорую военную победу как на способ уйти от решения своих все обострявшихся политических дилемм. Таким образом, как ни парадоксально, это подталкивало его к согласию с западной стратегией, что в конечном счете требовало введения воинской повинности.

Поражение Маккенны осенью 1915 г. имело определяющее значение для выбора политики в войне. Казначейство утратило контроль над внутренними расходами. Это означало, что война будет финансироваться главным образом за счет внешних займов, так как собственная налоговая база не могла быть расширена в достаточной мере. И поражение Казначейства сделало неизбежной обязательную военную службу.

В Казначействе подготовка бюджета всегда означает самое беспокойное время в году, и около 15 октября Кейнс писал отцу, что он «в высшей мере измотан... это была смесь работы и волнений... большую часть недели я вращался в очень высоких кругах... а этот уикенд я провожу с премьер-министром».

В субботу 16 октября Марго Асквит записала в своем дневнике, что «Кейнс, человек из Казначейства» выиграл девять фунтов в бридж у леди де Траффорд и Эдвина Монтегю. Этот уикенд стал началом дружбы Мейнарда с Асквитами. Премьер-министр любил проводить уикенды вдали от Лондона в своем загородном доме Уорф, в Саттон Коуртни, в Беркшире, и расслабляться там, играя с друзьями в бридж. Он и его дочь Вайолет иногда приезжали на автомобиле завтракать к Оттолайн в Гарсингтоне, где аристократический либерализм оксфордского Бейллиол-колледжа смешивался с осмотительно подрывной культурой кембриджских *Апостолов*. Мейнард не был великим игроком в бридж, но лучшим, чем Марго, которая играла горячо и неумело; так что он выигрывал крупные суммы в Уорфе и на Даунинг-стрит, 10, несмотря на отвлекающие поглядывания

игривой падчерицы Марго, Элизабет Асквит (позднее княгини Бибеско). Марго, страдавшая бессонницей и тратившая ночи на едкие, точные описания характеров своих видных друзей, не оставила ни одного портрета Мейнарда. Был ли он еще слишком молод, чтобы остановить на себе внимание жены премьера? На том времени, когда он стал большим человеком, дневник Марго Асквит обрывается.

В последней попытке сохранить систему добровольного набора в армию лорд Дерби был в октябре 1915 г. назначен генеральным директором вербовочной службы с оговоркой, что в случае неудачи его кампании призыва добровольцев правительство введет обязательную воинскую повинность. Кейнс по-прежнему настаивал, что «отправка за границу каждой новой дивизии экспедиционного корпуса есть альтернатива поставкам продуктов питания, боеприпасов или других необходимых предметов потребления союзникам или самим себе»¹⁰. Но эти соображения никак не влияли на ход событий. Асквит с ними соглашался¹¹, но не мог поступать вопреки советам генералов, и к концу 1915 г. армия была прочно в руках «западников». И Хейг, новый главнокомандующий, и Робертсон, новый начальник имперского генерального штаба, были «непоколебимы в своей вере, что войну можно выиграть, только перебив немцев во Фландрии. И оба они были готовы, не моргнув глазом, принять неизбежную при этом британскую долю потерь». 28 декабря Военный кабинет одобрил представленный Робертсоном план нового широко развернутого наступления союзников весной 1916 г. «В этих обстоятельствах, — писал Рой Дженкинс, — работа политических деятелей прекратила быть поиском стратегических альтернатив и сосредоточилась на поставке людей и вооружений для бойни»¹². В тот же день, 28 декабря 1915 г., Кабинет принял принцип воинской повинности. 27 января 1916 г. Закон о воинской службе получил согласие короля. Вопрос о том, какого рода войну следует вести Англии, был решен.

2. По убеждению совести?

Согласно Закону о воинской службе, все холостяки и бездетные вдовцы в возрасте от восемнадцати лет до сорока одного года «считались... включенными в установленном порядке в состав вооруженных сил». Документы об освобождении правительственные ведомства могли выдавать тем своим служащим, которые выполняли работу «национального значения». Другие могли обращаться за освобождением к местным трибуналам на основаниях (а) национального значения их работы, (б) тяжелого жизненного положения, (в) плохого здоровья или (г) «убеждений совести, не позволяющих участвовать в военных действиях». Трибунал мог либо просто отклонить такое обращение, либо предоставить освобождение по одному из четырех оснований. Освобождение могло быть абсолютное, условное или временное. Отказчику по убеждению совести в освобождении могло быть отказано полностью, либо оно могло касаться только прямого «участия в военных действиях, либо может быть дано при условии, что [он] занят или будет занят на какой-то работе, имеющей, по мнению трибунала, национальное значение». Закон предусматривал процедуру апелляции на решения местных трибуналов.

В сборнике личных воспоминаний *‘Старые друзья’* (*‘Old Friends’*), изданном в 1957 г., Клайв Белл пишет: «Похоже, о Кейнсе не было известно, что он... — отказчик по убеждению совести»¹³. Есть свидетельства, что по получении повестки о призыве, он попросил освобождения, ссылаясь на соответствующие убеждения совести, получил предписание предстать 28 марта 1916 г. перед местным трибуналом Холборна, написал туда 27 марта из Казначейства, что слишком занят и лично явиться не сможет, а два дня спустя ему прислали письмо, извещавшее что его заявление об освобождении рассматриваться не будет, потому что «Вы уже были освобождены на шесть месяцев Казначейством».

Что Кейнс просил освобождения от военной службы, ссылаясь на убеждения совести, не позволяющие соглашаться с воинской повинностью, — не вызывает сомнений, вопреки путанице, которую внес в это дело первый его биограф Рой Хэррод. Черновик письма, датированного 28 февраля и предназначенного для трибунала Холборна, выглядел следующим образом:

Я требую полного освобождения, потому что совесть не позволяет мне отказаться от свободы суждения в столь жизненном вопросе, как исполнение военной службы. Я не утверждаю, что немыслимы обстоятельства, при которых я должен был бы добровольно предложить себя для военной службы. Но с учетом фактически существующего положения дел, я уверен, что на мне не лежит обязанность предлагать себя таким образом, и я торжественно заявляю трибуналу, что мой отказ подчиниться властям в этом вопросе воистину продиктован убеждением совести. Я не готов в таком деле, как это, передавать кому бы то ни было свое право решать, в чем состоит или не состоит мой долг, и я бы считал нравственно недопустимым уклоняться от самостоятельного принятия этого решения¹⁴.

Трибунал, должно быть, получил такого рода письмо, иначе не стал бы требовать его личной явки.

Каково основание отказа Кейнса от призыва — не совсем ясно. Присоединялся ли он к классическому либеральному представлению, что государство ни при каких условиях не имеет права призывать гражданина на военную службу? Либо он утверждал, что, если при данных обстоятельствах он не видит своего долга вступать в армию, то государство не имеет никакого права заставить его идти на войну? Кейнс не возражал против воинской повинности во время Второй мировой войны. Самое разумное толкование, какое можно дать этому письму, — это просто его желание утвердить свое право на отказ от военной службы по убеждению совести. Государство не имеет, мол, никакого права заставить человека делать что-либо, отвергаемое его совестью, его убеждениями. Поскольку

принципиальным пацифистом Кейнс не был, получается, что он говорил нечто о самой этой войне, то есть что не та это была война, в которой он чувствовал бы своим долгом принимать участие.

Вопрос тогда в том, почему он просил освобождения, ссылаясь на убеждения совести, хотя уже имел это освобождение на основании службы в Казначействе? Очевидное объяснение: это было заявление о своей общей позиции, жест солидарности с друзьями из Блумсбери, среди которых многие были пацифистами либо противниками войны по политическим причинам. Но есть и другое объяснение: письмо Кейнса могло иметь практическое значение. Поскольку он отправлял его, имея уже освобождение от Казначейства, это должно означать, что 28 февраля 1916 г. он подумывал об *отставке*. Если так, то его неявка в трибунал месяцем позже может объясняться тем, что к этому времени подавать в отставку он уже не собирался и о решениях трибунала больше не беспокоился.

Как близко Кейнс подошел к отставке в январе-феврале 1916 г.? Майкл Холройд придерживается мнения, что «на отставку не было никаких шансов»¹⁵. Однако, есть важное свидетельство об обратном, и его следует привести, чтобы уяснить состояние его ума в тех обстоятельствах, в которых он оказался.

Тень воинской повинности шла впереди нее самой. С осени 1915 г. вопрос об участии Кейнса в военных усилиях страны все чаще ставил его под огонь критики со стороны друзей, и некоторые замечания он переживал тяжело. В октябре того года Дункан Грант и Дэвид Гарнетт уехали в Париж, где Дункан подрядился проектировать костюмы для одной театральной постановки. В Фолкстоне Дункана оскорбили слова какого-то английского офицера, назвавшего его пацифистом, а по прибытии во Францию его не пустили в страну и выслали как нежелательного иностранца. Кейнс добился служебного выговора офицеру; но Кролик, которому позволили проследовать в Париж, написал ему сердитое письмо: «Кто ты та-

кой? Всего лишь интеллект, который им нужен в крайних случаях?.. Джин, которого дикари по неосторожности вытаскивают из Королевского колледжа, чтобы заставить верно служить их дикарским целям, а потом вернуть назад в бутылку». Дэвид Гарнетт стыдился этого своего письма, но к его удивлению Мейнард «согласился, что в сказанном мною было много правды»¹⁶.

В течение всего января 1916 г. Кейнс пребывал в колебаниях. 6-го он сообщил отцу, что хочет уйти в отставку. 13-го написал Флоренс, что останется, «пока они не начнут по-настоящему мучить моих друзей». Реальный раскол, думал он, «скорее принесет мир». Эти выдержки из писем должны восприниматься в полном контексте. 29 декабря 1915 г. пять министров Асквита — Саймон, Маккенна, Рансимэн, Грей и Огэстайн Биррел — подали прошения об отставке. Асквит раскрыл подоплеку в письме, которое он написал Эдвину Монтегю накануне:

Ссылаются они [Маккенна и Рансимэн] вовсе не на последнее решение кабинета; более того, оба говорят, что не будут возражать против предложенного законопроекта. Причина, которую они указывают, в том, что в обосновании принятого решения выражено намерение мобилизовать людей для 67 дивизий, а это, на их взгляд, неосуществимо без нанесения фатального ущерба другим нашим ресурсам и обязательствам.

Предложив компромисс в виде создания комиссии Кабинета, чтобы «изучить, в течение месяца, конкурирующие военные и экономические требования»¹⁷, Асквит убедил всех, кроме Саймона, остаться.

Что сделал бы Кейнс, уйдя в отставку Маккенна и Рансимэн? На сей счет есть важное свидетельство. 31 декабря 1915 г. Литтон Стрэчи написал Оттолайн Моррел:

Этим утром я пошел повидаться [с Бертраном Расселом], и мы завтракали с Мейнардом в необыкновенном подземном заведении где-то возле Трафальгар-севера; гости там рассаживаются на высоких табуретах подобно попугаям на

шестах... Мейнард ... много сообщить нам не мог — за исключением того, что Маккенна все еще колеблется; но он, кажется, не исключает их с Рансимэном отставки — и в этом случае он тоже ушел бы и стал помогать в их борьбе¹⁸.

Когда Маккенна решил остаться, остался и Мейнард, чтобы помогать своему начальнику отстаивать позицию Казначейства. Казначейский раздел доклада комиссии готовился по проекту Кейнса в конце января. Ключевым аргументом было то, что Канцлер придает решающее значение сохранению разменной монеты, а это не сочетается с политикой создания больших армий.

Доклад комиссии был подписан Асквитом, Остином Чемберленом и Маккенной 4 февраля 1916 г. В заключении отмечалось, что риск кратковременного содержания армии в составе шестидесяти с лишним дивизий допустим, но только при дополнительной финансовой поддержке со стороны союзников. В сущности это была азартная ставка на быструю победу. Коль скоро Маккенна подписал доклад 4 февраля, зачем надо было Кейнсу все еще думать о своей отставке 28 февраля, в день отправки его письма в трибунал Холборна? Здесь мы должны обратить внимание на еще одно обстоятельство: давление, оказываемое на Мейнарда его блумсберийскими друзьями, и особенно Литтоном Стрэчи, которое достигло своего максимума вскоре после того, как Кейнс отослал свое письмо.

Заявления об освобождении следовало подать до 2 марта. По существу все мужчины группы Блумсбери решили требовать освобождения на основании убеждений совести. Было бы преувеличением назвать их всех пацифистами. Джеральд Шоув пацифистом был. Но в первые дни войны среди блумсберийцев нелегко было найти мужчину, не готового отправиться на войну — в принципе. Само продолжение войны изменило эти настроения. К 1916 г. никто из блумсберийцев больше не считал, что цели и возможности войны оправдывают приносимые ей жертвы — жертвы людьми и свободами. Мейнард разделял политические и этические позиции своих друзей. Он

пришел к выводу, что продолжать войну неправильно. Он хотел «мира без победы». Он знал, что того же мнения держатся некоторые члены Кабинета, особенно лорд Лансдаун. Он был бы рад, если бы они подали в отставку и развернули кампанию за начало переговоров.

Но, как справедливо указывает Пол Леви¹⁹, сам факт, что он занимал такую позицию, требовал от него каких-то соответствующих действий. Как мог он оправдать собственную работу на войну, если не соглашался с ее целями и методами? Кейнс едва ли мог ответить, что таков его долг, ибо, как он писал в 1938 г., «мы полностью сняли с себя личную обязанность повиноваться общим правилам». Он обещал уйти в отставку, если так поступит Маккенна; но какое отношение убеждения совести Маккенны имели к его собственным убеждениям? «Конечно, — пишет Майкл Холрод, — и Литтон, и Рассел считали, что он вел себя как «крыса», и, в личном порядке, они оба давили на него, требуя уйти из Казначейства, говоря, что невозможно примирить провозглашаемую солидарность с отказчиками по убеждению совести и работу, которая посвящена изысканию способов убивать немцев с наименьшими по возможности затратами»²⁰. Высшего предела это давление достигло 20 февраля 1916 г., когда Литтон Стрэчи «уподобил отказчика по убеждению белому перышку, украшающему тарелку Кейнса на званом ужине»²¹. Стрэчи вырезал из газеты сообщение о яростно милитаристской речи Эдвина Монтегю («там было полно всяких ужасов... говорил не только об обороне страны, но и о необходимости сокрушить Германию и т.д.», — писал Стрэчи брату Джеймсу) и вложил ее в конверт вместе с письмом Кейнсу в одну строчку: «Дорогой Мейнард, почему ты все еще в Казначействе? Твой Литтон».

Письмо Стрэчи к брату содержит подробности:

Я собирался отправить это по почте, но он, случилось, обедал на Гордон-сквер, и я тоже был там. Так что я положил письмо на его тарелку. Прочитав, он действительно весьма сильно расстроился... Бедняга, похоже, держится с

большим достоинством и признался, что *отчасти* причиной того, что он остается, является удовольствие, доставляемое ему его работой, с которой он справляется так хорошо. Он также, кажется, полагает, что оказывает стране большую услугу, еженедельно спасая для нее по несколько миллионов фунтов... В конце концов он признал, что *есть* обстоятельство, которое *заставило* бы его думать об отставке, но что это за обстоятельство, сказать не мог²².

На следующий день Кейнс послал чек на 50 фунтов Национальному совету против воинской повинности. 23 февраля он получил в Казначействе свидетельство о шестимесячном освобождении от военной службы. Пятью днями позже он просил освобождения по убеждениям совести, чтобы уложиться с подачей заявления в установленный срок — до 2 марта. Было ли это жестом смирения или частью заготовленного плана на случай непредвиденных обстоятельств? Наиболее вероятный ответ — тот, что он сохранял для себя свободу выбора. Он не стал подавать в отставку, но мог бы. Он сказал матери, при каких обстоятельствах он это сделает: если они начнут по-настоящему «мучить моих друзей». Никто еще не знал, как же система просьб об освобождении будет работать на практике. Общее ожидание в Блумсбери состояло в том, что многие из них отправятся в тюрьму. Если бы Мейнард ушел в отставку, он также отказался бы идти в армию добровольцем. Его позиция была бы тогда точно такой же, как и у его друзей из группы Блумсбери.

Если у Кейнса были колебания в последнюю неделю февраля, то к 28 марта, ко дню, назначенному для слушаний в трибунале, он твердо решил оставаться на месте. Несколько обстоятельств сыграли свою роль. Мы должны помнить, что в течение всего этого периода он был под большим давлением со стороны родителей, которые не допускали возможности «бросить все на свете». Были привязанности, действовавшие так же, как отношения, приковавшие его к друзьям. Еще один фактор — искренняя надежда Кейнса на возможность скорого окончания вой-

ны. В январе и феврале 1916 г. специальный посланник президента Вильсона, полковник Хауз, объездил столицы воюющих государств с настоятельным предложением собрать мирную конференцию. 6 марта британское и американское правительства достигли понимания, что «в подходящий момент» европейские союзники обратятся к Вильсону с просьбой созвать мирную конференцию²³. Кейнс, несомненно, знал об этом соглашении от коллег из кабинета. Он полагал, что подходящий момент нельзя откладывать надолго. Деньги быстро кончались — он назначал конец света на 31 марта 1916 г., но пока этот срок отодвигался на несколько месяцев. По-видимому, он был автором (под псевдонимом *Политикус*) статьи в апрельском номере ежемесячного журнала, который выпускал пацифист Джеральд Шоув, — статьи под названием '*Глядя фактам в глаза*' ('*Face the Facts*'), утверждавшей, что застой на Западном фронте «быстро превращает безотлагательное начало переговоров в нечто неотвратимое». Сходные взгляды он выражал 15 марта в обращении к Адмиралтейству. Не было никакого смысла в отставке, если мир так или иначе стучался в дверь.

Более того, похоже, Кейнс понимал, что как должностное лицо он мог бы использовать свое положение, чтобы спасти своих друзей от тюрьмы²⁴. Вполне естественно, что более всего он тревожился за Дункана. В начале 1916 г. он говорил ему и Дэвиду Гарнетту, что их просьба об освобождении от армейской службы по убеждениям совести будет иметь больше веса, если станет очевидно, что они выполняют работу «национального значения». После недавней смерти кузена Дункану остались заброшенный дом и сад в Виссете, деревне в Саффолке, где Дункан и Кролик под приглядом Ванессы обосновались как садовники, ухаживающие за плодовыми деревьями. Заявления Дункана и Кролика разбирались 4 мая перед местным трибуналом в Блаймауте, куда Мейнард прибыл как свидетель защиты. Адриан Стивен представил их дело очень неудачно, «как если бы он обращался к судье

верховного суда». На председателя, полагавшего, что Толстой — это город в России, не произвело впечатления сообщение, что мать Гарнетта Констанция, пожизненная пацифистка, лично посещала там святого и мудрого миротворца²⁵. В освобождении им было отказано. Позже в том же месяце их обращение рассматривалось в Ипсвиче. На сей раз Мейнард взял дело в свои руки, проявив на слушаниях все проворство чиновника Казначейства. «Держа в руках большой запертый портфель с королевской эмблемой на нем, он попросил рассмотреть наши дела по возможности быстрее, потому что он оставил работу высшей национальной важности и ему необходимо срочно к ней вернуться»²⁶. На этот раз им предоставили статус нонкомбатантов (то есть обязали вступить в ряды армии, но освободили от участия в боевых действиях), что Мейнард немедленно опротестовал. В середине июля 1916 г. и Дункан, и Кролик были освобождены от военной службы при условии, что будут заниматься работой «национального значения», под какое определение не подпадала их текущая деятельность в Виссете, потому что там они трудились «по найму у самих себя». 11 августа вопрос о возможности для них остаться в Виссете Мейнард вынес на рассмотрение Центрального трибунала, но к этому времени они уже решили искать работу в другом месте.

Это было только одно из нескольких дел, в которые он был вовлечен в то лето. В июне он выступил как представитель Джеральда Шоува; он поддерживал просьбу об освобождении от воинской службы студента из Пембрука; он добился от Маккенны письма в пользу романиста Джильберта Кармана. 18 июня 1916 г. он написал Деннису Робертсону: «Кризис трибунала заканчивается, поскольку предстоят уступки отказчикам по убеждению совести. Но это было грязное дело, и я трачу половину своего времени на скучные доказательства искренности, добропорядочности и правдивости моих друзей». В этой деятельности он находил моральное оправдание тому, что все еще остается на службе в Казначействе.

XIV

Ощупью

1. Светская жизнь

Распорядок жизни в военное время для Мейнарда теперь установился. Он проводил дни, работая в Казначействе. По вечерам общался с людьми — либо с великими и замечательными, либо с остававшимися в Лондоне друзьями. На уикенды он по возможности отправлялся за город или в Кембридж к родителям. Заметная перемена произошла в его личной жизни. Сказать без обиняков, резервуар, из которого черпались молодые люди, высох. Кембридж не был больше доступен для восполнения его дружеских связей; всегдашние друзья либо были на фронте, либо рассеялись по стране на сельскохозяйственных работах.

Впервые в жизни Мейнард должен был довольствоваться женским обществом. Женщины также испытывали недостаток в подходящих мужчинах. Группа молодых женщин, известных как «Стриженные» или «ежики», потому что они носили короткие волосы, превратила себя в спутниц мужчин Блумсбери. В их числе были три выпускницы школы Слейда — Дороти Бретт, Дора Каррингтон и Барбара Хайлс, и воспитанницы Ньюнема — Фредегонда Мэйтлэнд, Фэйс Бэйджнэл и Аликс Сарганта Флоренс. По существу, именно война позволила Блумсбери приобщиться к гетеросексуальности. «Педики» с запозданием открыли для себя радости домашней жизни. Адриан

Стивен проложил дорогу, женившись на Кэрин Костелло; теперь Джеральд Шоув признавался, что более всего он хотел, чтобы о нем заботились — в 1915 г. он женился на Фредегонде Мэйтлэнд, племяннице Вирджинии Вулф. Джеймс Стрэчи сдался в 1920 г., после долгой осады он пал перед Аликс Саргантой Флоренс. Пока в течение большей части 1915 г. Кролик Гарнетт находился далеко во Франции, Дункан и Ванесса стали любовниками. Самое удивительное, что в 1916 г. Литтон Стрэчи, говоря словами Клайва Белла, почувствовал, что он «явно пленен [Дорой] Каррингтон... он внезапно обнаружил, что его глубоко волнуют ее ноги. Предполагаю, скоро он обнаружит, что у нее есть удивительная душа»¹. В декабре 1917 г. они поселились с нею в Милл-хаузе в Тидмарше, близ Пэнгборна, притом что в счет их арендной платы двадцать фунтов в год вносил от себя Мейнард.

Самого Мейнарда привлекла Барбара Хайлс, живчик, кукольного вида существо, краснощекая, синеглазая, с вьющимися волосами. Но, в отличие от брата Джеффри, который в 1917 г. женился на Маргарет Дарвин, вопрос о том, чтобы и ему «остепениться», пока еще ни в каком виде не возникал. Жизнь Мейнарда была намного полнее и интереснее, чем у его друзей из Блумсбери. Жалованье, получаемое в Казначействе (теперь оно составляло 700 фунтов в год), позволяло легко управляться с холостяцким хозяйством. А «домашняя жизнь» обеспечивалась родителями в Кембридже, так же как Ванессой, Дунканом и Гарнеттом в Виссете, а позже в Чарлстоне.

Нет, не все свои свободные уикенды проводил он в кругу этих двух семейств. В 1916 г. в самом разгаре была его дружба с леди Оттолайн Моррел, он часто бывал в Гарсингтоне. Однажды дочь Асквита Вайолет (к тому времени замужем за Морисом Бонэмом Картером) и Литтон Стрэчи сцепились в таком яростном споре по поводу отказа от военной службы по убеждениям совести, что понадобились весь острый ум Мейнарда и полный запас прибауток Маккарти, чтобы спасти эти дни отдыха².

Гарсингтон кишел «почетными садовниками» — уклонистами по убеждению, нанятыми Филлипом Моррелом для выполнения «работы национального значения». В то лето Олдас Хаксли, Джеральд и Фредегонда Шоув, Клайв Белл и другие жили в главном доме или в коттеджах по соседству, иногда загружая себя пилкой дров, подправкой изгородей или уходом за курами-несушками. (Поступление яиц внезапно прекратилось после того, как пригляд за птицей был поручен Джеральду.) Репутация Оттолайн ничуть не выигрывала от наплыва говорливых, остроумных и опасно сплетничающих писателей и интеллектуалов, среди которых были Д.Г. Лоуренс и его жена Фрида. Оттолайн целиком посвятила себя поддержке Искусства и Красоты, но то Искусство, которое она сотворила из самой себя, страдало слишком многими изъянами, чтобы выдерживать непрерывное его созерцание знатоками человеческой натуры, которыми она любила себя окружать. Ее гостеприимство вознаграждалось беспощадными эпиграммами, насмешливыми куплетами в беседах, письмах и романах. Мейнард был рад пользоваться гостеприимством Оттолайн без всякой задней мысли, хотя он не без удовольствия внимал распространяемым о ней издевательским историям. В Гарсингтоне он сильно поразил Олдаса Хаксли, «очарованного необъятной широтой его знаний и способностью выходить из трудных положений с помощью *забавно* обтекаемых замечаний...»³

6 июня 1916 г. близ Оркнейских островов погиб Китченер: корабль, на котором он направлялся в Россию для обсуждения военной и финансовой стратегии, наскочил на мину и затонул. Мейнард был исключен из состава миссии лишь в самую последнюю минуту. Мысль о том, в какой близости от Китченера мог быть его сын, причиняла головные боли Невиллу. Тем временем Мейнард оставался в Лондоне, где принимал депутации от Священного синода России и правительства Сербии, получавшие от него подарки, которые, как он сказал отцу, «я и сам рад был бы получить»⁴. (Он заверял накладные на покупку пчелиного

воска для Русской церкви и нижнего белья для Великой княгини⁵.) Его докладные записки продолжали сердить Ллойд Джорджа, унаследовавшего после гибели Китченера пост военного министра. В документе, появившемся в мае 1916 г., Ллойд Джордж назвал попытки Казначейства нормировать российские закупки «вершиной глупости», пояснив, что американские поставщики готовы будут предоставить кредиты России напрямую, без всяких затрат со стороны британского Казначейства, лишь бы не допустить крушения промышленности США из-за отсутствия иностранных заказов. Ответ Маккенны от 5 июля 1916 г., составленный по проекту Кейнса и распространенный внутри Кабинета, содержал подробную критику логики Ллойд Джорджа и приведенных им фактов и выдержан был в манере наставника, порицающего тщетные старания отстающего ученика⁶. Ллойд Джордж затаил еще одну обиду на Кейнса. Июль прошел в переговорах с французским и итальянским министрами финансов.

Сентябрь 1916 г. застал его с Маккенной в Манстед-хаузе, в Годалминге, откуда Мейнард сообщал матери:

К[анцлер Казначейства] взял отпуск, чередующийся с работой, и мы с ним то ведем разговоры о нации, то гуляем по холмам. Мы сейчас очень близко сошлись, и он мне в высшей степени нравится. Я живу здесь в чрезвычайной роскоши, валяюсь в постели до обеда и крайне избаловался. Перед отпуском я чувствовал себя таким измотанным, каким давно не был.

Теперь, когда в Блумсбери по существу не осталось *блумсберийцев*, встал вопрос, что делать с домом 46 на Гордон-сквер. Клайв Белл надеялся, что Мейнард наймет его. Он в этом имел личный интерес, нуждаясь в лондонском пристанище для регулярных (раз в две недели) свиданий со своей любовницей Мэри Хатчинсон, женой адвоката Сент-Джона Хатчинсона и кузиной Стрэчи. Мейнард предвидел проблемы. Арендный договор на Гауэр-стрит истекал еще только через девять месяцев. Он написал Ванессе:

Клайв, с которым я только что говорил, может, я думаю, создать некоторую трудность. Он, видимо, собирается бывать в Лондоне подолгу и жить на Гордон-сквер; а там для него и впрямь нет места. Я немного страшусь, что из-за этих перемен я из домовладельца превращусь в весьма бесправного съемщика двух комнат.

Предчувствия Мейнарда, оказались оправданными; однако смена жилья имела и свои светлые стороны, и в конце сентября 1916 г. он переселился, захватив с собой Шеппарда. Он оплачивал жилье и двух служанок, Бланш и Джесси; Веллы продолжали вносить арендную плату, сохраняя за собой четыре комнаты. Гарри Нортон присоединился к ним в марте 1917 г. Дороти Бретт, Дора Каррингтон и Барбара Хайлс перебрались на Гауэр-стрит, 3.

Виссет был оставлен тогда же, после решения Центрального трибунала, определившего, что Дункан и Кролик не могут оставаться в положении лиц, не занятых по найму. Первым намерением было присоединить их к почетным садовникам в Гарсингтоне. Но в эту схему не вписалась бы Ванесса. Вирджиния тем временем нашла сельский дом в Суссексе, в миле от Ферла и четырех милях от Эшема, и убеждала Ванессу снять его. «При нем очаровательный сад с прудом, плодовыми деревьями и огородами; все сейчас довольно запущено, но вы могли бы сделать это место прекрасным. Дом очень хорош, с большими комнатами, причем в одной комнате громадные окна — хороша для студии»⁷. Дом освободился в сентябре 1916 г.; Ванесса, в «один шальной до потери дыхания день» сняла его у Джеймса Стэйси, который арендовал его у землевладельца, лорда Гейджа, и уговорила молодого фермера г. Хекса взять в свое хозяйство двух наемных чернорабочих — Дункана и Кролика. Мейнард нанес первый визит в «новый загородный дом Дункана», как он назвал Чарлстон в конце октября⁸. Скоро это стало его любимым местом отдыха на уикендах.

Двойная перетасовка укрепила положение Мейнарда в группе Блумсбери. Дом 46 на Гордон-сквер был, по словам Клайва Белла, блумсберийским *monument historique*, и

теперь Мейнард стал его реальным хозяином. Практическое устройство коллективной лондонской жизни блумсберийцев сосредоточилось по большей части в его руках. Посещения Чарлстона давали ему надежное пристанище в месте, которому предстояло стать главным блумсберийским аванпостом в сельской местности. Для уикендов это было идеальное место — всего час поездом из Лондона. Более того, в Чарлстоне он мог расслабляться так, как это было невозможно в обществе более строгих Вулфов и Стрэчи. Здесь его принимали таким, каков он есть. Он мог греться в теплых лучах одобрения и нежности, защищенный от леденящего кембриджского обычая беспощадно разбирать характер человека и мотивы его поведения, что для него редко обходилось без шрамов. Чарлстон в большей мере, чем другие ответвления Блумсбери, был миром в себе. Жизнь Литтона Стрэчи, Вулфов, даже Клайва Белла, при всем их почитании неземных ценностей, пересекалась с жизнью Мейнарда слишком много, чтобы они не чувствовали исходившей от его успехов опасности. Зависть, как правило, находила самозащиту в форме осуждения. Отношения с Ванессой, Дунканом и Кроликом не были для Мейнарда омрачены никакими разногласиями. Они могли гораздо легче принимать его как авторитет в делах, выходящих за пределы их непосредственных забот. Они расценивали его выходы в высокие сферы как источник скорее занятых сплетен, чем нравоучений. Они не стремились постоянно подвергать сомнению его представление о ценностях. Даже грубость Мейнарда, коробившая Литтона Стрэчи, была не столь неуместна в этой заземленной, терпимой к похабщине обстановке.

Чарлстон стал для Мейнарда главным семейным очагом военного времени. Он приезжал вечером в пятницу или в субботу, пересказывал военные новости и затем ложился в постель и выходил лишь к обеду на следующий день. До этого с утра он работал над своими бумагами и наполнял их обрывками мусорную корзину. После этого он становился свободным человеком. Следовали болтовня и

прогулки по лугам. Он даже попал в почетные садовники мелкого масштаба: упорно, стоя коленями на коврике, пропалывал складным ножом дорожку и посыпал ее гравием. «Нетрудно было определить продолжительность его посещений по длине готовой дорожки», — вспоминал Дэвид Гарнетт. Мейнард заряжал их всех бодростью⁹.

2. Финансовый кризис и смена правительства

По мере приближения третьей военной зимы кризис, который так долго предсказывало Казначейство, наконец разразился. К тому времени возможности Британии вести военные действия на континенте оказались в полной зависимости от Соединенных Штатов. Стабильность валют союзных стран и всей их международной финансовой структуры держалась на способности Британии заимствовать у Соединенных Штатов достаточные суммы долларов для покрытия союзнических расходов. 3 октября 1916 г. по предложению чиновника министерства иностранных дел Ричарда Сперлинга был создан межведомственный комитет во главе с лордом Юстасом Перси для оценки сложившейся ситуации. Кейнс вошел в него как представитель Казначейства. В двух острых записках он выделил особенности и последствия растущей зависимости Британии. По его оценке, в течение ближайшего полугодия Англия должна будет тратить в Соединенных Штатах по крайней мере 250 миллионов долларов ежемесячно, но он считал сомнительным, чтобы частные американские банки готовы были и дальше выдавать ссуды в таких объемах. В документе, скрепленном инициалами Маккенны, появляются зловещие слова: «если дела будут идти как сейчас, я рискну с уверенностью сказать, что к июню или ранее президент Американской Республики будет в состоянии, если того пожелает, диктовать нам свои условия»¹⁰. На заседании кабинета Ллойд Джордж снова обрушился на это проникнутое унынием заключение: «Если победа засияет на наших

знаменах, — сказал он, — наши трудности исчезнут. Успех означает кредит: финансисты никогда не колеблются предоставлять деньги преуспевающему предприятию». Открытое признание британской зависимости от Соединенных Штатов (лорд Юстас Перси написал, что «наша задача... — поддерживать в Америке столь теплое к нам отношение, чтобы она предоставляла нам деньги по существу в неограниченных размерах») оказало свое воздействие на определение целей войны, в появившемся тогда же (13 ноября 1916 г.) меморандуме лорда Лансдауна, призывавшем к немедленным мирным переговорам.

За исключением банкиров немецкого происхождения, подобных Паулю Варбургу, американское финансовое сообщество было настроено в пользу союзников, как равным образом и министерство финансов США. Американские фермеры и промышленники тоже были заинтересованы в поддержании высокого уровня союзнических закупок — гораздо больших, чем закупки Германии. Нью-Йорк жаждал также занять место Лондона как мирового финансового центра. Но политические отношения между Америкой и Англией на протяжении значительной части 1916 г. были плохими. Использование Британией своего военно-морского превосходства для пресечения американских поставок в Германию (да еще и начавшееся занесение в черные списки американских фирм, торгующих с врагом) вызвало в США большой гнев, тем более когда одновременно Германия, проявляя необычайную осмотрительность, сократила действия своего подводного флота. Казнь лидеров Пасхального восстания в Дублине привела в бешенство ирландскую общину в США и сочувствующих ей американцев. С приближением президентских выборов Вильсон стремился умиротворить антибритански настроенных избирателей ирландского и немецкого происхождения, а также поляков и евреев, одержимых ненавистью к русскому царизму. Вместе с тем Вильсон хотел остановить войну, и поскольку Германия выказывала (по крайней мере на словах) относительную готовность

откликнуться на его призывы, Ллойд Джордж в широко разрекламированном интервью американскому журналисту (22 сентября 1916 г.) провозгласил политику «нокаута»¹¹. И будто этого было еще недостаточно, британская ставка на Дж.П. Моргана как своего агента в Америке приносила результаты, политически противоположные ожидаемым, поскольку она вроде бы удостоверяла, что дело союзников одобряется банками Уолл-стрита. В своем меморандуме от 10 октября Кейнс сделал разумный вывод, что «политика этой страны по отношению к США должна строиться таким образом, чтобы не только избегать любой формы возмездия или активного раздражения, но также умиротворять и ублажать»¹². В этих словах зафиксирован тот момент, когда финансовая гегемония безвозвратно перебралась на другой берег Атлантики.

27 ноября 1916 г. правление Федеральной резервной системы США вызвало в Великобритании самый тяжелый за всю войну финансовый кризис, предписав входящим в нее банкам прекратить выдачу ссуд иностранным заемщикам и предупредив частных инвесторов, что они не могут предоставлять кредиты под обеспечение казначейскими обязательствами союзных государств. Главным мотивом было оказать давление на союзников, чтобы они поспешили с прекращением войны. Президент Вильсон поддержал требование Федеральной системы, преследуя ту же цель. Ничего не оставалось делать, как расплачиваться по долгам. В течение трех недель Британия тратила золото в среднем на 5 миллионов долларов в день, что «в те дни, — вспоминал Кейнс, — было ужасно». К середине декабря кризис смягчился в результате договоренности между союзниками и щедро предоставленных Морганом возможностей брать деньги сверх сумм, числившихся на счетах.

Доверие Кейнса опять было грубо обмануто. С одной стороны, он лихорадочно трудился, стараясь вытащить Британию из финансового кризиса; с другой — надеялся, что сам этот кризис приблизит окончание войны.

Он снова возлагал надежды на президента Вильсона, который 18 декабря выступил с новой мирной инициативой — призывом к воюющим государствам представить свои условия мира. К этому времени Кейнсу приходилось продолжать свою работу под началом нового и намного меньше его устраивавшего политического руководителя. 6 декабря Ллойд Джордж сменил Асквита на посту премьер-министра, консерватор Бонар Ло занял место Маккенны, став канцлером Казначейства. Уныние Кейнса по поводу такого оборота дел сочеталось с нелучшим состоянием его здоровья: за зиму 1916–17 г. он трижды становился жертвой инфлюэнцы и страдал общей депрессией.

С другой стороны, финансовая ситуация, похоже, подкрепляла прозвучавший 22 января 1917 г призыв президента к «миру без победы». Выкачка долларов продолжалась. 22 февраля Кейнс подсчитал, что оставшихся запасов хватит «не больше, чем на четыре недели, считая от сегодня». По существу британцев спасли немцы, которые понятия не имели, в какие тиски был зажат их враг, — не знали того, что немедленно обнаружилось бы, отмени Британия конвертируемость стерлинга, против чего по-прежнему энергично и успешно дрался Кейнс¹³. 1 февраля немцы начали безоглядную подводную войну с тем, чтобы отрезать союзников от поставок из США, не сознавая, что финансы решают эту задачу и без них. Как понял и сам президент Вильсон, эти действия немцев убивали последнюю надежду на «мир без победы». 6 апреля Америка объявила войну Германии. Умение Кейнса управлять расходами Британии за границей, отодвинув финансовый крах, имело то парадоксальное следствие, что он сдал президента Ллойд Джорджу и политике сокрушительного удара.

На сей раз не возникали уже никакие серьезные мысли об отставке. За недоверие Кейнса Ллойд Джордж от всего сердца платил ему взаимностью. Мейнард объяснял матери 11 февраля, что

меня похвалили и включили в окончательный список на получение ордена Бани. Но когда Ллойд Джордж увидел этот список, он взял ручку и вычеркнул мое имя — нечто неслышанное. Отчасти это месть за направленный против него меморандум Военного совета, подписанный Маккенной. Он знает, что я был автором.

Но в порядке компенсации Кейнс был назначен главой отдела «А», нового подразделения, выкроенного из финансового отдела для работы с внешними финансами и подчинявшегося непосредственно сэру Роберту Чалмерсу, постоянному секретарю всего ведомства, и самому канцлеру. К концу войны штат его работников насчитывал семнадцать человек, в большинстве своем временных гражданских служащих. В их число входили его прежний студент Дадли Уорд, умный восемнадцатилетний юноша по имени Руперт Траутон, ставший его студентом после войны, и Освальд Тойнби Фолк, партнер брокерской фирмы *и Мур*. Фолк, актуарий, помешанный на балете, пришел в команду Казначейства в октябре 1917 г., вскоре после того как Кейнс стал членом-учредителем организованного Фолком под названием *Клуб Казначейства* небольшого клуба сотрапезников, собиравшихся в *Кафе Ройял* для обсуждения послевоенных финансовых проблем. Эндрю Макфедайн, перемещенный в группу Кейнса, вспоминает, каким возбуждением наполнялась

душа молодого человека, наблюдавшего, как острейший ум рассекает проблему и делает ее простой для понимания, излагает языком, который доставляет радость... Кейнс редко — по крайней мере у меня такое сохранилось впечатление — приходил в Казначейство раньше полудня, а уходил около восьми. Он работал с чудодейственной быстротой, и никогда к концу рабочего дня он не был завален необработанными бумагами¹⁴.

Служебное продвижение еще крепче привязало Кейнса к работе в Казначействе. Вскоре он получил возможность находить себе утешение в событиях в России.

Революция 12 марта 1917 г., вызвавшая отречение царя, «сильнейшим образом ободрила и возбудила, — говорил он Флоренс. — Пока что это единственный стоящий результат войны»¹⁵. Антицаристские чувства поколения Мейнарда умирали медленно.

Как постепенное втягивание в войну Америки, так и выход из нее России сулили облегчение финансовой напряженности последних нескольких месяцев. После июля Кейнс стал отказывать российскому правительству в новых кредитах¹⁶. Документальных свидетельств о том, как он воспринял октябрьскую большевистскую революцию, не сохранилось. Его последним вмешательством в российские дела была разработка для белого правительства в Архангельске действовавшей в с 1918 по 1920 г. схемы валютного управления¹⁷.

3. Финансовая дипломатия войны

В конце мая 1917 г. Кейнс стал кавалером ордена Бани третьего класса, «по доброте Чалмерса, который оказал самое сильное давление на канцлера, и в списке представленных к награде от Казначейства было оставлено только мое имя»¹⁸. Против всех ожиданий он отлично поладил с новым канцлером, Бонаром Ло. Осторожный и пессимистичный, Ло никак не походил на интеллектуала Маккенну, но он чрезвычайно быстро схватывал и запоминал суть дела, о котором «какой-нибудь чиновник мог доложить ему на бегу в тот самый суетный момент, когда они с шефом спешат на начинающееся совещание»¹⁹. Ло вступил в должность с намерением полагаться на советы Кейнса во всем, что касалось внешних финансов. Кейнс искренне привязался к Ло, грустному человеку, чью печаль углубила гибель на поле боя двух его сыновей. Скоро он уже садился четвертым играть в бридж на Даунинг-стрит, 11.

Как только Америка вступила в войну на стороне союзников, игра международных финансов пошла по-

иному; изменилась и роль Кейнса. Поступление средств теперь было обеспечено. Вопрос был в условиях, на которых их могли предоставить, а также в последствиях этих новых отношений для ведения войны, для определения целей войны и для послевоенного соотношения сил. Америка готова была поддерживать союзников, пока они одерживают победы, но при этом имея в виду, что ей будет принадлежать главенствующая роль в мирном урегулировании и в послевоенных торговле и финансах. Англии следовало умудриться так вести свои дела, чтобы ограничивать размеры своей задолженности и сохранять максимальную свободу для послевоенного маневра. Как этому предстояло с гораздо большей очевидностью произойти во время Второй мировой войны, британские мозги должны были на равных состязаться с американскими деньгами — или, по крайней мере, так это представлялось англичанам. Неотъемлемой частью британских мозгов был Кейнс.

Замысел, надо признать, не был четким. На обеих сторонах были свои внутренние трения. В Соединенных Штатах было четыре центра финансовой власти: министерство финансов, правление Федеральной резервной системы, Уолл-стрит и конгресс. Уильям Джиббс Макэду, министр финансов и зять Вильсона, соединял в себе, с одной стороны, безнадежное в известной мере стремление подчинить трех остальных соперников, а с другой, весьма слабое знание финансов и изрядную боязнь конгресса. Его политика в 1917 г. частично определялась желанием не допустить, чтобы средства американского министерства финансов использовались для покрытия британских долгов нью-йоркским банкирам. Бенджамин Стронг, ведущая сила в правлении Федеральной резервной системы, добивался одновременно независимости своего правления от министерства финансов и возвышения собственного банка, Федерального резервного банка Нью-Йорка, до положения, при котором он мог бы вытеснить Английский банк с позиции менеджера всемирной денежно-кредитной системы. Ведущие нью-йоркские банкиры, такие

как англофил Томас У. Лэмонт, считали выдачу частных займов Европе лучшим способом установления финансовой гегемонии Нью-Йорка; они не одобряли вмешательства государства в бизнес частного кредитования. Многие конгрессмены так же не любили нью-йоркских банкиров, как не доверяли британцам; они предпочитали видеть Америку в стороне от войны.

Британская финансовая политика управлялась лучше, но и она страдала от юридически не упорядоченного разделения ответственности. Закоренелые желания Казначейства ограничить свои финансовые обязательства сталкивались с неумными требованиями военных отделов как английских, так и союзнических ведомств. Тот уровень управления, при котором можно было удерживать контроль над общими размерами расходов, зависел от священной нерушимости обменного курса стерлинг-доллар и от ограничения морских перевозок. Но это значило привлечь к управлению обменным курсом Английский банк, управляющий которого лорд Канлиф обижался на вторжение официальных представителей Казначейства в традиционный банковский заповедник. В 1915 г., пользуясь своей дружбой с Ллойд Джорджем, Канлиф сумел заставить Маккенну согласиться на централизацию управления курсом в Лондонском валютном комитете — консорциуме банкиров, в котором он председательствовал. Однако Казначейство, особенно сэр Роберт Чалмерс и Кейнс, уклонялись от работы в Комитете, и к лету 1917 г. Канлиф было готов приступить к окончательному выяснению отношений.

Третья сила в британской финансовой дипломатии в отношении Америки, посольство Великобритании в Вашингтоне, больше чинила помехи, чем оказывала помощь. Посол, сэр Сесил Спринг-Рис, дипломат старой школы и друг Теодора Рузвельта, был в плохих отношениях с демократической администрацией. Человек остроумный, склонный строить свою речь по библейским образцам, он оказал Британии дурную услугу, пустив в оборот ходив-

шую в его кругу шутку: «Вильсон — пастух нации, а Макэду — его бич». Посольству также до боли не хватало финансовых специалистов. Пока в январе 1918 г. послом не был назначен способный и дипломатичный лорд Ридинг, Англии для отстаивания своих финансовых интересов в Соединенных Штатах приходилось полагаться на надежные большими полномочиями чрезвычайные миссии, но они нередко создавали дополнительные юридические проблемы и межведомственные споры.

Надежды Кейнса, что Америка позаботится о решении его проблем, не оправдались; изменились только проблемы. В январе 1917 г. британское Казначейство в попытке дистанцироваться и от Дж. П. Моргана, и от Английского банка, послало в Нью-Йорк своего нового финансового секретаря, сэра Сэмюэля Хардмана Левера с расчетом привлечь новые средства и взять на себя управление счетом Моргана. Левер, дипломированный бухгалтер с нью-йоркскими связями, сумел ко времени вступления Америки в войну довести долг британского правительства Моргану до 400 миллионов долларов; но когда 9 апреля он попросил у Макэду 1,5 миллиарда долларов на шесть месяцев, ответом ему были удивление и раздражение. Макэду заподозрил, что деньги пойдут на покрытие долга Моргану и на поддержание обменного курса стерлинг-доллар, а не на закупку американских товаров; не было также создано никакого механизма распределения между союзниками поступлений от одобренного конгрессом двухмиллиардного долларового *Займа свободы*. Левер, человек угрюмый, своей скрытностью не способствовал решению возникавших вопросов; не изменили положения и последовавшие затем миссии во главе с Бальфуром и газетным магнатом Нортклифом, они не добились выделения Соединенными Штатами каких-либо крупных займов. Макэду, «неудачник с Уолл-стрита с замахом на президентское кресло», как не без ехидства описывал его Макфедайан, довольствовался тем, что еженедельно подбрасывал кланчащим англичанам кое-какие

крохи, используя бедность союзников для сосредоточения контроля над закупками в руках министерства финансов США²⁰.

Положение ухудшилось в июне, когда огромный британский заказ на пшеницу совпал с изъятием американцами из Лондона средств для образования капитала *Займа свободы*, и это ослабило фунт стерлингов. В Лондоне Кейнс продумывал кампанию Казначейства, направленную на сохранение притока денег из США, составлял важные аналитические записки и телеграммы американцам в объяснение позиции британского правительства, а также инструкции, которые Бонар Ло посылал Леверу. Поступившие от американцев в последнюю минуту авансовые выдачи позволили британцам кое-как прожить июнь. Однако 20 июля Бонар Ло передал Макэду составленное Кейнсом сообщение, в котором говорилось, что «наши наличные ресурсы для платежей в Америке исчерпаны. Если правительство Соединенных Штатов не может в полной мере покрыть наши расходы в Америке, включая валютные, вся финансовая ткань союзников порвется. Это вопрос не месяцев, а дней»²¹.

28 июля Левер, по совету Кейнса, был проинструктирован поддерживать обмен стерлингов на доллары, пока будут хоть какие-то запасы американской валюты, а затем приостановить конвертируемость фунта. Оставшееся у Банка золото должно быть защищено как последний резерв ликвидных средств²². Кэтлин Бёрк пишет, что Кейнс «схватил голой рукой крапиву и предложил прежде немыслимое: при выборе между обменным курсом и сохранением золота жертвовать следует курсовой ставкой»²³. Составленная Кейнсом телеграмма Макэду, объяснявшая положение с валютой, позволила получить от американцев немного денег, спасших положение за пять минут до катастрофы²⁴.

Способность правительства сдерживать развитие кризиса ограничивалась в течение всего этого периода трениями между Казначейством и Английским банком. 3 ию-

ля 1917 г. Канлиф жаловался Бонару Ло, что Чалмерс и Кейнс вдвоем превращают его Валютный комитет в «пустое место», не допуская его к информации и активам. В отместку он дал указание не отправлять золото из своего Банка в Оттаве в Нью-Йорк сэру Сэмюэлю Хардману Леверу. Он также потребовал, чтобы Чалмерс и Кейнс были уволены. Бонар ответил тем, что устроил вынужденную отставку не в меру властолюбивого управляющего²⁵. Нетрудно понять, почему чиновники Казначейства любили своего начальника.

Кризис — «худший... из тех, что я помню с начала войны»²⁶ — потряс Кейнса. В течение пяти недель он работал от девяти до тринадцати часов в день «с таким напряжением, какое только возможно». Положение осложнилось в связи с германскими воздушными налетами, заставлявшими его спускаться в подвал на Гордон-сквер. Облегчение приходило единственно в те шесть часов, которые он отдавал старательной прополке дорожки в Чарлстоне. Флоренс была переполнена гордостью от сознания важности Мейнарда. «Как должно возбуждать тебя присутствие на заседаниях Кабинета. Более того, мне кажется, что после такого опыта вся дальнейшая жизнь будет представляться тебе тусклой»²⁷.

Результаты оздоровительного отпуска «улетучивались с ужасающей быстротой, и мне следует отдохнуть еще немного, чтобы войти в должную форму»²⁸. Передышка явилась неожиданно в виде поездки в Соединенные Штаты с лордом Ридингом — целый месяц в далеких краях и почти ничего не надо делать, сообщал он Ванессе из Уорфа 3 сентября, накануне отъезда.

Ридинг был послан в Америку, чтобы попытаться преодолеть тупик, в который зашли Хардман Левер и министерство финансов США (Макэду теперь отказывался видеть Левера). Путешествие Кейнса на пароходе *Луи* заняло неделю, из которой три дня он страдал морской болезнью. Были ежедневные двухчасовые совещания с Ридингом и полковником Эрнестом Суинтоном, помощни-

ком секретаря Военного кабинета. Остальное время Кейнс сидел на палубе или играл в пикет, выиграв двадцать фунтов у польского графа. В Вашингтоне он остановился в «маленьком и уютном доме» вместе с четой Ридингов, которые оба ему «очень понравились»²⁹, несмотря на глухоту леди Ридинг. Задача Ридинга, как и всех предыдущих специальных уполномоченных, состояла в том, чтобы выжать больше денег из Макэду. В конце концов ему удалось добиться от Макэду согласия на составление графика ежемесячных ссуд. Кроме того, с помощью Кейнса он договорился о займе в 50 миллионов долларов на закупку Британией канадской пшеницы, что было значительной американской уступкой, поскольку политика США предусматривала использование выданных долларов только для оплаты товаров, купленных в Соединенных Штатах. Ридинг, который был очень высокого мнения о Кейнсе³⁰, хотел, чтобы тот остался еще на десять дней, но Бонар Ло согласия не дал. Менее благоприятное впечатление Кейнс произвел на британского посла. Спринг-Райс писал своей жене Флоренс:

Сегодня утром нас посетил прибывший с Ридингом чиновник из Казначейства, показавший себя созданием весьма казначейчиновничеобразным; он довел Дикки [сэра Ричарда Кроуфорда, экономического советника посла] до молчаливого гнева, а Малкольма [Робертсона, советника] вверх в трясучку. Он действительно вел себя слишком вызывающе, и мне придется принимать меры. Он к тому же университетский преподаватель, и это сочетание не из приятных. Он также талантливый молодой человек, и я предполагаю, что сегодня у таких людей в обычае показывать свое огромное превосходство над недостойными окружающими, обливая их малозначащие личности сокрушающим презрением. Он проделывает это жестко. Сам лорд Ридинг приятнейший человек, и иметь с ним дело — одно удовольствие³¹.

Кейнс доложил в Лондоне, что у посла мозги набекрень; в скором времени тот был отправлен в отставку³².

Не имел Кейнс успеха и у американцев. «Грубый, догматичный и нелюбезный» с ними в Лондоне, он произвел «ужасное впечатление своей грубостью и здесь, — писал Блэкетт из Вашингтона³³. Чувства и на сей раз были взаимными. «Единственно что в Америке действительно симпатично и оригинально — это негры, они очаровательны», — сообщал Кейнс Дункану Гранту. Он возвратился в Англию на пароходе *Аурания*, переделанном в американский военный транспорт; две недели пароход пересекал Атлантику зигзагами во избежание встреч с немецкими подлодками и пришвартовался в Ливерпуле 22 октября 1917 г.

Эра кризисов с валютными курсами закончилась. Заботы о поддержании обменного курса стерлинг-доллар — до тех пор находившихся в центре финансовых взаимоотношений союзников — уступили место препирательствам между американскими и союзническими чиновниками по поводу распределения полученных от США средств, то есть процессу, предполагавшему соблюдение определенных ритуалов, проявления технических навыков и определенного искусства. Политические и дипломатические соображения выдвинулись на первый план, технические и экономические — отступили в тень. Политика была теперь столь же яростной в сфере внешних финансов, какой она долгое время проявляла себя во внутренней финансовой жизни. В целом Кейнсу этот сдвиг не нравился, хотя он облегчал бремя его обязанностей. Все его знания и опыт как экономиста и должностного лица Казначейства восставали против столь явного политического вмешательства в распределение ресурсов. Лично он испытывал недостаток тех навыков смягчать обстановку, которыми обладал лорд Ридинг. Он чувствовал, что и сам, и представляемая им традиция интеллектуально превосходят все, что американцы могли бы ему противопоставить, и поэтому сожалел о переменах в британской политике, которые развели деньги и интеллект в разные стороны.

Большая часть его времени уходила теперь на переговоры в ходе бесчисленных совещаний союзников. В ноябре 1917 г. он был в Париже на такого рода посиделках, где оказался рядом с Бальфуrom, Ридингом и Нортклифом, составляя часть британской делегации. В декабре 1917 г. он терял впустую дни в «недавно созданном доме дураков под названием Межсоюзнический совет по военным закупкам и финансам»³⁴, где должен был слушать речи на «хвастливом, лживом и нескончаемом французском и ненавистное протяжное звучание языка янки»³⁵. Учрежденный по настоянию американцев под председательством помощника секретаря Казначейства Оскара Т. Кросби, экс-директора трамвайной компании, для тщательного изучения соперничающих между собой союзнических притязаний на американские деньги, этот совет собирался ежемесячно, попеременно в Лондоне и Париже. Британские запросы к Америке на будущий месяц разрабатывались в Уайтхолле американским управлением под председательством Остина Чемберлена и с участием Кейнса, представлявшего Казначейство. Эти запросы направлялись затем в Межсоюзнический совет. Кейнс описал его второе парижское заседание в конце января в письме, отправленном Бэзилу Блэккетту в Америку: «Мы в великом множестве сидим вокруг стола в позолоченном дворце, внимая красноречию Кросби — одинаково неудержимому на любом языке». Как бы ни утомительны были эти заседания, они, признавал Кейнс, были кое-чем полезны. Контроль Казначейства над внешними расходами мог быть усилен за счет «настойчивого, с большим эффектом размахивания именем Кросби перед лицом упрямых департаментов»³⁶. Чарлстонским друзьям он пересказывал больше интимных сплетен о своей парижской прогулке. Он обедал в Рице с лордом Бивербруком, «ужасно уродливым и совершенно распущенным».

Последнее большое сражение, которое он вел от имени Казначейства, было направлено на то, чтобы возложить на Америку финансирование Франции и Италии и таким путем снизить темп роста британского долга Со-

единенным Штатам. По прежнему соглашению с Макэду о разделении труда Америка должна была выдавать долларoвые кредиты непосредственно каждому союзнику для его закупок на американском рынке, притом что на Британию ложилось финансирование прочих закупок всех ее европейских союзников. Но Англия не могла больше выделять даже эту уменьшенную помощь из собственных ресурсов. Следовательно, ей все еще приходилось заимствовать большие суммы в Соединенных Штатах от имени своих союзников. Как это представлялось британскому Казначейству — вполне точно, в свете последующего развития событий, — Англия накапливала подлежавшие возврату долги Соединенным Штатам, предоставляя своим союзникам деньги, большую часть которых ей никогда не предстояло увидеть снова. Американцы, конечно, предпочитали накапливать британские обязательства, более надежные, чем французские и итальянские.

В телеграмме, которая пошла от Бонара Ло лорду Ридингу в конце марта 1918 г., Кейнс настаивал, чтобы «министерство финансов США принимало все будущие обязательства Франции и Италии...». Англия продолжила бы обеспечивать поставки своим европейским союзникам вне Америки под оплату долларами, полученными от министерства финансов США, а не долговыми расписками европейцев³⁷. Это предложение подразумевало сохранение контроля британского Казначейства над закупками союзников за пределами Америки. Кейнс видел для Англии возможность принять участие в разделе мировых товарных рынков³⁸. Французы и итальянцы, естественно, приняли эту часть британского плана в штыки. Они предложили, чтобы их закупками вне Америки ведал межсоюзнический комитет. Кейнсу это совсем не нравилось. Однако он нехотя должен был признать, что «если г. Макэду примет наши предложения, снимающие с наших плеч бремя французских и итальянских финансов... американцы могут обоснованно ставить вопрос о создании межсоюзнического органа, который будет судить о целе-

сообразности тех или иных ассигнований за счет ожидаемых от США финансовых поступлений»³⁹. Британская финансовая зависимость от Соединенных Штатов была той скалой, о которую разбился изобретательный план Кейнса. Нереалистично было рассчитывать, что американцы позволят воспользоваться их деньгами для поддержки британской конкурентоспособности на мировых рынках. Взорвавшийся Кейнс заговорил почти тем же языком, к какому ему предстояло обращаться во время Второй мировой войны: американцы, кажется, получают удовольствие «ставя нас в положение полной финансовой беспомощности и зависимости»⁴⁰.

Если управление британскими внешними финансами больше не давало ему особого интеллектуального или эмоционального удовлетворения, то наблюдение за делами внутренней политики повергало в черное отчаяние. «Я работаю для правительства, которое я презираю, добиваясь целей, которые считаю преступными», — говорил он Дункану Гранту 15 декабря 1917 г. Мейнард не принимал установки Ллойд Джорджа на полную победу и опасался ее последствий. Замечательные политические навыки премьер-министра вызывали у него только эстетическое и моральное отвращение. Он жил надеждой, что изворотливость Ллойд Джорджа обернется его падением. Он лелеял мечты о крушении всего его класса, который так трусливо вручил высшую власть авантюристу. Понимание пружин политической жизни не было самым примечательным достоинством Мейнарда в этот период его жизни. Он брал слишком много политических уроков у сторонников Асквита, чьи неудачи проложили дорогу Ллойд Джорджу. Он не сумел воздать Ллойд Джорджу должное за его мужество и изобретательность в бедственной ситуации и его решимость не позволять генералам разбрасываться жизнями британцев. Все, что Кейнс умел видеть, это что премьер-министр обращается с генералами как «грязный негодяй» — парадоксальное совпадение с точкой зрения самих генералов⁴¹. Не сумел он понять и того, что Асквит,



Маргарет (4 года), Джеффри (2 года),
Мейнард (6 лет)

Мейнард перед
поступлением в Итон



Мейнард Кейнс, Бернард Суизинбэнк,
Джерард Макурс Янг





Мейнард Кейнс.
Портрет работы
Гвена Раверга,
1908 г.



Альфред Маршалл



Артур
Сесил Пигу



Андрэ Бонар Лав



Сэр Остин Чемберлен



Реджинальд Маккенна

Мейнард Кейнс в Петрограде
на праздновании 200-летия Российской академии наук (1925)





Лидия Лопухова в спектакле
«Остроумные дамы», на котором
Кейнс впервые ее увидел. Лондон,
1918 г.



Вера Боуен

Мейнард и Лидия (ок. 1922)



Маккенна и другие стремились к переговорам о мире ничуть не больше, чем Ллойд Джордж, и уж во всяком случае не мог объяснить, каким образом немцев можно усадить за стол переговоров, если не на их собственных или союзнических условиях. Более того, грубая переоценка сил умеренных в самой Германии, как и непонимание их целей, были присущи всему движению за мир, поддерживавшемуся британским средним классом.

Из Чарлстона, где он проводил рождество 1917 г., Мейнард делился с матерью своими взглядами на будущее:

Мои рождественские мысли таковы: дальнейшее продолжение войны... означает, вероятно, исчезновение общественного порядка, который мы знали до сих пор. С некоторым огорчением, я думаю, что в целом мне этого не жаль. Устранение богатых будет скорее приятным оборотом дела, и в любом случае так им и надо. Что меня пугает больше, так это перспектива *общего* обнищания. Пройдет год, и мы утратим все, на что надеялись, вкладываясь в создание Нового Мира, и взамен эта страна отойдет по закладной Америке. Хорошо, единственный курс... должен быть воинственно большевистским; и когда утром я лежу в постели, я с большим удовлетворением думаю, что из-за некомпетентности наших правителей в сочетании с их же безумием и злобой одна определенная эра определенного вида цивилизации очень близка к своему концу⁴².

Непосредственной причиной этого мрачного послания было правительственное объявление о нормировании выдач продовольствия. Подобно другим, менее зараженным привычкой размышлять, членам среднего класса, Кейнс склонен был отождествлять общественный порядок с сохранением его собственного привычного уровня комфорта и преувеличивать значение и последствия всякого его снижения. Для Флоренс его рождественские видения означали коммунальные кухни и сокращение штата домашней прислуги⁴³. Зарождавшийся большевизм Мейнарда остановился на приводившем его в ужас продовольственном нормировании. Он боялся, что

придется часто отправляться за границу, чтобы прилично поесть. «Предложенные правила [нормирования] меня ужасают — рассчитаны как бы на то, чтобы свернуть поставки продовольствия, с одной стороны, и уморить меня голодом, с другой»⁴⁴. На самом деле нормирование выдачи продуктов питания прекрасно работало во время обеих мировых войн и не создавало никаких угроз общественному порядку.

Все еще сохранялась надежда, что война кончится прежде, чем начнется экспроприация богатых и придет опасность их голодной смерти. 29 ноября 1917 г. в *'Телеграфе'* (*'Telegraph'*) появилось письмо лорда Лансдауна, призывавшее возобновить усилия с целью открыть переговоры об окончании войны. Кейнс тут же встрепенулся. Его надежды на скорый мир поддерживались провозглашенными Вильсоном *'Четырнадцатью пунктами'* и речью Ллойд Джорджа на Конгрессе профсоюзов с изложением мирных условий союзников. Но вскоре он опять вернулся к тому, что выход — в смене правительства. Премьер-министр оказался в очень тяжелом положении после того, как отставил сэра Уильяма Робертсона, начальника имперского генерального штаба. Но он продолжал свою борьбу. Мейнард писал Флоренс 22 февраля 1918 г.:

В начале недели ход политических дел вызывал глубокое отвращение. Бонар мог стать премьер-министром, если бы захотел, но он струсил; и поскольку никто больше не изъявил желания, козел* пробился к цели... Его способ расправы с Робертсоном был в высшей степени показательным сочетанием вздора, придилок и откровенной лжи.

Вопреки его надеждам, козел справился и с еще одним — последним — вызовом своему руководству в дебатах 9 мая 1918 г.⁴⁵. Когда Людендорф развернул отчаянное

* Ллойда Джорджа его политические противники обычно называли Джорджем или Козлом. Было известно, что ему не нравится, когда, обращаясь к нему, говорят просто «мистер Джордж»; другое прозвище намекало на его склонность вести игры — с женщинами и истиной.

наступление немцев на Западном фронте, Кейнс, находясь в благотворной для него обстановке Уорфа, делился своими размышлениями о состоянии нации:

Политика и война действуют одинаково угнетающе или даже больше, чем кажется. Если этому правительству удастся побить немцев, я утратил бы на будущее всякую веру в эффективность интеллектуальных процессов: — но, похоже, большого риска тут нет. В сфере, с которой я нахожусь в контакте, все всегда решается по причинам, отличным от действительных обстоятельств дела. И я ничуть не сомневаюсь, что так же происходит со всем остальным.

Все еще и даже более уверенно я приписываю наши неудачи Джорджу. Нами управляет проходимец, и результаты ожидаемы¹⁶.

4. «С ним нужно поговорить»

Если правительство приводило в отчаяние Кейнса, то его друзья из группы Блумсбери начинали приходить в отчаяние от него самого. Теперь уже они возражали не против его работы на войну, а против последствий этой работы и сопутствовавшей ей светской жизни для самой его личности, против того, как это воздействовало на его характер. Вирджиния Вулф предсказывала, что, останься он в Казначействе подольше, и он будет потерян для человечества, что, возможно, уже произошло¹⁷. Безусловно, он все еще в значительной мере оставался частью и лондонского, и сельского Блумсбери. Он постоянно появлялся в клубе 1917, месте сбора радикально и антивоенно настроенных интеллектуалов в Сохо, часто появляясь там в компании Барбары Хайлс. На подобные шалости его друзья смотрели со снисходительными улыбками. Но уикенды в Уорфе, званые обеды и приемы с участием парламентских светил и важных шишек из союзных стран, партии бриджа с Бонаром Ло — все эти виды времяпрепровождения, после которого он являлся полным сомнамбулой и сыпал авторитетными заявлениями — это был другой вопрос.

Не то чтобы получаемые им деньги и его связи не были полезны. Он встречался с Максом Бивербруком, новым министром информации, чтобы получить заказы для Дункана и других живописцев в рамках министерской программы работы с военными художниками⁴⁸. Он обеспечивал Кролика деньгами для его пчел в Чарлстоне. Самое ошеломительное его действо имело место в марте 1918 г. Дункану стало известно, что коллекцию студии Дега собираются выставить в Париже на аукцион. Не мог бы Мейнард убедить правительство купить несколько полотен для Национальной галереи? Мейнард, которому предстояло самому ехать в Париж на встречу Совета союзников, пообещал поговорить с Бонаром Ло. 21 марта Дункан получил телеграмму в Чарлстоне: «Деньги на картины обеспечены». Двумя днями позже Мейнард объяснил Ванессе: «Мой подвиг с картинами был ураганным делом, которое я провернул за полтора дня, прежде чем кто-либо успел сообразить, что, собственно происходит. Я заручился 550 тысячами франков для участия в игре (это примерно 20 тысяч фунтов); Холмс [сэр Чарльз Холмс, смотритель Национальной галереи] находится в поездке с нами; и я надеюсь мы сможем присутствовать на аукционе вместе». Он добавлял: «Бонар Ло премного подивился моему желанию купить картины и в конечном счете разрешил мне действовать по моему усмотрению, приняв это за своего рода шутку»⁴⁹. Ванесса ответила взволнованно: «Мы возлагаем на тебя большие надежды и полагаем, что твое пребывание в Казначействе наконец оправдано». Дэвид Гарнетт добавлял: «Ты получил полное отпущение грехов, и твои будущие преступления также прощены».

Мейнард присутствовал на аукционе 26–27 марта вместе с Холмсом. Цены были невысокими, поскольку разрывы немецких бомб слышались на расстоянии пятидесяти миль. На следующий вечер Остин Чемберлен, возвращавшийся на автомобиле в Лондон, ссадил Кейнса в глубине переулка, ведущего в Чарлстон. Он добрался до их сельского дома, как раз когда Ванесса, Дункан и Дэвид

Гарнетт заканчивали ужин; он сказал им, что спрятал в стоге сена Сезанна. Если Холмс купил для нации Коро, Гогена и несколько картин и рисунков Делакруа, Ингреса и Мане, то Мейнард приобрел для себя лично одну из изюминок собрания — *Яблоки* Сезанна за 327 фунтов, а также пару полотен Делакруа и рисунок Ингреса. Это был звездный час его карьеры как серьезного коллекционера. Поскольку Холмс относился к Сезанну с предубеждением, никакого конфликта интересов не возникло. Пять тысяч фунтов, выданных Бонаром Ло, остались по существу нетронутыми.

Данное Мейнарду прощение было недолгим. То, что он называл «экспериментами жизни в высоких сферах», продолжалось всю весну и лето — в виде обедов с румынским князем, с принцессой Монако и даже с герцогом Коннаутским, правнуком Георга III. В середине мая он смог провести неделю в Чарлстоне, где стояла чудесная погода. «Я сижу на воздухе или занимаюсь прополкой все мои рабочие часы, и мое дневное жалованье в Казначействе не тянет на большее, чем час-два работы в день»⁵⁰. Дункан, Ванесса и Роджер Фрай написали его портрет. По мнению его друзей, личность Мейнарда была не столь совершенна, как это творение живописи. Дэвид Гарнетт очертил размышления Блумсбери об этом предмете в пространной дневниковой записи от 28 мая 1918 г.:

Мейнард. Была общая тревога, что он быстро катится к дьяволу. Несса рассказала мне о сцене, когда она была в Лондоне. Гарри, Шеппард и она беседовали между собой. Мейнард вошел, стал возражать всем и каждому и отказался во что-либо вникать. Разговор шел о том, можно ли испытывать к Англии вообще какие-нибудь чувства после отказа откликнуться на пробные шаги императора Карла*... Мейнард

* Австрийский император Карл обратился 20 марта 1918 г. к французскому президенту Пуанкаре с мирным предложением, соглашаясь на возврат Франции Эльзаса-Лотарингии и принимая все заявленные союзнические требования. Однако союзники были повязаны своими се-

обращался с ними презрительно и вел себя как худшего вида ученик закрытой школы и несколько раз повторил: «ложитесь спать, ложитесь спать»... Шеппард очень рассердился и сказал: «Мейнард, ты увидишь, что презирать своих старых друзей — это ошибка».

Несса... высказывает мнение, что теперь Мейнард, возможно, скатился так низко, что его ничто не спасет. Гарри думает, что все не так просто — что М. сознает, что многие его привычки вызывают отвращение у других людей — например, управляться собственной ложкой или вилкой вместо того, чтобы передать свою тарелку, но он за эти привычки держится, потому что ему льстит, что люди, сильно на него похожие, не возражают против его поведения. (У меня самого часто возникает такое ощущение, но не в отношении манеры поведения за столом, а по поводу полной несдержанности и всей низости отношений с Дунканом.)

Шеппард говорит, что Мейнард... немного помешан на сознании собственной важности. Он слышал, как на днях он говорил Джесси [горничной в доме 46]: «сегодня вечером я буду ужинать с герцогом Коннаутским. Разве это не великолепно?» — «Да, сэр, это великолепно». Шеппард отказывается расценивать это как очевидную шутку, с вероятностью 99 из 100. Он говорит, что Мейнард действительно думает, что он отмечен знаком величия — притом знает, его знакомство с герцогом не могло бы впечатлить Гарри и Шеппарда, поэтому он должен был сообщить об этом Джесси. «Нонконформистский снобизм. Я знаю об этом все — это похоже на жучков в ковре. Жучки в ковре».

Общие заключения были таковы, что у Мейнарда в жилах много низкой крови — Шеппард... говорит: это в его родословной заложен нонконформистский снобизм... Что он находится в критической точке своей жизни, что это может быть усталость [или] ухудшившееся состояние его мозга, единственного его достоинства, придававшего ему образ замечательного человека... Дункана попросили прочитать ему нотацию...

кретными обязательствами отдать Константинополь России, а Тироль, Трентино и Истрию Италии, и поэтому отклонили возможность поскорее прекратить войну, оторвав Австро-Венгрию от Германии. Клемансо придал послание Карла гласности в апреле 1918 г.

Кролик отнесся к Мейнардлу великодушнее и более уравновешенно:

Мое собственное представление обо всем этом таково, что это одна из периодически охватывающих их тревог... Мейнард всегда очень усталый. Он слишком много работает. Потом ему хочется такого, что он может делать с десятой долей своего внимания — говорить с глупым о глупом. Что-либо требующее от него новых мыслей или взвешивания новых доводов приводит его в сильное раздражение, которое играет роль самозащиты. Его характер не полностью зависит от мозга. У него очень много любви и способности любить. Это позволит ему прийти назад — если не прямо, то зигзагами.

Скоро Клайв Белл добавил свой голос к хору жалоб. Свою комнату в доме 46 на Гордон-сквер он сдал одному другу, «влюбленному в молодую женщину». К сожалению, по ошибке они заняли комнату Шеппарда. «Нас никто не предупредил, — объяснялся Мейнард с Дунканом 16 июня 1918 г., — и это очень смутило постоянных жильцов, которые, так уж случилось, все были дома: бедный Шеппард был слишком возбужден... и не ложился спать до 3.30, когда любовники удалились. Мы заявляем протест Клайву, советуя ему держать свою добрую душу в более строгой узде». Письмо Мейнарда Клайв принял плохо. Он «взялся написать мне письмо в том духе, в каком неотесанный миллионер мог бы писать своему курьеру, не выполнившему поручения», — жаловался Клайв Ванессе. Он решил принять контрмеры. «Если Мейнард ведет себя подобно старой еврейской девственнице, я могу вести себя подобно британскому бизнесмену. Дом наш, записан на мое имя... Так расторгайте договор, за чем дело стало?»⁵¹ Однако фактическое обладание и жалованье в Казначействе, поднятое до тысячи фунтов, оказались сильнее, чем негодование Клайва. Арендный договор на дом 46 был возобновлен в сентябре 1918 г — на имя Мейнарда. Клайв сохранил свои две чердачные комнаты. Но все еще оставались трения. Мейнард забрал себе кровать Клайва, велел поставить

вместо нее нечто напоминавшее «скорее всего полку в вагоне третьего класса». С приближением конца войны Клайв написал Мейнард: «Я должен получить мою кровать назад... Ничего для тебя не может быть проще, чем заиметь новую для себя лично». Поскольку Мейнард не спешил откликаться на это требование, Клайв сам забрал свою кровать наверх. «Дорогой Мейнард, — написал он из Гарсингтона, — у меня вовсе не было намерения оставить тебя спать на полу». «Полку из вагона третьего класса» он отправил вниз с припиской: «поскольку ты трахаешься вроде бы меньше, чем я, этого тебе будет достаточно»⁵².

К августу 1918 стало ясно, что последний бросок Германии потерпел неудачу. Британское контрнаступление прорвало 29 сентября линию Гинденбурга. В тот же день Людендорф стал настаивать на окончании войны ради спасения армии. 4 октября новое германское правительство принца Макса Бадена запросило перемирия на основе *Четырнадцати пунктов* Вильсона. «Какими поразительными были эти две недели в истории мира! — написал Мейнард матери 13 октября. — Через шесть месяцев, считая от сего дня, меня ждут опять в Кембридже совершенно свободным от Казначейства». Двенадцать дней спустя вернулись сомнения. «Я все еще думаю, что перспективы мира хорошие. Но подозреваю возможность злых козней с нашей стороны и нежелание подписываться под всеми четырнадцатью заповедями Вильсона».

Война завершилась для Мейнарда непрерывным водоворотом светского общения: уикенды с Асквитами, супругами Маккенна, Мод Кьюнард и сэром Томасом Бичэмом; ежевечерними трапезами с политическими деятелями, дипломатами и светскими дамами. Вдобавок Дункан и Ванесса оставались на Гордон-сквер, занятые украшением гостиной Мейнарда, а балет Дягилева возвратился в Лондон. Освальд Фолк повел Мейнарда посмотреть. «В этом году среди них нет ни одного гения, но все равно они доставляют огромное удовольствие, — написал Мейнард Дункану 17 сентября. — Леди, Лупокова, выглядит неваж-

но. Но новый Нижинский — [Станислав] Идзиковский — пусть и не полная замена, а всего лишь хорошо натренированный юноша, имеет пару обаятельных черт. По крайней мере, мне так кажется». 10 октября Мейнард встретил Лидию Лопухову, возможно впервые, на вечеринке, устроенной Ситуэллами в Челси. 19 октября, снова побывав на балете со своим молодым другом, живописцем Эдвардом Вольфом, он писал о ней Дункану как о старой знакомой, хотя мысли его бродили явно в других краях:

Потом мы пошли к Лупоковой, которая, как обычно, была очаровательна (заставляла нас щупать ее ноги, чтобы показать, какие они сильные — что мы и делали, очень стесняясь; Клайву следовало бы там быть). Но обо всем этом я упоминаю, чтобы подойти к Идзиковскому, с которым мы наконец познакомились. Балет был *'Зачарованная принцесса'* и [Принц], Игорь и Вольф были в восторге от тела Идзи. Так что придя к Лупоковой мы спросили, где он. «Я слышу его голос в коридоре», — воскликнула Лидия. — «Позовите его». Позвали, и перед нами предстало самое смешное маленькое существо, какое я когда-либо видывал. Совсем крошечный (чего мы ожидали), но с белыми льняными волосами, зачесанными ото лба назад, одутловатое лицо со смешными заостренными чертами, и венцом всему этому пенсне без оправы... Другие, казалось, вообще не принимали его всерьез, и г. Барок [муж Лидии, Рандолфо Барокки] мягко его поддразнивал, обнимал его обеими руками и всхлипывал, когда он уходил: «прекрасная ночь, любовь моя». «Я не люблю с ним танцевать, — сказала Лидия. — Неловко танцевать с чем-то, едва достающим вам до груди, и я всегда боюсь, что он меня уронит».

Дни Мейнарда проходили в изнурительных переговорах с французами. В начале ноября он «писал докладную записку о репарациях — чрезвычайно спешно, чтобы летчик успел доставить ее в Версаль»⁵³. 21 ноября 1918 г., через десять дней после капитуляции Германии, он написал матери: «на меня была возложена главная ответственность за подготовку выносимых на мирную конференцию финансовых вопросов».

Один кошмар кончился; другой должен был вот-вот начаться. Менее чем через год Мейнард оставил Казначейство и взялся излагать на бумаге свое страстное осуждение мирного договора. Ясно тем не менее, что ярость, излитая в *‘Экономических последствиях мира’*, не была порождением только самой мирной конференции, но вырастала в течение всей войны. Позиции, выраженные в этой книге, — недоверие к Ллойд Джорджу, презрение к американцам, негодование по поводу того, что политика вытеснила разум, боязнь общего обнищания — все это выплескивалось уже в его письмах военного времени. Версаль был просто увеличенной копией *дома дураков*, ранее существовавшего в виде Межсоюзнического совета. Неверно, как это делает Хэррод, изображать Кейнса отправляющимся в Версаль с большими и потом обманутыми надеждами. Он подозревал наличие «злых козней» даже перед окончанием войны; Версаль подтверждал это. Надо помнить и о другом. Кейнс прибыл на конференцию с грузом не только коллективной ответственности, но и личной вины за свою роль в войне. Он искал способа выплатить личную репарацию. Версаль предоставил ему возможность, которую он искал, и это было в порядке вещей.

XV

Зигзаги:

Кейнс на Парижской мирной конференции

1. Цена войны

Парижская мирная конференция открылась в январе 1919 г. В течение двух предшествовавших месяцев главной задачей Кейнса была подготовка позиции Казначейства по вопросу о возмещении Германией причиненного войной ущерба. Вместе с историком экономики Б. Дж. Эшли они уже 2 декабря 1916 г. подали доклад об историческом опыте получения репараций. Основываясь главным образом на взыскании Германией контрибуции, наложенной ею на Францию в 1871 г., они заключили, что выплаты победителям со стороны проигравших войну пойдут победителям во благо в том случае, если растянутся на несколько лет, а не будут немедленным и одноразовым платежом. То, что какие-то платежи от Германии будут потребованы, было четко оговорено в соглашении о перемирии.

Вильсон в своих *‘Четырнадцати пунктах’* говорил только о «восстановлении» территорий, захваченных Германией. Но подписанное немцами соглашение о перемирии содержало включенную в него по настоянию Англии и Франции дополнительную оговорку, уточнявшую, что под «восстановлением» союзники понимают «компенсацию со стороны Германии ущерба, причиненного агрессией Германии на земле, на море и в воздухе гражданскому населению союзников и их собственности». (Британцы изменили «вторжение» на «агрессию», чтобы увеличить свою долю в

репарациях.) Хотя эта формула, исключала предъявление Германии счета на полную стоимость войны, она оставляла союзникам множество возможностей предъявлять сталкивающиеся между собой требования о «компенсации».

Казначейство разрабатывало свои планы насчет репараций в рамках *Четырнадцати пунктов* Вильсона с учетом дополнительной оговорки. В первой докладной записке Кейнса на эту тему (датирована 31 октября 1918 г.), появился еще один пункт: любое предъявляемое Германии требование о компенсации причиненного ущерба должно принимать во внимание ее способность эту компенсацию выплатить. Оно не должно быть настолько суровым, чтобы сокрушить производительные силы Германии; ибо, в конце концов, если оставить в стороне движимое имущество, золото и иностранные ценные бумаги, Германия сможет платить только за счет экспорта своих товаров, посредством которого будет зарабатывать иностранную валюту. Выстраивались, таким образом, два ряда цифр: одни показывали величину ущерба, нанесенного германской «агрессией», другие — вероятные производственные возможности Германии. В первом были представлены величины фактические, во втором гипотетические. Не было никаких оснований рассчитывать на их соответствие друг другу.

В главном меморандуме Казначейства от 26 ноября 1918 г., в основе которого лежал проект, составленный 31 октября Кейнсом, этого соответствия и не было. Была названа сумма в 4 миллиарда фунтов, чтобы дать предварительное представление о масштабах требований, предъявляемых союзниками по разделу «репарации». В документе Казначейства подчеркивалось, что это касается возмещения «прямого» ущерба, причиненного жизни и собственности гражданского населения, и не принимает во внимание ущерба косвенного — например, союзники не будут «требовать средств на выплату пенсий вдовам солдат, убитых в военных действиях». Британия, согласно этим предложениям, могла законно требовать себе 15 про-

центов общей суммы репараций. Однако максимум, что Германия могла бы выплатить, оценивался в 3 миллиарда фунтов; реально же поступления 2 миллиардов фунтов «при всех обстоятельствах были бы вполне удовлетворительным достижением». Предполагалось, что Германия должна будет производить выплаты в течение многих лет в форме ежегодной дани. «Если предполагается Германию «доить», то прежде всего не следует допускать ее разорения», — говорилось в заключение записки.

Казначейство не было единственным ведомством, занятым расчетами предполагаемых германских выплат. Мощное лобби бизнеса и доминионов настаивало, что на Германию следует возложить покрытие «полной стоимости войны». Ллойд Джордж был «Джекилом и Хайдом», то раздувавшим огонь ненависти к Германии, то признававшим необходимость умеренности и выражавшим обеспокоенность последствиями, которые крупные поступления из Германии будут иметь для экспортных отраслей британской промышленности. Однако ему приходилось считаться с мнением консерваторов, которые обеспечивали ему большинство в парламенте, и лидеров доминионов, собранных в Лондоне в составе Имперского военного кабинета.

Всеобщие выборы 14 декабря 1918 г. связали «менталитет войны, особенно экономической войны, с установлением мира». Австралийский премьер-министр Уильям Моррис Хьюз был разгневан формулой Вильсона (исключавшей выплату репараций Австралии) и основанными на ней расчетах Казначейства. 7 ноября он публично потребовал, чтобы Германия полностью оплатила стоимость войны; ведущие газеты подхватили его крик. Вспышка Хьюза, которая повторилась через несколько дней, напугала Ллойда Джорджа, поскольку доминионы должны были иметь прямое представительство на мирных переговорах в Париже, Ллойд Джорджу предстояло взять их с собой. Через день после роспуска парламента, 28 ноября, Имперский военный кабинет создал собствен-

ную комиссию, чтобы определить, сколько должна и может заплатить Германия. Хьюза, чтобы заткнуть ему рот, сделали председателем; лорд Канлиф, как бывший управляющий Английского банка, был включен для придания ей большего веса и авторитета. Кейнс и Хьюберт Ллевеллин из отдела «А» присутствовали на нескольких первых заседаниях.

В заключительном докладе комиссии, представленном 10 декабря, общая стоимость войны была оценена в 24 миллиарда фунтов стерлингов (что в грубом приближении соответствовало выкладкам Казначейства), и было выражено мнение, что Германия может и должна выплатить всю сумму ежегодными взносами по 1,2 миллиарда фунтов. Военный кабинет отклонил это заключение как «безудержную фантастику и химеру», но не прежде, чем Ллойд Джордж пообещал, что в случае его переизбрания он предъявит Германии счет на всю стоимость войны, и пояснил, что экспертный комитет сказал ему, что Германии это по силам. В ходе избирательной кампании Ллойд Джордж делал уступки и шумевшей общественности, и пессимистическим настроениям организаторов его предвыборных выступлений. Отстаивая коалиционную программу восстановления, он обнаружил, что его речи не производят впечатления, если он не говорит о наказании Германии. Другие министры выступали с более крайними речами. В Кембридже сэр Эрик Геддес, первый лорд Адмиралтейства, заявил 9 декабря: «Немцы будут выжаты, как выжимают лимон — пока не хрустнут семечки».

Воздействие избирательной кампании на мирные переговоры не было ограничено предвыборными обещаниями Ллойд Джорджа и других. Расправившись со старой Либеральной партией (даже Асквит потерял свое место), избиратели навязали Ллойд Джорджу шовинистическое большинство в парламенте (383 консерватора, многие из них бизнесмены). Кроме того, в самый разгар выборов Ллойд Джордж принял рекомендацию Имперского военного кабинета, чтобы Хьюз и Канлиф, главные авторы то-

го, что он позже назвал «диким и фантастическим докладом», были назначены — наряду с судьей лордом Самнером — британскими представителями в Комиссии по репарациям на Парижской мирной конференции. Кейнс и британское Казначейство были, таким образом, формально отстранены от обсуждения вопроса о репарациях на мирных переговорах. Это решение имело мрачные последствия. Когда в Париже Ллойд Джордж в конце концов обратился к Кейнсу и другим с просьбой снабдить его более реалистическими расчетами, он обнаружил, что зажат в тиски «небесными близнецами» (как называли Канлифа и Самнера), которые с самого начала препятствовали выработке последовательной британской позиции.

Кейнс и Казначейство имели своих сторонников. Министерство финансов США было полностью с ними согласен. Бонар Ло, канцлер и глава Консервативной партии, был известен как сила умеренности. Ян Христиан Смэтс, возглавлявший в Париже южноафриканскую делегацию и бывший также членом британского Военного кабинета (его двойственное положение было одной из порожденных войной конституционных аномалий), восхищался «мастерски составленной запиской о репарациях» и ее автором — Кейнсом. С другой стороны, Лео Эмери, глава Управления по делам колоний, писал Смэтсу 26 декабря:

Цифры Хьюза представляются мне завышенными. С другой стороны, меморандум Казначейства заходит слишком далеко в противоположном направлении и изобилует грубыми экономическими ошибками того сорта, которых естественно ждать от профессора, подобного Кейнсу. Ни в одном из этих документов не затрагивается действительно важнейший вопрос, а именно тот, что безотносительно к сумме германских выплат мы должны получить нашу справедливую долю.

Во Франции принято было считать, что в стране не устоит ни одно правительство, которое не требует от Германии оплаты полной стоимости войны (*'L'Allemagne paiera'*).

Руководители Англии и Франции были едины в решимости добиться результатов занятой ими позиции — «репарации — и точка». Пунктом расхождения был вопрос о том, как делить добычу.

2. Доктор Мельхиор

Кейнс отправился в Париж 10 января 1919 г. как главный представитель Казначейства в составе британской делегации, сопровождаемый помощниками — Дадли Уордом, Освальдом Фолком и Джефффри Фраем из отдела «А». Он занял комнату в отеле *Мажестик*, где расположилась и остальная часть делегации. Его задачей было утрясти финансовые проблемы перехода к миру. Вопросы оказания помощи были в руках Высшего совета по предоставлению помощи и поставкам, генеральным директором которого был американец Герберт Гувер и в котором под началом лорда Ридинга работал Кейнс. Решение поставить немцам 270 тысяч тонн продовольствия было принято Советом 12 января с условием, что немцы передадут союзникам свой торговый флот. Но в Комиссии по перемирию, в которой председательствовал маршал Фош, французский министр финансов Луи Люсьен Клотц возразил, что «Германия не должна расплачиваться [за продовольствие] средствами, предназначенными для выплаты репараций». Кейнс, говоривший от имени британской делегации, громко заявил протест: «В результате тупик, и вопрос передается в Высший военный совет на вечер [13 января]». Здесь президент Вильсон стал красноречиво распространяться об опасности большевизма, в случае если не накормить немцев; Гувер, отчаянно желавший отделаться от своих «избыточных запасов низкосортных продуктов из свинины, и свалить их по высоким ценам на немцев», выдвинул дополнительные доводы в поддержку президента, с которыми Клотц нехотя согласился и которые позволили остановиться на компромиссном решении позволить Германии

ассигновать средства на оплату части продовольствия, что станет предметом особого внимания при изучении финансового положения Германии. На следующий день (14 января) Кейнс, вместе с Норманом Дэвисом, помощником американского министра финансов, и графом де Ластери и профессором Аттолико, представлявшими министерства финансов соответственно Франции и Италии, сели в поезд маршала Фоша, направлявшийся в Трев (или Трир), где маршалу предстояло встретить президента Германии Эрцбергера. Была договоренность о встрече с немецкими финансовыми экспертами для обсуждения способов оплаты. Кейнс вспоминал, что по пути и в самом Трире, в часы свободные от заседаний, он почти непрерывно был членом англо-американской четверки, игравшей в бридж.

Обсуждения финансовых вопросов происходили в поезде. Германскую команду возглавлял доктор Кауфманн, президент Рейхсбанка. Но самое глубокое впечатление на Кейнса произвел другой немец. Это был доктор Мельхиор, партнер в банковской фирме М.М. Вартбурга. *‘Доктор Мельхиор: Поверженный враг’*, — посмертно (1949 г.) изданное произведение Кейнса является его самым проникновенным и законченным сочинением, представляющим собой глубоко эмоциональный рассказ об одной личной драме.

Впервые он читал его в блумсберийском *Клубе воспоминаний* в феврале 1920 г., и на Вирджинию Вулф большое впечатление произвел «способ описания характера». Она нашла, что «куски текста» написаны блестяще. Кейнс писал об «очень маленьком человеке, изысканно чистом, очень хорошо и аккуратно одетом, с высоким жестким воротничком, который казался чище и белее обычных воротничков», и добавлял:

Это именно с ним в последующие месяцы мне довелось быть в самой невероятной близости, какую только можно себе представить, и пройти через кое-какие очень странные переживания — Доктор Мельхиор... этот еврей, каковым

он был, как я узнал впоследствии, но не мог бы сказать по его внешности, он, и только он, сохранял достоинство потерпевших поражение.

Братание победителей с побежденными возбранилось, и совещание, мало чего достигнув, закрылось так же, как оно протекало — в обстановке холодного формализма, лишь чуть-чуть согреваемого прирожденной общительностью американцев. Но Кейнс и Мельхиор молчаливо установили между собой личный контакт. Страдание на лице Мельхиора воздействовало на Кейнса больше, чем коллективные страдания Франции. Французский коллега, «жеманный католик» де Ластери, выглядел в его глазах «сим-волом бесплодия Франции»; или той части Франции, которая, «что бы там ни говорили Клайв [Белл] и Роджер [Фрай], как раз *и есть* Франция». Кейнс вспоминал: «Не думаю, чтобы я когда-либо... был с кем-нибудь так груб».

После Трира Кейнс свалился со страшным гриппом; для выздоровления потребовались две недели, проведенные им с четой Бюсси на Ривьере. Перед отъездом из Парижа (25 января 1919 г.) он отправил лорду Брэдбери «сводку погоды», показывающую, как скоро он утратил всякую веру в честность мирной конференции:

Это — отвратительное место; неразбериха и парилка в физическом, духовном и интеллектуальном смыслах... Президент — довольно вульгарный нонконформист, окруженный одними бандитами. Американцы в значительной мере лишены идеализма, но это возмещается их лютой ненавистью к французам. Мы и янки в одном строю против французов, по существу, во всех вопросах, больших и малых... Наличие горячей воды и центрального отопления и обилие дурной пищи создают такой приток желчи в голову, что члены делегации часто падают в зале и ломают конечности.

19 февраля, опять в Париже, после второго бесплодного совещания в Трире, у Кейнса снова произошла стычка с Клотцем. Он резко заявил французскому министру финансов, что поддерживать французский франк Англия

больше не может. Франк сразу обесценился, а скоро за ним последовал и фунт стерлингов, и столетию твердых обменных курсов пришел конец. В 1924 г. Клотц выпустил книгу, в которой вину за «обрушившуюся на мир финансовую катастрофу» взваливал на «раздутое тщеславие» Кейнса. Но Кейнс действовал по указаниям Остина Чемберлена, нового канцлера Казначейства, которому полковник Хауз, специальный советник Вильсона, сообщил, что Америка урезает свою официальную помощь Англии. Непрерывный контакт с говорливым министром финансов Франции в Высшем экономическом совете (появившемся 8 февраля взамен Совета по вопросам поставок и помощи) нисколько не способствовал росту подорванной уже симпатии Кейнса к французским требованиям. «Низкорослый, пухлый, украшенный пышными усами еврей, хорошо ухоженный, хорошо сохранившийся, но с непостоянным, блуждающим взглядом и чуть опущенными плечами в знак инстинктами подсказанного осуждения», — таким был Клотц в глазах Кейнса, видевшего в нем еще один лик «бесплодия» Франции, и это мнение возникло у Кейнса не без влияния антисемитских предубеждений, обычных для его класса и поколения.

4 марта Кейнс опять вел переговоры с немцами, на сей раз в Спа, в Бельгии, где во время войны располагалась штаб-квартира германских войск; вместе с генералом Хакингом, главным военным представителем Британии в Комиссии по перемирию, он остановился на вилле Людендорфа, окруженной «меланхолией черных сосновых рощ». Глава британской делегации, адмирал Хоуп, заявил германским делегатам, что никакие поставки продовольствия в Германию не будут допущены, пока не обозначится «существенное продвижение» в переговорах о германских пассажирских и грузовых судах. Глава немецкой делегации Браун ответил, что передача германского торгового флота зависит от союзников, которые должны гарантировать, что Германия получит достаточно продовольствия, чтобы его хватило до следующего урожая (до

августа). Но дать обещания было невозможно, так как французы еще не соглашались на оплату немцами каких бы то ни было продуктов питания в количествах, превышающих ничтожный минимум. Между тем Хакинг сказал Кейнсу, что немцы по-настоящему голодают и общественный порядок в стране вот-вот рухнет.

Кейнс был убежден, что какой-то выход из тупика должен быть найден. Если бы немцы согласились уступить с флотом, он и американцы могли бы надавить на своих политических руководителей, с тем чтобы они сломили сопротивление Клотца. Вот как говорит об этом Кейнс:

Я посмотрел на Мельхиора, сидевшего за столом напротив меня. Он, казалось, испытывал те же чувства. Тяжелые веки прикрывали его сосредоточенно замершие глаза, взгляд такой же беспомощный, какой я отмечал у него и прежде, подобный взгляду благородного животного, страдающего от боли. Нельзя ли сломать пустые формальности этого совещания, устранить три засова тройственных толкований и поговорить об истинном положении вещей, как подобает здравомыслящим, разумным людям?

Он рассказывает, как они избавились от сотрудников Мельхиора, «большевизированных» бунтарей, и скрылись в маленькой комнате, где были наконец одни:

Я дрожал от волнения, совершенно не соображая от страха, что я делаю, ибо барьеры, запрещавшие общение [с врагом], тогда еще не начинали рушиться, и был несколько возбужден. Мельхиор хотел знать, чего я, собственно, хочу... Я пытался объяснить ему, как мы смотрим на это дело, как мы разделяем его мрачные прогнозы, как остро, не менее остро, чем он сам, мы ощущаем необходимость безотлагательно начать поставки продовольствия... что они [немцы] должны решиться на передачу судов и что, если бы только он мог добиться от Веймара небольшой свободы действий, мы сумели бы придумать между собой формулу, позволяющую сдвинуть с места продовольственные поставки и уйти от создаваемых французами преград.

К этому времени и Кейнс, и Мельхиор находились в очень возбужденном состоянии. «Весь разговор мы провели стоя. По-своему я был в него влюблен». Кейнс и Мельхиор согласовали нужные слова, в которых адмирал Хоуп мог бы представить предложения немецкой делегации; смысл был тот, что при согласии немцев передать свой морской торговый флот союзники готовы начать запрашиваемые немцами продовольственные поставки по одобрении Высшим военным советом их объема и Высшим экономическим советом — способов их оплаты. «Мы пожали друг другу руки, и я выбежал на улицу...»

С Веймаром вошли в контакт, но там и не пошевелились. 6 марта Кейнс уехал в Париж, полный решимости «привлечь внимание высших руководителей», которые впустую тратили время на споры о том, сколько голосов должна иметь Бразилия в такой-то подкомиссии, и на выслушивание произносимых на неизвестных языках нескончаемых речей коптов, армян, словаков, арабов и сионистов. На сей раз ему удалось пробудить интерес у Ллойда Джорджа. Встреча Высшего военного совета была назначена на 8 марта.

Ход этой драматической встречи, во время которой Ллойд Джордж с устрашающей яростью набросился на Клотца, вдохновила Кейнса написать самые яркие строки в его воспоминаниях; его рассказ в основном находит подтверждение в *‘Личном дневнике мирной конференции’* (*‘Intimate Diary of the Peace Conference’*) лорда Риддела. Лорд Роберт Сесил представил позицию Британии. Немцы, дескать, должны дать обещания о передаче судов. Союзники должны пообещать начало поставок продовольствия, как только Германия приступит к передаче флота. Немцам нужно позволить производить оплату золотом. Блокада должна быть ослаблена настолько, чтобы они могли начать экспортировать некоторые товары и покупать продовольствие в нейтральных странах. Плоскую прозу лорда Роберта Ллойд Джордж облек в одежды буйного воображения: для союзников отказываться от корм-

ления немцев — значит сеять семена большевизма, семена новой войны. Это была «превосходная мешанина смысла и чувства, искренней риторики и искусной расчетливости». Клемансо уступил по расплате золотом.

В рукаве у Ллойд Джорджа был припрятан еще один козырь. Внезапно врывается секретарь с телеграммой. Премьер-министр вскрывает пакет и читает вслух сообщение от генерала Пламера, командующего британскими оккупационными силами на Рейне. Это было требование продовольственных поставок «без промедления». Женщины и дети умирают; люди в отчаянии и уже начинают думать, что конец от пули лучше смерти от голода. Несмотря на эффект, произведенный этим удачным театральным ходом, Клотц, неверно оценивая обстановку, продолжал чинить препятствия.

Никогда [писал Кейнс] я не видел такого каскада нападков, какой обрушился на этого несчастного человека... Ллойд Джордж всегда ненавидел и презирал его; теперь же мне на мгновение показалось, что он готов убить его. Женщины и дети умирают с голоду, кричал он, а тут у нас г-н Клотц без конца болтает и болтает о своем «зо-у-лоте». Он наклонялся вперед и складывал руки, изображая перед глазами всех присутствующих отвратительного еврея, обнимающего свой мешок с деньгами. Его глаза горели, и слова были полны такого презрения, что казалось, он его оплевывает... Взглянув на Клотца, каждый видел, что бедняга согнулся и прилип к своему месту.

Премьер-министр еще не закончил. Если Клотц не прекратит своей обструкционистской тактики, ревел он, в истории останутся три имени архитекторов большевизма: Ленин, Троцкий и.... Лица присутствовавших озадились усмешками, и едва ли не каждый шепнул своему соседу: «Клотцкий». Это был момент, когда Мейнард изменил свое мнение о Ллойд Джордже, внезапно обнаружив, что он «может быть привлекательным, когда ты с ним согласен. Никогда я так не восхищался его чрезвычайными способностями». Семена «предательства» по отношению

к Асквиту были посеяны в эти дышавшие вдохновением полчаса.

Четыре дня спустя Кейнс был на пути в Брюссель, куда он ехал вместе с адмиралом Уимайссом, который был уполномочен принять сдачу немецкого торгового флота. Адмирал беспокоился, что немцы могут заартачиться насчет безоговорочной передачи судов, на которой настаивал Высший военный совет. Мог ли Кейнс быть уверенным, что все пройдет гладко? Снова он разыскал доктора Мельхиора в его гостинице и сказал ему, что предложение сдать суда будет сделано руководителю германской делегации сразу по открытии конференции. Но тут же, заметив упавшее лицо Мельхиора, Кейнс поспешил добавить, что как только немцы заявят о принятии этого требования, союзники немедленно поддержат просьбу о продовольственных поставках в Германию. Мог ли Мельхиор заверить, что немецкая часть этого сценария будет сыграна без отклонений от его буквы? «Да, — ответил тот. — С этим не будет никаких трудностей». Назавтра все прошло по плану. Через несколько дней «поезда с продовольствием двинулись в сторону Германии». Предстояли еще новые встречи, возле Парижа, с Мельхиором и другими немецкими банкирами для обсуждения передачи золота и ценных бумаг, но сражение было выиграно.

Все это время Кейнс жил в состоянии чрезвычайно нервного возбуждения. 16 марта он написал матери:

Я представляю канцлера Казначейства в Высшем экономическом совете со всеми полномочиями принимать решения; я также один из представителей Британской империи в Финансовом комитете мирной конференции, председатель Межсоюзнической группы финансовых делегатов на переговорах с немцами о перемирии и главный представитель Казначейства в Париже. Все это звучит несколько грандиознее, чем оно есть на самом деле; но мои дни забиты этим до отказа.

Он носился в «продуваемых ветром автомобилях от одного перетопленного зала к другому», поглощал из-

быточно богатую пищу и порой бывал задавлен работой. В отеле *Мажестик* кишели офицеры Скотленд-Ярда. Члены британской делегации перемещались из одной комиссии в другую. Безостановочным вихрем крутились красные папки с докладными записками, которых никто не читал, и «лихорадочная, непрерывная и надоевшая болтовня уже в полной мере придала этому адскому месту тот специфический аромат мелочности, цинизма, самодовольства и пустого возбуждения, от которого ему не суждено избавиться никогда». Ванессе Белл Кейнс написал: «Я целиком поглощен этой необычной, но жалкой игрой. Хотелось бы каждый вечер рассказывать тебе о пережитых за день извивах и поворотах, ибо ты и впрямь поразила бы удивительным сложностям, создаваемым психологией личностей и интригами, которые превращают надвигающуюся катастрофу Европы в такое величественное зрелище».

3. Тупик с репарациями

До этого времени Кейнсу еще не приходилось иметь дело с выработкой финансовых условий мирного урегулирования. Деталими на конференции занимались комиссии экспертов, а спорные вопросы передавались на разрешение Высшему военному совету или Совету Десяти, как его называли, пока позднее, в марте, он не стал Советом Четырех. Комиссия по репарациям была разделена на три подкомиссии, занимавшиеся соответственно оценкой требуемого возмещения, способности Германии платить и гарантиями ее выплат. В первой подкомиссии австралийский премьер-министр Хьюз, прямолинейный, порывистый человек, которому его глухота оказывала значительную помощь в неприятии чужих доводов, присоединился к французам в требовании возместить полную стоимость войны; он настаивал, что возросшее из-за немецкой агрессии налоговое бремя в союзных странах

следует расценивать как ущерб, причиненный гражданскому населению. Сумма возмещения была определена в 125 миллиардов долларов. Американец Джон Фостер Даллес ссылаясь на то, что подписанное с Германией соглашение ограничило ее ответственность 25–30 миллиардами долларов — самое большее.

Наткнувшись на американское вето, французы сняли свое требование и удовлетворились заявлением Даллеса, что, понеся в войне наибольший ущерб, они получают и наибольшую долю репараций. Едва речь зашла о разделе репараций, британцы сообразили, что их доля возрастет относительно доли французов, если включить в союзнические требования покрытие расходов на пенсии вдовам и пособия женам, вынужденно разлученным с мужьями. Помощник министра финансов США Норман Дэвис в конце концов согласился включить эти пункты в перечень видов причиненного ущерба, «считая, что это справедливо и в конечном счете не увеличит общей суммы германских выплат, а только изменит основу раздела поступающих от нее средств и сделает его более справедливым». Однако французы отказались называть сумму своих требований из опасений, что она не будет принята общественным мнением, которое сочтет ее слишком маленькой.

Все это происходило в феврале. Во второй подкомиссии ее председатель лорд Канлиф полагал, что Германия в состоянии выплатить 25 миллиардов фунтов стерлингов, но в конце концов согласился с рекомендацией остановиться на 8 миллиардах, если на это пойдут американцы. Французский министр восстановления Луи Лушер в частном порядке сказал Дэвису, что не считает немцев способными выплатить сколько-нибудь близкую к этому сумму, но сам он не может называть цифры меньшие, чем предлагает лорд Канлиф. 1 марта Кейнс доложил Остину Чемберлену, что расхождения укладываются в диапазон между 6 миллиардами и 9 миллиардами фунтов стерлингов. Дело зашло в тупик, когда банкир У. Лэмонт, представлявший Америку, отказался поднимать сумму выше 6 миллиардов,

из которых половина должна была поступить в германской валюте. Тиллман обобщенно заключил: «Переговоры о закреплении суммы на основе определения платежеспособности Германии к началу марта полностью провалились, так же как попытки установить эту сумму, исходя из оценки причиненного ущерба».

10 марта, стараясь преодолеть тупик, Ллойд Джордж, Клемансо и полковник Хауз (представлявший находившегося в США Вильсона) назначили секретную комиссию в составе Эдвина Монтегю и Лушера с поручением определить сумму германских платежей и пропорции ее раздела. Соглашение по долям распределения было достигнуто: 55 процентов французам и 25 процентов англичанам. Монтегю и Лушер согласились также с Дэвисом, что самое большее, чего можно ожидать от Германии, — это выплаты 3 миллиардов фунтов в течение тридцати лет — сумма, называвшаяся в меморандуме британского Казначейства от 26 ноября 1918 г., — причем Лушер сказал Норману Монтегю, что Германия не сможет... выплатить больше 2 миллиардов. Ллойд Джордж, похоже, принял это, сказав Дэвису 15 марта, что должен будет «сообщить нашему народу факты». Но 18 марта Ллойд Джордж решил с просвещением общества повременить. С этими событиями связано первое участие Кейнса в разработке вопроса о репарациях. Монтегю, естественно, с ним советовался; существует датированная 11 марта памятная записка Кейнса, в которой говорится, что хотя и следует предъявить Германии требование о возмещении причиненного ущерба «в полную меру ее возможностей», но в настоящее время определить ее платежеспособность невозможно и поэтому вопрос о конкретной сумме выплат надо отложить. Поскольку именно об этом и шла, по существу, речь в Договоре, такой совет со стороны Кейнса вроде бы находится в противоречии с его более поздней точкой зрения (выраженный в *‘Экономических последствиях мира’*), что союзники должны были зафиксировать в Договоре определенную сумму. Однако в марте, поскольку союзные руководители еще не

договорились о покрытии расходов на пенсии и пособия, он разделял мнение, что общая сумма требований не превысит 3 миллиардов фунтов.

Стратегия Ллойд Джорджа в этом вопросе все еще была направлена на то, чтобы привязать Канлифа и Самнера к «разумной» сумме. Эксперты разработали гибкую схему, предлагавшую искать решение между минимумом в 25 миллиардов фунтов и максимумом в 35 миллиардов. Это было самое большее, чего они добились, стараясь сблизить позиции Дэвиса и Лэмонта, с одной стороны, и Канлифа и Самнера, с другой. Существует написанное рукой Кейнса письмо Ллойд Джорджу, датированное 22 марта, с приложением графика ежегодных выплат меньшей суммы, которую они рассчитали с Р.Г. Брэндом. Дух Кейнса ощущается в словах: «По нашему мнению, задолго до того как будет получена требуемая сумма, правительства союзных стран могут счесть и, вероятно, сочтут, что поступление этих средств причиняет столько же вреда, что и противнику». Но пока Канлиф и Самнер не согласились на 5 миллиардов фунтов, Ллойд Джордж, из опасений, что в парламенте оппозиция его распнет, не мог признать эту сумму исчерпывающей все требования к Германии; Небесные Близнецы отказывались идти на уступки. Кейнс теперь более благосклонно смотрел на премьер-министра. 30 марта он писал отцу:

В течение последних десяти дней мне довелось близко работать с ПМ и немало видеть Вильсона и Клемансо. Это факт, что ЛДж, по крайней мере сейчас, обращает свой взор к небесам и отворачивается от ада, так что мои услуги оказываются не такими лишними, как обычно.

После уикенда в Фонтенбло Ллойд Джордж возвратился в Париж в либеральном настроении и еще раз заявил (26 марта), что они с Клемансо должны сказать людям правду. Вильсон с энтузиазмом откликнулся: «Я не могу не выразить восхищения духом, которым проникнуты слова г-на Ллойд Джорджа. Нет ничего благороднее,

чем быть отстраненным от власти за то, что отстаивал правду». Но это было последнее, о чем мог думать Ллойд Джордж. Пару дней спустя он решил выкинуть из Договора всякие конкретные цифры. Комиссии по репарациям предлагалось дать срок до 1921 г., чтобы определить долг Германии с единственным условием, что она положит на счет один миллиард долларов. Крутясь-вертясь, Ллойд Джордж наконец нашел выход из положения, в которое загнал себя, раздавая обещания и ура-патриотам, и Небесным Близнецам.

Как мы видели, идея включения пенсий и пособий в требования о возмещении ущерба возникла в феврале. Но американский президент пока не соглашался на это очевидное нарушение его *‘Четырнадцати пунктов’*. Сначала он упорно этому сопротивлялся. Но его переубедило «заключение юристов», подготовленное 31 марта 1919 г. Смэтсом по просьбе Ллойда Джорджа. Смэтс доказывал, что, если не существует законных оснований требовать от немцев покрытия прямых военных расходов, то «пенсии солдатам, потерявшим на войне трудоспособность, или пенсии вдовам и сиротам, либо пособия женам и детям, разлученным войной с кормильцем семьи на время его военной службы», — это затраты, возмещения которых требовать вполне законно. Целью Смэтса было выбить для Британской империи долю репараций побольше. Он видел, что тем самым общий объем требований к Германии увеличится, но исходил из того, что его так или иначе сделают соразмерным германской платежеспособности, которую он, подобно Кейнсу и американцам, оценивал величиной, средней между 2 и 3 миллиардами фунтов. Вильсон, усмотрев возможность примирить со своей совестью британские и французские требования, отклонил построенные на юридической букве возражения своих советников — «Логика! Логика! Плевать мне на логику. Я за включение пенсий», — даже признавая, что составителям проекта Соглашения о перемирии... и в голову не приходило включать пенсии». Нелестная оценка, данная Кейнсом президенту в *‘Экономиче-*

ских последствиях мира', в значительной степени основывалась на этом эпизоде, который он расценил как самый показательный пример вильсоновской казуистики.

Тяжелое поражение в битве за ограничение суммы предъявляемых Германией требований произошло 5 апреля 1919 г. на заседании Совета Четырех, когда Ллойд Джордж, ссылаясь на Самнера, согласился растянуть репарационные выплаты на срок свыше тридцати лет, «если окажется, что за эти годы полностью они погашены быть не могут». В отсутствие Вильсона именно полковник Хауз дал добро на такое решение. Эта уступка опрокинула предположение, будто включение пенсий ничего не изменило бы в общей величине требуемых союзниками репараций. Как записала в своем дневнике Флоренс Лэмонт, «ЛДж не желает ничего, что могло бы ограничить платежеспособность немцев».

Американцы жаловались, что Кейнс не смог противостоять Джорджу. Но в британской делегации никто и не пытался. Смэтс, который мог бы что-то сделать, на протяжении большей части марта отсутствовал из-за болезни; он возвратился к делам, чтобы написать свое роковое «заключение юристов» насчет пенсий — документ, который, по словам его биографа, «нанес его репутации вреда больше, чем любая другая бумага, которую он когда-либо в жизни подписывал», — и после этого был отправлен с миссией в Венгрию. Министр иностранных дел Артур Бальфур, имевший достаточно полномочий, чтобы возражать премьеру, был так цинично отодвинут от переговоров, что, когда Марго Асквит посетила Париж, она обнаружила, что «никто, похоже, не знал, в городе он или нет». Кейнс как-то увидел его в поздний час на улице «в весьма приподнятом настроении. Он радостно схватил меня за руку и, шагая рядом, пустился в пространный разговор о достоинствах Тьеполо»¹. Сам Кейнс в круг Ллойд Джорд-

¹ Джованни Баттиста Тьеполо (1696–1770) — итальянский художник, работавший в стиле рококо.

жа был вхож не больше, чем во время войны. Ллойд Джордж использовал его, как он использовал и Монтегю, чтобы выкручиваться из затруднений, созданных его обязательствами перед Небесными Близнецами. Но он никогда и не думал обращаться к нему за советом. Кейнс впоследствии говорил Марго Асквит, что британцы имели в Париже самую сильную по составу делегацию, но при том применении, какое находил для нее премьер-министр, «мы могли бы быть и идиотами». Со временем Кейнс понял, что пользы он не сможет приносить и в Казначействе; но это понимание пришло не раньше, чем он предпринял еще одну попытку подтолкнуть развитие событий в направлении здравомыслия и умеренности.

4. «Великий план восстановления Европы»

Самым близким политическим другом Кейнса в Париже был южноафриканский министр обороны Ян Христиан Смэтс. Выпускник Кембриджа (1894 г.), Смэтс, генерал-интеллектуал, политический деятель с философскими интересами и амбициями (впоследствии он придумал философию, названную *холизмом*), разделял с Кейнсом благородный подход к проблеме сохранения мира, так же как антипатию к французам и четко выраженное недоверие к Ллойд Джорджу. Одинаково росло их разочарование ходом событий в Париже. После возвращения из Венгрии Смэтс 9 апреля писал своей подруге г-же Джиллет:

Сегодня... зашел ко мне Кейнс, и я описал ему жалкую судьбу Центральной Европы. И он (человек сведущий в финансовых делах) признался, что сомневается, можно ли что-нибудь реально сделать. У этих несчастных осталось немного средств, и вместо выжимания из них репараций нам, вероятно, придется одалживать им деньги на жизнь.

Рассказ Смэтса о страданиях Центральной Европы заставил Кейнса основательнее задуматься над планом,

уже созревавшем в его сознании. Суть плана была в том, чтобы увязать вопрос о репарациях с вопросом о межсоюзнических долгах. Выкачивать деньги из Германии англичане и французы намеревались отчасти для того, чтобы им было чем рассчитаться с Америкой. Если убедить американцев пойти на сокращение причитающихся им европейских долгов, это позволило бы уменьшить давление на Германию. Уже в ноябре 1918 г. Кейнс указал, какую выгоду получила бы Англия от всеобщего сокращения долговых обязательств: Англия имела много безнадежных долгов со стороны своих европейских союзников, в то время как сама сильно задолжала Америке. Если не найдется какого-то способа сократить британские долговые обязательства, Англия останется открытой для «будущего давления самого нежелательного свойства со стороны Соединенных Штатов» и ее инвестиционный потенциал будет подорван. 28 марта 1919 г. он распространил записку, в которой доказывал, что попытка получить все долги, возникшие в результате прошедшей войны (включая репарации), отравит и, возможно, уничтожит, капиталистическую систему. «Я не считаю, что по какому бы то ни было из этих обязательств следует производить платежи, в лучшем случае в течение нескольких лет. Они не соответствуют человеческой природе и идут вразрез с духом времени». Записка примечательна указанием на хрупкость капиталистической цивилизации. Но Кейнс признавал, что полное прощение долгов — это нереально. Так что он набрасывал план, по которому союзные правительства приняли бы немецкие репарационные обязательства как часть «общего урегулирования долгов между ними самими».

12 апреля он возвратился в Англию. Через пять дней написал матери, что был занят проталкиванием через Кабинет «великого плана восстановления Европы». План оформился в разговорах со Смэтсом, и Смэтс его горячо поддерживал, признавая, что идея как таковая принадлежит Кейнсу. Остин Чемберлен рекомендовал план Ллойд Джорджу, отметив, что в нем отразились «все при-

сущие г-ну Кейнсу способности и плодотворность мысли». Ллойд Джорджу план также понравился: сокращение требований к Германии в обмен на уменьшение долга Соединенным Штатам — этим он вполне мог бы угодить парламенту. Он передал план Кейнса президенту Вильсону с теплым сопроводительным письмом. План Кейнса предусматривал выпуск правительствами Германии и ее побежденных союзников облигаций на сумму 1345 миллиардов фунтов для покрытия репарационных платежей и «погашения всех взаимных долгов союзных и близких им государств». Имелось в виду в течение пяти лет не начислять на облигации никаких процентов и обеспечить их совместными гарантиями правительств стран-эмитентов и союзных государств в определенных, заранее установленных пропорциях. Облигации на сумму в 1 миллиард фунтов предлагалось передать европейским союзникам, а остальные удержали бы у себя страны-эмитенты. Облигации должны были рассматриваться «как первоклассное залоговое обеспечение займов».

Кейнс пытался убить несколько зайцев одним выстрелом. Вся образовавшаяся из-за войны задолженность союзников должна была уменьшиться, остаток освобожден от погашения за счет германского долга, который стал бы выплачиваться без создания дополнительной напряженности для платежного баланса Германии. Кредитоспособность Европы была бы восстановлена; Соединенным Штатам был бы обеспечен спрос на их экспортные товары; центральные державы также получили бы средства для продовольственных закупок. Таким образом, план служил как неотложной цели — дать европейским странам деньги на оплату их импорта, так и решению долгосрочной задачи существенного сокращения долга, повисшего на них в результате войны. Это было совместимо с уже принятыми решениями по репарациям, предусматривавшими начальную выплату Германией 1 миллиарда фунтов, и в то же время улучшало перспективу возможного получения большей суммы в пределах «платежеспо-

способности» Германии. В сопроводительной записке для Вильсона и Клемансо Кейнс писал:

Предложение, раскрывающее будущие перспективы и указывающее народам Европы путь, на котором к ним вернутся продукты питания, занятость и упорядоченная жизнь, станет более мощным, чем любое другое, оружием в борьбе против опасностей большевизма и за такую организацию человеческого общества, которую мы считаем наилучшим отправным пунктом для дальнейшего улучшения жизни и повышения благосостояния.

Американский отклик был разочаровывающе прохладным. Томас Лэмонт, опираясь на все полномочия партнера Дж.П. Моргана, осудил эту инициативу как «концептуально не обоснованную и практически неосуществимую». Он утверждал, что его принятие создало бы впечатление о европейских странах как о странах-банкротах и лишило бы европейцев стимула к работе. Более того, оно потребовало бы одобрения Конгресса, которого тот не даст. Лэмонт хотел расширения требуемых американских кредитов через «обычные коммерческие и банковские каналы». Он предложил учредить в Соединенных Штатах частную финансовую корпорацию как канал, по которому — в сотрудничестве с британскими банковскими группами — в Европу пойдут американские сбережения.

На обеде с Кейнсом и Смэтсом 3 мая Дэвис и Лэмонт выдвинули и другое возражение против плана Кейнса: «Они видят, что любая помощь, оказанная ими Германии, позволит нам увеличить получаемые от немцев репарационные платежи, и решительно не желают этому содействовать». Всякая надежда, что Вильсон простит часть европейского долга Соединенным Штатам, разваливалась, натываясь на скалу репарационной политики Ллойд Джорджа. 3 мая президент писал премьер-министру:

Вы предложили, чтобы все мы обратились к вопросу о том, каким образом помочь Германии встать на ноги. Но как

могут ваши эксперты, или наши, разрабатывать новый план обеспечения Германии оборотным капиталом, если мы начинаем с того, что преднамеренно забираем капитал, *ныне у нее существующий?*

Кейнс приводил доводы против такого толкования дела, но не от чистого сердца. Как он говорил Филипу Керру, личному секретарю Ллойд Джорджа, «в точке зрения президента есть существенная доля правды».

Последняя надежда Кейнса, что из ужасов Парижа родится по крайней мере план, позволяющий поставить Европу на ноги, рухнула. В начале мая проект Соглашения был наконец склеен из трудов пятидесяти восьми специализированных комиссий и мнений, высказанных на Совете Четырех, так что у Кейнса впервые появилось полное представление о предлагаемом урегулировании. Он пришел в ужас. В одном письме от 4 мая он заявлял, что «это урегулирование есть урегулирование на бумаге, которое, если даже будет принято, не позволяет ожидать, что оно будет выполняться». Он сомневался, что немцы его подпишут. Дункану Гранту он написал 14 мая:

Неделями уже я не писал писем — крайне измотан, отчасти непрерывной работой, а отчасти окружающей меня мерзостью. В течение двух или трех недель я чувствовал себя очень несчастным. Наступивший мир возмутителен и невыносим и способен приносить только несчастье....

Слава Богу, скоро я буду вне этого и предполагаю, что понадобится не так много недель, чтобы я забыл об этом кошмаре. Я посылаю в Казначейство просьбу об освобождении меня от моих обязанностей с 1 июня, если возможно, и в любом случае не позже чем 15 июня.

Сомнения появились и у самого Ллойд Джорджа. По словам Андре Тардые, впоследствии премьер-министра Франции,

то были жестокие дни. Г-н Ллойд Джордж, весь охваченный тревогой по поводу отказа подписывать [договор] или кри-

зиса в Германии, предложил немыслимые уступки почти по каждому пункту. Он извинялся за то, что так с этим запоздал. Он ссылался на консультации с палатой общин. Двухмесячная работа была под угрозой краха. Г-н Клемансо стоял твердо.

Ллойд Джордж «просил о тщательном пересмотре статей о репарациях и под влиянием г-на Кейнса склонялся к включению в договор общей суммы, предложенной в марте американскими экспертами». Кейнс как мог подавал ему необходимую информацию. 7 мая Смэтс писал г-же Джиллет:

Бедняга Кейнс часто сидит со мной ночью после плотного ужина, и мы браним весь мир и надвигающееся наводнение. И я говорю ему, что пришло время молиться Григуа (богу, который пришел сам, а не стал посылать своего сына, ибо время сейчас не для детей). Затем мы смеемся, а сквозь смех прорывается ужасная гугеровская картина трехсот миллионов людей, которым предстоит умереть, если не грянет какая-то великая подмога.

Г-жа Джиллет напомнила Смэтсу, что в девятнадцатом веке экономическая реформа предшествовала реформе избирательного права и что, «похоже, теперь также политические и территориальные вопросы будут решены не раньше, чем в мире восстановится экономический порядок». Смэтс передал это замечание Кейнсу, который сказал, что это совершенно правильно, а сам он никогда об этом не думал. Может быть, тут-то и взяла свое начало основная тема *‘Экономических последствий мира’*.

Кейнс все еще старался быть полезным. В конце мая он предпринял безуспешную попытку освободить государства, образовавшиеся на месте бывшей Австро-Венгерской империи, от обязательств поставлять скот в Италию и Сербию.

Потом он улегся в постель, «отчасти из-за переживаний по поводу всего происходящего, а отчасти из-за длительных перегрузок работой». Он съехал из отеля *Ma-*

жестик, сняв себе квартиру «с превосходным французским поваром и слугой-солдатом, который состоит при мне камердинером», и стал подниматься с постели только для встреч и бесед с канцлером, Смэтсом, премьер-министром и подобными лицами. Но все было слишком поздно. Совершенно независимо от непримиримости Клемансо Вильсон убедил себя, что проект Договора соответствует его *‘Четырнадцати пунктам’*. Кроме того, он не хотел, чтобы какие-либо изменения вносились в последний момент «просто потому, что [договор] слишком суров... он хотел, чтобы это послужило историческим уроком, так чтобы люди знали, что им не дано делать что-либо подобное сделанному немцами и не понести за это самого серьезного наказания». Возможно также, Ллойд Джордж получил секретную информацию, что немцы готовы подписать Договор в любом случае, а германские возражения — это только формы ради.

Версальский договор был подписан 28 июня 1919 г. К тому времени Кейнс уже покинул и Париж, и Казначейство. «Я ничем больше не могу быть здесь полезен, — писал он Норману Дэвису 5 июня. — На вас, американцев, полагаться нельзя». В тот же день он написал Ллойд Джорджу:

Я должен сообщить Вам, что в субботу я сбегаю со сцены кошмара. Я ничем больше не могу быть здесь полезен. Даже все эти последние ужасные недели я продолжал надеяться, что Вы найдете какой-то способ сделать Договор справедливым и целесообразным документом. Но теперь, судя по всему, слишком поздно. Сражение проиграно. Я оставляю Близначев злорадствовать по поводу опустошения Европы и пробовать на вкус долю британского налогоплательщика.

XVI

Цивилизация в опасности

1. Пишется книга

5 июня 1919 г. Кейнс написал матери из Чарлстона: «В понедельник я начал писать новую книгу... о нынешнем экономическом состоянии Европы, куда войдут резкая критика мирного договора и мои предложения на будущее... Меня на это толкнуло глубокое чувство стыда, позора, которое невозможно подавить в свете событий понедельника, но мой характер может не позволить мне с этим справиться». В понедельник 23 июня союзники наконец исключили всякую надежду на изменение представленных немцам предложений; но мысль о публичном протесте уже была у Кейнса в голове. По возвращении в Лондон (8 июня) он написал Смэтсу: «Я очень надеюсь, что вы придете к выводу, что сейчас правильно было бы объяснить происходящее и выразить протест. Если так, я — к вашим услугам, готов помогать своим пером или любым другим способом»¹. Смэтс убеждал его 10 июня приступить к «ясному, стройному объяснению, что фактически означают финансовые и экономические пункты соглашения и каковы будут их вероятные последствия». В сущности, 28 июня он подписал Версальский договор, публично заявив о его несостоятельности. 17 июля, в канун своего отъезда в Южную Африку, он написал Мейнарду еще раз, явно пересмотрев свой прежний совет:

Тщательно продумав этот вопрос, я не нахожу никакой особой пользы в постоянных нападках на Договор. Это уже прошлое, и ничто не может отменить его, кроме времени и Великого Милосердия, которое устраняет все наши человеческие безумства. Лучше быть конструктивным. Мой протест, выраженный при подписании мира, имел большой эффект и здесь, и на континенте... Вы найдете много возможностей помочь миру, особенно когда репарации и выполнение финансовых пунктов начнут создавать неприятности с Германией².

Кейнс, как он сказал Смэтсу, ушел из Казначейства в «страдании и ярости» — страдании и ярости, которые нарастали в продолжение всей войны. Он принялся за работу с сознанием ее отчаянной срочности. Вирджиния Вулф, видевшая его в Чарлстоне, отметила в своем дневнике 8 июля:

Он говорит, что разочарован. То есть больше он верит в сохранение порядка вещей, который он любит. Итон обречен; так же как правящие классы и, возможно, Кембридж. Эти заключения навязаны ему мрачным и безобразным зрелищем мирной конференции, где люди вели бесстыдную игру, думая не о Европе, даже не об Англии, а лишь о собственном возвращении в парламент на следующих выборах.

Лорду Роберту Сесилю Кейнс написал 26 июля: «Мне кажется, мои представления о перспективах Европы и европейского порядка станут не менее пессимистичными, если не будут в скором времени приняты меры к признанию мертвой буквой многих экономических пунктов соглашения. Вы согласны?»³

В том, как складывалась книга, свою роль сыграли и другие влияния. Марго Асквит написала ему 13 июня довольно несвязное письмо с требованием, чтобы он дал ей для дневника⁴ описания людей и встреч в Париже. Возможно, это именно она прочно внедрила в его сознание мысль дополнить свои экономические выкладки рассказом о личностях союзнических лидеров и описанием ат-

мосферы, в которой они работали. Более отдаленное влияние шло от Литтона Стрэчи с его *'Выдающимися викторианцами'* — книгой, которая появилась в 1918 г. Дэвид Гарнетт полагает, что это соблазнило Кейнса быть «более нескромным, чем он был по своей природе: набраться мужества и напечатать то, что он склонен был высказывать в частной беседе»⁵.

Прежде чем он мог усесться за книгу, предстояло уделить внимание практическим заботам. Отставка, естественно, лишила его казначейского жалованья — 1200 фунтов годового оклада. В течение нескольких недель по возвращении он отклонил должности заведующего ново-созданной в Лондонской школе экономики кафедры денежного обращения и банковского дела и профессора в Лидсе. Более многообещающим было предложение стать председателем Британского банка северной торговли с годовым жалованьем в 2000 фунтов при занятости один день в неделю. В конечном счете он отказался на том основании, что Банк находился под иностранным (скандинавском) контролем, но дал понять, что открыт для других предложений. Между тем валютные спекуляции открывали более увлекательный и прибыльный путь к деньгам, чем почасовая торговля экономическими знаниями. Он возвратился в Кембридж, чтобы договориться о сокращении своих преподавательских обязанностей в колледже и университете. Дункану Гранту 17 июля он написал из Королевского колледжа:

В течение дня я большей частью думаю о своей книге и часа два пишу ее, так что продвигаюсь весьма неплохо — нахожусь сейчас почти на полпути к завершению третьей главы из восьми. Но пишется очень трудно, и все больше и больше восхищаюсь теми, кто умеет преуспевать в этом деле. Сегодня закончил очерк о внешности и характере Клемансо, завтра берусь за Вильсона. Думаю, стоит попробовать, но это и впрямь выше моих сил.

В Лондоне он говорил матери:

В порядке завершения сезона я устроил на Гордон-сквер вечеринку, которую расценили как большой успех; сам я был чересчур озабочен напряженной работой хозяина, чтобы следить за происходившим. Мы, двадцать три человека, сели за ужин незадолго до полуночи и не вставали из-за стола до половины второго. Удивительно, какими возможностями обладает домашнее хозяйство, если поднажать. Вечером на другой день [30 июля] в обстановке большого волнения давали последний балет, и все мои различные миры были там представлены. Были у меня также разные деловые встречи, я давал показания Комиссии по денежному обращению Индии, выступал перед Советом борьбы с голодом, открыл дискуссию об условиях мирного договора в городском клубе сотрапезников [в клубе *Вторник*], и плюс ежедневные обеды и ужины — после чего я вполне созрел для деревенской жизни. Забавно перемещаться из Кембриджа, где я — никто, в Лондон, где я — знаменитость.

С начала августа Кейнс поселился в Чарлстоне и погрузился в привычную рутину. Он завтракал в 8.00 и писал до обеда. После обеда он читал *'Таймс'* и затем до чая возился в саду. После чая разбирался с корреспонденцией. Служанок Бланш и Джесси он держал при себе, и Гордон-сквер был закрыт. Шла переписка с друзьями, которым он посылал отрывки из написанного. «Полагаю, что твой психологический портрет Вильсона совершенно правильный. Он объясняет все», — написал ему Леонард Вулф 21 августа. Он добавлял: «Надеюсь, что ты делаешь и Ллойд Джорджа»⁶. Кейнс действительно написал очерк о британском премьер-министре, но не был им удовлетворен и по совету Асквита вообще опустил его. 3 сентября он сообщал матери, что каждый день «смог поддерживать высокий уровень, то есть свою в среднем тысячу слов, пригодных для отправки в типографию, — и так семь дней в неделю; но все еще остается сделать ряд очень трудных кусков. Надеюсь закончить к первой неделе октября и издать книгу до конца месяца». Закончив главу, он немедленно отсылал ее мисс Пэйт в Кембридж на перепечатку. К 23 сентября он отправил первые пять глав в эдинбург-

скую типографию *Макмиллана*, в набор и на верстку. Это составляло почти четыре пятых полного текста. Но он не сумел взяться за две оставшиеся главы и при всех своих расчетах оказывался на десять дней позади графика. «Они довольно трудные, — говорил он *Флоренс*, — поскольку я устал и хотелось бы месяц передохнуть... Но полагаю, что должен упорно продолжать это занятие»⁷. К началу октября он приступил к последней главе и отложил отъезд из *Чарлстона*.

Тем временем в Соединенных Штатах президента *Вильсона* постиг удар во время его турне с выступлениями, рассчитанными на сплочение нации в поддержку Договора. *Литтон Стрэчи* написал *Кейнсу* из *Пэнгборна* 4 октября:

Из скудных газетных сообщений можно, похоже, заключить, что твой друг президент спятил. Может быть, до него начало постепенно доходить, каким он оказался простофилей, и когда он это наконец понял, его мозг не выдержал. Очень драматично, коли это так. Но не делает ли это некоторые твои замечания чересчур жестокими?

Даже когда *Кейнс* полностью отдавался писанию, он не становился человеком одного дела. Он решил сам оплатить издание книги, оставляя *Макмиллану* 10 процентов прибыли от проданных экземпляров. Это вместо обычного раздела дохода поровну. Контракт с такими условиями он подписал 21 августа и договорился, что будут напечатаны 5000 экземпляров. С этого момента *Кейнс* сам покрывал типографские расходы на все английские издания своих книг, вникал во все подробности их производства и забирал себе поступавшую прибыль. У него никогда не было литературного агента. *Феликс Франкфуртер*, американский адвокат, которого он встретил в Париже, сумел получить заказ на американское издание от новой фирмы *Harcourt, Brace, and Howe*; *Кейнс* принял предложение, хотя и был недоволен низкой ставкой гонорара — 15 процентов.

Деловые отношения Кейнса с *Макмилланом* в августе не сводились к вопросу о его собственной книге. Он договорился об издании сборника стихов Люса (опять-таки за его счет). Сборник вышел в свет в 1920 г. и, как и предвидел Кейнс, оказался изданием убыточным. В то же время Мейнард помогал другим друзьям, Дэвиду Гарнетту и Фрэнки Биррелу, решившим открыть в Лондоне книжный магазин⁸. Наконец, желая рассеять скуку деревенской жизни, он начал заниматься спекулятивными операциями с иностранной валютой, что «потрясет отца, но на чем я надеюсь хорошо заработать»⁹. «Деньги — забавная вещь, — написал он Флоренс 23 сентября. — Невозможно поверить, что существующим порядкам позволят еще долго сохраняться. При небольших дополнительных знаниях и скромном опыте особого вида, они просто (и незаслуженно в любом высоком смысле) притекают сами». Скоро ему предстояло обнаружить, что небольшие дополнительные знания не дают никакой гарантии от финансовой катастрофы. Он также согласился войти в правление *Национального общества взаимного страхования жизни*.

К 11 октября Кейнс отослал главу 6 и большую часть главы 7. Как это обычно бывает с авторами, повествование, которое должно было уложиться в сорок тысяч слов, потребовало шестидесяти тысяч. Теперь он должен был вернуться в Кембридж, чтобы возобновить чтение лекций, но перед тем провел два дня (с 13 по 15 октября) в Амстердаме на конференции банкиров, собранной доктором Виссерингом, управляющим Банка Нидерландов, для обсуждения схемы международного займа. Именно в контексте предложений о таком займе — средства для которого должны были дать главным образом американские банки, — он услышал существенную критику своей книги. Он показал копию верстки Артуру Солтеру, генеральному секретарю комиссии по репарациям. Солтер выразил мнение, что нарисованный им портрет президента может быть использован хитрыми европейцами, чтобы сорвать шансы на получение американских денег¹⁰. Кейнс согла-

сился ослабить тон некоторых пассажей, но твердо стоял на своем главном пункте:

Умеренные люди могут делать добро, и экстремист, возможно, также способен делать добро; но тому, кто принадлежит к числу последних, бесполезно притворяться, буд-то он из первых. Кроме того, это совершенно безнадежное дело — пытаться высчитать психологические последствия неких предполагаемых действий; и я пришел к пониманию, что при любых обстоятельствах лучше всего говорить правду так прямо, как только возможно¹¹.

Генералу Смэтсу Кейнс написал 27 ноября, что «попытки заискивать перед американцами или кем-либо еще представляются весьма бесполезными, и я прихожу в отчаяние от любых действий, кроме наступательного и безжалостного выражения правды; это *в конце концов* подействует, пусть и медленно»¹².

‘*Экономические последствия мира*’ были изданы 12 декабря 1919 г. Сколь бы отталкивающей ни показалась книга многим читателям, она была бы воспринята еще хуже, если бы, следуя советам матери и своих друзей, Кейнс не выбросил из текста множество оскорбительных пассажей. К Рождеству было продано 2642 экземпляра — результат удовлетворительный, но не захватывающий. 29 декабря Дэниел Макмиллан писал: «Я не сомневаюсь, что заказ на тираж в 5 тысяч полностью оправдается»¹³. Ни у того ни у другого не было предощущения, что в предстоящие месяцы и годы книга станет международным бестселлером, одной из самых влиятельных книг двадцатого столетия.

3. Экономические последствия мира

‘*Экономические последствия мира*’ не без оснований предлагают считать лучшей книгой Кейнса. Ни в каком ином из его произведений ему не удастся так успешно привлечь *все* свои дарования к освещению избранной темы. Хотя сердцевину книги составляет четкое изложение про-

блемы возмещения военного ущерба, она ни в коей мере не является неким специальным трактатом. Живо описаны горячие парижские баталии; неудачи Клемансо, Вильсона и Ллойд Джорджа показаны с жестокой точностью. Слог сердитый, презрительный и, что для Кейнса редкость, страстный: никогда больше его разоблачения неискренности и лжи или его моральное негодование не звучали столь громко и ясно. Все увязывается в один узел раздумьями о смысле нависшей опасности; ощущением надвигающегося крушения цивилизации; видением безмозглой толпы, которая рвется захватить распадающееся наследие, пониманием тщетности потуг и легкомыслия государственных деятелей. Результат — выражение личной позиции, беспримерное в литературе двадцатого столетия. Кейнс ставил на карту притязание экономиста, возжелавшего быть владельным князем. Все прочие формы правления оказались, мол, несостоятельными. Благосостояние в сочетании с новым уровнем технического совершенства — таков в понимании экономиста последний рубеж обороны против хаоса, безумия и регресса.

Если упустить из виду общее представление Кейнса о положении в мире, настойчивость его обвинений может озадачивать, может даже казаться каким-то извращением. В конце концов Договор принес кое-какие сдвиги, способные вызвать одобрение либерала. Он положил основание Лиге Наций; он освободил подневольные народы от автократии; он предотвратил расчленение Германии. В своих обобщениях Кейнс не считается с этими достижениями. Его книга была написана в значительной мере исходя из англо-американского видения происходящего; в Британии же и в Америке большинство расположено было судить о Договоре с точки зрения его экономического значения: ура-патриоты прикидывали, обеспечивает ли он получение с Германии «платы» за ее агрессию; либералы спрашивали, предусмотрено ли Договором возобновление экономического прогресса. С окончанием войны проблемы безопасности, для французов главные, чрезвычай-

но быстро улетучились из англо-американского сознания. Традиционалисты могли утешаться разрушением германского флота, существование которого было основной довоенной угрозой Англии. Либералы склонны были возлагать надежды на Лигу. Едва ли кого-нибудь занимали Договоры, подписанные отдельно с Австрией и Венгрией и разделившие Восточную Европу приблизительно в соответствии с вильсоновским принципом «самоопределения»; и книга Кейнса также обходила их вниманием, если не считать случаев, когда упоминание о них имело прямое отношение к его основной теме. А темой этой был вопрос о том, как война расстроила экономический механизм, который двигал жизнью европейских народов до 1914 г., и как Версальский договор, далеко не содействуя восстановлению этого механизма, завершил его разрушение.

Аргументация выразительно изложена в главе 2. Несмотря на чрезвычайно большой рост населения в девятнадцатом столетии, свобода торговли и капиталистическая этика отвели в сторону мальтузианскую угрозу. В Европе «помехи, создаваемые границами и тарифами, были сведены к минимуму... На всем этом огромном пространстве существовала почти абсолютная безопасность собственности и личности»¹⁴. Германия была локомотивом континентальной экономической системы. «Вокруг Германии как центральной опорной колонны строилась остальная часть европейской экономической системы, и главным образом от процветания и предприимчивости Германии зависело процветание континента»¹⁵. Свобода торговли, как и экспорта капитала, также устанавливала равновесие между Старым светом и Новым на основе обмена европейских промышленных товаров на продовольствие и сырье Америки, а также на основе «ежегодной дани», которую позволяли Европе получать из Нового света инвестиции помещенного туда избыточного европейского капитала. Эта мировая система, поддерживавшая рост населения при повышающемся уровне жизни, опиралась, в свою очередь, на общую мораль, которая

выше всего ставила достоинства воздержания, благоразумия, расчетливости и предвидения — базовые условия накопления капитала. Повсюду в Европе «все эти инстинкты пуританизма», которые в прежние времена уводили людей от мирских забот, оказались перенаправленными на обеспечение процветания. В корне неравное распределение дохода поддерживалось блефом или ложью, посредством которых рабочим навязывали воздержание молчаливым утверждением, будто большую часть своих прибылей капиталисты превращали в сбережения. Таким образом, мировая экономическая организация в конечном счете держалась на практической верности викторианским ценностям¹⁶.

Даже перед войной, говорил Кейнс, этому «экономическому Эльдorado» угрожало сокращение европейских потребностей в ресурсах Нового света и шаткость психологических оснований общественного строя. Что сделала война? Она разрушила экономическую организацию Европы; в значительной степени подорвала ставку Европы на Новый свет; и потрясла социальный порядок, сделав очевидными «для всех возможность потребления и для многих пустоту разговоров о воздержании»¹⁷. Тем самым она выпустила на волю «мальтузианского дьявола». Первые следствия его разгула обнаружились в России.

Вызываемое таким образом ощущение опасности пронизывает также главу 6, в которой Кейнс обсуждает состояние Европы по окончании войны. Проблемы, породившие большевизм, теперь воспроизводятся на континенте повсеместно. В результате войны Европа столкнулась с «абсолютным падением уровня жизни»¹⁸. Кроме того, все правительства всех воюющих государств вынуждены были взять губительный курс инфляции, которая потенциально имеет роковое значение для капиталистической цивилизации. Кейнс вовлекает в разговор Ленина, который якобы говорил, что «не может быть более хитрого, более верного средства для того, чтобы опрокинуть основу общества, чем расстройство денежного обращения».

«Хороший мир», по словам Кейнса, требовал бы непосредственного обращения к этим проблемам, обрушившихся в Европе одинаково и на победителей, и на побежденных. Вместо этого творцы Договора произвели то, что он называет «карфагенским миром», который, пусть и без сознательного на то умысла, повергнет Европу в нищету. Для таких последствий он видел две причины — несостоятельность идей государственных деятелей и несостоятельность их характеров.

Второй из этих причин посвящены знаменитые строки в главе 3. Но осуждение Договора в целом гораздо больше связывается с первой причиной. Сказать просто, мысль Кейнса сводится к тому, что *Большая тройка* отдавала политике предпочтение перед экономикой. Таким образом, представив в главе 2 вставшие перед Европой экономические проблемы, Кейнс пишет в начале главы 4:

Мысли, которые я выразил во второй главе, в умах участников Парижской конференции не присутствовали. Будущая жизнь Европы их не трогала; обеспечение ее средствами существования было не их делом. Их заботы, добрые и недобрые, связывались с границами и нациями, с равновесием сил, с приращением империй, с ослаблением на будущее сильного и опасного врага, с местью и с перекладыванием победителями невыносимых финансовых трудностей на плечи побежденного¹⁹.

Недостаток видения у творцов Договора не имел бы, по мнению Кейнса, такого большого значения, если бы они держались в рамках *‘Четырнадцати пунктов’*, которые исключали «карфагенский мир» и определенно не допускали карательных действий под видом возмещения ущерба. Именно для того, чтобы объяснить, каким образом Версальский договор так далеко оторвался от *‘Четырнадцати пунктов’*, Кейнс и предложил свои портреты деятелей *Большой тройки*.

Первым из руководителей союзных государств идет Клемансо. Незабываем его портрет, написанный Кейн-

сом: «Восседающий в парчовом кресле, как на троне, в серых перчатках, с иссушенной и лишенной всяких надежд душой, очень старый и усталый, но бросающий вокруг циничные и почти озорные взгляды». Кейнс показывает, что его промахи были ошибками суждений, а не изъянами характера. Он знал, чего хотел — сокрушить Германию так, чтобы она не могла подняться в течение жизни следующего поколения или дольше, — и целеустремленно шел к своей цели, искусно играя на слабостях коллег. «Нельзя было смотреть на Клемансо с презрением или испытывать к нему неприязнь, надо было только иначе посмотреть на природу цивилизованного человека или, по крайней мере, проникнуться иной надеждой»²⁰.

Это президент и премьер-министр разделяют вину за провал стараний добиться мудрого мира, ибо американские деньги и британские мозги совместно в состоянии были преодолеть французскую непримиримость. Министерства финансов США и Великобритании были в значительной степени заодно в вопросе о репарациях. Они должны были взять верх; и достичь этого помешали характеры их политических руководителей.

Нас подводят к выводу, что Вильсон не понимал окружающей обстановки и не чувствовал ее духа. Он держался жестко и несгибаемо. Он явился в Париж со своими четырнадцатью заповедями («Богу хватало десяти», — скривившись заметил Клемансо), чтобы проиграть игру, правил которой никогда не знал. Ум Вильсона был напичкан принципами, а не политикой. Он не был компетентным участником совещаний и он обладал способностью богослова обманывать себя. Это ключевой пункт в анализе Кейнса. Президент ничего не делал в нарушение своих принципов; но эти принципы

стали документом для наведения лоска и толкований, для всего интеллектуального аппарата самообмана, которым, осмелюсь сказать, предки президента убеждали себя, что любой выбираемый ими курс соответствует каждому слогу Пятикнижия... Затем последовало плетение паутины из софис-

тики и иезуитских комментариев, которая должна была в конечном счете опутать неискренностью букву и сущность всего договора²¹.

Пауком, который плел роковую паутину, опутавшую президента, был Ллойд Джордж. Ллойд Джорджу была отведена роль колдуньи, уэльсской ведьмы, *femme fatale*.

Видеть британского премьер-министра наблюдающим за всей компанией, пускающим в ход шесть-семь чувств, недоступных обычным людям, оценивающим характеры, мотивы и подсознательные импульсы, старающимся догадаться, что каждый думает и даже что потом собирается сказать, и подбирающим с помощью телепатического инстинкта доводы или привлекательные слова, наиболее подходящие, чтобы воспользоваться тщеславием, слабостями и личным интересом своего слушателя в данную минуту — значило понять, что президенту в этой игре уготована роль слепца, которому помогают находить место, куда поставить ногу²².

Хотя этот портрет Ллойд Джорджа несправедлив, жаль, что Кейнс исключил его из книги. Читатель мог бы усвоить, что ключ к пониманию Ллойд Джорджа — отсутствие у него принципов; у него

нигде и ни в чем нет корней; он пуст и бессодержателен... В общении с ним улавливается запах конечной бесцельности, внутренней безответственности, существования вне или вдали от наших саксонских добра и зла, и все это в смеси с хитростью, безжалостностью, властолюбием, которые заволаживают, поработывают и наводят ужас, как светловолосый ярмарочный фокусник в сказках североевропейских народов²³.

Свои цели Ллойд Джордж брал из окружающей атмосферы; и в Париже он был заложником парламентского большинства и общественного мнения, созданного его обещанием востребовать с Германии возмещение полной стоимости войны. Поскольку это обещание находилось в прямом противоречии с соглашением о перемирии и рекомендациями его собственных экспертов, единственной

надеждой уйти от политического поражения дома оставались для него изобретение и разработка формулы, способной убедить президента, что его (Ллойд Джорджа) политика полностью соответствует *Четырнадцати пунктам*. Так что он принялся за обработку пресвитерианца и добился успеха, который в конечном счете нагнал на него тревогу. Как пишет Кейнс,

г-н Ллойд Джордж, пожелавший в последний момент проявить всю умеренность, на какую он только был способен отважиться, к ужасу своему, обнаружил, что не может за пять дней убедить президента в ошибочности того, что в течение пяти месяцев он представлял ему как единственно справедливое и правильное решение. В конце концов раскрыть глаза старому пресвитерианцу оказалось труднее, чем его одурачить²⁴.

По оценке Кейнса, в соответствии с соглашением о перемирии союзники юридически имели право требовать от 1,6 до 3 миллиардов фунтов стерлингов, которые «мудро и справедливо» было бы свести к 2 миллиардам. В книге в значительной степени воспроизводятся в обобщенном виде аргументы и оценки меморандума Казначейства от 26 ноября 1918 г. Как и в том меморандуме, предполагается расходы на пособия разделения и пенсии в расчет не принимать. Кейнс осудил включение этих пунктов в требования Мирного договора как «нарушение контракта». Он пишет:

В истории найдется немного эпизодов, простить которые у потомков будет меньше оснований... война, которая велась якобы в защиту святости международных обязательств, завершается тем, что победоносные борцы за этот идеал явно нарушают одно из наиболее священных среди возможных обязательств такого рода²⁵.

Раздел о платежеспособности Германии содержит целые абзацы, дословно взятые из того же документа Казначейства. Кейнс подчеркнул противоречие между сокращением платежеспособности Германии за счет территории-

альных и прочих конфискации и повышением предъявляемых ей требований. Кроме прямых передач золота и движимого имущества, у Германии было лишь одно средство выплачивать репарации — экспорт, приносящий иностранную валюту, пригодную для выплаты ежегодной «дани». Однако в течение пяти предвоенных лет торговый баланс Германии имел среднегодовое пассивное сальдо в 74 миллиона фунтов стерлингов. Нарастивая свой экспорт и сокращая импорт, Германия могла бы со временем ежегодно иметь активное внешнеторговое сальдо в размере 50 миллионов фунтов (эквивалент 100 миллионов в послевоенных ценах). В течение тридцати лет с учетом набегающих процентов это могло бы составить капитал в 1,7 миллиарда фунтов. Добавляя к этому 100—200 миллионов в виде передаваемых золота, имущества и так далее, он заключил, что 2 миллиарда составляют надежную оценку максимальной платежеспособности Германии²⁶. Таким образом, немного поиграв цифрами, платежеспособность Германии можно было привести в примерное соответствие с юридически возлагаемыми на нее обязательствами. Принимая в расчет 500 миллионов, составляющих стоимость уже переданных судов и иного имущества, получаем остаток в 1,5 миллиарда, которые могли выплачиваться в течение тридцати лет взносами по 50 миллионов фунтов в год.

В главе 7 Кейнс представил контуры собственного, альтернативного мирного договора. Пересмотр территориальных статей предлагалось передать на усмотрение Лиги Наций, хотя при этом Кейнс отмечал, что правило единогласия почти фатально склоняет к сохранению статус-кво²⁷. Пересмотр экономических положений можно проделать вне механизма Лиги. Требуемые от Германии выплаты наличными следует ограничить 1500 миллионами фунтов, которые в основном пойдут Франции, притом что Англия откажется от каких-либо собственных требований. Все межсоюзнические долги подлежат отмене, что оставит американского налогоплательщика с чистой за-

долженностью в размере 2 миллиардов фунтов. Должен быть создан европейский «союз свободной торговли» в противовес экономический дезорганизации и «несчетному множеству новых политических границ». Должен быть выпущен новый международный заем, главным образом за счет средств из Соединенных Штатов, для финансирования отрицательного платежного баланса континентальной Европы и стабилизации валютных курсов. И притягательную силу коммунизма можно было бы уменьшить, если восстановить участие России в континентальной торговле «при посредстве немецкой предприимчивости и организации».

Попытка Кейнса восстановить урон, нанесенный войной и Договором политическим и экономическим перспективам Европы, и сегодня выглядит изобретательной, смелой и прозорливой. Ни один из его планов не был принят. Репарации и невыплаченные долги, как и предсказывал Кейнс, продолжали годами отравлять международные отношения. Как и предсказывал Кейнс, ввергнутая в нищету Германия развязала дикую реваншистскую войну. Американское содействие восстановлению Европы, «свободный профсоюз» европейских народов — этим идеям пришлось ждать второй мировой войны. В России укоренился «военный коммунизм». «Еще никогда в жизни нашего поколения огонь человеческой души не горел так слабо», — писал Кейнс в заключение книги. То была эпитафия для межвоенных лет.

3. Разногласия

23 декабря 1919 г. Кейнс писал Литтону Стрэчи:

Книга захлебывается... в половодье похвал; ни единого звука недовольства, ни... строчки критики; с каждой почтой письма членов кабинета министров, заявляющих, что они согласны с каждым словом и т.д., и т.д. В любой момент жду записку от премьера с сообщением, как глубоко книга

представляет его взгляды и как красиво они изложены. Должен ли я буду отказываться от получения ордена Почетного легиона из рук Клемансо?

Как всегда, Кейнс прибегал к преувеличениям, стараясь развлечь своих друзей. Блумсбери был в восторге: *‘Экономические последствия мира’* были репарацией, которую Кейнс выплачивал им за свою работу на войну; и на этот раз они были великодушны к своему старому другу. Литтон Стрэчи писал из Пэнгборна 10 декабря:

Твоя книга пришла вчера, и я проглотил ее в один прием. Думаю, это огромный успех. Во-первых, чрезвычайно внушительно; дышит авторитетностью, чего, полагаю, никто не может игнорировать. В Чарлстоне я побаивался, что ты будешь впадать в крайности, но вижу, что это совсем не так. Что касается аргументации, она, конечно, в высшей степени сокрушительная, устрашающая.

30 января 1920 г. из Рангуна написал Люс:

Не думаю, чтобы с тех пор [после речи Бёрка о Примирении]... по-английски было написано что-нибудь столь крупное или столь глубоко затрагивающее. Кстати, твой стиль также стал для меня открытием. Откуда он у тебя?..

Порой мне хочется видеть тебя снова в политике, у государственного руля, и все же я не стал бы приносить твое счастье в жертву всемирному. Что приводит в восторг, так это обнаруживаемое в твоей книге доказательство, что я прав в моей прочной любви к тебе, той, что была и будет²⁸.

Первые критические замечания поступили от Ости-на Чемберлена. Хотя и «полный восхищения блестяще сделанной работой», Чемберлен, однако, писал (22 декабря):

Честно сказать, мне жаль, что человек, занимавший положение, облакавшее его таким доверием и влиянием... считал необходимым так жестко писать о роли своей страны на мирных переговорах... не могу отделаться от опасения, что нашему внешнеполитическому курсу повредят такие комментарии со стороны бывшего государственного служащего.

27 декабря банкир Р. Брэнд написал, что глава 3 «навредит Америке и помешает полезности вашего участия в налаживании отношений в ближайшем будущем». Маккенна, который писал также 27 декабря, отклонил это суждение: «Вздор! Повсюду это пойдет только на пользу. Пока мы не вернемся к правде, для мира нет никакой надежды»²⁹.

Самые первые рецензии отнюдь не отличались единодушием. Либеральная и лейбористская печать книгу хвалила; но правая *'Санди кроникл'* (*'Sunday Chronicle'*) от 21 декабря называла Кейнса представителем «известной... дегуманизированной интеллектуальной позиции», сторонники которой не в силах согласиться, что Германия должна быть наказана. Обвинение Кейнса в прогерманских настроениях стало в этих кругах расхожим. Один читатель *'Сатердэй ревью'* (*'Saturday Review'*) выразил мнение, что его следует наградить Железным крестом.

Книга расходилась так, что мрачные прогнозы Макмиллана остались далеко позади. Кейнс должен был заказать внеурочное переиздание 3000 экземпляров после рокового случая в декабре, когда 2000 еще не переплетенных экземпляров были выброшены за борт в Северном море при спасении судна, перевозившего их из Эдинбурга в Лондон и попавшего в шторм. (Их потом вынесло на берег в Дании, и они были проданы как макулатура.) В конце года он заказал второе переиздание тиражом в 5000 экземпляров. К 21 января 1920 г. продажи в Англии достигли 7700 экземпляров, и Кейнс заказал третий тираж — 5000 экземпляров. Сам улаживая свои авторские права за границей, он организовал французское издание. Издательство *La Nouvelle Revue Francaise* выпустило книгу в июне. Он также согласился на дешевое издание Исследовательским отделом департамента труда — 10 тысяч экземпляров (по 2 шиллинга 6 пенсов за книгу). К 9 февраля из 16 тысяч экземпляров были проданы 12 300, и Кейнс заказал четвертое переиздание тиражом в 5000; пятое переиздание в

таким же объеме последовало месяцем позже. С изданием в США дело шло даже еще лучше. Первый тираж в 20 тысяч разошелся сразу. К 22 апреля 18500 экземпляров было продано в Англии и около 70 000 в Соединенных Штатах. Только в июне продажи начали падать; шестое переиздание тиражом в 3000 Кейнс заказал в августе. К этому времени мировые продажи превысили 100 тысяч экземпляров; книга была переведена на голландский, фламандский, датский, шведский, итальянский, испанский, румынский, русский, японский и китайский языки. Кейнс начал получать кучу денег. Его прибыль в Англии, при продажной цене экземпляра три шиллинга, составила 3000 фунтов стерлингов; от продаж в Америке поступило 6000 фунтов. Большая часть этих денег пошла на спекуляции; но его доход вырос с 1802 фунтов в 1918–19 налоговом году до 5156 в году 1919–20.

Главным пунктом критики в Британии было не то, что Кейнс приводил неверные цифры, а то, какие он выбирал приоритеты. «Пересмотр политических границ был совершенно обязательной предварительной мерой для начала строительства Новой Европы», — писал историк Р.У. Сетон-Уотсон³⁰. Уикхэм Стид, редактор *'Таймс'*, усматривал в книге неуместное противопоставление экономики политике. «Если есть урок, который преподнесла нам война, то состоит он в том, что расчеты экономистов, банкиров и руководителей государственных финансов, твердивших о невозможности войны на том основании, что она никому не даст прибыли, оказались опасной болтовней... Германия пошла на войну, потому что в 1870–71 гг. она заставила противника эту войну оплатить и полагала, что сможет опять сделать ее источником прибыли»³¹. Заметка в *Iron and Coal Trades Review* 9 января не без оснований указывала, что «та самая страна, которая извлекала главную прибыль из механизма», существовавшего до 1914 г., теперь взялась его уничтожить. Экономическое процветание не было, очевидно, никакой гарантией хорошего политического поведения.

Либералы, связанные скорее с политикой, чем с экономикой, были встревожены равнодушием Кейнса к политическим целям вообще и к Лиге Наций, в частности³². В конечном счете, писал рецензент в *'Таймс литературного приращения'* (*'Times Literary Supplement'*), критика книги сводится к тому, что Кейнса «интересует только одна сторона дела».³³ Некоторые критики высказывали также мнение, что Кейнс пренебрег тем фактом, что политика есть искусство возможного. Договор — это, дескать, лучшее, чего можно было добиться в данных обстоятельствах. Более энергично творцов Договора, особенно Вильсона, защищал идеосинкретичный американский экономист Торстейн Веблен. Вильсон, утверждал он, проявил «заметную мягкость» к Германии в интересах борьбы с большевизмом. Сейчас принято считать, что критика Кейнса в адрес Вильсона основывалась на ошибочной оценке приоритетов президента. Вильсон шел на уступки в тех пунктах, которые важными считал Кейнс, но не сам Вильсон. Теперь также признано, что Договор был вовсе не таким триумфом французской дипломатии, каким его изобразил Кейнс.

Попыток дать какой-то общий ответ критикам Кейнс не делал до конца 1921 г., когда *Макмиллан* издал его *'Пересмотр договора'*. К этому времени многие ведущие американские и французские участники Парижской конференции высказали свои мнения. Официальный ответ из окружения Вильсона появился в марте 1920 г. в виде написанного в значительной степени Джоном Фостером Даллесом трактата Бернарда Баруха *'Разработка репарационных и экономических разделов договора'*. В целом сторонники Вильсона не оспаривали экономическую логику и выводы Кейнса, хотя некоторые считали, что сам Договор содержит достаточные гарантии для возможного его пересмотра. Чем они были главным образом озабочены, так это спасением репутации Вильсона и своих собственных надежд на сохранение американского международного лидерства, как и защитой его от ущерба,

причиненного книгой Кейнса, которую Маккормик называл «порочной»³⁴. Защитники президента стояли на том, что при тогдашнем состоянии общественного мнения Вильсон заключил лучший мир, какой только был возможен. В частности, «подавлением и минимизацией элементов мщения Договор в большой мере обязан Вудро Вильсону»³⁵. Если Договор не лишен изъянов, то это изъяны демократии.

Доводы Баруха, как и развитие событий в 1920–21 гг., заставили Кейнса изменить взгляд на Ллойд Джорджа. В *‘Пересмотре договора’* из деятеля, просто жаждущего власти, он преобразен в Фауста. В защиту Ллойд Джорджа, писал Кейнс, можно сказать, что он добился «лучшего на тот момент урегулирования, какое допускали требования толпы и характеры главных действующих лиц», и что «он проявил свои умение и силу, в течение двух лет избегая опасностей урегулирования или уменьшая их». Такие доводы «отчасти отвечали бы истине, и от них нельзя отмахиваться». Кейнс признавал, что «предпочтение правде и искренности *как методу* может быть основанным на каких-то эстетических или личных установках, несовместимых в политике с практическим благом». Но в любом случае «частные лица не связаны тем же обязательством приносить верность истине в жертву общественному благу». Это было равносильно значительной перемене в прежней позиции Кейнса. Он здесь признает, что интеллектуалы и политики могут иметь различные обязательства; то, что долг интеллектуала говорить правду вопреки *необходимой* политической лжи, утешаясь тем, что, если он будет поступать именно так, политические деятели не станут так много лгать. В наши дни немногие интеллектуалы могли бы проводить различие между правдой и ложью в общественных делах столь уверенно, как для некоторых это было все еще возможно в поколении Кейнса.

В *‘Пересмотре договора’* есть глава о законности требования репараций. В своих *‘Экономических послед-*

ствиях' он вовсе не упоминает о роли Смэтса в «одурачивании» президента в связи с этой проблемой. Но Барух придал гласности критический меморандум Смэтса от 31 марта 1919 г. Эта публикация ставила в неловкое положение и Кейнса, и Смэтса. Кейнс энергично защищал Смэтса от обвинения, будто он предложил включить в счет репараций покрытие расходов на выплаты пенсий и пособий (хотя сам писал Смэтсу: «Не уверен, что Вам не достанется за представление того меморандума»)³⁶; тем не менее, говоря о записке Смэтса в своей второй книге, он был в высшей степени снисходительным к ее содержанию³⁷. Мнение Кейнса, что соглашение о перемирии с Германией было контрактом, а не актом о безоговорочной капитуляции, задним числом воспринимается весьма неплохо. Немецкие войска на Западе не были разбиты; их победы на Востоке оставались бесспорными; союзникам было бы очень трудно выдержать войну в течение еще одной зимы. Германия — и Кейнс — имели основание считать, что мир должен иметь характер переговоров.

Как и следовало ожидать, в Париже *‘Экономические последствия’* были приняты наименее восторженно. Французские критики, вроде Рафаэля Жоржа-Леви в его *La juste paix*, утверждали, что Германия готова была заплатить столько, сколько потребовали бы союзники. Кейнс, мол, не сумел оценить немецкую производственную мощь: «Cette omission vicie tout son travail». Современные исследователи, опираясь на архивы французского правительства, а также американских и европейских банков, к финансовым мотивам и логике Франции снисходительны больше, чем был Кейнс. Тогдашние французские репарационные требования считаются сейчас более умеренными и более оправданными, чем британские; в то же время важное признается связь не между репарациями и безопасностью, а между репарациями, межсоюзническими долгами и американским займом. Шукер утверждает, что при отсутствии американской государственной помощи

репарации были единственной надеждой Франции на доступ к необходимым ей для восстановления капиталу и энергоресурсам. Трахтенберг подчеркивает, что целью французов было заполучить германский уголь (в виде прямых поставок) и американский кредит (в виде «монетизации» твердо установленного долга Германии). Неспособность миротворцев договориться о сумме долга в свете этих целей, означала для французов поражение, а не победу. Извращенное решение проблемы репараций было плодом столкновения интересов великих держав. Предвыборные обещания Ллойд Джорджа и «одурачивание» Вильсона представляли собой, самое большее, побочные сюжеты основной истории.

Самому Кейнсу не пришлось отвечать на наиболее широко распространившуюся критику его книги. Она состояла в том, что, мол, дискредитируя Версаль, Кейнс прокладывал путь «умиротворению» диктаторов в 1930-х и тем самым содействовал подготовке Второй мировой войны. Ударной силой в этом критическом наступлении стала книга Манту *‘Карфагенский мир, или Экономические последствия мистера Кейнса’*, изданная в 1946 г., после смерти Кейнса. С Версальским договором Этьена Манту, убитого немцами в 1945 г., связывало кое-что личное. Его отец, Поль Манту, историк экономики, работал переводчиком на закрытых встречах Совета Четырех, и он не был согласен с тем, как эти встречи описывал не присутствовавший на них Кейнс. Этьен Манту утверждал, что под влиянием книги Кейнса Соединенные Штаты отказались от Версальского договора юридически, Англия отвергла его нравственно, и даже у Франции была подорвана воля добиваться его выполнения. Америка опять ушла в изоляционизм; Британия избрала политику «умиротворения»; моральный дух Франции был сломен. В результате Гитлеру развязали руки и позволили в 1930-е гг. Договор уничтожить. Манту выделил две грани пагубного влияния Кейнса: (1) комплекс вины, созданный его обвинением союзников в нарушении кон-

тракта и (2) безразличие к территориальным захватам Германии, опиравшееся в 1930-е гг. на его утверждение, что «границы и суверенитет» существенного значения не имеют.

Обвинения не столь грандиозные, какими кажутся на первый взгляд. Кейнс Версальского договора не уничтожал; Договор рассыпался сам. Слишком жесткий, чтобы служить примирению, он не был достаточно жестким для того, чтобы обеспечить согласие. Манту фактически признает, что для выполнения договора союзникам следовало постоянно сохранять за собой плацдарм на Рейне³⁸. Но едва ли за допущенный в этом отношении промах можно винить Кейнса. Не выдерживает критики и часто повторяемое Манту утверждение, что книга Кейнса способствовала отказу сената США ратифицировать Договор. Ясно, что виновником провала Договора в конгрессе был сам президент Вильсон, отказавшийся принять поправки, которые обеспечили бы его ратификацию. Более соответствует истине обвинение, что нарисованная Кейнсом картина «одурачивания» президента коварными европейцами подогрела изоляционистские чувства. Но общественное мнение в Америке едва ли готово было видеть США в роли мирового лидера; даже англофильские круги Восточного побережья не были готовы к тому, чтобы Америка официально обязалась содействовать восстановлению Европы.

Нет и сколько-нибудь более весомых оснований говорить, что Кейнс настроил против Договора общественное мнение Британии. Факты говорили сами за себя, а Кейнс лишь указал на них. Либеральные круги еще до появления книги Кейнса начали косо поглядывать на «Карфагенский мир»; в британской делегации никто, даже Ллойд Джордж, не сомневался, что экономические статьи надо будет пересмотреть. Доверие к Договору было разрушено не чем иным, как избранной Ллойд Джорджем тактикой включения в него заведомо невыполнимых статей. Постоянный пересмотр расписания германских

платежей в 1920-е гг. проложил путь к успешным нападениям Гитлера на территориальные статьи в 1930-е. Возобладовавший в 1930-е гг. настрой на умиротворение был порожден не столько неприятием карательных действий, сколько отвращением к войне, которое выражали поэты, романисты и драматурги.

Манту нападает на «экономизм» Кейнса. Он указывает, что германскую проблему решила не «экономика», а Вторая мировая война. Однако Вторая мировая война последовала за Великой депрессией, которая привела Гитлера к власти. В свою очередь, Великая депрессия была вызвана провалом экономического руководства в начале 1920-х. Если бы была осуществлена программа, предложенная Кейнсом в 1919 г., маловероятно, чтобы Гитлер мог стать германским канцлером. Нелепо ставить в вину Кейнсу то, что произошло, потому что не последовали его советам.

Все это, однако, не равнозначно отрицанию большого влияния, оказанного книгой *‘Экономические последствия мира’*. Из множества появившихся в 1920-е гг. книг о Версальском договоре эта — единственная, не исчезнувшая бесследно. Она захватила души. Очень авторитетно, ярко и гневно она сказала то, что бродило в «просвещенных» умах общества. Имела она и более глубокое влияние. Уикем Стид прав: это было восстание экономической теории против политики. Война велась во имя нации, государства, императора. Кейнс утверждал, что это ложные боги, и он хотел, чтобы поклонение им общество сменило на уважительное отношение к своим экономическим задачам. Это был обращенный к нации призыв избавиться от опьянения военными победами. Книга способствовала формированию взглядов нового поколения. В 1920-е гг. возникла новая порода экономиста-политика, который о золотом стандарте и торговом балансе говорил так же свободно, как довоенные политики о равновесии сил двух держав. Появились даже поэты-экономисты, такие как Эзра Паунд и

Т.С. Элиот. Представление, что создавать изобилие — главная задача правителей, родилось в 1919 г. и достигло совершеннолетия только после Второй мировой войны. Манту восхищался Кейнсом — автором *‘Общей теории’*, неотделимым от осуждаемого им Кейнса — автора *‘Экономических последствий’*.

В основной части своей книги Манту держался стандартного французского взгляда, что Германия могла заплатить гораздо больше, чем говорил Кейнс, и больше, чем действительно заплатила. Но он не подкрепил это утверждение солидными доводами (хотя такие доводы были ему доступны). Он настаивал, что Веймарская республика могла ограничить потребление немцев, чтобы выплатить репарации, как это сделал Гитлер, чтобы получить средства на перевооружение³⁹. Здесь упускается из виду не только то, что в этом случае от немцев требовались бы жертвы во имя гораздо менее привлекательной цели, но вдобавок еще и проблема «перемещения» полученной жертвы за границу. Он ссылаясь на то, что в ходе Второй мировой войны у Германии не возникало никаких затруднений в получении «репараций» от побежденных ею стран⁴⁰. Но Кейнс имел в виду условия мирного времени, исключавшие содержание постоянных армий на земле Германии. Наконец, он утверждал, что в Первую мировую войну Соединенные Штаты предоставили Англии и Франции большие суммы денег и, соответственно, увеличили свой экспорт⁴¹. Но при этом не учитывается, что предоставленные займы, согласно особой договоренности, всегда шли на покрытие возросшего спроса на вооружения; во всяком случае, не возникало никаких проблем с утратой рабочих мест, поскольку большая масса рабочей силы в Британии и во Франции была мобилизована в армию. Трудно не согласиться с заключением Хэррода, что Манту прибегает к «чрезвычайно слабым»⁴² аргументам.

Суждения Кейнса о «способности» Германии выплачивать репарации раскрывают его общее понимание

экономической жизни — ключевое для будущей кейнсианской революции, — а именно представление, что экономика — это «вязкая масса», а не «жидкость». Германская экономика не смогла бы *автоматически* приспособиться к требовавшемуся от нее переводу ресурсов за границу. Такого приспособления можно было добиться только политикой и лишь в определенных пределах.

Как выглядит позиция Кейнса в свете всех обрушившихся на нее атак? С него можно, конечно, снять нелепые обвинения, будто он содействовал возникновению Второй мировой войны. Его позиция в вопросе о репарациях остается несокрушимой — не потому, что все его аргументы хороши, а потому, что она основана на понимании, что политической воли, необходимой для получения больших выплат на протяжении тридцати или даже больше лет, не будет. Называя «нарушением контракта» включение в счет репараций выплаты пенсий и пособий разделенным семьям, он имел для этого большие, пусть и не бесспорные, основания. Что касается мотивов и характеров главных действующих лиц, то он был почти прав в отношении Клемансо, Вильсона изобразил скорее ошибочно, чем правильно, и не сумел дать взвешенную оценку Ллойд Джорджу. Он был прав, настаивая, что экономическое процветание есть необходимое условие прочного мира, и не прав, когда подразумевал при этом, будто и достаточное. После 1945 г. в основу реинтеграции Германии в европейское сообщество легло разрушение ее военного потенциала.

Для биографии Кейнса *‘Экономические последствия мира’* — ключевой документ. Книга утвердила право Кейнса на внимание. Ранее он был известен только узким группам лиц. В 1919 г. о его достоинствах узнал мир. Книга, задуманная в минуты страсти и отчаяния, определила жизненный путь своего автора. Он говорил голосом ангела, наделенного знаниями эксперта. Этому умелому соединению науки и слова суждено было стать основой всех его достижений. Но было тут и кое-что еще. Кейнс утверждал

не только свое право на внимание, но и право экономической науки на то, чтобы строить будущее. Князья старого мира оставили после себя ужасный беспорядок; именно перед учеными вставала задача произвести в доме уборку. Это был обращенный к восходящему поколению призыв огромной привлекательной силы. И тем самым сразу был поставлен вопрос, над которым Кейнсу предстояло биться на протяжении следующих шестнадцати лет его жизни: отвечает ли своей новой задаче унаследованная от девятнадцатого века экономическая теория? Или она тоже является частью уничтоженного войной старого мира? Со временем он даст ответ в *‘Общей теории занятости, процента и денег’*.

Часть четвертая

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ

Моисей: Правителю не надо быть правдивым, ему надо быть политичным; ему следует даже сторониться самой Добродетели, если она усядется подальше от Необходимости. Его Долг — пожертвовать Наилучшим, коль скоро оно невозможно, ради небольшого Блага, которое достижимо.

Мистер Лок: Если Людям сказать правду, разве они не могли бы поверить в нее? Если им никогда не предоставляется Возможность идти путем Добродетели и Мудрости, как мы можем быть уверены, что они не захотели бы следовать именно этим путем? Пусть Правители будут Смелыми и Честными, и тогда, возможно, исчезнет Безумие их Народов.

(Из 'Диалога', «написанного, по-видимому, Вольтером»
и «впервые» опубликованного Литтоном Стрэчи
в его *Books and Characters* (1922 г.)
с посвящением Джону Мейнарду Кейнсу).

XVII

Годы 1920-е

1. Кембридж

Война закрыла студенческую фазу жизни Кейнса. Он был теперь публичным человеком, и атмосфера публичности окружала его до конца дней. Он изменился физически. Когда кончилась война, ему было тридцать пять, и он все еще оставался худым и стройным. В 1920-е гг. он начал полнеть, все больше выглядел преуспевающим джентльменом, начал терять волосы и сутулиться. В 1908 г. он оставил Лондон, возвратился в Кембридж. В 1915 г. вернулся в Лондон, чтобы служить своей стране. Впоследствии Кейнс становится человеком Уайтхолла и Сити в такой же мере, как и Кембриджа. Женитьба и загородный дом следовали за этим почти как нечто само собой разумеющееся.

Если не считать нескольких ближайших друзей, именно студенты Кембриджа первыми слышали критические суждения Кейнса о Версале. Оставив Казначейство, он вернулся в Королевский колледж в октябре 1919 г. и приступил к чтению осеннего курса лекций *'Экономические аспекты мирного договора'*, следуя верстке своей готовившейся к изданию книги. Лекции произвели сильное впечатление на тех, кто их прослушал. Представление о том, что причина разрушения мира — скорее глупость, чем злой умысел, соответствовало доктрине, обладавшей очевидной привлекательностью для умных¹. Такой же

привлекательностью обладала и сама кейнсианская революция. Как и его нового американского друга, журналиста Уолтера Липпмана, с которым он познакомился в Париже, Кейнсом двигала не столько «страстная жажда справедливости и равенства», сколько «недовольство тем, как плохо обществом управляют»². Это было новое либеральное настроение. В двадцатом столетии притязания на право управлять следовало обосновывать компетентностью, а не идеалами. Идеалы стоили слишком дорого.

Но речения Кейнса привели к парадоксальному результату. *‘Экономические последствия мира’* сделали его героем левых, к которым, как отметил Кингсли Мартин, «он не принадлежал никогда». С тех пор интеллигенция левого фланга всегда одним ухом прислушивалась к тому, что говорил Кейнс. Среди претендентов на власть Лейбористская партия стала после войны главным соперником консерваторов. Способность Кейнса говорить с позиций центра с обеими сторонами политического размежевания сыграла критически важную роль в зарождении и развитии кейнсианской революции.

С возвращением Кейнса в Королевский колледж утвердилась модель, которой он следовал в течение следующих восемнадцати лет жизни. Как правило, во время учебных триместров он находился в Кембридже с вечера четверга до обеда во вторник. Середину недели проводил в Лондоне. Каникулы делились между Лондоном, путешествиями за границей и Суссексом. Кейнс не очень любил Кембридж в свободное от занятий время. В те времена не было никаких творческих отпусков, и между 1919 и 1937 г. он лишь однажды попросил освободить его от преподавательских обязанностей на целый триместр. Свои писания, как и прочие дела, он должен был приспособливать к структуре академического года.

Что он делал на длинных уикендах? Ложившиеся на него обязанности преподавателя сильно уменьшились по сравнению с довоенным временем, поскольку его материальное положение больше не зависело от «почасовой про-

даже экономических знаний». Он ограничивался восемью лекциями в год вместо ста, которые читал в 1910–11 гг. Лекции читались в осенний или летний триместры, утром в пятницу или в понедельник. Это были, как правило, черновые наброски книг, которые он писал. После 1922 г. он десять лет читал лекции по «Теории денег», переключившись потом (в 1932 г.) на «Монетарную теорию производства». Два его первых лекционных курса в 1919 и 1920 г. собирали аудитории сотен слушателей. Многие из них вообще не занимались изучением экономической теории. Они приходили просто послушать, что скажет Кейнс о том, как привести мир в порядок.

Кейнс отвечал за преподавание экономической теории в Королевском колледже. Он давал наставнические консультации, как правило, группам из трех-четырёх человек во второй половине дня, перед ужином, по пятницам или субботам. Сначала в Королевском колледже было мало студентов, занимавшихся экономической теорией, — не более чем полдюжины в год. Первокурсников Кейнс себе не брал; бульшую часть своей преподавательской работы он перепоручал Джеральду Шоуву, которому сначала не давали должности ни один колледж, ни один университет.

Руководимый Кейнсом с 1909 г. *Клуб политический экономии* — или *Клуб Кейнса*, как его называли, — продолжал часто собираться по вечерам в понедельник в его гостиной с окнами на Вебб-корт — в «самой приятной гостиной, в какой мне случалось бывать», как записала Вирджиния Вулф, побывав там в 1923 г. Ванесса Белл и Дункан Грант закрыли довоенную стенопись Гранта с ее полуобнаженными балеринами и сборщицами винограда, заменив их группами фигур, аллегорически представлявших восемь муз. Членами *Клуба Кейнса* становились по приглашению. В него входили самые близкие Кейнсу коллеги-преподаватели, аспиранты и лучшие студенты второго и третьего курсов. Старшими членами *Клуба* были в 1923 г. профессор Пигу и Джеральд Шоув (из Королевского кол-

леджа — Пигу, правда, приходил редко), Деннис Робертсон и Фрэнк Рамсей (Тринити-колледж), Остин Робинсон (Корпус-Кристи-колледж), Фредерик Лэвингтон (Эмманьюэл-колледж), Филип Саргант Флоренс (Киз-колледж) и Морис Добб (Клэр-колледж). Среди изучавших экономическую теорию в первые послевоенные годы самой яркой студенткой была Джоан Морис (впоследствии Робинсон), поступившая в 1922 г. в Гертон-колледж; в чисто мужской по составу *Клуб Кейнса* она не допускалась.

В течение большинства межвоенных лет Кейнс председательствовал в университетском Совете преподавателей экономики и политики. *‘Экономические последствия мира’* создали ему репутацию самого радикального среди молодых экономистов. Но частично из-за того, как устраивалась его жизнь — особенно из-за постоянного участия в общественных спорах, — он не внес никакого весомого теоретического вклада в свою науку, пока в 1930 г. не появился его *‘Трактат о деньгах’*. В 1920-х гг. полемика, которую он вел, была направлена против ошибок высших чиновников, отнюдь не против теоретических построений коллег. Только в 1925 г., в связи с возвращением Британии к золотому стандарту, Кейнс начал думать, что ошибочная политика — это результат ошибочной теории. С этого времени его критический анализ политики приобретает все более и более теоретический уклон. Но до начала 1930-х его политические предложения шли впереди его теоретических воззрений, остававшихся относительно консервативными.

Наиболее давним из установившихся обычаев университетской жизни Кейнса были субботние послеобеденные встречи *Апостолов*. *Общество* оказалось в числе жертв войны. Прекратившее свое существование между 1914 и 1918 г., оно было восстановлено Ф.Л. («Питером») Лукасом, последним из «рожденных» до войны. Лукас возвратился в Кембридж в 1919 г., пройдя сквозь ужасы войны, на которой он был ранен и пострадал от отравляющего газа (Кейнс в конечном счете добыл ему работу в

службе разведки). Королевский колледж в 1920 г. взял его преподавателем классических дисциплин еще до того, как он закончил Тринити-колледж, но вскоре он стал членом ученого сообщества со специализацией в английском языке, превратившись в этакий пережиток георгианской эпохи, в ненавистника послевоенного мира. В стараниях восстановить *Апостолов* Лукас имел поддержку не только Кейнса, но и старейшего из его близких коллег Джона Шеппарда, который к тому времени несколько напоминал ссохшегося херувима. Двое из Королевского колледжа, Александр Пенроуз и «Скейнз» Спайсер были «рождены» в ноябре 1919 г. Двумя «родившимися» в 1920–21 гг. были Джек (известный как Себастьян) Спротт из Клэр-колледжа и младший брат Пенроуза Лайонел из Сент-Джона, впоследствии выдающийся генетик. Фрэнк Рамсей, Джордж («Дэди») Райлэндс и Ричард Брэйтвэйт присоединились в следующем году. Эти «молодые люди» вошли в ближний послевоенный круг Мейнарда Кейнса. Новое поколение *Апостолов* меньше, чем довоенное, было причастно к гомосексуализму и обнаруживало тенденцию к ранним женитьбам. Лукас задал тон, женившись в 1921 г. на романистке «Топси» Джонс.

Для Кейнса Кембридж означал также семью — то есть означал многое. Его родители оставались стойкими обитателями дома 6 на Харви-роуд, и по воскресеньям во время учебных триместров Кейнс чаще всего ходил туда из колледжа обедать или поболтать за чаем о делах большого мира. Когда закончилась война, Невиллу Кейнсу было шестьдесят шесть, но до 1925 г. он оставался секретарем-регистратором (управляющим делами) университета. Уменьшились его обязанности, уменьшились и переживания, и он вступил в спокойную старость, обзаведясь новым хобби — стал собирать и слушать граммофонные пластинки. Флоренс, на восемь лет моложе его, не имела ни малейшего намерения уходить на покой. Если жизнь Невилла тихо угасала, то она поднималась к пику своей деятельности. Оба родителя получали огромное удовольствие от рас-

тущей известности сына, удовольствие, не омраченное ревностью или критикой, хотя и не свободное от волнений. Оба по-прежнему добивались от него признания своего морального авторитета — Флоренс, в частности, то и дело напоминала, что он принадлежит к роду проповедников и благотворителей.

Сам бездетный, Мейнард был включен в состав обширных семейств Браунов и Кейнсов. Хотя он единственный был отмечен печатью гения, общий уровень достижений его родственников был примечательно высок — сказывались наследственность и традиции семьи. Младший брат Джеффри и его жена Маргарет дали Мейнарду четырех племянников: Ричарда (1919 г.р.), Квентина (1921), Мило (1924) и Стивена (1927). Сестра Мейнарда Маргарет и ее муж А.В. Хилл имели четырех детей: Полли (1914), Дэвида (1915), Дженет (1918) и Мориса (1919). Бабушка и дедушка Мейнарда, доктор Джон Браун, «баптистский епископ», и его жена Ада Хейдон Браун, когда кончилась война, еще жили в Хампстед. Он умер в 1922 г., она в 1929, оба в возрасте девяноста двух лет. Если Кейнса груз этих родственных связей как-либо угнетал, то он этого не показывал. Он всегда был щедр и на советы, и на практическую помощь, особенно младшему поколению.

Королевский колледж оставался его духовным домом — с течением времени все больше. Кейнс редко говорил об этом вслух, но считал себя частью *светского духовенства*, задающего ценностные и поведенческие нормы и предлагающего обществу руководство, приспособленное к новой действительности. Он принимал всестороннее участие в общей жизни колледжа. Он, конечно же, был членом Совета колледжа, собиравшегося еженедельно по субботам (иногда также по понедельникам) на заседания, которые часто длились по четыре-пять часов с перерывом на обед. Но его влияние ощущалось в основном в трех комиссиях, занимавшихся соответственно: земельной собственностью, зданиями и положением преподавателей. В первой он был полным хозяином, даже еще до того, как стал

в 1924 г. главным казначеем. В начале 1920-х он взялся проводить революционную политику перемещения капиталовложений колледжа из земли в ценные бумаги и вычислил, что к 1925 г. эта политика сделала колледж на 235 тысяч фунтов стерлингов богаче³. В комиссии по зданиям он также играл главенствующую роль, составляя и контролируя грандиозную программу перестройки, которая в 1930-е гг. споткнулась на пути к своему осуществлению. Перестройка зданий привлекала тем, чем подобные проекты привлекают всех великих строителей: желанием оставить свой след на земле. В комиссии голосующих на выборах в ученое сообщество он не имел такого же решающего влияния, но редко случалось, чтобы кандидат, поддерживаемый Кейнсом, не попадал в разряд ученых Королевского колледжа. Здесь, как и в других областях жизни колледжа, влияние Кейнса во многом определялось его дружбой с Шеппардом, который в 1929 г. стал заместителем ректора. Кейнс никогда не был «университетским политиком», но между 1920 и 1927 г. он входил в Совет Сената, который проводил глубокую централизацию преподавания и исследований.

Во всем этом не было ничего особенно необычного для жизни загруженного профессора. Однако Кембридж был только одним из миров Кейнса — и на протяжении большей части 1920-х гг. отнюдь не главным его миром.

2. Блумсберийцы

По окончании войны вернувшиеся в Лондон блумсберийцы сосредоточились вокруг Гордон-сквер в таких количествах, что Литтон Стрэчи опасался, как бы площадь не стала «своего рода... местом встреч в саду, о чем мне страшно и подумать»⁴. Его мать, все еще полная энергии леди Стрэчи, и ее дочери поселились в доме 51, где Литтон также имел свое пристанище. Его брат Джеймс и Аликс Саргант Флоренс, на которой он женился в 1920 г., жили в

доме 41, когда не отбывали в Вену пациентами Фрейда. Части этого дома сдавались в поднаем ряду молодых блумсберийцев. Брат Вирджинии Вулф Адриан Стивен и его жена Кэрин, практикующие психоаналитики, обосновались в доме 50. Вирджиния Вулф, которая все еще жила далеко, в Ричмонде, считала, что Гордон-сквер похож на «львятник в зоопарке. Все мечутся в своих клетках. Все звери опасны, довольно подозрительны друг к другу и полны обаяния и тайны»⁵. Блумсберийские звери распространились, захватив и внешние клетки — на Тависток-сквер и на Брунсвик-сквер, на Грейт-Ормонд-стрит, Бернард-стрит и Фицрой-стрит. Уолтер Зикерт, все еще живший в старой студии Уислера на Фицрой-стрит, сохранял живую атмосферу 1890-х. Леди Оттолайн Моррел, морщинистая и напудренная, возвратилась в Бедфорд-сквер, и Гарсингтон наконец освободился от шумных гостей военного времени. Один из последних ушел, прихватив с собой 113 любимых несущек Филипа Моррела. «Непросто такое сделать», — заметила Кейнсу Вайолет Бонэм Картер.

Строй прерванной войной коммунальной жизни в Лондоне постепенно распадался по мере того, как блумсберийцы становились старше и обзаводились собственными домами и хозяйствами, за городом или даже за границей. Они, конечно, посещали свои лондонские базы, сохраняли с ними связи, усердно переписывались. Но довоенный характер крепко спаянной группы пропал, как позднее признала это и Ванесса Белл. Две сорвавшие попытки как-то закрепить и оформить свой статус свидетельствуют, что самоочевидного смысла существования этого сообщества уже не было. 5 февраля 1920 г. Кейнс дал завтрак в кафе *Ройял*, на который были приглашены «самые старые друзья» Дункана Гранта, чтобы отметить открытие его первой персональной выставки в *Галерее Патерсона и Карфэкса*. Какая жалость, говорил Литтон Стрэчи, что нельзя проводить подобные встречи каждую неделю. Месяц спустя и, возможно, как прямой результат этого воссоединения, родился *Клуб воспоминаний* под руководством Молли Мак-

карти. Образованный, как говорилось, чтобы помочь ее мужу Десмонду писать его долгожданный литературный шедевр, клуб в межвоенные годы регулярно проводил встречи; в основном слушал старых блумсберийцев, говоривших о самих себе. В 1921 г. Кейнс читал там *‘Доктора Мельхиора’*, в 1938 — *‘Начала моей веры’*. В 1924 г. Дэвид Гарнетт и Фрэнсис Биррел основали клуб *Череп*, члены которого ужинали в ресторане *Верди* на Уордур-стрит в первый четверг каждого месяца. Состав *Черепа* — это нечто вроде моментальной фотографии мира Блумсбери в 1920-е гг. Шестнадцать человек были членами группы Блумсбери или близкими к ней людьми до мировой войны; одиннадцать появились во время войны или после нее — в основном родственники, друзья и любовники старшего поколения. Занятно, что Кейнса не приглашали в клуб до 1929 г. Кто-то набрасывал ему черные шары.

Положение Кейнса в этом кругу друзей оставалось после войны таким же сложным, каким оно было прежде. Они любили его за блестящий и беспокойный ум; их занимал его блуждающий взгляд; но они непрестанно нападали на него за увлечение мирскими делами, за стремление главенствовать, манипулировать людьми, за острый язык, капризность — за те непривлекательнее черты характера, которые, на их взгляд, не искупались тонким эстетическим вкусом. Именно за свой характер он более всех, исключая разве что Клайва Белла, подвергался критике и осуждению со стороны блумсберийцев. Кейнс, напротив, был трогательно предан своим друзьям. Они были не просто друзьями, но и его идеалом. Говорят, Литтона Стрэчи во время войны спросили, почему он воюет за цивилизацию. «Мадам, — был его ответ, — я и есть цивилизация, за которую они воюют». Шутка Литтона была символом веры Мейнарда; его жизнь была отдана борьбе за цивилизацию, которую представляли его друзья в Блумсбери, по крайней мере частично. Критика его характера друзьями часто была нещадной; но и судили его по особым меркам. Идеал Блумсбери был подобен идеалу за-

чарованного подростка, и поэтому любые компромиссы, неизбежно возникающие, когда человек взрослеет, выглядели предательством. Но Мейнард лучше их понимал, что заколдованный сад станет пустыней, если окажется беззащитным перед внешним миром. По мере того как он набирался зрелости и блумсберийцы вступали в средний возраст, они оценивали его все выше и выше и в конце концов стали, по определению Клайва Белла, его «старыми друзьями». Но по пути было много горячих споров.

Главными среди его друзей были члены чарлстонского «семейства». В 1916 г. Ванесса Белл сняла в Суссексе сельский дом, чтобы обеспечить жилье Дункану Гранту и Кролику Гарнетту. В 1921 г. Гарнетт женился. Дункан же решил создать общий дом с Ванессой. Он все еще влюблялся в молодых людей и довольно часто испытывал потребность отдохнуть от домашнего уклада жизни. Но он понимал, что только Ванесса способна обеспечивать условия, необходимые ему для занятий живописью, о чем он заботился больше всего на свете. В 1918 г. на Рождество у них появилась дочь Анжелика, и Мейнард согласился быть крестным отцом. «Бог мой, какой же виноватой я буду себя чувствовать, если окажется, что это не мальчик», — шутила Ванесса. Когда родилась Анжелика, Кейнс послал в подарок 200 фунтов (4000 по нынешним ценам). Его любимцем среди детей Блумсбери был Квентин, младший из двух сыновей Ванессы от Клайва Белла. Вскоре после войны он как-то взял Джулиана и Квентина в балет и отметил что, если Джулиану (десяти лет) больше всего нравились акробатические трюки, то восьмилетний Квентин был, судя по всему, «очарован самым балетом».⁶ Что крепко привязывало Мейнарда к Чарлстону, так это его никогда не угасавшая любовь к Дункану. Он поддерживал Дункана на протяжении всех межвоенных лет и в наборе 1937 г. сделал на его имя вклад, приносивший существенный доход. Кейнс был богатым, щедрым, светским, немного злым дядей чарлстонского семейства. Вот почему его женитьба на какой-то совершенно посторонней им женщине оказалась для них ударом.

8 ноября 1919 г. Литтон Стрэчи говорил своему брату Джеймсу:

«Я не люблю [Поццо]». Но он, по-видимому, был покорен *‘Экономическими последствиями мира’* и расточал книге щедрые похвалы.

Успех собственной книги Литтона *‘Выдающиеся викторианцы’* (1918 г.), смягчил его, и он стал заметно менее критично относиться к Мейнардлу в последнее десятилетие своей жизни, хотя и не переставал дивиться некоторым свойствам его личности. Побывав в мае 1920 г. в Королевском колледже, он нашел тамошнюю атмосферу «симпатичной», несмотря на присутствие прежде служившего в Казначействе лорда Чалмерса, который произносил длинные напыщенные речи. «Как Поццо может всерьез воспринимать столь очевидные нелепости, это вообще выше моего понимания», — говорил Стрэчи Доре Каррингтон⁷. По поводу другого своего визита в 1921 г. он сообщал брату о «показательном для Поццо случае по дороге через поле» после чая с Себастьяном Спроттом. «Он вдруг объявил, что ему надо отлить [помочиться], проделал это и потом продолжал идти, избрав самый дикий способ передвижения — раскорякой, хотя вокруг было полно людей... «О, все в порядке, все в порядке, никто ничего не заметит, если продолжаешь идти». Он являл собой чудовищный образ садовника с негодной лейкой»⁸.

Вирджиния Вулф была непримирима. В дневниковой записи от 13 февраля 1920 г. она ставила в заслугу Кембриджу то, что успех не изменил Кейнса и скорее прибавил ему скромности, чем вскружил голову. Но не смогла удержаться от пренебрежительного отзыва о его *‘Экономических последствиях мира’* — «книге, которая оказывает влияние на мир, ни в коей мере не будучи произведением искусства»⁹. После посещения Чарлстона 22 сентября 1920 г. у нее осталось «живое впечатление об облике Мейнарда при свете лампы — словно жеваная печать, двойной подбородок, выпирающие красные губы, маленькие глаза, — чувственный, грубый, лишенный воображения. Одно

из тех видений, которые возникают при случайно возникшем настроении и тут же готовы исчезнуть. Я предполагаю тем не менее, что это иллюстрирует какие-то мои к нему чувства. Ну, и к тому же он не читал ни одной моей книги»¹⁰. Что особенно угнетало Вирджинию в 1920 г., так это то, что и Литтон, и Мейнард были знамениты, а она нет. Вдобавок Мейнард не мог вызвать у нее теплых чувств своим советом ограничиться созданием произведений нехудожественных жанров¹¹. Лишь в 1921 г., когда вышла в свет ее *‘Комната Джекоба’*, критики поняли, что распустился цветок большого дарования, и Вирджиния Вулф обрела больше уверенности в себе.

Положение группы Блумсбери в период между войнами парадоксально. Казалось, она была центром огромного культурного воздействия; в то же время двигавшие миром пружины все меньше занимали ее внимание. В некотором смысле торжествовала именно она. В 1920-х гг. все ее писатели, художники и публицисты поднялись к вершинам успеха и влияния. Они стали арбитрами вкуса, каналами, по которым писатели, подобные Достоевскому, Прусту и Чехову, художники, такие как Сезанн, Матисс и Пикассо, и мыслители типа Фрейда доставлялись в британское сознание. Помимо переводов издательство *Hogart Press*, основанное Леонардом и Вирджинией Вулфами, специализировалось на публикации произведений экспериментальной литературы и экспериментальной мысли. Вместе с Ситуэллами Блумсбери энергично пропагандировал балет; изделия мастерских *Omega* повлияли на дизайны мебели. Повсеместно вроде бы утверждались и моральные установки Блумсбери.

Но Ванесса Белл была права, когда говорила, что Блумсбери умер в 1914 г., и не только как тесно сомкнутая группа людей. Уходя корнями в эдвардианское время, Блумсбери был одинаково далек и от послевоенного авангардизма, и от нового викторианства. Дело в том, что многие послевоенные эксперименты в жизни, литературе и искусстве питались не надеждой, а отчаянием, отчаянием,

которое было также сердцевиной возрождения пуританских настроений в общественной жизни. Все это были сложные реакции на войну, а старый Блумсбери не имел с войной никакой мыслимой связи. Его рационализм восставал против героических форм жизни; его индивидуализм дрожал при мысли о коллективном возрождении. Даже его обращение к Фрейд — там было четыре практикующих психоаналитика — казалось поверхностной уступкой существованию глупости, скорее чем неким соглашением, примиряющим с трагическими событиями: «Когда умирает разум, рождаются чудовища». Члены группы Блумсбери были оставшимися в живых вольтерьянцами, теперь уже бунтовавшими по привычке, но озабоченными сохранением своих дивидендов и красивых георгианских домов.

Ирония Литтона Стрэчи ухватила настроение времени; но подлинная ирония состояла в том, что это была именно его цивилизация, а не цивилизация знаменитых викторианцев, с которыми он взялся расправиться, — и отчасти он это признал, когда написал *‘Королеву Викторию’* (1921 г.). Собственными голосами 1920-х были голоса Ивлиана Во и Т.С. Элиота. Поэзия Элиота преподносила мир сохранившихся осколков. В живописи иконоборчество постимпрессионизма уступило место ужасам сюрреализма, напоминавшего о Босхе, Брейгеле и Гойе. Блумсбери вырос в солнечном свете либерализма сторонников Асквита, в естественной для него среде обитания. Его ведущая идея — если можно так об этом сказать — заключалась в том, чтобы пропитать правящий класс признанием ценностей цивилизации, подобно тому как фабианцы пытались привить ему любовь к ценностям коллективизма. Из своих безупречно ухоженных лондонских скверов блумсберийцы выглядывали с иронией и отрешенностью, обозначая свою слабую реакцию на явившуюся вдруг революционную ситуацию. Болдуин и Макдональд, Георг V и королева Мэри не были дядюшками и тетюшками из эдвардианцев; они были викторианскими дедами и бабками.

К их числу принадлежал и сэр Уильям Джой, строгий министр внутренних дел Болдуина, который возглавил гонения на *‘Любовника леди Чаттерлей’* Д.Г. Лоуренса, за непристойность, и на *‘Колодец одиночества’* Радклифа Холла. Профсоюзные лидеры были еще одним скопищем викторианских динозавров, поднятых войной на уровень знаменитостей. Что общего было у Блумсбери с этим миром или с появившимся затем поистине намного более безумным миром 1930-х? И действительно, что было делать Вольтеру, когда пал старый режим?

Кейнс, человек Блумсбери, был также человеком Уайтхолла. Его замыслом было поставить новый механизм прогресса на службу эдвардианскому либерализму. Как он незабываемыми словами выразил это в конце жизни, важно было сохранить в живых «возможность цивилизации».

3. Официальные круги

Кейнс и «официальное мнение» в межвоенные годы — вопрос очень сложный. В отношении Кейнса существовала «проблема Блумсбери». Рассел Леффингвелл, официальный представитель министерства финансов США на Парижской мирной конференции, писал в 1931 г.:

Кейнс все время предстает извращенцем, шалопаем. Он нападает на все здоровое, установленное либо общепринятое, отчасти просто забавы ради, отчасти же с целью разжечь дебаты. При этом он совершенно безответственен. Ему нет дела, сколько вреда он приносит... Он — только яркий мальчик, который потрясает восхищающихся им взрослых, ставя под сомнение существование Бога и десяти заповедей.¹²

Однако Леффингвелл никогда не допускал ошибочной мысли, будто Кейнс не пользуется влиянием. В письме Уолтеру Липпману, датированном 30 декабря 1931 г.,

он говорит о «Кейнсе и всей его школе, то есть обо всех государственных служащих Казначейства, которые в большей или меньшей степени следуют за ним... Стракоше, Блэкетте, Солтере, Готри и т.д.» в понимании его «теории инфляции»¹³. Мы должны спросить себя, каким образом могло складываться такое представление, если Кейнс в том же году сам называл свои писания «карканьем Касандры, которое никогда не могло влиять на развитие событий во времени»¹⁴.

Ответить непросто. В межвоенное время влияние Кейнса размягчалось и исчезало; его взгляды и личность вызывали множество неоднозначных реакций. Менялись также его теории и политические установки, и те, кто в 1920-е гг. разделял его взгляды насчет «управляемых денег», в 1930-х ни в коем случае не поддерживали идею «несбалансированных бюджетов». Важно помнить, однако, что никогда он не был единственным актером на сцене. Сцены, на которых выступал Кейнс, всегда были полны *Людьми Высших Рангов*, представлявшими связанные между собой миры банковского дела, политики, администрации, экономики, журналистики — не только в Англии, но и в Америке и в Европе. Большинство их, несомненно, было очаровано теми самыми его качествами, которые вызывали у них недоверие. Здравомыслящие люди, подобные американскому банкиру Бернарду Баруху, полагали, что его мастерское владение словом шло ему же во вред. Но со сцены его никогда не сталкивали, и его голос всегда придавал особый аромат разговору.

После появления '*Экономических последствий мира*' Кейнс, конечно, не был отлучен от роли политического советника. Через пару месяцев после ее публикации в декабре 1919 г. Остин Чемберлен, первый послевоенный канцлер Казначейства, консультировался с ним относительно валютной политики, как если бы он никогда из Казначейства и не уходил. Его друг и поклонник Бэзил Блэкетт занял в Казначействе новый ключевой пост уп-

равляющего финансами. Как увидим, по вопросу о репарациях с ним консультировались и британское, и германское правительства — случай беспримерный. Если кто и оспаривал мнение Кейнса по этому вопросу, то не «официальные круги», а профессура; в июле 1920 г. ежегодное общее собрание Британской Академии отклонило его избрание членом Экономической секции. Это невероятное решение было принято по воле «археологов и литераторов», которым не понравилась книга Кейнса. Припомнив заодно, что в предыдущем году исключили как пацифиста Пигу, Кейнс так рассердился, что попросил своего спонсора, профессора Б.Р. Скотта из университета Глазго, больше не выдвигать его кандидатуру. Впоследствии, в 1927 г., когда Пигу был все-таки избран, он смягчился и сам прошел в Академию в 1929¹⁵.

Утрата Кейнсом влияния в Казначействе происходила постепенно и может быть объяснена двумя причинами. В 1922 г. власть в его старом отделе перешла от Бэзила Блэккетта к Отто Нимейеру, который стал управляющим финансами, когда Блэккетт принял должность в совете вице-короля в Дели. В Казначействе Нимейер стал новой пуританской метлой. Во время его восхождения влияние Кейнса упало до низшей отметки и пошло опять вверх после того, как в 1928 г. Нимейер ушел в Английский банк.

Более существенно, как указал Генри Роузвир, было то, что во время войны и в связи с последующим участием Казначейства в Парижской мирной конференции, в работе над проблемой репараций и в усилиях, направленных на послевоенное восстановление Европы, его финансовые подразделения, в том числе отдел «А», насквозь пропитались «космополитическим духом»¹⁶.

Служащие Казначейства, такие как Брэдбери, Макфедайн и Лис-Росс, в первые мирные годы работали в комиссии по репарациям в Париже, а Ральф Готри, с 1919 г. директор финансовых расследований, стал основным автором принятой в 1922 г. в Генуе резолюции, призвавшей к

всеобщему возвращению к золотому стандарту. Всех этих международников объединяло мнение, что преодоление последствий войны требует восстановления довоенной структуры мировой экономики, тогда как Кейнс все более склонялся к мысли, что каждой стране следует прежде всего привести в порядок собственную экономику, притом с наименьшими социальными издержками. В своих взглядах он все тверже становился на «островные» позиции, тогда как Казначейство, прежде бывшее носителем «островной» идеологии, неуклонно шло к тому, чтобы смотреть на мир глазами «международными»: возникал конфликт, драматизированный Кейнсом в *‘Трактате о денежной реформе’* (1923 г.). Проявившееся в 1922 г. несогласие Кейнса с Английским банком, в частности с его управляющим Монтегю Норманом, связано с той же проблемой. Норман стоял за урегулирование долговых обязательств Соединенным Штатам, Кейнс выступал против этого. При всех его особенностях — Юнг (!) говорил о расстройстве его психики — Норман Монтегю был банкиром с воображением, пытавшимся заменить прежний «автоматически» действующий золотой стандарт совместным руководством управляющих центральных банков. Кейнс не был противником этой идеи; но он полагал (справедливо), что сначала страны должны решить свои собственные проблемы. Международные финансы расцветут, мол, как только будет наведен порядок внутри государств; организация международных финансов не может быть средством, навязывающим то или иное решение внутренних проблем.

Конечно, Казначейство и Английский банк были непосредственно вовлечены в финансовую дипломатию 1920-х гг., а Кейнс не был. В этом смысле его книга воздвигала барьер между ним и официальными кругами. Еще важнее, что она превращала его в *persona non grata* для Франции, премьер-министра и политику которой он так нещадно потрепал, и для большей части либералов в Соединенных Штатах: Бернард Барух, например, так и не смог простить ему насмешек над Вудро Вильсоном¹⁷. То, что Кейнс изряд-

но поспособствовал развитию американского изоляционизма и французской непримиримости, известно широко. Но что не поучило четкой оценки, так это степень, в какой в 1920-е гг. Кейнсом владели антиамериканские настроения — отчасти из-за разочарования в качестве американского государственного руководства, а отчасти из-за раздражения, которое вызывала у него денежная мощь Америки. На протяжении 1920-х гг. он ни разу не посетил Соединенные Штаты, несмотря на неоднократные приглашения: поразительный пример изоляционизма наизнанку.

Издавая *‘Экономические последствия мира’*, Кейнс вступал в азартную игру, с расчетом, что, может быть, эта попытка убедить публику в несправедливости Договора принесет больший успех, чем предпринимавшиеся на месте старания его улучшить. В любом случае он избрал линию рассуждений, которая сделала его присутствие на совещаниях «экспертов» излишним: он твердил и твердил, что ничего хорошего не выйдет из усилий, прилагаемых к восстановлению, пока не будут пересмотрены экономические статьи Версальского договора и списаны военные долги союзников. Поскольку это не встраивалось в практическую политику, ему не оставалось ничего иного, кроме как действовать «сильным и безжалостным словом правды».

К 1929 г. Кейнс почувствовал, что «снова входит в моду»¹⁸. К этому времени в обществе появились влиятельные круги, готовые согласиться с ним, что возвращение к золотому стандарту в 1925 г. было ошибкой. Однако 1930-е гг. сильно отличались от 1920-х; в целом на протяжении второго мирного десятилетия Кейнс был отгорожен от коридоров власти в большей степени, чем в первом. Главная причиной этого было крушение Либеральной партии и того интеллектуального ядра в обществе, которое готово было считать себя либеральным и с помощью которого он пытался оказывать влияние в 1920-е гг.

Он мог сделать политическую карьеру в Либеральной партии, имея он такое желание. У него были превосходные отношения с Асквитом и Маккенной, лидерами

«старого» либерализма, и он по-прежнему проводил уик-энды в Уорфе. Немногие верили, что Либеральная партия подошла к концу своего существования. В 1920 г. из Пэйсли, где ее муж вел (успешно) кампанию в преддверии дополнительных парламентских выборов, Марго Асквит послала Кейнсу характерную записку, предупреждавшую его, что «переход ярких людей к лейбористам... подобен их переходу к Уродству в Искусстве, Диссонансу в Музыке и Бесполом существам в Женщинах. Но в шике не бывает ничего вечного».

Кейнс не имел ни малейшего намерения примыкать к лейбористам, но и не собирался спасать тонущий корабль Асквитов. В 1920 г. он отклонил три предложения побороться за место в парламенте, в том числе и от Кембриджа, что казалось ему наиболее соблазнительным; и в течение всех межвоенных лет он продолжил сопротивляться подобным предложениям. Его личная причастность к формированию политики Либеральной партии появилась только в 1926 г., когда Ллойд Джордж сменил Асквита на посту лидера. Он надеялся на серьезное возрождение позиций партии и образование правительства, в котором она разделила бы власть с лейбористами. И он вложил много интеллектуальной энергии в обеспечение такой правительственной коалиции программой действия.

До 1931 г. Кейнс был частью сети тесно связанных между собой либеральных мандаринов, которые «постоянно встречались друг с другом в Уайтхолле, в фойе Вестминстера, в клубах, на Флит-стрит, в Сити и в старинных университетах»¹⁹. Более того, созданное этой группой мощное течение приверженцев *Среднего Пути*, послужило основой умеренного курса в эру Болдуина, хотя ее влияние едва ли признавалось. Кейнс излагал свои собственные особые теории денег в колонках на страницах *'Нации'* (*'Nation'*) и на собраниях клуба *Вторник*. Основанный Освальдом Фолком в 1917 г. этот клуб числил своими основными членами самого Фолка и четырех кембриджских экономистов — Кейнса, Лэйтона, Гендерсона и Робертсо-

на. Сити был представлен в клубе Чарльзом Эддисом, Бобом Брэндом, Реджинальдом Маккенной и Генри Стракошем, Казначейство — Бэзилем Блэкеттом и Отто Нимейером, государственные службы — Джоном Андерсоном и Джошуа Стэмпом, финансовая пресса — А.У. Кидди и Хартли Уизерсом. Кейнс выступал в клубе пятнадцать раз и председательствовал на многих его заседаниях; в числе слушавших его гостей был Норман Монтегю. По воспоминаниям Фолка, Кейнс был господствующей силой и неудобным коллегой. Немногие могли следовать течению его мыслей, которые так быстро менялась. Все же он отставивал их неистово и безжалостно, пользуясь острейшими словами (и оскорбительными выражениями) так легко, что даже интеллектуальные тяжеловесы могли почувствовать себя дураками, если вступали с ним в спор. В то же время он, подобно большинству других, был интеллектуалом-управленцем. У него был ум государственного служащего; в этом кругу он выделялся скоростью, плодотворностью и энергией в применении отвлеченных идей к решению насущных практических задач.

Кейнсианскую революцию изображают не иначе, как революцию исключительно в экономической теории. Легко упустить из вида, что это была часть продолжавшейся революции в государственном управлении. В результате все нараставшего притока ученых в правительственные службы началось слияние политической и интеллектуальной власти. Практика все большего привлечения правительством экспертов была задумана как барьер против демократии; она также отражала возросшую сложность управления урбанизированным, индустриальным обществом. Но это было и ответом на потребность ярких людей с университетскими дипломами в новых карьерных возможностях взамен церковных и имперских должностей, утративших былую привлекательность. Набор на ответственные должности проводился после 1870 г. по итогам экзаменов и конкурсов, и это был ключевой сдвиг в профессионализации государственной службы. Но именно Пер-

вая мировая война открыла правительственные службы для людей с университетским образованием. Им выпало знакомиться с заботами Уайтхолла, управляя товарными потоками или составляя схемы нормирования. Некоторые из них остались при этих службах, другие никогда не переставали видеть себя продолжением руки государства. Первая мировая война привела к отмеченному изменению интеллектуального климата. На правительство чаще стали смотреть как на орудие для решения экономических проблем и меньше стали полагаться в этом отношении на рынок или частную инициативу; более того, презрение к уровню способностей бизнесмена стало расхожим местом в идеологии нового, светского духовенства. С этой точки зрения кейнсианская революция в экономической теории — ключевое событие в процессе постепенного наделения университетов управленческими функциями, как и включения проблем государственного управления в круг университетских интересов.

Таким образом, не только деятельность Кейнса, но и межвоенная история государственного управления и политики зовут к более внимательному учету всех тонкостей складывавшейся в обществе обстановки. Никакой «бесплодной пустыни» не было. До 1931 г. политика согласия и экономическая доктрина *Среднего Пути* шли рука об руку — во многом так же, как потом, в 1950-е и 1960-е гг. Споры по поводу доктрин и политики (часто ожесточенные) опровергают представления, будто политический курс редко прокладывался на компромиссной основе. После 1931 г. положение изменилось. Влияние консерватизма деловых людей, как и потом, в 1980-х, росло, пока этот консерватизм не был дискредитирован политикой умиротворения. Все же действительность большей части межвоенного времени — это не глубокое укоренение ортодоксии правого крыла, а *Средний Путь* в политике, ищущий себе экономическую доктрину, которая соответствовала бы его тяге к социальному спокойствию. Ее-то, эту доктрину, и дал со временем Кейнс.

4. Как деньги делаются

В отличие от большинства своих блумсберийских друзей, Кейнс не имел никакого унаследованного капитала, так что ему позарез необходимо было делать деньги, чтобы поддерживать усвоенный им стиль жизни на широкую ногу. Еще перед войной он начал пополнять свой академический заработок доходами с вложений капитала. В 1915 г. его годовой доход до вычета налогов достигал только 1000 фунтов (что равно сегодняшним 40 тысячам), из которых 30 процентов представляли собой доход от инвестиций. С 1919–20 по 1928–29 гг. его средний годовой доход был 5068 фунтов (по нынешним ценам — 130 тысяч). Из них «академический доход» составлял 2372 фунтов, или чуть меньше половины. При этом в «академический доход» входили «поступления от лекций, жалование члена ученого сообщества, плата за прием экзаменов, выплаты члену Королевского экономического общества, гонорары за книги и статьи, оклад казначея кембриджского Королевского колледжа»²⁰. Доходы Кейнса от преподавательской и исследовательской деятельности в 1920-х не превышали 700 фунтов или составляли приблизительно 14 процентов всех доходов. Значит, гонорары за книги и статьи достигали в этот период приблизительно трети всего дохода. Это показывает, какое значение писательская деятельность Кейнса имела для материального поддержания избранного им образа жизни. Доходы из этого источника достигли своего пика в 1920–23 гг., когда за их счет поступило почти 80 процентов всех полученных им денег. Но даже в конце 1920-х около 20 процентов общего дохода Кейнса все еще составляли его гонорары. Доля прибылей от инвестиций, платы за административную деятельность и консультации в общем доходе поднялась с 21 процента между 1919–20 и 1922–23 гг. до более чем 70 процентов между 1923–24 и 1928–29 гг.

Основным деловым партнером Кейнса был Освальд Тойнби («Фокси») Фолк. Кейнс привел *Фокси* в Казна-

чейство в 1917 г., а *Фокси* после войны привел Кейнса в Сити. Их дружба часто была подобна взрывчатому веществу, поскольку оба отличались блестящим умом, оба были сильными личностями и беззаветно верили в собственные идеи. Это продолжалось до последних дней Кейнса, хотя в 1930-е между ними пробежал холодок после ряда столкновений на правлениях компаний, совместно ими управляемых.

Фолк, партнер в брокерской фирме *Бакмастер и Мур*, был очень высокий человек, с красивой головой, орлиными чертами лица и широкими плечами игрока в гольф, в котором ему было мало равных. Он любил картины и обожал балет — у него был роман с Павловой. Недостатками этого человека, необыкновенно одаренного интеллектом, были высокомерие и порывистость: его успехи были намного заметнее в создании состояний (для себя так же, как для своих клиентов), чем в их сохранении. Его ненависть к социализму, оказавшаяся непоколебимой, родилась во время Первой мировой войны, когда правительство приобрело у него отправленные для сохранности в Америку картины Пикассо и заплатило, как он считал, совершенно не соответствовавшую их стоимости сумму в долларах. Но он так же, как и Кейнс не выносил глупости высоких учреждений: со своим другом Монтегю Норманом он перестал разговаривать после возвращения к золотому стандарту.

Именно Фолк и Джеффри Маркс устроили Кейнсу в 1919 г. назначение в правление *Национальной компании взаимного страхования жизни*; в 1921 г. он стал его председателем с окладом 1000 фунтов стерлингов в год. Как всегда, он сразу понял, каким образом следует управлять этим предприятием. Компания, объявил он при своем назначении, «должна делать только одну инвестицию, и ее следует изменять каждый день». Поддержанный Фолком и поощряемый Марксом, он запустил в действие то, что называлось «активной инвестиционной политикой», которая сочетала вложения в недвижимость — в то время

считавшиеся революционным шагом — с постоянным чередованием вложений то в краткосрочные, то в долгосрочные ценные бумаги, исходя из предвидимых изменений процентных ставок. Он и Фолк стали финансовыми консультантами председателя универсального магазина *Дебенхэмса*, каждый с годовым окладом в 500 фунтов. Последовали и другие директорские посты, так что середина недели, проводимая Кейнсом в Лондоне, в значительной мере уходила на его бизнес в Сити.

Играть на валютных курсах Кейнс начал в 1919 г. в перерывах работы над *‘Экономическими последствиями мира’* и нашел, что это и развлекает, и мобилизует. «Я абсолютно уверен, что правильная линия — играть на повышение доллара и понижение марки», — писал он Фолку 1 сентября. «Спекуляция, — писал Николас Дэвенпорт, — помогла ему улучшить свою экономическую теорию, а экономическая теория улучшить его спекулятивные расчеты»²¹. В 1930-е гг., как увидим, его инвестиционная философия менялась, следуя за изменениями его экономической теории.

Другим важным способом деланья денег была для Кейнса журналистика. Ему всегда хотелось так или иначе говорить с публикой, и он оказался красноречивым популяризатором отвлеченных идей. Но между 1920 и 1923 гг. он был наемным автором в гораздо большей степени, чем когда-либо потом. Отчасти это было потому, что требовались деньги. В 1920 г. он написал только четыре газетных статьи. В 1921 их было четырнадцать, в 1922 двадцать пять и пятьдесят одна в 1923, его журналистском году-пик, который совпал с превращением его в собственника *‘Нэйшн энд Атенеум’* (*‘Nation and Athenaeum’*). Если принять в расчет перепечатки в рамках всемирного синдицирования авторских прав, а также публикации на основе особых соглашений, то речь идет о прибавках к доходу порядка 1,5 тысячи фунтов в 1921 г. и 4 тысяч фунтов в 1922. То, что Кейнс до 1930 г. не выдал ни одной крупной теоретической работы, было прямым следствием сделанного

им выбора занятий, поглотивших после войны несколько лет его творческого времени.

Кейнс всегда настаивал, что в цивилизованной жизни богатство следует не накапливать, а расходовать. Делая на практике то, что проповедовал, он выделил часть своих первых прибылей от валютных спекуляций на покупку картин. Хотя произведения искусства, рассчитанные только на зрительное восприятие, трогали его мало, все же он старался строить жизнь, следуя эстетическим стандартам, а обладание картинами было частью цивилизованного существования. В своих покупках он неизменно следовал советам Дункана Гранта и Ванессы Белл, но выбор времени для покупок зависел от состояния его счета в фирме *Бакмастер и Мур*. Несколько лучших картин своей коллекции он купил в период с осени 1919 по весну 1920 г., когда его валютные операции шли с большим успехом. В ноябре 1919 г. у книжного клуба *Челси*, лондонских агентов парижских галерей *Вильдрак*, он за 320 фунтов купил *‘Прогулки’* Жоржа Сёра — один из двадцати восьми этюдов маслом для его шедевра *‘Воскресная прогулка на острове Гран Жатт’*. Полотна Пикассо, Синьяка, Матисса и Дерэна были добавлены в следующие несколько месяцев. Эта стадия пополнения коллекции закончилась приобретением в Париже в мае 1924 г. *‘Головы мальчика’* Ренуара за 300 фунтов. За исключением Сезанна, купленного в 1924 г. по его собственному выбору («худшая картина из всех когда-либо написанных Сезанном», — не без ехидства замечали его друзья), Кейнс не покупал больше полотен значительных французских живописцев до 1935 г., когда он снова получил большую прибыль на фондовом рынке, хотя в перерыве приобрел немало английских картин, в основном работы своих друзей, которых он поддерживал и другими способами²².

В 1920 г. наметились основные области будущих интересов и деятельности Кейнса. Тогда еще никто не предсказал бы, что свой главный вклад он внесет в экономическую теорию. В войну он показал себя скорее государст-

венным служащим очень необычного типа, наделенным исключительной способностью применять экономическую теорию к решению острейших финансовых проблем правительства. Потом появились '*Экономические последствия мира*', которые выявили его беспримерную способность убеждать. В этой книге он выдвигал революционное требование, согласно которому достигнутым миром должна управлять экономическая наука, но не ставил вопрос о том, что установление мира требует революции в экономической теории. Хотя у него не было еще четкого представления о том, какой оборот примет работа всей его жизни, инстинкт подсказывал ему, что она будет посвящена разбору проблем, созданных пережитой войной и сменившим ее миром.

XVIII

Переход к миру

1. Неоконченная гражданская война в Европе

Жизнь Кейнса и его поколения была отравлена тщетными стараниями преодолеть последствия Первой мировой войны. Неудачи, которые сопровождали все попытки справиться с этими последствиями, означали, что не будет устойчивого экономического и политического движения вперед. Восстановленная хрупкая международная система развалилась в кризисе 1929 г. и затем сгорела в мировой войне, начавшейся в 1939 г. Тоталитаризм мертвой хваткой сжал большую часть населения мира. Кейнс дожил до развала нацистской империи в Восточной Европе, но понадобилось почти полвека, чтобы покончить с этим конечным итогом Первой мировой войны.

Гигантскую роль в этом погружении в трясину сыграла неспособность американских и европейских государственных деятелей разрешить тесно взаимосвязанные проблемы военных долгов и германских репараций. Оставаясь нерешенными, эти проблемы отравляли всю международную жизнь первых пяти послевоенных лет. Они поглощали основную энергию мировых лидеров; они создавали обстановку непрерывного кризиса, который душил любые попытки нормализовать экономические отношения. Они разобили Соединенные Штаты и Европу, разрушили англо-французское *сердечное согласие* и почти уничтожили неоперившуюся Веймарскую республику.

Когда в середине 1920-х тучи удалось частично разогнать, устранять нанесенный ущерб было уже слишком поздно. Среда, позволявшая лелеять надежды, была безнадежно испорчена.

Личная жизнь Кейнса протекала на фоне надвигавшейся катастрофы. Но летом 1920 г. наступило затишье, позволившее вернуться к тем самым затягивающимся домашним вечеринкам, на которые блумсберийцы и их друзья из года в год собирались как на праздники ума, искусства и сексуальных интриг, вдали от политики — этой не допускавшейся в их рай змеи. В Чарлстоне Мейнард работал над версткой своей книги о вероятности, Дункан Грант и Ванесса Белл писали картины в новой передвижной студии за стеной, ограждавшей сад, Литтон Стрэчи читал им свою *'Королеву Викторию'*, а Мэри Хатчинсон просто не давала работать Клайву Беллу. Кролик Гарнетт «приезжал на моторе» в сопровождении Питера Лукаса, «как всегда совершенно очаровательного» и успокоительного действовавшего на маньяка от математики Гарри Нортон. Вирджиния Вулф, отрываясь от *'Комнаты Джекоба'*, заглядывала из соседнего Родмелла на завтрак или на ужин, чтобы поспорить и посплетничать. Мейнард настаивал, чтобы часы были настроены на «Чарлстонское время» — с упреждением летнего времени на один час, — что рождало неудобства раннего вставания к утреннему чаю, бунты на кухне и мрачное брюзжание Клайва Белла. «Какие-то все они безумцы, — писал Литтон Доре Каррингтон. — В результате очень похоже на что-то чеховское. Но, к счастью, атмосфера пронизана весельем... Все смеются, визжат и ни на что не обращают внимания»¹.

Мейнард надеялся заполучить кембриджского студента Себастьяна Спротта гостем на остававшуюся часть отпуска. «Мы — то есть Клайв Белл, Дункан Грант, Нортон, Лукас и я — в отчаянии, что ты не можешь приехать», — написал он ему 3 октября. Взамен Мейнард отправился 6 октября в Лондон и возвратился с Габриэлем Эткином, молодым художником и умеренно талантливым музыкан-

том, который время от времени был ему другом-любовником, как и Зигфрид Сассун. На сей раз, однако, Эткин был решительно непригоден для дела из-за нарыва на щеке, который держал его в постели, где, как Дункан ехидно заметил Ванессе, он вынужден был «проводить время в одиночестве»².

Свободный от любовных уз после прекращения романа с Дунканом Грантом в 1911 г., Мейнард больше не жаждал великой страсти — так, по крайней мере, он говорил своим друзьям. «Мелководье имеет свои прелести. По пояс, но не с головой — это для моего возраста», — двусмысленно сообщал он Литтону³. Себастьян Спротт идеально отвечал такому запросу, и с октября 1920 г. в Блумсбери считали Кейнса «женатым» на Спротте. Спротт, порождение деспотичной матери и суровой школы-интерната, пришел в Кембридж в 1919 г. читать курс гуманитарных наук. Он стал интимным другом таких звезд, как Кейнс, Стрэчи и Морган Форстер, но сам звездой не был никогда. Как человек нечестливого, представительный, умный, умеющий посочувствовать, он был идеальным гостем или компаньоном на отдыхе.

Спротт представлял собой тип эстетствующего буржуазного гомосексуалиста, увлекавшегося главным образом юношами из рабочего класса. Со временем он низвел свое высокопарное блумсберийское имя «Себастьян» до более пролетарского «Джек». Кейнс никогда не разделял его пристрастия к образу жизни социальных низов. Он отказывался идеализировать рабочий класс, будь то британский или немецкий. Он поклонялся художникам, а не крепким ребятам. Во всяком случае собственная сексуальная ориентация Кейнса находилась в переходном состоянии. По крайней мере, он допускал возможность любовной интриги с существом противоположного пола. Его заигрывания с Барбарой Хайлс, по-видимому, продолжались и после того, как она стала Барбарой Багенал: сохранилось странное письмо Дункана Гранта Ванессе Белл, написанное в 1920 г. и даже не упоминающее о существо-

вании г-на Багенала, но содержащее вопрос: «Была бы Барбара хорошей матерью для детей Мейнарда?»⁴ Труднее поддаются описанию отношения Мейнарда с его новой секретаршей Наоми Бентвич.

Наоми Бентвич сама предложила в августе 1920 г. поработать секретарем Кейнса по совместительству. Она тогда жила на едва хватавшую ей зарплату, которую получала в кембриджском агентстве мисс Пат, оказывавшем секретарские услуги. Именно там, выполняя служебное задание, она перепечатывала главы *‘Экономических последствий мира’* Кейнса и с волнением и нарастающим энтузиазмом продумывала план своего устройства к нему на работу. 23 августа Кейнс послал ей письмо с предложением работы в режиме не полностью занятого дня и с окладом 300 фунтов стерлингов; в ее обязанности входило бы печатать его статьи и составить указатель публикаций в *‘Экономическом журнале’* за десять лет. «Такого ли рода работу вы имели в виду?», — спрашивал он. Да, ее это устраивало, и в октябре 1920 г. по его возвращении в Кембридж она впервые писала на машинке под его диктовку. Его секретарем она оставалась семь месяцев. В течение этого времени (и следовавших затем нескольких лет) к нему и в связи с ним она испытала самые бурные чувства, которые описала в своем дневнике. Позднее эти записи вместе с письмами, которыми они обменивались с Кейнсом, легли в основу ее неопубликованной автобиографии *‘Люцифер при свете звезд: человеческий документ’*.

Наоми Бентвич была темноволосая, привлекательная, интеллектуальная, идеалистически настроенная молодая женщина двадцати девяти лет, рожденная в видной англо-еврейской семье; она окончила курсы секретарей, изучала гуманитарные науки в Ньюнем-колледже вплоть до 1917 г. Она была активисткой общества противников воинской повинности и посещала Гарсингтон вместе с Бертраном Расселом. Ее наставником был У.Э. Джонсон. Пристыдив Джонсона за то, что он не написал ни одной книги, которая имела бы большое значение для сохране-

ния достижений его логической мысли, она предложила бесплатно стенографировать его высказывания. Видимо, то был стимул, которого ему не доставало, и с 1915 по 1920 г. она потратила много своего свободного времени, записывая диктовки Джонсона, перепечатывая текст, дополняя его собственными комментариями и критическими замечаниями и придавая всему этому форму, позволившую в конце концов появиться трехтомнику его *‘Логик’*. Всеобщее признано, что без помощи Наоми Джонсон никогда не смог бы создать эти книги⁵.

Но это было не все. Пятидесятисемилетний вдовец Джонсон в 1915 г. в нее влюбился. Наоми Бентвич, которая считала, что сексуальные эмоции вносят в жизнь «беспокойство», сопротивлялась его ухаживаниям и говорила, что ее любовь к нему всегда должна оставаться «любовью дочери к дороговому ей отцу», но в порядке утешения установила ему приз — «два поцелуя в день». Джонсон сдался. «Вы слишком превосходите меня, — писал он, — чтобы я мог испытывать к вам иное чувство, кроме восхищенной любви издалека». Этот ответ сделал Наоми Бентвич «вполне счастливой». Но скоро появились признаки, что чувства Джонсона были не столь «отдаленными», как он пытался ее уверить. Наоми сказала, что ради его работы они вместе должны бороться «с животной страстью». В конечном счете в 1920 г. они решили пожениться. Но это намерение пришлось оставить ввиду свирепого сопротивления сестры и домоправительницы Джонсона Фанни, которая сказала, что сойдет с ума, как наотрез отказал в согласии и отец Наоми, для которого невыносима была мысль, что дочь выйдет замуж за иноверца. Таким образом, оттолкнувшись от охваченного страстью Джонсона, она впервые соприкоснулась с тонкой, почти неощутимой сексуальностью Кейнса.

Я не была готова [писала она в своих воспоминаниях] оказаться в той огромной комнате над Куинз-лэйн, ведущий в Королевский колледж, с потрясающими картинами на стенах, расписанных Дунканом Грантом... где нагая негритян-

ка... рядом с кардиналом в алой мантии... провозглашали свободный индивидуализм, к ожиданию которого располагал меня литературный стиль Кейнса... Тем не менее я лучше чувствовала себя в небольшой внутренней комнате с темно-красными занавесями, в его кабинете, где я почти все время была с ним наедине. Я обычно сидела там в большом кресле перед камином, а он за столом у окна ко мне спиной. Не помню, обменялись ли мы рукопожатием при этой первой встрече; конечно, не было никакого чая; говорил он резко.

Мисс Бентвич приходила к Кейнсу два или три раза в неделю, иногда по вечерам. Кейнс диктовал ей свои письма и отпускал. Их отношения были вполне формальными, но ей вспоминается случай в ноябре 1920 г., когда «он сидел позади меня за своим письменным столом и через плечо смотрел на меня. Мне показалось, что я погружаюсь в глубины симпатии, и по любящему взгляду его глаз, по его улыбке... я знала, что он понимает меня, как не понимал никто другой».

2. Невыносимые факты

Первая мировая война сопровождалась взрывом инфляции. Зарплата росла быстрее, чем цены в последние два года войны, но нормирование не давало людям возможности тратить свои растущие доходы на потребительские товары. С устранением ограничений общество пустилось в разгул, и с апреля 1919 по апрель 1920 г. цены поднялись на 50 процентов. Зарплата в ее денежном выражении теперь отставала от цен, создавая то, что Кейнс позднее назвал «инфляцией прибылей».

Стоило послевоенному буму начаться, как все начало дорожать, цены рвались выше и выше, подстегиваемые спекулятивной игрой с товарами, акциями, собственностью, при том что процентные ставки удерживались на низком уровне. Кто не стал бы брать кредиты под 4 процента годовых и при ценах, поднимающихся на 4 процента *в месяц*?

Старые компании покупались и продавались, а новые возникали чуть не каждый день. «По существу, — писал Кейнс в 1929 г., — все страны ушли от золотого стандарта, и деньги были единственным товаром, для быстрого производства которого не существовало никаких серьезных препятствий»⁶. Сама Англия формально отказалась от золотого стандарта в марте 1919 г., опасаясь социальных волнений, если демобилизация сразу породит очереди за пособиями. Всеобщую забастовку на Клайде в апреле 1919 г. кабинет истолковал как революционное восстание. Так что банковская и политическая логика объединились в стремлении сохранить поразительную дешевизну денег много времени спустя после того, как появились признаки, что бум выходит из-под контроля. Как и в войну, правительство использовало инфляцию для решения своих проблем, потому что оно не могло придумать ничего иного.

Как говорит об этом Сьюзен Хоусон, появление политики «дорогих денег» зимой 1919–20 гг. — это на самом деле история того, как Английский банк, поддерживаемый и подстрекаемый сэром Джоном Брэдбери из Казначейства, вернул себе управление финансами, захваченное во время войны политическими деятелями. Выдвинутый чиновниками сильнейший аргумент состоял в том, что надо быстро ликвидировать и даже повернуть вспять инфляцию, если имеется в виду когда-нибудь вернуть стерлинг к золотому стандарту в его довоенном паритете с долларом. Эта цель, провозглашенная в докладе Канлифа в августе 1918 г., была принята всеми политическими партиями. Достижение цели требовало сбалансированных бюджетов, активной политики процентных ставок для прекращения кредитной экспансии и законодательного ограничения выпуска банкнотов⁷. Ллойд Джордж, Бонар Ло и Остин Чемберлен соглашались с целью, но не с методами ее достижения. Все же, поскольку с целью они были согласны, им не доставало доводов, чтобы возражать против предлагаемых способов ее достижения, особенно как только инфляция вышла из-под контроля. Не было

бы впоследствии такой глубокой депрессии, если бы они решительно взялись за обуздание бума.

Сам Кейнс никогда не рассматривал возвращение к довоенному золотому стандарту как некую высшую и главную цель экономической политики. Но ему была ненавистна инфляция, в которой он видел разрушительницу капитализма. Таким образом, он оказался на стороне Казначейства и Банка в их расхождении с политиками. Остину Чемберлену, спрашивавшему у него, какой должна быть денежная политика, он говорил в феврале 1920 г., что банковские ставки следует поднять до 10 процентов и держать их на этом уровне, пока не будет сбит бум. Чемберлен рассказывал, что Кейнс не разделял мнения, будто политика «дорогих денег» приведет к безработице⁸. 15 апреля банковская ставка была повышена до 7 процентов, и ее держали на этом уровне в течение года. В том же месяце правительство ввело новые налоги.

Одновременный налоговый и монетарный нажим скоро положил буму конец; никто, и менее всех Кейнс, не ожидал, насколько жестоким будет последовавший затем крах. Первыми упали потребительские расходы, потом расходы на инвестиции. Цены начали кувыркаться в октябре; безработица резко возросла. В следующие двенадцать месяцев производство сократилось на 15 процентов; безработица увеличилась до 22 процентов. В тот же период — как беспримерное и последнее проявление гибкости цен и заработной платы — оптовые цены упали почти вдвое, денежная заработная плата снизилась на треть. Сэр Джошуа Стэмп позднее проницательно заметил, что первопричиной краха стал «отказ достойно выступить навстречу ожидавшейся инфляции... Это сродни положению, передаваемому тем чувством, которое охватывает вас, когда вы в темноте ставите ногу на последнюю верхнюю ступеньку лестницы, а ее там не оказывается»⁹.

Кейнс также поддался мании играть на деньги, и, подобно прочим, полагал, что играет наверняка. Осенью 1919 г. он вместе с *Фокси* Фолком затеял спекуляции с ва-

лютой. Он полагал, что, поскольку в Британии цены росли быстрее, чем в Америке, фунт стерлингов должен падать относительно доллара; с другой стороны, при темпах роста инфляции во Франции, Германии и Италии, более высоких, чем в Англии, следовало ожидать, что относительно этих валют фунт стерлингов поднимется. Какое-то время это предположение подтверждалось. С марта 1919 г., когда обменное соотношение стерлинг-доллар было нарушено, по февраль 1920 г., фунт упал с 4,7 до 3,4 доллара, и к концу 1919 г. прибыли Кейнса от валютных спекуляций превысили 6 тысяч фунтов стерлингов. Вдохновленный этими результатами, он решил образовать с Фолком синдикат, начавший свои операции в январе 1920 г. с оплаченным капиталом в 30 тысяч фунтов, наполовину в распоряжении Фолка, а наполовину — Кейнса, который вложил 8 тысяч из собственных денег (главным образом предоставленных отцом и шурином Хиллом), 4,5 тысячи, данные Дунканом Грантом и Ванессой Белл, и 2,5 тысячи, полученные от брата. Кейнс единолично управлял своей половиной частью предприятия. Спящие партнеры вручили свои деньги бодрствующему Кейнсу с неколебимой верой в его способность приумножить их богатства, — верой, которую, похоже, разделял и сам Кейнс. Как он объяснил отцу 11 декабря 1919 г., «дело, конечно, рискованное. Но мы с Фолком, видя, что от этого зависят наши репутации, намереваемся принять множество мер предосторожности». С учетом характера Невилла Кейнса, всегда преследуемого опасениями и страхами, его решение финансировать азартную игру своего сына, вложить в его дело порядка 5 тысяч фунтов, было почти героическим.

Сначала все шло хорошо. Группа Кейнса покупала рупии и продавала франки и лиры, и к неделе, закончившейся 27 февраля 1920 г., полученная ею прибыль составила 8643 фунтов, а по балансовым книгам — 18 525 фунтов при общей сумме вложенных средств 200 тысяч фунтов стерлингов. «Моя благодарность тебе, подобно моему капиталу, растет в геометрической прогрессии», — напи-

сал Джеффри Кейнс брату. В начале марта синдикат принял роковое решение о долгосрочном вложении в доллары, купив их на 150 тысяч фунтов при курсе 3,68 доллара за фунт. Но фунт стерлингов отказался падать. «Доллары, конечно, ведут себя загадочно», — написал Фолк Кейнсу 30 марта, когда фунт поднялся в цене до 3,89 доллара. Ясно, что они с Кейнсом делали ставку на то, что изменение банковской ставки будет отложено до мая¹⁰. В действительности же ее подняли 15 апреля, что уже ожидалось.

В этот раз потери на долларах были более чем восполнены прибылью, полученной на франках, и в середине марта Кейнс умыкнул Ванессу Белл и Дункана Гранта в шестинедельное пасхальное путешествие по Италии, начинавшееся в Риме в *Отель де Рюсси*. Тяжелое положение промышленности и мрачная политическая обстановка удручали путешественников меньше, чем ошеломляющее падение курса лиры: 25 лир за фунт в 1914 г., 35 в марте 1919 г., потом, 3 апреля 1920 г., — 81 и почти 100 — 16 апреля. Кейнс заявил своим компаньонам, что расходы важнее удовольствия, это — обязанность. Они продолжали закупочный разгул, набрали более чем на 300 фунтов предметов мебели и тканей; покупки самого Кейнса включали семнадцать пар перчаток — на подарки. «Выиграю или потеряю, эта азартная игра с высокими ставками меня развлекает», — написал он отцу из Рима. Можно себе представить реакцию Невилла Кейнса.

В конце апреля праздники завершились несколькими днями, проведенными в *И Тамми*, где Кейнс останавливался до войны. Бернард Беренсон созвал флорентийское общество на встречу с всемирно известным экономистом. Кульминационным моментом пребывания на вилле стал большой званый обед, данный в честь Кейнса американским коллекционером Чарльзом Лоузером; во время обеда Дункан Грант был принят за Кейнса и подвергнут подробным расспросам о проблеме репараций, в то время как Кейнс, изображая из себя «*il pittore* Гранта», высказывал экспертное мнение относительно принадлежавшего

хозяину Сезанна. Никто, похоже, не повеселел, когда обман раскрылся. В *И Тамми* Кейнс больше никогда не заглядывал.

Через несколько недель после возвращения в Англию Кейнс был разорен. Франки, лиры и марки — все сразу начали расти относительно фунта стерлингов. Продолжалось это недолго, но все-таки достаточно долго, чтобы опустошить его. 27 мая он был вынужден ликвидировать свои позиции. Он потерял капитал всей группы и задолжал своему брокеру почти 5 тысяч фунтов. Его долги — с учетом и «моральных долгов» родственникам и друзьям — приблизились к 20 тысячам фунтов.

Кейнс каким-то образом свел все оставшиеся активы к 21,5 тысячи фунтов, так что мог настаивать на своей сохранившейся кредитоспособности. К счастью, большинство долгов было перед родственниками и друзьями. Отец немедленно списал со счетов 2 тысячи собственных вложений и добавил, что все его ресурсы могут быть в распоряжении сына («Все, что сможем сделать, мы сделаем», — телеграфировал он 27 мая). Флоренс переносила встряску в жизни Мейнарда стоически. «Возможно, необходимо было что-то выбросить за борт, чтобы ублажить богов, — и если они останутся довольны, мы не будем проявлять недовольства ими», — написала она 3 июня в поздравительном письме по случаю его дня рождения. От Блумсбери Кейнс не услышал ни слова упрека. Как бы критически ни воспринимали друзья его эстетические и политические суждения, веры в его финансовый гений они не теряли никогда. Ни один из них, казалось, ни секунды не сомневался, что получит деньги назад.

И они не ошибались. Свой долг Фолку в размере 5 тысяч фунтов Кейнс незамедлительно погасил за счет займа, предоставленного финансистом и филантропом сэром Эрнестом Касселом, попечителем Пэпуортской общины туберкулезников, созданию которой в 1919 г. содействовала Флоренс Кейнс. Имея на счете 1,5 тысячи, поступивших от его издателя Дэниела Макмиллана, и 500 фунтов,

полученных от Бэзила Блэкетта¹¹, Кейнс почти немедленно возобновил игру, убежденный, как он сказал Касселу 26 мая, что правильно будет «заключать форвардные сделки на продажу марок, франков и лир» с расчетом, что им под силу будет выдерживать рэкёт в течение пары месяцев¹². Он образовал новый синдикат со своим прежним учеником Сиднеем Расселом Куком, биржевым маклером из фирмы *Капел, Кьюа энд Тэрри*. На сей раз он оказался прав «В последнее время мои финансы изрядно пошли в гору», — доложил он отцу 13 сентября. К концу 1920 г. он вернул долг Касселу и Блэкетту, оставшись с небольшой прибылью. В 1921 г. он образовал еще один синдикат с Реджинальдом Маккенной. С «моральными долгами» Дункану и прочим он расправился в 1922 г., к концу которого у него осталось «что-то между 25 и 30 тысячами фунтов» своих денег¹³.

Выигрыши и потери Кейнса были краткосрочными. Многие экономисты в то время полагали, что экономика реагирует на удары подобно испугавшемуся индивидууму: за быстрыми потерями следует быстрое их восполнение с переключением хозяйствующих субъектов на новый бизнес, так же как Кейнс переключался с валюты на валюту, с одного биржевого товара — на другой. Великий урок первой послевоенной депрессии состоял в том, что по сравнению с индивидуумами экономика реагирует на потрясения гораздо более вяло. Едва после июля 1920 г. цены начали падать, как ожидание, что это падение продолжится, побудило людей действовать таким образом, что обеспечило дальнейшее снижение цен. Дилеры сбрасывали акции и запасы; распродавались имущество и фирмы, поскольку банки требовали расплаты по закладным; производители прекратили наем рабочей силы; рабочие сопротивлялись попыткам предпринимателей урезать их заработную плату, так что реальная заработная плата росла по мере сокращения прибылей, что становилось дополнительной причиной банкротств, и так далее. Совокупное действие всех этих факторов гасило, а не подстегивало экономическую актив-

ность. Очевидно, экономика вела себя иначе, чем система центрального отопления, оборудованная термостатами, регулирующими подачу тепла. Когда температура понизилась, экономисты стали искать приборы ее автоматического регулирования и обнаружили, что ни одного такого прибора не существует либо что те, которые есть, действуют гораздо слабее, чем они себе представляли.

Осенний лекционный курс Кейнса — *‘Нынешнее расстройство мировой денежной системы’* — открылся в полдень в понедельник 18 октября 1920 г. в присутствии 300 студентов и отразил как его собственный, так и общенациональный опыт. В его стиле изложения не было драматизма; но именно его способность связывать экономику с полными драматизма событиями притягивала к нему студентов. Его темой были возможные серьезные последствия расстройства денежных систем для производства и занятости. Он начал с замечания, что «имеющие денежное выражение изменения цен и заработной платы могут содействовать перемещению богатства от одного класса к другому и перераспределению благосостояния таким способом, который опрокидывает ожидания и замыслы. Вот почему следует сосредоточить внимание на том, что является не более, чем посредником (на деньгах), а не целью потребления». Неустойчивость денег, продолжал он, подрывает добродетельность капиталистической системы и «саму природу аргументов», которые деловой человек может выставить в защиту своего существования. Широко распространившийся после войны беспорядок в денежных делах привел к существенным переменам «в социальной структуре». Под беспорядком в денежных делах Кейнс подразумевал инфляцию. Дефляция, хотя она как таковая и является еще большим злом, представляет собой явление, вызванное неизбежным крахом инфляционного бума. Именно поэтому Кейнс, подобно всем монетаристам-реформаторам 1920-х гг., придавал важнейшее значение стабилизации цен: устойчивые деньги необходимы для устойчивого капитализма.

Это новое взаимодействие правительства, бизнеса и профсоюзов в целях обуздания инфляционного бума и недопущения, чтобы он достиг точки, после которой наступает «естественный крах», являло собой, по мнению Кейнса, еще один фундаментальный сдвиг по сравнению с довоенным временем. В своей четвертой лекции, посвященной государственным финансам, он отметил, что «под давлением войны правительства усвоили новый способ налогообложения путем печатания денег» — суждение, предвосхищавшее раздел об «инфляционном налоге» в *‘Трактате о денежной реформе’*. В своей седьмой лекции, озаглавленной «Хотим ли мы падения цен?», Кейнс показал, в чем суть его несогласия с текущей политикой Английского банка и Казначейства. Инфляция должна быть ликвидирована, и он готов, чтобы ценой этого стал некоторый рост безработицы. Но настаивал, что не следует добиваться на этом пути действительно крутого падения цен. «Придя к определенному уровню цен — каков бы этот уровень ни был, — мы должны на нем остановиться и не стремиться к возвращению на довоенный уровень, который, в конце концов, устанавливался совершенно произвольно». Девальвацию следует предпочесть дальнейшей дефляции, то есть «мы должны принять стоимость стандартной монеты, навсегда уменьшенную в ее золотом измерении».

Говоря все это, Кейнс признавал, что он восстанавливает ортодоксальную доктрину перед лицом революционных новшеств, поддерживаемых денежными властями. Как отмечает Морган, сохранение высокой учетной ставки на протяжении длительного периода падающих цен и снижающейся деловой активности было «диаметральной противоположностью установившейся практике снижения процентной ставки, как только остается позади пик бума»¹⁴. Оглядываясь назад, Кейнс полагал, что «большинство последовавших неприятностей» можно было предотвратить, если бы были приняты меры для стабилизации к концу 1920 г., когда уровень инфляции был равен нулю.

(Хотя очень сомнительно, чтобы этого можно было добиться одной только денежной политикой.)

Беспорядок в денежной сфере, говорил он, в значительной мере «представляет собой, в сущности, слепую реакцию против тех естественных сил, которые неизбежно рождают тенденцию понижать уровень жизни». Европа перенаселена: срок, на который приостановилось действие закона падающей отдачи, кончился, теперь тенденция снижения уровня жизни должна заработать с той же неизбежностью, с какой в девятнадцатом столетии работала тенденция его повышения». Проблема в следующем: «Собираемся ли мы сокращать наше население или мы хотим вернуться к более низкому уровню жизни, существовавшему на протяжении большей части истории Европы?» С этим унылым пророчеством Кейнс оставил 300 своих студентов, в числе которых были К.Р. Фэй, Остин Робинсон, Руперт Троутон, Морис Добб, Р.У. Проктер, Ф.У. Пэйш и Аркадиус Скидельски¹⁵.

3. Вздор о миллиардах

На протяжении всего 1920 г. Кейнс с ужасом наблюдал, как эксперты и государственные деятели бродят по курортам Европы и, если воспользоваться его выражением, «несут вздор о миллиардах», пытаясь определить сумму выставяемого Германией счета на репарации. Официально это было делом Комиссии по репарациям в Париже, которая, как предполагалось, должна была представить свой доклад в мае 1921 г. Однако англичане и французы посчитали неудобным откладывать определение причитающихся с Германии выплат на столь долгий срок и начали прямые переговоры между собой и с немцами. Французам особенно очень хотелось по возможности быстрее прибрать к рукам германские ресурсы, необходимые им для восстановления опустошенных краев своей страны.

Главным толкачом всей этой деятельности был Ллойд Джордж, который обрел теперь образ большой надежды Европы. Ему ставили в заслугу то, что в 1919 г. он добился отсрочки в определении суммы предъявляемых Германии требований до тех пор, пока «не улягутся кипящие страсти», забыв, какую роль он сыграл в разжигании этих страстей¹⁶. Освободившись от помех со стороны *Небесных Близнецов*, он теперь стремился закрепить ежегодные германские выплаты на как можно более низком уровне и метался между точкой зрения Кейнса, твердившего об ограниченной платежеспособности Германии, и боязнью последствий, которые согласие с нею может иметь для британской торговли. Однако его установку на умеренность подрывал отказ Соединенных Штатов сократить задолженность, которую имели перед ними союзники. Это оставляло его *a deux* с французами, занимавшими все более непримиримую позицию. Лишенные перспективы получить помощь от Америки, они теперь полагались на Германию в изыскании средств на восстановление пострадавших областей. Однако гораздо больше, чем в наличных деньгах, они были заинтересованы в платежах натурой, которых и надеялись добиться в прямых переговорах с немцами, подкрепляя свои притязания угрозами захватить немецкие шахты и леса. Так же и Ллойд Джордж без поддержки американцев не в состоянии был предложить им гарантию безопасности, взамен которой они могли бы согласиться на сокращение размеров репараций. Вместо этого они вынашивали планы создания независимой Рейнской области, что противоречило их же цели добиться экономического соглашения с Германией. Немцы вели игру на выжидание. Они уклонялись от союзнических предложений. Они не выполняли своих обязательств по временным поставкам угля.

Политика Ллойда Джорджа должна была заставить Германию согласиться с большими размерами репараций по видимости и Францию — с маленькими на деле. Его не имевший себе равных репертуар уговоров и угроз исполь-

зовался для давления то на союзника, то на бывшего врага. Множество поправок, вносимых экспертами в предлагаемые цифры, порой создавали впечатление, что его приз находится в пределах досягаемости, но неизменно от него ускользал. Наконец его терпение, пусть и не его упорство, кончилось. В конце 1920 г. он сказал французам, что общую позицию следует определить немедленно. Бриан, новый французский премьер-министр, согласился. На январь 1921 г. было назначено совещание в Париже.

Кейнс принял предложение К.П. Скотта комментировать для *'Манчестер гардиан'* достижения Парижской конференции. Статьями, появившимися 31 января и 1 февраля 1921 г., было отмечено начало его высоко прибыльного сотрудничества с этой газетой. По оценке Кейнса, от Германии потребуются выплачивать по 400 миллионов фунтов в год на протяжении более чем сорока двух лет — это «вдвое превышает сумму, которую... какой бы то ни было компетентный человек здесь или в Соединенных Штатах пытался когда-либо обосновать». Тот единственный вывод, который отсюда следует, нельзя, мол, принимать всерьез. Кейнс писал: «Мысль об этих двух премьер-министрах в Париже, путающихся в глупых формулах и слушающих жужжания г-на Лушера... у любого понимающего человека вызывает представление о кошмаре невнятного бормотания»¹⁷. Французскому экономисту Анри де Пейзе, возразившему против этого образа, Кейнс писал со страстью: «Я не намерен соучаствовать в продолжении европейской кровопролитной распри, как бы велик ни был прошлый грех. Здесь, в Кембридже, в этом триместре мы ставим трилогию Эсхила... я хочу видеть, что фурии превратились в эвменид, облаченных в красные одежды и мирно разместившихся в Акрополе». В письме британскому корреспонденту Нилу Малколму Кейнс выражал надежду, что немцы ответят на эти нелепые предложения разумно и с достоинством и не станут выдвигать «контрпредложений полуразумных и полупродуманных»¹⁸.

Но немецкое встречное предложение на Лондонской конференции 1 марта 1921 г. создало впечатление «уклончивости и неискренности»¹⁹. Ллойд Джордж отклонил его с презрением; указав на невыполнение немцами обязательств как о выдаче для суда военных преступников, так и о производстве временных выплат, они с Брианом объявили о пакете штрафных санкций. 8 марта войска союзников вошли в Дуисбург и Дюссельдорф.

Комментарий Кейнса появился в *‘Манчестер гардиан’* 5 марта. Подвергнув критике немецкие предложения как «ошибочные», Кейнс осудил главным образом союзнические санкции против Германии как противозаконные. Санкции, писал он,

едва ли могут... иметь целью получение денег, а скорее предназначены для устрашения Германии, чтобы заставить ее поставить свою подпись под обязательствами, которых она не хочет и не может выполнить; они представляют собой серьезный шаг по пути, прокладываемому французской политикой к отторжению Рейнской области от немецкого содружества. Опасная особенность союзнического коммюнике состоит отчасти в том, что мы отдаемся служению этой политике, а отчасти в презрении к тому, чтобы соблюдались должные правовые формы и процедуры...

4. Всё в воображении?

К этому времени Наоми Бентвич впала в состояние неистовой любви к Кейнсу, которую, как она была убеждена, он сам в ней преднамеренно разжег. Работая под его диктовку во время весеннего триместра, она заметила кое-какие «личные моменты». Однажды она передавала ему бумаги, их руки встретились, и она густо покраснела. В другой раз, когда он вручал ей рукописи для *‘Экономического журнала’*, «его прекрасные длинные пальцы мягко скользнули по тыльной стороне моих кистей — и меня как током ударило». Случилось, что он попросил ее повер-

нуться так, чтобы — как она поняла — видеть ее профиль. 13 марта он начал диктовать письмо и вдруг остановился, пристально глядя на нее так долго, что ей это показалось вечностью:

Мое сердце заколотилось, но передо мной стоял образ Джонсона, и я опустила глаза. Я оказалась лицом к лицу с любовью человека, которого я обожала, и все же я слепо сопротивлялась. Внезапно я почувствовала, что изо всех сил отталкиваю его. Все мое существо сжалось в сопротивлении; и наступившая тишина длилась так долго, что я боялась, воли моей не хватит. Тут, к моему глубокому облегчению, он закашлялся, и я решилась обратить на него умоляющий взгляд. Его подбородок покоился на руке, и его лоб морщился; он быстро мигал, и я чувствовала, как его гордость стремится стать хозяином положения. Спустя пять минут, но, может быть, и всего через минуту он пробормотал загадочно смущенным голосом: «Кого вы могли бы предложить министром финансов для Албании?»

Она отмечала в своем дневнике: «Он слишком в себе уверен; в нем начисто отсутствует *Weltschmerz*. Но как же он привлекателен. Я никогда не видела человека такого красивого, каким он был в пятницу и снова сегодня: удлиненные, изящные черты, лицо бледное и возбужденное, ресницы длинные и черные, наполовину прикрывающие влажные, блестящие глаза».

Наоми Бентвич теперь день изо дня ждала каких-нибудь явных знаков любви или, по крайней мере, желания со стороны Кейнса. Он диктовал ей письмо, в котором говорилось, что будет недосыгаем для переписки в течение трех недель, и она вообразила, что он собирается захватить ее с собою в отпуск. Но 17 марта 1921 г., явившись писать под диктовку впервые в дом 46 на Гордон-сквер, она заметила «лежавшие перед нами на маленьком столе два паспорта. Я, как могла, старалась подавить свое разочарование». Двумя днями позже она снова пришла для более продолжительной работы под диктовку. Кейнс был в сердитом настроении, сказал ей, что составление указателя

для 'Экономического журнала' идет слишком медленно, но потом дружелюбно сообщил, что он отправляется в Алжир с намерением провести шестнадцать дней безделья в пустыне. Он отбыл 20 марта, с Себастьяном Спроттом в качестве «секретаря-компаньона». В пустыне они прощлись по верстке его книги о вероятности; Спротт составлял к ней указатель. По-видимому, именно во время этого путешествия Кейнс отказался увеличить чаевые, которые он давал мальчишке-чистильщику обуви, заметив, что «я не намерен потворствовать обесценению валюты». Они вернулись в Лондон 12 апреля. У себя дома Наоми Бентвич во время каникул анализировала свои чувства к Кейнсу. Если бы только он признался в любви, «при уведомлении накануне я бы без колебаний стала его женой...». Но он не был хорошим человеком: он напоминал ей сэра Уиллоуби Пэттерна из 'Эгоиста' Мередита. Ее задачей было сделать его лучше. «Это труднее, чем заставить Джонсона писать его *Логик*у, и тут нужны совсем другие таланты — тонкость, юмор, такт, блеск — все те качества, которых у меня нет... Но сама я никогда не опущу руки, пока могу ясно видеть, что должно быть сделано...»

Мисс Бентвич возвратилась к своей секретарской работе в Кембридже. Теперь все, что делал Кейнс, подтверждало, как ей казалось, подозрение, что он сердится, потому что отвергнут. Его записки были краткими; он был поочередно то злым, то сентиментальным. «Если бы только он сбросил свою маску официальности. Но он не сбрасывает». Она записала в дневнике в четверг, 28 апреля: «Сегодня ждала, что он откинет завесу и была твердо намерена его отвергнуть. Но он хорошо держал себя в руках, изо всех сил старался по-дружески говорить о политике; он сказал мне, что до конца недели будет писать новую статью, и когда я спросила, надо ли будет передавать ее по телеграфу, стал часто мигать». На другой день он был в ярости. Он быстро диктовал свою статью. «Я навсегда запомню, как неистово он прошипел: «Нет», — когда я подвергла сомнению одно место, где увидела противоречие».

Это была последняя работа мисс Бентвич под диктовку Кейнса. Уверенная в своей над ним сексуальной власти, она решила перейти в наступление, не дожидаясь от него знаков влюбленности, которые подавал Джонсон.

Мой самый дорогой Кейнс [написала она ему в тот же день], я понимаю Вас — уверена, что понимаю. Вы видите, я не должна быть сломлена вашей страстью, потому что потом это означало бы только страдание для нас обоих, поскольку я — просто не того типа человек, как Вы думали, пытаюсь покорить меня таким способом. Но я не такая загадочная, как Вы подумали этим вечером. Я играла Вашу игру просто для вашей же пользы; потому что я испытываю к Вам такую любовь, которая видит ошибки любимого и хочет их исправить. В доброте заключена сила, которой нет ни в чем ином во всей Вселенной; и с этой силой, вдобавок к присущей Вам способности делать добро, Вы были бы истинным Королем Королей, каким я люблю Вас себе представлять.

Ваш большой изъян — эгоизм. Он заставляет Вас противиться любым рискам, и это — большая практическая слабость. Это дважды отдавало Вас в мою власть, например, в этой глупой интригующей игре, которую мы вместе вели. Но хуже того, это делает Вас иногда ужасно жестоким: чтобы защитить себя или добиться каких-то своих целей, Вы позволяете себе делать постыдные вещи, которые, как я знаю, Вы сами осуждаете в часы холодных раздумий.

Мне кажется, что если бы я могла заставить Вас любить меня бескорыстно, это было бы способом дать Вам нужную силу. Это — все, что я пытаюсь сделать.

Ответ Кейнса пришел через несколько часов. Не веря своим глазам, мисс Бентвич читала:

Ваше только что полученное письмо удивило меня больше, чем я могу это выразить. Все это — с Вашей стороны несчастное недоразумение. У меня нет никаких чувств, существование которых Вы себе вообразили, — и никогда ничего подобного не было. Я даже не могу вспомнить большинства случаев, которыми, кажется, вдохновляется Ваше

воображение, придавая им некое значение. Ваше поведение казалось мне порой немного странным, порой резковатым — и я по глупости приписывал это избыточной рабочей нагрузке.

Мне очень жаль быть нечаянной причиной такого большого несчастья. Ясно, Вы не можете оставаться моим секретарем, и мы должны положить конец нашей договоренности. Но я надеюсь, что Вы продолжите составление указателя к *‘Экономическому журналу’*. Если захотите меня видеть, я буду здесь в 6 часов сегодня вечером. Но не приходите, если посчитаете, что Вам это ни к чему.

Не думайте, будто это письмо недоброе, но я хочу, чтобы в нем все было совершенно ясно.

Она появилась в 18.00 30 апреля. Кейнс не имел ни малейшего подозрения, что она была на грани истерии. Он плюхнулся в свое кресло, вытянулся в нем во весь рост, с руками в карманах и с ехидным блеском в глазах сказал: «О, мисс Бентвич, что это за письмо, как вы могли!» Он отрицал, что когда-либо пытался будить в ней какие-либо чувства. Мол, если бы мисс Пат или кто другой слышали об этих случаях, они сочли бы их игрой ее воображения. «Я был чрезвычайно глуп», — сказал он, отбрасывая голову назад и начал шагать вокруг комнаты.

Мисс Бентвич пыталась загладить свой промах. «Хорошо, если я ошибаюсь, я очень рада, и пусть все будет, как было». Но Кейнса это не устраивало.

«О, нет, невозможно — никак невозможно», — и он продолжал шагать. Я сказала ему, что не убеждена, и встала, собираясь уходить. Он открыл дверь, и я медленно пошла вниз по лестнице, озадаченная, разочарованная, наполовину готовая возражать, когда внезапно он бросился на верхнюю лестничную площадку, и, опершись лбом на свою согнутую руку, стал смотреть на меня вниз с любезнейшим выражением лица и самым замечательным взглядом в глазах — взглядом, который проникал в мою душу. Небесный экстаз охватил меня — красота, превосходящая любые попытки понять ее; тогда-то и произошел между нами тот таинственный, полный значения обмен взглядами, в который все было истиной... я видела Бо-

га в его глазах — любящий Бог внутри нас... Больше на Кейнса я не взглянула ни разу.

Последняя статья Кейнса, продиктованная Наоми Бентвич, появилась в *'Манчестер гардиан'* 6 мая 1921. Это был комментарий относительно принятого 27 апреля Комиссией по репарациям решения установить для Германии полную контрибуцию в размере 132 миллиардов золотых марок, или 6,6 миллиарда фунтов. Оказалось, что эта была самая малая из политически допустимых сумм. Однако когда фокусники проделали свою работу, стало ясно, что и она урезана до 50 миллиардов марок (2,5 миллиарда фунтов) — до «суммы, которая, по словам Ллойд Джорджа, предлагалась немецкими представителями на переговорах в Версале»²⁰. Трюк был проделан в виде выставленного Германии требования выпустить три вида облигаций, но с условием, что только по первым двум будут выплачиваться проценты и все меньшие взносы в счет остающегося долга — в совокупности 150 миллионов фунтов в год. Как выразился бельгийский чиновник Гастон Фурст, график платежей позволил изящно преодолеть трудность, о которую разбивались все прежние переговоры: немецкий долг был сокращен, по существу, до разумных пределов, но сокращение было достаточно тщательно замаскировано, чтобы общественное мнение его не заметило и не возмутилось²¹.

В своей статье Кейнс похвалил решение Комиссии по репарациям как «вдохновляющее торжество духа справедливости, чего не сможет не признать и сам немецкий народ». Он убеждал германское правительство принять график платежей, хотя и не верил, что он будет соблюдаться. Немцы график приняли, но только после обычного для таких случаев политического кризиса, который привел к созданию «правительства выполнения [графика]» во главе с Йозефом Виртом и Вальтером Ратенау. Кейнс «в какой-то мере ставил себе в заслугу то, что немцы приняли Ультиматум, и говорил о предпринятых им

особых усилиях, чтобы полный текст его статьи, рекомендуемой согласиться с графиком, был отправлен в немецкую печать по телеграфу»²².

Наоми Бентвич полагала, что ей в точности известно, что Кейнс имеет в виду. Ее Кейнс всегда был частично вымышленной личностью, и с течением времени она нашла для себя удобным создавать придуманный мир, в котором его возражения толковались как «отрицание не меня, а его собственного неутоленного желания», а его писания о репарациях как тайнопись, посредством которой он поддерживал подпольный роман с нею. В ноябре 1921 г. она написала ему тридцать две страницы с изложением своих этических убеждений. «Здесь прекраснейший Мейнард Кейнс — моя душа». Он все отправил назад с короткой припиской: «Спасибо за разрешение познакомиться с прилагаемым текстом». 16 ноября она написала: «Придите и унесите меня».

На сей раз Кейнс связался с семейством Бентвич: нельзя оставлять Наоми одну. Но страстные обвинительные письма продолжали поступать; иногда Кейнс писал краткие, небрежные ответы. В его кругу она получила кличку Безумной Женщины. Если бы Кейнс прекратил писать статьи или она, как клялась это сделать, ограничила для себя чтение газет религиозной колонкой в *'Таймс'*, она могла бы примириться с его безразличием. Но каждое его слово, появившееся в печати, каждое публичное о нем упоминание возрождали ее чувства. Ответы Кейнса звучали как заезженные граммофонные пластинки: «Я не отвечаю на Ваши письма, — писал он 27 апреля 1924 г. — ибо боюсь, что бы я ни сказал, Ваше воображение превратит это в какую-нибудь иллюзию... Статьи в *'Манчестер гардиан'*, на которые Вы ссылаетесь, написаны не мною, и я не имею к ним никакого отношения»

Сегодня существует точный медицинский термин, обозначающий заблуждения Наоми Бентвич: *синдром де Клерамбо*, впервые идентифицированный в 1942 г. и определяемый как «ложная убежденность в наличии своей

любовной связи с другим человеком». Если бы Наоми Бентвич никогда не встретила Кейнса, ее «безумия», возможно, никогда бы и не было. В сентябре 1926 г. она пережила полное крушение духа и была отправлена в Швейцарию на лечение. Постепенно она собрала и склеила осколки своей жизни. В апреле 1928 г. она вышла замуж за Джонаса Бирнберга, проповедника вегетарианства, человека строгих моральных правил, который ждал ее в течение десяти лет, проявляя терпеливость Иова. «От нас наш союз не требовал ничего героического», — писала мисс Бентвич. Эта крошечная женщина дожила до девяноста с лишним лет, сохранив уверенность, что тогда, давным-давно, что-то там все-таки имело место.

XIX

Вероятность и благоденствие

1. Незавершенное дело

Одно большое дело оставалось незаконченным с довоенного времени. '*Трактат о вероятности*' был сверстан в 1913 г., но издан только в августе 1921, после того как Кейнсу пришлось внести в верстку «огромную правку». Как он сказал своему издателю Дэниелу Макмиллану, на протяжении десяти предвоенных лет эта работа была его «довольно-таки постоянным компаньоном». Он выложил из собственного кармана 767 фунтов 11 шиллингов за переплет 2500 экземпляров.

Содержанием книга целиком восходит к докладу, который он читал *Апостолам* в 1904 г., когда еще студентом напустился на теорию Дж.Э. Мура о том, как люди должны себя вести в условиях неопределенности. Вдохновлялся он решимостью расширить поле возможностей для индивидуальных суждений и сузить, напротив, влияние традиционных установок как «руководящих принципов жизни». Это, на его взгляд, требовало увязки понятия вероятности с убеждениями, а не с эмпирической регулярностью. В его книге, изданной в 1921 г., все еще видны следы стремления Кейнса и его поколения *Апостолов* освободить науку о морали, в дополнение к начатому Дж.Э. Муром освобождению этики от смирительной рубашки викторианского прагматизма.

Его отличительная философская компонента — обращение к разуму, а не к наблюдению как источнику знания, вместе с доктриной, согласно которой идеи являются независимыми объектами, сходными с платоновскими формами и поддающимися «познанию» разумом. Таким образом, вероятность была для Кейнса, «реальным объективным» отношением, которое мы познаем, подобно тому как для Мура «добро» — свойством вещей, «интуитивно» выявляемым и не заложенным в них природой. Этот способ философствования в 1920-е гг. был уже старомодным. Витгенштейн спрашивал: «Где на всем белом свете можно увидеть метафизический объект?»

Книга Кейнса принадлежит к раннему этапу утверждения современной традиции понимания вероятности как категории логической и *априорной*, традиции Лейбница, Бернулли и Лапласа. Учитывая ее несколько устаревшую эпистемологию, не стоит удивляться, что она скоро вышла из моды. Задуманная как наступление на теорию частотности, в которой вероятность предстает фактом природы, она скоро была замещена «субъективизмом» или слилась с ним и превратилась в степень веры в некоторое, обоснованное или нет, суждение. Что удивительнее и поистине скандально — так это то, что люди, изучающие кейнсианскую экономическую теорию, уделяют этому мало внимания, несмотря на тот факт, что экономическое учение Кейнса имеет свои корни в исследовании проблем неосведомленности и неопределенности. Причина в том, что до недавнего времени в толкованиях кейнсианской экономической теории ошибочно уделялось довольно мало внимания проблеме неопределенности. Это упущение в конце концов было исправлено такими учеными, как Род О'Доннел и Анна Карабелли. Теперь можно видеть, что теория вероятности Кейнса придает отличительный аромат его экономическому учению. Более того, некоторые его положения не могут быть поняты вне связи с этой теорией.

‘Трактат о вероятности’ может рассматриваться как исследование того, что означает разумное поведение в

условиях, определяемых разными степенями знания — от определенности до неопределенности. Но это не была цельная теория разумного поведения. В философии Кейнса разумным поведением управляют вероятность и этика. Выбирая линию действий, человек должен решать два вопроса: каковы наиболее вероятные последствия будут иметь его действия? И сделают ли эти последствия мир лучшим местом для нашей жизни? Разумность, иными словами, учитывает и цели, и средства. Это — в отличие от современной экономической теории, которая принимает цели как данность (то есть как чисто субъективные установки) и сосредоточивается исключительно на выборе рациональных средств их достижения. То, что главная философская работа Кейнса принадлежала к сфере «практической», не «спекулятивной» этики, указывает, что его взоры были обращены скорее к миру, чем к монастырю. Но он никогда не терял из виду целей, которые преследует экономическая деятельность. И для экономиста он был необычайно чуток к этическим издержкам социального прогресса.

2. Принципы поведения

Суждение о вероятности как возможном руководящем принципе поведения Мур отклонил на том основании, что нельзя знать возможные последствия действий, относящихся к отдаленному будущему. Лучшее, что мы можем делать в большинстве случаев — это следовать моральным правилам, которые обычно приносят пользу и общеприняты — как это предлагал Юм. Это заключение застряло в глотке молодого Кейнса. «Перед небесами, — вспоминал он в 1938 г., — мы клялись быть сами себе судьями в наших собственных делах» Мур, говорил он в 1904 г., работал с неправильной теорией вероятности. Он смешивал знание вероятности со знанием относительной частоты событий и утверждал, что в отсутствие такого знания — и особенно ес-

ли мы не знаем, что любое доброе дело, которое мы можем совершить в близком будущем, не будет перевешиваться вредом в будущем отдаленном — мы не имеем *никакого разумного основания* для индивидуального суждения. Кейнс говорил, что это неправильно. Единственное, что нам нужно, — это согласиться с отсутствием оснований полагать, будто всякое ныне свершенное доброе дело непременно будет перечеркнуто своими отдаленными последствиями¹. В более общем смысле — вероятностное знание есть вид логического знания, «поставляющего свидетельства», имеющие доказательную силу для выводов². Это касается убеждений, а не действительно происходящего. *‘Трактат о вероятности’*, изданный семнадцать лет спустя, стал разработкой этого смелого взгляда.

Кейнс утверждал, что сознание часто может «сводить» неопределенность к вероятности, «устанавливая» связь между свидетельством (посылкой) и выводом из аргументации, поднимая тем самым «степень убежденности в правильности заключения». То есть предлагаемая им логика является основанием для частичного познания следствия. Он задумывал представить теорию вероятности как «общую теорию» логики, в которой дедуктивная логика Аристотеля представляла бы собой частный случай.

Вероятность, как будет отмечено, имеет две стороны. Это категория субъективная, в том смысле что относится к нашим знаниям и способностям рассуждать. Но с учетом этого отношение вероятности «уникально и объективно»: каждый, одинаково обладающий этими качествами, будет видеть ту же самую вероятность, делать из нее тот же вывод и должен действовать, исходя из той же гипотезы.

Взгляд Кейнса на вероятность как орудие логического познания был направлен против господствовавшей в его дни теории частотности, рассматривавшей вероятность как естественный факт. Например, если один из десяти курильщиков умирает от рака, вероятность смерти курильщика по этой причине — 10 процентов. Отождествление ве-

роятности с частотой, пишет Кейнс, «является очень серьезным отступлением от принятого словоупотребления; ибо ясно, что при этом исключается множество суждений, которые, как это обычно понимается, относятся к вероятности»³. Кроме того, теория частотности принимает «индуктивную гипотезу», не могущую быть доказанной на основе индукции. Частоты могут быть частичными свидетельствами, которые мы используем, чтобы выносить вероятностные суждения; они не суть вероятности как таковые.

Важное значение этого состоит в том, что у нас могут быть вероятности без всяких числовых измерений. Мы можем иметь надежные основания, чтобы предпочесть одно заключение другому, не располагая при этом никакими основаниями для высказывания: «Это в три раза вероятнее, чем то». (Так же как мы можем сказать: «Это зеленее того», не имея возможности утверждать: «Это в три раза зеленее того».) По существу, большинство вероятностей в *‘Трактате’* Кейнса не имеет числового выражения; они допускают скорее приблизительные чем точные сопоставления — «более вероятно или менее вероятно» — и оставляют возможность приписывать вероятностям некоторые численные значения в пределах, соответствующих границам нашего знания. Иногда тем не менее вероятности неизвестны; иногда мы их знаем, но не можем сравнивать. Кейнс дает следующий пример трудности сравнения вероятностей, выводимых на основе различных аргументов:

Всегда ли, отправляясь на прогулку, мы оцениваем возможность дождя как более вероятную, чем его отсутствие, как менее вероятную или одинаковую для обоих ожиданий? Я готов доказать, что в некоторых случаях ни одна из этих альтернатив не имеет смысла и что вопрос, брать ли зонтик, будет решен совершенно произвольно. Если барометр показывает высокое давление, но на небе черные облака, не всегда разумно цепляться умом за одно или за другое или даже пытаться уравнивать эти противоречивые данные — наоборот, разумней предоставить дело капризу и не тратить впустую время на размышления⁴.

Область разумно обоснованных верований оказывается, таким образом, гораздо обширнее того, что допускали Юм или Мур. Мы можем иметь вероятности, не подкрепляемые частотой; и даже когда мы имеем частоту, наверняка мы знаем только, что есть вероятность правильности нашего заключения: вероятность начинается и кончается вероятностью. Таким образом, теория Кейнса одновременно и оптимистична в отношении силы человеческого разума, и пессимистична в оценке его способности проникать в тайны мироздания. Мы лишь в некоторых пределах постигаем «природу вещей». Он цитирует Локка: «В том, что касается большинства наших забот, Бог смог позволить себе, если мне простят такое выражение, только Сумерки Вероятности, подходящие, я предполагаю, для того состояния подвергаемой испытаниям Посредственности, в которое ему угодно было нас погрузить, посылая в сей мир»⁵.

Однако мы еще не совсем добрались до полного изложения теории Кейнса о разумном *поведении* в условиях неопределенности. Решая, как действовать, нам следует принимать во внимание еще два соображения, которые Кейнс называет «весомостью довода» и «моральным риском». Под первым Кейнс, приблизительно говоря, имеет в виду *сумму* свидетельств, подкрепляющих вероятностное убеждение. Она не обязательно изменяет вероятность, но может изменять степень нашей уверенности в суждении об этой вероятности. Чем больше у нас фактов, тем больше уверенность, что наше убеждение оправданно. Принцип «морального риска» предполагает, что разумнее стремиться к меньшему добру, достижение которого представляется более вероятным, чем к большему, достижение которого не столь вероятно. При прочих равных условиях, следовательно, «весомость довода и отсутствие риска увеличивают *pro tanto* желательность действия, к которому они относятся»⁶.

Один важный вывод для действия — тот, что в большинстве случаев разумнее стремиться к ближайшему, а не отдаленному добру, поскольку на стороне первого скорее

оказываются и большая весомость доводов, и более высокая вероятность достижения. Соображения такого рода, несомненно, оказали влияние на представления Кейнса о том, какие цели разумно ставить перед собой реформатору. В частности, они помогают объяснять его враждебность революционному социализму, предпочитающему добиваться большего блага при более низкой вероятности его достижения вместо меньшего с более высокой вероятностью достижения. Эта линия аргументации отражает, как мы видели, влияние политического философа Эдмунда Бёрка.

До войны при подготовке к изданию своей диссертации о вероятности Кейнс внес в нее дополнительные разделы, посвященные индукции и статистике. В этой связи надо упомянуть только о двух вещах. Последовательный эмпирик, писал он, не может прибегать к индукции, не впадая в противоречия, ибо индуктивный метод требует, чтобы в оправдание состоятельности некоторой вероятности была априорно принята какая-то другая вероятность⁷. Взгляд Кейнса на индукцию как логический принцип оказал влияние на Рассела, признавшего это в своих *‘Проблемах философии’* (1912 г.). Сто с лишним страниц, посвященных Кейнсом значению статистических доказательств, замечательны в основном попыткой ограничить область их состоятельности теми случаями, для которых могут быть получены *стабильные*, в отличие от *средних*, частотные показатели⁸. В *‘Трактате’* он не поясняет, насколько стабильными, на его взгляд, являются социальные структуры в отличие от природных. Кейнсу всегда было присуще желание располагать сырыми, а не «приготовленными к столу» данными, и он решительно отдавал предпочтение таблицам перед графиками, чтобы «бдительному наблюдению» за меняющейся действительностью не мешали построения и манипуляции, основанные на предположении, что действительность неизменна. Это — корень его возражений против злоупотребления эконометрикой в общественных науках.

Дополнения к *‘Трактату’* подкрепляют его главный тезис о том, что восприятие вероятности, определение «веса» и «риска» в высокой степени зависят от наших оценочных суждений. Имеется или нет расписание на небесах, на земле его, во всяком случае, нет. Разум всегда управляет вероятностью, отбирая и формируя представляемые нашим чувствам данные для отыскания доводов в пользу большей или меньшей уверенности человека в своих действиях. Именно поэтому Кейнс понимал свою теорию как отрасль логики, отличную от простой веры, с одной стороны, и статистики — с другой.

Существуют два главных связующих звена между теорией вероятности Кейнса и его экономической теорией. Во-первых, любая экономическая теория, основанная на некоторой сумме знаний, непременно должна вводить в заблуждение своим толкованием экономического поведения. «Исчисление вероятности», обещающее посредством тщательных расчетов страховщиков придавать неопределенности столь точно измеримый статус, что она становится определенностью, внутренне содержит в себе мошенничество. Нечисловые вероятности дают рациональную основу для суждений; они не гарантируют, что дела обернутся согласно нашим ожиданиям.

Во-вторых, реже замечаемое связующее звено касается способа разработки экономической теории. Кейнс всегда имел предубеждение против чрезмерного формализма, который, как он считал, создает фальшивую уверенность в выводах, которые в лучшем случае можно отнести к числу вероятных — наиболее вероятных, в его понимании. В своих экономических сочинениях он предпочитал пользоваться обычным языком. Следуя Аристотелю, мы могли бы назвать это риторической логикой, основанной на посылах, которые интуитивно нравятся и из которых вытекают заключения, убеждающие, а не иллюстрирующие доказываемое положение. Он любил говорить, что «экономист не может винить своего оппонента в ошибке; он может только пытаться переубедить его».

Вероятность для Кейнса — инструмент действия. Но для всецело разумного поведения требуется, чтобы разумными были не только средства, но и цели. Кейнс отбросил мораль Мура, но не его этику. «Среди всего того, что мы знаем или можем вообразить, — писал Мур, — самое ценное — это некоторые состояния нашего сознания, которые приблизительно могут быть описаны как наслаждения, доставляемые общением с другими людьми и прекрасными предметами... Только этим — то есть стремлением расширять в каждое данное время возможности таких наслаждений — может быть для кого бы то ни было обосновано исполнение всякого общественного или частного долга; в этом *raison d'être* добродетели; то есть именно этим определяются рациональная высшая цель человеческого действия и единственный критерий общественного прогресса»⁹.

Критерий Мура создает очевидные проблемы для социального реформатора. Хорошими могут быть лишь расположения ума. Но как соотносятся между собой добрые расположения ума и обычные цели социальной реформы: свобода, справедливость, мир? Самоочевидно ли, например, что выигрыш от более равномерного распределения дохода всегда будет перевешивать потери цивилизованного образа жизни, созданного богатой верхушкой общества? Клайв Белл, который тоже был последователем Мура, так не думал. В своей книге 'Цивилизация', изданной в 1928 г., он утверждал, что высокая культура держится на существовании неравенства. И потом, хотя Мур говорил, что единственное оправдание долга — это максимизировать добрые расположения ума, он отнюдь не утверждал, что долг каждого — этим заниматься. Большинство членов группы Блумсбери беспокоилось в основном расположением собственных умов, а не мирового населения. Молодой Кейнс вопрошал: должен ли я сделать себя хуже, чтобы мир стал лучше? (См. выше стр. 148 и след.)

Ответ Мура состоял в том, что расположения ума являются «высоко сложными органическими единства-

ми», в содержание которых входят и переживающий субъект, и объект переживания. Это было равносильно утверждению, что наилучшими состояниями сознания нельзя наслаждаться в одиночестве; что в жестоком и безобразном мире места для добрых расположений ума меньше, чем в мире гуманизированном и красивом. Как рассказывал Кейнс, принцип органического единства помог примирить учение Мура с «другими этическими системами», и это, «по существу, позволило нам рассматривать почти любое обстоятельство как изменение суммы хорошего, даже если первоначальным источником этого хорошего в каждом случае должно было быть расположение умов наделенных сознанием существ».

Однако Мур привлек также внимание к категории «смешанного добра», в котором доброе расположение ума *зависит* от наличия зла в состоянии дел, предполагаемого или реального. Как пример он приводил зависимость жалости от страдания¹⁰. Мур полагал, что действительное страдание (в отличие от чувства, выражающего мнимое страдание) никогда не может быть частью доброй «целостности», поскольку отрицательное значение страдания перевешивает позитивную ценность жалости, но Кейнс не был в этом убежден. «Я не уверен, — писал он, — что трагические состояния дел всегда, если все принять во внимание, плохи в целом или что хорошее расположение ума, если оно очень хорошее, не перевешивает плохого состояния дел.. Но можно, полагаю, представить себе два состояния дел, из которых одно трагично или несправедливо, а другое нет, притом что расположения ума в обоих случаях имеют совершенно одинаковую ценность, и можно, соответственно, считать, что трагическое состояние дел менее желательно»¹¹. Это — из доклада, с которым Кейнс выступал перед *Апостолами* в 1910 г. и потом снова читал его в январе 1921 г. Возможно, во втором случае текст был частично переписан. Но даже если он остался в первоначальном виде, трудно избежать предположения, что сам выбор темы в 1921 г. был своего рода откликом — в поня-

тиях системы Мура — на убеждения друзей, Ференца Бекасси (погибшего) и «Питера» Лукаса (выжившего и слушавшего его в 1921 г.), которые считали, что война, несмотря на все ее ужасы, дает и облагораживающий опыт. Представление о жизни у Кейнса было оптимистическое, отнюдь не трагическое, но он был достаточно наделен интеллектом, чтобы понимать возможную привлекательность войны и признавать, что прогресс сопряжен с этическими издержками*.

Как же тогда сохранять определенные добрые чувства с исчезновением вызывающих их обстоятельств? Кейнс дал хитроумный ответ в письме, которое написал в 1928 г. Лукасу, чья книга о трагедии была только что издана:

В реальной жизни многие из чувств, которые мы относим к числу благороднейших, и большинство других, которые считаем достойными, могут быть связаны с неприятностями, неудачами и бедствиями. Само по себе расположение ума героя, идущего на битву, мы оцениваем как хорошее, но какая жалость, что он идет на смерть. Точно так же чувства сострадания хороши сами по себе. Воистину наихудшее в реальной жизни то, что чувства, добрые сами по себе, слишком часто подстегиваются, подогреваются или вызываются недобрыми обстоятельствами. Если бы, с другой стороны, можно было сострадать, получать наслаждения из вторых рук или восхищаться благородными чувствами безотносительно к злу сопровождающих их в реальной жизни обстоятельств, мы получили бы лучшее из обоих миров. И вот, как мне кажется, задача Трагедии — поставить нас в положение, где такое происходит... Мы имеем дело с благородными чувствами, и нас не касаются рождаемые ими на практике плохие последствия...

Все это связано с моей любимой дилеммой — трудность или невозможность одновременно и быть добрым, и творить добро. В Трагедии мы можем наблюдать хороших людей, действующих в условиях, исключаящих какие-либо

* Этот абзац был переписан в свете доклада Р.М. О'Доннела 'Смешанное добро и социальная реформа', *Cahiers d'economie politique*, ## 30–31. L'Harmattan, 1998. Но взгляды профессора О'Доннела здесь не представлены.

последствия, так что нам не приходится сопоставлять их совершенство с ужасными последствиями их поведения и злом, которое несут в себе порождаемые им события¹².

Иными словами, цена героизма или жалости может быть сведена к цене театрального билета: хорошая сделка в глазах социального реформатора, но едва ли это способно убедить скептика, что расположения ума зрителя и реального героя имеют равную ценность.

Предложенная Кейнсом концепция благоденствия оказывала влияние и на его собственную жизнь, и на его общественные цели. Он старался сочетать личный идеал цивилизованной жизни с борьбой за то, чтобы сделать благоденствие — доброе расположение ума — доступным для многих. В управлении экономикой он видел одно из главных орудий этой борьбы, но отстаивал также нравственные кодексы либерализма и из собственного кармана черпал средства на поддержку искусств. В той мере, в какой учение Мура оказывало влияние на его социальную философию, оно должно было скорее сдерживать, чем подогревать его страсть к социальной реформе. Ибо отстаиваемый Муром «идеальный» утилитаризм предлагает социальному реформатору установку послабее, чем утилитаризм гедонистический, поскольку призывает оценивать воздействие материального прогресса на расположение ума, не увязывая его с наслаждением или радостью.

Кейнс был в основном невосприимчив к главным демократическим устремлениям своего времени; более того, его отношение к самой демократии было весьма прохладным. В то же время от негодного расположения ума — которое он определял как «бизнес и бридж» — он получал больше удовольствия, чем полагалось бы верному ученику Мура. Подобно большинству преуспевающих людей, Кейнс делал то, что у него получалось лучше всего и доставляло наибольшее удовольствие, жил со своими противоречиями и находил словесные формы, позволявшие примирять свои действия с тем, что должен был бы делать в соответствии со своими убеждениями.

3. Отклики на трактат

Самые первые рецензии на *‘Трактат о вероятности’* были благоприятными. К.Д. Брод, последователь Мура и Рассела, заявил, что с Кейнсом «в основном» согласен. Бертран Рассел нашел «математические выкладки» «на удивление мощным средством», а книгу в целом одной из тех «книг, которые невозможно перехвалить». Но он отказывался принимать тезисы-близнецы, что вероятность не поддается определению и что многие вероятности не поддаются числовому измерению. Рассел жаждал иметь дело с «измененной формой» частотной теории¹³.

Старый *Апостол* и статистик Чарльз Запгер был доволен, что Кейнс «алгебре не отдавал предпочтения перед земными делами», и с одобрением цитировал фразу из *‘Трактата’*, гласившую что «разумные исследователи используют коэффициент корреляции только затем, чтобы проверять или подтверждать заключения, к которым они пришли на иных основаниях». Рецензент *‘Спектэйтора’* (*‘The Spectator’*), подписавшийся инициалом «S», нашел, что «уравнения профессора Кейнса требуют умственного напряжения, не очень-то располагающего к чтению»¹⁴.

Молодежь Кембриджа не сочла книгу убедительной. Кейнс писал Броду 31 января 1922 г.:

Я считаю Рамсея и других молодых людей... весьма закоспелыми, все еще полагающими, что либо вероятность — это обязательно измеримое понятие, связанное с частотой, либо она имеет только психологическое значение и определению выпадает из разряда логических категорий. Я вижу, что исходя из этих посылок они могут выступить против меня с рядом очень разрушительных критических замечаний. Я твердо уверен, что они не правы¹⁵.

Семинадцатилетний Фрэнк Рамсей поступил в Тринити-колледж из Винчестерской школы в 1920 г. Кейнс считал его «бесспорно самым блестящим студентом из тех, что появлялись за многие годы на границе между фи-

лософией и математикой»¹⁶. Теорема, которую он написал еще школьником, была, по мнению его отца, президента Модлин-колледжа, на уровне диссертации, дающей основание быть избранным в ученое сообщество; брат Фрэнка стал архиепископом Кентерберийским. Рамсей был громадным человеком, по-медвежьи волочившим ноги, почитаемым за ум и любимым за мягкий характер. Он стал *Апостолом* в 1921 г. и был избран в ученое сообщество Королевского колледжа в 1924 г. В жизни Общества он заставил зазвучать новую ноту. После очередной нескончаемой дискуссии о ценностях Рамсей заявил собратьям, что такие обсуждения, «хотя и служат приятному времяпрепровождению, в действительности суть разговоры вообще ни о чем и представляют собой просто сопоставление некоторых замечаний»¹⁷. Это был истинный философский голос послевоенного поколения, которому скоро предстояло обрушиться на довоенную постройку Кейнса.

Рамсей дважды укусил теорию Кейнса. В октябрьском за 1921 г. выпуске *‘Кембриджского журнала’* он обвинил Кейнса в смешении восприятия с существованием отношений вероятности, указав на отсутствие между ними необходимого соответствия. Его фундаментальное критическое наступление было развернуто в докладе, названном *‘Истина и логика’*, который он прочитал в кембриджском *Клубе гуманитарных наук* в 1925 г. После проделанной в течение часа или около того изящной разрушительной работы от причудливого здания *‘Трактата’* мало что осталось.

Вероятность, сказал Рамсей, имеет как объективную, так и субъективную сторону. Как статистические, так и эпистемологические толкования понятия имеют свою основу в обычном языке. Вероятность часто означает соотношение, пропорцию. Если мы говорим, что в случае заболевания оспой вероятность выздоровления равна трем четвертям, мы подразумеваем, что таков удельный вес случаев выздоровления. Вероятность, таким образом, есть свойство природы. Но мы также обладаем властью

языка, позволяющей думать об этом как о «частичном убеждении». Когда кто-то говорит, что три четверти заболевших оспой поправятся, в ответ мы можем сказать: «Вероятно, это правда». Как мы обосновываем это второе утверждение? Кейнс говорит: «Мы это чувствуем». Мы переходим, иными словами, от полной убежденности в правильности свидетельства к частичной убежденности в верности заключения.

Рамсей критикует напрямую. Он отрицает существование

каких бы то ни было отношений вероятности, описываемых Кейнсом. Он предполагает, что, по крайней мере, в некоторых случаях, их можно ощущать; но я лично уверен, что это не соответствует истине. Я не чувствую их, и если я должен быть убежден, что они существуют, это должно быть подкреплено доводами; более того, я не без оснований подозреваю, что другие их также не чувствуют, потому что между собой им удастся достичь так мало согласия относительно взаимоотношения, связывающего любые два предположения¹⁸.

Как только Рамсеем была высказана эта мысль, она стала казаться очевидной. Король был голый. Все, что говорил Кейнс, сводилось к утверждению, что мы выносим свои суждения о вероятности, но это не значит, что существуют соответствующие им объективные вероятности.

Ошибка Кейнса, полагал Рамсей, лежит в смешении фактических и логических аргументов. Мы можем вывести фактическое заключение из фактической предпосылки, но не можем говорить о логически необходимом заключении. Главное требование логики — в том, что аргументы должны быть внутренне непротиворечивы. Но имея дело с аргументами Кейнса, «мы можем принимать предпосылки и начисто отклонять заключения, не впадая при этом в какую-либо непоследовательность или допуская противоречие»¹⁹. Доводы индукции не суть ослабленные версии доводов дедуктивных. Предлагаемая Кейнсом теория вероятности смешивает логику открытия с логикой следствия.

Что делает предположения и убеждения разумными? Рамсей рассмотрел эту проблему под различными углами зрения. Действующие лица понимаются как субъекты, избирающие определенную стратегию для осуществления своих желаний, то есть предполагается некоторая постоянная последовательность их предпочтений. Разумность выбранных стратегий должна оцениваться сообразно достигаемому на их основе успеху. Люди начинают с того, что приписывают некоторые степени вероятности различным возможным результатам. Эти вероятности субъективны — они не имеют никакой необходимой санкции в логике или природе. Рамсей затем рассматривает эти субъективные степени уверенности как ставки пари: все вероятности могут быть сведены к числовым значениям. Первое требование разумности в том, что ставки, которые участники этого пари готовы предлагать на случай различных предположений, не должны быть такими, чтобы умный игрок мог получить «голландскую книгу», то есть обыграть их и, как бы дело ни повернулось, оказаться в барыше²⁰. Второе требование — стратегии должны быть совместимы с фактами. Личные или субъективные вероятности сближаются с объективными вероятностями в процессе наращивания знаний. Полная рациональность достигается, когда, говоря словами Мартина Холлиса, «стартовые ставки отражают сравнительные достоинства лошадей»²¹. Процесс накопления знаний — индуктивный. В отличие от Кейнса, Рамсей следует прагматическому представлению об индукции. Это — «привычка ума». Единственный способ оценки умственных привычек состоит в выяснении, «работают» ли они, приносят ли результаты. Безотносительно к ее эпистемологическому значению, индукция — полезная умственная привычка²².

Критический анализ Рамсея захватил поле битвы. К началу 1930-х друг Рамсея Ричард Брэйтвэйт называл теорию вероятности Кейнса «поистине поразительной». «Неужели Кейнс действительно считает, что его логические отношения вероятности выдерживают сопоставление со вторым из двух предлагаемых подходов к делу? Если

нет, зачем допускать, что они существуют? Ибо они совершенно не похожи на другие логические отношения». Этическая теория Мура также должна была перейти в отступление. Кембриджские философы — за исключением Брода — занялись анализом этических суждений в понятиях субъективного одобрения и неодобрения. Пришла пора современной философии. Китайский философ, посетивший Кембридж для изучения природы истины, обнаружил, что ему удалось очень много узнать о правильном употреблении английского языка²³.

Хотя нередко говорят, что Рамсей просто конструктивным образом «развил» теорию Кейнса, эти два подхода к делу принадлежат к разным мирам мышления. В мире Кейнса понятия объективной добродетели и вероятности образуют фундамент этических и практических рассуждений. Без таких основ мысль «ложится в дрейф». Мир Рамсея соткан из предпочтений и ставок. Это — мир, в котором за данность принимается субъективный и прагматический характер мысли. Мы используем методы, которые работают. Люди Кейнса — мыслители, и он вооружает их орудием мысли — логикой. Люди Рамсея — деятели, и он дает им инструмент действия — способность рассчитывать.

Различие между ними — поколенческое. Если поколение Кейнса видело в метафизике спасение от сомнения, поколение Рамсея отбросило ее, потому что оно полагало ее ответственной за Первую мировую войну.казалось, они говорили: достаточно показать, что такие-то утверждения — это чушь, и люди прекратят спорить о них и посвятят свою энергию другим, поддающимся решению проблемам. Погрузите свой разум в науку, а не в метафизику, и вы получите мирный, преуспевающий мир. Таким образом, одна иллюзия сменялась другой: метафизическая иллюзия уступала место иллюзии позитивиста, полагавшего, что фанатизм скорее является своего рода ошибкой, чем потребностью, что зло проистекает исключительно из недостатков мышления и что «человеческое поведение целиком определяется уровнем знания»²⁴.

В какой мере Рамсей поколебал довоенные убеждения Кейнса, сказать трудно. Следуя своей природе, он восхищался, с каким блеском была выполнена работа, и за это Рамсея любил. После смерти Рамсея, скончавшегося в 1930 г. в возрасте двадцати шести лет, Ричард Брэйтвэйт редактировал собрание его изданных и неопубликованных произведений. Кейнс, должно быть, имел в виду проделанный Рамсеем критический разбор его *'Трактата'*, когда в рецензии на издание Брэйтвэйта написал, что эссе служат «замечательным примером того, как молодой автор может подхватить разговор в той точке, до которой его, запыхавшись, дотащило предыдущее поколение, и затем продвинуться вперед, не тратя более полутора недель на то, чтобы полностью переварить все, сделанное прежде».

В своей рецензии Кейнс заявлял, что представленная в опубликованной версии критика Рамсеем его теории вероятности очень интересна «и сама по себе, и как анализ, более или менее детально показывающий, как далеко его ум отошел от... формализма и объективизма непосредственных предшественников». Он подтверждал, что сам в долгу у Рассела, чьи ранние работы подсказали возможность «чрезвычайного расширения» области логики. Но «постепенное совершенствование формального подхода», проделанное «руками Рассела, Витгенштейна и самого Рамсея», привело к его «освобождению от всякого содержания и все более и более превращало в скелет из высохших костей, пока наконец у логики не отняли, кажется, не только весь опыт, но и большинство принципов разумной мысли, обычно считающихся логически обоснованными». Рамсей пришел к понятию «человеческой логики» в отличие от «логики формальной». Он возражал против

выдвинутого мной положения, что вероятность связана не с объективными отношениями между суждениями, а (в некотором смысле) со степенями веры в истинность этих суждений... Таким образом, исчисление вероятностей принадлежит формальной логике. Но основание степеней нашей уверенности — или априорных вероятностей, как их обыкновенно на-

зывали, — образует часть наших человеческих свойств... Пока что я уступаю Рамсею — думаю, что он прав. Но в попытке различать «рациональные» степени убежденности и убежденности как таковой полного успеха он, я полагаю, не достиг. Сказать, что индукции — это просто полезная привычка ума — не значит добраться до ее сути. Все же в стремлении различать «человеческую» логику и логику формальную, с одной стороны, и описательную психологию, с другой, Рамсей, возможно, прокладывал путь в очередную область исследований, когда формальная логика будет приведена в порядок и в крайне ограниченное пространство ее приложения будет должным образом определено²⁵.

Для экономической теории эти два различных способа мышления о вероятности, Кейнса и Рамсея, имели серьезное значение. У Кейнса присутствует важная мысль, что предположения, или ожидания, относительно будущего могут быть и рациональными, и следствиями разочарования по поводу непостижимости этого будущего. Знание прошлых частот — важный элемент в образовании суждений о вероятности, но оно не может служить основой математического предсказания. Именно поэтому инвестиция может обернуться крахом: текущие цены не содержат всей необходимой информации для предвидения их будущего движения. В отличие от этого Рамсей полагал, что по мере накопления знаний — поскольку люди учатся на своих ошибках — субъективные вероятности, которые они приписывают возможным результатам, со временем сближаются с объективными вероятностями реальных результатов. Это ведет прочь от экономического учения Кейнса в сторону к радикальным версиям современной теории разумных ожиданий, согласно которой люди имеют точные представления о событиях будущего. Это равносильно утверждению, что нежелательной безработицы не может быть никогда. Теория разумных ожиданий появилась в 1970-е гг. как палка для битья по кейнсианству, как рычаг для возвращения классической экономической мысли на пьедестал, с которого ее сместил Кейнс.

Любовные истории — русская и немецкая

1. Чарлстон и Кембридж

Свой третий после войны летний отпуск Кейнс провел в Чарлстоне, в работе над третьей послевоенной книгой — *‘Пересмотр договора’*, — которую он подавал как «продолжение» *‘Экономических последствий мира’* и которая отчасти описывала исторические события, отчасти давала отпор критикам предыдущей книги, и в очень большой степени представляла собой творение ножниц и клея. Мать снова помогала ему газетными вырезками. К 1921 г. Жорж Клемансо, французский премьер-министр, «с душой высохшей и утратившей всякие надежды», ушел со сцены, удалившись в свой фамильный дом в Вандее. «Великое достоинство этого леса, — говорил Клемансо о своей сосновой роще, — в том, что здесь нет ни малейшего шанса встретить Ллойд Джорджа или президента Вильсона. Никого, кроме белок». Во введении Кейнс отозвался на это насмешливой фразой: «Хотел бы я, чтобы эта моя книга обладала тем же достоинством». Но как раз «этот наш Фауст», Ллойд Джордж, по-прежнему возбуждал его теологическое воображение: «Чем глубже и грязнее трясины, в которые тащит нас г-н Ллойд Джордж, тем больше растет вера, что он нас оттуда вытянет. Он тащит нас в болото, чтобы удовлетворить наши желания; он вытягивает нас оттуда, чтобы спасти наши души... Кому, как нам сейчас, удавалось когда-либо прежде взять лучшее одновременно и на небесах, и в аду?»

Пересмотр договора не был единственной вещью, которую писал Кейнс тем летом. В августе и сентябре в *'Санди таймс'* (*'Sunday Times'*) появились пять его статей об «экономических перспективах Европы». В них вошло многое из его лекций, читанных прошлой осенью. Первая, напечатанная 21 августа, произвела наибольшее впечатление. Кейнс предсказывал, что «где-то между февралем и августом 1922 г. Германия станет жертвой неизбежного дефолта». Парижский корреспондент *'Санди таймс'* сообщал: «Редко — вероятно, никогда в истории международной политики — одна-единственная статья, выражающая авторское мнение, не вызывала столь далекоидущих последствий»¹. Можно видеть, что он имел в виду. Марка резко упала, великая немецкая инфляция началась, и Германия была вынуждена просить о моратории чуть раньше срока, в конце 1921 г. Отец Мейнарда считал, что проявил «мудрость», закрыв свой счет в марках у *Бакмастера и Мура* прежде, чем появилась статья сына². Это было суждение этическое, а не экономическое. Кейнс попал в странное положение. Он имел полное право выступать с предсказаниями и держать пари, что они сбудутся; но авторитет у него был такой, что эти предсказания, когда они делались достоянием публики, становились также, пусть и незначительной, причиной их осуществления. К октябрю он снова деловито продавал марки — со все большей прибылью.

Кейнс провел лето 1921 г. в Чарлстоне с Ванессой Белл, Дунканом Грантом, навещавшими его друзьями из Кембриджа, такими как Себастьян Спротт, Питер Лукас и Дуглас Дэвидсон. Когда в октябре Ванесса, Дункан и дети поехали проводить зиму в Сан-Тропе, Кейнс стал снабжать их книгами, консервами, советами по обмену валюты и кембриджскими билетными, которые им интересно было бы слышать.

Вчера вечером [сообщал он Ванессе 19 октября] я должен был дать Княгине [Элизабет Бибеско, дочери Асквита]

обещанный большой обед, сводить ее в театр и посидеть tkte-a-tkte. В театре она стала без тени смущения ко мне прижиматься, а когда зажегся свет, оказалось, что ее сосед с другой стороны — мой друг г-н Коккерел из музея Фицуильяма, так что все это пошло на пользу моей репутации.

Кейнс нагрузил себя двумя большими дополнительными обязанностями в университете. Он принял предложение своего старого друга Эдвина Монтегю, государственного секретаря по делам Индии, отправиться в начале 1922 г. на субконтинент вице-председателем Королевской комиссии, с тем чтобы выработать рекомендации по индийской финансовой политике — «в нашей последней, обреченной, конечно, на провал, попытке сохранить Индию в измененном режиме свободной торговли»³. 24 октября после посещения Манчестера он принял предложение К.П. Скотта, редактора *'Манчестер гардиан'* (*'Manchester Guardian'*) взять на себя редактирование двенадцати *'Коммерческих приложений'* к газете. Ванессе он хвастался, что в 1922 г. его доход составит 8 тысяч фунтов¹.

Все это лежало в одной области его интересов, по, как он писал Ванессе 12 декабря, «что может сломать меня (и испортить мой почерк), так это чрезмерное обилие вечеринок, мое гостеприимство и потребление спиртного. В этом триместре я предостаточно паразитировал в Кембридже». Его дневник обязательств показывает, что его гостеприимством много пользовались Себастьян Спротт, Дуглас Дэвидсон и «Дэди» Райлэндс. Дэди был выдающимся начинающим актером того времени, особенно преуспевавшим в исполнении женских ролей. Они с Мейнардом близко сошлись на почве общей любви к театру и английской литературе. Дэди был симпатичным, задиристым, одухотворенным юношей, который тянулся к интимной обстановке и эксцентричности Королевского колледжа, как утка к воде. Литтон Стрэчи, снова посетивший свой старый приют, писал 26 ноября брату Джеймсу: «Активность [Кейнса] по-

трясает — особенно светская, и он признался, что у него уже нет сил продолжать в том же духе. Не знаю, есть ли другие причины для его истощения, но, в общем, склонен думать, что есть».

2. Лидия Лопухова

Притом что Мейнард и Себастьян провели «тихое и очень счастливое Рождество с Литтоном» в его загородном доме в Тидмарше, в личной жизни Мейнарда надвигался поворот, который должен был привести его близких друзей в изумление. Первый намек на предстоявшие перемены появился в его письме, отправленном Ванессе в Сан-Тропе 22 декабря 1921 г.: «Лоппи приходила в прошлое воскресенье на обед, и я опять сильно в нее влюбился. Она представляется мне совершенством во всех отношениях. Одно из ее новых очарований — знание и разумное употребление множества английских слов». Его расписание дел на воскресенье 18 декабря содержит загадочным образом расставленные часы: «1.30 Лоппи... 8.00 Габриэль [Эткин]».

В пятницу 23 декабря после *‘Спящей красавицы’* он пригласил Лидию Лопухову на ужин в *Савой*, где они болтали до часу ночи. Договорились встретиться снова после его возвращения из Тидмарша. С этого момента их роман развивался удивительно быстро. «Я в сетях — страшное дело и едва гоюсь для какого-либо общения», написал он Литтону 27 декабря. «Что с этим делать? Я начинаю бояться», — писал Ванессе на следующий день. Ванесса ответила 1 января 1922 г.: «Не женись на ней. Провырнишься в Индию, это может тебя спасти. Как бы ни была она очаровательна, как жена она будет стоить очень дорого и должна будет оставить сцену; во всяком случае предпочтительней иметь ее любовницей». Ванесса, похоже, спешила с заключениями. Мейнард писал ей в ответном письме 6 января: «Тебе нечего опасаться мое-

го брака, но дело очень серьезное, и я не имею ни малейшего представления, что с этим делать. Начинаю думать, что хорошо, что я отправляюсь в Индию. Тем не менее она мне очень нравится». И опять в том же духе 9 января: «Я в ужасно тяжелом положении, почти не вижу спасения. Клайв просто с восторгом усмехается, видя меня в таком униженном состоянии». 21 января Кейнс уведомил Эдвина Монтегю, что поехать в Индию он в конце концов не сможет⁵.

Прошло уже более трех лет с тех пор, как Мейнард впервые попал под обаяние Лидии, когда она очаровала своих уставших от войны зрителей в *Колизее*. В своем первом письме ему от 29 декабря 1918 г. она благодарила за присланный экземпляр '*Экономических последствий мира*' и выражала наилучшие новогодние пожелания, «к которым мой муж от всего сердца присоединяется». Критик Сирил Бомон описал свое впечатление от Лидии той осенью:

Лопухова вне сцены очень напоминала Марриуччу на сцене. Ростом чуть ниже среднего, она обладала небольшой, хорошо сложенной фигурой, которая привела бы в восторг Теофиля Готье. Волосы у нее были очень светлые, кудрявились у лба и собирались небольшим пучком на затылке, у шеи. У нее были маленькие синие глаза, бледные пухлые щеки, и забавный нос, смахивавший на клюв колибри и придававший редкую пикантность выражению ее лица. У нее была оживленная манера поведения, которую нарушали порой накатывавшие печали. По-английски она говорила хорошо, с привлекательным акцентом, и в обычае у нее было делать глубокие замечания под видом легкой шутки. И я не могу забыть ее серебристый смех.

Мейнард вернулся с Парижской мирной конференции как раз вовремя, чтобы увидеть ее триумф в '*Волшебной лавке*' Мясина в театре *Альгамбра* в июле 1919 г. Фредерик Эштон говорил, что ее исполнение напоминало «игру шампанского». Лопухова, писал Бомон, «удивительным образом напоминала куклу, к чему превосходно

располагали ее округлые формы тела, пухлые черты лица, изогнутые губы, бесхитростное выражение лица».

Но 10 июля 1919 г. она внезапно «исчезла». Бомон заметил «некоторое охлаждение между Лопуховой и [ее мужем] Барокки» после постановки *'Лавки'*. Из отеля *Савой* она написала Дягилеву: «По причинам личного характера я переживала нервный срыв столь серьезный, что только с трудом могла выдерживать пребывание на сцене». Было ясно, что Лидия намеревалась бежать от мужа, но не могла этого сделать, оставаясь в труппе Дягилева, делами которого управлял Барокки. Никто не знает причины этого внезапного отчуждения. Возможно, это было связано с какими-то загулами Барокки на стороне⁷. Она переселилась к своим русским друзьям, жившим на севере Лондона. В течение восемнадцати месяцев о ней не было ни слуху, ни духу. Где она была в это время? Нельзя этого утверждать наверняка, по судя по некоторым косвенным признакам, часть времени она провела в России. Никто из ее знакомых не имел представления, где она пропадает, никто, кроме, возможно, самого Мейнарда, который хранил молчание. Это просто был эпизод, оставшийся в прошлом.

К маю 1921 г. Лидия была опять в Лондоне с Дягилевым, участвовала в блестящем сезоне в *Театре Принца*. В числе покоренных ею при новом появлении сердец были и те, что бились в груди фабриканта искусственного шелка Сэмюэля Курто и его жены Элизабет («Лил»), которые на долгие годы стали ее друзьями. Но в жизнь Кейпса Лидия снова вошла, похоже, только с возобновлением в ноябре дягилевской *'Спящей красавицы'* в *Альгамбре*, и то не сразу. Он опять поселился в доме 46 на Гордон-сквер, когда 5 декабря кончился триместр в Кембридже, по до Рождества время тратил в основном на завершение своей повой книги *'Пересмотр договора'*. Он ни слова не сказал о Лидии в письме Дункану из Парижа 21 декабря и упоминал о ней только на следующий день в письме Ванессе, все еще находившейся в Сан-Тропе.

Он, возможно, смущался говорить со старым другом о новой подруге.

Лидии Лопуховой было тогда тридцать лет, и позади у нее была на редкость разнообразно прожитая жизнь. Урожденная Лидия Васильевна Лопухова родилась в Санкт-Петербурге в октябре 1891 г., была третьей из пяти детей, среди которых четверо — Евгения, Федор, сама Лидия и Андрей — получили образование в Императорской школе балетного искусства, поступили в Мариинский театр и стали профессиональными танцовщиками. Федор со временем стал директором и главным хореографом Мариинского театра. Все, кроме Лидии после революции остались в России и там закрепились. Сама Лидия в 1909 г. поступила в кордебалет *Мариинки*. Она танцевала в Париже с другими артистами Императорского балета, собранными Дягилевым в 1910 г., и своей виртуозностью и бесхитростностью производила большое впечатление в *‘Сильфидах’*. Но вместо возвращения в Санкт-Петербург, и прежде, чем Дягилев сколотил в 1911 г. свою постоянную труппу, она уехала с братом Федором и сестрой Евгенией в Соединенные Штаты, куда их завлекли контрактом на выступление в «особом акте» в рамках программы передвижного водевиля. Ей было всего двенадцать, и это была первая из тех азартных карьерных игр, которые принесли Лидии известность. Вместе с Павловой и Михаилом Мордкиным, своим частым партнером, она вписала балет в пейзаж Америки. Ее обаяние, веселость и озорство повсюду делали ее любимицей зрителей. К концу 1915 г. она стала поговаривать о переселении в Соединенные Штаты на постоянное жительство и о замужестве с Хейвудом Броуном, ведущим спортивным обозревателем *‘Нью-Йорк Геральд трибюн’* (*‘New-York Herald Tribune’*), который чередовал комментарии к бейсбольным матчам с безудержно хвалебными отзывами о выступлениях Лидии.

Она могла бы все это продолжать (какое-то время), если бы Дягилев, задержанный войной в Швейцарии вместе с костяком своей труппы, не устроил себе турне по

Америке. Оно началось в Нью-Йорке в январе 1916 г. Привлекая Лидию на роль своей прима-балерины, Дягилев проникательно сознавал ценность ее американских связей; на сцене и вне ее она без устали работала над тем, чтобы обеспечить успех турне. В апреле она впервые танцевала с Нижинским в *'Призраке розы'* на сцене *Метрополитен* и нарвалась на редкое для нее неблагоприятное сравнение с Карсавиной. В действительности она по существу одна, без чьей-либо помощи спасала *Русские балеты*. Дягилев, сознавая ее ценность и учитывая ее ветренность, постарался связать ее с труппой, выдав замуж за Рандолфо Барокки, своего богатого покровителя, а теперь и управляющего делами — очень малорослого итальянца с тщательно подстриженными бородой и бакенбардами, наделенного чарующим обаянием и даром мимики.

При всей своей виртуозности и большом исполнительском обаянии Лидия не была классической балериной уровня Павловой или Карсавиной, выдающихся балерин той эпохи. Ей не хватало изящества и лиризма чистейшего классического типа. Она была очень невелика ростом и довольно кряжистого телосложения; ее голову часто уподобляли яйцу птицы ржанки; ее индивидуальность, сочетавшая в себе комизм с патетикой, проглядывала во всем, что она делала. Но она была больше чем «исполнительница характерных танцев». «На удивление, — писала ее подруга Лидия Соколова, —

все, за что она бралась, получалось. Немногие танцоры вели свои партии и взлетали в воздух так уверенно, как она. У Лидии были крошечные сильные ноги, маленькие ладошки и короткие руки. Она понятия не имела об укладке волос и на сцене применяла очень мало косметики — обычно все еще остававшейся на месте на следующее утро, — но когда она стояла и снизу вверх смотрела на Большого Сержа (как она называла Дягилева), со своим пучком волос на затылке, дрожащим кончиком носа, и выражением лица где-то между смехом и слезами, ручаюсь и любому скажу, что она стояла меры золота, равной ее весу⁸.

Со стороны Дягилева это был смелый жест — бросить вызов послевоенному вкусу роскошно возрожденной постановкой *'Спящей красавицы'* Чайковского, дышавшей романтизмом девятнадцатого столетия. Возможно, на недостаток у него веры в успех спектакля указывает то, что по требованию владельца *Альгамбры*, сэра Освальда Столла, Дягилев поменял название балета на *'Спящую принцессу'**. Дягилевский спектакль, состоявшийся 2 ноября 1921 г., было самой великолепной из когда-либо предпринимавшихся постановок этого произведения. Выделенный Столлом бюджет в размере 10 тысяч фунтов скоро был израсходован, и скрепя сердце сэр Освальд отвалил еще 10 тысяч.

Лидия была одной из четырех балерин, танцевавших главную партию — Авроры, но ее собственными особыми партиями были Сиреневая (или Добрая) фея и Зачарованная принцесса, исполнявшиеся в *pas de deux* с Идзиковским в спектакле *'Синяя птица'*, от которого ждали, что он затмит все на свете. Однако критики остались равнодушными, а публика отдала предпочтение своим рождественским пантомимам. Вместо постановок до самого лета, что позволило бы Дягилеву расплатиться со Столлом, *'Спящая принцесса'* была грубо сброшена со сцены 4 февраля 1922 г.

Кейнс досмотрел спектакль до конца, сидя в полупустом зале. По крайней мере на него *'Спящая принцесса'* произвела неизгладимое впечатление. Волшебная сказка Перро смешивалась с воспоминаниями о викторианских пантомимах и мелодрамах, на которые в детские годы водил его отец, сливалась в его воображении с влюбленностью в Лидию. Символика этого балета владела его мыслями. Именно *'Спящую красавицу'* он выбрал для открытия гала-сезона в Ковент-Гардене 20 февраля 1946 г., за два месяца до своей смерти.

* Лидии Дягилев ехидно сказал, что он переименовал название на *'Спящая принцесса'*, потому что форма ее носа не располагала считать ее красавицей.

За несколько дней до того, как сняли *'Спящую красавицу'*, Дягилев сбежал от кредиторов в Париж, оставив свою труппу в Лондоне бесприютной и без гроша в карманах. Мейнард быстро взял финансы Лидии под свою опеку, убедив ее открыть счет в банке, вместо того чтобы оставлять деньги на хранение главному швейцару отеля *Уолдорф*, в котором она жила. Ванесса все еще была за границей, и Мейнард поселил Лидию в ее квартире в доме 50 на Гордонсквер, где она начала устраивать грандиозные чаепития для голодных балерин. Мейнарду в любом случае надо было проводить в Лондоне большую часть весеннего триместра за работой над своими коммерческими приложениями к *'Манчестер гардиан'* (*'Manchester Guardian'*), так что он проводил с нею много времени, «к крайнему неудовольствию Себастьяна в Кембридже», как он поведал Ванессе⁹.

Безумное увлечение Мейнарда Лидией сначала не воспринималось его ближайшими друзьями как бедствие, а скорее удивляло их. Дункан писал Ванессе 25 января: «Что касается Мейнарда, то пока я не увижу, как у него идут дела с Л., мне приходится оставить всякие попытки понять, что происходит, — не хватает мне воображения». Скептицизм Дункана понятен. Его смущал не сам факт, что Мейнард хочет «продолжать» или «угомониться» с женщиной, которая его удивляла; другие блумсберийские гомосексуалисты уже пошли этой дорогой — и сам Дункан, и даже Литтон. Смущали его выбор женщины и накал его чувства. Лидия появилась из-за пределов того круга женщин, в котором друзья Мейнарда готовы были бы видеть подходящий или разумный для него выбор подруги жизни.. Если бы он остановился на какой-нибудь неоязычнице из Кембриджа или из Школы Слейда, мало у кого в Блумсбери взметнулись бы вверх брови от удивления. Но что, по крайней мере частично, отличало гомосексуализм Кейнса, так это его неспособность вступать в любовные отношения с женщинами такого рода. Его сексуальным и эмоциональным воображением владел свободный дух. Две больших любви его жизни, Дункан и Лидия, были людьми необразованными; их реакции были непосред-

ственны, свежи, неожиданны. Кейнс не искал кого-то ниже себя, ему требовалось дополнение или противовес его собственной интеллектуальности. Нужно помнить также, что в голове Кейнса не было ничего приземленного. Его воображение могло перепрыгивать и перелетать через любые создаваемые разумом препятствия. Он был игрок, и Лидия была его самой большой азартной игрой.

3. Восстановление Европы

Отмена Кейнсом своей поездки в Индию означала, что он может теперь посвятить себя продумыванию *‘Приложений о восстановлении’* как серии приложений к *‘Манчестер гардиан’*; первый выпуск был намечен на апрель 1922 г. Всего предполагалось двенадцать выпусков. Платить должны были 200 фунтов за выпуск как редактору плюс шиллинг за слово подписных статей согласно его международным авторским правам, и еще кое-какие гонорары за подготовленные им материалы без подписи. В конечном счете он написал дюжину подписанных статей, часть из них весьма пространных; так что в целом его доход от этой работы приблизился к 4 тысячам фунтов.

За эти неплохие деньги Кейнс работал как одержимый. Пребывание в Кембридже было сведено к кратчайшим уикендам, а свои преподавательские обязанности он до конца триместра переложил на Джеральда Шоува. Таким образом он освободил себе большую часть весеннего триместра 1922 г. для подготовки *‘Приложений’*, включая и написание собственных статей. Они преподносились как «исчерпывающий обзор европейских финансов, экономики и промышленности, написанный авторитетнейшими специалистами Европы», издаваемый «на пяти языках и дающий более полное знание обстановки, чем до сих пор можно было получить где-либо еще» Кейнс, подобно Дягилеву, выступал как импресарио сложного проекта. Он должен был определять общее содержание и коп-

кретные темы каждого выпуска; подбирать авторов; устанавливать ставки оплаты; исчислять затраты на данный выпуск; обеспечивать переводы. *'Манчестер гардиан'* создал обширную вспомогательную службу, хотя у редактора, К.П. Скотта, возникали насчет Кейнса смешанные чувства. Ему не по душе был его «сухой интеллектуализм», и он писал историку Дж. Л. Хэммонду: «Кейнс — блестящий и оригинальный мыслитель в своих областях, но он также самый упрямый и эгоцентричный человек, с каким я когда-либо сталкивался»¹⁰.

«Спасение через знание» — под таким флагом выходил в плавание корабль Кейнса, и он был настроен собрать блестящую команду. Он понимал, какую важную роль должна сыграть в европейском восстановлении психология, и завербовал авторов и мыслителей уровня Максима Горького, Анри Барбюса, Анатоля Франса (который, однако, так ничего и не прислал), Бенедетто Кроче и Гильельмо Ферреро. В числе других авторов были Карл Мельхор, Ялмар Шахт, Уолтер Липпман, Луиджи Эйнауди, Артур Пигу, Освальд Фолк, Асквит и Сидней Вебб.

Первое *'Приложение'* появилось 20 апреля 1922, с тиражом английского издания в 30 тысяч экземпляров. Очередные выпуски продолжали выходить с интервалами примерно в три недели до 4 января 1923 г. по цене один шиллинг каждый. Первый выпуск был посвящен проблеме валютного обмена. Кейнс написал для него не менее трех авторских статей: версии двух из них вошли позднее в его *'Трактат о денежной реформе'*¹¹. При всем ужасающе специальном содержании, вопрос сводился к простой схеме и имел непосредственное практическое значение. Все соглашались с необходимостью как можно скорее вернуть мир к системе твердых обменных валютных курсов. Вопрос, который ставил Кейнс, подавался как «Стабилизация или дефляция?». Следует ли установить курсы подорванных европейских валют, выразив в золоте их нынешнюю упавшую стоимость, или надлежит сделать усилие, чтобы восстановить их более высокую довоенную стои-

мость? Реформаторы, в ряды которых влилось теперь большинство экономистов, ответили: «Стабилизация» (или девальвация); «здравомыслящие» денежные люди, то есть главным образом банкиры, говорили: «Дефляция!» Кейнс был монетаристом-реформатором. Он настаивал, что «гораздо важнее установить твердые обменные курсы, чем улучшить их». Это все больше вовлекало его в конфликт с Английским банком и британским Казначейством, которые стремились восстанавливать довоенное золотое содержание фунта. В тот самый день, когда появилась его статья, Кейнс написал Луиджи Эйнауди: «Мы оба считаем неотложной задачей убедить мир, что возвращение к довоенным паритетам есть нелепость...»¹²

«Важной и новой особенностью» первого *‘Приложения’*, сохранившейся во всех двенадцати выпусках, был «барометр», отражавший движение «индекса» условий для деловой активности. Составители «индексов» в Лондонской школе экономики (для Европы) и в Департаменте экономических исследований Гарвардского университета (для Соединенных Штатов) утверждали, что эти «барометры» способны предсказывать изменения экономической погоды. С Уильямом Бевериджем и А.Л. Боули из Лондонской школы экономики и Чарльзом Буллоком из Гарварда Кейнс провел много времени, обсуждая теорию барометров и вопрос о приобретении прав на публикацию «индексов» в своих *‘Приложениях’*. Обычно он весьма скептически относился к использованию индуктивных методов предсказания будущих событий, но на сей раз попал под их очарование. Дошло до того, что в письме Освальду Фолку от 26 октября 1921 г. он предложил разработать специальные индексы, способные отражать, в отличие от «тенденции», «силу тенденции» и назвал их *Акселераторы*, или *Усилители*¹³. В 1923 г. Кейнс помог созданию в Лондоне и Кембридже экономической службы — регулярного обзора условий деловой активности — и в течение семи лет составлял для него ежегодную сводку о запасах биржевых товаров. Различие между Кейнсом и частью его сотоварищей-

«барометристов» состояло в том, что он, в сущности, не верил, будто деловая активность подобна приливам и отливам, то есть не поддается человеческому контролю. Скорее он искал достаточное статистическое основание для «научного» управления кредитом, в котором видел ключ к успешному управлению деловым циклом.

4. Генуэзская конференция

К тому времени, когда появилось первое *‘Приложение’*, Кейнс утонул в уюте отеля *Мирамар* в Санта-Маргерите. Сюда он прибыл 8 апреля, чтобы освещать для *‘Манчестер гардиан’* Генуэзскую экономическую конференцию. Это было третье и последнее его покушение на журналистику, добавившее тринадцать статей к его рабочей нагрузке и тысячу фунтов к его доходу¹⁴. Задание было странное, поскольку Кейнс наверняка должен был знать, что Конференция с участием двадцати девяти стран достигнет немногого или вовсе ничего. То был осколок гораздо более величественного проекта Ллойд Джорджа, сердцевиной которого должен был стать обмен британских гарантий безопасности Франции на французские уступки в разделе репараций, но который также предполагал вовлечение Америки и ведущих европейских государств в международный консорциум, создаваемый с задачей финансировать восстановление Советской России. Немецкое участие в такой схеме имело бы то преимущество, что давало бы Германии доходы для выплаты репараций без ущерба для британской торговли.

Однако эти большие замыслы упрямо отказывались осуществляться. Французский премьер-министр Аристид Бриан, подозреваемый в том, что он находится под пятой у Ллойд Джорджа, ушел в отставку после Каннской конференции в январе 1922 г. Его преемник, Раймон Пуанкаре, упрямый адвокат из Лотарингии, с душой бухгалтера, пришел к власти связанным клятвой «твердо отстаивать

права Франции, закрепленные в Версальском договоре». Он отказался приехать в Геную сам и изъял из ее повестки дня вопрос о репарациях. Это заставило Америку также отойти в сторону на том основании, что никакого «реального» дела не будет¹⁵. Единственное, что осталось, — это надежда Ллойд Джорджа на возрождение экономики Европы (и увядающего британского экспорта) за счет финансирования и восстановления Советского Союза, для чего денег у Ллойд Джорджа не было¹⁶. Ллойд Джордж явно становился скрытым кейнспанцем, но слишком поздно. Если бы он был способен предложить Франции большую долю сокращенной суммы репараций, как предлагал Кейнс, он мог бы добиться каких-то успехов. Но этому мешали его собственные ошибочные действия в Париже в 1919 г. и упорство Америки, настаивавшей на полной выплате британского долга. Не мог он также предложить Франции британские войска для ее защиты — только бумажные обещания. Тем временем Германия, по существу, прекратила выплачивать репарации, и марка (при паритетной стоимости 20 марок за фунт) упала с 250 в марте 1920 до более чем 1000 к марту 1922 г.

Хотя Кейнс прибыл в Геную как журналист, он не был бы Кейнсом, если бы не имел в запасе хитро продуманного плана. Это был его план стабилизации обменных курсов. Его появление в *‘Манчестер гардиан’* 6 апреля было тщательно рассчитано на то, чтобы стать главной темой разговоров на конференции; экземпляры газеты были заранее заготовлены и распространены.

Кейнс предложил, чтобы победители и нейтралы немедленно установили взаимные обменные курсы на основе текущего золотого содержания их валют. Это придавало бы постоянную стоимость тем валютам, которые обесценились более чем на 20 процентов; более сильным валютам, таким как стерлинг, было бы позволено «ползти» к их довоенным паритетам, но не больше чем на 6 процентов в год, если соответствующие страны посчитают, что того требует их престиж. Центральные банки должны бы-

ли разрешить 5-процентное расхождение между ценами продажи и покупки золота, чтобы приспособиться к колебаниям спроса на их валюту. Им следует дать разрешение на заимствование золота у Федеральной резервной системы США под 10 процентов годовых и на сумму в 150 миллионов долларов для каждой страны, а для всех вместе не более 500 миллионов на любой момент времени¹⁷. Кейнс продолжал составлять такого рода планы (с некоторыми техническими вариациями) всю свою оставшуюся жизнь: последний среди них привел к созданию в 1944 г. Бреттон-Вудской системы. Но за этим единственным исключением, они всегда проваливались, натываясь на нежелание Соединенных Штатов играть отводившуюся им роль последнего спасителя. Валютная реформа продвигалась в Генуе по разным линиям, принимались резолюции, рекомендовавшие в качестве «средства экономии золота хранение резервов в форме запасов иностранной валюты»¹⁸. Это предложение о введении золото-обменного стандарта исходило от Ральфа Готри, пребывавшего тогда на вершине своего влияния в Казначействе.

Что в Генуе интересовало Кейнса больше всего, так это присутствие русской делегации, впервые после войны приглашенной присоединиться к размышлениям европейских первосвященников. Он отрицал — в статье, появившейся 10 апреля, — что «проблема ближайшего будущего — [это противостояние] между силами большевизма и буржуазными государствами образца девятнадцатого столетия». Большевизм — это преходящая горячка, вроде якобинства, «выпестованная заблудшим идеализмом и интеллектуальной ошибкой, порожденной страданиями и особенностями темпераментов славян и евреев». Он ожидал, что со временем Россия и Запад сойдутся на умеренном социализме. Пока же «солдаты и дипломаты — вот вечный и бессмертный враг»¹⁹. Кейнс никак не мог предполагать, что Советский Союз есть новая форма державного государства, способного стать еще более опасным врагом либеральных ценностей, чем «солдаты и дипломаты».

В своих надеждах на конвергенцию он, несомненно, находился под влиянием собственных симпатий, которые пробуждал в нем Чичерин, изящный гомосексуалист, человек старой школы, прибывший в Геную как комиссар иностранных дел Советской России. 12 апреля Кейнс пригласил его на обед и сказал ему: «Вопрос о том, родит ли конференция что-нибудь, кроме скуки, почти полностью зависит от вас и г-на Ллойда Джорджа, от вас двоих». По существу, это именно Чичерин дал Кейнсу интервью в отеле *Империял* в Санта-Маргерите 13 апреля. Кейнс старался сблизиться с этой «весьма любезной и приятной змеей»²⁰, которая, однако, просто проводила в жизнь советскую внешнюю политику.

Каждый день Кейнс получал полное обожания письмо от Лидии из Лондона; из его посланий ей сохранились лишь две коротких записки (точнее сказать, ничего из отправленного до сентября 1921 г.) 11 апреля ей «очень захотелось посмотреть твои напечатанные статьи: сегодня я обошла три стенда, но ни один не продает *'Манчестер гардиан'*»... И добавляла: «Я веду жизнь простого рабочего человека, а ты — ты ходишь по вечерам в увеселительные заведения?» (Кейнс играл на деньги в казино в Рапалло.)

18 апреля Кейнс снова обратился к России. Ллойд Джордж также хотел заключить разумную сделку с Чичериным, но ему подрезало крылья настойчивое требование французов, чтобы Советский Союз сначала признал царские долги. Кейнса это ужасало, напоминая повторение Версаля с его «вздором о миллиардах».

Мы давим на Россию, заставляя ее повторять некие слова и не особенно заботясь о том, отражают ли они искренние намерения, так же как мы успешно давили на Германию... Мы действуем как первосвященники, а не как сборщики недоимок. Еретикам надлежит повторять за нами священные тексты... Генуя, вместо того чтобы пытаться развязывать бесконечные узлы невыносимого долга, просто предлагает запутать дело еще больше добавлением кучи дру-

гих глупых обязательств. Вера в то, что все это защищает и укрепляет святость контракта, есть прямая противоположность истине²¹.

Англия должна списать российский военный долг. России нужно позволить прийти к соглашению с другими ее довоенными кредиторами о погашении долгов небольшими ежегодными выплатами после пятилетнего моратория. Всюду, где возможно, частная собственность иностранцев «должна быть возвращена первоначальным владельцам на основах партнерства или схем раздела прибыли между собственниками и большевистским правительством...» Это открыло бы путь для возвращения иностранного капитала в Советский Союз. Стимулами могли бы послужить также признание де-юре и предоставление экспортного кредита в размере 50 миллионов фунтов для финансирования российских закупок сельскохозяйственных машин и транспортных средств в Англии и Германии. «Если благодаря этому Россия возобновит экспорт продовольствия на год раньше, чем сможет в ином случае, это могло бы повлечь за собой снижение цены пшеницы, достаточное, чтобы сэкономить нам огромную часть наших расходов на продовольствие»²².

Ни одна из этих идей, конечно, не прошла. Две страны-партнеры, Россия и Германия, подписали 16 апреля отдельное соглашение в Рапалло, отказавшись от всех требований друг к другу и поставив сборщиков долгов в дурацкое положение. Это не обеспечивало восстановления России с помощью немецкого капитала, потому что никакого капитала у Германии не было. Открытым остается вопрос: можно ли было подкупить большевиков западными кредитами и заставить их отказаться от своей революции? Революция еще не была замурована в сталинистский бетон. Ленин был оппортунистом высшего разбора. В марте 1921 г. своей *Новой экономической политикой*, приветствовавшей и иностранный капитал, он поставил страну на путь частичного возвращения к ка-

питализму. Ратенау считал так: «Пусть частным корпорациям будет дозволено действовать индивидуально. Когда они наберут достаточное количество контрактов, советская система падет²³». Ллойд Джордж и Кейнс были того же мнения. Мы никогда не узнаем, как бы повернулось дело, потому что осуществить идею подкупа так и не попытались.

Статьи Мейнарда о России сильно возбуждали Лидию. «Я вижу твои симпатии к России, — писала она ему 18 апреля. — Когда Чичерин их прочтет, он будет следовать твоим указаниям...» Комментарии Лидии едва ли могут считаться глубокими. Но не в том была их цель. Они были рассчитаны на то, чтобы укрепить в Мейнарде чувство собственного достоинства. Он никогда не слышал подобных похвал от своих друзей в Кембридже или Блумсбери. Годом ранее он признавался Вирджинии Вулф, что «любит, когда его хвалят и ему всегда хочется хвастаться». Говорил, что «многие люди женятся, чтобы было перед кем похвалиться. Мне нужны похвалы, когда сомневаюсь в своих действиях». Особенно он сомневался в своей журналистской деятельности, не был уверен, что достаточно владеет пером. Лидия рассеивала эти сомнения. «Не нападай на свои газетные статьи, — писала она 22 апреля. — Только подумай, сколько народу их читает, понимает и запоминает». И снова 28 апреля: «Ты говоришь, что приносишь мало добра. Это неправда... Разве не видишь, как ты им нужен?» Похвалы Лидии имели огромное значение. «Твои статьи доносят до меня твоё дыхание» «Твои планы... как чистые стройные сооружения».

Но Лидия притязала не только на его душу. Ее ранние письма полны выражений, дышащих сексом: «Я вливаюсь в тебя, мой Мейнард»; «Я все время храню твои теплые влажные поцелуи»; «Я покрываю тебя поцелуями, полными огня»; «Я тянусь к тебе с нежностью, широкой как море»; «Я хочу обвитья вокруг тебя и дать волю всему изобилию моего чувства». Она часто подписывалась:

«твоя преданная собака». Сознание, что он вдохновляет на такую сексуальную преданность, должно было творить чудеса с тем, кто был убежден в своей непривлекательности для представителей обоих полов. Кейнс, казалось, расплачивался по счету: «Я хочу, чтобы ты меня кусала и кусала...» — писал он из Генуи 24 апреля. Сексуальные отношения, несомненно, развивались, и к 1924 г. Лидия выражала удовольствие по поводу «нежного пальца» Мейнарда. Ей был присущ нравившийся ему ребяческий юмор. «Вчера вечером, — писала она 21 апреля, — я так хохотала и не могла остановиться — с Мяси́на во время танца свалились рубашка, воротничок и шляпа; когда я это увидела, сразу подумала, что, свались с него штаны, мы бы наверняка изрядно позабавились».

5. Приличия ради

Возвратившись из Генуи 4 мая, Мейнард столкнулся с растущими осложнениями в своих делах с Лидией. Он поселил ее в квартире Ванессы в доме 50 на Гордонсквер. Все было прекрасно, пока Ванесса находилась далеко от Парижа. Но она возвратилась, как раз когда Мейнард уехал в Геную. Лидия оставалась ее квартиранткой. Похоже, на этой стадии больших трений между ними не возникало. По существу, как говорила Ванесса Роджеру Фраю, с Лидией они виделись очень немного, только поздно вечером, и она была весьма очаровательна, хотя «есть, может быть, какая-то доля правды в сетованиях Клайва, что у нее лишь один предмет для разговора — балет»²⁵. По существу, именно Клайв, муж Ванессы, первым восстал против Лидии. Лидия Клайву, конечно, нравилась. «Танцующей Лидии» он посвятил даже душещипательные стихи (/Неужто это правда?/ Прихоти Ариеля / Воплотились в твоих искусных движениях?). Он флиртовал с нею, как со всеми симпатичными женщинами, что, похоже, пробудило ревность его любовницы Мэри Хат-

чинсон. Во всяком случае, это, видимо, Мэри, «настраивала Клайва против Лидии»²⁶. Он внезапно предложил Ванессе провести летний отпуск во Франции, потому что целое лето Лидии одной в Чарлстоне было бы слишком скучно. Порядок размещения на Гордон-сквер также следовало изменить. Все осложнялось тем, что Лидии не нравилось жить с Кейнсом любовницей. Она считала, что это будет «чересчур скандально». Во всяком случае, Ванесса сказала Клайву: «Не вижу, почему мы должны изменять себе ради того, чтобы они блюли свои правила приличия, притом не думаю, что мы можем строить летний отпуск с Лидией как членом семьи. Я с ней прекрасно лажу, и она мне очень нравится, но ввести кого-то еще, особенно женщину, и больше чем на неделю, в такое тесное общество, как наше, — значит накликать беду». Ванесса в конце концов написала 19 мая Мейнардугу напрямик, что они с Лидией не будут в сентябре желанными гостями в Чарлстоне.

Ничто не устроилось сразу. Лидия чувствовала, что все идет неладно. Сохранилось ее письмо Мейнардугу (от 12 июня 1922 г.) с очень редкой ноткой недовольства: «Клайв устроил чаепитие — кофе на льду был вкусный; как обычно, было очень много скучных людей, включая Оттолайн, Мэри, Дж.Г. Смита и др.». В течение большей части июня и июля Лидия танцевала в *Колизее*, а Мейнардуг продолжал работать над *‘Приложениями’*.

4 августа Кейнс поехал в Оксфорд, чтобы выступить в Летней школе либералов с рассказом о репарациях. На другой день у Лидии закончился сезон в *Колизее*. 8 августа эти двое влюбленных поехали вместе в Остенде посмотреть балет Дягилева и поучаствовать в азартной игре с Шеппардом: за границей правила приличия могли быть отставлены в сторону.

По возвращении Мейнардуг поехал на несколько дней в гости к Маккенне в Менабилиту в Корнуолле, а Лидия в это время танцевала в Манчестере. «Я спую между Корнуоллом, Гамбургом, Суссексом и Уилтширом», — писал

Кейнс Себастьяну Спротту 19 августа из Менабилиты. 23 августа Лидия исполняла канкан перед скрюченными ревматизмом старыми леди в Хэррогэйте; тремя днями позже Кейнс показывал свой самый последний финансовый план скрюченным ревматизмом старикам-банкирам в Гамбурге; 7 сентября они оба осели в Оре, близ Мальборо, в Уилтшире, в доме, арендованном Мейнардом у Джеффри Фрая, служившего под ним в Казначействе. Здесь они наконец провели вдвоем три недели. Их соседями были Десмонд и Молли Маккарти, а в гости заглядывали только Шеппард и Сесил Тейлор. «Мы здесь очень счастливы, — написал Мейнард Ванессе 17 сентября, — и время проносится. Каждый день мы совершаем конные прогулки в изумительной местности, и к концу недели, как считает инструктор верховой езды, Лидия станет прекрасной наездницей».

В Блумсбери шумы наконец утихли. Лидия переселилась из дома 50 в дом 41, Ванесса из дома 50 в дом 46, а Клайв из дома 46 в дом 50. Лидия начала танцевать в открывшейся 9 октября трехнедельной программе дивертисментов в *Колизее*. На сей раз, поддерживаемая Мейнардом и под его руководством, она создала собственную балетную труппу. Столл давал ей 175 фунтов в неделю, и из этих денег она платила другим балеринам. «С точки зрения искусства, — писал ей Сирил Бомон, — ваш дивертисмент на мили выше, чем шоу Мяси́на». Ее подруга Вера Боуен сделала еще одну постановку в хореографии Мяси́на и с оформлением Дункана Гранта — '*Вечерняя музыка Моцарта*', — которой 1 ноября открылся сезон в *Колизее*. 29 октября Ванесса сообщила Роджеру Фраю: «Мейнард в Лондоне уже несколько дней. Потом собирается в Берлин помогать им устраивать их финансы. Лидия и он, решили, кажется, пожить семейной жизнью, и я совсем не уверена, что дело и впрямь не кончится браком, поскольку, я думаю, у нее появляется желание занять ребенка и она скоро настоит на этом. Ну, если так, мне придется переезжать еще раз».

6. Невезучие эксперты

Появлением Кейпса в Берлине 2 ноября 1922 г. было обозначено возвращение на сцену экспертов после провала великих политических начинаний Ллойд Джорджа. Неудача, постигшая Ллойд Джорджа в Генуе, не только обрекла его на уход с поста премьер-министра, но и положила конец англо-французскому сердечному согласию. Он был убежден, что останься Бриан у власти, «умиротворение в Европе, от Урала до Рейна», могло быть достигнуто в 1922 г.²⁷ Это необоснованное мнение: англо-французские разногласия были слишком велики. После Генуи в Лондоне поняли, что ключ к европейскому урегулированию лежит в Вашингтоне, не в Париже. Американская цель, отражая взгляды как новой республиканской администрации Уоррена Гардинга, так и нью-йоркских банкиров, состояла в том, чтобы изъять финансовые дела из сферы политики и обращаться с ними как с чисто деловыми вопросами. Программа администрации увязывала возобновление частных американских займов Европе с выплатой военных долгов союзников Соединенным Штатам, урегулированием проблемы репараций финансовыми экспертами, а не политическими деятелями, и со стабилизацией валют. В течение лета и осени 1922 г. эксперты и банкиры встречались и разрабатывали планы; все они провалились, столкнувшись с решительным отказом Пуанкаре «допустить, чтобы собрание банкиров судило о нравах Франции или определяло ее судьбу»²⁸. В августе 1922 г. нота Бальфура заявила о намерении Британии ограничить свои притязания на репарации и погашение имевшейся перед ней задолженности военного времени только чистой суммой своих обязательств Соединенным Штатам. Несмотря на враждебные отклики на ноту и в Америке, и во Франции, это был первый шаг по пути перестройки британской политики.

В своей речи перед слушателями Летней школы либералов 4 августа 1922 г. Кейнс осудил представленную в

ноте Бальфура попытку связать проблему репараций с британским долгом Соединенным Штатам. «Мы должны отказаться от требований о выплате пенсий и покончить с захватом Рейнской области... Если бы Франция согласилась, а это в любом случае отвечает ее интересам... с нашей стороны было бы правильно простить ей (и другим нашим союзникам) все, что они нам задолжали... независимо от того, что могут говорить или делать Соединенные Штаты»²⁹. Находясь в более мрачном расположении духа, он задавался вопросом, не несут ли на себе все эти планы получения долгов, разумные или нелепые, печати неправильного толкования современной экономической жизни. Аналогия между правительствами и деловыми фирмами была неверна: если государство отказывается платить по своим долгам, «для того чтобы разбираться с этим, не существует никакой юридической процедуры... глупо поэтому предполагать, будто найдутся какие бы то ни было способы, позволяющие современной нации на протяжении многих лет сдирать дань с другой нации». Европейская цивилизация нуждалась, дескать, в немецкой поддержке, чтобы защититься от «темных сил большевизма». Вся старая враждебность Кейнса к Ллойд Джорджу вырвалась наружу: «среди всех, кто когда-либо долго стоял у власти в Англии», он «оказался наименее способным к устойчивому и конструктивному государственному руководству». Пришло время, заключал он, чтобы «новые люди... ускорили прогресс, чего настоятельно требует сегодняшнее состояние Европы»³⁰.

День новых людей наконец наступил. 22 октября 1922 г. власть выпала из рук Ллойд Джорджа, павшего жертвой кризиса вокруг Чанака и «зловонного скандала с распределением почетных званий»³¹. Его преемником стал прежний шеф Кейнса в Казначействе Эндрю Бонар Ло, который после всеобщих выборов в ноябре сформировал правительство из одних консерваторов. В Германии Йозефа Вирта 14 ноября сменил Вильгельм Куно, «аполитичный» гамбургский судовладелец и друг Мельхиора.

Новый человек совсем иного рода, Бенито Муссолини, 30 октября встал у власти в Италии.

Лорд Д'Абернон, британский посол в Германии, уговорил правительство Вирта пригласить Кейнса в Берлин в составе комиссии экспертов-консультантов по денежной реформе. В комиссию вошел ряд «очень умных людей» (Кейнс, Кассель, Брэнд и Дженкс, американский профессор), и была подсыпана «необходимая щебенка унылых представителей респектабельности» (Виссеринг, Дюбуа и Каменка). В Берлине к ним присоединились члены репарационной комиссии Барту и Брэдбери, спорившие между собой об условиях моратория. Прибытие такого множества докторов для лечения валюты оказалось для нее почти роковым: «Как только они появились, марка рухнула: на сей раз она совсем выбилась из-под контроля и понеслась головой вниз в пропасть».

В Берлине Кейнс пробыл неделю; Мельхиор устроил ему квартиру и секретаря в главной конторе пароходства *Гамбург-Америка* на Белльвюштрассе. 5 ноября Брэнд жаловался на рабочую перегрузку — и Кейнса. «[Он] весьма угнетает других членов комиссии. Из-за его командного тона и чрезмерной критичности во многом теряется эффект его исключительного ума. Они начинают относиться к нему с недоверием. Он всегда хочет всех подгонять». 7-го эксперты представили свои доклады германскому правительству. «Один банкир и три профессора» (Брэнд, Кассель, Дженкс и Кейнс) подписали доклад большинства, составленный Кейнсом. Он призывал Германию собственными усилиями немедленно стабилизировать марку, но подчеркивал, что это требовало двухлетнего моратория на выплаты репараций и сбалансированного бюджета «за счет строжайшей экономии государственных расходов и строгой налоговой дисциплины». Иностраннный заем был бы полезен, но без него можно обойтись. Лорд Д'Абернон считал этот доклад «самым важным документом, появившимся в ходе недавних споров о репарациях»; и добавлял: «К нему не было проявлено ни малейшего внимания ни среди союзни-

ков, ни в Германии. Кредитор и должник — не согласные ни в чем — согласились не обращать на него внимания»³².

Доклад экспертов не был пронемецким. Немцы утверждали, что причиной краха марки был неблагоприятный торговый баланс, так что при сложившихся обстоятельствах для стабилизации требовался большой иностранный заем. Кейнс совершенно не принимал этого рассуждения. Как он писал 7 декабря в одиннадцатом выпуске своего *‘Приложения’*, «если количество денег в обращении находится под контролем, рано или поздно валюта может быть стабилизирована. Эта простая истина все еще сохраняет силу. Количеством денег в обращении можно управлять, если правительство не находится в трудном финансовом положении». Таким образом, ключ к стабилизации, сказал Кейнс Рудолфу Хавенштайну, президенту Рейхсбанка, — это прекратить печатать деньги.

Таков был Кейнс, поднявшийся на вершину ортодоксии и заговоривший с акцентами Юма и Рикардо. Такой же была и французская позиция. На чем он настаивал, возражая французам, так это на том, что социальная система способна выдержать лишь очень ограниченное напряжение, прежде чем ее постигнет крах.

С приходом на пост канцлера в Берлине Куно, при котором советником состоял Мельхиор, и Бонара Ло на пост британского премьер-министра Кейнс имел теперь доступ к высшим чиновникам в двух странах. В Лондоне он обнаружил, что с ним консультируются «почти как в старые дни службы в Казначействе»³⁴. 19 декабря он посетил Бонара Ло и предложил ему собственный план, снова рассчитанный на предоставление Франции большей доли сокращаемых репарационных платежей³⁵. Накануне Стэнли Болдуин, новый канцлер Казначейства, консультировался с ним насчет американского долга, ради улаживания которого Болдуин собирался ехать в Вашингтон. В то же время он установил, через Мельхиора, линию связи с новым германским правительством. Мельхиору он писал 1 декабря: «Я думаю, что в Англии едва ли сы-

щется видный политический деятель, которого бы не удивляла и не беспокоила беспримерная слабость немецкого правительства... в его бесконечных попытках... искать и находить некую бесполезную, лишь бы не оскорбительную формулу... Нет ли в Германии кого-нибудь, способного говорить ясным голосом?»³⁶ В этот момент он, вероятно, решил, что он сам будет говорить этим ясным голосом. Мельхиор передал его комментарии Куно. Кейнс чувствовал, что наконец-то он был там, где ему хотелось быть: в точке, позволявшей содействовать выработке политики обеих стран — с двух сторон, изнутри и извне.

7. Кейнс — Мельхиор

То, что происходило в следующие несколько месяцев, и особенно в мае — июне 1923 г., было, конечно, эпизодом из числа самых странных в жизни Кейнса и наиболее любопытных в тайной дипломатии межвоенных лет. По существу, он и немецкий банкир Карл Мельхиор направили возникшую между ними в Спа в 1919 г. «занятную близость» на то, чтобы добиться англо-германского согласия. Сговор победителя и побежденного в этом случае нашел отражение в переписке, — частично, к сожалению, не сохранившейся — по ходу которой Кейнс предлагал конструктивную критику германской тактики, Мельхиор передавал ее Куно и снабжал Кейнса «внутренней» политической и финансовой информацией, использовавшейся им затем в разговорах с британскими должностными лицами. Таким способом эти два друга надеялись настроить свои правительства на взаимоприемлемую волну.

Их дружба скорее дала возможности, чем заставила, играть игру, задуманную ими как в национальных интересах их собственных стран, так и в интересах Европы в целом. Для Мельхиора призом должна была стать изоляция Франции. Кейнс полагал, что французская политика при Пуанкаре таила в себе экономические и территориальные

амбиции, угрожавшие британской торговле. Риски в этой любительской дипломатии были очевидны. Вселяя в немцев веру, что рано или поздно британцы перекинутся на их сторону, Кейнс поощрял германское сопротивление французским требованиям. Подобно большинству англичан, он недооценивал французскую твердость. Результаты для обоих оказались неожиданными. Посодействовав разжижению прямых франко-германских переговоров, инициатива Кейнса — Мельхиора проложила путь будущему американскому вмешательству, которое завершилось появлением Плана Дауэса.

Поводом для этой частной инициативы была попытка Франции ускорить преодоление германской неплатежеспособности. Государственные деятели и эксперты снова собирались со своими предложениями — в Лондоне 9 декабря 1922 г., в Париже 2 января 1923 г. На первом из этих совещаний Бонар Ло представил предложения британского Казначейства, подразумевавшие «радикальное переосмысление вопроса о репарациях»³⁸. Пуанкаре, как и следовало ожидать, отклонил британские идеи и приготовился действовать. Убедив большинство в Комиссии по репарациям обвинить Германию в невыполнении поставок угля, он 11 января 1923 г. послал в Рур французских инженеров и войска. «Франция, — заявил Кейнс, — решила разорвать Договор и нарушить мир в Европе».

Завоевывая доверие Казначейства, Кейнс терял его у Английского банка. В конце декабря Болдуин, новый канцлер Казначейства, отправился в Вашингтон вместе с Монтегю Норманом, управляющим Банка, чтобы принять меры к урегулированию британского долга Америке. Для управляющего Английского банка делом чести было выплатить все, что Англия взяла займы. Честь совпадала с интересами Сити, с планами англо-американского сотрудничества в восстановлении золотого стандарта и возобновлении американских кредитов Европе. Все это были существенные составные части великого замысла Нормана. Кейнс последовательно отстаивал отмену межсоюзни-

ческих долгов. Он не считал их моральными обязательствами, так как они возникли в борьбе за общее дело. Он опасался, как бы Англия не сочла себя обязанной расплатиться, даже ничего не получая от своих должников. Более того, в связи с военными долгами вставали те же самые теоретические и практические вопросы, что и в связи с германскими репарациями. Они не создавали никаких активов, приносящих прибыль, за счет которой можно было бы их погашать: выплаты можно было производить только за счет снижения жизненного уровня населения. В своем *‘Пересмотре договора’* он предсказывал — и не ошибся, — что «Америка не больше будет добиваться полного погашения долгов союзников, чем союзники полного расчета Германии по репарациям. Ни то ни другое в конечном счете серьезной политикой не является»³⁹. Но в конечном счете все мы, как он сам будет потом говорить, покойники; а пока что американцы хотели получить то, что им причитается. Как говорил президент Кэлвин Кулидж, «мы дали им деньги взаймы, не так ли?».

Кейнс был потрясен, когда в январе Болдуин возвратился со своим воображаемым урегулированием, предусматривавшим ежегодные британские выплаты от 161 до 184 миллионов долларов в течение предстоявших шестидесяти двух лет. Он и Маккенна посоветовали Бонару Ло отклонить такие условия: «Пусть Америка обнаружит, что она полностью зависит от нашей милости, как мы — от милости Франции, а Франция — от милости Германии», — написал Кейнс 30 января личному секретарю Болдуина Дэвидсону⁴⁰. Бонар Ло пригрозил уйти в отставку, если кабинет эти условия примет; но Маккенна, который призывал его сопротивляться, теперь пошел на попятную. Норман был разъярен тем, что Кейнс подвергает опасности его проекты. В Вашингтоне он был очень увлечен «новообнаружившимся желанием американцев вернуться в Европу»⁴¹. Теперь он отметал Кейнса как «умного дилетанта с потенциалом творить зло еще большим, чем даже у безответственного Бивербрука».

Тем временем в Центральной Европе образовался дипломатический тупик. Вместо капитуляции, которой, возможно, ждал Пуанкаре, вводя французские войска в Рур, германское правительство выступило с призывом к пассивному сопротивлению — прекращению работы в оккупированных областях, — то есть взялось проводить политику, которая финансировалась из пустой казны и привела к окончательному крушению марки. Это вынудило французов и бельгийцев принять на себя обслуживание железных дорог и эксплуатацию шахт Рура, обеспечивая их своей рабочей силой. Британцы раскачивались посередине «не желая ни рвать с Францией, ни призывать к порядку Германию»⁴². (Д'Абернон уподобил Бонара Ло Понтию Пилату.) Американцы ничего не хотели делать до окончательной утряски вопроса с долгами. Обстоятельства располагали к «ряду дальнейших индивидуальных инициатив, более или менее свободных от связи с позициями разных правительств»⁴³.

Только 20 апреля Лорд Керзон, франкофил в должности британского министра иностранных дел, попросил Германию представить ее предложения о мирном урегулировании. В немецком ответе от 2 мая, в подготовке которого принимал участие Мельхиор, предлагалось немного меньше, чем запрашивал Бонар Ло, и говорилось об американском займе как источнике репарационных выплат. Предлагалось, однако, передать оценку платежеспособности Германии на рассмотрение беспристрастного арбитра. Французы и бельгийцы отклонили немецкое предложение 6 мая; англичане последовали за ними 13 мая, но предложили, чтобы Германия «пересмотрела и расширила» свои предложения, которые по крайней мере, оставляли дверь открытой для дальнейших обменов мнениями. Реакция Кейнса была уничтожающая:

Со дней Версаля и по сию пору нотам германского правительства не хватало страсти и убедительности... Мож-

но было предположить, что ее государственные деятели... едят одну картошку.

Небесам известно, что пропаганда — дело греховное! Но нет ничего порочного в написании короткой фразы... Миру Европы почти угрожает стиль тяжелой прозы. Кто, улыбаясь своей немецкой гувернантке*, мог бы предвидеть, что эта национальная особенность окажется настолько важным!

Изъяны формы — не только литературные... создавая впечатление, что ее предложение ставится в зависимость от получения международной ссуды, нереальной по размерам и предоставляемой другими, она умудрилась сделать так, что это выглядит обманом и уклонением одновременно⁴⁴.

Но купорос он приберег для французов:

Французский ответ, посланный без консультации с союзниками, нарушает более важные правила, чем такт или стиль. Маленькая, злобная личность Пуанкаре лишена даже мрачного обаяния старой серой совы Клемансо. Чувствуешь себя в черной расщелине, сужающейся настолько, что проползти через нее не может никакое человеческое существо — кошмарная уость.

Письмо Кейнса от 10 мая Мельхиору не сохранилось. Но в нем он, по-видимому, сообщал своему другу о намерении «приехать в Германию и снять завесу»⁴⁵. Готовясь к этой поездке, он написал частное письмо германскому канцлеру, приложив к нему *‘Предлагаемый ответ лорду Керзону’*.

В нем было четыре коротких абзаца. Германия была бы готова принять «общую схему» Бонара Ло, представленную в январе 1923 г., включая гарантии на случай дефолта, «при условии что годовые выплаты, начинающиеся с 1927 г. (то есть проценты по облигациям первого разряда) будут определены независимым трибуналом, как предусматривалось в прежних заявлениях»⁴⁶.

* У самого Кейнса в детстве их было две.

В следующем письме, от 24 мая, он подсказывал, что в германском ответе следует «уйти от упоминаний общей суммы платежей (которая неизбежно разойдется с ожиданиями людей) и займа (который является нелепостью) и ограничиться понятием годовых выплат». Он еще раз подчеркнул важность используемого языка: «В конечном счете твердость и гордое поведение произведут большее впечатление, чем примиренческий тон и стенания»⁴⁷.

Через Мельхиора он советовал немцам потянуть с ответом на британскую ноту в ожидании намечающихся перемен в правительстве Англии. Стэнли Болдуин сменил Бонара Ло на посту премьер-министра 22 мая; Роберт Сесил определенно входил в состав кабинета, а Реджинальд Маккенна, как ожидалось, должен был стать канцлером Казначейства, так что «теперь [в правительстве] есть два очень влиятельных лица, которые не верят в огромные цифры»^{48*}.

Кейнс решил ускользнуть в Берлин на уикенд. 30-го он встретился с Болдуином и Маккенной, и объяснил Болдуину, что собрался в Германию, чтобы попытаться склонить германское правительство к переходу на «более плодотворный путь переговоров»⁴⁹. Он прибыл в Берлин в пятницу 1 июня и остановился в квартире Мельхиора. В течение уикенда ответ немцев был выработан в беседах между Кейнсом, Куно, Мельхиором и германским министром иностранных дел Розенбергом. Мельхиор рассказывает, что все они «сознавали невероятность успеха». Кейнс возвратился в Лондон утром в понедельник 4 июня, назавтра после своего сорокового дня рождения, и, не теряя времени, передал в правительство проект германского ответа Болдуину. Его прочитали и одобрили Маккенна и Норман, благоприятно отнеслось к нему и Казначейство. Ко времени его официального представления 7 июня «Ку-

* Намерение Болдуина сделать Маккенну канцлером Казначейства сорвалось, и эту должность занял Невилл Чемберлен.

но и фон Розенберг были уверены, что он не будет отвергнут британским правительством»⁵⁰.

Германская нота произвела большое впечатление и восхитила своим тоном примирения и сжатым слогом. Германия согласилась вынести на суд независимой международной организации вопрос о своей платежеспособности, а также о размерах и способах платежей. В случае, если получение крупномасштабного займа окажется невозможным, она могла бы изменить порядок платежей. Предлагались и твердые гарантии выплат. «В вопросе столь обширном и сложном, — говорилось в заключение ноты, — реальное продвижение вперед не может быть достигнуто обменом письменными документами, по достижимо в ходе устных переговоров за столом конференции»⁵¹. Кейнс попал в счастливое положение, получив возможность расхваливать дело собственных рук, превозносить «тон и подход» немецкой ноты, подчеркивая, что она избежала обращения к «посторонним и спорным проблемам», как и «ошибок в манере и выражениях»⁵². Он убеждал Болдуина «продвигать урегулирование по линиям, предлагаемым Германией», но в то же время «ухаживать за Францией и быть готовыми действовать по отношению к ней с великодушием в обмен на уступки нашей точке зрения».

Инициатива Кейнса — Куно была высшей точкой причастности Кейнса к дипломатии репараций. Она не смогла растопить дипломатический лед. Болдуин отвечал на германский демарш мастерски демонстрируемым бездействием; и события пошли своим путем, когда экономический крах Германии привел наконец дипломатию в движение, чего не удалось добиться Кейнсу. В сентябре обменный курс немецкой марки достиг 250 миллионов за фунт стерлингов. Поскольку никто больше не принял бы его валюту, германское правительство вынуждено было сдаться. Штреземан, преемник Куно, отменил пассивное сопротивление; в ноябре Ялмар Шахт, преемник Хавенштайна на посту президента Рейхсбанка, представил новую валюту —

рейхсмарку. Эти события открыли путь к последовавшему позднее согласию Франции на образование комитета «независимых экспертов» во главе с американским банкиром Чарльзом Гейтсом Дауэсом для выработки новой схемы репарационных платежей. В своем докладе, появившемся в апреле 1924 г., эксперты постарались избежать упоминания общей суммы репараций, предложили годовой мораторий на их выплату, с тем чтобы в дальнейшем размеры годовых платежей менялись сообразно масштабам активного сальдо торгового баланса Германии при фиксированном обменном курсе валюты. Согласие с докладом Дауэса было в июне 1924 г. облегчено приходом на смену Пуанкаре Эдуарда Эррио. Общее принятие *Плана Дауэса*, в свою очередь, привело к выпуску Займа Дауэса, позволившего частным американским деньгам возвратиться в Европу. Похоже, надо было пережить все стадии кошмара, прежде чем смогла установиться новая финансовая гегемония американских банков, а Центральная Европа — вернуться к экономической жизни.

В 1920-е гг. банкиры и финансовые эксперты заполнили собой пространство между идеологией *laissez-faire*, которой держались правительства, и требованиями стабилизации. Вместо отмены долгов военного времени, как того хотел Кейнс, *План Дауэса* возложил на частные банки задачу создания механизма, который запустил бы в оборот непогашенные долги. Таким способом вопрос о репарациях был «решен». В начале 1923 г. Кейнс начал писать новую книгу, в которой изложил свои планы монетарного решения проблемы британской безработицы. Борьба против возвращения Британии к золотому стандарту началась.

XXI

Денежная реформа

1. Чем больна Британия?

На дорогу, которая привела к кейнсианской революции, Кейнса толкнуло неполное восстановление Британии после депрессии 1920–1922 гг. Ничего подобного происходившему крушению цен, падению производства и взрывному росту безработицы не наблюдалось со времени наполеоновских войн. Когда в 1923 г. положение наконец стабилизировалось, это произошло в условиях сохранения 10-процентной безработицы, сохранявшейся до конца десятилетия. В довершение грянула Великая депрессия 1929–32 гг. от которой Англия так полностью и не излечилась. На протяжении всего межвоенного периода Британия не ведала ничего похожего на полную занятость. До того на широкомасштабную безработицу смотрели как на проблему делового цикла. Теперь возникло подозрение, что она может оказаться внутренне присущим свойством системы.

Экономическая теория тех дней никак не объясняла постоянства этого явления. Задним числом видится яснее, чем виделось тогда, что между 1919 и 1922 г. британская экономика пережила два главных «шока», от которых она так и не оправилась за весь межвоенный период. Первый был «настоящим шоком»: враз и на все дальнейшие времена в Британии выросла стоимость единицы труда. В 1919–20 гг. профсоюзам удалось добиться сокра-

щения на 13 процентов рабочей недели при неизменном уровне производительности¹. Это означало повышение реальной заработной платы на 13 процентов — в расчете на единицу производимой продукции. Вдобавок имел место денежный «шок» — дикая дефляция цен, которая сделала реальную заработную плату (ее покупательную способность) более высокой в конце депрессии в 1922 г., чем она была во время бума в 1920. Так произошло потому, что заработная плата в денежном выражении, хотя и удивительно гибкая по позднейшим меркам, все еще не привыкла падать при снижении оптовых и розничных цен. Именно этот сокрушительный двойной удар, нанесенный выигранным профсоюзами повышением оплаты труда и навязанной правительством дефляцией, опустил ожидания прибылей в британской экономике слишком низко, чтобы могла быть обеспечена полная занятость. Однако непреходящий характер этого «нарушенного равновесия» оставался без объяснения.

Как мы видели, Кейнс полагал, что большинства последовавших бед можно было избежать, если бы в конце 1920 г. были приняты меры для стабилизации в условиях нулевой инфляции 6–7-процентной безработицы и ставки обменного валютного курса 3,6 доллара за фунт. Вместо этого дефляции позволяли продолжаться без помех. В период падающих цен 1921–22 гг. реальные процентные ставки оставались запретительно высокими. Власти позволяли депрессии беспрепятственно набирать силу, потому что рассчитывали, что положение выправится само собой, если привести соотношение стерлинг — доллар к довоенному паритету (4,86 доллара за фунт) и на этой основе сделать возможным возвращение к золотому стандарту. Дефляция стала ослабевать лишь тогда, когда фунт поднялся до 4 и более долларов. Таким образом, равновесие «восстановилось» при ценах гораздо ниже уровня, достигнутого в конце 1922 г., и намного большей безработице. Эти сдвиги создавали впечатление, что британскую «проблему» безработицы 1920-х гг. породила политика, причем прежде всего

политика «дорогих денег» как раз во время спада. «Реальный» удар, нанесенный сокращением рабочей недели, мог быть смягчен, если бы британской промышленности дали возможность вести конкурентную борьбу на основе сниженной ставки обменного валютного курса.

Хотя к чрезмерной дефляции Кейнс относился крайне критически, он не более, чем кто-либо другой, предполагал, что это создаст вековую проблему безработицы. Так, в сентябре 1921 г., он ожидал «восстановления торговли, «терпимой» безработицы и нового равновесия»². Что скоро заставило его отказаться от этих ожиданий, так это несостоявшееся возвращение к «терпимому» уровню безработицы, после того как в последнем квартале 1922 г. падение цен прекратилось, а безработица весной 1923 г. осталась почти такой же, какой была годом раньше. Именно этот неизменно высокий уровень безработицы заставлял подумать о возможности, что беды дефляции представляют собой нечто большее, чем преходящие издержки переходного периода.

Появление у Кейнса этого направления мысли, которому предстояло играть центральную роль в развитии кейнсианской революции, впервые обозначилось в цикле четырех лекций, прочитанных им в *Институте банкиров* с 15 ноября до 5 декабря 1922 г. Кейнс доказывал, что проблема коренится в том, что заработная плата снижалась не так быстро, как цены. Поскольку ждать «от бизнеса снижения... заработной платы в интересах равновесия почти безнадежно либо... это займет долгое время», единственным средством от безработицы должны служить меры повышения цен и снижения ставки обменного валютного курса³.

Уже тогда эти лекции давали важный ключ к пониманию того, о чем Кейнсу предстояло говорить годы спустя. Заработная плата в большей степени, чем потребительские цены, обладает свойствами «вязкой массы». Новым это наблюдение не было. Больше новизны было в выводе, что с практической точки зрения уровень цен и

процентную ставку надлежит приспособлять к текущему уровню заработной платы, а не наоборот. Наибольшей же новизной отличалось утверждение о том, что «почти безнадежно» добиваться общего снижения реальной заработной платы путем сокращения ее денежной величины. Почему, только ли из-за существующего механизма назначения заработной платы? Или имеются более фундаментальные, теоретические причины? Кейнс еще не был готов дать свой ответ.

2. Во благо нации

К 1923 г. Кейнс получил журналистскую трибуну, с которой мог вести наступление на политику дефляции. В марте того года он стал председателем правления либерального журнала *‘Нация и Атенеум’* (*‘Nation and Athenaeum’*), с Хьюбертом Гендерсоном на посту редактора. *‘Нация’* издавалась с 1907 г. на деньги Роунтри и служила оплотом высоких принципов либерализма, процветавшего перед войной в Оксфорде и Хэмпстеде. К 1920-м гг. и *‘Нация’*, и Либеральная партия находились в состоянии развала. Именно в таких обстоятельствах несколько манчестерских либералов во главе с Э.Д. Саймоном, бизнесменом и членом парламента, отцом и сыном Скоттами из *‘Манчестер гардиан’* (*‘Manchester Guardian’*) и Рамсеем Муиром, профессором новейшей истории в Манчестерском университете, решили проводить попеременно в Оксфорде и Кембридже ежегодные летние школы. Имелось в виду, что там будет вырабатываться либеральная политика для 1920-х гг.

В конце 1922 г. семья Роунтри решила продать *‘Нацию’*. Это совпало с усилиями Комитета летних школ, направленными на поиск трибуны для разъяснения современного либерализма и личным желанием Кейнса обрести постоянный журналистский выход для своих идей денежной реформы. С обычной энергией он взялся создавать финан-

совую базу для приобретения издания. Вместе с Арнольдом Роунтри, Л. Дж. Кэдбери и Э. Д. Саймоном он учредил новую компанию для выкупа старой *'Нации'* у доверительного фонда Роунтри. В марте 1923 г. для этого потребовалось 12,5 тысячи фунтов; Кейнс стал председателем правления, в которое, помимо него, директорами вошли Саймон, Лэйтон и Роунтри. Безжалостно отвергнув притязания Рамсея Муира на пост редактора, Кейнс, предложил занять его своему кембриджскому коллеге Хьюберту Гендерсону, в то время члену ученого сообщества Клэр-колледжа. Гендерсон стал отнекиваться, ссылаясь на то, что «никогда ничего не редактировал; очень мало имел дела с журналистикой. Мейнард лихим скакуном перемахнул через все его возражения»⁴. Лэйтон предвидел, что в журнале будет господствовать «Кембриджская школа экономической мысли», «но с этим ничего нельзя было поделать, ибо не наша вина, что все лучшие либералы изучали экономическую теорию в Кембридже...»⁵ Кейнс получил неограниченную свободу делать журнал, как ему хочется.

Зачем он взваливал на себя эту огромную дополнительную заботу? Во-первых, в период своего наиболее активного участия в издании журнала — с 1923 по 1925 г. — у него было послание, которое он хотел передать людям, вернее двойное послание: остановите возвращение к золотому стандарту и добейтесь здорового урегулирования с репарациями. Проповедник нуждался в амбоне. Во-вторых, хотя евангелие от Кейнса было обращено ко всем партиям, его первостепенной целью было вооружить философией государственного управления либералов и он полагал, что к восприятию его послания они по своему характеру были более предрасположены, чем наследственные консерваторы и одержимые классовой борьбой лейбористы. В-третьих, Кейнса привлекала роль патрона Блумсбери: авторы-блумсберийцы служили теневой подпорой журнала. Наконец, *'Нация'* бросала ему вызов как предпринимателю. Он активно втягивался в работу по восстановлению ее тиража и доходов. Такая степень вовлеченности владельца издания в

его дела была бы невозможна без столь послушного редактора, каким был Хьюберт Гендерсон. Сотрудничество Кейнса с Гендерсоном в 1920-х по-своему так же примечательно, как позднее его теоретическое сотрудничество с Деннисом Робертсоном в Кембридже, поскольку оба эти человека были его полными противоположностями. Гендерсон был сварливым, скуповатым шотландцем, осторожным, скептическим, трусоватым. «Я никогда не знал человека с таким развитым инстинктом охраны своих привычек», — говорил Кейнс Лидии 15 ноября 1925 г. У него начисто отсутствовали писательские способности Кейнса. Лидия видела это так: «Каждую среду после подготовки своего материала для очередного номера *'Нации'* Хьюберт приходит домой в 3 часа ночи, а у тебя это занимает час-полтора. Разные железы, разные скорости, разные достоинства». Интеллектуально Гендерсон был разборчивее Кейнса, избегал популяризации, не доверял полетам Кейнсова воображения и очень умело выявлял слабые места в рассуждениях своего наставника. В его собственном анализе британских экономических бед гораздо больший вес придавался структурной разлаженности, чем промахам денежной политики, которую он расценивал как осложняющий, но не фундаментальный фактор. В 1930-х он проникся к денежным панацеям Кейнса таким же недоверием как и к политике Казначейства. В его ожесточенных выступлениях против Кейнса в 1930-х отразилась какая-то часть негодования, которое он испытывал в 1920-х из-за необходимости подавлять собственные представления в угоду идеям своего искусного хозяина.

В поиске человека на должность литературного редактора первый выбор Кейнса пал на Т.С. Элиота, томившегося тогда в банке *Ллойдс*. Но Элиот «запутывал положение бесконечными сложностями»⁶, и Кейнс обратился к Леонарду Вулфу. Э.М. Форстер предупредил Вулфа об опасности работы для Кейнса: «Мейнард, в той мере, в какой мне доводилось видеть его без кембриджской целены, окутывающей моих друзей, всегда казался мне любопытной смесью благожелательности и эгоизма школьника... я

бы стал работать под ним при большой нужде в деньгах и полной уверенности их получить — не иначе»⁷. Вулф в деньгах нуждался и взялся за работу с окладом в 500 фунтов в год, то есть за половину жалованья Гендерсона (впоследствии и вовсе уменьшенных до 400 фунтов).

Если «Кембриджская школа экономической мысли» главенствовала на фасадной стороне *'Нации'*, то кембриджские *Апостолы* и близкие им люди правили тылом. Вулф привел две группы авторов из Блумсбери, старых и молодых, и писателей, которых он печатал у себя в *Hogart-пресс*. Через несколько месяцев Гендерсон начал жаловаться Вулфу на «наглый тон» рецензий Клайва Белла, Кролика Гарнетта, Фрэнсиса Биррела, Дэди Райлэндса и Рэймонда Мортимера и призывать его к подбору рецензентов, способных оценить «лучшее за пределами блумсберийских писаний». Вулф держался своего; Белл громко возражал: «Сегодня лучшие авторы не должны подчиняться финансистам»; Кейнс кое-как установил перемирие⁸. Он симпатизировал обеим сторонам, ибо и в его личности, и в его писаниях кембриджский утилитаризм и кембриджский эстетизм сталкивались и смешивались между собой.

Чего он не смог обеспечить, так это широкого распространения журнала. Хотя он снизил цену номера до 9 шиллингов 6 пенсов и настойчиво бился за иностранных подписчиков, объявив, что его статьи отныне появляются исключительно в *'Нации'*, тираж упал с приблизительно 8 тысяч до 6–7 тысяч — то есть оказался значительно ниже, чем у *'Спектэйтора'* (*'Spectator'*) и несколько ниже, чем у *'Нью стейтсмана'* (*'New Statesman'*). К концу десятилетия *'Нация'* сводила концы с концами. Однако в этот период ему пришлось выложить из собственного кармана 4 тысячи фунтов, чтобы удержать издание на плаву. Пределы успеху *'Нации'*, как и возрождению Либеральной партии, устанавливали те же социально-экономические силы времени. Принятое Кейнсом в 1931 г. решение слить *'Нацию'* с *'Нью стейтсменом'* символизировало тот факт, что исторический либерализм завершил свой путь.

3. Подумав еще и еще раз ...

Благожелательной, пусть и взыскательной читательницей *'Нации'* была Лидия Лопухова. «С трепетом попросила я [ее], — писала она Мейнарду 5 мая, в день выхода первого номера при новым руководстве. — Обложка вселяет доверие, дышит силой. Британская политика в Европе [статья Кейнса] написана мощно и легко читается.... Про Сару Б[ернар] Литтон Стрэчи написал блестяще, только меня смущает, как это воспринимать... всерьез или не всерьез, и какие именно куски?» И потом 26 мая: «Номер в целом выглядит живым, потому что он озарен твоим сиянием».

На языке Блумсбери Лидия и Мейнард были теперь «женаты», что попросту подразумевало признание их парой. Лидия жила в доме 41 на Гордон-сквер; Клайв в доме 50; Ванесса и Мейнард делили между собой дом 46, куда Лидия также приходила столоваться. Ее последний ангажемент на участие в слабом балете Мясина *'Того, благородный дикарь'* вклинивался в выступление в еще более слабом варьете *'Вы будете удивлены'*, исполнявшемся при полупустом зале в Ковент-Гардене, пока не было 24 марта 1923 г. снято со сцены. После этого она влилась в ряды безработных. Но даже при наличии ангажементов она была свободна по воскресеньям. Поскольку в эти дни Мейнард находился в Кембридже, она часто искала компании Ванессы. Лидия «сегодня провела у меня в комнате три часа подряд в беспрестанной болтовне», — жаловалась Ванесса Роджеру Фраю после одного такого посещения в феврале. «Теперь это происходит каждое воскресенье, в мой единственный день для домашних дел, причем, как ты знаешь, очень часто она заявляется во время чая»⁹.

Друзья Мейнарда очевидным образом надеялись, что Лидия ему надоест. Они не могли понять, что он в ней нашел. Мысль о сексуальной страсти казалась чересчур неправдоподобной. Вирджиния Вулф была решительной противницей их брака. Многие в Кейнсе ей не нравились,

но она ценила его ум и не могла видеть его пристегнутым к «попугайчику». 28 апреля она писала своей сестре: «Мы обедаем с Мейнардом во вторник. Что относительно Лидии? Я молюсь Богу, чтобы Мейнард удержался от роковой и непоправимой ошибки». И месяцем позже: «К сожалению, в разговоре с Лидией, я назвала Мейнарда 'вашим мужем'. Вижу, что этого допускать нельзя. Бедный маленький попугайчик — сидит себе, я полагаю, у окна в розовом кимоно и ждет его. 'Мейнару так понравилась ваша статья, Леонар.' Видно, теперь ей приходится читать '*Нацию*'. Какие трагедии выпадают на долю этих попугайчиков...»

Тысяча девятьсот двадцать третий был для Лидии ужасным годом. Ее бракоразводное дело с Барокки стараниями трех групп адвокатов в трех странах было заведено в тупик, и виды на вступление в новый брак были столь же сомнительны, как и перспективы карьеры. Чувства Мейнарда были покрыты тайной. Его деятельность оставляла ему мало времени для нее. Он выразил намерение провести пасхальный отпуск в Северной Африке — с Себастьяном Спроттом! Лидия подняла такую бучу, что он от этого плана отказался; но открытие, что он все еще стремится хватать удовольствие в обоих мирах вызывало, надо думать, беспокойство. В отсутствие танцевальных ангажементов и с отъездом в Италию «маэстро» Энрико Чеккетти, ее мысли снова обратились к драматической сцене. Она погрузилась в '*Росмерсхольм*', заметив, что «играть Ибсена очень трудно, все действие только в мыслях». С другой стороны, росло отчуждение Ванессы. Она сожалела об утрате своей прежней близости с Мейнардом. Теперь она видела его главным образом в компании Лидии; говорил он только о '*Нации*', о политике, инвестициях, деловых вопросах. Присутствие Лидии воспринималось ею как символ исчезновения старого строя жизни.

В это трудное для нее время Лидия находила поддержку в своем собственном кругу друзей. То были богатые любители искусств, преданные балету и Лидии в частности. Они были величественнее и обычнее блумсберийских

друзей Мейнарда, притом что балет связывал их мир денег и шика с авангардом в искусстве, музыке и мысли.

Вера Боуен в 1920-х была самой близкой подругой Лидии. Ставшая в 1922 г. женой Гарольда Боуена, ученого-ираниста, лингвиста и несостоявшегося драматурга, она была умной, оживленной, сварливой русской женщиной, обосновавшейся в Англии в 1914 г. и обладавшей деньгами и досугом, чтобы потворствовать своей страсти (и таланту) ставить балеты и пьесы. Она присоединилась к Мейнард в стараниях возродить карьеру Лидии после фиаско *‘Спящей красавицы’*; он устраивал ангажементы, а она постановку спектаклей с участием Лидии в *Колизее* и *Ковент-Гардене* в 1922–23 гг. Въедливая женщина, она взяла в свои руки «образование» Лидии, пытаясь заставить ее одеваться изящно, как она сама, и водила ее по концертам и художественным галереям. Галереи и концерты Лидия воспринимала гораздо лучше, чем заботы о своей внешности: и на сцене, и в миру она по-прежнему ходила в нарядах, указывавших на полный ералаш в голове ее портного. Вера была единственным другом, которому Лидия могла доверять свои связанные с Мейнардом переживания; но летом 1923 г. в их дружбу ворвался острый холодок из-за препирательств Мейнарда с Верой насчет финансовых условий июльско-августовской постановки *‘Маскарада’* в *Колизее*¹⁰.

После Мейнарда важнейшим человеком в жизни Лидии был Сэмюэль Курто, фабрикант искусственного шелка и собиратель картин. Гостеприимство Курто было столь же щедрым, как и его пожертвования: на уикендах Лидию и Боуенов часто можно было найти в его громадном доме 20 на Портмэн-сквер, где давали слишком много есть и пить, чтобы потом можно было жаловаться на мучительно скучную компанию. Боуены видели в супругах Курто (особенно в жене Сэма Элизабет, или ‘Лил’) социальных карьеристов; Вера говорила, что 50 тысяч фунтов, переданные Сэмом в 1923 г. в дар *Галерее Тейт* на покупку картин французских мастеров девятнадцатого

столетия, были «скрытым приемом социального продвижения» с расчетом выйти в пэры¹¹. Подлинной страстью Лил была опера: она финансировала сезоны в *Ковент-Гарден* с 1925 по 1927 г. Часть года они вдвоем проводили в Соединенных Штатах, где у Сэмюэля Курто была компания по производству вискозы. Лидия любила Сэма, застенчивого, угрюмого человека строгих правил и скрытых страстей. «Я ощущаю связывающий нас с Сэмом договор дружбы (не обязывающий ложиться с ним в постель, а потому как раз такой хороший)», — писала Лидия Мейнард 22 ноября 1924 г. И еще 7 марта 1925 г.: «Честность, искренность, компетентность, интеллект, скромность — вот оперение Сэма, но парить он не может, его маленькие ноги тащатся за ним», — в отличие от Мейнарда с его умом «человечным и божественным» (27 февраля 1925 г). Сэм, со своей стороны, обожал Лидию, таял в ее присутствии, флиртовал с нею и брал ее в долгие автомобильные прогулки на своем *роллс-ройсе*. Он также хорошо ладил с Мейнардом. Это был бизнесмен с воображением, вызывавший у Мейнарда восхищение и опровергавший его нередкие высказывания о вырождении семейных фирм. Некоторое время спустя Мейнард уговорил его оказывать помощь Дункану и Ванессе и другим блумсберийским живописцам из Ассоциации лондонских художников.

Блумсберийцы, с их интеллектуальным и эстетическим снобизмом, опасались, что эти богатые друзья Лидии развратят Мейнарда. Они, конечно же, были правы в предвидении, что Мейнард сойдет с орбиты Блумсбери и будет все больше и больше перемещаться в компанию «мыслящих» или «цивилизованных» банкиров, бизнесменов, политических деятелей — людей, которые, подобно ему самому, раскачивались между идеями и бизнесом, искусством и деланием денег. Лидия его в этот мир не тянула: это делали его общественные занятия. Однако Мейнард и Лидия, вместе взятые, обладали намного большей светской привлекательностью, чем Мейнард сам по себе либо в сочетании с каким-нибудь синим чулком из Блумсбе-

ри. Люди вроде Курто или Гренфелов, Брэнда и Освальда Фолка, как правило, преклонялись перед его *умом*, но любили Лидию за ее веселый нрав и обаяние; и в мире, почитавшем светские ценности, это объединение стало весомым активом. Не следует недооценивать и его значения в политическом развитии Мейнарда: если интеллектуально его тянуло влево, то социально он все более и более тяготел к правым.

Тем летом — 1923 г. — для Мейнарда и Лидии не было пути в Чарлстон. Взамен Мейнард снял большой дом герцога Гамильтона на берегу моря в Дорсете. Как обычно, он наполнил его своими друзьями. Там появились Раймонд Мортимер, Дэди Райлэндс, Гендерсоны, Вулфы. Вирджиния Вулф, «хотевшая понаблюдать Лидию как прототип для *Резии*», персонажа романа, над которым она тогда трудилась (*Г-жа Дэллуэй*), оставила два незабываемо отталкивающих описания своего пребывания в этом доме. 11 сентября она написала в дневнике:

Мейнард стал очень толстым и солидным, особенно когда плотно заворачивается в обтягивающий ему колени халат в расцветке леопарда и стоит в нем перед пылающим огнем... У него вид какого-то чудного раздувшегося угря, не очень приятный. Но глаза замечательные, и, как я честно сказала, получив для чтения несколько страниц его новой книги [о денежной реформе], представленный там интеллектуальный процесс превосходит мой уровень так же, как Шекспир.

Насчет Лидии было другое. Неосведомленная относительно «обязательнейших из всех законов женской жизни», она побросала свои гигиенические салфетки на пустую каминную решетку.

Вообразите последствия [писала Вирджиния Жаку Равера 4 ноября 1923 г.]... Муж поварихи и камердинер герцога убирали комнату. Вскоре сама повариха потребовала разговора с леди. Говорят, разыгралась такая сцена, что ходунном ходили стропила, — ярость, слезы, отчаяние, гнев, ужас, месть, примирение; и — если знаете Лидию, поймете, как ес-

тественно одно следует за другим — дружба до гроба на основе... ну, этих окровавленных тряпок. Поистине возникает занятное чувство по поводу этой парочки, какой она только и может быть при такой основе. У Лидии душа белки: ни о чем более милом невозможно подумать: она сидит, часами с двух сторон полируя свой нос передними лапками. Но, бедная маленькая зверушка, пойманная в Блумсбери, что ей остается делать, кроме как учить наизусть Шекспира? Уверяю вас, трагично выглядит, когда она усаживается за *Короля Лира*. Никто не может принимать ее всерьез: каждый порядочный мужчина норовит ее поцеловать. Потом она впадает в ярость и твердит, что похожа на Ванессу, на Аликс Сарджент Флоренс или Ка Кокс... — серр-ио-озная женщ-чина¹².

Это был последний отпуск Лидии, проведенный с блумсберийцами; возможно, тогда и был положен конец вялым надеждам Мейнарда создать коммуны. Потрясенная тем, как с нею обращались, Лидия сбежала в Колуорт, сельский приют Боуенов в Бедфордшире, излить свои горести Вере, всегда готовой ее слушать, а Мейнард тем временем отправился в Девон на оленью охоту. «Вера в ответ рискнула подвергнуть самой откровенной критике блумсберийцев и их обычаи. Лоппи видит неизбежность разрыва с Кейнсом и даже считает, что он не за горами», — записал в дневнике Гарольд Боуен.¹³

Нетрудно проникнуться сочувствием к Лидии, окруженной всем этими надменными и недоброжелательными блумсберийцами. Отрезанная от семьи и карьеры — Дягилев перебрался в Монте-Карло, — она была затеряна в чужой стране и привязана к человеку, которым она восхищалась и которого любила, но который ни слова не знал по-русски и для которого русская культура была закрытой книгой. Приспособление к сложившейся ситуации было для Лидии делом гораздо более героическим, чем для Мейнарда, который просто включал еще одну заботу в свою занятую жизнь. Он и не помышлял ее бросать. Прерывая работу над статьей о народонаселении, он писал Лидии: «Начнем ли и мы с тобой нашу работу над

проблемой населения?» И далее: «Моя дорогая поэтесса, я уверен, что, когда ты внесешь свой вклад в рост населения, у тебя получится поэт»¹⁴.

В доме 46 на Гордон-сквер Ванесса приняла дальнейшие меры, чтобы изолировать себя от Лидии, и устроила для Беллов отдельную столовую. Таким способом она постепенно исключала Лидию и, следовательно, Мейнарда из своей жизни. Ибо Мейнарду также приходилось делать выбор. Когда же час решения пробил и он выбрал Лидию, его дружба с Ванессой не порвалась: она только ушла с поверхности. Любовь Лидии также пережила враждебность Блумсбери. Была ли она близка к тому, чтобы бросить Мейнарда, можно приблизительно догадаться, исходя из ее подписи на фотографии их обоих, которую она послала Вере после свадьбы: «*Подумав еще и еще раз...*» В письмах Лидии нет никаких свидетельств, что Ванесса причинила ей какое бы то ни было зло. Есть только сведения о том, как они с Мейнардом устраивали свою жизнь и как она жила после его смерти. На свое вытеснение из круга Блумсбери Лидия реагировала в основном именно так, как того и ожидала Ванесса: она больше не желала ее видеть. Эти две женщины провели свои последние годы в Суссексе в нескольких сотнях ярдов друг от друга, обе со своими воспоминаниями о Мейнарде и друг другу почти чужие.

4. Эти три демона: дефляция, население, протекционизм

7 июля 1923 г., при 1,3 миллиона безработных (11,4 процента застрахованной рабочей силы), банковская учетная ставка была поднята с 3 до 4 процентов. В «*Нации*» 14 июля Кейнс осудил это как «одно из самых необоснованных среди когда-либо происходивших изменений этого индикатора». Банк, писал он, «полагает более важным на несколько пунктов повысить ставку обменного курса

стерлинг — доллар, чем поддержать спотыкающуюся торговлю»¹⁵.

Этот выпад знаменовал его разрыв с официальной политикой. Уверенный тон его заявления отразил содержание новой книги по денежной политике, которую он писал с начала года. То был старт его кампании против возвращения к золотому стандарту с довоенным паритетом стерлинга — доллара. В более отдаленной перспективе это был пролог кейнсианской революции. С 1923 по 1937 г. Кейнс выступал ведущим интеллектуальным критиком проводимой правительством денежной и, все более и более, его финансовой политики.

Банковскую учетную ставку изменили, подправив соотношение валют с 4,7 фунта за доллар в марте до 4,56 — в июне. Повышение ставки всеобщего одобрения не встретило. 12 июня Болдуин сказал в палате общин, что «эта страна ни в чем так не нуждается... как в дешевых деньгах». Сэр Чарльз Эддис, председатель *Гонконгской и Шанхайской банковской корпорации* и один из директоров Английского банка, написал 4 июня Монтегю Норману, что «первое соображение, каким надлежит руководствоваться при изменении учетной ставки, должно быть состояние торговли и промышленности». Так что Кейнс не оставался без союзников. С другой стороны, Реджинальд Маккенна сказал Норману 20 июня, что «наши ставки слишком низкие, и разница между 3 и 4% реально на торговле не отражается...»¹⁶

Поднятая Кейнсом проблема имела как теоретическое, так и практическое значение. Повышение банковской учетной ставки могло бы временно выправить обменное соотношение стерлинг-доллар, вернув американские деньги в Лондон. Но привести к «реальному и долгосрочному» улучшению обменного курса это могло только за счет «некоторого сокращения кредита и некоторого снижения стерлинговых цен». Иными словами, повышение учетной ставки было сигналом, что правительство намеревалось «вызвать тенденцию падения цен в стерлинго-

вом выражении» и что если бы 4-процентная учетная ставка понизить их не помогла, оно было готово поднять ее до 5 процентов или выше. «Сейчас — момент, когда Английский банк сознательно предпочитает подбросить еще одно сомнение, сделать еще одно предупреждение каждому, кто подумывает завести новое дело, призывает его немного повременить и подержать руки в карманах, даже если это означает, что его рабочим тоже придется держать руки в карманах»¹⁷. Мол, именно *ожидаемая* процентная ставка, даже в большей мере, чем действующая, определяет инвестиционные решения.

Критики обвиняли Кейнса в том, что он ратует за инфляцию. На это обвинение он дал крепкий ответ:

Политика стабильных цен — прямая противоположность политики постоянно дешевых денег. Во время прошлого бума автор этих строк настойчиво выступал в пользу очень дорогих денег за несколько месяцев до того, как Английский банк приступил к действиям. Но когда занятость очень низка, предприниматели в унынии, а цены имеют тенденцию к снижению, *это* неподходящий момент повышать банковскую ставку¹⁸.

Редактор 'Таймс', ведавший делами Сити, бросил пронизательное замечание: «Поскольку цены оставались неизменными в течение минувших восемнадцати месяцев, — писал он, — трудно оцепить силу многих доводов, используемых теми, кто заявляет себя сторонником их стабилизации». Это разворошило осиное гнездо проблем, требовавших годы на то, чтобы в них разобраться. Что понималось под «уровнем цен»? Если есть несколько уровней цен, который из них важно стабилизировать? Какими причинами определяется каждый из этих уровней цен? В 'Нации' от 28 июля Кейнс признавал, что оптовые цены остаются довольно устойчивыми. Но он настаивал, что фактическая покупательная способность «тихо и устойчиво» росла в течение некоторого времени и что этим отчасти объясняется «подрыв торговли и занятости в этой стране,

мешающий ей идти в ногу с возрождением в Соединенных Штатах...». В подтверждение он ссылался на примерно 10-процентное сокращение банковских вкладов с января 1922 г., равно как и на снижение за то же время индекса розничных цен. Английский банк «использовал свои секретные и огромные полномочия, чтобы сжать кредит не меньше чем на 10 процентов». Он требовал «авторитетного расследования методов определения числовых значений индекса»¹⁹.

Важным предположением в основе критики Кейнса было то, что уровень цен зависит от денежной политики. «Мнение экспертов» поддерживало его уверенность, что

Английскому банку и Казначейству вполне по силам определить, каковы в долговременной перспективе будут объемы выдаваемых кредитов. Если бы Английский банк следовал иной политике, то, я полагаю, и цены оказались бы на ином уровне... политика Комитета Канлифа предполагает, что власти имеют силу устанавливать в долгосрочной перспективе уровень цен точно так же, как это предполагается политикой стабилизации.

Он заключал, что «недостаток доверия» к уровню цен был «существенной и, может быть, единственно устранимой причиной нынешней безработицы». Это важная ограничительная оговорка. Кейнс никогда не утверждал, что от безработицы можно *полностью* излечиться денежной политикой; избавиться можно только от ее части — именно той, которая возникает из-за дефляции. Если премьер-министр и управляющий Банка объявят, что они полны решимости «делать все, что в их силах, для создания и сохранения уверенности в устойчивости нынешнего уровня стерлинговых цен (оставив, если надо, без изменений соотношение фунта и доллара), это принесло было великую пользу»²⁰.

Речь Кейнса перед слушателями Летней школы либералов в Кембридже 1 августа 1923 г. позволяет глубже вникнуть в ход его мыслей, ложившихся в книгу, над которой он работал. Современный капитализм, говорил он,

не сможет выдерживать резких колебаний уровня ценностей. Только в том случае, если ценность денег будет предметом сознательного контроля, капиталистическое общество будет способно устоять перед «натиском и критикой социалистических и коммунистических поваторов». Кейнс объяснил, как падающие цены, и даже более того, «общее ожидание» снижения цен должны всегда плохо сказываться на бизнесе. «Если бы они [хозяйствующие субъекты] были уверены, что цены не упадут, они без колебаний производили бы закупки. Они их откладывают не потому, что испытывают недостаток покупательной способности, а потому, что обладают *способностью отложить свой спрос* и, как они считают, удовлетворить его позже по более низкой цене». В дальнейшем Кейнсу предстояло выявить эту способность «откладывать спрос» как отличительную особенность «денежной экономики». В своей речи Кейнс назвал двух заложников судьбы. Экономисты, провозгласил он, «так же едины на позициях научной теории [как поддерживать устойчивую ценность денег], как и во взглядах на свободу торговли». События показали, что в обоих случаях дело обстоит иначе. Он также все еще настаивал на способности рыночной системы самостоятельно настраиваться на исправление своих ошибок: «Рано или поздно тенденция роста цен возникнет снова... отчасти потому, что спрос не может откладываться бесконечно долго; отчасти же потому, что катастрофы, как правило, сокращают поставку товаров и увеличивают, скорее чем уменьшают, количество денег в обращении. По этой причине я не столь пессимистично, как глава Управления торговли, смотрю на долгосрочные перспективы занятости»²¹. Позже Кейнсу пришлось отказаться и от этого представления. Экономика не способна сама себя исправлять. Спрос отложенный, скажет он, — это спрос уничтоженный.

В своих ранних суждениях о безработице Кейнс всегда настаивал, что «проблема безработицы есть... отчасти проблема населения»²². Под этим он подразумевал нали-

чис избыточного трудоспособного населения при существующем уровне реальной заработной платы. Он приписывал появление этого избытка рабочих рук изменению условий торговли в неблагоприятную для промышленных изделий сторону: за данное количество промышленной продукции приходилось покупать меньшее, чем прежде, количество продовольствия и сырья. Это означало, что для достижения прежнего уровня занятости надо было снизить реальную заработную плату рабочего; в более отдаленной перспективе, если имеется в виду повысить уровень жизни, должен быть замедлен рост населения, то есть ограничена рождаемость.

Осенью 1923 г. Кейнс оказался неожиданно втянутым в дебаты по этим вопросам с сэром Уильямом Бевериджем, новым директором Лондонской школы экономики. 18 сентября 1923 г. в своем президентском обращении к секции 'F' *Британской ассоциации* Беверидж привел данные статистики, показывавшие, что условия торговли не стали неблагоприятными для индустриальных стран. Проблема британской экономики не требовала, мол, никакого мальтузианского объяснения; это просто проблема структурной перестройки, так как «Провидению не было угодно сосредоточить на этих островах мировые запасы угля и железной руды». Что необходимо, так это не ограничение рождаемости, а свобода торговли²³. В своем ответе в 'Нации' от 6 октября Кейнс признал, что его статистика по условиям торговли была не окончательная, но упорно утверждал, что «безработица может быть признаком разлада, тесно связанного с населением — а именно с тем, что следует из попыток со стороны организованной рабочей силы или общества в целом поддерживать реальную заработную плату на более высоком уровне, чем позволяет базовое состояние экономики»²⁴. Он оставался неомальтузианцем. Несколько раз в 1920-х гг. он призывал выработать политику народонаселения. Он полагал, что Англия будет жить лучше, «если у нас будет меньше людей, которых надо обеспечивать питанием и работой», и

что «большая часть достижений человечества уже съедена просто во имя увеличения численности населения»²⁵.

Скоро ему представилась возможность проверить свою веру в свободную торговлю. Приверженец дешевых денег Болдуин объявил в Плимуте 25 октября 1923 г., что протекционизм — это единственное лекарство от безработицы. 12 ноября он решил добиться мандата на введение протекционистских мер и имперских преференций, причем Бонар Ло пообещал не делать этого без всеобщих выборов. День выборов был установлен на 6 декабря.

«До свидания, Болдуин — с ним теперь покончено», — такова была немедленная реакция Кейнса на плимутскую речь Болдуина. «По крайней мере, кончились дни похвал со всех сторон; возобновляется старая партийная борьба»²⁶. Выборы стали политическим водоразделом, хотя и не совсем таким, какой предсказывал Кейнс. Большинство экспертов предрекали победу Болдуина. Монтегю Норман советовал Лидии Лопуховой заказать побольше платьев в *Галереях Лафайет*, пока можно избежать импортных пошлин. Вместо этого выборы дали большинство сторонникам свободной торговли. Все же главными победителями оказались не либералы, воссоединенные под водительством Асквита, а лейбористы. Имея в парламенте 191 место против 157, доставшихся либералам (257 консерваторов составили по-прежнему самую большую фракцию), Рамсей Макдональд сформировал первое лейбористское правительство с поддержкой либералов. Занервничавшие богачи подальше припрятали свое серебро; иные выехали за рубеж, чтобы никогда не возвращаться. Пришло время современной формы двухпартийной политики.

Ассоциация либералов Кембриджа предлагала Кейнсу баллотироваться в парламент, не имея против себя соперника-консерватора. Несмотря на уговоры Лидии («Ну, еще одно дело, какое значение это может для тебя иметь?»), он отказался. Но он принял умеренно активное участие в кампании, выступал в Блэкпуле, Блэкберне и

Вэрроу (Ланкашир). Он также написал три статьи о выборах для *'Нации'*. В них говорилось о том, что сегодня называли бы подвешенным парламентом, способным не допускать бессмысленных предписаний ни слева, ни справа. «Мистическим глупостям» консерватизма он противопоставлял не менее мистическую веру в свободную торговлю. «Если есть что-либо, с чем не способен справиться протекционизм, так это безработица», — писал он 24 ноября. Настаивать на ином — значит «навлекать [на страну] пороки протекционизма в их самой грубой и неудобоваримой форме». Но тогда он противоречил самому себе. Возможно временное увеличение занятости, но только за счет повышения цен и сокращения заработной платы. Кейнс забывал упоминать, что его собственный план предполагал сделать то же самое за счет политики дешевых денег и девальвации. Чтобы подкрепить свою шаткую позицию, Кейнс утверждал, что Англия скоро в любом случае возвратится к полной занятости²⁷. Его доводы сводились, похоже, вот к чему: протекционизм не мог бы излечить от безработицы, если бы не существовало безработицы, от которой надо излечиваться.

У Кейнса всегда были смешанные чувства по поводу избирательных мероприятий. Его новый костюм не был готов, и он проводил кампанию в старом потертом, который, как он полагал, более уместен среди рядовых работников. Он нашел, что в Влэкберне его аудиторию составили 3 тысячи человек «более серьезных и интеллектуальных, чем представители трудящихся классов в Лондоне. Интерес к политике у них исключительный; и чем серьезней речь, тем, похоже, она больше им нравится. Выборы были большим вкладом в их образование; я же смахиваю на проповедника — вполнину этим наслаждаясь. Будь у меня другой голос, возникла бы опасность слишком большого наслаждения». Вот она, всегдашняя заноза. «Я ненавижу мой уродливый голос больше, чем когда-либо», — сказал он Лидии после выступления в *Оперном театре* в Влэкпуле 4 декабря. На Лидию, по крайней мере,

его ключевые аргументы произвели обычное — положительное — впечатление. «Свободная торговля, — писала она ему, — это замечательно. Столь решающим образом очевидно. Протекционизм как средство против безработицы — *za n'existe pas*. Когда ты говоришь о нашем импорте как о доходах, мне кажется, что отказ от свободы торговли равен самоубийству. Жизнь без доходов прискорбна»²⁸.

Лекция в *Национальном клубе либералов* 13 декабря показала, как далеко зашел Кейнс в своих размышлениях за последние двенадцать месяцев. Политэкономическая нота зазвучала с самого начала: «Очевидно, что индивидуалистическое общество, предоставленное самому себе, не работает хорошо или даже сносно... Чем беспокойнее времена, тем хуже работает система *laissez-faire*». Он указал на «три зла современного общества» — погоню за прибылью, неоправданные ожидания и безработицу, все «обязанные своим существованием главным образом» «нестабильной стоимости денежной единицы». Однако он полагал, что в результате одного из «величайших скачков, когда-либо свершавшихся в экономической науке», управление циклом становится достигаемым. Все, что требуется, это «так отладить поступление *брэдбери* (см. выше стр. 305) и банковских кредитов, чтобы их объем в товарном выражении был в разумных пределах устойчивым, то есть чтобы индекс цен никогда не отрывался от установленного для него значения». Английский банк в состоянии это сделать без всяких дополнений к законодательству.

Проблема не в выборе между коллективизмом и *laissez-faire*, а между целенаправленным действием государства и социализмом, «устаревшим и противоречащим человеческой природе». Но времени, чтобы избежать последнего, остается немного. Кейнс провозглашал:

Я хотел бы предупредить господ из Сити и больших финансовых учреждений, что, если они не прислушаются вовремя к голосу разума, может оказаться, что их дни сочтены. Этому великому городу я говорю, как Иона говорил Ни-

невии... Предсказываю, что, если они вовремя не обратятся к мудрости, система, за счет которой они живут, окажется настолько больной, что на них обрушатся непреодолимые беды, которые вызовут у них ненависть гораздо большую, чем предлагаемые ныне умеренные и ограниченные средства спасения»²⁹.

Теперь он был готов предложить миру эти средства.

5. В долгосрочной перспективе все мы покойники

‘Трактат о денежной реформе’ вышел в свет 11 декабря 1923 г. Это соответствовало сложившемуся у Кейнса обычаю заканчивать год изданием очередной книги по текущим делам и отразило тот факт, что работал он над ней главным образом во время длинных летних каникул. Трактат подводит итог тому, что Кейнс думал и писал о теории, практике и целях денежной политики в предыдущие три года. Большинство материалов было взято из уже изданного или из прочитанных им лекций. Результатом стала самая яркая из его книг по экономике. Милтон Фридман считал ее наилучшей³⁰.

Главная практическая мысль трактата: денежная политика должна использоваться для стабилизации уровня цен, а не ставки валютного обмена. Его центральное теоретическое положение состоит в том, что добиться этой цели можно путем стабилизации «спроса на деньги» со стороны бизнеса, скорее чем за счет увеличенного предложения денег. Если спрос на деньги может быть стабилизирован соответствующей политикой, то уровень цен, согласно количественной теории денег, может быть таким, каким его пожелают установить денежные власти.

Интеллектуальная родословная самого ‘Трактата’ может быть прослежена к работе Кейнса ‘Денежное обращение и финансы Индии’ (1913 г.), в которой обсуждались сезонные колебания спроса на рупии, а также к его дово-

енным лекциям по теории денег. Что Кейнс хотел сказать, говоря о научном прорыве? Он имел в виду, что лучшее понимание теории денег, в особенности в связи с ролью банковской системы в создании кредита, позволило бы центральному банку сглаживать колебания деловой деятельности. Это не было теоретической революцией, во всяком случае той, что Кейнс затеял впоследствии. Он обильно использовал положения не только кембриджской монетаристской школы, но и новшества, появившиеся в практике денежного обращения в течение нескольких последних десятилетий.

Что делало книгу вызывающей, так это ее богоборческий дух и лобовое наступление на золотой стандарт. Тон был сугубо ироничный. Кейнс все еще в очень большой мере оставался кембриджским *Апостолом*, настроенным сокрушать условности эпохи. Он писал, по крайней мере отчасти, для читателя, разделявшего ценности Литтона Стрэчи. Это делало его книгу интересной для чтения, но неудобной для защиты ее содержания. Как в '*Экономических последствиях мира*', он не мог удержаться от высмеивания тех самых «здравомыслящих людей», которых ему нужно было убедить.

'*Трактат о денежной реформе*' открывался на ноте научного оптимизма. «Нигде так не сказывается необходимость выбора новых ориентиров, как в области денежных проблем», — объявил он в предисловии и посвятил книгу управляющим и Совету Английского банка. «Безработица, непрочное положение производителя, обманутые ожидания, внезапная потеря сбережений, непомерные конъюнктурные прибыли спекулянтов и барышников — все это в значительной степени вызывается неустойчивостью денежной единицы».

Глава 1 — о последствиях изменения стоимости денег, о его воздействии на краткосрочное распределение богатства и уровень производства. Хотя, вообще-то, по поводу неблагоприятных последствий изменений уровня цен не было сказано ничего нового³¹, Кейнс сделал необычный

упор на «вязкость социальных и деловых процессов» и на необходимость устойчивых цен как условия социальной стабильности. Инфляция, говорит он, наносит наибольший вред путем перераспределения богатства; дефляция — тем, что мешает росту этого богатства, задерживает его производство. В первом случае предприниматели выигрывают за счет тех, кто делает сбережения, и большинства рабочих, чьи доходы неизменны (в пределах краткого периода), в то время как реальная ценность этих доходов падает. Это хорошо для бизнеса, но подрывает долгосрочные перспективы капитализма, превращая предпринимателей в спекулянтов и высушивая сбережения. С другой стороны, снижение цен вредит производству и занятости, сопряжено с конъюнктурными потерями для предпринимателей, чьи основные издержки производства (включая затраты на наемный труд) остаются в пределах короткого времени неизменными, в то время как продажные цены их изделий падают. В случае дефляции «факт падающих цен бьет по предпринимателям; следовательно, опасения, что цены пойдут вниз, заставляет их защищать себя свертыванием своей деятельности. Таким образом, «относительно слабый начальный толчок может вызвать значительные перепады»³².

Кейнс заключает главу 1 известным, тщательно взвешенным высказыванием:

Таким образом, инфляция несправедлива, дефляция нецелесообразна. Если исключить чересчур раздутую инфляцию, вроде той, что наблюдается в Германии, из этих двух явлений дефляция, пожалуй, хуже; это потому, что в обедневшем мире спровоцировать безработицу хуже, чем огорчить *рантье*³³.

Важную оговорку насчет «обедневшего мира» не хотели замечать те, кто утверждал, будто приведенный отрывок свидетельствует о равнодушном отношении Кейнса к инфляции. На деле же, как он ясно дает понять, «нет нужды противопоставлять одно зло другому. Проще со-

гласиться, что в обоих случаях мы имеем дело со злом, которого следует избегать».

Разобрав последствия изменения стоимости денег, Кейнс в главе 3, обращается к причинам, вызывающим эти последствия. Это заставляет его обратиться к известной количественной теории денег. Она утверждает, что уровень цен изменяется пропорционально количеству наличных денег, выпускаемых банковской системой. «Эта теория, — пишет Кейнс, — является основополагающей. Ее соответствие действительному положению вещей бесспорно»³⁴. Но, разразившись этим утверждением, он последовательно показывает, что действительному положению вещей количественная теория не очень-то соответствует.

Деньги — это определенный запас выпущенных банкнотов, из которых в любое данное время часть находится у людей в «карманах» в виде наличных, а часть на их банковских счетах — которые Маршалл называл «остатками наличности», предназначенными для расходов, и которые Кейнс обозначал как $k + k'$. При условии, что в один период за другим эти остатки расходуются одинаковыми темпами, соотношение между деньгами и ценами должно быть постоянным, поскольку вещи должны стоить столько, сколько вы за них платите. В конечном счете, пишет Кейнс, «это соотношение будет поддерживаться. Но долгосрочная перспектива сбивает с толку, когда речь идет о текущих делах. *В долгосрочной перспективе* все мы покойники. Экономисты задают себе чересчур легкую, слишком бесполезную задачу, если в сезон бурь готовы только сообщить нам, что, когда шторм останется далеко позади, волны в океане снова улягутся»³⁵.

Этим своим известнейшим изречением Кейнс имел в виду, что в пределах кратких отрезков времени скорость, с какой люди тратят свои наличные деньги — скорость денежного обращения, как говорят экономисты, — может изменять цены независимо от изменений в количестве наличных денег. По Кейнсу происходит так, что они ускоряют свои траты, когда цены повышаются, и замедляют их в

обратном случае. Он привел цифры, свидетельствующие, что приблизительно то же самое количество денег требовалось в октябре 1920 г. при уровне цен на 50 процентов более высоком, чем в октябре 1922 г., разница же покрывалась происшедшим за это время большим увеличением банковских депозитов. Так что задача банковской системы, которая хочет держать цены устойчивыми, состоит в том, чтобы обеспечивать большее поступление денег, когда люди склонны тратить меньше, и сокращать их количество, когда склонность к расходам возрастает. Говоря собственными словами Кейнса,

дело стабилизации уровня цен не просто на длительные периоды, но и в смысле недопущения циклических колебаний состоит частично в стабилизирующем воздействии на k и k' [остатки наличности], и в той мере, в какой это окажется безрезультатным или неосуществимым, в расчетливом изменении n [выпуск банкнот] и r [отношение банковских резервов к долгам], с тем чтобы уравновесить изменения k и k' ³⁶.

Это было ядро современной «научной» теории денежной политики.

Сосредоточивая внимание на переменчивости «спроса на наличные деньги», Кейнс несколько отошел от традиционной количественной теории денег, в которой уровнем цен управляет поступление наличных денег или законных платежных средств — хотя в этом не было ничего нового для изучавших теорию Маршалла. Вне анализа остались причины колебаний в скорости движения денег, кроме неуверенности в будущем курсе цен. Поражает своей ортодоксальностью проявленное в *‘Трактате’* невнимание к возможным немонетарным причинам колебаний в расходах — если не считать единственного случая сезонных колебаний в сельскохозяйственных странах³⁷.

В главе 5 Кейнс разбирает цели и механизмы денежной политики. Цель денежных властей должна состоять в том, чтобы «предотвращать отклонение [цен на стандартный набор товаров] более чем на определенный процент в

любом направлении от нормального». Решая, что является «нормальным», денежная власть должна принимать во внимание «состояние занятости, объем производства, ощущаемый банками реальный спрос на кредит, размах новых эмиссий, уход наличных денег из обращения, статистику внешней торговли и валютных обменов», так что интерпретация всех этих данных позволит определить возможности для «игры суждений и решений». Кейнс уже ясно показал, что хотел бы видеть рост цен и снижение валютного курса, прежде чем предпринимать попытку ценовой стабилизации: нормализация должна предшествовать стабилизации.

Добившись «нормального» уровня цен, денежная власть будет поддерживать его, сообразуясь с обстоятельствами, то есть уравнивая рост или падение запасов у населения наличности (или скорости обращения денег) изменениями в кредитной политике.

Мы теперь подошли к сути спора. Управление внутренними ценами в интересах бизнеса и социальной стабильности оказалось бы до невозможности трудным делом в случае возвращения Англии к довоенному золотому стандарту. При необходимости выбирать стабильность цен должна быть поставлена впереди стабильности валютного курса, поскольку «контракты и деловые ожидания, связанные с устойчивостью валютного курса, даже в такой торговой стране, как Англия, должны иметь гораздо меньший вес, чем те, что предполагают устойчивость внутренних цен»³⁹. Политика обменного курса валюты должна быть подчинена потребностям внутренней экономики.

Кейнс признавал, что в девятнадцатом столетии золотой стандарт «позволял сохранять стабильность не только валютных курсов, но также и уровня цен»⁴⁰. Это происходило благодаря «особым условиям», которых больше нет. Открытия крупных запасов золота в основном происходили в том же темпе, что и рост спроса, который предъявлял на него деловой мир, что позволяло избегать больших колебаний в стоимости золота; и распределение золота отражало конкурентное равновесие между главными

торговыми нациями. Но со времени последнего открытия значительных залежей золота прошло уже четверть века. Кроме того, большая часть мирового монетарного золота теперь находится под замком в Америке⁴¹. При существующем (и предполагаемом) распределении золота восстановление золотого стандарта будет означать, что «мы передаем регулирование уровня наших цен и управление кредитным циклом в руки Федеральной резервной системы Соединенных Штатов», интересы которой могут быть иными, нежели у Английского банка, и способность которой «управлять» деньгами пока еще не испытана⁴². Кейнс настаивал, чтобы Англия была свободна управлять своим монетарным стандартом *независимо* от Соединенных Штатов.

Кейнс признавал, что Федеральная резервная система успешно сумела «стерилизовать» притоки золота, сохранив стабильность внутренних цен, но опасался, что возможное извлечение золота из сокровищниц Америки раскрутит всемирное инфляционное движение — что в действительности и произошло, но только в 1960-е гг.! Кейнс описал фикции, прибегая к которым американские денежные власти умудрялись «управлять» деньгами и сохранять вид, будто они этого не делают:

Теория, с которой, по-видимому, должна согласовываться политика учетных ставок управляющих Федеральной резервной системы в отношении притока и оттока золота и степени золотого покрытия долгов, мертва, как дохлая кошка. Она сгинула, и сгинула оправданно, едва управление Федеральной резервной системы начало пренебрегать степенью золотого обеспечения и принимать золото, не позволяя ему в полной мере влиять [на уровень цен] просто потому, что увеличение кредита и цен казалось в тот момент нежелательным. С этого дня золото было демонетизировано в этой едва ли не последней стране, где ему еще продолжали оказывать словесные почести, и на пьедестал был водружен долларový стандарт. В течение минувших двух лет Соединенные Штаты *делали вид*, что поддерживают золотой стандарт. *На деле же* они установили долларový стандарт; и вместо заботы о том, чтобы стоимость доллара соответство-

вала стоимости золота, они вводят, с большими затратами, обратное правило: стоимость золота должна соответствовать стоимости доллара. Это — путь, на котором богатая страна в состоянии сочетать новую мудрость со старыми предрассудками. Она может, к своему вящему удовольствию, пользоваться самыми последними научными выводами, полученными в экономической лаборатории Гарварда, сохраняя конгресс в убеждении, что не будут дозволены никакие опрометчивые отступления от металлических денег, освященных мудростью и опытом Дунги, Дария, Константина, лорда Ливерпуля и сенатора Олдрича⁴³.

Кейнс не оставлял надежды на примирение двух целей — стабилизации цен и стабилизации обменного курса: мудрая денежная политика должна стремиться к достижению и того и другого. Если бы внутренние цены в двух странах удалось сохранять достаточно устойчивыми в течение достаточно длительного времени, обменные курсы со временем установятся на уровне «паритета их покупательной способности». Политика стабилизации цен, кредита и занятости создаст, таким образом, тенденцию стабилизации также и валютных курсов. Чтобы сочетать «стабильность цен в течение длительного периода» со «стабильностью обменных курсов на короткие отрезки времени», денежная власть должна осуществлять «регулирование», но не «сковывать» цену золота. «Готовность Банка покупать и продавать золото по ставкам, фиксированным для данного времени, — писал Кейнс, — будет держать соотношение доллар — стерлинг в устойчивом состоянии... так что обменный курс не будет колыхаться при каждом дуновении ветра, а будет меняться лишь тогда, когда Английский банк придет к взвешенному заключению, что его изменение необходимо для сохранения стабильности стерлинговых цен». Золотой запас должен сохраняться исключительно как «походная казна» на случай критической ситуации; он не должен быть связан с выпуском банкнотов, который следует целиком увязывать с внутренними ценами и потребностями торговли»⁴⁴.

Кейнс предвидел, что со временем мир станет двигаться к централизованно управляемой валютной системе, но пока наилучшим решением было бы иметь две управляемые валюты, доллар и стерлинг, с «ползающим» якорем между ними и тесным сотрудничеством между денежными властями двух стран в интересах обеспечения устойчивости цен и обменного курса. Другие страны должны базировать свои валюты на долларах или стерлингах посредством золотого обменного стандарта, при том что свои золотые запасы они будут держать у себя дома, а долларовые или стерлинговые счета — в Нью-Йорке или Лондоне⁴⁵.

Это — центральная нить аргументации. Далее следует разбор двух вспомогательных, технически сложных вопросов об «инфляционном паллоге» и «форвардных сделках» с валютами. Первый касается организационного приема, с помощью которого правительство может направлять средства в свое распоряжение, не обращаясь к парламенту с просьбой о выделении денег. Кейнс описывал его несколько восторженно: «Следует признать его эффективность, вплоть до мелочей». Ральф Готри выражал надежду, что Кейнс скорее иронизирует, чем выписывает рецепт⁴⁶. В последнем разделе главы 3 Кейнс показывает, как торговцы и инвесторы могут использовать «форвардные рынки», чтобы застраховаться от колебаний валютных курсов. Это была глава для знатоков. Оба метода были освещены его собственным опытом, в первом случае как официального представителя Казначейства во время войны, во втором — как спекулянта на послевоенном валютном рынке.

‘Трактат’ отмечен особым духом всей экономической журналистики Кейнса — в нем раскрываются тайные знания, низвергаются признанные теоретические святыни. Он полон «богохульства» на потребу Блумсбери. Золотой стандарт описывается как «пережиток варварства»⁴⁷. Прибегая к усложненному юмору в духе Стрэчи, он сожалеет о злополучной судьбе смятого инфляцией че-

ловека, который добродетельно сберегал свои деньги — того «который ни тратил, ни «спекулировал», который, как положено, «откладывал на черный день», который пел гимны безопасности и самым неукоснительным образом следовал моральным наставлениям и соблюдал запреты мудрых мира сего, — того, кто, поистине, меньше всех обещал злему року и все же стал жертвой его самых тяжелых ударов»⁴⁸.

Тем, кто твердил, что девальвация валюты является «нарушением контракта», Кейнс отвечал:

Такие люди, обходя вниманием один из величайших общественных принципов, а именно фундаментальное различие между правом индивидуума аннулировать контракт и правом государства контролировать групповые интересы, являются худшими врагами того, что они стремятся сохранить. Ибо ничто не может оберегать целостность контракта между индивидуумами, кроме безоговорочного полномочия государства пересматривать то, что стало невыносимым. Власть ростовщичества слишком велика. Если бы прирост процентов по закладным никогда не прерывался на протяжении нескольких поколений, половина населения была бы сейчас на положении рабов другой половины... Абсолютные приверженцы контракта — истинные родители революции⁴⁹.

Прикрытые техническими подробностями и иронической драпировкой, в *‘Трактате’* содержались связанные между собой суждения, которым предстояло быть вдохновляющим началом экономической работы Кейнса до конца его жизни. Экономическое здоровье имело слишком большое значение, чтобы оставлять его на милость *laissez-faire*. Экономическому управлению, уже начавшемуся, надлежало стать частью современной науки государственного управления, а не орудием в руках групп особых интересов. Война значительно увеличила опасности социального переворота. Чтобы уберечь ядро индивидуалистического общества от революционной опасности, следует пожертвовать некоторыми его вторичными конструкциями.

6. Отклики

В появившихся тогда рецензиях широко признавалось, что *'Трактат о денежной реформе'* — работа блестящая, но содержащиеся в нем конкретные предложения столь же широко расценивались как либо невыполнимые, либо вредные. Рой Хэррод писал, что *'Трактат'* подвел к тому, что желательность возвращения золотого стандарта стала насущной проблемой⁵⁰. В первых откликах на книгу мало что об этом свидетельствует. В этом вопросе даже своих друзей Кейнс не сумел увлечь за собой. Что более всего затронуло скептиков, так это исходное предположение Кейнса о всеведении и непорочности его предполагаемых управленцев. Джошуа Стэмп, сам из числа таких мандаринов, был встревожен тем, что Кейнс «отступил от наилучшей физической основы (золота), которая может или не может быть для нас лучшей умственной опорой в наших каждодневных суждениях. С точки зрения того, кто часто считает, что персоналу наших самых уважаемых национальных учреждений столь основательно не хватает подлинной квалификации для выполнения возложенных на них задач, он [Кейнс] выражает удивительное доверие способности наших служб эффективно обращать теорию в совершенство практики»⁵¹. Анонимный рецензент в *'Литературном приложении к 'Таймс'* выразил общее мнение, написав, что достоинство золота в том, что «оно не позволяет политическим деятелям легко обращаться к изготовлению денег»⁵².

Социалисты сделали из книги Кейнса противоположный вывод. Рецензент в *'Манчестер гардиан'* вопрошал: если коллективизм уместен в управлении деньгами, почему не использовать его для устранения «неравенства, несправедливости и бедности?» Г. Уэллс, большой поклонник Кейнса, счел книгу свидетельством его «проницательного», но «ограниченного» ума, который не в состоянии разглядеть возможность вытеснения частной выгоды общественными интересами в сфере более широкой,

чем управление деньгами⁵³. Пролагаемый Кейнсом *Средний путь* между правилами невмешательства и императивами социализма с трудом находил себе понимание.

Возможно, его аргументация не вызывала бы столь-ко раздражения, будь в ней поменьше сарказма. Это помогло бы подать его предложения здравомыслящим людям под соусом управляемого золотого стандарта. Как справедливо отметил Джошуа Стэмп, Кейнс «в ужасе ша-рахається от общепринятых внешних форм»; но они тем не менее нужны, когда требуется переделывать «бета-гам-ма»-умы. Кейнс не мог преодолеть себя, да и не хотел. Он был частью модернистского движения, ставившего своей целью подрывать «заблуждения» (кодовое блумсберий-ское словцо для обозначения христианства и викториан-ской морали), которые ставят преграды человеческой сво-боде и работе разума. Признание, что «заблуждения» мо-гут служить необходимой защитой от моральных прегрешений или просто быть проявлениями некомпетентности, приходило с трудом, с запозданием и только с неохотой. Для Кейнса *‘Трактат’* был предварительной декларацией. Книга только-только вышла, а он уже вына-шивал план «короткой новой книги, которая будет про-должением *‘Денежной реформы’*»⁵⁴. 2 мая 1924 г. он писал Лидии: «Когда я набрасываю свои лекции, у меня в уме начинает вырисовываться образ моей новой книги». Немецкому корреспонденту 23 апреля 1925 г. он сообщал: «У меня возникает ощущение, что во всех комментариях по поводу моего *‘Трактата о денежной реформе’* разбира-ются суждения не мои, а какого-то покойника. Надеюсь, новая книга о монетарной теории, которую я готовлю, прольет намного больше света на мои основополагающие тезисы, которые я опрометчиво обнародовал без предва-рительного достаточного их обоснования»⁵⁵. Двухтомно-му *‘Трактату о деньгах’* предстояло появиться семь лет спустя. А пока надо было погружаться в битву против воз-вращения к золотому стандарту.

Часть пятая

ЗОЛОТО — ТЯЖКИЙ КРЕСТ

Возвращением к золотому стандарту в 1925 году, при неподходящем паритете, Банк поставил перед собой задачу урегулирования настолько трудную, что она почти не поддается решению. С одной стороны, очевидно, что нецелесообразно было, устанавливая высокую учетную ставку или ограничивая кредит, навязывать дефляцию, достаточно крутую, чтобы вызвать сокращение внутренних издержек, соответствующих принятому паритету. С другой стороны, сохранение низкой учетной ставки, которая сделала бы Лондон непривлекательным для краткосрочных вложений иностранного капитала, привело бы к быстрой потере золота Банком и намного ускорило бы крах золотого стандарта...

**Дж. М. Кейнс,
'Lloyds Bank Monthly Review'
April 1932**

Я не думаю, что Англия допустила ошибку, восстановив в 1925 г. довоенную стоимость фунта. Ошибкой было допустить, чтобы профсоюзы, после всеобщей забастовки, навязали британской промышленности жесткую шкалу заработной платы и субсидирование последовавшей безработицы выдачей пособий.

**Томас Лэмонт — Лунсу Уайли
4 ноября 1931**

XXII

Золото и женитьба

1. Виды на брак

На две недели рождественских праздников 1923 г. Мейнард свозил Лидию в Монте-Карло. Пока они с Шеппардом проводили время за игровыми столами в казино, Лидия ходила на репетиции *Русских балетов* (теперь их ставили в Монте-Карло) и помогала Антону Долину, последнему другу-любовнику Дягилева разучивать его партию в *Дафнисе и Хлое*. Освеженный игрой на современные деньги, Кейнс возвратился в Кембридж, чтобы заняться изучением денег древних. День и ночь он рассматривал, сверял с каталогами и скреб вавилонские и греческие куски металла — «поглощенный этим занятием до безумия», — писал он Лидии 18 января 1924 г. Лидия прониклась «полной симпатией» к его «вавилонскому безумию». «Это — сокровище твоего интеллектуального духа, и я испытываю к тебе такую нежность, когда ты этим занимаешься»¹.

Его роман с Лидией выплыл, по-видимому, в более спокойные воды. Он послал ей любовные стихи, написанные некой вавилонянкой за 2000 лет до Рождества Христова: «Приди ко мне, мой Иштавар, и покажи свою мужскую силу, / Вынь свой член и прикоснись им к моей милой штучке», — и в дополнение, переключившись на мужскую волну, приложил алгебраическую задачу! Она ловко пользовалась его языком, описывая свои дела: «Мне хочется, —

писала она ему, — наводить порядок или писать письма; существует также вероятность, что двинусь средним путем в виде чтения книги»; а когда он послал ей деньги, выразила благодарность за увеличение ее «покупательной способности». Он называл ее своей *precieuse ridicule*.

Свой роман они наконец раскрыли родителям Кейнса — почти через два года после его начала. Флоренс Кейнс встретилась с Лидией, нечаянно и к всеобщему замешательству, 15 февраля 1923 г. в доме Джеффри Кейнса в Лондоне, где она консультировалась с ним по поводу воспаления большого пальца на ноге². Но первым выходом Мейнарда в семью с нею как своей обрученной был их визит в дом его сестры в Хайгейте 16 ноября 1923 г. Это был большой успех. «Твоя мать — милая женщина, — написала Лидия Мейнارد. — У тебя ее глаза и ищущий ум. Мне нравится смотреть на нее. Я была возбуждена и поэтому говорила слишком быстро или забывала слова... Перед уходом она меня поцеловала». Флоренс была Лидией очарована, что было естественно. Но прежде всего ее привело в восторг то, что ее блестящий, но непутевый сын нашел женщину, с которой мог разделить свою жизнь. Скоро Лидия и Флоренс изливали друг другу «наши чувства к тебе и друг к другу в связи с тобой, нашим общим совершенным идолом»³. Его родителей Лидия и Мейнард стали называть по-русски — *starychki*.

Шансы на скорую свадьбу были пока невелики. Дело о разводе Лидии с Барокки находилось в руках пессимистично настроенного поверенного, Кеннета Брауна, дяди Мейнарда. Лидия добивалась расторжения брака, ссылаясь на двоеженство Барокки, который еще не завершил развод с американкой Мэри Харгривс, когда женился на Лидии. На поиски Мэри Харгривс было взято время до мая 1924 г. Этим подготовка дела завершалась. Но слушание в суде, назначенное на июль, было отложено до января 1925 г.

В отличие от Мейнарда, Лидия не была загружена работой. Ее первый контракт на 1924 г., полученный, как

она считала, только потому, что Освальд Столл хотел поддерживать отношения с Мейнардом⁴, предусматривал начинавшуюся лишь 1 апреля двухнедельную программу в *Коллизее* со Станисласом Идзиковским. Гарольд Боуен с горечью отметил, что «Лидия танцевала не очень хорошо, хотя в *'Таймс'* этим утром появилась симпатичная ее фотография. Костюмы были смехотворны...»⁵ Покончив с этим обязательством, Лидия и Мейнард выкроили себе долгий уикенд в Чарлстоне — с 19 по 23 апреля; Ванесса и Дункан предусмотрительно оттуда удалились. Эти места им так нравились, что у Мейнарда родился план арендовать на лето Тилтон — дом в соседнем поместье.

24 апреля Лидия уехала в Париж, чтобы начать репетиции к шестинедельным гастролям в театре *Сигаль*. Граф Этьен де Бомон и Леонид Мясин наметили балетную программу *'Парижские вечера'* в качестве первой попытки создать новую труппу, которая, как они рассчитывали, будет соперничать с дягилевской. Лидия, по совету Мейнарда, согласилась на уменьшенную плату в 15 тысяч франков (200 фунтов), в надежде (неоправдавшейся) что спектакль затем пойдет в Лондоне. Радость Лидии от пребывания в Париже была недолгой. Бульвар Распай как место для сна оказался «адам после Гордон-сквер»; ее комната в гостинице *Кейр* была слишком маленькой для упражнений. Вскоре у нее произошла первая ссора с графом. Счастливо женатый гомосексуалист, он поставил в своей хореографии балет под названием *'Мода'*, полный сексуальных извращений, в котором, по его замыслу, Лидия должна была появиться с Рупертом Дуном, «гневом Парижа». «Мы лежим на пляже в Лидо, — сообщала Лидия Мейнард, — мужчина и мальчик 'приступают к делу', а у меня на лице должна появиться гримаса обиды... я же не могу выглядеть ревнивой — не в моем характере ревность при таких обстоятельствах»⁶. В конце концов она сказала графу, что в *'Модe'* появляться не будет. «*Je vous deteste*», — ответил он, но позволил поступать, как ей угодно.

В Кембридже были свои ужасы. Собрания продолжались по шесть часов. 20 мая Мейнард «держал речь в Сенате по вопросу о пенсиях для старых профессоров. Не представляю, зачем я утруждаю себя такими делами». Ему не нравилось отсутствие Лидии. За «тьмой и пустотой» на Гордон-сквер «последовали пять заседаний правления — одно за другим». Он пожаловался Ванессе Белл на свое «вдовство», и 13 мая она устроила для него вечеринку в духе старого Блумсбери, на которой Марджори Стрэчи пустилась в «ужасные откровения насчет своих тайных грехов», и только он и Вирджиния Вулф пережили это спокойно⁷. Вернувшись в Кембридж в четверг 15 мая, он «начал статью для *'Нации'*... и почувствовал, что заинтересовался этим.... Но я не смогу ее закончить, пока не останется позади завтрашняя лекция»⁸. Появившаяся 24 мая под названием *'Требуется ли для безработицы сильнодействующее лекарство?'*, эта статья стала вехой в развитии его мысли.

Лидия начала свои выступления в субботу 17 мая в новом балете Мясина *'Прекрасный Дунай'* партией уличной танцовщицы. Мясин исполнял при ней партию гусара и, по ее, а также Боуенов мнению, преднамеренно старался приковать к себе все внимание публики. Французская пресса обошлась с Лидией грубовато: *'Tant mieux pour la femme, tant pis pour la danseuse.'* Мейнард примчался в субботу на ее дебют в театре *Сигаль*; тем временем она переместилась в гостиницу, где молочники милостиво воздерживались громыхать своими бидонами в 6 утра. «Мейнард, — записал в своем дневнике Гарольд Боуен, — захватил нас в театре и потребовал, чтобы В[ера] закончила рецензию [на балет Бомона] к понедельнику, дав ему возможность напечатать ее в *'Нэйшн'* на этой неделе». Когда Вера пожаловалась, что ее статьи урезают, Кейнс написал ей «раздраженно, что таково обычное свойство журналистики, что иногда такое происходит — вообразите! — даже с ним».

После «двух счастливых дней» в Париже Мейнард возвратился в Лондон на большой прием в честь королевы

Румынии, где Болдуин сказал ему: «Вы смотрите такой славной собакой с этим ошейником [лентой ордена Бани]», а Ллойд Джордж казался подозрительно дружелюбным. (Две недели спустя королева появилась в Париже, где Лидия должна была танцевать для нее.) Ощущая «необычайное просветление в голове», он сделал столько, «сколько за день успеваю сделать только раз в году. В течение пяти часов я писал с полной концентрацией мысли, не расслабляясь. Результат — почти закончил длинную статью (ответ моим критикам) для следующего субботнего номера 'Нации'. Если бы только всегда можно было находиться в высшей точке своего цикла»⁹.

Из Королевского колледжа 8 июня Мейнард писал Лидии:

Сегодня, принимая ванну, я размышлял о твоих достоинствах — как же они велики. Как обычно, задавался вопросом: как тебе удастся быть столь мудрой? Ты, должно быть, провела много времени, откусывая от яблок и беседуя со змием! Но я также думал, что ты сочетаешь в себе все возрасты — глубокую старуху, мать семейства, дебютантку, девушку, девочку, младенца; так что ты создание универсальное. Что можешь сказать в защиту от таких похвал?

Сегодня я написал довольно много слов — ручка стала писать быстрее.

Я *вполне* согласен с тобой насчет нового балета; он должен избегать этих уродливых абстракций, так же как живописи следует чураться кубизма; это действительно *не имеет смысла*, я уверен — только *dernier cri*.

Она ответила два дня спустя из гостиницы *Сан-Режи*:

О Мейнард, то, что ты думал обо мне в воскресенье в ванной комнате, похоже на ухаживание за глаза. Я польщена, застеснялась и снова польщена, я — не соответствую всему, что ты говоришь, но со временем я стану лучше и буду есть больше яблок.

В начале июня Кейнс провел много времени «выписывая цены» и работая над своей предстоявшей ноябрь-

ской лекцией в Оксфорде на тему '*Конец laissez-faire*'. Тем временем балетный сезон графа складывался неважно. Ему не доставало воображения и авторитета Дягилева; его «обходительный, но слабый фальцет» не мог держать труппу в послушании; ряды зрителей редели. У Лидии 15 июня были выступления в ее третьем вечернем спектакле '*Розы*', а также в '*Амуре*' — семиминутном «эскизе о девочке, мечтающей о куклах, я — одна из кукол». Боуены посчитали постановку «неимоверно слабой»¹⁰. Мейнард снова приехал в Париж 21 июня, чтобы быть с Лидией в течение заключительных двух недель ее сезона.

Он, несомненно, надеялся летом продолжить в Тилтоне работу над своей новой книгой. Но этому не суждено было осуществиться.

Моя дорогая, любимая Л [написал он Лидии 16 мая], сегодня в полдень я был расстроен известием, что моему старому учителю, сделавшему меня экономистом, недолго осталось жить; так что я пошел нанести ему последний визит. Лежа в постели в своем ночном колпаке, он напоминал старого мудреца, каковым он и является, — выглядел очень по-китайски. Его голос был очень слаб, но он рассказал, как впервые прибыл сюда изучать экономическую теорию и как эти занятия превратились в своего рода религиозный труд на благо человечества. Он все еще был способен смеяться, но его память совсем не удерживает происходящего, и, вероятно, он уже забыл о моем посещении.

Альфред Маршалл умер 13 июля, в возрасте восьмидесяти двух лет. С помощью его вдовы Мэри Маршалл и тилтонского воздуха — «для работы лучше здешнего воздуха нет нигде», — писал он матери — Кейнс написал в августе семидесятистраничный некролог, напечатанный в сентябрьском номере '*Экономического журнала*'. Он тактично проложил курс между почестями, положенными создателю кембриджской школы, и своим недостаточно почтительным отношением к викторианской «серьезности» Маршалла. Маршалл для него был частью времени, которое он не любил. Пигу, истинный преемник Маршал-

ла, прочитал в октябре лекцию в его память, которая Кейнсу также не понравилась.

Изворотливость Кейнса вылилась в восхитительный, в полной мере приличествующий случаю панегирик, обходивший, однако, трудные личные вопросы. Некролог очаровал госпожу Маршалл, и ее дополнительно поддержал отзыв Шумпетера: «Самое блестящее жизнеописание человека науки, которое мне когда-либо приходилось читать»¹¹. Блумсберийский отклик дал Литтон Стрэчи, который также посчитал это одной из «лучших работ» Кейнса:

Какой мир она открывает! Какими удивительными людьми были женатые монахи девятнадцатого столетия! Между прочим, ты не сообщаем — возможно, в сложившейся ситуации и не можешь, — пользовался ли он презервативами. Или был он (или она?) от природы бесплодным? Отсутствие у них детей было, похоже, существенной частью их системы существования. Я встревожен, страшусь, впечатлен — почти благоговею перед такой жизнью.

«Нет, не думаю, что он пользовался презервативами, — отвечал Кейнс, — но стал бесплодным вскоре после женитьбы». Таким мягким объяснением Литтон должен был удовлетвориться.

Чарлстонцы все еще были далеки от примирения с женитьбой Мейнарда. 18 июля 1924 г. была вечеринка в старом стиле в доме 46 на Гордон-сквер; Дункан придумал для нее балет трансвеститов, Лидия в нем танцевала, Энгас и Дуглас Дэвидсоны и Дэди Райлэндс были девочками из хора, а Барбара Багенал, Франциска Маршалл и Беа Хау (впоследствии Лаббок) выступали в «мужских» ролях. Но присутствие Кейнсов в Тилтоне в течение всего лета приводило чарлстонцев в отчаяние. Рассерженная их близким соседством Ванесса Белл отправилась в Норфолк на поиски нового дома: «Она так дьявольски неуступчива», — написала ее сестра Роджеру Фраю.

Но Вирджиния в соседнем Родмелле пребывала в такой же ярости. Лидия была мужественная, очарователь-

ная, во всем восхитительная, но — и это имело роковое значение — «без царя в голове». В ее присутствии вы не могли «вести серьезный спор», и «поскольку мы... предпочитаем разум любой дозе жизнерадостности, шутки Лидии всех нас выводят из себя». Лидия попросила Леонарда рассказать ей о Рамсее Макдональде, а затем поймала лягушку и посадила ее на яблоню, «и именно это в ней так очаровывает; но можно ли идти по жизни, отлавливая лягушек?»¹² Заботы о разводе, едва скрываемое недовольство друзей Мейнарда и отсутствие ангажементов на танцевальные выступления — все это превращало осень 1924 г. в еще одно несчастливое время для Лидии. Она написала ему в Кембридж из Лондона в октябре: «Пожалуйста, очень люби меня, иначе по ночам я буду лить океаны слез...»

2. Требуется ли сильнодействующее лекарство от безработицы?

В 1924 г. Кейнс написал несколько статей и прочитал серию лекций, представлявших собой вариации на три взаимосвязанные темы: непригодность *laissez-faire* как политической философии, недопустимость применения принципа *laissez-faire* к иностранным инвестициям и незаменимая роль государства в мобилизации внутренних сбережений, в настоящее время направляемых в инвестиции за рубежом. Общее его наступление на *laissez-faire* будет рассмотрено в следующей главе, но темы вторая и третья заложили основу его выступлений (впервые в 'Нации' от 24 мая 1924 г.) в пользу общественных работ как лекарства от безработицы.

В ряде лекций и статей, посвященных «государственным и зарубежным инвестициям»¹³, Кейнс отвергал сложившееся представление, что вложения капитала за рубежом непременно служат либо разумно понятому частному интересу, либо максимизации национального дохода. Скорее они отражают установившееся предвзятое мнение

в пользу зарубежных и имперских вложений капитала: финансовые гаранты в Сити обнаружили, что им легче всего иметь дело с крупными правительственными займами, а законы о доверительных фондах создали «искусственный» стимул для вложений в колонии¹⁴. В девятнадцатом столетии частные инвесторы не только постоянно теряли свои деньги в Южной Америке, но еще при этом дело обстояло вот как: «Если заем на вложение капитала в Южной Америке оказывался потерянным, нам не оставалось ничего. Если сгорали деньги, пошедшие на финансирование домостроительной программы, у нас... по крайней мере остаются дома»¹⁵. Кейнс подсчитал, что половина доступных сбережений все еще уходит за рубеж. Преобладающая их часть могла бы быть с пользой инвестирована дома, «и этого надлежит добиться, если нашим национальным производственным мощностям следует расти с той же скоростью, с какой растет население»¹⁶.

Следующим шагом Кейнса было приложение этого анализа к текущей британской ситуации. Поскольку безработица, несмотря на возрождение торговли, упорно держалась на уровне 10 процентов охваченной страховкой рабочей силы, его ум обратился к поиску сильнодействующих средств. В двух статьях в *'Нации'* (от 24 мая и 7 июня 1924 г.) он впервые признает, что экономика может «увязнуть в колее», не имея никаких автоматически возникающих «благоприятных импульсов», способных вытащить ее оттуда, хотя он не стал объяснять почему. В таких обстоятельствах «нам нужен импульс, толчок, ускорение», чтобы вызвать «кумулятивное процветание». Импульс был под рукой: отвлечение британских сбережений от инвестиций за рубежом в пользу капиталовложений на родине. Впервые в программе Кейнса появляются общественные работы. Имеет значение контекст. 12 апреля Ллойд Джордж опубликовал в *'Нации'* статью, призывавшую к программе общественных работ. Она породила значительные споры. Кейнс выступил в поддержку своего прежнего *bkte noire*.

Отправной точкой Кейнсу послужил тот факт, что безработица не сократилась до 4 или 5 процентам, как он предсказывал в декабре. Исходя из исторического опыта, он полагал, что на данной стадии делового цикла (с наступлением бума) «нормально» считать, что без работы должны оставаться до 300 тысяч взрослых мужчин. Вместо этого безработица «застряла» на уровне 770 тысяч. Вывод, который отсюда делал Кейнс, состоял в том, что нельзя больше полагаться на *laissez-faire* как на условие восстановления полной занятости. Столкнувшись с такими структурными препятствиями, как жесткие позиции профсоюзов, отсутствие мобильности рабочей силы, твердые ставки заработной платы, предприниматели не имеют стимула вкладывать капитал внутри страны. Поэтому сбережения уходят за границу. Но не следует давить на рабочих угрозой голода, чтобы направить их в иные отрасли. «Процветание кумулятивно», и «мы должны стремиться к тому, чтобы рифы скрылись под вздымающимися волнами доверия и мужества». Он предложил, чтобы правительство использовало свои ограниченные инвестиционные ресурсы не на выплату лежащего мертвым грузом долга, а на выполнение большой, объемом в 100 миллионов фунтов, программы строительства жилья, прокладки дорог и электрификации. Он не считал, что правительство обязательно должно само строить дома или добывать потребные финансы полностью за счет налогообложения. «Политэкономическая эволюция» зовет к «сотрудничеству частной инициативы с государственной казной». Кейнс писал, что «истинный социализм будущего явится... из бесконечного разнообразия экспериментов, направленных к обнаружению подходящих сфер деятельности соответственно для индивидуума и для общества...»¹⁷.

Теоретическая часть аргументации была неполной. Что плохого, если британские сбережения инвестируются за границей, а не дома? Кейнс пояснял, что выданный за границу заем «не создает... автоматически соответствующую

щего потока экспорта» Для увеличения своего экспорта стране-кредитору может понадобиться значительное обесценение своей валюты. Сопряженное с этим сокращение реальной заработной платы в «защищенных» отраслях неминуемо предполагает борьбу представленных в промышленности социальных сил. «Наша экономическая структура далеко не эластична, и может быть потеряно много времени, много косвенных утрат могут иметь место из-за тех напряжений и срывов, которые будут возникать по ходу дела»¹⁸. Вложение капитала дома, а не за границей, намного сокращает путь возвращения к полной занятости. Кейнс не признавал возможности, что перемещение за границу некоторой покупательной способности автоматически поднимет спрос на британские экспортные товары по существующим ценам. Собратьям-экономистам его предложения показались отступлением от либерализма, не восполняемым какой-либо надеждой на общее увеличение занятости.

До конца 1920-х гг. Кейнсу предстояло разыгрывать вариации этих идей. Хотя теория не была разработана, суть его общего подхода к делу была очевидна. Экономика — субстанция вязкая, это не жидкость. Классические механизмы движения цен, может быть, и срабатывают в долговременной перспективе, но способно ли общество выдерживать их «поломки», возникающие в пределах коротких отрезков времени? Этот вопрос должен был вызывать все больший резонанс в Англии, готовившейся вернуться к золотому стандарту.

3. Почему золото?

Даже при том, что Кейнс никогда не полагал, что обесценение валюты может быть панацеей от безработицы, не думал он и обратного, то есть что решение может дать повышение курса национальной валюты. Сделать британские товары более дорогими для иностранцев —

это едва ли могло быть способом излечения от безработицы. Повышение стоимости фунта пришлось бы возмещать сокращением британских затрат; а это, как свидетельствовал опыт, могло вызвать только дальнейший рост безработицы.

Все же британское правительство избрало такую политику. Именно это означало возвращение фунта стерлингов к золотому стандарту в его довоенном паритете с долларом: 1 фунт стерлингов = 4,86 доллара. После приостановки в 1919 г. обратимости фунта в золото британская валюта поплыла относительно доллара. Однако в 1919 г. в докладе Канлифа объявлялось целью по возможности скорейшее возвращение фунта к золотому стандарту «в рамках паритета» с долларом, и начиная с середины 1920 г. британская монетарная политика направлялась к этой цели. Это означало, как мы видели, что денежную политику нельзя было использовать для предотвращения экономического краха 1920–1922 гг. Между 1920 и 1925 г. управляющий Английского банка Монтегю Норман прибегал к «моральным увещаниям», призывая ограничить предоставление кредитов иностранным заемщикам, а не наращивать инвестиции внутри страны, как хотел Кейнс, — и все ради укрепления фунта. К началу 1923 г. разрыв между британскими и американскими оптовыми ценами был существенно сужен; фунт оправился и поднялся до отметки 4,70 доллара; новый «золотой век» был уже в поле зрения. Однако в то время как в Англии и Соединенных Штатах продолжилась дефляция, в большей части континентальной Европы безудержно бушевала затянувшаяся инфляция, причем немецкая марка со временем рухнула полностью, а франк и лира обесценились, скатившись к небольшой доле своей довоенной стоимости.

Возвращение фунта к золотому стандарту означало его возвращение в систему фиксированных обменных курсов, в рамках которой поступление денег во внутреннее обращение определялось международными движениями золота; фунт стерлингов свободно конвертировался в

золото по установленной цене — по крайней мере нерезидентами — и перемещение капитала никак не ограничивалось. Установленные обменные курсы были выгодны для международной торговли; золотой стандарт обеспечил международные платежные средства и механизм — обратимость бумажных денег в золото — для поддержания официальных ставок валютного обмена и для предотвращения какого бы то ни было кумулятивного движения цен в системе в целом, будь то движения вверх или вниз. В *‘Трактате о денежной реформе’* Кейнс обрушился на золотой стандарт за то, что он не обеспечивает *достаточной* стабильности цен; и развивал идеи, бывшие по своему смыслу доводами против дальнейшей дефляции британских цен как способа восстановить довоенную золотую стоимость фунта. В идеале он хотел бы получить рост, а не снижение британских цен, прежде чем они будут стабилизированы. Критики выдвигаемых Кейнсом планов реформы утверждали, что против инфляции единственной гарантией может быть товарный стандарт.

Друг Кейнса Николас Дэвенпорт считал, что политика возвращения к золоту имела своим источником садистское желание банкиров причинить боль рабочему классу. Сам Кейнс намекал на возможные фрейдистские объяснения. В *‘Трактате о деньгах’* он ссылаясь на вышедший под редакцией его друга Джеймса Стрэчи сборник работ Фрейда, где тот утверждал, что «интерес, проявляемый младенцем к своим испражнениям, преобразуется в высокую оценку *золота и денег*»¹⁹. Банкиры сочли бы эту идею фантазией. Твердые обменные курсы и здоровые деньги, сказали бы они, необходимы для экономического прогресса. А единственное надежное основание для того и другого обеспечивает золотой стандарт.

Стихийная или разумно обоснованная, «жажда» золота имела место, и в ней было очень много бесчеловечности. Правительства Европы разрушили хрупкое социальное и экономическое равновесие, когда добивались «победы любой ценой». Теперь они ожидали, что рабочие возьмут

на себя издержки, связанные с попытками его восстановить. Лишь немного жертв, говорили они, — и мир снова станет золотым, каким был до лета 1914 г.

Кейнс обрисовал свою альтернативу. Он выступал за независимо управляемые национальные денежные системы; они были бы совместимы с фактической стабильностью обменного курса в течение длительных периодов времени. Но он также понимал, что такой подход к делу не годится для практической политики; так что он поставил себе более скромную задачу: добиваться, чтобы возвращение к золоту вызвало по возможности меньше разрушений в британской экономике. Его общей линией в 1924 г. было: «подождать и посмотреть». Он не был против возврата фунта к его довоенному паритету с долларом, если это будет оправдываться обстоятельствами; но доказывал, что это не должно быть целью политики и особенно был настроен против намеренно для этого проводимой политики дефляции. Так что из тактических соображений он отказался от прямых выступлений против возврата к золоту и стал только подбирать доводы для его отсрочки. Срок действия эмбарго, наложенного на экспорт золота в 1920 г., истекал в 1925 г. Предстояло либо продлить его, либо отменить.

Выплаты золотом могли бы возобновиться в 1923 или 1924 г., если бы не сомнения в финансовом положении и политическом будущем правительства Болдуина и его лейбористского преемника. Этими обстоятельствами были вызваны «бегство от стерлинга» в середине 1923 г. и низкий обменный курс (4,30–4,40 доллара) в течение большей части 1924 г. Нельзя сказать, что лейбористские министры разделяли сомнения Кейнса в разумности возвращения фунта к золотому стандарту: Филип Сноуден, лейбористский канцлер Казначейства, был убежденным сторонником золота, и в апреле 1924 г. он назначил возглавленную Остином Чемберленом Комиссию по выпуску банкнотов с задачей представить рекомендации относительно того, «когда и как должен быть сделан заключительный шаг»²⁰.

Мнение экспертов, выраженное в показаниях перед Комиссией Чемберлена, было почти единодушным в пользу восстановления золотого стандарта. Чаще всего указывали на три выгоды. Первой было то, что станет на якорь стоимость денег внутри страны, то есть будет предотвращена инфляция. Во-вторых, возвращение к золоту толковалось как мера поддержки промышленности. Это вызвало протесты, особенно яростные со стороны сэра Феликса Шустера, отрицавшего возможность каких-либо долговременных расхождений интересов лондонского Сити и «национальной торговли», поскольку «торговцы гораздо больше теряют от изменений обменного курса, чем от необходимости несколько увеличивать платежи за свои банковские операции»²¹. Этот взгляд не разделяла Федерация британской промышленности, которая, однако, согласилась, что «общий возврат к золотой основе... был бы нам очень выгоден»²². Наконец, банкиры были единодушны в том, что возвращение к золоту было необходимо для восстановления лондонского Сити в положении ведущего мирового банкира и фунта стерлингов как ведущей мировой валюты. Пока не возобновятся платежи золотом, не только доллар США, но даже немецкая марка окажется «гораздо более популярной валютой, чем британский фунт»²³.

Сделанные Кейнсом в его *‘Трактате’* утверждения, что золотой стандарт сам является существенным источником неустойчивости цен, воспринимались как гораздо менее весомые, чем заявления о том, что неконвертируемые бумажные деньги способствуют инфляции уже потому, что почти ничего не стоит произвести листки бумаги с подписью кассира центрального банка. Утверждавшим, что британский опыт 1922–1925 гг. показал необязательно инфляционный характер бумажного стандарта, Монтегю Норман отвечал в 1925 г., что «в эти три года «управляемость» финансов стала возможной только потому, что сам этот период был заполнен шагами — целенаправленными шагами — по пути к золотому лету»²⁴.

Кейнс был прав, проводя различие между установлением твердого обменного курса и ставкой этого курса. «Идя на некое изменение, я просто должен нацеливаться, — писал он — на что-то по возможности близкое к тому, к чему мы фактически приспособились»²⁵. Он был единственным среди тех пользовавшихся признанием экспертов, кто готов был размышлять о наводившей страх девальвации. Девальвацию, писал Пигу в своем проекте доклада Комиссии Чемберлена в сентябре 1924 г., «достаточно только упомянуть, чтобы ее отвергли»²⁶. В этой точке иррациональность брала власть над британским аппаратом принятия финансовых решений. Политика принудительно устанавливаемого уровня стерлинга как бы снимала проблему принудительного сокращения денежной заработной платы. Кейнс очень хорошо понимал, что творцам британской политики не доставало жестокости Муссолини, который в 1927 г. просто взял и объявил, что лира имеет такой-то паритет и приказал урезать все заработные платы на 20 процентов. Именно поэтому в 1920-х гг. Муссолини вызывал такое восхищение в некоторых британских кругах.

4. Уговоры

Свои показания Комиссии Чемберлена Кейнс дал 11 июля 1924 г. После его превращения в сторонника острого капитализма он перестал быть любимым сыном Казначейства. Но он все еще вращался в кругах, к которым принадлежали члены Комиссии — Остин Чемберлен, Отто Нимейер, Брэдбери, Пигу и Каспар Феррер (банкир) — и опрашиваемые лица, такие как Монтегю Норман, сэр Чарльз Эддис, Эдвин Карман, сэр Геири Гошен, Уолтер Лиф, Реджинальд Маккенна, сэр Джордж Пэйш и сэр Феликс Шустер. У него была репутация, с которой надо было считаться; одобрять политику с привкусом инфляции он, казалось бы, не мог.

Обсуждение перед Комиссией имело современный, квазимонетаристский аромат. Национальное управление

деньгами, сказал Кейнс, — это способ прийти к стабильности цен, не привязывая стерлинг к золоту. Можно ли в управлении деньгами положиться на Английский банк? Кейнс не сомневался: Банк — это «одно из наших Небесами посланных учреждений, благодаря которому мы, используя аномальные приемы, получаем преимущества как частного, так и государственного института». В Сити всегда найдется «полдюжины людей, хорошо подготовленных для управления самостоятельной денежной политикой». С другой стороны, единственный способ вести дела со «зловредным» канцлером Казначейства — упорствуя в сохранении бюджетного дефицита, — это «отставить его от должности». Практическое возражение Кейнса против немедленного возвращения фунта к золоту с довоенным паритетом в отношении доллара состояло в том, что это потребует «резкого ограничения» кредита, достаточного, чтобы снизить денежную заработную плату примерно на 12 процентов. Дефляция такого масштаба была бы «социально и политически неприемлемой». «Действительно ли вы придаете существенное значение выражаемой вами точке зрения, что нам не следует восстанавливать прежний паритет соверена?» — спросил Остин Чемберлен. Кейнс это отрицал: он считал, что это произойдет само собой в результате роста цен в Америке в не слишком далеком будущем²⁷. Доклад Комиссии, подготовленный Пигу и представленный в сентябре 1924 г., рекомендовал, по существу, в вопросе о возвращении стерлинга к прежнему паритету положиться на развитие внешних событий.

Более тонкое содержание имела дискуссия, открытая банкиром сэром Чарльзом Эддисом через несколько дней после того, как выступал со своими показаниями Кейнс. Эддис настаивал на «предварительном обязательстве» восстановить довоенный паритет к определенной дате и таким образом воздействовать на ожидания заработной платы. В своем ответе 25 июля Кейнс сосредоточился на ожиданиях делового мира, обойдя вниманием соображения Эддиса:

Либо правительственному заявлению верят, и будущее немедленно отражается на обменном курсе валюты, в каком случае на нас обрушивается внезапная и насильственная дефляция во всех ее проявлениях; либо словам правительства не верят или верят только наполовину, и тогда мы имеем медленные сдвиги с ожиданием дальнейшего движения в том же направлении, воздействие которых на торговлю и занятость таково, что о нем едва ли стоит говорить. Как только у делового мира появляется серьезное основание полагать, что цены, вероятно, будут падать, ему не остается ничего иного, кроме как сокращать свои обязательства, прятать свои рожки и выходить из бизнеса на все время, пока не закончится этот *погребальный* процесс²⁸.

Подобный прямой разговор о воздействии ожиданий на развитие событий был в то время редкостью.

Всеобщие выборы в октябре 1924 г. на короткое время вытолкнули Кейнса на трибуну, где ему особенно противно было слышать свой голос. Как обычно, он пребывал во власти бешеного оптимизма относительно перспектив либералов: играя на деньги, Ванесса и Дункан сделали ставки, исходя из прогнозов Кейнса, и проиграли каждый по 70 фунтов, которые он им возместил. (Его потери в целом достигли 350 фунтов²⁹.) Победа консерваторов, руководимых Болдуином, открыла наконец путь к «золотому веку». Стерлинг, находившийся в диапазоне 4,40–4,50 доллара летом 1924 г., поднялся до 4,70–4,80 в период с декабря до апреля 1925 г. Это отразило игру иностранных спекулянтов на повышение, но также и мощное воздействие международной конъюнктуры. Разрыв в оптовых ценах США и Англии, оценивавшийся летом 1924 г. приблизительно в 10–12 процентов, существенно сузился в конце 1924 и начале 1925 г. из-за повышения цен в Америке, вызванного политикой дешевых денег, которую стало проводить управление Федеральной резервной системы отчасти с целью уравновесить внутреннюю депрессию, а отчасти чтобы облегчить возвращение стерлинга к паритету. Та же политика — предполагавшая, среди прочего, банковскую ставку в Нью-Йорке на 1 процент ниже, чем в Лон-

доне, — сделала также выгодным заимствовать деньги в Нью-Йорке и ссужать их Лондону.

При этих обстоятельствах британские власти попали под сильное давление главы Федеральной резервной системы Стронга, советовавшего не упустить «золотую возможность». На взгляд Стронга, стабилизация стерлинга имела ключевое значение для прекращения расстройств валютных отношений, «угнетающе действовавшего» на мировую торговлю³⁰. Они с Норманом, прибывшим в Нью-Йорк в декабре 1924 г., пришли к единому мнению, что, если Англия не воспользуется сейчас возможностью вернуться к золоту, это будет иметь «пугающе серьезные последствия». Норман успокаивал себя обещанной кредитной «подушкой» для защиты стерлинга при его возвращении к золоту в ближайшем будущем. Он телеграфировал Английскому банку 6 января 1925 г.: «Нашего возврата к золоту желают здесь ответственные люди, и противятся ему только некоторые политики и чудаки». В качестве срока он предложил март 1925 г.³¹.

14 января в выступлении перед клубом *Вторник* Кейнс, исходя из неизбежности возвращения стерлинга к паритету *де факто*, старался свести разногласия между «монетаристами-реформаторами и приверженцами золотого стандарта» к одному простому вопросу: «Отмена эмбарго [на экспорт золота] должна стать первым или завершающим шагом?» Кейнс предложил, чтобы это было сделано в конце процесса регулирования и не в качестве навязываемой его меры: «Мы должны сначала принять меры, чтобы прийти к паритету и *заявить* о своем согласии, когда все уже осуществится на деле». Он отметил, что нынешняя стоимость стерлинга стала результатом большого спекулятивного ажиотажа вокруг фунта и следствием американского бума. Связать фунт с долларом в момент, близкий к наивысшей точке бума, — значит взвалить на себя основную тяжесть последующей американской дефляции плюс 8 процентов, которых не доставало стерлингу до паритета, когда бум начинался. Кейнс предложил на-

чать «необходимое приспособление к паритету» посредством «внутренней политики устойчивых денег». Это позволило бы сохранить обменный курс в 4,86 доллара за стерлинг и затем удерживать это соотношение напряженной денежной политикой. Когда все меры внутреннего приспособления будут приняты сполна и в Америке не будет наблюдаться особого бума, как и спекуляции быков на стерлинге, он отменил бы эмбарго, но изъяс золотом из внутреннего обращения и ограничил право Английского банка чеканить монеты. Альтернатива немедленной отмены эмбарго «предполагает, на мой взгляд, согласие с целью, но не со средствами ее достижения. Я считаю это тем более опасным, что на начальных стадиях это вполне осуществимо»³². Кейнс, очевидно, предпочел бы, пусть даже и ошибочную, но четкую политику всякой политике полумер.

В Английском банке сэр Чарльз Эддис, возможно убежденный Кейнсом, вел теперь борьбу за отсрочку. Последнее заседание Комиссии Чемберлена (теперь уже Брэдбери) состоялось 28 января 1925 г. Управляющий Банка взял с собой Эддиса, так что Комиссия имела возможность выслушать обе точки зрения. Норман доказывал, что «повышение долларového курса стерлинга» является решающим аргументом в пользу скорейшего возвращения к золоту. Эддис противостоял этому, указывая, что вопрос не сводится к «способности вернуться к золотому стандарту, которая ни у кого не вызывает сомнений; вопрос в вашей способности поддерживать паритет после этого возвращения». Он приводил доводы в пользу по крайней мере шестимесячной отсрочки.

Не кто иной, как Пигу, нанес удар по аргументации Эддиса. Как, мол, совместить мнение Эддиса, что обменный курс должен сохранять устойчивость «в течение некоторого времени, прежде чем правительство свяжет себя обязательством о возвращении к золоту», с его взглядом, согласно которому правительство должно взять обязательство возвратиться к золоту позднее? Разве само заявление не придаст устойчивости обменному курсу? Разве

оно не «подорвало бы ценность проверки, ценность стабильного обменного курса как испытания?»³³ Комиссия согласилась с Норманом, что час пробил, и отразила это в своем докладе. Нимейер, один из подписавших доклад, немедленно принялся уговаривать канцлера Казначейства, которым был тогда Уинстон Черчилль.

Черчилль разбирался в современной экономической теории не лучше, чем в устаревшей, но его беспокоили внутренние, и особенно дефляционные последствия возврата стерлинга к паритету. 29 января, со свежееотпечатанным докладом Комиссии Брэдбери в руках, он «поупражнялся» в изложении своих возражений против скорого возврата к золоту, которые заставили Брэдбери подумать, что «его духовным прибежищем является, похоже, храм Кейнса — Маккенны»³⁴. С доводами Кейнса Черчилль был, конечно, знаком — читал *‘Нацию’*.

На короткое время у Кейнса могло возникнуть ощущение, что его уговоры возымели действие. В ответ на «упражнение» Черчилля Чарльз Гудинаф, президент банка *Барклиз*, сказал ему, что «не только фунт должен достичь паритета естественным путем, прежде чем будет принято решение, но и что затем этот паритет надлежит поддерживать в течение нескольких месяцев, после чего мы сможем наконец окончательно взять на себя обязательство». Это соответствовало и позиции Эддиса³⁵. Более важно, что и сам Черчилль настолько вдохновился новой статьей Кейнса в *‘Нации’* от 21 февраля, что залп по Нимейеру выпустил в воскресенье утром, еще лежа в постели — продиктовал, возможно, самый свирепый обвинительный акт Казначейству и Банку из всех когда-либо исходивших от канцлеров Казначейства. Соответствующий раздел начинался словами: «Казначейство, мне кажется, никогда не сознавало глубокого значения того, что г-н Кейнс называет «парадоксом безработицы посреди нехваток». Управляющий позволяет себе наслаждаться зрелищем Англии, обладающей самым прекрасным в мире кредитом, при том что безработица захлестывает милли-

он с четвертью человек», — и заканчивался: «Я предпочел бы видеть меньше гордости у Финансов и больше удовлетворенности у Промышленности»³⁶.

В попытках убедить Черчилля Казначейство и Банк использовали два главных аргумента. Первым была незначительность расхождения между ценами в Британии и Америке. Нимейер в начале февраля доказывал, что оно укладывалось «в 4,5 процента от уровня цен в каждой стране, а то и в более узкие пределы», так что о «дополнительной жертве» для восстановления паритета едва ли может идти речь. Брэдбери считал, что разница в уровнях цен не превышала 2–2,5 процентов. Эти оценки были важны в отпоре критикам, утверждавшим, что повышение курса стерлинга было в значительной степени вызвано интересами капитала³⁷. Мнения, однако, все еще расходились в том, будет ли остающийся разрыв устранен американской инфляцией или необходимо сократить его за счет британской дефляции. Другим главным аргументом Казначейства было то, что возвращения к золоту требовала политика увеличения занятости. Покончить с безработицей в Британии можно только через восстановление мировой торговли, для которого необходимое условие — стабилизация обменных валютных курсов. Таким образом, никакого подразумеваемого Черчиллем противоречия между интересами финансов и промышленности не может быть. Действительное противоречие, говорил Нимейер, существует «между перспективным и сиюминутным видением» проблемы³⁸.

Можно задаться вопросом: не сожалел ли Кейнс в эти месяцы о своем уходе из Казначейства в 1919 г.? Не пошел бы при нем поиск решения другим путем? Или он сам пел бы иные песни? На деле же возможность напрямую вступить в спор с Казначейством представилась ему только 17 марта, когда было почти слишком поздно. В его дневнике обязательств на тот день имеется помета: «8.30. Уинстон». Черчилль постарался прокрутить тему еще раз во время обеда на Даунинг-стрит, 11, на который

он пригласил, помимо Кейнса, Нимейера, Брэдбери и Маккенну. Единственная запись о том, что там говорилось, содержится в мемуарах личного секретаря Черчилля П. Дж. Григга, который присутствовал и запомнил, что «симпозиум продолжался до полуночи или того позже». Спор наконец завершился, когда Черчилль спросил Маккенну: «Какое решение в данной ситуации приняли бы вы?» Маккенна, бывший канцлер, ответил: «Выхода нет; надо возвращаться; но это будет ад»³⁹. Вот что имел в виду Кейнс, говоривший о Маккенне, что тот «под конец всегда приложит».

Больше споров не было. 20 марта Черчилль в заявлении по бюджету сообщил об отмене эмбарго на вывоз золота. Объявляя 28 апреля о возвращении Британии к золотому стандарту с довоенным паритетом, канцлер провозглашал: «Если бы мы не пошли на это, другие страны Британской империи сделали бы это без нас, и результатом был бы золотой стандарт, но не на основе фунта стерлингов, а на основе золотого стандарта доллара».

5. Экономические последствия мистера Черчилля

В течение нескольких недель после возврата к золоту Кейнс наметил три направления критики этого решения⁴⁰.

Во-первых, он указал на обоюдоострые последствия использования банковской учетной ставки для поддержания восстановленного паритета. С учетной ставкой, которая достаточно высока, чтобы привлечь в Лондон средства из-за рубежа, но недостаточно, чтобы навязать «дефляцию кредита», Англии достанется худшее от каждого из двух миров: Британия может получить переоцененную валюту и «будет прокладывать себе путь за счет займов, а не через экспорт», а также окажется обреченной на постоянную безработицу. Это было предсказание, основанное на знании, какие последствия действи-

тельно имела политика, проводившаяся в годы золотого стандарта⁴¹.

Во-вторых, он попытался более подробно проанализировать, насколько переоценен фунт стерлингов. Впервые он провел различие между уровнями цен на товары «защищенные» и «незащищенные». Цены незащищенных — или находящихся в международном торговом обороте — товаров должны были соответствовать мировым условиям спроса и предложения. Цены защищенных товаров и услуг — продаваемых внутри страны, таких как здания и транспортные перевозки, — не обнаруживали никакой автоматической тенденции приспособливаться к ценам незащищенных товаров. Конкретнее: если стерлинговые поступления от продажи за границей тонны угля оказались бы вдруг меньше на 10 процентов, не было никакой гарантии, что стерлинговые издержки на производство этой тонны — с учетом фрахтовых платежей и процентных начислений — также упали бы на 10 процентов. Сравнение британского и американского индексов стоимости жизни в январе 1925 г. показывало расхождение (диспаритет) в 18 процентов. Это служило более точным указанием на потребную степень дефляции, чем сопоставление цен оптовой торговли⁴².

Третьим опорным соображением Кейнса было то, что главным не поступающим в рыночный оборот товаром является труд. Предполагая, что внутренние цены «автоматически» приспособляются к любому изменению ставки валютного обмена, власти допускают существование совершенной конкуренции в области ставок заработной платы. Тем самым игнорируется «достойное сожаления отсутствие эластичности условий сегодняшней организации промышленности». В своих показаниях Комиссии Бальфура по торговле и промышленности Кейнс 9 июля 1925 г. отмечал, что «власть профсоюзов препятствует снижению ставок [заработной платы] под давлением конкуренции со стороны безработных», с теми последствиями, что пособия по безработице «удерживают от поис-

ка работы в другом месте» и исчезают надлежащие условия для развития рынка жилья. Кейнс сказал Комиссии, что «наше состояние в чем-то напоминает средневековые условия, в которых настолько трудно было изменить внутреннюю ценность денег, что при нарушении ее равновесия с ценностью внешней вы получали то, что называлось порчей денег...» Еще важнее, чем растущая утрата гибкости на стороне предложения, изменения в состоянии спроса: в девятнадцатом столетии «происходил всеобщий бурный подъем»; экономика никогда не сталкивалась с проблемой 10-процентного сокращения средних издержек⁴³.

Прежде чем предстать перед Комиссией Бальфура, Кейнс предложил Джеффри Доусону из *'Таймс'* серию статей о последствиях возвращения к золотому стандарту. Прочитав, Доусон их отверг: «Они необычайно умны и очень занимательны; но я, ей-ей, думаю, что, появившись в *'Таймс'* в этот конкретный момент, они принесут больше вреда, чем пользы»⁴⁴. Бивербрук оказался более покладистым, и они появились в *'Вечернем Стандарте'* (*'Evening Standard'*) 22, 23 и 24 июля. Неделей позже расширенную версию выпустило издательство *Хогарт-пресс* под названием *'Экономические последствия мистера Черчилля'*. Семь тысяч экземпляров были напечатаны и поступили в продажу по цене 1 шиллинг за экземпляр. Разошлись в одночасье; за лето вышло еще несколько изданий. Но брошюра провалилась в Соединенных Штатах, где за шесть месяцев удалось продать лишь 210 экземпляров и 216 раздать бесплатно.

'Экономические последствия мистера Черчилля' представляли собой нечто большее, чем просто переключку с названием предшествовавшего бестселлера. Подобно прежней работе, пользовавшейся столь большим спросом, новая брошюра Кейнса объединила обжигающий анализ политики со страстным осуждением несправедливости. Его можно критиковать, как и в случае с Версалем, за то, что суть вопроса он разглядел лишь задним числом, не прежде, чем роковые решения были уже приняты. Но тре-

бовалось само решение, чтобы мог выкристаллизоваться обвинительный акт.

«Наши неприятности» явились результатом того факта, что в прошлом году ценность стерлинга возросла на 10 процентов. Политика улучшения обменной ставки на 10 процентов означала снижение средней заработной платы на 2 шиллинга в расчете на каждый фунт. Это могло быть достигнуто только путем ограничения кредита. Как может ограничение кредита уменьшить денежную заработную плату?

Никак иначе [утверждал Кейнс], кроме как за счет сознательного усиления безработицы. Цель ограничения кредита в таком случае состоит в том, чтобы лишить предпринимателей финансовых средств, позволяющих привлекать рабочую силу при существующем уровне цен и заработной платы. Эта политика может достичь своей цели, только беспредельно увеличивая безработицу, пока рабочие не будут готовы принять необходимое сокращение денежной заработной платы под давлением суровой действительности... Дефляция не уменьшает заработную плату «автоматически». Она ее уменьшает посредством безработицы. Надлежащая цель дорогих денег в том, чтобы предотвратить надвигающийся бум. Горе тем, чьи убеждения приводят их к действиям, углубляющим депрессию!⁴⁵

Кейнс никогда не порицал лично Уинстона Черчилля за возвращение к золоту. Черчилль также не видел в критике Кейнса ничего личного: в 1927 г. Кейнс был избран в клуб *Другой*, общество, основанное в 1911 г. Черчиллем и Ф.Э. Смитом для «ужинов и заключения пари»*.

Кейнс понимал, что Банк и правительство будут воздерживаться от применения мер, подсказываемых их решением. Они скорее постараются привлечь займы, чем следовать курсом дефляции. Политика будет толкать

* Правило 12 в уставе клуба гласило: «Ничто в правилах Клуба не может быть связано с неприязнью и трениями, вызываемыми политикой партий».

их к действиям, мешающим достижению их экономической цели. Так действительно и произошло в тот самый день, когда вышла в свет брошюра Кейнса. В июне владельцы угольных шахт потребовали нового соглашения с Федерацией горняков, подразумевавшего существенное сокращение заработной платы. Шахтеры, поддержанные БКТ, готовились к всеобщей забастовке. Премьер-министр Болдуин без обиняков заявил, что «все рабочие этой страны должны принять сокращение заработной платы, чтобы помочь промышленности встать на ноги», но 31 июля он согласился предоставить угольной промышленности субсидию в 10 миллионов фунтов на выдачу заработной платы по существующим ставкам в течение девяти месяцев.

Кейнс был слишком проницательным публицистом, чтобы пройти мимо этого скорого подтверждения его аргументации, и тут же вставил в изданную *Хогарт-пресс* брошюру дополнительную главу о делах в угольной промышленности. Черчилль необдуманно сказал, что возврат к золоту имеет к бедам угольной промышленности не большее отношение, чем Гольфстрим. Кейнс показывал, что, если бы британским угольным шахтам приходилось конкурировать с американским и европейским углем, они должны были бы понизить свою стерлинговую цену на 1 шиллинг и 9 пенсов за тонну. Чтобы к этому прийти, владельцы угольных шахт предложили снизить уровень жизни шахтеров. Увлечшись своей темой, Кейнс продолжал:

Серьезным критическим указанием на порочность нашего способа управления своими экономическими делами является то, что всем это предложение представляется разумным... Если бы шахтеры были свободны переместиться в другие отрасли производства, если бы угольщик, оставшийся без работы... мог предложить свои услуги в качестве пекаря, каменщика или носильщика на вокзале за более низкую заработную плату, чем существует сейчас для этих профессий, был бы другой разговор. Но они, как известно, такой свободы не имеют. Подобно другим жертвам экономических

переломов в прошлом, шахтеры оказываются перед выбором между голодом и подчинением, причем плоды их подчинения должны обернуться выгодой других классов⁴⁶.

Даже в свою самую ожесточенную критику Кейнс всегда был готов внести предложение о должном изменении политики. На сей раз его предложения (в пределах новых ограничений, налагаемых золотым стандартом) были, как обычно, полны изобретательности. Снизьте банковскую учетную ставку, удешевите кредит и содействуйте массовому оттоку золота в Соединенные Штаты, чтобы стимулировать повышение тамошних цен. (В Казначействе Готри требовал перехода к той же политике.) Одновременно пытайтесь заключить «социальный контракт», на основе которого всех наемных работников попросят принять 5-процентное сокращение денежной заработной платы и всех получателей дивидендов — повышение на 1 шиллинг подоходного налога. Только одновременным сокращением всех главных составляющих производственных издержек можно сбить цены, не нарушая сложившихся соотношений и не оскорбляя чувства справедливости⁴⁷.

Мы находимся [писал Кейнс] на полпути между двумя теориями экономического общества. Одна теория утверждает, что заработная плата должна устанавливаться, исходя из того, что «справедливо» и «разумно» с точки зрения отношений между классами. Другая теория — теория неумолимых экономических сил — предлагает исходить из того, что заработная плата должна определяться экономическим давлением, иначе называемым «суровой действительностью», и что наша громадная машина должна пробиваться вперед, заботясь только о собственной устойчивости и не обращая внимания на частные последствия, какие ее движение может иметь для отдельных групп.

Золотой стандарт, с его зависимостью от чистых случайностей, его верой в «автоматическую приспособляемость» и его общим пренебрежением к деталям социальной жизни, — это важный символ и идол для тех, кто сидит на-

верху машины. Я думаю, что они очень опрометчиво... предаются уютной вере, что ничего действительно серьезного никогда не происходит. Девять раз из десяти ничто действительно серьезное и впрямь не происходит — всего лишь небольшие бедствия отдельных людей или групп. Но мы идем на риск десятого раза (и ведем себя глупо), если продолжем следовать принципам экономической теории, разработанной на основе гипотез *laissez-faire* и свободной конкуренции, и прилагать ее к обществу, которое от этих гипотез быстро отказывается¹⁸.

6. Был ли Кейнс прав?

Возражения, выдвинутые Кейнсом в 1925 г. против возврата к золотому стандарту, могут быть суммированы следующим образом. Решение вернуться к довоенному паритету обязывало Англию сократить денежные издержки производства. Трудно было обеспечить их сокращение, пропорциональное возросшей международной ценности стерлинга ввиду «малоподвижности» соотношения между денежной заработной платой и другими видами производственных затрат. При таких обстоятельствах лучше было бы привести международную ценность стерлинга к внутренним издержкам производства.

Приговор Истории был в пользу Кейнса. Немногие экономисты станут теперь отрицать, что в период между 1925 и 1931 г. стерлинг был переоценен. Последующие защитники решения возложили ответственность за его провал на события, которые нельзя было предвидеть: «малоподвижность» заработной платы (в отличие от положения в 1921–22 гг.), наступившую стабилизацию французской и бельгийской валют на уровне, составлявшем малую долю их стоимостного паритета. Это не защита полученных результатов. Критики также не утверждают, что более низкий обменный курс сам собою решил бы все экономические проблемы Британии. Скорее он создал бы более бодрый климат для их решения.

На взгляд Моггриджа, переоценка стерлинга была гораздо более ощутимой по отношению к девальвированным европейским валютам, чем по отношению к доллару⁴⁹. До возвращения к золотому стандарту Кейнс так же, как и другие, ставил сопоставление с Америкой в центр своих расчетов паритета покупательной силы валют: таково было всеобщее настроение умов, порожденное тем фактом, что во время войны значение имел единственно обменный курс стерлинга к доллару. Сосредоточившись на соотношении стерлинг — доллар, Кейнс не принял во внимание самый сильный аргумент против поспешного возвращения к золоту, а именно тот, что следовало бы подождать и посмотреть, к чему придут другие европейские валюты, особенно франк. Задним числом самой сильной критикой возврата к золоту в 1925 г. надо считать указание на то, что он не был частью совместного, заранее согласованного движения к прежней твердо установленной системе обменных ставок, с паритетами и «правилами игры». Невнимание к деталям, проявленное Британией в процессе ее возвращения к золоту, впоследствии дорого стоило денежной системе — ее и всего мира.

7. Мистер и миссис Дж.М. Кейнс

4 августа 1925 г. в регистрационной конторе Сан-Панкрас госпожа Лидия Лопухова стала миссис Дж.М. Кейнс. Свадебная церемония была «простейшей из вообразимых». Вера Боуэн и Дункан Грант были свидетелями; остальные присутствовавшие принадлежали главным образом к числу родственников. Восьмидесятивосьмилетняя бабушка Кейнса со стороны матери была там, но не было его семидесятитрехлетнего отца. Лидия, в наряде желтовато-коричневого цвета, — написала Флоренс Невиллу — «выглядела маленьким призраком — настолько перепуганная скоплением газетчиков и фотографов, будто она никогда прежде не сталкивалась с публикой». Две недели

спустя старый друг Мейнарда Гордон Люс открыл в Рангуне свои газеты и увидел «ужасные изображения» известной пары: Мейнард, потолстевший, преуспевающий, явно вступивший в средний возраст. Дункан описал бракосочетание отсутствовавшим друзьям в Чарлстоне. «Мои виды на будущее померкли», — холодно сказал он им. До сих пор он был наследником Мейнарда. Клайв Белл держал с Дунканом пари на обед с шампанским, что у Мейнарда и Лидии до такого-то срока не будет детей.

Мейнард и Лидия планировали провести первый месяц семейной жизни в Тилтоне, но дом уже был сдан несговорчивым арендаторам. Тогда они сняли другой дом, Оуклэнд, в близлежащем Айфорде, чуть южнее Льюиса, куда хлынул обычный поток гостей. Беспокойным гостем был философ Людвиг Витгенштейн, который 20 августа прибыл на пароме из Ньюхэвена, чтобы провести у них шесть дней. Он оставил философию и взялся учительствовать в деревенской школе в Австрии, потому что, как он объяснил Кейнсам, причиняемые ему этой работой страдания заглушают муки от занятий философией, подобно тому как прижатая к щеке бутылка с горячей водой заглушает зубную боль⁵⁰. Он также отказался от своего громадного наследства, так что Кейнс должен был послать ему 10 фунтов на дорогу. Витгенштейн мог так вести разговор, что собеседнику могло показаться, будто ему дали пощечину. «Какое красивое дерево», — замечала Лидия, поддерживая, несомненно, легкую светскую беседу. В ответ Витгенштейн бросал на нее суровый взгляд. «Что вы хотите этим сказать?» Лидия заливалась слезами⁵¹. Утомительные монологи Витгенштейна приводили в отчаяние и Кейнса. Он также тщетно старался понять изданный в 1922 г. *'Tractatus Logico-Philosophicus'* Витгенштейна, но его ум был «теперь так далек от фундаментальных вопросов, что я просто не в состоянии разобраться в таких делах»⁵². Когда в ноябре в Кембридже он пробовал объяснять философию Витгенштейна *Апостолам*, то обнаружил, что «она не держится в уме — я смог припомнить только половину»⁵³.

3 сентября Мейнард и Лидия отправились на две недели в Советский Союз. Мейнард любил путешествовать в поездах: тебя везут, ты погружаешься в кресло, ты читаешь массу книг и газет, никаких забот и обязанностей — это было его представление об идеальном отдыхе. Он ехал знакомиться с семейством Лидии в Ленинграде, а также в официальном качестве представителя Кембриджского университета на празднованиях двухсотлетнего юбилея Российской академии наук. Они пробыли неделю в Ленинграде и затем поехали в Москву. Нет никаких сведений о том, какое впечатление произвела на Кейнса семья Лидии или он на нее, кроме датированной 17 сентября короткой записки («я уже должна любить его»), которую получила Флоренс Кейнс от Карлуши, матери Лидии.

В Москве была обычная деловая жизнь — встречи в Госплане и Госбанке, концерты, *‘Гамлет’* (надо думать, по-русски) в Московском Художественном театре, банкеты. Морис Добб, который также был тогда в Москве, вспоминал, что Кейнс «наставлял» экономистов Госплана «относительно достоинств соблюдения финансовых правил ‘казначейского контроля’»⁵⁴. Кейнс встретился также с Преображенским, который представился «профессиональным революционером». В промежутках между этими сюрреалистическими общениями он прочитал две лекции об «экономическом положении Англии» и «переходном состоянии английской экономики»; вторая основывалась на речи, с которой он только что выступал в Летней школе либералов (*‘Либерал ли я?’*). Слушателями были российские ученые, но его предложение, чтобы либерализм, перестроенный на коллективистских началах, стал подлинной альтернативой и анархическому капитализму, и марксистскому коммунизму, понимания у советских экономистов, по-видимому, не нашло⁵⁵.

По возвращении в Айфорд Мейнард и Лидия отправились в соседний Родмелл повидаться с Вулфами — «М. в толстовской блузе и русской черной каракулевой шапке —

подходящий вид, чтобы повстречаться с ними обоими на большой дороге», — заметила Вирджиния и продолжила:

Он весь наполнен огромной доброжелательностью и энергией. Она жужжит ему вослед, чего и ждешь от жены большого человека. Но хотя можно бурчать, можно также находить их очень хорошей парой, и в этом моем осеннем возрасте мое сердце слегка согревается рядом с ним, кого я знала все эти годы и с кем поддерживала грубо драчливые и лишенные интимности отношения. У нас был очень оживленный разговор о России: такая, говорит М., мешанина, такое дикое сплетение и хорошего, и плохого, и самые необыкновенные вещи, которые он не в силах выстроить в какой-то порядок — не могу пока понять, как там все идет»⁵⁶.

Кейнс провел остаток летних каникул в Айфорде, «наводя порядок»: написал три статьи под названием '*Советская Россия*'. Они появились в '*Нации*' 10, 17 и 24 октября; потом в декабре были выпущены издательством Хогарт-пресс под названием '*Краткое представление о России*', одно из его самых красноречивых произведений. Литтон Стрэчи приехал посмотреть на новую семью, и впечатления она на него не произвела. «Визит к Кейнсу получился каким-то мрачным, — сообщал он Доре Каррингтон. — Одно — это дом, такой противный. Другое — Лидия, такая, на мой взгляд, восторженная — и такая простушка. Мейнард, как всегда, погружен в свои заботы. Он очень интересно говорил о России и Витгенштейне; но есть какая-то трудность в общении с ним — он кажется весьма далеким...»⁵⁷

Брак Мейнарда оставался предметом бурных обсуждений среди его друзей. Они смотрели на него только сквозь призму его внутреннего конфликта между земным и возвышенным, и женитьба на Лидии означала в их глазах капитуляцию перед земным. Они не видели, что революцию в государственном руководстве экономикой из крепости Блумсбери развязать было невозможно. Требовалось иное отношение к миру и его заботам, другое рас-

положение в этом мире. Возможно, брак приблизил Мейнарда к земле в том смысле, что позволил ему чувствовать себя более раскованным в этом мире; но это было и неплохо, если спасение мира было его миссией. Брак сгладил шероховатости его характера, расширил его симпатии, сделал его более «человечным» и не столь вызывающе блестящим⁵⁸. Он также обеспечил ему физическую и эмоциональную защищенность, позволявшую строить свое будущее. У него появилось больше осознанной целеустремленности. В 1921 г. он говорил Дэниелу Макмиллану, что «никогда больше не станет затевать чего-либо такого же большого», как *‘Трактат о вероятности’*. В течение одиннадцати лет после женитьбы на Лидии он написал две книги, сравнимые с этим трактатом по объему и превосшедшие его по значению. В 1921 г. он выступал перед *Апостолами* с рассуждением о дилеммах блестящего, но нетворческого ума и высказывал мнение, что единственно подходящая сфера его применения — это делание денег. После 1925 г. он, кажется, понял, что место для творчества может быть найдено и в экономической теории. Было бы неверно сказать, что Лидия или брак с Лидией вложили в него некие мысли. Но она, бесспорно, понимала и не устанно указывала на наличие у него творческого потенциала. «Истина, — говорила она ему, — у тебя в глазах»; он пришел к пониманию, каким образом жизнь с Лидией способна обеспечивать пространство и время для развития открывавшейся ему истины.

Для Мейнарда большая часть обаяния Лидии состояла, как мы видели, в ее особом, крайне индивидуальном употреблении английского языка, или того, что Кейнс называл «лидиязмом» (*‘Lydiaspeak’*). Ее ударения, произношение и безошибочный выбор слов и выражений доставляли постоянную радость. После посещения одного свадебного торжества она говорила об «Иисусе, высскающем вино из воды в Каннах». Познакомившись в одном доме со знаменитой коллекцией птиц, она сообщила: «Я пила чай с леди Грей. Она всем любит показывать свой яич-

ник». Ее словечки, сказала она Мейнарду, предназначались, чтобы «тебя озадачивать», и, конечно же, для него она оставалась восхитительной загадкой, пузырящимся ручьем неожиданностей.

Брак с Лидией обнаружил также склонность Мейнарда к выполнению роли защитника. Он понял, что она беззащитна в мире рафинированных интеллектуальных восприятий, которыми гордились его блумсберийские друзья. Более мелкий человек мог бы пытаться заглушать ее нередко повергавшую в смущение речь. Но Мейнард принимал Лидию такой, какой она была, и никогда не попрекал — публично по крайней мере, — за ее дурацкие высказывания. Когда Клайв Белл пренебрежительно отнесся к ее замечанию насчет Пруста, он в ярости бросился ее защищать⁵⁹. Он расценил ее слова как привилегированное мнение, не подлежащее рациональной критике. Он довел до ее сознания, что в Блумсбери могут говорить и думать как угодно, но она остается его «возлюбленной», его «дорогой красавицей», его «дорогой любимой Лидочкой», его «дорогим *pupsik*». (Она называла его менее романтично: «долговязый», «мое дорогое высокое дерево» или «ты, дорогой мой мускус».) Лидия остро ощущала недостаток своей интеллектуальной силы. Как-то она ему написала: «Не грустно ли тебе, что я женщина не ученая и никогда ею не буду?» Он немедленно ответил: «Не будь грустной, а главное, не будь ученой. Твой Мейнарочка»⁶⁰. Клайв Белл имел обыкновение говорить, что храм ее духа — это магазин *Вулворт*. Она была полна предубеждений против евреев и негров и выражала их так грубо, как это уже не было принято в среде образованных англичан. Мейнард, похоже, не возражал.

В домашние заботы Лидии входило попечение о гардеробе Мейнарда. Она открыла его платяной шкаф и была потрясена, обнаружив там сплошь дырявые трусы, которые она именovala *pantalets*, почти полное отсутствие носков и массу ночных рубашек; когда она бранила его за то, что он ложится в постель, имея вид «Христа в

последние минуты перед распятием», он только беспомощно хихикал⁶¹. Внимание к его нижнему белью было тесно связано с беспокойством по поводу его здоровья. Она постоянно убеждала его носить жилеты, чтобы защититься от порывов ледяного кембриджского ветра, хотя была твердо убеждена, что, в отличие от *pantalets*, жилету надлежит иметь «дырочки» для «проветривания». Мейнард действительно был весьма предрасположен к насморкам. Он часто упоминал о своих «циклах», низшие точки которых, как он игриво отмечал, совпадали с ее месячными — «гостями» на *лидиязе*. «Я кровотоку в точно предсказанный тобой срок» — как-то написала ему Лидия, предполагая, что ее менструальный цикл разбудил в нем интерес к барометрическим наблюдениям. Но его беспокойство выходило за пределы статистики. Когда она жаловалась на плохое самочувствие, он забрасывал ее из Кембриджа письмами, телеграммами и телефонными звонками⁶². Пристальное наблюдение за деятельностью ее организма отражало и практическую заботу: они планировали завести детей, когда Лидия оставит танцы.

Хотя Лидия никогда не выставляла себя интеллектуалкой, она могла порой удивлять критичных блумсберийцев уверенностью своих суждений об искусстве. «Как работает ее ум?» — однажды спросила себя Вирджиния Вулф. И заключила: «Подобно жаворонку, парящему в небе... и узнающему от Мейнарда, куда лететь»⁶³.

Самые большие перемены их брак внес в распределение жилья. Лидия переместилась из дома 41 на Гордонсквер в дом 46; Ванесса переехала из дома 46 в дом 37⁶⁴. Нарушение прежнего порядка не обошлось без трений. Были ссоры насчет ставок арендных и субарендных платежей. Мейнард потребовал себе картину Дункана и прикрутил ее шурупами к стене; Ванесса тут же примчалась с отверткой, шурупы выкрутила и торжествующе унесла картину в дом 37. Ванесса как бы говорила: женившись на Лидии, ты утратил свое право на долю в Дункане. Вскоре Кейнс затеял строительство библиотеки и дополнитель-

ных ванн в доме 46: установка биде стала одним из знамений разрыва со старым порядком. Другим символом стала побелка стен, закрывшая фрески Дункана и Ванессы. Лидия была настроена создать собственную среду обитания. Ее любимыми мероприятиями были воскресные обеды в русском стиле, длившиеся чуть не целый день. Балетные танцовщики, подобные Фредерику Эштону, встречались здесь с молодыми людьми из Кембриджа, такими как Дэди Райлэндс и Дуглас Дэвидсон, которые снимали комнаты у Ванессы; приходили друзья — Боуены, Фрэнк Добсон и Борис Анреп, так же как заходили и какой-нибудь интеллектuala либо лица знатного происхождения — *Bolshie* из России. Лидия любила угощать своим гостеприимством. В своем собственном кругу она блистала остроумием, была раскованна и не давала присутствующим скучать. Подобно многим людям театра, она и блюла условности, и ничем не смущалась; воспитанная балетом, она легко вписывалась и в шикарную, и в лагерную жизнь. С другой стороны, устраивая или посещая замороженные разновидности банковско-политических званых обедов (в середине недели, когда Мейнард бывал в городе), она наполнялась страхом, и он должен был старательно обучать ее светскому искусству рассылки, принятия и отказа от приглашений, но ей было крайне неприятно всем этим заниматься: «Весь мой набор слов в этих случаях иссякает, перо валится из рук, и я становлюсь неграмотной, незаконной»⁶⁵.

О сексуальном прошлом Мейнарда Лидия знала все, хотя не очень-то хотела, чтобы ей о нем напоминали. Разбудив гетеросексуальность Мейнарда, она не упразднила его гомосексуализм. Более того, в конце 1920-х гг. она стала мостом, соединявшим сплошь гомо- и бисексуальный мир Лондонского балетного общества, опиравшегося на студии Мари Рамбер и Нинетт де Валуа, с одной стороны, и литературных и театральных молодых людей, кружившихся вокруг желтоволосого Дэди Райлэндса по его возвращении в 1927 г. в Королевский колледж в Кембридж, —

с другой. Мейнард, однако, стал к этому времени скорее заботливым наблюдателем, чем активным участником «голубых» развлечений, к чему привели его и возраст, и любовь к Лидии. Единственным известным его «отклонением» был случай, когда во время вечеринки на Гордон-сквер он на балконе дома 46 осыпал Фреда Эштона и его друга Уильяма Чаппела «ужасными с крепким вкусом поцелуями». Выказывая совершенное понимание ситуации и умение ею владеть, Лидия, когда он вернулся в гостиную, посоветовала: «Мейнар, дорогой, иди выпей чуточку ликеру»⁶⁶.

3 марта 1926 г. Кейнс стал хозяином Тилтона, в Восточном Суссексе, заключив после сложных переговоров с владельцем поместья договор об аренде на двадцать один год.

Лишь пару лет спустя он обнаружил, что «тысячелетие назад Тилтон назывался *Teliton*... и что тогдашним его хозяином был *de Cahagnes* — то же имя, что и Кейнс». Там он провел самые счастливые и наиболее плодотворные месяцы остававшейся части своей жизни. Тилтон был незамысловатым, но удивительно просторным двухэтажным сельским домом, красиво разместившимся на нескольких акрах с лужайкой, садом и рощей на северной окраине Саут-Даунса. Как он сказал матери, это было идеальное место для работы, и главным среди его первых усовершенствований стало сооружение библиотеки и лоджии за счет переделки надворных построек в конце внутреннего двора с южной стороны дома. Они выходили окнами в сад, за которым поднимались холмы Даунс, и с их вершины можно было разглядеть Ньюхэвен и Английский канал (Ла-Манш).

Архитектор Кейнса, Джордж Кеннеди, такой же как он, старый выпускник Итона и человек, близкий группе Блумсбери, сделал Кейнсу просторную, устроенную по всем правилам библиотеку и «итальянскую» террасу со сводчатым потолком. Именно в этом сыроватом флигеле, куда из дома вел крытый переход, он написал много страниц «Трактата о деньгах» и большую часть «Общей теории».

Тилтон никогда не был роскошным домом. В отличие от Чарлстона, он мог похвалиться наличием телефона и электрического освещения. Но, притом что имелись дополнительные ваннные комнаты, водопроводные трубы рвались, бойлер то и дело выбывал из строя, и домочадцы ходили день за днем, не имея возможности помыться. Прimitивная система центрального отопления гнала горячий воздух в холл через решетку; в других местах каминные с раскаленным углем изрыгали обильные клубы дыма, возвращавшегося из дымоходов; на стенах появлялись большие пятна сырости, и книги в библиотеке «скручивались». Лидия была убеждена, что англичане вообще ничего не смыслят в дымоходах. Рождество они с Мейнардом проводили вокруг пылающего камина, со слезящимися от дыма глазами и закутавшись в несколько слоев шерстяных одежек.

Скромный штат прислуги (шесть человек) сегодня поражал бы своей многочисленностью. Тилтон круглый год находился под присмотром Руби и Эдгара Веллеров, живших тут же на участке в отдельном коттедже, она в роли экономки, он — шофера и садовника. Эдгар весьма творчески занимался садовым хозяйством и содержал его в безупречном состоянии. К 1926 г. Тилтон мог похвастаться черной смородиной, «кустившейся в каждом углу», и огородом, «переполнявшим» кухню бобами и морковкой⁶⁷. Поощряемый Мейнардом, Эдгар всерьез занялся выращиванием садовых плодов и овощеводством, и скоро это стало производством на рынок. Добавилось разведение свиней, и Мейнард с Лидией, поместив визжавших чушек в грузовой отсек своего *морриса-каули*, стали возить их на рынок в Льюис. Обосновавшись в Тилтоне, Кейнсы забрали туда с Гордон-сквер Гарданов — его как дворцового, ее — поварихой. Была там еще Пенни, тетка Эдгара («тетушка»), белошвейка и портниха Лидии, а также ряд сменявших друг друга и не задерживавшихся в памяти девушек-служанок.

Тилтон был тем, что сегодня называли бы домом отпускаемого времени. Пока сердечный приступ Мейнарда в

1937 г. и начавшаяся в 1939 война не сломали рутину, они с Лидией проводили там часть рождественских и пасхальных каникул и около двух с половиной месяцев летом. Подобно чарлстонцам, тилтонцы не интегрировались в местное общество. Они были достаточно дружны со своим землевладельцем, лордом Кейджем, который любил иметь арендаторами художников и писателей; но общество графства было для них анафемой. Их круг общения составляли приглашаемые гости. Тилтонцы редко виделись с чарлстонцами, которые в любом случае проводили все большую часть года в Касси, на юге Франции. Летом 1927 г. Ванесса «сумела в основном забыть о существовании Кейнсов»⁶⁸. Весьма типичное из великого множества ее пренебрежительных заявлений следует сопоставлять с такой «собачьей преданностью» Мейнарда своей старой подруге, что это «почти вгоняло в слезы» Вирджинию⁶⁹, а также с его финансовой поддержкой Ванессы и Дункана. Дункан не разделял недоброжелательства Ванессы — это было ему совершенно чуждо, — но он ей подыгрывал. Похоже, такова была цена, которую он платил за свободу заводить собственные романы; но, возможно, ему тоже трудно было понять, или принять, новооткрывшуюся гетеросексуальность Мейнарда. Кейнсы и Вулфы регулярно встречались на Рождество, в основном, видимо, по старой привычке. Вулфам это общение, судя по всему, особого удовольствия не доставляло. 30 декабря 1929 г. Вирджиния писала своей сестре:

Явившись на чай в субботу, в дождь, чего нам ждать у ворот, кроме потрепанного серого «роллса» [Мейнард купил его у супругов Курто] вместе с отвратительным Эдгаром и Кейнсами. Я не согласна, что друзья имеют право таким образом калечить жизнь других. Там я была вынуждена стряхивать пепел блумсберийских сплетен с Лидией — это было оскорбительно; убийственное дело, и нет никаких средств спасения. У них была куча сдобных лепешек, которые Мейнард макал в масло и делал тосты для Лидии. Именно этот вид его жирной, масляной полноты вызывает омерзение. Но

должна заметить, что, конечно же, они были сама любезность. И потом, будь они прокляты, завтра нам предстоит в Тилтоне обедать.

«В Блумсбери существовало общее мнение, — пишет Найджел Николсон, — что Кейнсы были чрезвычайно экономными в своем гостеприимстве». Вирджиния сплетничала Литтону 3 сентября 1927 г. насчет «вечера в Тилтоне, когда мы собирали кости убитой Мейнардом куропатки, на которую наваливалось от трех до одиннадцати человек. Для Нессы эта скаредность — постоянный источник возбуждения; ее глаза сверкали, когда кости шли по кругу». Русские славятся своим гостеприимством, так что скупость, надо полагать, была от Мейнарда. С вином он был не в ладах и пил его сдержанно. Пищу проглатывал, не замечая. Возможно, правда, что ни он, ни она не придавали еде и спиртному, как и вообще домашним заботам, такого значения, чтобы много о них думать или тратить на них время.

При всем очевидном неудовольствии, которое друзья испытывали в общении с ними, сами Мейнард и Лидия были необычайно счастливы в своем загородном доме. Они были далеко не выдающимися ходоками, но пешком пересекали Даунс или бродили по лесу со своими собаками, отзывавшимися на клички Пэтси, Пушкин и Росс. Запахи и шумы сельской местности их зачаровывали. «Какая мелодия утра, — написала Лидия как-то в начале марта, — в воздухе музыка, запахи силы и мягкости, сама попискиваешь, потягиваешься и моргаешь в совершеннейшем блаженстве». Хотя, как она отмечала, «стихии часто бывают свирепыми», все же своим чередом приходило долгое лето, когда она могла загорать нагишом во внутреннем дворе или на лоджии, читая *‘Войну и мир’*, пока Мейнард у себя в библиотеке с наслаждением набрасывал теорию банковской учетной ставки.

XXIII

Средний путь Кейнса

1. Викторианское наследие

Правительства викторианской эпохи считали, что экономика более всего преуспевает тогда, когда она предоставлена свободной игре рыночных сил. Отсюда следовало золотое правило «невмешательства», или *laissez-faire*. Мысль о том, что экономикой надлежит «управлять» ради достижения таких «целей», как полная занятость или постоянство цен, поразила бы викторианцев своей непостижимостью или просто фантастичностью. В главе 2 '*Экономических последствий мира*' Кейнс бросил вызов такому пониманию вещей. Он отрицал, что именно режим *laissez-faire* обеспечил процветание британской экономики; скорее силой обстоятельств правительствам была дана возможность оставаться безразличными к результатам экономической деятельности, что теперь стало немыслимым. Мир и безопасность гарантировали всемирную систему свободной торговли и свободного движения капитала; баланс социальных и моральных факторов, обязывавший действовать «на девять десятых порядочно», отвращал классовую войну. Эта целая система, «сложная и искусственная», зависела от шатких равновесий, подвергшихся опасности уже перед войной и рухнувших во время войны: классового равновесия между капиталом и трудом, психологического или морального равновесия между сбережением и потребле-

нием и равновесия в торговом обмене и движении капитала между Европой и Америкой.

Именно такое понимание ненадежности капиталистической цивилизации навело Кейнса на занятия денежной политикой. Неустойчивость ценности денег подрывала социальный контракт, на котором держится капитализм. Согласие трудящихся мириться со скромным вознаграждением зависело от исполнения капиталистами своего долга вкладывать капитал в дело. Инфляция и дефляция сокращают моральную связь между усилиями и наградой, ведут к неоправданному обогащению одних и неоправданному обнищанию других. Кейнс указал также на растущее нежелание современных обществ — из этих обществ Англию он знал лучше всего — приспособливать свои внутренние структуры к притоку и оттоку денег. Следовательно, стабильность цен была существенным условием сохранения социальной стабильности.

Кейнс хорошо знал, что, если капитализм не сможет выполнять свои обещания, существует другая экономическая система, коммунизм, которая руководствуется иными, более достойными побуждениями, чем прибыль, и ждет часа, когда она возьмет верх. Экономисты девятнадцатого столетия смотрели на либеральную политику как на средство обеспечить экономическое процветание. Кейнс был первым экономистом, утверждавшим, что экономическое процветание есть единственная надежная гарантия либеральной политики.

2. Либеральный контекст

Понимание болезней современного капитализма и средств их лечения пришло не к одному Кейнсу. Он и Хьюберт Гендерсон, оба видели, что новые теории управления деловым циклом, особенно если выпятить их направленность на преодоление безработицы, могли бы снабдить либерализм альтернативой протекционизму

правых и тяге левых к перераспределению. Ллойд Джордж, похоже, схватывал это, Асквит — нет. Именно поэтому человек идей, вопреки его прошлому, оказался перетянутым на сторону человека действия.

Активная причастность Кейнса к политике Либеральной партии между 1924 и 1929 г. поднимает вопрос о соотношениях между либерализмом Кейнса и тем идейным течением, которое процветало до 1914 г. под именем «нового», или «социального», либерализма, в отличие от предшествовавшего либерализма классического или индивидуалистического. «С 1906 до 1914 г., — писал Гендерсон, — общая экономическая политика объединяла левые партии: развитие социальных услуг, требовавшее увеличения государственных расходов, и привлечение средств за счет более жестких налогов на богатство»¹. Были сходства, были и различия между этой традицией и либерализмом Кейнса. Во-первых, что самое очевидное, к довоенной либеральной программе Кейнс добавлял макроэкономическую стабилизацию и, по существу, первостепенное значение придавал именно ей. Краткосрочная дестабилизация капитализма является, мол, большей угрозой общественному строю, чем любое растянутое во времени неравенство в распределении богатства и доходов. Самым большим экономическим злом Кейнс объявил плоды «риска, неопределенности и неосведомленности». Главная экономическая обязанность государства в том, чтобы возместить наносимый ими ущерб денежной политикой и капиталовложениями. Что Кейнс, в сущности, предлагал, так это переместить решение проблемы социальной справедливости из области микроэкономики в сферу макроэкономики. Несправедливость рождает состояние неопределенности, справедливость создает закрепленную договором предсказуемость. Перераспределение в его социальной философии играет незначительную роль, и только как часть механизма макроэкономической стабилизации, но не как средство достижения цели-идеала.

Во-вторых, от довоенных *новых либералов* более всего отдалял Кейнса его этатизм и элитизм. Новые либералы рассматривали демократию как самоцель и хотели расширить ее настолько, чтобы она управляла частными и государственными центрами власти. Кейнс же видел задачу в том, чтобы государство играло роль управляющего экономикой.

Наконец, следует обратить внимание на различие интеллектуальных стилей Оксфорда и Кембриджа. «Что за прибежище больной мысли этот Оксфорд», — писал Кейнс отцу в 1906 г., прочитав книгу по логике философа Хораса Джозефа. Оксфорд был центром нового либерализма довоенного образца. Оксфорд не только понятия не имел (по стандартам Кембриджа) об экономике, но к тому же в развернутом из Оксфорда наступлении на *laissez-faire* использовалась смесь языка гегельянства и биологии, к чему в Кембридже Кейнс и его поколение испытывали отвращение. Общее тем не менее следует замечать так же, как и различия. Ощутимый след гегельянства проступал в учении Мура об «органических единствах»; и к 1920-м гг. Кейнс склонен был признавать, что многие процессы производства и потребления были «органическими», скорее чем «атомистичными».

Неправильно было бы считать *Средний путь* Кейнса компромиссом между правыми и левыми. Он вовлекал в оборот новые идеи, неизвестные любой прежней традиции. Лучше всего рассматривать его как *Новый Путь*. Сегодня мы могли бы называть его *Третьим Путем*.

III. Конец *laissez-faire*

Лекция Кейнса '*Конец laissez-faire*', прочитанная в Оксфорде 6 ноября 1924 г. и изданная в 1926 г., заложила основы аргументации, которую он развивал в следующие пять лет. Подобно всем его лучшим работам, эта отличается искрящейся прозой и останавливающими внимание

идеями. Впечатление такое, будто он перечитал, или, по крайней мере, перелистал, огромную литературу по истории экономической и политической мысли: в печатной версии его эссе пестрит именами Локка, Юма, Руссо, Пэйли, Бентама, Годвина, Бёрка и Кольриджа, так же как и политэкономов девятнадцатого столетия. Важным источником послужила ему книга Лесли Стивена 'Английская мысль восемнадцатого столетия'. Но не менее показательным то, что его превосходный стиль прикрывает поспешность в построении аргументации. Как заметил Шумпетер, Кейнс никогда не хотел потратить пару лишних педелей, необходимых для отделки тех или иных частей работы.

Происхождение понятия *laissez-faire* Кейнс относил к представлению восемнадцатого столетия о том, что общественное благосостояние возникает как результат индивидуально преследуемого личного интереса — обобщение, основательно подкрепленное своим соответствием теории Дарвина о естественном отборе. «Принцип выживания наиболее приспособленных можно расценить как широкое обобщение экономического учения Рикардо. В свете этого большого обобщения социалистические вмешательства оказались не только нецелесообразными, но и нечестивыми, как рассчитанные на задержку могущественного поступательного движения, процесса, который и нас самих вытянул, как Афродиту, из первобытной слизи»². Другой опорой *laissez-faire* является «необходимость обеспечить реальную возможность неограниченного личного обогащения как стимула для проявления максимума усилий». «Любовь к деньгам» приводит в движение механизмы *laissez-faire* точно так же, как «сексуальная любовь» движет механизмами естественного отбора. Однако красота теории куплена ценой пренебрежения к фактам: заключение, «что индивидуумы, действующие самостоятельно ради собственных выгод, произведут самый большой объем совокупного богатства, покоится на множестве нереальных предположений, в том числе что процессы производства и обмена не имеют между собой никакой органи-

ческой взаимосвязи, что существует достаточное предварительное знание условий и потребностей и что есть адекватные возможности это знание получить»³.

Оставляя эти вопросы без дальнейшего разбора, Кейнс переключается на объяснение, почему идея *laissez-faire* держалась так долго и упорно. Причины — «низкое качество предложений ее противника — протекционизма, с одной стороны, и марксистского социализма — с другой», а также ее укорененность в мироощущении деловых людей девятнадцатого столетия. Из всего этого Кейнс делает вывод, что вопрос о разграничении сфер частной и государственной деятельности не может решаться на основании абстрактных соображений. Каждый век, хочет он сказать, должен определить для себя, чем следует заниматься государству и что может быть оставлено индивидууму; или, говоря понятиями Бентама, сделать выбор между тем, что *входит* в список забот правительства, и тем, что туда *не входит*⁴.

Кейнс далее развивает мысли, напоминающие доводы, приводимые в пользу государственного вмешательства во имя общественного благополучия. «Наша цель, — писал он, — должна состоять в том, чтобы отделить услуги непосредственно общественные от услуг, непосредственно предоставляемых в индивидуальном порядке». Наиболее важные пункты Программы касаются «не того, чем уже занимаются индивидуумы в частном порядке, а тех функций, которые выпадают из сферы забот индивидуума, тех решений, которые не принимаются никем, если их не примет государство». Избавление от зла, проистекающего из «риска, неопределенности и неосведомленности», требует «продуманного управления денежным обращением и кредитом со стороны центрального учреждения и... сбора и распространения... сведений о деловой активности». Он предложил, кроме того, «скоординированный акт интеллектуального суждения» относительно совокупного объема сбережений и их распределения между внутренними и заграничными инвестициями, а также демографи-

ческую политику, «которая обращает внимание на врожденные качества, так же как на... численность»⁵. Кейнс не поясняет, почему последние два пункта попадают в разряд *непосредственно* общественных — то есть почему частные лица, индивидуумы не могут иметь сбережения и детей в количествах, которые они желают. Мы имеем здесь хороший пример трудности, возникающей при попытке строить коллективистские заключения, исходя из индивидуалистических посылок.

Общественные блага Кейнса должны обеспечиваться государством. Но когда он говорит о государстве, разграничение между частным и общественным размывается ввиду существования промежуточных институтов. Он указывает на рост «полуавтономных организаций в рамках государства», таких как «университеты, Английский банк, Управление Лондонского порта, возможно даже железнодорожные компании», так же как смешанные формы производственных организаций, такие как акционерные компании, «которые, достигая некоторого возраста и размера, [имеют тенденцию] скорее приближаться к статусу государственных корпораций, чем сохранять характер индивидуальных частных предприятий»⁶. Что поражает, так это не признание Кейнсом того факта, что рост мощи частных организаций создал новые проблемы во взаимоотношениях государства и экономики — это широко признавалось политической мыслью того времени, — а предлагаемые им пути решения этих проблем. Старомодные либералы все еще стремились разрушать концентрацию частной мощи; социальные либералы хотели подчинить ее «демократии» — на основе соучастия, будь то в принятии решений, в разделе прибылей или в более широком долевым распределении собственности. Социалисты усматривали здесь доводы в пользу национализации. Во всех случаях это были усилия, направленные на повышение ответственности — потребителей ли, рабочих или избирателей. У Кейнса не было к ним никакого реального интереса. Он ни в коей мере не был плюралистом. Он

приветствовал «объединение производства», как порождающее тенденцию стабилизировать экономику; он безоговорочно принимал точку зрения, что сам размер их предприятий вынуждает капитанов промышленности служить интересам общества; и он принимал как бесспорную истину, что тесно переплетенная между собой элита деловых людей, управляющих, банкиров, государственных служащих, экономистов и ученых, всех получивших образование в Оксфорде и Кембридже и пропитанных этикой служения обществу, придет к управлению этими органами государства, частными или государственными, и заставит их исполнять одну общую мелодию. Он хотел децентрализовать и спустить управление вниз только до уровня Высших Людей.

Антирыночное, антидемократическое предубеждение Кейнса питалось верой в научную экспертизу и отсутствием личной заинтересованности, что сейчас вызывает тревогу своей наивностью. Это сквозит во всех его трудах и образует важную предпосылку его политической философии.

‘*Kонец laissez-faire*’ — произведение, полное огрехов; но оно остается впечатляющей попыткой кратко очертить социально-экономическую философию, пригодную для времени трудностей, порожденных двумя мировыми войнами. Почти восемьдесят лет спустя после того, как оно было написано, его размах, человечность и просто живость языка все еще сияют ярким светом. Его недостатки — краткость и поспешность. Каждое суждение криком кричит, требуя дальнейшего развития, критики, обработки. Проживи Кейнс дольше, он, конечно, соблазнился бы вписать свою экономическую теорию (появившуюся позже) в эту работу, которая подняла на высшую точку его политическую и социальную философию и которая могла бы соперничать с ‘*Конституцией свободы*’ Хайека. Ибо спор не окончен. Капитализм, может быть, и одержал победу над социализмом, но дебаты между сторонниками *laissez-faire* и предложенной Кейн-

сом философией *Среднего Пути* по-прежнему перерастают в отчаянные схватки.

В следующие пять лет анализ, представленный в '*Конце laissez-faire*' Кейнс расширил в нескольких направлениях. Заслуживают внимания три темы, которые стали для него предметами обсуждения: очерк «стадий капиталистического развития», его отношение к политическим партиям и его взгляд на соотношение экономического развития с благоденствием.

В '*Конце laissez-faire*' Кейнс говорил о росте полуавтономных образований, промежуточных между частными и государственными. В двух своих выступлениях 1925 г. — '*Либерал ли я?*' 1 августа в Кембридже и '*Об экономическом переходе в Англии*' 15 сентября в Москве — он пытался представить это развитие в историческом контексте, излагая немарксистскую теорию «стадий экономического развития», предложенную американцем Джоном Роджерсом Коммонсом. Коммонс, экономист-институционалист, преподававший в Висконсинском университете, пусть и непризнанно, оказывал в это время на Кейнса серьезное влияние. Более того, Кейнс написал ему в 1927 г., что «нет, кажется, больше ни одного экономиста, с чьим образом мысли я в общем находилась бы в такой согласии»⁷.

Коммонс различал три эпохи, которые он называл эрами дефицита, изобилия и стабилизации. Вторая была связана с триумфами индивидуализма. Англия, утверждал Кейнс,

сейчас вступает в третью эру, которую профессор Коммонс именуется периодом стабилизации и верно характеризует как «фактическую альтернативу коммунизму Маркса». В этом периоде, говорит, он «сокращается свобода личности, что навязывается частично правительственными санкциями, но главным образом экономическими санкциями через согласованные — тайные, полукрытые, открытые или произвольные — действия ассоциаций, корпораций, союзов и других коллективных движений фабрикантов, торговцев, рабочих, фермеров и банкиров».

Злоупотребления этой эпохи в области государственного управления — это фашизм, с одной стороны, и большевизм — с другой. Социализм не предлагает никакого среднего курса, потому что он также проистекает из посылок века изобилия... Переход от экономической анархии к режиму, который сознательно стремится к управлению и руководству экономическими силами в интересах социальной справедливости и социальной стабильности, будет связан с огромными трудностями — и техническими, и политическими. Я тем не менее предлагаю считать, что истинное предназначение Нового Либерализма — в поиске способов их преодоления⁸.

Капиталистическая система застыла, но власти все еще действовали, исходя из предположения, что она гибкая.

Представление старосветской партии, будто вы можете, например, изменить стоимость денег и предоставить последующее урегулирование сил спроса и предложения, принадлежит времени пятидесяти- или столетней давности, когда профсоюзы были бессильными и когда экономическому монстру позволяли беспрепятственно и даже под аплодисменты крушить все в его продвижении по пути прогресса.

Половина мудрости, почерпнутой нашими государственными деятелями из их школьных тетрадок, основана на предположениях, которые были одно время обоснованными, или частично обоснованными, по теперь день ото дня имеющими к истине все меньшее и меньшее отношение. Мы должны изобрести новую мудрость для нового века. А тем временем, если от нас ожидается какая-то польза, нам следует выступать неортодоксальными баламутами, опасными, непослушными по отношению к тем, кто произвел нас на свет⁹.

Кейнс описывал то, что в 1980-е гг. Манкур Олсон назвал «склеротичным обществом»¹⁰: то есть общество, в котором прирост мощных групповых интересов лишил экономику жизненных сил. Стилистика его собственного представления этого процесса важна для понимания духа его экономической теории. Великое искусство экономи-

ческой мысли, как он всегда считал, состоит в подборе моделей, пригодных для современного мира. Организованные группы производителей находятся теперь в положении, позволяющем сопротивляться большим переменам, которые грозят причинить им ущерб. Отсюда важность стабилизации цен: «Ибо самыми насильственными нарушениями стабильности и справедливости, которые пришлось пережить девятнадцатому столетию... это именно те, что были вызваны изменениями уровня цен»¹¹. Таким образом, «первым и наиболее важным шагом... должно быть введение новой монетарной системы... которая не будет требовать от принципа *диффузии* большего, чем он способен дать»¹². Но, кроме того, необходимо новое партнерство между правительством и частным сектором, чтобы соответствовать росту корпоративизма в промышленности. «Нашей задачей должна быть децентрализация и свертывание государственных институтов повсюду, где это возможно, и в особенности создание полуавтономных корпораций и административных органов, на которые будут переложены обязанности управления, новые и старые, — без причинения, однако, вреда демократическому принципу или высшему суверенитету парламента»¹³.

Хотя в намерение Кейнса входило распространять свою «новую мудрость» поверх партийных барьеров, встал все-таки вопрос, какая из главных политических партий вероятнее всего могла бы применить его концепцию в современном государственном управлении. Историческая Либеральная партия явно готовилась покинуть сцену: Кейнс полагал, что ей хорошо было бы превратиться в поставщика «идей правительствам консерваторов и лейбористов»¹⁴. «Как мог бы я убедить себя стать консерватором?» — задавался Кейнс вопросом в *‘Либерал ли я?’*. «Они не предлагают мне ни поесть, ни выпить — ни интеллектуального, ни духовного утешения. Не велят ни развлекаться, ни возбуждаться, ни набираться знаний»¹⁵. Для либерала поколения Кейнса Консервативная партия была историческим врагом и оставалась таковым в течение всех

межвоенных лет, несмотря на «благопристойность» Стэнли Болдуина. Это была партия глупости, суеверий и предубеждений. Это была также партия протекционизма и джингоизма. Другая проблема с консерваторами состояла в том, что они были блюстителями реакционных кодексов морали, против которых восставало поколение Кейнса. Глупость консерватизма он приписывал привязанности его сторонников к принципу наследственности. Тем же объяснял неэффективность британской промышленности. Британский капитализм был во власти людей третьего поколения¹⁶. Его первоначально уважительное отношение к Болдуину быстро таяло: «Сперва была определенная привлекательность в том, что от г-на Болдуина не требуется быть умным. Но когда он без конца сентиментальничает по поводу собственной глупости, обаяние теряется»¹⁷. Все же нетрудно вообразить Кейнса чувствующим себя как дома — в той мере, в какой он был способен на такие чувства, — в Консервативной партии Макмиллана и Батлера (оба стали его личными друзьями). Он восхищался элитизмом консерваторов: «Внутреннее ядро партии может почти диктовать детали и методы политики», — восхищенно отмечал он¹⁸. Возражал он единственно против элитизма глупого.

При таких обстоятельствах Кейнс, несомненно, считал более вероятным, что его политику *Среднего пути* возьмет на вооружение Лейбористская партия. Если консерваторы были партией *глупой*, то лейбористы были партией *придурковатой*. Но, по крайней мере, многие сердца в ней бились там, где надо. Что необходимо, по мнению Кейнса, так это согласие лейбористов взяться за осуществление программы либерализма. В своих политических рассуждениях Кейнс в основном ведет диалог с лейбористским движением. Это иногда толкало его на очень неоднозначные высказывания в стараниях одновременно и отмежеваться от социализма, и показать значительную степень совместимости либеральных и социалистических стремлений. Так обстояло дело с его утопизмом. Он на-

стаивал, что «Республика моего воображения находится на левом краю небосвода»¹⁹. Но идеал, который он иногда склонен был называть социалистическим, хотя и связывается с равенством, братством, демократией, но гораздо больше касается досуга, красоты, изящества, волнения или разнообразия, что, как справедливо заметил Энтони Крослэнд, невозможно «ввести ни в какое обоснованное определение социализма».

Кейнс решительно отвергал социализм как экономическое средство излечения от бед *laissez-faire*. Доктрины социализма пропитаны идеологией, устарели, не соответствуют делу, враждебно воспринимают создание богатства и с высокой вероятностью будут потворствовать грубым посягательствам на свободу личности. Неэффективность, так же как непригодность социализма в качестве экономической технологии были четко доведены до его сознания в советской России. Во-вторых, Кейнс возражал против революционной напряженности социализма. Он приводил две причины. Существующий социальный порядок не представлялся ему настолько плохим, чтобы общество не могло быть преобразовано; и вдвойне неправильно совершать революцию ради введения системы, которая хуже свергнутой.

Кейнс не признавал также классовой основы социалистической идеологии и политики, «она [Лейбористская партия] — классовая, но этот класс — не мой класс. Если уж я вознамерюсь отстаивать некие сектантские (не всеобщие) интересы, я буду преследовать мой собственный интерес... я могу оказаться под влиянием того, что кажется мне справедливым и отвечающим здравому смыслу; но война классов застанет меня на стороне образованной *буржуазии*»²¹. Позицию Кейнса определяли, конечно, его социальные корни и среда, которая ни в Кембридже, ни в Лондоне не была антирабочей, но определял ее класс людей, к числу рабочих не относившихся: итонские ученые, цивилизованные банкиры и промышленники, писатели и живописцы с достатком выше среднего. Кейнс не смущал-

ся называть себя «левеллером»: «Я хочу скроить такое общество, в котором большинство существующих проявлений неравенства и его причин будет устранено». Но далее: «Я не хочу уравнивать индивидуумов. Я хочу дать поддержку всякому исключительному усилию, способности, храбрости, характеру. Я не хочу противодействовать преуспевающему, исключительному. Я полагаю, что, если сравнивать человека с человеком, средний класс и даже верхний класс оказывается гораздо выше рабочего класса»²².

Наконец, и это знаменательно, Кейнса не устраивала настроенность лейбористов против элиты. Он полагал, что «интеллектуальные элементы в Лейбористской партии никогда не будут иметь в своих руках адекватной степени контроля; слишком много всегда будет решаться теми, кто вообще не ведает, о чем говорит»²³.

В социализме Кейнса восхищали три вещи: его страсть к социальной справедливости (даже при том, что сам он держался подальше от этой идеи)²⁴; фабианский идеал служения обществу; и его утопизм, основанный на устранении «мотива денег» и «любви к деньгам». Именно его утопизм служил соединительным звеном между его работой экономиста и преданностью идее благоденствия.

Наиболее красноречивое выражение его утопизма можно найти в эссе *‘Экономические возможности для наших внуков’*, первоначально зачитанном в Обществе эссеистов в Винчестер-колледже 17 марта 1928 г., затем несколько раз повторенном и в ряде мест пересмотренном перед публикацией в 1930 г. Важен его контекст. Посещение советской России в конце лета 1925 г. вызвало, или, сказать точнее, оживило раздумья о моральной ценности капитализма, и он сказал Лидии 6 ноября, что написал «несколько философских страниц о Любви к Деньгам». Другим источником влияния на него был в это время Фрейд. В июне того же года Джеймс Стрэчи сообщал, что Кейнс «поглощен историями пациентов [Фрейда]»²⁵. Кейнс был очарован размышлениями Фрейда о патологии денег, особенно о

ее ассоциативной связи с анальным садистским характером и фрейдистским механизмом сублимации. Фрейд дал ему возможность прийти к собственному пониманию жертвенной природы капитализма, первоначально выраженному в *'Экономических последствиях мира'*. Здесь ценой экономического прогресса названа культурная деформация «буржуазии рантье», которая жертвует «искусством получать удовольствие» ради искусства выращивания денег «под сложные проценты»²⁶. Можно ли как-нибудь увернуться от дилеммы, возникающей в связи с тем, что прогресс экономики, судя по всему, зависит от действий, которые религия осуждает как безнравственные, а психология определяет как невротические?

Недолгое время Кейнс тешился мыслью, что Советский Союз, может быть, подведет, по крайней мере, к началу искомого ответа. Но из-под его пера в декабре 1925 г. вышел *'Краткий очерк о России'* (*'A Short View of Russia'*), который принято считать одной из самых жестоких среди всех когда-либо появлявшихся нападок на советский коммунизм:

Мне, выросшему в свободном воздухе, незамутненном ужасами религии, свободному от каких бы то ни было страхов, слишком многое в Красной России представляется отвратительным. Будем готовы забыть о комфорте и привычках, но я не готов принять кредо, которому нет дела, в какой мере оно сокрушает свободу и безопасность повседневной жизни, которое сознательно использует оружие преследований, разрушений и международной борьбы. Как я могу восхищаться политикой, которая находит характерное выражение в миллионных тратах на подкуп шпионов в каждой семье, в каждой группе населения собственной страны и на то, чтобы вызывать потрясения за границей?.. Как я могу принимать доктрину, которая подается как Библия, выше и вне критики, и читается как устаревший экономический учебник, который, я знаю, не только ошибочен с научной точки зрения, но и никак не годится к применению в условиях современного мира? Как я могу принимать кредо, отдающее предпочтение грязи перед рыбой и возвеличивающее

грубый пролетариат, ставя его выше буржуа и интеллигенции, которые, при любых их пороках, обеспечивают качество жизни и, конечно, сеют семена всего человеческого прогресса? Даже если нам нужна религия, как мы можем найти ее в мутном мусоре красных книжных лавок? Для образованного, приличного, интеллектуального сына Западной Европы трудно отыскать здесь свои идеалы, если перед тем он не пережил некоего странного и неприятного процесса преобразования, изменившего все его представления о ценностях²⁷.

И все же, хотя он нашел систему во многих отношениях отвратительной, Кейнс не совсем исключал, что советский коммунизм мог бы «представлять первые путаные ростки большой религии», что, может быть, «под его жестокостью и глупостью... скрывается какой-то проблеск идеала»²⁸. Значение большевизма, думал он, не в его экономике, а в его попытке строить общественную систему, которая осуждает личное обогащение как цель и для любого делает невозможным серьезно стремиться к достижению такой цели. Именно это, думал он, дает коммунизму моральный перевес над капитализмом.

После следующего посещения России в апреле 1928 г. Кейнс нехотя остановился на выводе, что цена за кредо была слишком высока. «Невозможно помнить, пока не попадешь в эту страну, насколько они безумны и что о своем эксперименте они заботятся больше, чем о том, чтобы делалось дело»²⁹. Любовь, очевидным образом, ушла. Нельзя было наслаждаться добрым расположением ума, когда ничто вокруг не работало. Легкий флирт Кейнса с советскими образцами коммунизма свидетельствует об общей для того неверующего поколения потребности обрести достойную цель, найти живой образ благоденствия, с которым можно было бы соизмерять свои мирские дела. Именно ради того, чтобы показать, как капитализм, несмотря на все его недостатки, способен создавать условия для благоденствия, Кейнс написал *‘Экономические возможности для наших внуков’*³⁰.

Тезис Кейнса состоял в том, что мотор капитализма приводится в движение неврозом, который он называет «любовью к деньгам»; но этот невроз есть также средство для достижения блага, потому что это — средство создания изобилия, которое сделает капитализм ненужным. Кейнс вычислил, что при 2-процентном годовом увеличении капитала, стабилизации численности населения и повышении производительности на один процент в год через сто лет предполагаемое население «цивилизованного» мира будет иметь уровень жизни в четыре-восемь раз выше, чем в 1920-х гг., и достигаться он будет гораздо меньшими, чем сейчас, усилиями³¹.

С удовлетворением большинства потребностей «любовь к деньгам» стала бы восприниматься как «некое отвратительное заболевание, как одна из полупреступных, полупатологических наклонностей, заниматься которой с содроганием поручают специалистам, занятым лечением душевнобольных»³². Люди смогут свободно еще раз принять «твердые и надежные принципы религии и традиционного достоинства», ценить день нынешний выше завтрашнего, цели — выше средств их достижения, добро — выше пользы.

‘Экономические возможности для наших внуков’ — типичны для застольных бесед Кейнса представленным в них соотношением между игрой фантазии и жесткой логикой аргументации. Они лежали в том самом русле, в которое инстинктивно устремлялся его ум, когда его не обуздывала необходимость держаться в рамках формального анализа. Лучше, чем его академические труды и работы на специальные темы, это эссе раскрывает, что творилось в его собственном уме. В своем неодобрительном отношении к занятиям бизнесом он был типичным сыном английской «образованной буржуазии»: эти люди презирали делание денег как карьеру или профессиональное занятие, хотя сами не чурались так или иначе прикладывать к этому руку на стороне. Его Утопия предлагает расширенный Блумсбери для верхов, хлеб и цирки — для масс.

Это — рай досуга. Но что останется делать большинству людей? В этой схеме ощущается также типичная узость церковного прихода, поскольку она ограничивает себя границами «цивилизованного» мира³³.

В своем эссе Кейнс замечал: «Может быть, не случайно, что раса, которая сделала больше всех, чтобы вложить надежду на бессмертие в сердце и сущность наших религий, также больше всего сделала и для внедрения принципа сложных процентов и особенно любит это самое целеустремленное из человеческих изобретений»³⁴. В письмах Кейнса есть и несколько других упоминаний о евреях, которые сегодня были бы восприняты как антисемитские. В *‘Кратком очерке о России’* он выражал сомнение, «делает ли коммунизм евреев менее жадными». После посещения Берлина в июне 1926 г. он изобразил Германию как страну, схваченную «уродливыми хищными пальцами... нечистых евреев», которые «сублимировали бессмертие в сложные проценты». Говорил он это в *Клубе воспоминаний*, и напечатаны его слова были только по-смертно; это наиболее предубежденное из его высказываний на данную тему, но ему далеко до убийственно стегающих замечаний, которыми могли бросаться другие — даже такие люди, как Деннис Робертсон³⁵.

Держаться стереотипов в отношении евреев было обычным делом в кругу Кейнса, и стереотипы эти были, как правило, *неблагоприятны*. Письма Кейнса милостиво свободны от персональных выпадов, чего не скажешь о письмах Лидии или некоторых других блумсберийцев. Отдельных евреев ограждали, устанавливая для них исключение или не признавая их еврейства. Таким путем благопристойность мирили с предубеждением. Но случаи для проявлений благопристойности возникали не часто. Хотя Вирджиния Вулф вышла замуж за еврея, а Сраффа и Витгенштейн наполовину были евреями, вообще в мире Кейнса в 1920-е гг. евреев было очень немного. Они появились позже — с массовым исходом из Центральной Европы. Тем временем стереотипы могли держаться, и

никакой нужды призывать кого-то к соблюдению приличий не было.

Стереотип, созданный самим Кейнсом, имел философскую, не вульгарную, начинку. Во многом повторяя Зомбарта, ученика Вебера, он думал о евреях как о воплощении «духа» капитализма, что для него означало абстрактную «любовь к деньгам». Его воображение было захвачено представлением о связи между бессмертием и сложными процентами — в отдельной душе, в истории евреев и в истории капитализма. «Сложные проценты» — это «нечистая» форма бессмертной тоски. Так что Кейнс различал «чистых» (или религиозных либо интеллектуальных) евреев, вроде Эйнштейна, или Мельхиора, или своего любимого ученика Ричарда Кана, и евреев, одержимых любовью к деньгам, каковым был в кабинете Клемансо министр финансов Клотц. Его двоюродный брат Невилл Броун вспоминал, что Кейнс задавался вопросом, нет ли у него еврейского предка, ссылаясь при этом на свою способность производить в уме некоторые математические операции, а это, мол, умеют делать только евреи³⁶. Когда вышли *‘Экономические возможности для наших внуков’*, профессор Радин из Калифорнийского университета указал на несоответствие между гипотезой Кейнса и фактами. Он пояснил Кейнсу, что «надежда на бессмертие играла крайне незначительную роль в иудейском богословии» и что евреи «не особенно отличались заботами о сложных процентах или вообще о накоплении денег» — скорее наоборот: гражданская незащищенность делала многих евреев «чрезвычайно расточительными» и скорее склонными к «опрометчивому участию в азартных играх, чем к скрупулезному накоплению денег». В своем ответе Кейнс извинился за то, что его мысль потекла «по вполне обычному руслу». Но от созданного его воображением отступать не хотел: «Я все еще думаю, что не просто по случайным причинам эта раса показала себя более обычного заинтересованной в накоплении ростовщических доходов»³⁷. Эта переписка имела место осенью 1933 г.

Суждения Кейнса следует принимать с учетом уравнивающего их обвинения в «варварстве», с которым он выступил по поводу происходивших тогда событий в Германии. (см. стр. 775). Антисемитизм Кейнса, если таковой имел место, был чем-то слегка похожим на богословское упражнение — возможно, отражавшим какой-то неразрешенный конфликт, связанный с его собственными нонконформистскими корнями. Нет никаких указаний, что это как-либо влияло на его личное поведение.

4. Заключение

Политику *Среднего пути*, предложенную Кейнсом в 1920-е гг., можно толковать в двух смыслах. Ее можно воспринимать как выражение аристотелевского чувства равновесия, золотой середины между индивидуализмом девятнадцатого столетия и коммунизмом двадцатого века, рассматриваемыми как избытки их достоинств. Либо в Кейнсе можно видеть пророка индивидуализма в обороне. Учреждения общества превратились в рифы, и от навигаторов требовалась самая высокая квалификация, чтобы корабль государства не разбился, наскочив на них. В управлении государством стало недопустимо оставлять место для глупости, недомыслия или устаревших идей. Только величайшая широта духа и полная беспристрастность в сочетании с высоким интеллектом и научно обоснованной политикой могли спасти общественный строй от крушения.

Оба толкования обоснованны, первое отражает образование Кейнса, второе — его опыт. В 1926 г. мало что говорило о появлении такого подхода к делу в высоких сферах. Правительство Болдуина и профсоюзы взяли курс на столкновение.

XXIV

С Ллойд Джорджем

1. Навстречу всеобщей забастовке

«Все рабочие этой страны должны быть готовы к сокращению заработной платы», — бормочет г-н Болдуин в промежутках между проповедью и обещанием субсидии». Этот комментарий Освальда Мосли, поднимавшего политического деятеля лейбористов, точно схватывал состояние умов в правительстве Болдуина после возвращения Британии к золотому стандарту. Обязательство вернуться к довоенному паритету логически требовало всестороннего сокращения издержек в промышленном производстве. Но, зажатое между *laissez-faire* и боязнью социальной революции, правительство не могло ни навязывать собственную политику промышленного развития, ни позволять себе стоять в стороне, предоставляя предпринимателям самим улаживать отношения с профсоюзами. Именно в угольной промышленности неумолимая логика прежде всего столкнулась с непреодолимой силой. Когда хозяева угольных шахт потребовали 10-процентного сокращения заработной платы своих рабочих, а БКТ предупредила, что это будет означать всеобщую забастовку, Болдуин вмешался с предложением компромисса: угольная промышленность получит временную субсидию и, плюс к этому, будет назначена Королевская комиссия во главе с сэром Гербертом Сэмюэлем, чтобы объяснить этой отрасли, как ей следует перестроиться. Субсидию предлагалось выдавать до 30 апреля 1926 г. Профсоюзы приготовились сопротивляться; правительство приготовилось противостоять всеобщей забастовке; люди доброй воли надеялись, что Комиссия Сэмюэля придумает волшебную формулу спасения.

В то время как тикала эта бомба замедленного действия, Кейнсу делать было нечего. Он ясно выразил свое неприятие политики «раздувания безработицы» как средства снижения заработной платы. Выступая перед манчестерским отделением Федерации британской промышленности 13 октября 1925 г., он предложил способ избежать политики сокращения заработной платы. Политика, нацеленная на «производство во всю силу существующих возможностей при полностью занятой рабочей неделе, позволила бы нам и сохранить существующую реальную заработную плату, и притом снизить издержки»¹. Кажется, это представляло проблему в новом свете. Разве более полное использование бездействующего оборудования не могло обеспечить его самоокупаемости и тем самым снизить для предпринимателя затраты на каждого нанятого им рабочего? То была одна из мыслей Кейнса, которая сверкнула и угасла. Что от нее осталось, так это идея «кумулятивности» процветания, представление о том, что британской промышленности следует нагуливать жирок, а не сидеть на диете.

Осень 1925 г. застала Кейнса жалующимся, как обычно, на рабочую перегрузку («слишком много дел, никакого досуга, никакого покоя, слишком много, о чем приходится думать...»). Существенным обязательным делом было создание *Ассоциации лондонских художников* — во имя искусства и ради дружбы. Идея состояла в том, чтобы обеспечить ведущим живописцам Блумсбери и их протеже — группе, возглавляемой Дунканом Грантом, Ванессой Белл и Роджером Фраем, — гарантированный доход, так чтобы они могли творить, не думая о деньгах. Не исключено, Кейнс усматривал здесь возможность возместить Дункану утрату его права на наследство. Он уговорил Сэма Курто и еще двух бизнесменов присоединиться к нему, чтобы совместно гарантировать художникам 150 фунтов годового дохода. Свою первую лондонскую выставку Ассоциация устроила в *Лестерских галереях* в апреле 1926 г. Их не знавший удержу коллега-публицист Клайв Белл объявил ее

«событием капитальной важности... не меньше как новым утверждением английской школы». К 1929 г. были проданы 700 работ общей стоимостью 22 тысячи фунтов².

С самого начала жизнь Ассоциации отравляли напряженные отношения, отражавшие то, что происходило между Тилтоном и Чарлстоном. Кейнс хотел ввести в нее неблумсберийских живописцев, таких как Мэтью Смит и Пол Нэш, отчасти рассчитывая таким образом укрепить финансовую базу Ассоциации; Дункан, Ванесса и Роджер Фрай возразили против его вмешательства. Кейнс был прав по многим причинам, и не в последнюю очередь потому, что предвидел: Дункану и Ванессе надоест субсидировать собратьев по профессии, которые сами ничего не зарабатывают. Но в Чарлстоне существовало твердое мнение, что Кейнс в живописи ничего не смыслит и его дело исправно выплачивать деньги, оставляя художественную политику на их усмотрение. «Если хотите заставить его что-нибудь делать, — писала Ванесса Роджеру Фраю, — [единственный способ] состоит в том, чтобы не слушать ни единого его слова, позволять ему говорить, но твердо держаться собственных идей и потом, когда он наговорится, повторять их, независимо от того, что он скажет»³.

Друзья Мейнарда предполагали, что Лидия, выйдя замуж, бросит танцевать. Учитывая, что в течение года, предшествовавшего замужеству, у нее был лишь один трехнедельный ангажемент (партия в небольшой комедии *‘Почтальон’*, в которой она упала с велосипеда), это казалось разумным предположением. Но в октябре 1925 г. Дягилев предложил ей контракт на участие в его четырехнедельном осеннем сезоне в *Колизее*, с возможностью блеснуть в ее любимых партиях — в *‘Лавке’*, *‘Добродушных дамах’*, *‘Карнавале’* и *‘Петрушке’*. Она была не совсем в форме, сезон в *Колизее* показался ей очень трудным. Однако он прошел с большим для нее успехом, и Лидия была снова приглашена на летний сезон 1926 г.

В начале 1926 г. встал вопрос о будущем Либеральной партии. После поражения на выборах 1924 г. Асквит

(теперь граф Оксфорд и Асквит) оставался лидером партии, при том что Ллойд Джордж председательствовал во фракции либералов (в составе сорока двух человек) в палате общин и управлял богатым фондом средств, сомнительным образом накопленных в дни коалиции. Партия начинала терять парламентариев, уходивших кто вправо, кто влево. Были слухи, что Ллойд Джордж пытался заключить сделку с Рамсеем Макдональдом; Хьюберт Гендерсон развивал в *'Нации'* идею прогрессивного альянса Лейбористской и Либеральной партий¹.

Кейнс вмешался в обсуждение вопроса между лейбористами и либералами «откровенной речью» на президентском обеде манчестерского *Клуба реформ* 9 февраля (событие было для него настолько торжественное, что он перед выступлением постригся). Речь появилась в *'Нации'* 20 февраля под названием *'Либерализм и лейбористы'*. Он доказывал, что разумные либералы должны начать разговор с разумными социалистами. Его пораженческое настроение раздражило Ллойд Джорджа, но действительная слабость его призыва, что Кейнс, несомненно, сознавал, была в том, что «разумные» в обеих партиях не имели никаких идей. Рамсей Макдональд не мог предложить ничего среднего между утопией и финансами Казначейства; Филип Сноуден был социалистом старого закала, в духе Генри Джорджа, разделявшим страсть Ллойд Джорджа к земельной реформе, но во всех других отношениях оставался ортодоксом гладстоновской школы. Подобным же образом «разумные», или верные Асквиту, либералы ни в коем случае не были согласны с Кейнсом. Все они поддерживали возвращение к золотому стандарту. У Ллойд Джорджа были и идеи, и энергия, но разумные люди смотрели на него как на дьявола во плоти.

Не слыл в широких кругах разумным социалистом и самый значительный из лейбористских новообращенцев в кейнсианскую веру — Освальд Мосли. В то время «Том» Мосли имел репутацию распутного молодого человека, городского гуляки и оболыстителя вившихся вокруг

него женщин. (Лидии как-то приснилось, что она его целует⁵.) Все же его брошюра *‘Революция на основе разума’*, изданная в 1925 г., была первой политической попыткой приложить идеи Кейнса к экономической политике. Мосли прямо возложил ответственность за безработицу на недостаток «эффективного спроса». Кейнс встречался с Мосли на лондонских обедах; нет никаких свидетельств, что он читал, или обсуждал с ним его брошюру. Что он прочитал, так это ее расширенную и более путаную версию, написанную другом Мосли Джоном Стрэчи, и 5 января 1926 г. сказал Стрэчи, что «она ему очень понравилась». Но он не смог оценить проблеск интуиции Мосли насчет «недостатка эффективного спроса», главным образом потому, что это был именно проблеск интуиции. Если бы Мосли способен был должным образом объяснить, как это может происходить, автором новой экономической теории стал бы он, а не Кейнс.

Благосклонно Кейнс отнесся также к изданный в 1926 г. брошюре Независимой лейбористской партии *‘Прожиточный минимум’*. Написанная под сильным влиянием теории «недопотребления» Дж.А. Гобсона, брошюра ставила задачу увеличить покупательную способность рабочего класса путем перераспределения налогообложения и расширения кредита. В письме одному из ее авторов (Брэйлсфорду, 27 октября 1926 г.) Кейнс написал:

Я не думаю, что полностью разделяю доктрину Гобсона о недопотреблении. Но я соглашаюсь с понятием, которое, возможно, ей родственно; говорю о кумулятивном процветании. Если при существующих обстоятельствах мы могли бы сделать что-то — ортодоксальное или неортодоксальное — для стимулирования спроса, исходящего от любого сектора, это вызвало бы рост предложения, что, в свою очередь, поддержало бы и усилило спрос и так далее. Но все равно это, я думаю, не совсем то, что имеет в виду Гобсон⁶.

На этой стадии собственного развития единственную причину сжатия спроса Кейнс умел видеть только в

предоставлении заграничные кредитов, не покрываемых экспортными доходами. Он еще не усматривал потенциального урезания спроса в бережливости как таковой.

Лейбористское руководство являло собой гнетущее зрелище, но Кейнс проникся новой симпатией к фабианцам старшего поколения. Беатриса Вебб написала ему 20 февраля 1926 г. теплое письмо с одобрением появившейся в 'Нации' статьи 'Либерализм и лейбористы'. Ей особенно понравились отголоски старой фабианской идеи проникания⁷. До войны Кейнс высмеивал Беатрису. Но после завтрака с нею и Бернардом Шоу 19 марта он взял на рецензию так никогда и не написанную ее книгу 'Мое Ученичество' ('*My Apprenticeship*'), которая была послана ему в Андалузию, где они с Лидией проводили пасхальные каникулы. Он был очень тронут ее рассказом о том, какую борьбу вела она сама с собой, чтобы заменить утраченную христианскую веру новой «религией гуманности». По их возвращении 18 апреля Дункан Грант отметил: «Мейнард почти стал социалистом, прочитав книгу госпожи Вебб в поезде по дороге в Испанию». И ехидно добавил: «Я так понимаю, что социализм становится для них моральным оправданием подлости»⁸. С этого времени между Мейнардом и Беатрисой завязалась невероятная дружба, основанная на взаимном обаянии, значительном непонимании друг друга, но при этом и на разделяемой обоими вере в социальную науку и служение обществу.

Еще одним его другом с середины 1920-х стал Г. Уэллс. В 'Нации' от 22 января 1927 г. Мейнард напечатал восторженную рецензию на его роман 'Мир Уильяма Клиссолда' ('*The World of William Clissold*'). Присущее ему чувство элитизма откликнулось на идею Уэллса о том, что побудительная сила к переменам должна явиться от людей власти и знания — магнатов делового мира и ученых, — скорее чем от социалистов-интеллектуалов или рабочих. «Клиссолд клонится влево — далеко, далеко влево; но чтобы туда попасть, творческую силу и волю к созиданию он стремится получить справа». Подобные темы пропи-

тивали работу Бернарда Шоу, еще одного старого фабианца, с которым Мейнард и Лидия начинали встречаться в Лондоне. Людям силы, представленным в *'Майоре Барбаре'* оружейным фабрикантом Ундершафтом, недостает идеалов; люди знания — импотенты, потому что они не имеют никакой веры; массы потенциально разрушительны, потому что не имеют никакого знания. «В каком долгу каждый интеллектual перед Бернардом Шоу, — писал Кейнс. В каком долгу также и перед Г. Уэллсом»⁹.

С пасхальных каникул в Испании Кейнс вернулся в охваченный кризисом Кембридж. 9 апреля скончался ректор Королевского колледжа Уолтер Дернфорд. Следует ли Кейнсу выдвинуть свою кандидатуру на освободившуюся должность? Большинство молодых сотрудников хотело этого; большинство старших предпочитало Клэпэма, историка экономики, глашатая нонконформизма, альпиниста и блюстителя традиционных ценностей. 23 апреля Кейнс заявил своей «дорогой любимой ректорессе», что готов «поддаться» искушению, но чувствует «неправильность этого настроения». Вирджиния Вулф 29 апреля сообщала Ванессе, что он «разрывается между ректорством и респектабельностью, с одной стороны, и Гордон-сквер и злоязычием — с другой». В письме К.Дж. Грею, представителю молодых сотрудников, Кейнс изложил свои сомнения другим языком, но, возможно, высказался в том же смысле: «Я очень боюсь... что положение ректора может оказаться в некоторых отношениях неподходящим для человека моих действий и моего характера». К этому времени стало ясно, что, если бы Кейнс выдвинулся, колледжу не миновать было болезненного раскола. Чтобы этого избежать, он бросил свой вес на чашу компромиссного кандидата, А.Е. Брука, пожилого профессора богословия и дяди Руперта Брука. Набор соображений, заставивших Мейнарда отойти в сторону, красиво, хотя и недоброжелательно очертила Вирджиния Вулф: «Мейнард решил не выдвигаться... Он говорит, что навсегда получил бы имя ректора, а не Кейнса; приобрел бы респектабельность; опу-

стился бы и исчез... Так что для Блумсбери он не потерян. Но поскольку все согласны, что его, конечно, почти наверняка ждал провал, эти доводы меня не убеждают. Леонард сказал, что он выглядит очень подавленным»¹⁰.

Мейнард был в дурном настроении на протяжении большей части летнего триместра 1926 г. Пирь и выпивки, сопровождавшие избрание Брука, измотали его и оставили ему «плохой цвет лица». 17 июня вместе с Леонардом Вулфом и Гордоном Люсом он был на премьере Лидии в балете *‘Пульчинелла’* в театре Ее Величества, и весь вечер досаждал Леонарду своей нервозностью. Сенсацией дягилевского летнего сезона была *‘Свадебка’* Стравинского: «С музыкальной точки зрения это — замечательная оргия, но как балет похоже скорее на математику», — написала ему Лидия 30 мая. Лидия чувствовала, что ее танцевальное время подходит к концу: она ощущала себя «умственно неустойчивой после шестимесячного отсутствия моих ног», боялась, что становится «второразрядной балериной», и подумывала «после лондонского сезона оставить сцену навсегда». 20 июня они с Мейнардом уехали в Берлин, где он должен был прочитать лекцию в университете.

2. Разрыв с Асквитом

Причины подавленного состояния и раздражительности Мейнарда были связаны не столько с неполучением ректорства в Королевском колледже, сколько со всеобщей забастовкой и сопутствовавшими ей болезненными личными обстоятельствами. На протяжении всей своей жизни он жаловался, что события, нарушающие общественный порядок, плохо действуют на его нервы: это была одна из причин, по которой он придавал главенствующее значение сохранению мира и общественной удовлетворенности как целям государственной деятельности. Но было и еще кое-что. Всеобщая забастовка произвела новый переворот в Либеральной партии, и на сей раз Кейнс поддержал Ллойд

Джорджа против Асквита. Разрыв со старыми друзьями не только огорчал его самого; он заставил многих протереть глаза. Не спасало Кейнса и сделанное им заявление, что «я поддерживаю г-на Ллойд Джорджа, когда он прав, и выступаю против, когда он не прав». Приверженцы Асквита — Саймон, Рансимэн, Филипс, Маклин, Прингл, Грей, Гладстон, — связанные личной верностью и исторической памятью больше, чем общими идеями, расценили его уход от старого лидера как предательство. Недоверие, которое вызывала политика Кейнса у здравомыслящих людей, теперь сопрягалось с его постоянной жизнью во грехе.

Повод для разрыва дала всеобщая забастовка. Сроки, отпущенные угольной промышленности, наконец истекли. Комиссия Сэмюэля, представившая свой доклад в марте 1926 г., рекомендовала немедленное сокращение заработной платы и затем, позже, реорганизацию. Федерация горняков отклонила урезание зарплаты, а хозяева шахт — реорганизацию; БКТ обещала поддерживать шахтеров. Настроенный, как всегда, сверхоптимистично, Кейнс был убежден, что удастся договориться; и с обычной самоуверенностью 24 апреля заявил читателям *‘Нации’*, в чем эта договоренность должна состоять. Угольной промышленности следовало увеличить выручку с каждой тонны на три шиллинга. Это могло быть достигнуто только за счет снижения заработной платы и других издержек производства, а также повышения цен для потребителей внутри страны. Кейнс предложил, чтобы из каждого из этих трех источников было взято по шиллингу, а на поддержку второго (зарплаты) была выделена временная субсидия. Ах, если бы жизнь была устроена так разумно! Кейнс думал, что шахтеры предпочтут скромное сокращение заработной платы «широкому распространению безработицы». Он предполагал, что правительство согласно с необходимостью продления субсидии. Он исходил из того, что хозяева шахт сознают необходимость некоторой концентрации производства на наиболее эффективно действующих шахтах. Все три гипотезы были ошибочны¹¹.

Срок временной правительственной субсидии истек в пятницу 30 апреля. Болдуин, пребывая в необычной даже для него летаргии, затруднил себя попыткой найти компромисс только в последнюю неделю действия субсидии. Когда же кабинет отклонил его предложение продлить срок субсидии на две недели, он прервал переговоры с БКТ под несостоятельным предлогом: когда делегация БКТ явилась в воскресенье вечером на Даунинг-стрит, 10, ей было сказано, что премьер-министр уже лег спать.

Начавшаяся 1 мая всеобщая забастовка 12 мая была отозвана Генеральным советом никогда ее не желавшей БКТ после того, как Болдуин дал бессодержательную гарантию, что правительство «рассмотрит» некоторые предложения, выдвинутые сэром Гербертом Сэмюэлем. Этот фиговый листок только прикрывал безоговорочную капитуляцию. Шахтеры продержались до осени, когда голод вынудил их возобновить работу на условиях хозяев. Стратегия правительства оказалась оправданной. Но в более долговременном плане анализ Кейнса был прозорливее. Его точка зрения: современным индустриальным обществом можно управлять либо примиряя интересы главных действующих сил, либо пуская в ход мощь классовой власти. Он стоял за первое; правительство избрало второе и победило. Но что делать со своей победой, оно не знало. Знаменательно, что Болдуин отклонил пакет мер, предложенных лордом Беркенхедом для постоянного ослабления профсоюзов. Из его предложений — покончить с неприкосновенностью денежных фондов профсоюзов, ввести тайное голосование по вопросу об объявлении забастовки, наложить ограничения на пикетирование и изменить политический налог — принято было только последнее¹². Профсоюзы не успокоились и не покорились. Промышленные районы Северной Англии, Шотландии и Уэлса, уже пребывавшие в упадке, а вскоре ставшие жертвами Великой депрессии, оказались отчужденными от вестминстерской системы. Посеяли ветер, а бурю по-

жинали уже в 1970-х, когда, усиленные десятилетиями полной занятости и законодательства в их пользу, профсоюзы оплатили правительству и средним классам за зло, причиненное им между войнами. В 1984 г. шахтеры поднялись снова, в сознательном, но гораздо более ожесточенном повторении 1926 года и были сокрушены снова. Но к этому времени *Средний путь* Кейнса с его идеями примирения классов и полной занятости был уже оставлен.

Только один политический деятель, по мнению Кейнса, был на высоте положения. До начала всеобщей забастовки Ллойд Джордж настаивал, чтобы правительство вело переговоры, пока не будет достигнуто соглашение. После объявления забастовки он выступил в поддержку правительства, но не переставал сдирать с него кожу за промедление с началом переговоров, за поспешность их прекращения, за упорство в требованиях безоговорочной капитуляции и за отказ напечатать в официальной *'Британской газете'* (*The British Gazette*) обращение двух архиепископов, призывавших мирно уладить спор путем переговоров. Акценты его высказываний выразительно отличались от тональности заявлений Асквита и Саймона, которые делали упор на противозаконность и неконституционный характер забастовки.

Отношения Кейнса с Ллойд Джорджем оттаивали уже в течение некоторого времени. Минуло семь лет с тех пор, как в Париже он впервые в отчаянии объявил Марго Асквит, что не в состоянии еще хоть день, хоть один час продолжать работу на такого человека. Но даже тогда его ненависть озарялась вспышками восхищения. «Он может быть занятым, когда с ним соглашаешься», говорил Кейнс в блумсберийском *Клубе воспоминаний* в 1920 г.¹³. Теперь он обнаруживал, что соглашается с ним все больше. Ллойд Джордж мог ничего не смыслить в экономике и финансах. Но его экспансионистские инстинкты теперь больше соответствовали взглядам Кейнса, чем тоскливая уклончивость Казначейства и Англий-

ского банка. Уже в 1920 г. он объявил, что «мы должны производить больше продукции». Он выступал за общественные работы в 1924 г.; в 1925 он осудил Черчилля за «вопиющее безрассудство», каковым было возвращение Англии к золотому стандарту. Оказавшись вне власти, он с его природным и утверждающим себя радикализмом, с его неистраченной энергией, с его всегдашней готовностью выходить на рынок смелых идей, обладал теперь гораздо большей привлекательностью, чем в дни своей славы.

Свое неодобрение линии, взятой Асквитом в отношении забастовки, Ллойд Джордж выражал тем, что отказывался посещать заседания либерального теневого кабинета. Асквит — как говорили, по наущению жены Марго и дочери Вайолет Боном Картер, — решил сделать Ллойд Джорджу выговор за неявки; после того как их письма, адресованные друг другу, появились 26 мая в национальной печати, Асквит, поддерживаемый старой гвардией, объявил, что Ллойд Джордж «сам себя вывел» из теневого кабинета, сказал, что не останется на посту лидера партии, если Ллойд Джордж вернется, и призвал своих друзей поддержать его.

Этих друзей было слишком мало, и Кейнса в их числе уже не было. Подобно большинству либералов, он считал, что Ллойд Джордж проявил во время забастовки характер истинного либерала, и был в ужасе от того, что Асквит отдал игру Лейбористской партии. 22 мая *‘Нация’* увидела в крушении забастовки новый шанс для либералов дискредитировать лейбористов с их ставкой на «войну классов» в промышленности и политике. «Кто бы мог поверить, что из этого спора двух государственных деятелей г-н Ллойд Джордж выйдет триумфатором?» — писал Гендерсон в *‘Нации’* от 29 мая. Лорд Оксфорд, по его мнению, «допустил промах».

Письма с нападками на позицию *‘Нации’* наводняли ее колонки, отведенные под переписку с читателями; семейство Асквитов повело наступление в частном порядке.

Атаки Марго Асквит на Мейнарда начались 22 мая. Страстная львица, она с отчаянным доверием обращалась к тем, кто преследовал ее раненого супруга:

Дорогой Мейнард,
ничто не поразило меня так, как ваши похвалы поведению Л.Дж. в отношении забастовки и слова о том, будто это и есть 'либерализм'. Бедный Л.Дж.! Его неспособность видеть на дюйм дальше своего носа и послушной ему печати, отсутствие у него всякой общественной совести, так же как и его личное предательство по отношению к лидеру и коллегам прикончили его... Ни от кого и никогда Л.Дж. не встречал такого великодушного, терпеливого и гуманного к себе отношения, как от Шефа. Но... он обманщик от природы и лжец и готов шантажировать собственную мать. Всеобщая забастовка выявила различия между политическими и государственными деятелями, и остановили ее либерализм и либералы.

И потом 28 мая: «И этот человек представляет либерализм лучше, чем спотыкающийся Оксфорд?.. я бы предпочла крошечную честную организацию широко раскинутой партии мошенников. Может быть я дура, но предпочитаю верность Правде». Кейнс ответил 30 мая:

Моя дорогая Марго,
я тяжело переживаю это дело с прошлого вторника, когда услышал, что происходит. Я знаю, что собой представляет Л.Дж., как знает это большинство разделяющих мои чувства по поводу этого дела, — у нас нет никаких иллюзий. Но раскол принял такую форму, что ни у одного радикала, не готового полностью подчинить свои политические идеи отдельным лицам, не осталось совершенно никакого выбора.

Я не вижу ничего обнадеживающего в будущем. Мои чувства во всяком случае неизменны. 'Спотыкающийся Оксфорд' остается человеком, за которым я *хотел бы* следовать и которого я люблю и уважаю.

Марго Асквит откликнулась 31 мая словами: «Это сводится вот к чему: Л.Дж. или Г.? — те, кто отдает предпочтение первому, на захотят иметь нас в друзьях»¹⁴.

Ллойд Джордж поспешил закрепить многообещающие политические союзы. 6–7 июня Мейнард и Лидия впервые провели уикенд в его загородном доме. «Вреда не будет, — думал Мейнард, — почему нет?» На Гордон-сквер они возвратились с подарком — свежей форелью, пойманной страстным либеральным реформатором земельных отношений. В понедельник Мейнард написал Лидии, что «Л.Дж. не очень приятен на вкус, когда его пробуешь языком прошлого. Как ты полагаешь? Однако это — жизнь». Он посетил созванное Ллойд Джорджем 29 июня в Лондоне собрание, чтобы обсудить создание Радикальной лиги вне Либеральной партии¹⁵.

Смену лояльности отнюдь не облегчило то, что 12 июня у Асквита случился удар, который на три месяца вывел его из строя. В тот же день в *'Нации'* появилось письмо Кейнса. Дескать, поведение Ллойд Джорджа в дни забастовки было восхитительным. Если он покинет Либеральную партию, она умрет от истощения. «Лорд Оксфорд — виг. Г-н Ллойд Джордж — радикал. Либеральная партия сильнее всего тогда, когда два начала, всегда существовавшие в ней бок о бок, могут работать вместе»¹⁶. Эти слова примирения вызвали грустное, но уже не столь сердитое послание Марго, датированное 20 июня и написанное, по ее обыкновению, в 4 часа утра:

Я вижу, что вы понятия не имеете, насколько Генри болен... я вскрываю все поступающие ему письма, но показываю только те, которые, как я думаю, могут его ободрить, поэтому показать ваше я не могла. Когда до болезни он прочитал о «промахе лорда О», он сказал мне: 'Это не Мейнард, это Гендерсон; Мейнард никогда не одобрил бы всеобщую забастовку; он слишком умен! Но я удивлен, что он это напечатал в своей газете'. Я вижу, что это причинило ему боль... Помните, что он человек *очень* некельтского склада... Он действительно умирает от разбитого сердца, а ведь он несколько не сентиментален.

Кейнс больше никогда не видел Асквита. Он скончался 15 февраля 1928 г. Написанный Мейнардом некро-

лог в *'Нации'* был теплым, почтительным и справедливым: «Он был совершенным вигом в исполнении тех радикальных замыслов его поколения, которые получили высокую оценку». Марго Асквит написала ему: «Я знаю, дорогой Мейнард, что когда-то вы его *очень* любили и что вы *очень* любите меня сейчас...»

3. Либералы обследуют промышленность

Летом 1926 г. Мейнард дважды совершал на уикендах экскурсии из Тилтона. В субботу 7 августа они с Лидией поехали с Веббами в Пассфилд-Корнер, откуда Мейнард проследовал далее в Истон Лодж, чтобы выступить в летней школе Независимой лейбористской партии на тему *'Будущий баланс британской промышленности'*. Беатриса Вебб записала свои впечатления:

Признаться, до сих пор для меня в нем ничего привлекательного не было — блестящий, надменный и недостаточно терпеливый для исследований общества, даже если он был к ним расположен. Но разглядела я его только тогда; думаю также, что брак по любви с очаровательной маленькой русской балериной пробудил его эмоциональное сочувствие к бедности и страданию. Ибо, глядя вокруг, я не замечаю никакого другого человека, способного установить, как надо управлять богатством наций в интересах общества. Он не просто мастер блестящих выражений и источник мысли, побуждающей думать; он — реалист: он смотрит в глаза фактам и обладает упорством и отвагой в мысли и действии. По пристрастию администратор, талантом человек науки, наделенный замечательным литературным даром, он обходится без грима политического лидера. Не то чтобы ему не хватало качеств «личности» — он внушителен и привлекателен, он мог бы навязывать себя аудитории и собирать вокруг себя кучу последователей и учеников; если бы в его силах было выносить политическую партию — такую, какой сотворяет ее Бог, — он мог бы вести ее за собой. Но он презрительно относится к обычным людям, особенно когда они собираются в стаи. От-

сюда его антипатия к профсоюзам, к культуре пролетария, к национализму и патриотизму, в отличие от общественного духа. Общие интересы и вульгарные предубеждения аристократий и плутократий одинаково его отталкивают — по существу, он не приемлет никаких общепринятых мыслей и чувств, которые собирают и связывают людей вместе. Чего Кейнс мог бы добиться, так это разработки большого плана устройства общества; он мог бы быть даже приглашен для воплощения его в жизнь, но в качестве эксперта, а не представителя¹⁷.

Кейнс был одним из «14 профессоров», приглашенных 25 сентября в Чурт¹. «Поводом — сообщал Кейнс Г. Уэллсу — послужила попытка объединить несколько инициатив с целью заложить основы нового радикализма; и впервые за многие годы меня охватил политический порыв, и я почувствовал, что в политическом мире возможно нечто интересное. Но пока у меня нет никакого доверия. Л.Дж. был хорош как золото — немислимо, чтобы кто-нибудь мог быть так хорош. Но как долго это продлится, я не знаю»¹⁸. Ранее в том же году Комитет летних школ либералов (в который входил и Кейнс) решил провести исследование о положении дел в промышленности. Ллойд Джордж обещал поддержать его — 10 тысячами фунтов из своего фонда и услугами секретариата. События, происходившие в начале лета, поставили это обещание под вопрос. Но 15 октября Асквит покинул пост лидера партии, оставив бразды правления в руках Ллойд Джорджа. С этого дня и в течение последующих трех лет он вкладывал душу, энергию, умственные способности и деньги, стараясь возродить партию, засыхавшую на корню. То было славное, но обреченное на печальный конец сражение. Ни один из высших политических деятелей Либеральной партии — никто из оставшихся приверженцев Асквита, кроме сэра Герберта Сэмюэля, — по-настоящему в него или его планы не верил; так или иначе, но они

¹ Загородный дом Ллойд Джорджа.

представляли собой бесцветную группу. Либеральное возрождение зависело от силы одного человека и мозгов другого. Ллойд Джордж был политическим магнатом; Кейнс — мыслителем.

В связи с расследованием Кейнс вошел в исполнительный комитет в составе дюжины членов во главе с Уолтером Лэйтоном. Первоначально было пять специализированных комитетов: отношения между государством и промышленностью (Рамсей Муир), труд и профсоюзы (Э.Д. Саймон), безработица (Ллойд Джордж), зарплата и статус (Э.Г. Гилпин), организация промышленности и финансов (Кейнс); работе помогали двадцать пять экспертов и политиков. Комитет Кейнса отвечал за «организацию бизнеса» и «национальные финансы». Эти темы отражали интерес автора *‘Трактата о денежной реформе’* и *‘Конца laissez-faire’* к стабилизации «вязкой массы» экономики. Кейнсу не дали (или он сам не выбрал) проблему безработицы. Остается только гадать, к чему пришел бы Комитет, окажись расследование обстоятельств безработицы возложенным на Кейнса и его коллег-экономистов — Лэйтона, Гендерсона, Робертсона, Брэнда.

В то время как Комитет приступал к делу, Кейнс занялся самообразованием, взявшись, в первый и последний раз, разбираться в практических проблемах, с которыми сталкивалась приходившая в упадок британская промышленность. В отличие от Маршалла, у него не было почтения к профессии дельцов-предпринимателей, но под влиянием Шоу и Уэллса он стал более благоприятно относиться к образу магната в роли социального реформатора; и начал усматривать в развитии крупного капитала способ проложить обнадеживающий *Средний путь* между максимизацией прибыли и служением обществу. Но все это осталось, по существу, абстрактными предположениями. Что в основном впечатляло Кейнса в британских бизнесменах, так это их глупость и лень. Он твердо веровал в цикл трех поколений: человек энергии и воображения создает бизнес; его сын держит дело на плаву;

внук доводит фирму до банкротства. В эссе *‘Либерал ли я?’* он писал: «Я полагаю, что семена интеллектуального распада индивидуалистического капитализма следует искать в... принципе наследования».

Несмотря на свои резко критические оценки деловой компетентности бизнесменов, Кейнс удивительно легко воспринимал проблему подготовки людей для деловой карьеры. Он отклонил идею курсов изучения бизнеса. Ошибкой университета, сказал он в дискуссии на радио в 1927 г., «была попытка ввести профессиональное обучение. Его дело — развивать интеллект и характер человека таким образом, чтобы он мог относительно быстро приобрести конкретные навыки, необходимые для того бизнеса, которым он захочет заниматься впоследствии»¹⁹. Он как раз собирался применить эту теорию к самому себе.

Возвращение к золотому стандарту и всеобщая забастовка погрузили Кейнса в проблемы угля и текстиля — двух основных приходящих в упадок отраслей британской промышленности. В *‘Экономических последствиях мистера Черчилля’* он доказывал, что возврат к золоту в довоенном паритете добавил два шиллинга к цене каждой тонны угля, что, по логике, вещей, вело к 10-процентному сокращению заработной платы. Годом позже, однако, он переносит акцент на сокращение избыточных производственных мощностей. Главное, что требовалось, это «переместить людей из промышленности, сократить производство и поднять экспортные цены». Он предлагал, чтобы хозяева образовали картель с целью ограничить выпуск продукции. В статье, напечатанной в *‘Нации’* 13 ноября 1926 г., Кейнс противопоставил ситуацию в двух разлагающихся отраслях промышленности — угольной и текстильной. Угледобыча разрушила себя безудержным перепроизводством, производство хлопчатобумажных тканей — «организованным сокращением рабочего дня в течение более пяти лет». Он вычислил, что половина ланкаширского производства грубых хлопчатобумажных тканей постоянно уходит в Японию. Но вместо того что-

бы концентрировать производство на выпуске экономически наиболее выгодных видов продукции — главным образом тонких тканей — Ланкашир сохраняет мощности и рабочую силу за счет сокращенного рабочего дня, что подняло там издержки производства выше конкурентоспособных уровней, добавив дополнительные накладные расходы к и без того слишком высокой заработной плате. Падение продаж в сочетании с сокращением рабочего дня и ростом издержек «совместно мостили дорогу к гибели, на которой скорость движения зависела только от того, как быстро другие страны могут устанавливать новые шпиндели». Режим сокращенного рабочего дня надо было срочно отменять за счет «слияния, объединения или ликвидации фабрик».

Это была взрывчатка: какой-то теоретик рассказывал практическим людям, как управлять их делами! Все же нашлись желающие его послушать. 16 ноября 1926 г. Комитет сокращенного рабочего дня Федерации владельцев хлопкопрядильных фабрик пригласил Кейнса в Манчестер, чтобы обсудить поднятые в его статье вопросы. Кейнс прибыл в Манчестер 22 ноября. За его встречей с Комитетом последовал выпуск коммюнике, в котором он отстаивал идею создания картеля, чтобы установить минимальные продажные цены и распределить квоты²⁰. Эта стремительная перемена позиции Кейнса показательна как пример свойственной ему гибкости. Идея окончательного свертывания производственных мощностей вызывала еще слишком большое отвращение, чтобы ее можно было рассматривать всерьез. Так что Кейнс бросил свой вес на защиту более гибкой и эффективной схемы раздела рынка посредством квот, которые должны были распределяться в пользу более сильных фирм. Это послужило основой, на которой 18 февраля 1927 г. была создана Ассоциация хлопкопрядильных фабрик во главе с Джоном Рианом. Когда она развалилась из-за самостоятельных действий некоторых фабрикантов, Кейнс поддержал предложение об объединении фабрик в целях рационали-

зации производства и выкупа избыточных мощностей. Частично в результате этих усилий в начале 1929 г. была образована Ланкаширская хлопковая корпорация, заручившаяся поддержкой Английского банка; многие управляющие перешли сюда из Ассоциации хлопкопрядильных фабрик. Кейнс по этому поводу заметил: «Так и хочется пробормотать вслед за Галилеем — а все-таки она вертится».

Из Манчестера Кейнс всякий раз уезжал охваченный «глубоким пессимизмом». Подтверждались все его предубеждения насчет людей третьего поколения. В конце Второй мировой войны он выражал сожаление, что гитлеровские бомбардировщики не смогли уничтожить все до единой фабрики в Ланкашире «в часы, когда там сидели одни директора и больше никого не было». Непосредственное знакомство Кейнса с делами текстильной промышленности усилило его пессимизм относительно лечения безработицы путем решения проблем британской промышленности со стороны предложения, а не спроса. Скалы невозможно было сдвинуть, их надо было затопить приливной волной процветания.

Освоение Кейнсом реальностей британской деловой жизни сделало более плодотворным его вклад в проводившееся либералами расследование о положении в промышленности. Оно определенно укрепило его в убеждении, что эра частной семейной фирмы кончилась и пришла пора объединений.

Немногое из работы, проделанной в ходе расследования, отражено в сохранившихся бумагах Кейнса. Из них следует, что зимой 1926–27 гг. его комитет провел несколько заседаний в его лондонском доме. На пленарной сессии в Чурте с 8 по 11 апреля 1927 г. двум комитетам, Кейнса и Рамсея Муира, было поручено подготовить к 17 июня полный проект доклада, и «подправка и подкраска» «либеральной болтовни» продолжались на всем протяжении 1927 г. Еще четыре уикенда в Чурте — 24–26 июня, 17–19 сентября, 28–30 октября и 9–11 декабря — были

отданы тому, чтобы выковать окончательную форму доклада, причем Ллойд Джордж предоставил членам комитетов целую флотилию *даймлеров*, доставлявших их на заседания и развозивших по домам. Наконец дело было сделано. В начале февраля 1928 г. появилось изданное в желтых обложках *«Промышленное будущее Британии»*. «[Оно] получило весьма неважные отклики в печати, — писал Кейнс Лидии 5 февраля, — но, осмелюсь заметить, оно того заслуживает. Многозначность, и когда нечего, и когда есть что сказать, с повторяемым время от времени припевом «Либералы, либералы, все мы — галантные и добросердечные либералы». Он был бы намного лучше, став вдвое короче и допуская всплески чувств, только когда говорится о новом, интересном и важном».

Кейнс был прав: доклад читается тяжело. «Сколько человек, — ставится вопрос на стр. 78, — имеют ясное представление об уставе Управления столичным водоснабжением?» И далее следует подробный рассказ об этом Управлении. Доклад населяет мир средствами, но не целями. Тем не менее в нем затронуты центральные политические проблемы дня: роль государства в экономике (хотя, конечно, без ссылки на появившуюся позже кейнсианскую теорию управления спросом) и классовое примирение в промышленности. И в связи с обеими этими проблемами сделана попытка наметить *Средний путь* между индивидуализмом и государственным социализмом.

В конце апреля 1927 г. Кейнс подготовил проект записки о *«Финансовой и промышленной структуре государства»*, в основу которой легло его январское выступление перед кандидатами от Либеральной партии. Записка замышлялась как набросок общей структуры всего доклада. Мало что оттуда попало в его окончательную версию. Но проект записки — это самое сжатое выражение общей позиции Кейнса того времени, хотя и скроенной, несомненно, применительно к потребностям партии. Его главная тема — контраст между существовавшим в девятнадцатом столетии миром маленьких частных

фирм, работавших в условиях непрерывно расширявшейся экономики, и миром двадцатого века с его акционерными компаниями, управляемыми наемными менеджерами при номинальном контроле анонимных, неосведомленных акционеров, в условиях крупномасштабных структурных сдвигов. Тенденция к картелированию, слиянию компаний и образованию монополий порождается не только техническими условиями производства и финансовыми преимуществами крупномасштабной промышленности при получении денег на фондовой бирже, но и угрозой образования избыточных мощностей. Приспособление стало и более необходимой, и более трудной задачей. Таким образом, картина общества, рисуемая теоретиками индивидуализма, больше «не соответствует фактам, взятым в их совокупности». Огромные масштабы организаций бизнеса, наемные менеджеры и распыление собственности должны восприниматься как продукты естественного развития, содержащие элементы как эффективности, так и неэффективности. Права и устройство центральных институтов государства должны быть приспособлены к «фактическому положению вещей».

Далее Кейнс предлагал перечень «различных типов социализированных, полусоциализированных и других регулируемых государством предприятий»; он утверждал, что они управляют двумя третями всего капитала страны; говорил, что «развитие» имеет тенденцию к преобразованию частных компаний в общественные или полуофициальные управления с капиталом в форме облигаций, приносящих фиксированный процент, а не акций; и доказывал, что к таким управлениям должен переходить контроль над все возрастающей частью промышленности и нет никакой причины предполагать, что они будут менее эффективны, чем управления больших частных компаний, и что «выбор между государственным управлением и частной компанией сводится к вопросу, который решается ненамного труднее, чем вопрос назначения директоров»²¹.

Этот проект вызвал резкую критику со стороны банкира Роберта Брэнда, либерализм которого был явно правее кейнсовского. (Он написал брошюру *‘Почему я не социалист’* и выпустил ее в 1925 г. в порядке защиты прибыли как вознаграждения за риск; он также настаивал, что государственные предприятия навлекут на общество огромные потери, потому что они защищены от крахов, которые наказывают частные предприятия за некомпетентность.) Брэнд доказывал, что представление, будто две трети крупной промышленности больше не управляются частным капиталом, определенно вводит в заблуждение. Кроме коммунальных служб, ни одно производство или коммерческое предприятие в списке Кейнса не появились.

Я, конечно, твердо держусь того мнения, что мир является в основном «рискованным» и небезопасным местом и таковым будет оставаться всегда... я предпочитаю, чтобы потери, вытекающие из рисков, свойственных почти каждой сфере жизни, были глазу открыты... а не оказывались скрытыми, как это происходит там, где государственные или полугосударственные корпорации имеют возможность покрывать их обращением к тарифам и налогам...²²

Поднимаемые здесь проблемы раскалывают либерализм как раз пополам. Кейнс гораздо меньше расположен идти на социальные риски, чем Брэнд. Это сопрягалось с различием в суждениях о связи между эффективностью и прибылью. Брэнд подходил к проблемам промышленности со стороны бизнеса и делания денег. «Знание реальной жизни» — писал он в брошюре *‘Почему я не социалист’* — говорит о том, что суды эффективности, контрольного учета и профессиональной чести, вроде предложенных Веббами, ни в коем случае не могут заменить суда прибыли. Кейнс смотрел на те же проблемы со стороны академической жизни, администрации, коммунального обслуживания. Необходимость прибыли как шпоры, понукающей к усилию, писал он в своем проекте, очень преувеличено.

«Никогда даже не предполагалась такая необходимость в отношении... солдата, государственного деятеля, государственного служащего, преподавателя, ученого, технического эксперта». И что истинно для этой группы, истинно в отношении большинства людей: «Некоторый заработок, плюс надежда на продвижение по службе или премию, — вот что, как правило, предпочитает человечество»²³. Таким образом, получение стабильности ценой уступок в эффективности может оказаться сделкой более выгодной, чем предполагает Брэнд. Возможно, Кейнс уже начинал идеализировать период своей юности, проведенный в Управлении по делам Индии: тогда он жаловался на «правление недоумков».

Возражения Брэнда перевесили. Большинство спекуляций Кейнса по поводу тенденций эволюции из Книги II было изъято; зато был вставлен сильный раздел о достоинствах индивидуализма²⁴; предложение сделать государственный концерн обычной организационной единицей промышленности было опущено; предложения о реорганизации структур бизнеса в значительной степени сведены к тому, чтобы придать «больше живости и эффективности» различным существующим формам государственных предприятий²⁵.

Однако в разделе, за который отвечал Кейнс, есть еще одна типичная для него тема. В докладе *‘Промышленное будущее Британии’* предлагалось, чтобы инвестиционные фонды государственных предприятий — сформированные из заемных средств или (как в случае дорожного фонда) образованные за счет налогов — должны быть объединены и выделены в отдельный бюджет, управляемый соответствующим национальным инвестиционным институтом. По оценке Кейнса, под его влиянием или управлением будут расходоваться 100 миллионов фунтов в год, или пятая часть ежегодных национальных сбережений, которые пойдут на финансирование «новых капиталовложений всех центральных, местных или специализированных государственных органов»²⁶. Кроме того, государство

должно выпустить национальные инвестиционные облигации, чтобы привлечь средства для вложений в обновление производственных мощностей, для замены оборудования, висящего на промышленности мертвым грузом.

Несколько типично кейнсовских штрихов оживляют книги II и V, за которые он главным образом и отвечал. Невежество, провозглашалось в главе 11, есть корень «основных сегодняшних политических и социальных зол». «Как может экономическая наука стать истинной наукой, способной, возможно, принести людям столько же пользы, сколько все другие науки, вместе взятые, если экономисту, в отличие от других ученых, приходится добывать материал для своих исследований, лишь строя догадки о том, что происходит на практике?» И вывод: «Национализация знания — тот случай национализации, когда она является всезатмевающей справедливостью»²⁷. В одной поразительной фразе процесс переоценки валюты был уподоблен «некогда модной лечебной практике «кровопускания»... всякий раз, когда к ней прибегают, [это] неизменно сопровождается серьезным упадком торговли»²⁸. Английскому банку надлежит быть более ответственным и менее скрытным в своих действиях²⁹; система национальных счетов должна быть преобразована таким образом, чтобы проводились различия между счетом основного капитала и текущим счетом и между национальными и местными налогами и расходами. Интересным было предложение выделять или особо составлять бюджет социальных услуг³⁰. Кейнс провидчески обобщил значение доклада: «Он может... оказать большое влияние на будущие политические программы, независимо от того, будет ли существовать Либеральная партия, чтобы воплощать их в жизнь»³¹.

XXV

Загадка сбережений?

1. Высиживание снесенного Деннисом яйца

В политике и экономической политике Кейнс наиболее близко сотрудничал с Хьюбертом Гендерсоном; в экономической теории его главным партнером был Деннис Холм Робертсон. Почти невозможно сказать, какие из идей, родившихся у них с 1913 по 1930 г., принадлежали Кейнсу, а какие Робертсону. Они начали бросать друг другу теоретические вызовы в 1912 и 1913 гг., когда Робертсон писал свою диссертацию о деловых циклах. Открыто расходиться во взглядах они стали впервые только в 1931 г. Кембриджу с его «страстью к истине» надо поставить в заслугу то, что они так долго работали вместе, несмотря на большое различие в их методах и характерах; и даже при том, что в 1930-х они порвали друг с другом, во время Второй мировой войны частично примирились.

Большое уважение к способностям Робертсона подкреплялось у Кейнса личной привязанностью. В их опыте и воспитании было много общего: оба овладевали науками в Итоне, хотя для Робертсона это были предметы классики и никакой математики; оба были учениками Маршалла и Пигу в Кембридже; оба имели художественные наклонности; оба были превосходными стилистами и обоим было присуще викторианское чувство долга. Но Кейнс в гораздо большей степени был игроком — в частной жизни, как и в идеях, — и натурой более творческой.

Перед войной Робертсон сделал в Кембридже блестящую студенческую карьеру и потом прекрасно показал себя на войне, что и было отмечено заслуженной наградой — Военным крестом. Его книги, *‘Очерк колебаний промышленного производства’* (1915 г.), *‘Деньги’* (1922 г.) и *‘Управление промышленностью’* (1923 г.) — последние две по желанию Кейнса писались как выпуски в серии кембриджских экономических справочников — обеспечили ему к началу 1920-х положение одного из ведущих экономистов Кембриджа. Однако под мантией блестящих успехов скрывался человек одинокий, уязвимый, склонный к самоедству, чей придирчивый ум и стремление к благочестию больше предрасполагали его к критике чужих идей, чем к новаторскому производству собственных. Он жаждал любви молодых людей, особенно Дэди Райлэндса из Королевского колледжа, но не умел ее добиваться. Хотя в 1925 г. ему было только тридцать пять, он выглядел много старше, с куполообразной, лысой головой, которая «втягивалась и выступала из плеч, как у черепахи»¹. Он был прекрасным актером-любителем, с особым успехом исполнявшим роли хитрых или придурковатых стариков. Он был игрив, как кошка. Каждая глава его *‘Денег’* открывалась цитатой из *‘Алисы в стране чудес’*; вопрос о том, что такое деньги, обсуждал у него с любознательным собеседником некий *Брэдбери*; личный счет в банке, с которого человек получает деньги, выписывая чек, Робертсон называл *‘чекатней’* (*‘chequery’*) по аналогии, например, с голубятней, «потому что это место, откуда чеки вылетают и куда они возвращаются». Но юмор Робертсона бывал и язвительным. Упакованная в литературные намеки, языковые изыски и неологизмы, его экономическая мысль сильно смахивала на таинственный сад — зовущий, но в себя не впускающий. Как выразился Джон Вэйзи, он мог «легко понравиться, но с ним трудно было долго иметь дело»².

Ум Робертсона проявлялся столь странно и эксцентрично, его личность была такой замкнутой, что возникает соблазн связать характер его экономических писаний с

особенностями его собственного характера. Гордон Флетчер смело на это пошел. На взгляд Флетчера, присутствующая в характере Робертсона напряженность между его «я желаемым» и «я долженствующим» придала его экономической мысли вид недостроенного дома — «частично нового здания, а частично груды руин». Первое шло от его живого интеллекта, второе — «от присущей его характеру потребности удерживать связь с корнями»³. Мысль здесь та, что чувство личной незащищенности заставляло Робертсона цепляться за классическую экономическую теорию, которая абстрагировалась от сложностей реальной жизни и служила ему некой заменой религии. Именно поэтому он мог делать добавки к основам классического учения, доводя дело до логической нелепости, но не решался пойти на их уничтожение.

Хотя Кейнс и Робертсон интеллектуально стимулировали друг друга, сразу можно было заметить различие в их подходах к исследуемым проблемам, и это различие должно было с годами увеличиваться. Начиная со своей первой книги Робертсон ставил краткосрочные проблемы стабилизации в контекст обеспечения долговременного экономического роста, тогда как Кейнс был равнодушен к далеким перспективам, что и выразил своими известными словами: «В долгосрочной перспективе все мы покойники». Робертсон полагал, что колебания в промышленности неотделимы от использования основного капитала, который, в свою очередь, неотделим от экономического прогресса: «Из хаоса перемен в промышленности рождаются великие будущие богатства»⁴. Кейнс не соглашался: его целью было не допускать колебаний, целью Робертсона — их ограничивать. Робертсон был лучше, чем Кейнс, расположен к этике капиталистического накопления, разделял с Маршаллом мнение о его жертвенности — и поэтому альтруистичности; в отличие от Кейнса, который, как мы видели, презирал и высмеивал то, что он называл «любовью к деньгам». Хотя до войны Робертсон переживал, что люди бездумно жертвуют слишком многим ради экономического

роста, в изменившихся послевоенных условиях его стало беспокоить, что люди не будут делать сбережений, достаточных для инвестирования капитала. Кейнс, в отличие от этого, тревожился, что они не будут делать достаточных капиталовложений, то есть расходовать то, что аскетическая пуританская психология приучила сберегать.

В своем *‘Очерке колебаний промышленного производства’* Робертсон следовал «реальной» (в противоположность монетарной) теории делового цикла. Восходящую фазу открывают новые инвестиционные возможности, такие как создаваемые изобретениями. Однако состязание между предпринимательством и длительностью периода созревания основного капитала умножает возможности просчета, и ведет к тому, что инвестиции превышают уровень их рентабельности и это неизбежно кончается крахом. Под сверхинвестициями Робертсон, стало быть, понимал лишь то, что на стадии подъема вкладывается больше капитала, чем допустимо с точки зрения обеспечения прибыли всем инвесторам, и это ведет к сокращению спроса на средства производства: именно снижение предельной полезности средств производства относительно потребительских товаров и вызывает крах.

Кейнс отверг основное заключение Робертсона, что объем капиталовложений может обычно превышать уровень их выгодности. Его гораздо больше заинтересовал вторичный тезис Робертсона, что инвестиции могут быть чрезмерно большими относительно имеющегося объема сбережений, и именно эту нить они вместе тянули и распутывали в 1920-х. Стимул дал француз Марсель Лабордер, блестящий экономист-любитель, с которым Кейнс познакомился в 1911 г. К философствованию насчет причин финансового кризиса Лабордера привело его собственное разорение во время великого биржевого краха 1907 г. Результатом стали три блестящих, наводящих на размышления притчи в духе Ксенофана. Он пришел к заключению, что деловой цикл является следствием относительно избыточных (относительно имеющихся сбере-

жений) инвестиций. Введя деньги в свою третью, более реалистичную притчу, Лабордер поделил инвестиционный фонд на *capitaux réels* (реальный капитал) и *capitaux apparents* (мнимый капитал) — последний представляет собой банковский кредит. Этот дополнительный источник средств может какое-то время поддерживать бег инвестиций с опережением «реальных» сбережений, пока повышение процентных ставок не вызывает крах⁵. Кейнс был научным руководителем Робертсона, передал ему эти мысли, и тот идею о «сверхинвестициях относительно сбережений» как о возможной причине кризиса включил в свою диссертацию на тему о колебаниях в промышленном производстве. Идеи Лабордера, своим чередом, легли в основу выступления Кейнса в декабре 1913 г. перед *Кубом политической экономики*; его тема была: *‘В какой мере банкиры несут ответственность за чередование кризиса и депрессии?’* (См. выше стр. 132, гл. 9.) То была его первая попытка объединить монетарную теорию и соотношение инвестиций\сбережения в анализе, объясняющем перепады делового цикла. Но тогда это не получило развития, и он возвратился к теме лишь после окончания работы над *‘Трактатом о денежной реформе’*.

В своем учебнике *‘Деньги’* (1922 г.) Робертсон, следуя за Кейнсом образца 1913 г., четко указывал на банковский кредит как на источник заемных средств для инвестиций. Образование кредитных средств повышает цены для потребителя. Все те, кто не может увеличивать свои денежные доходы в соответствии с инфляцией (до некоторой степени это получатели заработной платы, но особенно держатели облигаций, или «старые вдовы»), «принуждаются», из-за необходимости сократить свое потребление, «оплачивать» возросшие расходы предпринимателей или правительства. Понятие «принудительного сбережения», восходящее к Джоплину и Бентаму, возвратилось в экономическую литературу как следствие размышлений о том, каким образом правительства финансировали свои траты военного времени. В *‘Трактате о денежной реформе’*

ме' (в главе об «инфляции налогов») Кейнс показывает, как инфляция позволяет правительству делать траты, от которых частным домашним хозяйствам приходится воздерживаться. Чтобы обойти «инфляционный налог», Кейнс предлагал Английскому банку поддерживать стабильность цен. Он отрицал способность инфляции создавать дополнительные ресурсы для инвестиций: она может только перераспределять средства между различными частями общества. Робертсон, с другой стороны, полагал, что инфляция открывает для предпринимателей важный источник заемных средств для новых вложений в основной капитал. Его '*Банковская политика*' и '*Уровень цен*' (1926 г.) были задуманы как критический анализ требуемого Кейнсом упора на предотвращение любых колебаний в уровне цен. «Я не уверен, — писал Робертсон, — что политика поддержания стабильности цен, производства и занятости, которая в корне пресекла английский железнодорожный бум сороковых, или американский железнодорожный бум 1869–71 гг., или германский электрический бум девяностых, способна в конечном счете оказаться выгодной для населения соответствующих стран».⁶

Более года в период 1924–25 гг. Кейнс был увлечен тем, что он называл «высиживанием снесенного Деннисом яйца», и их споры вращались в основном вокруг вопроса о том, может ли инфляция быть дополнительным источником сбережений. Кейнс отвергал способность инфляции *автоматически* увеличивать сбережения или, как их называл Робертсон, «недостающие средства». Инфляция может творить новые «недостающие средства», только склоняя общество в целом сберегать большую, чем прежде, долю его денежных доходов. Позднее он пришел к выводу, что образующиеся любым вынужденным путем «недостающие средства» (принудительное сбережение) являются «слишком сомнительным источником дополнительных сбережений, чтобы уделять ему особое внимание»⁷. В своей книге Робертсон благодарил Кейнса за то, что тот указал на существование вынужденных «недостающих средств», отрицая,

что это единственный создаваемый инфляцией источник дополнительных инвестиционных средств⁸.

Однако в этот период его жизни общение Кейнса с Робертсоном сыграло критически важную роль в развитии его собственных идей. По сравнению с *‘Трактатом о денежной реформе’*, объяснение колебаний в ценах и производстве переместилось у Кейнса с перемен в количестве денег к нарушениям в соотношении сбережений и инвестиций. Но самая трудная часть работы была еще впереди. Позже он должен был сообщить Робертсону: «Я, конечно же, отношу начало всего моего раскрепощения к дискуссиям между нами, которые предшествовали вашим *‘Банковской политике’* и *‘Уровню цен’*»⁹. Задним числом можно видеть, что отклонение Кейнсом робертсоновской доктрины «принудительного сбережения» было крайне ошибочным решением. В 1931 г. он объяснял Робертсону:

Когда вы работали над вашими *‘Банковской политикой’* и *‘Уровнем цен’* и мы их обсуждали, мы оба полагали, что неравенства между сбережениями и инвестициями — если использовать эти термины, допуская ту степень неопределенности, с которой мы их понимали в то время, — возникают только из-за того, что можно было называть актами инфляции или дефляции со стороны банковской системы. Я работал на этой основе в течение немалого времени, и в конце концов пришел к выводу, что так дело не пойдет. Получив то, что было, по моему мнению, более четкими определениями сбережения и инвестиции, я установил, что существенные явления могли возникать без какого бы то ни было явного действия банковской системы¹⁰.

2. Пишется трактат

В воскресенье 30 ноября 1924 г. Кейнс написал Лидии из Кембриджа: «Я начал новую книгу! — начал сегодня и уже написал одну страницу. Вот — первое предложение: *‘Я начинаю эту книгу, строя ее не в логическом порядке, а в таком, чтобы как можно скорее представить читателю наи-*

более существенное из того, что я должен сказать'». Ах, если бы только он придерживался этого намерения! Ранние наброски оглавления показывают, что намерение Кейнса состояло в том, чтобы приложить теорию денег к изучению «кредитного цикла» с практической целью разработать оптимальную банковскую политику. Если колебания банковских ссуд вокруг доступного объема «реального кредита» вызывают и инфляцию, и дефляцию, и бум, и резкий спад, политика центрального банка, направленная на стабилизацию кредита, позволила бы избежать одновременно всех негативных проявлений цикла. Здесь мы можем видеть, почему Кейнс с такой неохотой отказывался от количественной теории: ее можно было использовать и для объяснения, и для лечения болезней макроэкономики.

Поезд, двинувшийся, таким образом, в 1924 г., не менял пути движения в течение более чем трех лет: просто состав стал длиннее и заполнился пассажирами. В отличие от *'Общей теории'*, *'Трактат о деньгах'* создавался в одиночестве и не распространялся для замечаний, пока не достиг того состояния, когда уже слишком поздно было что-либо в нем менять. Робертсон начиная с 1926–27 гг. отсутствовал почти целый год — отчасти в стремлении избежать удушающих объятий Кейнса. Ральф Готри в 1928–29 гг. находился в Гарварде. Критика, которую он представил по возвращении, имела фундаментальный характер, но поступила слишком поздно, чтобы Кейнс мог ее использовать. От «профа» (Пигу) не было никакой помощи. В любом случае он очень не любил обсуждать экономическую теорию, а с 1928 г. у него появились серьезные неприятности с сердцем. Его книгу о колебаниях в промышленном производстве (1927 г.) Кейнс счел «довольно жалкой — возможно, миссис Маршалл права, когда говорит, что ему следовало жениться: его ум мертв, он только выстраивает в логическом порядке все то, что знал прежде»¹¹. Важнее всего было вот что: Кейнс читал лекции, используя сменявшие друг друга черновые наброски книги, но среди его аспирантов не было ни одного, который был бы способен или хотел поучаствовать вме-

сте с ним в выяснении поднимаемых им вопросов. Резкий контраст этому составит мощная группа поддержки, которая будет потом помогать рождению '*Общей теории*'.

В феврале 1925 г. Кейнс начал со второй главы и периодически работал над нею до апреля. Однако в целом за 1925 г. сделано было немного, и только в апреле 1926 г. он вернулся к работе, осев в своем новом кабинете в Тилтоне. К концу августа он вчерне написал приблизительно 55 тысяч слов Книги I, озаглавленной '*Теория денег*'. Сюда входило теперь «основополагающее уравнение цены», вместе с «вариантностью ее составляющих» (хотя черновики наводят на мысль, что это было еще старое количественное уравнение Фишера). К 31 августа появились «множественность ценовых уровней» и проблемы расчета индексов (о которых он вел речь в своем эссе, представленном на премию Адама Смита в 1909 г.), равно как и глава о '*modus operandi* банковской учетной ставки'. К 12 сентября он, по всей видимости, начал работу над Книгой II, '*Теория кредита*'. Он достаточно продвинулся, чтобы написать Дэниелу Макмиллану 22 сентября: «Я сейчас тружусь над серьезным трактатом под названием '*Теория денег и кредита*' с расчетом на издание через год или немного позже». На этой стадии все, что было у Кейнса в замысле, укладывалось в два раздела — *Деньги* и *Кредит* — и девятнадцать глав общим объемом от 100 до 120 тысяч слов¹². Датированная 28 сентября 1926 г. запись в бухгалтерской книге фирмы *Р. и Р. Кларк*, хозяина его эдинбургской типографии, гласит: «Исходя из 120000 слов и считая по 300 слов на страницу, объем составит приблизительно 400 стр...»

За письменный стол Кейнс снова сел в Кембридже 21 января 1927 г. В пятницу, 28 января, он рассчитывал на три спокойных дня для работы: «У счастливой страны не бывает никакой истории», — и повторно составил проект одной из глав. Он съездил в Тилтон, чтобы забрать кое-какие другие наброски, но забыл их захватить. 27 мая он «успешно переписывал один кусок, беспокоивший меня в Тилтоне». Работа продолжалась все лето 1927 г. Кейнс от-

бился от супругов Курто, приглашавших присоединиться к ним в Греции. (Лидия, как она написала Мейнарду, сказала Сэму, что «если уж ты зажегся своей книгой, никому не удастся тебя от нее оторвать».) Три оглавления, составленные в это время, указывают на тревожную тенденцию разбухания книги (теперь переименованную в *‘Трактат о деньгах’*). Дело дошло уже до пяти «книг» (или разделов) и двадцати шести глав. Кейнс, похоже, стремился к закругленности, достойной полновесного трактата, скорее чем к тому, чтобы выплеснуть на читателя только новое и наиболее важное. Задним числом решение расширить книгу и превратить ее в трактат может быть сочтено ошибкой. Слишком большая часть его интеллектуального капитала оказалась инвестированной в неподвижное сооружение как раз тогда, когда обстоятельства и его собственные идеи отличались исключительной переменчивостью.

18 января 1928 г. Кейнс сообщил о получении большого пакета с гранками из эдинбургской типографии Кларка. Но тут произошел большой сбой. В апреле 1927 г. Деннис Робертсон возвратился из поездки по Азии; он выглядел «средне — весьма постаревшим, очень лысым, так что кости черепа выпирают больше, чем прежде... очень похож на китайца»¹³. Главным следствием возвращения Робертсона было то, что Кейнсу пришлось отказываться от своего представления, будто единственной целью денежной политики должна быть стабилизация уровня цен. Ибо повышение этого уровня могло потребоваться, чтобы повернуть вспять предшествовавшую «дефляцию прибыли». Важный дополнительный толчок, направивший мысль в эту сторону, дал Реджинальд Маккенна. 2 ноября 1928 г. Кейнс рецензировал сборник его выступлений на ежегодных собраниях акционеров Мидлэнд-банка, председателем правления которого он был¹⁴. Центральным тезисом Маккенны было то, что политика ограничения кредита с целью избежать инфляции в условиях, когда имеются большие неиспользуемые ресурсы, равнозначна политике «непрерывной дефляции»¹⁵. Правильным критерием для

банковской политики должен быть, иными словами, учет ее соответствия условиям различных стадий цикла, а не только ситуации полной занятости.

Новая линия размышлений Кейнса содержится в черновике '*Трактата*', относящемся, судя по всему, к осени — зиме 1928 г.:

Тем не менее должно быть признано, что приверженцы стабильности цен, к коим себя причисляю, в прошлом допустили ошибку, употребляя выражения, которые, по-видимому, указывали на стабильность цен как на единственную цель денежной политики, исключая тем самым приспособление выдаваемых банками кредитов к спросу на них делового мира — или, по крайней мере, как на цель, достижение которой непременно повлечет за собой одновременное достижение и всех других связанных с этим целей. Говорить или писать таким образом, значит, неправомерно упрощать проблему, оставляя без внимания двойственный характер функций банковской системы [т.е. достижение и стабильности цен, и равновесия между сбережениями и инвестициями]... Поэтому острая и глубокая критика г-на Д.Х. Робертсона (в его '*Банковской политике и уровне цен*'), подчеркивая другую сторону проблемы, была рассчитана на то, чтобы оказать самое оздоравливающее воздействие на современную мысль (в моем случае так и произошло). С другой стороны, в этой своей книге г-н Робертсон... как мне представляется, не ставит проблему достаточно четко как проблему согласования целей — и, при необходимости, компромисса¹⁶.

Своему американскому издателю, Альфреду Харкурту, Кейнс писал 26 сентября 1928 г.: «Все это лето я посвятил своему *Трактату о деньгах*, завершая таким образом четырехлетнюю над ним работу... должен сказать, что четыре пятых теперь полностью закончено. Я надеюсь, что закончу книгу к Пасхе [1929 г.] и что она может быть издана в этой стране где-то в мае»¹⁷.

10 декабря 1928 г. Кейнс все еще думал, что разумно ждать появления '*Трактата*' в «первой половине 1929 г.» в виде однотомника, вмещающего в себя пять книг¹⁸. 18 февраля 1929 г. он уже отодвинул издание до 1 октября. Но и

этот осенний план также был оставлен. Книга снова была выбита из графика, на сей раз интеллектуальными спорами, развернувшимися вокруг всеобщих выборов в мае 1929 г. «Мне стыдно сказать, — писал Кейнс Дэниелу Макмиллану 20 августа, — что, прочитав более 440 страниц верстки, я вынужден был прийти к выводу, что некоторые главы следует решительно переписать, а все в целом очень значительно перестроить». Январь 1930 г. был намечен новым сроком выхода книги, а самой ей предстояло стать двухтомником.

3. Лики Кейнса

Подобно большинству авторов, Кейнс без конца жаловался на перерывы в работе, возникавшие по причинам, которые сам же и создавал. Помимо постоянных его обязательств в Кембридже и Лондоне, было то, что издатели его *Собрания сочинений* называют «деятельностью», — в этот период представленную в объеме нескольких сотен страниц. Золото и Россия поглощали его время и энергию в 1925 г. Большая часть 1926 и 1927 гг. ушли на работу в Либеральной партии и текстильной промышленности. Была бесконечная череда одноразовых событий. При всем его умении работать собранно и производительно, не приходится удивляться, что он терял нить своих идей, бросал нечитанными целые главы, которые месяцами лежали в Тилтоне без движения. К концу 1928 г. жалобы на усталость повторяются все более настойчиво. Эти обстоятельства, равным образом как и менявшийся ход его мыслей объясняют, почему различные части *'Трактата'*, или стадии его создания, так плохо сопрягаются между собой.

В феврале 1927 г. Кейнс расстался наконец с «китайской пыткой» университетского Совета, по по-прежнему был глубоко втянут в осуществление строительной программы колледжа. Годичный *Ужин ревизоров* 1927 г. предоставил ему, как первому казначею, возможность проверить одну из его любимых теорий:

Наиболее интересной частью [писал он Лидии 18 ноября 1927 г.], были переговоры с фермером, который в течение 7 лет пребывал в жестокой ссоре с Колледжем. Я никогда не видел его прежде, но меня убедили, что у него невыносимый характер. Однако вчера вечером он пришел на ужин, и как только я глянул на его руки, сразу понял, что все это полнейшее заблуждение — что он очень хороший, абсолютно честный и способный человек и что единственная его беда — это бурный характер, который мы как-то умудрились пробудить. Так что я повел себя с ним так, как если бы он был совершенно разумным и милым, так что в итоге мы полностью утрясли дело... Руки! Руки! Руки! Ни на что другое не стоит смотреть. За 10 секунд я полностью пересмотрел свое представление о его характере.

Пока *'Трактат'* блуждал на своем весьма одиноком пути, кембриджская экономическая мысль приходила в себя. То был канун большого кембриджского раскола 1930-х. Молодая когорта экономистов, которой предстояло сыграть центральную роль в кейнсианской истории, выходила на боевые позиции. Среди загорававшихся звезд были Джоан Морис и Остин Робинсон, ставшие семейной парой в 1926 г. и вернувшиеся в Кембридж в конце 1928 г. после некоторого времени, проведенного в Индии. В академической среде Остин Робинсон был больше политиком и администратором, чем теоретиком, но его жена Джоан, вошедшая в преподавательский состав в 1931 г., была женщиной выдающихся умственных способностей, яркой индивидуальности и самостоятельных взглядов — той, к кому определение «синий чулок» применимо в его лучшем смысле. С фотографий смотрит серьезная молодая женщина с напряженным, вопрошающим взглядом. Она внесла в экономические исследования «экстраординарную способность проникать в самую сердцевину проблемы и в немногих хорошо подобранных словах передавать ее суть. Она имела раздражающую склонность отмечать как ерунду любые идеи, с которыми не была согласна». В 1930-х ей предстояло быть глубоко вовлеченной в кейнсианскую революцию, которую она потом

пыталась обобщить в виде теории долговременной занятости¹⁹.

У Кейнса и прежде бывали хорошие студенты, занимавшиеся экономической теорией, но Ричард Фердинанд Кан был первым, кто проявил и способности, и желание помогать ему в его собственной работе. Преподавателем Кана был Джеральд Шоув, а каждые две недели в субботу с ним и тремя другими студентами проводил контрольные занятия Кейнс. «Я по-настоящему дрожал, когда входил к Кейнсу в его кабинет в колледже на первое мое контрольное занятие...» — вспоминал Кан. 29 апреля 1928 г. Кейнс писал Лидии: «Вчера мой любимый ученик Кан дал мне один из лучших ответов, которые я когда-либо получал от ученика, — быть ему среди первых».

Когда двадцатидвухлетний Кан впервые встретился с Кейнсом, он был небольшим, серьезным, довольно красивым молодым человеком, с кипой толстых, черных волос. Говорил он с видом спокойной уверенности, которая странным образом расходилась с его чрезвычайным беспокойством насчет своего здоровья — пожизненной навязчивой идеей. Родом из Германии, он всю жизнь оставался ортодоксальным иудеем, верным более букве, чем духу своей веры: он заставлял *джипа* (служащего колледжа) вскрывать его письма по субботам, когда самому ему делать это не позволяла религия. Кейнс, который никогда не мог устоять перед соблазном награждать людей прозвищами, в его случае остановился на «Маленьком раввине». Для друзей-сверстников он был Фердинандом, что казалось как-то более подходящим, чем Ричард. Он был гораздо лучшим математиком, чем большинство в окружении Кейнса; по его воспоминанию, в 1927 г. сам Кейнс в математике был слаб; его способность думать математически должна была стать для Кейнса критически важным подспорьем в начале 1930-х. Его ум поражал дотошностью, и он не жалел себя, помогая своим друзьям. Общение с Кейнсом послужило прототипом других важных отношений, складывавшихся в его жизни, особенно с Джоан Ро-

бинсои. Он был скромным мальчиком за кулисами, скорее чем звездой сцены; превосходным слушателем, с твердым ядром аналитических способностей.

Кан, как и следовало ожидать, вышел первым на экзаменах и остался в Королевском колледже, чтобы участвовать в конкурсе на членство в ученом сообществе. Он погрузился в анализ завещанной Маршаллом теории экономики в ее краткосрочном измерении. Это втянуло его в другую область критики Маршалла, открывшуюся тогда в Кембридже под влиянием Пьеро Сраффы. Именно Сраффа нанес рану экономической теории Кембриджа в конце 1920-х. Работу Робертсона *‘Банковская политика и уровень цен’* молодежь в основном считала непонятной. *‘Трактат о деньгах’* Кейнса еще не появился. Идеи Сраффы заполнили образовавшийся пробел. «Сраффа обосновался здесь и ужасно нервничает по поводу своей лекции, — сообщал Кейнс Лидии 9 октября 1927 г. — Он спросил меня вчера, нельзя ли было бы ему внезапно заболеть и убежать». Сраффа впервые представился Кейнсу в Лондоне в декабре 1921 г., когда проводил какие-то исследования в Лондонской школе экономики. Ему было тогда двадцать три, высокий, стройный выпускник юридического факультета Туринского университета, написавший диссертацию об итальянском управлении деньгами во время войны. Хотя в 1926 г. он собирался стать профессором экономики в университете Кальяри, известность его социалистических симпатий и дружбы с коммунистическим лидером Антонио Грамши сделала трудной его жизнь в фашистской Италии. В это время его интеллектуальные интересы, пересеклись с идеями Кейнса, и он перевел на итальянский *‘Трактат о денежной реформе’*. Но Сраффа уже начал работать над проблемами завещанной Рикардо классической теории стоимости — пожизненная навязчивая идея, которая увела его прочь от краткосрочных монетарных проблем, занимавших Кейнса.

После 1924 г. Сраффа начал приезжать в Англию регулярно. Именно его статья *‘Законы рентабельности в*

условиях конкуренции', появившаяся в декабре 1926 г. в 'Экономическом журнале', вызвала в Кембридже так много волнения. Вопрос, который поставил Сраффа, выглядел так: как достигается равновесие в условиях падающих издержек и «несовершенной конкуренции»?

Если идеи Сраффы дали Кембриджу второе (после Маршалла) дыхание²⁰, то ветром, наполнявшим паруса Кейнса оно не стало. Хотя он нашел работу Сраффы «очень интересной и оригинальной»²¹ — и более того, обеспечил ему лекционный курс в университете, а также жилье и стол в Королевском колледже, — он все же был слишком поглощен собственным замыслом, чтобы разглядеть, как эти идеи увязываются с его интересами. Сам Сраффа, похоже, никогда не рассматривал возможной связи «растущей рентабельности» с проблемой безработицы. Кроме того, Кейнс не думал, что поднимаемые Сраффой теоретические проблемы стоимости могут иметь серьезное практическое значение — взгляд, который он распространял на всю работу Сраффы. Любая тенденция к монополии, как он полагал, столкнется с противодействием укоренившихся фирм и будет разрушена. Более полезным он нашел состоявшееся у него 2 марта 1928 г. двухчасовое обсуждение со Сраффой чистой теории кредитного цикла, которое привело к исправлению ряда «небольших ошибок» в его книге. Остается, однако, загадкой, почему эти два пути, выводивших из маршалловой ортодоксии, — тот, что связан со Сраффой и несовершенной конкуренцией, и тот, что указывал Кейнс с его действенным спросом, — никогда при жизни Кейнса не сливались, хотя ведущие кейнсианцы, такие как Кан и Джоан Робинсон, были глубоко вовлечены в обе «революции».

Сраффа постепенно пустил корни в Кембридже и стал одним из лучших друзей Кейнса. Полсубботы «сложиться с Пьеро» по букинистам стало для Кейнса времяпрепровождением, заменявшим конные прогулки с Себастьяном Спроттом или походы за ненужной мебелью. Кейнсу нравилось опекать Сраффу. Он был небрежен в одежде,

приходил в ужас от необходимости читать лекции и шел на самые решительные действия, чтобы уклониться от этого: «Пьеро должен был... завтра читать свою лекцию, — писал Кейнс Лидии 16 января 1929 г. — Он сидел рядом с мной в зале, с воодушевлением разговаривал и потом пришел в профессорскую; здесь он встал из-за стола, вывалил изо рта весь свой обед на ковер, рухнул на пол и лежал в полуобморочном состоянии, почти без пульса; откачали его с помощью бренди — так что завтра никакой лекции он читать не будет! Мне (опять) надо об этом объявлять». Его отвращение к преподаванию стало настолько глубоким, что Кейнс вынужден был изобретать ему множество занятий, чтобы держать его в Кембридже — включая редакционную обработку сочинений Рикардо, которые издавало Королевское экономическое общество. Сраффа увлекался рассказами о Шерлоке Холмсе, и теперь он отыскивал ключи к новым тайникам в сочинениях Рикардо с упорством, которому позавидовал бы великий сыщик. Но чтобы разобраться в деле, ему требовалось гораздо больше времени. В 1933 г. Кейнс лихо обещал, что «предстоящее полное и авторитетное издание работ Давида Рикардо... выйдет до конца текущего года». В действительности первые четыре из одиннадцати томов появились в 1951 г. К 1928 г. Сраффа уже подготовил рукопись тонкой теоретической книжки. Она увидела свет только в 1960 г. под названием *‘Производство товаров товарами’*, и подбросила хворосту в костер известных споров по теории капитала.

Тот, кому понадобилось тридцать два года, чтобы издать восемьдесят семь страниц «прелюдии к критике», явно не вдохновлялся ощущением срочной необходимости своей работы. «Я признаюсь, — говорил Сраффа, — что всякий раз, как я читаю что-нибудь мною написанное, я испытываю такое глубокое отвращение, что не могу противостоять искушению тут же это уничтожить, если только на мне не лежит твердое обязательство представить рукопись»²². За эту невротическую привередливость, как и за тонкость ума, как раз и любил его Кейнс. Неистово пре-

данный своей матери, Сраффа был подбитым орлом, нуждавшимся в защите от недоброго мира.

Год спустя после приезда Сраффы в дверь стал стучаться Божественный Дурак. «Письмо от Людвига, — писал Кейнс Лидии 28 ноября 1928 г. — Он... хочет приехать и пожить со мной здесь пару недель Хватит ли мне сил? Пожалуй, хватит, если до его приезда не буду работать». Витгенштейн оставил учительство в австрийской деревне в 1926 г. и возвратился в Вену, чтобы одержимо строить функциональный дом для своей сестры. Теперь дом был готов, и Витгенштейн снова обратился к философии, чтобы с ее помощью лечить свои головные боли — интеллектуальные и эмоциональные. 17 января 1929 г. Кейнс написал: «Людвиг... приезжает завтра... Молись обо мне!» И на следующий день: «Итак, божество прибыло, я встретил его поезд в 5.15. Он намерен оставаться в Кембридже постоянно». Пока божество насвистывало Баха в гостиной, Кейнс пробрался в свой кабинет, чтобы написать Лидии: «Я чувствую, что усталость будет сокрушительной. Но я не должен позволять ему говорить со мной более двух или трех часов в день». Кейнс сбежал в Лондон на день раньше обычного. По возвращении он застал божество в очень хорошем настроении, потому что власти позволили ему вести исследовательскую работу под руководством Фрэнка Рамсея. (В июне 1929 г. он успешно представил свой *Tractatus* на соискание степени доктора философии.) Причитая, что он «не для того родился, чтобы постоянно жить со священником», Кейнс попросил Витгенштейна покинуть его дом 2 февраля; Витгенштейна взяли на постой Рамсей и его жена, затем Морис Добб, но не прежде, чем Кейнс подхватил от него дикий насморк, на десять дней оторвавший его от университета.

О чем они говорили в течение двух или трех часов в день — или, скорее, о чем вел разговор Витгенштейн, поскольку он не любил, чтобы прерывали его монологи? Многое в их беседах должно было относиться к философии. Интерес Кейнса к философии поддерживался семи-

пудовым присутствием в Королевском колледже Рамсея, за которым при таком весе трудно было признать его возраст (всего-то двадцать пять), так же как и Ричардом Брэйтвэйтом. Рамсей, Брэйтвэйт и Витгенштейн отклонили центральное утверждение '*Трактата*' Кейнса о том, что вероятность — это логическое отношение. Интеллектуальное течение времени — и здесь нужно упомянуть подавляющее в нем влияние Фрейда — упорно поворачивалось против довоенного рационализма поколения Кейнса. Сам Рамсей отправился в Вену и подверг себя лечению методами психоанализа с надеждой излечиться от приводившей его в смятение страсти к замужним женщинам; что разумно, говорил он, то действует. Для Витгенштейна философия была своего рода безумием по вдохновению. Упоминают о завтраке, во время которого Рамсей, Витгенштейн и Сраффа обсуждали с Кейнсом проблему вероятности. Трудно предположить, чтобы общение с самыми мощными философскими умами его времени не выбивало Кейнса из удобной довоенной колеи определенности, которая, конечно же, смыкалась с верой в «автоматизм» прогресса. Как можно было теперь уверенно исходить из того, что люди в своем поведении руководствуются разумом? Или в случае, если они даже пытаются это делать, из того, будто логическая интуиция способна сообщить им, какое именно поведение или какое убеждение разумны?

Исследования, результатом которых стало расщепление ядра, уже разворачивались в Кембридже, в Кавендишской лаборатории, подчеркивая контраст между слабостью философии и мощью экспериментальной науки. Кейнс был знаком, хотя и не близко, с блестящим молодым русским физиком-ядерщиком Петром Капицей и проницательно предсказывал, что он вернется в Советский Союз, «потому что он — дикое, лишенное интересов, тщеславное и совершенно нецивилизованное существо, вполне по своей природе готовое, чтобы быть в числе *больших*»²³. Одержимость мощью науки привела в конце

1920-х к образованию в Кембридже первой коммунистической «ячейки». В нее вошли главным образом молодые ученые, которые ничего не знали о политике, но видели в марксизме впервые появившуюся истинную «общественную науку», в сталинской России — первую экспериментальную лабораторию для ее испытания на практике²⁴. Главным связующим звеном между кругом Кейнса и марксистскими учеными круга Капицы и кристаллографа Дж.Д. Бернала был Алистер Уотсон, «очень умный математик», впоследствии физик, пришедший в Тринити из Винчестер-колледжа в 1926 г.²⁵ Уотсон стал ведущим *Апостолом* в конце 1920-х; Энтони Блант, тоже представлявший Тринити-колледж, принял свой марксизм от Уотсона; он был «рожден» в Обществе в мае 1928 г. Оба оставались в Кембридже в 1930-х.

Кейнс никогда ни в малейшей степени не подпадал под влияние Маркса, но он тоже был заражен духом смелости, готовностью к экспериментам в социально-экономической политике. Об этом говорит и его переключение с Асквита па Ллойд Джорджа — уход от человека уравновешенной мысли к человеку власти. Все следует подвергать сомнению, ничто нельзя брать на веру. Если нечто выглядит благом — испытай это нечто, пусть даже и Рикардо, и Милль, и Гладстон доказали его несостоятельность; ибо какой путь указывают их «доказательства», кроме пути в могилу? Так действительность и дух времени подрывали врожденное эдвардианство Кейнса. Но даже приспособляясь к этой действительности и к этому духу, он никогда им не покорялся. Его конечной целью было поставить новые силы под контроль и управлять ими, сообразуясь с эдвардианским идеалом разумной, цивилизованной жизни.

В значительной степени благодаря сохранившейся связи Кейнса с *Апостолами* в его жизни поддерживался баланс между довоенным и послевоенным поколениями: смесь, которая позволила ему быть одновременно и *enfant terrible*, и авторитетом. Само собой получилось, что моло-

дая поросль была теперь представлена детьми его лучших друзей Джулианом Беллом и племянником Молли Маккарти Фрэнсисом Варр Корнишом, которые оба поступили в Королевский колледж в 1927; Джулиан был «громадным шумным созданием, покрытым толстыми, желтовато-коричневыми, как у льва, завитками, с лицом, украшенным смешными носом и глазами... Это был большой, по-ребячьи радостный эстет»²⁶. Находить общий язык с молодыми Кейнсу в его сорок пять становилось все труднее. Он всегда был к ним добр, любил говорить с ними обо всем на свете в излюбленной студенческой манере, но обнаруживал, что его репутация их отпугивает. В январе 1928 г. затянувшийся до четырех часов дня обед, устроенный Кейнсом для Джулиана и четырех его друзей, обернулся «тяжкой работой», поскольку все темы для разговора пришлось придумывать ему самому²⁷. В ноябре 1928 г. в его «партию молодых парней («весьма тяжкая работа») входили Майкл Редгрэйв, Энтони Блант, Джулиан Белл и Чарльз Гиффорд. Месяцем раньше у Кейнса состоялась встреча с разными поколениями Блумсбери в непринужденной обстановке, на вечеринке в комнатах Дэди Райлэндса: Ванесса Белл поднялась, чтобы повидаться с Джулианом, Вирджиния Вулф читала доклад (*‘Своя комната’*) юным леди из Гертон-колледжа, присутствовали злой дядя Джулиана Литтон Стрэчи и его сводная сестра Анжелика. В декабре Джулиан, талантливый поэт, преуспел там, где некогда его отец потерпел неудачу: его выбрали в *Апостолы*.

В конце 1920-х молодой Кембридж отдавался скорее поэзии и театру, чем политике. Любовь к театру Кейнсу привил отец. Его образование, любовь к языку и естественному смыслу стиля позволяли ему по достоинству оценивать постановки как классических, так и елизаветинских драм. Для человека его вкусов Королевский колледж был самым подходящим местом. Мало того что классическая культура и литература преподавались там как предметы, составляющие «часть жизни» — и переводы греческих

драм делались с целью сыграть их на сцене, — но вдобавок Королевский колледж, славившийся своей оригинальностью и гомосексуализмом, притягивал к себе молодых людей, любивших наряжаться. Шеппард, Дэди Райлэндс, Фрэнк Берч (преподаватель истории) и Дональд Бивс были столпами театральной жизни колледжа. В начале 1929 г. Кейнс сообщал Ванессе, что бисексуал Джулиан «отчаянно увлечен [Энтони Блантом]...».

Именно связи Кейнса с театром вывели Лидию на орбиту Кембриджа. В 1927 г. Лидии было тридцать пять. Она освободилась от всех балетных ангажементов, готовясь стать матерью. Их переписка с Мейнардом содержит лишь туманные намеки на происходившее. Можно предположить, что в мае 1927 г. у нее был выкидыш, и Кейнс успокаивал ее, говоря, что «в конце концов у нас будет то, чего мы так долго ждем»²⁸. В июне Лидия, сопровождаемая Невиллом Кейнсом, поехала развеяться в Швейцарию; на правах балерины-гости она в июле 1927 г. присоединилась к труппе Дягилева и выступала в гала-представлении *‘Половецких плясок’* перед испанским королем Алфонсо, который особо попросил, чтобы она участвовала в спектакле. Потом, похоже, она снова забеременела. В понедельник, 10 октября 1927 г., Кейнс писал: «Дорогая Лидочка, ну вот, я получил телеграмму — грустное дело сделано, и моей дорогой маленькой булочке перерезали горло. Ничего больше не скажешь, пока я не увижу этого [тебя?], только нежно прикасаюсь к тому месту, где была эта сладкая булочка». Трудно с точностью сказать, что означают эти слова, поскольку на теле Лидии не было никаких заметных шрамов. Во всяком случае, о намерении завести ребенка разговоры, судя по всему, больше не возникали. Семейное предание гласит, что родить Лидии не позволял слишком узкий таз.

Оставшись без ребенка и без карьеры, Лидия зимой 1927–28 гг. весьма бесцельно слонялась из стороны в сторону. Но у Мейнарда был свой план. В октябре 1928 г. мы застаем его в роли учителя по почте: *«Sorrow, borrowed,*

owed. Слышишь, как я это произношу?» Дело в том, что для Лидии всегда были проблемой английские «о», которые звучали у нее на русский лад — «оа». Появившаяся афиша театра ADC обещала выступления Лидии в повести-балете Стравинского *‘Рассказ солдата’* и в *‘Жалобе влюбленной’* по Шекспиру, где ей, деревенской девушке, предстояло оплакивать утрату своей невинности, отнятую молодым соблазнителем Майклом Редгрэйвом. Дункану Гранту были поручены декорации и костюмы, а Мейнард взялся застраховать спектакль на случай финансовых потерь. Это было первое сценическое воплощение поэмы Шекспира и публичный дебют Лидии в Англии в амплу драматической актрисы. Кейнс, конечно, знал все о ее игре на сценах Америки. «Шарады и другая ерунда, разыгрывавшаяся на вечеринках на Гордон-сквер»²⁹, подсказали ему мысль, что обаятельная утонченность, свойственная ей в танце, могла бы проявить себя в живой речи, а возрожденные амбиции молодости занять место несостоявшегося материнства.

На репетициях Лидия всех очаровала, билеты были полностью распроданы, спектакли в начале ноября пошли успешно, и Фрэнки Биррел, как положено, похвалил ее в *‘Нации’*. Кейнс открыл перед ней новую карьеру. Она не стала еще постоянной частью его кембриджской жизни; это произошло много позже. Она по-прежнему «наносила визит», когда жила у его родителей на Харви-роуд; он по-прежнему жил в своей холостяцкой квартире. Но она обозначила в Кембридже свое присутствие, которому предстояло возражать с годами. Еще удивительнее, что стремление расширять сферу своей деятельности поставило ее на центральное место в процессе выковывания нового английского стиля из традиций елизаветинского театра масок и русского классического балета, откуда в 1930 г. родилось *Общество Камарго*. Налаживая многие механизмы этого движения, Кейнс не только примирял между собой свои разные миры, но и изобретательно удобрял почву своего брака.

4. Экономика инерции

Питер Кларк убедительно доказывал, что катастрофа, постигшая в конце концов *‘Трактат о деньгах’*, явилась побочным продуктом объединения Кейнса с Ллойд Джорджем и вытекавшего отсюда его противостояния точке зрения Казначейства³⁰. В 1929 г. должны были состояться всеобщие выборы. Ллойд Джордж планировал свое политическое возвращение на основе большой программы общественных работ, нацеленной на устранение «ненормальной» безработицы. Со стороны Кейнса эта политика получила горячую поддержку. 31 июля 1928 г. он поднял флаг Ллойд Джорджа в газете *‘Ивнинг стэндард’*, поместив в ней статью *‘Как поднять волну процветания’*. Она положила начало дискуссии как внутри Казначейства, так и в правительстве, которое тоже не упускало из поля зрения надвигающиеся выборы. Поскольку в предвыборное время, в начале 1929 г., дебаты стали достоянием общественности, Кейнс вынужден был заострить ножи своего анализа, чтобы отразить доводы оппонентов, собранные в документе, получившем известность как *Точка зрения* Казначейства. По ходу этих дебатов Кейнс почувствовал, что ему следует перестроить свою книгу и «решительно переписать» некоторые главы. Это задержало ее издание до осени 1930 г.

В самой по себе статье 1928 г. нового сказано было немного. Кейнс отметил угнетенное состояние большей части промышленности, что сопровождается безработицей, охватившей на 200 тысяч человек больше, чем предыдущей весной. К такому положению привело то, что «мы взвинтили цены, подняв обменный курс стерлинга и управляя объемом кредита; *но мы не снизили уровня издержек*». Способ вырваться из тупика есть: программа национального развития, нацеленная на «кумулятивный» подъем; использование оборудования на полную мощность, что само по себе уменьшило бы издержки; и, некоторое повышение цен, чтобы сократить разрыв между ценами и

издержками. Кейнс писал: «Когда мы имеем безработных людей и бездействующее оборудование... полнейшая дичь говорить, что мы не можем себе этого *позволить*. Ибо как раз при наличии безработных людей и бездействующего оборудования, и только при таких условиях, подобные вещи и делаются». Вся последующая история кейнсианской революции не смогла дать существенно лучшего обоснования действиям государства, направленным на вывод экономики из депрессии³¹.

Это был новый политический вызов преобладавшему экономическому согласию, вызов, который заставил и Казначейство, и Кейнса оттачивать свои аналитические инструменты. Старые споры о том, должна или не должна Англия возвратиться к золотому стандарту, прекратились. Обменный курс был закреплён, и безработица не исчезла. Учитывая, что, пока Англия держится золотого стандарта, снижение учетной ставки исключалось, проблема, встававшая перед либералами, была в том, как добиться роста капиталовложений при данной процентной ставке. Ллойд Джордж, побуждаемый Кейнсом, сказал, что правительство само должно заимствовать деньги. Но это поднимало, или, скорее, обостряло вопрос о том, откуда деньги должны поступить. Если правительство будет черпать заемные средства из частных сбережений, это, несомненно, «вытеснит» частные инвестиции. Сам Кейнс отстаивал мобилизацию сбережений, «уходящих за границу», но не мог объяснить, почему это увеличило бы занятость. Как представлялось, либо должен существовать некий тайник неиспользованных сбережений, либо банки должны создать «новые» деньги, которые, как считалось, будут инфляционными.

Именно по этим направлениям шли возражения Казначейства против инициативы либералов. После появления статьи Кейнса Черчилль попросил Ричарда Гопкинса, Фредерика Лис-Росса и Готри высказать о ней свои мнения. Сэр Ричард Гопкинс только что сменил ушедшего в Английский банк Отто Нимейера в должности распоряди-

теля финансов; Лис-Росс был его заместителем. Так что именно Готри, руководитель финансовых расследований и единственный в Казначействе профессиональный экономист, ткнул пальцем в слабое место аргументации Кейнса. Опираясь на свою статью, появившуюся в *'Economica'* в 1925 г., он просто сказал, что при фиксированном объеме денег в обращении любой выпущенный правительством заем для финансирования общественных работ будет вычетом из существующего «бюджета потребителя»*. Это стало основой позиции Казначейства, настаивавшего, что любая дополнительная трата должна делаться за счет чего-то уже имеющегося в наличии, а в противном случае она будет иметь инфляционный характер³². Лис-Росс в своем комментарии утверждал: «То, к чему стремится Кейнс, является, несомненно, определенной инфляцией кредита». Для речей Болдуина мудреная формулировка Готри была упрощена: «Мы должны *либо* брать существующие деньги, *либо* создавать новые деньги»³³, а «новые деньги» означали бы, разумеется, повергавшую в страх инфляцию.

Точка зрения Казначейства опиралась на предположение, что все сбережения идут на образование капитала, который используется для приобретения средств производства. Но насколько это соответствовало действительности? Робертсон говорил о сбережениях, которые «копят» (держат в праздном состоянии). Кейнс предложил учитывать еще две возможности. Сбережения могут использоваться на покупку существующих активов, просто на основе повышения предлагаемой за них цены, подобно тому как это происходит на бирже при взвинчивании

* В своей статье в *'Economica'* (в мартовском номере 1925 г. на стр. 40) Готри писал, что «заемные деньги — это подлинные сбережения. Иными словами, они должны происходить из дохода потребителей. Следствием такой передачи части бюджета потребителей в руки правительства является уменьшение на ту же сумму эффективного спроса на товары». Мнение Готри, что только расширение кредита способно увеличить спрос на оставшуюся незанятой рабочую силу, привело его к осуждению общественных работ как «ритуального действа».

курса акций³⁴. Другой вариант: сбережения, вывозимые за границу, не будут добавлением к инвестициям, если они вынуждают страну-кредитора терять золото и поднимать внутренние процентные ставки³⁵. Во всех трех случаях о не используемых сбережениях можно говорить, что они обгоняют текущие инвестиции*.

Кейнс отклонил еще одно приглашение выставить себя на выборах кандидатом-либералом от Кембриджского университета. Он, однако, вошел в состав особого комитета, которому было поручено переработать доклад Комиссии либералов, расследовавшей положение в промышленности, и представить его в виде предвыборного документа партии под названием *‘Мы можем победить безработицу’*. Он также поддержал данное Ллойд Джорджем 1 марта 1929 г. знаменитое обещание «сократить ужасающую численность безработных в течение одного года и довести безработицу до нормального уровня посредством осуществления большого плана национального развития»³⁶.

Финансировать свою программу общественных работ либералы предложили путем активизации «праздных остатков» — Робертсонова идея. Маккенна подсчитал, что между 1919 и 1928 г. отношение «срочных вкладов» к «вкладам до востребования» повысилось с 28,6 до 44,7 процента; хотя в целом объем денег в обращении увеличился, доля денег, «активно занятых в деловом обороте», сжалась³⁷. Это была старая ссылка на «скорость обращения»: деньги поражены артритом, как старая леди у Робертсона; их копят, но в дело не вкладывают. Дж.А. Гобсон гнул ту же линию в *‘Нации’* от 30 марта, говоря о предложенном

* Последний вариант появился в рассуждениях Кейнса под сильным влиянием развернувшегося у него в начале 1929 г. спора с шведским экономистом Бертилом Олином о германских репарациях. Кейнс утверждал, что перемещение за границу дополнительной суммы капитала — будь то в виде займа или репарационного платежа — требует повышения конкурентоспособности страны; Олин отрицал существование какой-либо подобной «проблемы перемещения средств».

либералами дорожном налоге как о способе «растопить... заледеневшие сбережения». Ответный удар со стороны Казначейства последовал в одной из шести *‘Заметок о некоторых предложениях, касающихся безработицы’*, опубликованных 13 мая правительством Стэнли Болдуина. Праздность вкладов до востребования отрицалась; они, мол, расцениваются промышленностью как существенный резерв ликвидных средств и используются в краткосрочном кредитовании.

Обоснование программы общественных работ, данное самим Кейнсом, появилось 10 мая в написанной в соавторстве с Хьюбертом Гендерсоном брошюре под названием *‘Может ли Ллойд Джордж сделать это?’*. Никакой теории праздных или накапливаемых сбережений там не было. На утверждение Казначейства об отсутствии каких-либо сбережений, доступных для финансирования *дополнительных* инвестиций, Кейнс и Гендерсон отвечали, что это предполагало бы полную занятость всех ресурсов. Бездействующие ресурсы включают в себя сбережения, которые не «осуществились» за отсутствием процветания³⁸. Выраженная таким странным образом мысль, которую хотел донести Кейнс, состояла в том, что любая политика (в том числе программа финансируемых заемными средствами общественных работ), которая преуспеет в восстановлении «нормального» уровня доходов, создаст сбережения, необходимые для финансирования инвестиций.

Соответственно, эффект от создания занятости дополнительными расходами правительства не ограничивается, мол, рамками непосредственно правительственных проектов. На каждого человека, получающего работу на строительстве дороги или дома, приходится по крайней мере еще один, который будет обеспечивать необходимые поставки. Кроме того, созданная таким образом дополнительная покупательная способность оказала бы «кумулятивное воздействие» на деловую активность, так что каждая данная затрата капитала имела бы для повышения занятости гораздо больший эффект, чем ее прямые и

косвенные эффекты, обозначенные выше, хотя «эффекты такого рода невозможно измерить сколько-нибудь точно»³⁹. «Мультипликатор занятости», разработанный Ричардом Капом в 1931 г., представлял собой попытку измерить эти «кумулятивные» эффекты.

Брошюра заканчивалась привычным для Кейнса противопоставлением сил жизни и смерти:

Отрицание, ограничение, бездеятельность — таковы лозунги правительства. Под его водительством мы вынуждены были подтянуть пояса и сжать наши легкие. Опасения, сомнения, ипохондрия предосторожностей держат нас немыми за закрытыми дверями. Но ведь мы не ковыляем к могиле. Мы — здоровые дети. Нам требуется дыхание жизни. Нет никаких причин для страха. Напротив. Будущее заготовило нам гораздо большее богатство и больше, чем предлагалось когда-либо в прошлом, экономической свободы и возможностей личной жизни.

Нет никакой причины, почему мы не должны ощущать свое право быть смелыми, быть открытыми, экспериментировать, действовать, испытывать все возможности. И, преграждая нам путь, против нас стоит только горстка пожилых джентльменов в пальто, застегнутых на все пуговицы, к которым надо проявить небольшую, дружескую непочтительность, как к кеглям, в которые летит ваш шар.

Весьма вероятно, они сами останутся довольны, когда оправятся от удара⁴⁰.

Это были взбадривающие слова.

Воодушевленный собственной риторикой, Кейнс чрезвычайно оптимистично смотрел на избирательные перспективы партии, которую он поддерживал. Он был убежден, что Хьюберт Гендерсон — которого он убедил выдвинуться вместо него кандидатом — победит в Кембридже и что по стране в целом Либеральная партия завоюет более 100 мест. На деле состоявшиеся 30 мая 1929 г. всеобщие выборы дали 287 мест в парламенте лейбористам, 260 консерваторам и 59 либералам. Гендерсон не попал в их число, и Кейнс потерял 160 фунтов на своих пари, вы-

играв, правда, 10 фунтов на победе Уинстона Черчилля. Хотя либералы собрали 23 процента голосов (против 38 процентов, доставшихся консерваторам, и 37 — лейбористам), они получили только 10 процентов парламентских мест. Ллойд Джордж в своем последнем рывке потерпел неудачу. Макдональд сформировал второе лейбористское правительство, притом что либералам досталась роль уравновешивающей силы. «Не вижу, как из этого может выйти что-либо удовлетворительное», — уныло писал Кейнс Лидии 3 июня.

5. Тракта́т о деньгах

Многое в *‘Тракта́те о деньгах’*, когда он наконец был издан в октябре 1930 г., в каком-то смысле стало, с точки зрения Кейнса, излишним после того, как в своем противостоянии с Казначейством он приступил в 1929 г. к более непосредственному анализу производства и занятости. Это началось с попытки применить количественную теорию денег для объяснения колебаний в производстве. Под конец он понял, что для объяснения существенных фактов в этой теории больше не было нужды; мало того, она лишь рассеивала внимание, привязывая его к уровню цен и отвлекая от производства. Так что мы видим в зачаточном состоянии теорию производства, пытающуюся сбросить с себя смирительную рубашку теории денег. Но есть другая причина неуспеха, выпавшего на долю *‘Тракта́та’*. В стремлении к всестороннему охвату, подобающему полноценной академической работе, Кейнс позволил своим оригинальным идеям утонуть в материале и стать малозаметными. Возможно, выпуская книгу, не располагающую к тому, чтобы ее читали, он хотел тем самым предъявить свои верительные грамоты серьезного экономиста. Как бы там ни было, в *‘Тракта́те’* преувеличенно выступали его слабости и не отражались его сильные стороны. Предлагавшийся им способ лечения должен был

скорее обнаружить его ограниченность теоретика, чем его силу творческого мыслителя. Это самым отрицательным образом повлияло и на его стиль.

На самом деле идеи *‘Трактата’* весьма просты. Страна, в которой процентные ставки вынужденно идут вверх ввиду потребности защитить валюту и в которой невозможно опустить заработную плату ради восстановления прибыли, — такая страна, скорее всего, окажется в западне низкой занятости. Это — стилизованное объяснение, которое Кейнс дает «особой проблеме» Британии 1920-х гг. Но за ним — целая теория, показывающая, как работает современная экономика.

Центральный тезис Кейнса: в денежной экономике, основанной на кредите, не существует никакого механизма, автоматически устанавливающего равенство между сбережениями и инвестициями. Его нет, потому что банки создают деньги. Как мы видели, эта идея Кейнса родилась в 1913 г. Есть норма прибыли на капитал (которую Кейнс вслед за Викселем называл «естественной»), и есть «рыночная» процентная ставка на кредиты. Но рыночная ставка, поскольку она определяется кредитной политикой банков, может быть выше или ниже «естественной нормы». Таким образом, «кредитному циклу» присущи колебания рыночной процентной ставки вокруг естественной нормы.

Практический смысл всего этого в том, что у кредитно-денежной экономики в краткосрочном измерении есть один-единственный механизм стабилизирующего действия — кредитная политика банков. С восстановлением золотого стандарта Английскому банку не позволяли устанавливать учетную ставку на достаточно низком уровне, чтобы инвестиции соответствовали сбережениям общества. Отсюда и возникла массовая безработица. Критически важно в этом рассуждении то, что Кейнс перенес упор с денежных запасов на поток расходов. Именно недостаточные относительно нормы сбережений расходы на инвестиции заставили уровень цен падать и оставлять людей без работы.

Фундаментальное, по понятиям экономической психологии, значение имел разрыв Кейнса с классическим представлением о сбережениях как о фонде средств, автоматически обеспечивающем инвестиции. В паре великолепных абзацев он расправился с теорией «воздержания» как двигателя экономического прогресса:

Принято было думать о накопленном богатстве мира, что оно создано добровольным мучительным воздержанием индивидуумов от немедленного удовлетворения своих потребительских нужд, тем, что мы называем бережливостью. Но должно быть очевидно, что одного только воздержания недостаточно, чтобы построить города или осушить болота... Это предпринимательство создает и совершенствует всемирное имущество... Если предпринимательство движется — богатство накапливается, как бы там ни обстояло дело с бережливостью; если же предпринимательство спит, богатство приходит в упадок, как бы ни проявляла себя бережливость.

Таким образом, бережливость может быть служанкой и няней предпринимательства. Но точно так же ее может и не быть вовсе. И возможно, она даже обычно отсутствует. Ибо предпринимательство не связано с бережливостью напрямую, а находится на некотором от него отдалении; и связующее звено между ними нередко отсутствует. Ибо мотор, который движет предпринимательством, — не бережливость, а прибыль⁴¹.

К сожалению, Кейнс пробовал формализовать эти новаторские идеи в «Фундаментальных уравнениях» — на открывавших главу 10 страницах, отведенных под удручающую алгебру, — по своему происхождению принадлежащих количественной теории денег. Количественная теория заявляет, что изменения в количестве денег воздействуют только на цены. (Точнее, что цены изменяются пропорционально изменениям количества денег.) Поэтому количественная теория не может объяснять изменений в производстве; это только теория цен. Однако она имеет силу лишь в том случае, если все цены в экономике изменяются одновременно и в одинаковой пропорции: когда поступление денег увеличивается на 10 процентов, все цены немед-

ленно должны повыситься на 10 процентов. Это — немислимо строгое условие. Стратегия Кейнса состояла в том, чтобы использовать алгебру количественной теории и показать, как изменения в расходовании денег могут вызывать к жизни цены, нарушающие равновесие, так что для их устранения требуются временные изменения в производстве и занятости. Однако эта стратегия имела серьезные недостатки. Она привязала его к особым (и эксцентричным) определениям дохода, прибыли и сбережения. Она также обязала его держаться идеи, которая противоречила тому, что уже было у него на уме: что изменения в потоках расходов в некоторых отношениях зависят от изменений в уровне цен. Кейнс пришел к мысли, что изменения в денежных расходах могут возникать независимо от изменений в объемах поступающих в обращение денег или кредита, и стал искать более прямой путь к выражению связи между расходами и производством.

Три неуклюжих определения: (а) денежный доход общества (иначе «нормальный доход», или доход равновесия факторов производства, или издержки производства); (b) прибыль, определяемая как разница между издержками производства и продажной ценой, за вычетом «нормального» дохода предпринимателей; и (с) сбережение, определяемое как та часть «нормального» дохода общества, которую изымают из потребления. Цель исключения из дохода прибылей и потерь (которые Кейнс одинаково относит к «случайностям») состоит в том, чтобы выделить переменную, заставляющую производство расти или сокращаться. Но попытка кончается непригодными для использования определениями дохода и сбережения, вызвавшими много недоразумений. Смысл представления, что общий объем сбережений может «опережать» инвестиции или «отставать» от них, полностью зависит от того, каким образом определяются доход и сбережение.

Формально *‘Трактат’* — это попытка уловить в наборе уравнений динамику перехода экономики от одного уровня цен к другому. Нам представляют, с одной сторо-

ны, поток денег, заработанных рабочими и бизнесменами в процессе производства потребительских и инвестиционных товаров, а с другой — его разделение на части, которые, соответственно, тратятся на покупку потребительских товаров и идут в сбережения. Экономика находится в равновесии, если общая сумма денег, заработанных при создании потребительских и инвестиционных товаров, равна совокупной сумме расходов на потребление и сбережений.

В такой ситуации издержки производства равняются продажным ценам потребительских товаров; прибыль нулевая; сбережения равны инвестициям: все истинно по определению. Если, с другой стороны, на покупку потребительских товаров люди тратят меньше, чем зарабатывают в ходе их производства, то есть решают побольше отложить из своего «нормального» дохода, потребительские цены падают. В этой ситуации, по определению, издержки на производство потребительских товаров превышают их цены; прибыль выражается той же, но отрицательной величиной; и сбережение опережает инвестиции.

Столь сложные рассуждения имели целью выпятить одну ключевую мысль. Когда сбережения людей превышают затраты на инвестиции, экономика в целом впадает в угнетенное состояние, если только одновременно не происходит нечто поднимающее *ценность* или прибыльность капиталовложений. Требуемый объем инвестиций не достигается автоматически. Будет он достигнут или нет, зависит от «иного ряда соображений»⁴²: от того, растет ли ожидаемая рентабельность инвестиций, падает ли процентная ставка либо происходит то и другое одновременно.

Депрессия возникает, если стимул обновлять часть основных средств производства недостаточен, чтобы поглотить норму сбережения, осуществляемого за счет «нормального» дохода, — другими словами, если ожидаемая норма прибыли падает ниже рыночной процентной ставки, установленной банковской системой. Кейнс применяет на-

чатый в *'Трактате'* анализ неопределенности к конкретной категории цен — цен на средства производства. Именно вызываемые меняющимися ожиданиями колебания «естественной» процентной ставки вокруг рыночной ставки банков объясняют движение делового цикла.

'Трактат' содержит первое из двух знаменитых рассуждений Кейнса о психологии фондовой биржи, в котором сильно сказываются впечатления от краха длительно сохранявшегося рынка «быков» на Уолл-стрит в 1929 г. Ключевая идея в том, что часть сбережений «удерживается» для спекулятивных целей из-за неуверенности в будущей ценности основного капитала. Если ожидается повышение цены акций на фондовой бирже, сбережения будут перераспределены и уйдут из «кубышек» в «ценные бумаги», а если ожидается падение курса акций, произойдет обратное. Когда большинство инвесторов — «быки», вы получаете бум фондовой биржи; когда большинство их — «медведи», вы имеете резкий спад. Таким образом, в *'Трактате'* устанавливается «спекулятивное» побуждение для удержания денежных остатков от инвестирования, но до *'Общей теории'* это еще не стало Кейнсовым объяснением процентной ставки, связывающим ее с предпочтением ликвидности.

Кейнс не сомневается, что любой «пробел» между инвестицией и сбережением может быть закрыт посредством изменения рыночной процентной ставки. Но в открытой экономике при твердо установленной системе валютного обмена процентная ставка должна выполнять работу двух, возможно несовместимых друг с другом, видов: регулировать объем инвестиций и управлять платежным балансом. Если желание общества отправлять сбережения в виде кредитов за границу превышает чистое активное сальдо внешнеторгового баланса, это будет означать экспорт золота, который денежные власти должны будут возмещать, поднимая процентную ставку, повышая тем самым стоимость капитала у себя в стране. Конечным результатом повышения учетной ставки будет снижение

«эффективной заработной платы» (денежного дохода), что делает возможным увеличение активного внешне-торгового сальдо. Это вновь указывает на несостоятельность представленного в *‘Трактате’* тезиса, из которого выводятся рекомендации для политики. Данное Кейнсом описание *modus operandi* банковской учетной ставки остается в своем роде классикой; но то, что он имеет в виду, представляет собой скорее модель наладки уровня цен, чем производства продукции.

Рассматривал ли Кейнс гибкость заработной платы как вполне достаточное средство противодействия любым изменениям в сбережении или инвестиционной функции? Одна часть *‘Трактата’* наводит на мысль, что да. Книга IV предлагает нам классическую схему кредитного цикла, находящегося в зависимости от задержек с регулированием заработной платы. На стадии подъема последовательно происходят инфляция товаров (цен), инфляция прибыли и инфляция дохода, которая затем обращается вспять при спаде: падение цен, падение прибыли и наконец, как заключительный акт в процессе приспособления, падение денежной заработной платы⁴³. Однако в книге III Кейнс рассказывает известную «банановую притчу», в которой гибкость заработной платы не устраняет начального сбоя, потому что, если сбережения возрастают в ответ на кампанию за бережливость, а работодатели по той же причине сокращают заработную плату, «покупательная способность населения уменьшится настолько же, насколько сократятся совокупные издержки производства»⁴⁴. Никакого равновесия не будет до тех пор, пока либо не прекратится всякое производство и общество не окажется перед угрозой голодной смерти, либо пока растущее обнищание заставит общество меньше экономить и откладывать на будущее, либо пока инвестиции не будут стимулироваться тем или иным способом, например финансируемыми за счет заемных средств общественными работами. Если как регулирование процентной ставки, так и общественные работы исключаются, то

остается единственный реальный механизм регулирования, — обнищание. Кейнс назвал это «природным способом лечения». Таким образом, в *‘Трактате’* обнаруживаются два взаимно несовместимых сценария. Первый — сценарий глубокого цикла, который вводит в игру относительное приспособление цен, ведущее, пусть медленно, к восстановлению равновесия на неизменных уровнях совокупного производства и занятости. Во втором сценарии приспособление к новому состоянию равновесия идет через сокращение производства, причем точка устойчивости достигается тогда, когда общество оказывается слишком бедным, чтобы делать сбережения. Второй сценарий указывает в сторону *Общей теории*, но Кейнс еще не может сказать, возможно ли без государственного вмешательства достичь положения устойчивости иначе, чем через массовый голод. Очевидно, что это неудовлетворительное заключение.

Главной целью национальной денежной политики должно быть поддержание процентной ставки, совместимой с полной занятостью при уровне цен, который в конечном счете определяется движением реальной заработной платы. Таковую автономию процентной ставки можно обеспечить только периодическим регулированием обменного курса валюты. Существование жестких ограничений заработной платы, настаивал Кейнс, несовместимо с «соблюдением принципа *laissez-faire* в отношении кредитования за границы». Поэтому он высказывал сомнение, разумно ли иметь валютную систему с диапазоном действия намного более широким, чем наша банковская система, наша тарифная система и наша система заработной платы»⁴⁵. Эта довольно крайняя декларация монетарного национализма не совсем противоречила представлению о более гибкой международной валютной системе. Если изменения в золотом стандарте исключаются, правительство само должно развернуть программу общественных работ.

Название *‘Трактата о деньгах’*, оказывается, вводит в заблуждение. Описываемые Кейнсом нарушения эконо-

мического равновесия не обязательно вызываются инфляционными или дефляционными действиями банковской системы. Они могут быть вызваны немонетарными силами — кампаниями борьбы за экономию, требованиями поднять заработную плату, утратой доверия к бизнесу. Однако он все еще ожидал, что денежные власти способны будут нейтрализовать действия этих сил, поставляя в обращение соответствующее количество денег. «Те, кто признает за денежными властями верховное право управлять ценами, — писал он, — не утверждают, конечно, что условия, на которых деньги поступают в обращение — это единственный фактор, воздействующий на уровень цен. Говорить, что любой требуемый уровень заполнения резервуара можно поддерживать поступлением достаточного количества денег, не противоречит признанию того факта, что уровень заполнения бассейна зависит от многих факторов, помимо того, сколько туда льют воды»⁴⁶.

XXVI

Обвал

1. Предвидел ли он это?

Летом 1929 г. никто не подозревал, что мировая экономика вот-вот рухнет. Следя за головокружительным ростом акций на Уолл-стрит, американцы полагали, что открыли тайну вечного процветания. Пока Соединенные Штаты были на подъеме, остальной мир чувствовал себя в безопасности. В международной политике также мало что служило признаком надвигавшихся бед. Советская Россия при Сталине отошла от экспорта революции и обратилась к террору против собственного народа. Заключенный в Локкарно в 1925 г. договор убаюкал французов, развеял их страхи и, по всей видимости, приструнил Германию, сбив с нее всякие амбиции: Гитлер «предан забвению», писал в 1929 г. лорд Д'Абернон¹. Муссолини тоже вроде бы угомонился; в 1928 г. он вызвал восхищение финансовых кругов, приписав лире завышенную стоимость. В распоряжение предсказателей поступали, конечно, тревожные сигналы: происходившее начиная с 1928 г. поглощение сбережений бумом на американской фондовой бирже создало для первичных производителей трудности с погашением их долгов, для Германии — с выплатой репараций, для Англии — с поддержанием золотого стандарта. Задним числом можно видеть, что спрос переключался с производства на спекуляции. Но беспокойство немногих заглушал общий хор оптимизма.

После треволнений избирательной кампании жизнь Кейнса вернулась к обычной рутине. Лето 1929 г. по большей части проводилось в Тилтоне, где шло переписывание *‘Трактата’*. Это занятие было прервано десятидневным (с 19 по 29 июля) пикником на континенте, во время которого ему пришлось «транзитом поделиться своими умственными способностями» со слушателями лекций, которые он два дня читал в Женеве по приглашению финансовой секции Лиги Наций, после чего они с Лидией проводили отпускное время в Бургундии. «Такого рода путешествия, несмотря на их положительные стороны, — замечала Лидия в письме Флоренс, — можно совершать не чаще одного раза в год, иначе печень не выдержит²».

Вернувшись, они окунулись в балетные репетиции в Тилтоне и Лондоне. Лидия согласилась танцевать с Антоном Долиным и Джорджем Баланчиным в пятиминутном балете *‘Темные красные розы’*, вставленном в один из первых британских звуковых фильмов (*‘talkies’*³). Идея была в том, что «пьеса внутри пьесы», как в *‘Гамлете’*, должна была средствами пантомимы воспроизводить основной сюжет и сильно воздействовать на одного из героев. Кейнс, конечно, отвечал за всю практическую организацию дела. Баланчин приехал в Тилтон 9 августа, чтобы заняться изучением партитуры выбранной для съемок *‘Хованичины’* Мусоргского на рояле, специально купленном у Курто. «С Кейнсом, — пишет биограф Баланчина, — он прекрасно ладил, поскольку Кейнс любил говорить о балете, а Баланчин любил говорить об экономике»³.

Во время съемок, которые шли в Уэмбли 19 и 20 августа, поступило известие о смерти Дягилева в Венеции. «Балерины небольшой группой расположились на полу, — написал Мейнард матери — и несколько часов подряд предавались воспоминаниям. Это была из ряда вон выходящая сцена — с нагромождением техники повсюду вокруг, толпой участников массовки (предполагавшихся зрителей

² Т.е. *‘говорилок’*.

балета), одетых в среднеазиатские костюмы и с лицами, покрытыми желтым гримом». Пока Дягилев был жив, балетом был он. С его смертью началась борьба за наследство. Позже в том году Лидия, при поддержке Мейнарда, помогла Нинетт де Валуа в организации *Общества Камарго*, предшественника *Английского национального балета*.

‘Темным красным розам’ не повезло. Вскоре после первого показа в октябре пожар уничтожил киностудию и почти все копии фильма. Это был единственный случай, когда Лидия танцевала перед камерами⁴.

После съемок и уикенда, проведенного с четой Маккена, Мейнард вернулся к своей книге, прерываясь через день на то, чтобы в послеобеденное время обыграть Лидию в теннис. Приезжали и уезжали друзья и родственники: Гендерсон, Себастьян Спротт, Питер Лукас, Шепнард, его мать Флоренс (ей было под семьдесят, и она вот-вот должна была стать мэром Кембриджа) и брат Джеффри (теперь профессионально утвердившийся и обретавший все большее признание врач). Фрэнсис Маршалл, заехавшая погостить в Чарлстон, нашла, что «вражда с Тилтоном» все еще была в разгаре. Однако все оказалось сплошным «медом», когда однажды утром она спустилась в Чарлстон в белых брюках, красной рубашке и большой украшенной маками соломенной шляпе, с просьбой дать ей несколько яиц⁵. Вражды не было и в Кембридже, где Джулиан Белл — «очень милый старый медведь» — часто оказывался в компании Мейнарда, хотя тот находил его подругу, Элен Соутер, «чересчур простушкой». Сэм и Лил Курто приехали на обед 29 сентября, и Сэм был потрясен, но «внутренне доволен», когда Мейнард стал приводить доводы в пользу протекционизма. Были радиопередача на Би-Би-Си, вечер в Чурте с Ллойд Джорджем и встреча в Лондоне с новым канцлером герцогства Ланкастерского, Освальдом Мосли, получившим это назначение с расчетом, что он оживит выполнение лейбористской программы общественных работ.

Через две недели после возвращения Мейнарда в Кембридж с таким трудом построенные здания послевоенного мира начали рушиться. «Ребятам на Уолл-стрит вчера досталось. Читала ты об этом? — писал он Лидии 25 ок-

тября. — Самый большой крах из всех записанных в историю. Голос Фолка по телефону этим утром показался мне весьма взволнованным и тревожным». *Нью-Йорк ивнинг пост* (*New-York Evening Post*) обратилась к нему за кратким комментарием. Он потратил тридцать минут, чтобы его написать, и еще двадцать пять — чтобы продиктовать по телефону, и потом жаловался на головную боль. «Таким образом, день у меня целиком был занят финансовыми делами и отвратительным настроением».

Продиктованные Кейнсом по телефону пророчества насчет последствий краха на Уолл-стрит оказались на редкость ошибочными. Он сулил «тяжкую зиму безработицы в Англии» из-за преобладания в последнее время «дорогих денег»; но ожидал «впереди эпоху дешевых денег, [что] будет отвечать реальным интересам бизнеса во всем мире». С низкими процентными ставками «предпринимательство во всем мире может снова прийти в движение... товарные цены восстановятся, и фермеры обретут лучшую форму»⁶.

Как мы знаем, крах на Уолл-стрит вызвал величайшую в истории мировую депрессию. Падение оптовых цен в 1930 г. полностью поглотило всякий возможный эффект дешевых денег: реальные процентные ставки резко повысились при том даже, что номинально они снизились. Эти события должны были поколебать веру Кейнса в эффективность денежной политики в условиях жестокого спада. Однако когда миновала уже большая часть 1930 г., мало кто еще думал, что произошло нечто худшее, чем обычный циклический спад, который скоро выправится сам собой. И действительно, весной 1930 г. имело место некоторое восстановление товарных цен и курсов акций.

Кейнса корили за то, что он не предсказал депрессии. В 1926 г. сообщалось о его заявлении: «При нашей жизни не будет больше никакого краха»⁷. К тому же если достоинство теории данного экономиста определяется состоянием его личного портфеля ценных бумаг, то и тут Кейнс выглядит ужасно: к концу 1929 г. он почти вчистую

разорился — во второй раз за время своей деятельности в роли инвестора.

Истина сложнее. Подход Кейнса к оценке перспектив американского делового мира был окрашен восхищением, которое вызывала у него стабилизационная политика Правления Федеральной резервной системы. Он исходил из того, что Федеральная система и пожелает вмешаться, и способна будет предотвратить развитие серьезного спада. Однако он никогда не разделял широко распространившейся веры, будто США «узнали секрет вечного процветания»⁸, и к 1928 г. он чувствовал, что имеются серьезные основания для беспокойства.

Тогда его деловой партнер Освальд Фолк пришел к выводу о «нездоровом» состоянии кредитной сферы США и заключал, что *Национальной компании взаимного страхования, Независимой инвестиционной* и другим компаниям, находившимся под его и Кейнса контролем, следует избавиться от акций вообще и расстаться с Уолл-стрит в частности. Таково было и мнение Чарльза Буллока, гарвардского корреспондента Кейнса и «самого здравомыслящего» эксперта банковского мира Соединенных Штатов; его тревожил происходивший после снижения в августе 1927 г. учетной ставки до 3,5 процента огромный рост ссуд, выданных под имущественный залог.

Эти возникавшие в 1927–28 гг. предчувствия послужили основанием последующих ортодоксальных объяснений обвального спада в США. В своей книге *‘Моряки, государственные деятели и другие’*, изданной в 1935 г., лейборист, член парламента, командер Кенуорси вспоминал, что финансовый эксперт Оливер Спрэйг говорил парламентариям-лейбористам в 1931 г., что «Правление Федеральной резервной системы хотело в 1927 г. сломить американский бум, но зловредные политики оказали давление, чтобы сорвать это намерение ввиду предстоявшей президентской избирательной кампании мистера Гувера»⁹. В 1934 г. Лайонел Роббинс подобным же образом утверждал, что обвальный спад был порожден расширением кредита, которое бы-

ло начато Правлением Федеральной системы в 1927 г., отчасти чтобы возместить умеренный спад в Соединенных Штатах, но главным образом чтобы помочь Англии сохранить золотой стандарт. Это развязало оргию спекуляций, которую невозможно было свернуть последовавшим переходом к дорогим деньгам¹⁰. Обвал стал наказанием, как и лечебным средством против опрометчивой расточительности предыдущих лет. Бум был фантазией, обвал — возвращением в действительность.

Кейнс никогда не разделял мнения, которое он приписывал «иным суровым пуританским душам», будто обвал был «неизбежным и желательным возмездием за спекулятивный дух... человека» и «восторжествует безнравственный маммона, если такое неумное накопление богатства не будет уравновешено всеобщим банкротством»¹¹. Не соглашался он и с тем, будто в 1927 г. Америка была во хмелю. Испытание инфляцией, говорил он неоднократно, — это «проверка цен». Судя по индексу товарных цен, никакой опасности инфляции в 1927 г. не было. Следовательно, повышая учетную ставку с 3,5 процента в январе 1928 г. до 5 процентов к июлю, якобы с целью удушить спекуляции, Правление Федеральной резервной системы навязывало дефляцию процветающей экономике США. Такова была основа комментария Кейнса к американской ситуации в 1928 г. В июле и сентябре он доказывал, что опасностью, с которой столкнулись США, была не инфляция, а дефляция¹². «Трудно будет, — писал Кейнс в сентябре 1928 г. — найти приложение поступающим большим инвестиционным средствам, — особенно если центральный банк противится тенденции к снижению учетной ставки». «Почему Правление Федеральной резервной системы так беспокоится по поводу того, что выглядит вполне здоровой ситуацией?» — спрашивал он 15 августа 1928 г. у американского экономиста Эллайна Янга и, отвечая профессору Буллоку, писал 4 октября 1928 г.¹³: «Я не могу удержаться от ощущения, что как раз сейчас риск целиком находится на стороне деловой депрессии... Если слишком долго будут предпри-

ниматься усилия погасить спекуляции с помощью дорогих денег, вполне может случиться, что дорогие деньги, остановив новые вложения, приведут к общей деловой депрессии»¹⁴. Так что в 1928 г. Кейнс подумывал о вероятности большого спада, если не будет изменена политика.

Стороны взаимно осыпали друг друга упреками, сводившимися к тому, что не туда, мол, надо было смотреть. Ортодоксальное мнение банкиров оценивало спекулятивный бум как несомненный признак нездорового состояния кредитного рынка; Кейнс, со своей стороны, полагал, что вздутые цены акций на Уолл-стрит неточно отражают положение дел. «Таким образом я приписываю резкий спад... прежде всего воздействию, которому подвергались инвесторы в течение длительного периода дорогих денег, предшествовавшего краху фондовой биржи, и лишь во вторую очередь — самому биржевому краху»¹⁵.

В 1928 г. на ожидания Кейнса оказывали влияние его собственные коммерческие дела. На Уолл-стрит он ничего не терял, потому что там у него никаких акций не было. Корни его трудностей уходили в почву товарных рынков, на которых он уже в течение шести лет с переменным успехом вел спекулятивные операции. К концу 1927 г. его чистые активы измерялись 44 тысячами фунтов стерлингов. Но в 1928 г. он имел длинные позиции по каучуку, зерну, хлопку и олову, когда рынки внезапно обернулись против его интересов. Потери на этих позициях вынудили его к концу 1929 г. продавать ценные бумаги на падающем рынке. В результате в портфеле у него остались главным образом 10 тысяч акций компании *Остин мотор*; цена каждой из них упала с 21 шиллинга в январе 1928 г. до 5 шиллингов к концу 1929 г. К этому времени его состояние резко уменьшилось — с 44 тысяч до 7815 фунтов стерлингов¹⁶.

Таким образом, картина происходившего в Соединенных Штатах открывалась Кейнсу отчасти как обобщение его собственного биржевого опыта 1928 г. Обильное образование сбережений, как он себе это представлял, совпало с недостаточными инвестициями, и Федеральная

резервная система пыталась исправить положение подкачкой кредитных средств. Стоило этой подкачке замедлиться, и воздушный шар экономики скукожился. Кейнс держался логики этого анализа, объясняя дальнейшее углубление депрессии. Вторая из его личных финансовых неудач закрыла также спекулятивную фазу его финансовых операций. В дальнейшем он следовал политике «верности», как он сам ее называл, — вкладывал деньги в акции нескольких избранных компаний и не расставался с ними ни при какой экономической погоде. За десятилетие, потраченное на попытки «обыграть рынок», он пришел к выводу, что эта новая стратегия может быть единственным разумным ответом на неопределенность. Наступил конец и тесному сотрудничеству Кейнса с Освальдом Фолком. Сыграло свою роль не только расхождение во взглядах на будущее движение цен в США, но также и все более диктаторское поведение Фолка в компаниях, которыми они с Кейнсом руководили. В отношении рекламно-финансовой компании *Все течет* ('*All is flux*'), занимавшейся главным образом товарными спекуляциями, Кейнс и Фолк после потерь 1928 г. договорились о разграничении ответственности, так что Кейнсу досталось управление капиталом, вложенным его родственниками и друзьями (Уолтером Лэнгдоном Брауном, Джефффри Кейнсом, Невиллом Кейнсом, А.У. Хиллом, Клайвом Беллом, Дэвидом Гарнеттом, Роджером Фраем и Литтоном Стрэчи), а Фолку — остальной частью. За год, прошедший после достижения этой договоренности, произошел крах на Уолл-стрит, управляемая Кейнсом доля капитала сократилась с 28 тысяч до 24 тысяч фунтов, а доля, подконтрольная Фолку — с 56 тысяч до 20 тысяч¹⁷. Печальные итоги деятельности Фолка были предопределены его скоропалительным, противоречившим его собственным оценкам 1928 г. решением играть в Нью-Йорке летом 1929 г. на повышение. Такое же решение, принятое вопреки совету Кейнса, обрекло на тяжелые потери в 1929–30 гг. *Независимую инвестиционную компанию*, после чего Фолк дол-

жен был выразить согласие с необходимостью «считаться с мнением» членов расширенного правления¹⁸. В начале 1930 г. Лидия, с редким для нее налетом злорадства, отмечала, что Фолку пришлось выставить на продажу свой загородный дом Стоктон. Разрыв с Фолком стал первым из длинного ряда разладов в тесных дружеских отношениях Кейнса, которые охлаждались по мере того, как депрессия накаляла обстановку. Подобное произошло и с Сэмом Курто, Хьюбертом Гендерсоном и Деннисом Робертсоном. Худшее случилось с его прежним учеником, а впоследствии директором *Национального общества взаимного страхования*, Сиднеем Расселом Куком, который стал жертвой финансовых неприятностей, вызванных крахом на Уолл-стрит. 3 июля 1930 г. он застрелился.

2. Комиссия Макмиллана

«Как ты сказала, я снова вхожу в моду», — написал Кейнс Лидии 25 ноября 1929 г. после своего назначения членом Комиссии Макмиллана по финансам и промышленности. Перед Комиссией, проводившей всестороннее расследование, каким образом работа банковской системы воздействовала на экономику, не ставилась задача выработать прямые рекомендации относительно изменений в политике правительства. Этим должен было заняться Экономический консультативный совет (ЭКС), детище премьер-министра Рамсея Макдональда, в состав которого Кейнс также был назначен после присутствия в ноябре и декабре на трех обедах, устроенных пригласившим его Макдональдом. Привлечением Кейнса правительство рассчитывало создать видимость радикального сдвига в своей политике. Именно видимость, поскольку в действительности по мере углубления депрессии происходил сдвиг совсем в ином направлении — назад к ортодоксии. Политика, начинавшаяся как открытая и разумно гибкая, постепенно сузилась и свелась к одному — борьбе за доверие, предполагавшее и дове-

рие к фунту. Однако между 1929 и 1931 г. Кейнс все свое умение убеждать направлял на Макдональда, а не на Ллойд Джорджа и, по существу, вообще оказался вне политической жизни Либеральной партии.

Комиссия Макмиллана и ЭКС открыли Кейнсу прямой доступ на «внутреннюю кухню», куда ему не было входа с начала 1920-х гг. В частности, у него появилась возможность сопоставлять свои взгляды с точкой зрения Казначейства и Английского банка и отстаивать свою позицию перед ведущими предпринимателями, банкирами, государственными служащими и экономистами. Результатом был двухсторонний поток идей. Кейнс выиграл много споров, но по ряду проблем вынужден был и отступить. Кроме того, обнаружившиеся осенью 1930 г. расхождения в созданной ЭКС'ом Комиссии экономистов побудили его взяться за написание еще одной большой теоретической книги, чтобы «утрясти проблему глубоких разногласий между коллегами-экономистами, сейчас почти полностью подорвавших практическое влияние экономической теории».

В течение сорока девяти дней, более чем на ста заседаниях «Кейнс главенствовал в Комиссии [Макмиллана], в заслушивании показаний и в составлении доклада»¹⁹. Кроме того, в феврале и марте 1930 г. пять дней и потом в ноябре еще три дня ушли на заседания, на которых он излагал собственные взгляды на монетарную теорию и политику. Комиссия восторгалась его речами. Это были шедевры последовательного логического изложения, свидетельствовавшего также о его искусстве без малейших сбоев управлять и языком, и настроением. Председатель, лорд Макмиллан, судья, несведущий в финансах, но непредубежденный и благожелательный, сказал, что, слушая Кейнса, он терял чувство времени. Двумя главными союзниками Кейнса были Маккенна и Эрнест Бевин. Маккенна был резким, дерзким и всесторонне информированным. Кейнс, не жалея себя в ухаживаниях за Бевином, могучим генеральным секретарем Союза транспортников и неквалифицированных рабочих, позвал его гостем на лондон-

скую встречу *Клуба политической экономии* в начале декабря 1929 г. Бевин, помимо того что был быстро все схватывающим учеником, увидел в Кейнсе экономиста, сочувствующего рабочему классу. То, что он подвергся тогда влиянию идей Кейнса, помогло заложить основы «консенсуса» в промышленности во время войны и после 1945 г.

Выступления Кейнса перед Комиссией Макмиллана, основанные на его *Трактате о деньгах*, отразили опыт 1920-х, никак не 1930-х гг. Это был анализ не мира, погрузившегося в глубокую депрессию, а проблем мучимой артритом, но во всем прочем здоровой, процветающей экономики.

Он начал 20 февраля 1930 г. с описания *modus operandi* банковской учетной ставки при золотом стандарте. Великим достоинством учетной ставки было, дескать, то, что она использовалась для исправления одновременно и внешних, и внутренних нарушений равновесия²⁰. Но одно связанное с этим обстоятельство не было хорошо понято. Внутренние издержки могут быть уменьшены только за счет понижения оплаты усилий факторов производства, то есть сокращения прибыли или заработной платы. Единственное, что может напрямую сделать банковская ставка, — это сократить прибыли путем повышения стоимости заемных средств²¹. Таким образом, «нет иного способа, каким учетная ставка может сбить цены, кроме как увеличение безработицы»²². Именно увеличение безработицы сбивает заработную плату, делает экспорт более конкурентоспособным и увеличивает нашу способность вкладывать капитал за границей, позволяя затем снизить «выполнившую свою работу» банковскую учетную ставку — когда кредиты, предоставляемые за границей, равны положительному внешне-торговому сальдо и занятость полностью восстановлена²³.

Однако этот возвращающий к равновесию механизм действует лишь при «условии, что не устанавливается твердая денежная заработная плата, что она в разумной мере подвижна и отзывчива к безработице». Но если, как дело обстоит в действительности, продажные цены подвижны, а

издержки на зарплату твердо закреплены, все, что может дать повышение учетной ставки, — это рост безработицы. Процесс восстановления буксует именно в этой точке. «После 1924 г. денежная заработная плата осталась неизменной со всех практических точек зрения»²⁴. Вопрос о том, почему заработная плата в Британии была, или стала, столь «неповоротливой», вызвал в Комиссии несколько наиболее интересных обменов мнениями. Для Кейнса это была загадка; загадкой это осталось и по сей день. В лекции, с которой он выступал в Манчестерском университете 7 ноября 1929 г., Кейнс указал причину: ставки заработной платы «устанавливались социальными и историческими силами», а не предельной производительностью труда²⁵. Перед Комиссией Макмиллана Кейнс отрицал, что денежная заработная плата когда-либо проявляла свою подвижность при общей тенденции к снижению. Таким образом, возвращение к золоту в 1925 г. поставило перед учетной ставкой «задачу, выполнения которой от нее не ждали никогда прежде в экономической истории этой страны»²⁶. Он не соглашался с утверждением, будто пособия по безработице стали причиной этой неподвижности заработной платы, хотя признавал, что они содействовали закреплению сложившейся ситуации.

Вот как Кейнс завершил первую часть своих показаний:

По этим различным причинам я заключаю, что банковская политика учетной ставки, теоретически пока не поколебленная, в качестве практического инструмента восстановления истинного равновесия рухнула. Это оставляет нас в хроническом состоянии поддельного равновесия, и в условиях такого фальшивого равновесия главный удар обрушивается на прибыли. Пока у нас сохраняется форма общества, в котором прибыль является движущей силой предпринимательства, вы будете терпеть постепенный распад, если имеете ситуацию, в которой невозможно заработать прибыль.

Сердцевиной показаний Кейнса, которые заняли большую часть второго заседания в пятницу 21 февраля, стал его анализ соотношения между инвестициями и сбе-

режениями. Лидии он сообщил 23 февраля: «В пятницу они нашли мою речь гораздо более озадачивающей, чем я предполагал. Думаю, получилось у меня хорошо. Но это звучало незнакомо и парадоксально, и пока они не были готовы меня опровергнуть, они не знали, верить или не верить... В Кембридж я вернулся очень усталым».

То, что Кейнс преподнес Комиссии, было выжимкой из теории, изложенной в *‘Трактате’*. Если сбережения превышают инвестиции, остающегося на потребление дохода не хватает на покупку потребительских товаров по ценам, покрывающим затраты на их производство, — отсюда безработица. Нормой инвестиции управляет процентная ставка. Если она выше ожидаемой доходности от инвестиций внутри страны, сбережения пойдут в виде займов за границу. Но чистые капиталовложения за границей не могут превышать положительного внешнеторгового сальдо, и увеличить их можно только обесценением национальной валюты и (в меньшей степени) снижением реальной заработной платы. Так что нет никакой гарантии, что общая сумма инвестиций будет равна общей сумме сбережений в условиях золотого стандарта. «Имей вы полную текучесть, всегда достигалась бы точка, где наша система заработной платы допускала бы равенство наших капиталовложений за рубежом превышению наших сбережений над инвестициями внутри страны; но если наша система заработной платы тверда и неподвижна, объем наших заграничных инвестиций тоже будет неизменным»²⁷. В этом случае сбережения «выливаются на землю и оборачиваются потерями делового мира»²⁸. Кейнс добавлял, что в закрытой системе такая проблема не возникла бы.

Председатель: В замкнутом государстве банковская ставка работала бы безусловно?

Дж.М.К.: Да, потому что в замкнутом государстве вы можете держать заработную плату на фиксированном уровне; вы могли бы примириться с этим фактом и постоянно сохранять ваши инвестиции равными сбережениям, предоставляя ценам самим приспособляться к уровню доходов²⁹.

Логическую связь его суждений об учетной ставке с анализом соотношения между инвестициями и сбережениями Кейнс представил как последовательность жестко связанных друг с другом экономических явлений:

Способ, каким добиваются снижения цен, таков. Вы устанавливаете учетную ставку на уровне, при котором сбережения превышают инвестиции. Деловые люди несут потери, цены падают, и затем, спустя длительное время, хозяева принудительно понижают вознаграждение факторов производства, и цены [зароботная плата?] после этого снижаются. Но если заглушаете мотор на полпути, вы попадаете в положение, при котором деловые люди хронически несут потери, и получаете также хроническую безработицу, хроническое состояние бесполезных трат; и избыток сбережений выливается на землю³⁰.

Слушатели были смущены. «Что происходит с моими сбережениями?» — спросил Брэнд. Кейнс объяснил: «Таким образом... сбережения, выплеснутые на землю, — это сбережения, которые... он [бизнесмен] имел бы в своем распоряжении, будь его предпринимательский доход [от прибыли и акций] нормальным. Так что вы можете видеть, что расплесканные по земле сбережения... — это для бизнеса практически то же самое, что обычные потери»³¹. Пока Кейнс упорно (из-за своих определений, принятых им в *‘Трактате’*) называл несуществующие сбережения «избыточными», он был вынужден повергать аудиторию в недоумение. Однако пользоваться определениями *‘Трактата’* и показывать, каким образом создаются или пропадают сбережения, нравилось ему больше, чем обсуждать исход этого процесса. Как он сам об этом говорил, «я хочу изучить то, что происходит в процессе нарушения равновесия [а не то, что происходит в состоянии равновесия]»³².

Конечно, Кейнс понимал, что падение доходов само по себе сокращает сбережения:

На самом деле... мы получаем некоторое облегчение... поскольку растущее обнищание общества ведет к уменьше-

нию сбережений; это — дорога, которая — при отсутствии иного пути — в конечном счете приводит к равновесию. Сохранение существующего положения дел породит в конце концов такую бедность, что у людей не останется никакой возможности откладывать что-то из своих доходов и создавать сбережения, и когда это зайдет достаточно далеко, мы обнаружим, что безработица исчезает... действительно, не будь какого-то сокращения сбережений, положение с занятостью было бы, я думаю, намного хуже³³.

Здесь содержится ясный намек на представление, что процесс депрессии сам в конечном счете приводит сбережения и инвестиции в равновесие на более низком уровне доходов. Его идея состояла в том, что по мере остановки механизмов производства безработные находят себе низкооплачиваемые рабочие места вне индустриальной сферы — становятся, например, шоферами или садовниками³⁴. Однако этот вид перестройки экономического равновесия, помимо того что он означает регресс, явно потребовал бы длительного времени, и неудивительно, что он отводил ему «очень низкое» место в списке «лечебных» средств, которые он начал отстаивать 28 февраля, в третий день своих показаний перед Комиссией.

Начал он с того, что исключил девальвацию, допустимую разве что в качестве последней, самой крайней меры³⁵. Другого рода средством могло бы быть «согласованное понижение уровня денежных доходов в этой стране», как он рекомендовал в 1925 г. Жертвовать пришлось бы частью *всех* видов «заработной платы, жалованья и любых форм заработка», что будет «в значительной степени» уравновешено снижением стоимости жизни. Бевин не замедлил указать, в чем трудность: «Какая есть гарантия, что такое произойдет?»³⁶ Этот вопрос стал камнем преткновения при всех последующих попытках выработать «политику доходов». У профсоюзов есть кое-какие рычаги, чтобы добиваться своего в отношении ставок заработной платы, но нет никаких способов воздействовать на уровень цен. Кейнс перешел затем к своим предложениям изба-

вить предпринимателей от трудностей, связанных с уплатой некоторых конкретных налогов. Четвертым в его списке стояло возможное сокращение издержек производства путем его «рационализации» с расчетом на повышение эффективности в долгосрочной перспективе³⁷.

До этого момента все предлагавшиеся меры были направлены на сокращение издержек производства. Пятое средство, протекционизм, могло бы оказать прямую помощь предпринимателям, позволив поднять цены при неизменных производственных затратах³⁸. Достоинство протекционизма в том, что он «проделывает этот фокус, тогда как существующая свобода торговли его не допускает»³⁹. Политика свободной торговли была частью его аргументации, связанной с «банковской политикой учетных ставок». Она предполагала наличие «текучей» системы, в которой занятость всегда распределяется в соответствии со сравнительными преимуществами. Однако «стоит разрушить в цепи это звено, и рушится вся аргументация в пользу свободной торговли». Для Англии защищаемое протекционизмом неэффективное производство автомобилей — это лучше, чем вообще никакой автомобильной промышленности. Кейнс не был еще готов отстаивать протекционизм публично. Он разочаровал сэра Уолтера Рэйна, отстаивавшего в Комиссии реформу внешнеторговых тарифов, сказав, что «ужасно боится протекционизма, принимаемого в качестве долгосрочной политики». Это вроде «наркотика»: стоит только ввести тарифы, и «вы никогда от них не избавитесь»⁴⁰. Он предпочел бы свое шестое средство, разговор о котором отложил до четвертого заседания 6 марта.

Речь шла о взятой на вооружение либералами политике заемного финансирования государственных капиталовложений. «Точка зрения Казначейства», представлявшая дополнительные вложения капитала как вычет из существующих инвестиций, является, мол, «чистым логическим заблуждением». Игнорируется различие между сбережением и инвестицией; делается лишь попытка «показать, что инвестиция внутри страны не есть лечебное средство про-

тив безработицы, исходя прежде всего из предположения, что и лечить-то нечего, ибо никакой безработицы нет»⁴¹.

Против *точки зрения* Казначейства, утверждавшего, что финансирование государственных расходов из заемных источников было бы вычетом из уже вложенных в дело сбережений, Кейнс выдвигал тезис, согласно которому новые инвестиции сами по себе создадут сбережения, которые позволят погасить займы: наполовину за счет экономии на пособиях, а наполовину за счет восстановления «нормальных прибылей»⁴². Затем он разделался со ссылками Казначейства на то, что трудно найти достаточно привлекательные новые инвестиционные возможности. Если учетная ставка определена банковской политикой в 5 процентов, инвестиции, приносящие 4 процента дохода, действительно являются непроизводительными. Но суть выбора — не в этом: выбор может быть между вложением 100 фунтов под 4 процента и потерей тех же 100 фунтов; так что «новая инвестиция, дающая четыре процента дохода или, в особых случаях, три процента, для страны была бы предпочтительней, чем безработица и потери предпринимателей»⁴³.

Седьмым средством, которое Кейнс предложил 7 марта, была «политика, согласованная между собой ведущими центральными банками мира не только с целью предотвратить дальнейшее падение мировых цен, но... также с целью поднять цены и привести их к паритету с мировым уровнем денежных доходов и уровнем денежных издержек производства»⁴⁴. Иными словами, дефляция — это мировая проблема, вызванная, как он ранее говорил, «возвращением к золотому стандарту во многих других странах, которые оно заставило вести себя так же, как это делаем мы»⁴⁵. Проблема падения индекса товарных цен — это проблема недостаточного спроса, скорее чем недостаточных вложений капитала»; «вообще, делу поспособствовала бы международная поддержка инвестиций и наращивания капитала»⁴⁶. Препятствуют этому Банк Франции с его «склонностью создавать запасы золота» — едва

ли было бы преувеличением сказать, что экономическая наука там «вообще не существует», — и Федеральная резервная система с ее тенденцией подчинять свою деятельность только внутренним соображениям. В своих заключительных замечаниях Кейнс впервые указал, что началась мировая депрессия:

Теперь вполне очевидно, что мы находимся в нисходящей фазе мирового кредитного цикла... Глубина нашей собственной проблемы определяется сегодня тем, что влияние этой мировой депрессии накладывается на наши собственные ранее существовавшие внутренние беды...

Год или два назад наши беды были прежде всего внутренними; теперь мировая проблема для нас имеет по крайней мере такое же значение⁴⁷.

В последующие несколько месяцев он на разные лады воспроизводил эти соображения, предлагая свои планы противодействия спаду.

Девятичасовые «частные» показания Кейнса перед Комиссией Макмиллана были великолепны — и интеллектуально, и стилистически. Они произвели впечатление не только на его слушателей. Английский банк и официальные представители Казначейства немедленно признали их первостепенное значение: вера в упрощенные представления, на которой держалась их позиция, рухнула, чтобы никогда не возродиться. Но отсюда не следует, будто Кейнс «выиграл» спор. Банк и Казначейство на время притушили огонь своей критики. Когда настал час, Кейнсу не довелось избежать ожогов. И он вынужден был пересматривать свою позицию в двух критически важных аспектах.

Первым на поле битвы выступил Английский банк. На слушания его представители явились уверенными в своей правоте: сэр Эрнест Харви, после своих показаний, данных в ноябре 1929 г. от имени управляющего, получил «очаровательное письмо» от Кейнса, заставившее его думать, что «у нас, во всяком случае, нет никаких оснований чего-либо страшиться» в Комиссии Макмиллана⁴⁸. Эта

уверенность была поколеблена после опроса управляющего. Показания Монтегю Нормана, данные 26 марта 1930 г., оказались для Банка бедствием. Он вел себя скованно, был плохо информирован, говорил туманно, впадал в противоречия, обижался и нехотя делился сведениями. Ему претила игра, в которой надо было заботиться о последствиях и которую ему навязывали Кейнс, Маккенна, Бевин и другие; он снова и снова искал спасения в таких фразах, как «я не знаю», «не хотел бы об этом говорить», «я не уверен» или «я не помню». По ходу дела он заметил, обращаясь к Бевину: «Удивительно, до чего же трудно бывает многим обитателям лондонского Сити указать основания той веры, которая ими движет». Кейнс запомнил его как «эльфа; художника, завернувшегося в плащ, чтобы прикрыть свой горб, без конца повторяющего «не могу припомнить», уклоняющегося таким образом от всех вопросов и торжествуя удаляющегося в маске триумфатора — впавшего в безумие»⁴⁹. Его представителю Харви досталась незавидная задача «подлечить» показания шефа для отправления в печать протокола — «настолько потрепанным и преднамеренно неконструктивным было выступление управляющего»⁵⁰.

Однако Норман следовал вполне ясной стратегии. Он хотел снять с плеч Банка и переложить на других ответственность за безработицу. Сначала он отрицал, что уровень занятости входит в круг забот Банка. Задача Банка, мол, в том, чтобы поддерживать золотой стандарт. Этим он и занимался, вопреки непредвиденным трудностям, созданным занижением стоимости французского франка. Делом промышленности было добиваться своей конкурентоспособности. «Я сам никогда не мог понять, почему в течение нескольких последних лет промышленности невозможно было, действуя внутри себя, приспособиться к меняющимся условиям»⁵¹. Существеннее было то, что он отрицал власть Банка над условиями кредита, которой тот, по утверждению Кейнса, обладал. Учетная ставка Банка воздействовала-де только на «короткие день-

ги», оставляя «общую масса кредита» почти неизменной⁵². Следуя за своими тремя штатными экономистами — Генри Клэем, Уолтером Стюартом и Оливером Спрэйгом,⁵³ Банк развивал эти две взаимосвязанных идеи. Таким образом он возрождал наследие девятнадцатого столетия — доктрину «реальных счетов», то есть представление, что банковская система отзывается на потребности деловой конъюнктуры; но не она, мол, делает эти потребности такими, каковы они есть.

Показания Английского банка подняли критически важный теоретический вопрос. Клэй утверждал, что создание кредита — дело эндогенное, отнюдь не экзогенное. Банки не могут создавать кредит в объеме, превышающем спрос на него. «Более близким к истине, — писал Клэй, — представляется мне тот взгляд, что если здоровые условия банковской деятельности ставят предел расширению кредита, то *первоисточник* кредита следует искать в действиях бизнесмена, который обращается в свой банк за помощью в заключении некой его сделки, и *основанием* кредита служит вероятность, что эта сделка может принести прибыль»⁵⁴. Это было равносильно перечеркиванию повестки дня монетарных реформаторов. Как выразился Кейнс при перекрестном опросе Стюарта: «Из ваших слов, стало быть, следует, что кредит всегда существует в правильном объеме?»⁵⁵ Стюарт сомневался, может ли «количественно измеряемое расширение банковского кредита быть фактором, определяющим цены и торговую активность»⁵⁶; «полно есть такого, что люди могут делать с деньгами, помимо покупок предметов потребления. Они могут их просто держать, не расходуя»⁵⁷. Все это означает, отозвался Кейнс, что вам «следует дозировать поступление денег в систему», «насытить накопителя», чтобы сбить процентные ставки⁵⁸. Вера Кейнса в монетарное манипулирование была поколеблена, но не разрушена. Он все еще полагал, что со снижением процентных ставок инвестиционные проекты становятся выгодными и при той норме прибыли, которая прежде делала их невыгодными.

Но он должен был признать, что банковская учетная ставка — инструмент более слабый, чем ему казалось раньше. Впервые он признал, что для восстановления существенно понижение *реальной* процентной ставки. Кроме того, «сами по себе дешевые деньги очень мало помогают делу. Они главным образом создают среду, в которой возрастает вероятность, что предприятие снова поднимет голову»⁵⁹. Однако ситуация имела еще одну составляющую, которая поддается управлению, — объем инвестиций. Если бизнесмены не вкладывают капитал, то правительство всегда может это сделать вместо них. При обсуждении этого вопроса точка зрения Казначейства предстала перед Кейнсом в образе сэра Ричарда Гопкинса.

Кейнс думал, что знает точку зрения Казначейства и способен показать ее несостоятельность. Казначейство утверждало, что дополнительные государственные расходы, осуществляемые за счет заемных средств, не могут добавить ни инвестиций, ни занятости, а только повлиять на их структуру. Кейнс был готов сказать, что это соответствует истине только в условиях неизменного объема поставляемых в обращение денег и при полной занятости. Но Гопкинс это предвидел. У него также были свои соображения политического порядка. Он не хотел, чтобы складывалось впечатление, будто Казначейство настроено вообще против всяких действий, способных помочь безработным, тем более что произошла смена политических хозяев его ведомства. Аргументацию, некогда разработанную для Черчилля и Болдуина, нуждавшихся в ней для оправдания действий правительства консерваторов, теперь нужно было приспособить к использованию лейбористскими министрами, которые, пусть и спотыкаясь, шли к развертыванию общественных работ.

В начале своих показаний Гопкинс заявил, что Казначейство, в принципе, не возражает против государственных капиталовложений. Для него неприемлем лишь конкретный план, выдвинутый Ллойд Джорджем в 1929 г. Этот план, далекий от «запуска цикла процветания», на

который рассчитывает Кейнс, с гораздо большей вероятностью способен породить в деловом мире кризис доверия, ведущий к бегству капитала и повышению процентных ставок. Чем меньше доверия к таким планам, тем выше должна будет подниматься процентная ставка⁶⁰. Эту новую версию доктрины Казначейства позднее назовут «психологической давкой на выходе». Она утверждала, что даже при неполной занятости правительственные расходы, финансируемые за счет заемных средств, не могут что-либо изменить в уровне занятости. Далее Кейнс последовательно доказывал, что «дешевые деньги» — главное, что требуется для восстановления. Альтернативное решение он усматривал в общественных работах. После краха на Уолл-стрит процентные ставки покатались вниз. Почему же не признать вероятным, что новые государственные расходы, на которых настаивает Кейнс, задержат снижение процентных ставок?

Изменения в позиции Казначейства, представленной теперь как довод, связанный с проблемой доверия, захватили Кейнса врасплох. Он начал бросать Гопкинсу вопрос за вопросом. Председатель в конце концов заключил: «Полагаю, мы можем назвать это изнурительным сражением»⁶¹. Кейнс написал жене (18 мая 1930 г.): «У меня был весьма оживленный перекрестный опрос... с сэром Р. Гопкинсом... он был очень умен; но он не проявил понимания технической стороны дела, которое мы обсуждали; так что одно в сочетании с другим придало интерес погоне [за истиной]. Вместе с тем это подтвердило, что Казначейство, точно так же как Английский банк, совсем не ведает, о чем идет речь, — достаточная причина, чтобы патриот не мог сдержать слез».

Предложенный Гопкинсом вопрос сводился вот к чему: могла ли политика Ллойд Джорджа быть действенной, если рынок не считал ее здоровой? Или, если представить это в более общем виде: является ли в условиях свободного общества совокупный объем инвестиций сколько-нибудь более «управляемым», чем процентная ставка?

Кейнса не поколебали в его убеждении, что государство может и должно поддерживать занятость на высоком уровне. Но впервые он начал явно обращать внимание на роль «доверия» как фактора воздействия на «динамику» избираемой политики экономического развития. Как увидим, в последующие месяцы это привело его к тому, что основной упор он перенес на требование протекционизма.

Участием Кейнса в работе Комиссии Макмиллана было положено начало кейнсианской революции в разработке политики. После 1930 г. ни один ответственный деятель не допускал ошибочного предположения, будто всем ценам свойственна гибкость и что, устанавливая обменный курс на том или ином уровне, можно автоматически регулировать издержки. Расставаясь в 1931 г. с золотым стандартом, Англия рассталась с ним навсегда: лозунгом 1930-х стали «дешевые деньги». Это была победа Кейнса. Но не только под его влиянием строилась политика. Банк остался неколебим в своей вере, что денежная политика не обладает той силой, какую приписывал ей Кейнс. Это была победа Клэя. Казначейство поставило в центр обсуждения общественных работ проблему доверия. Это была победа Гопкинса. На Кейнса оказали воздействие обе эти точки зрения. Главный вывод, который он из всего этого сделал, состоял в том, что ему следует вернуться со своей теорией за письменный стол, прежде чем можно будет рассчитывать на устранение экономической «модели», засевшей в умах «практических людей». *‘Общая теория’* частично стала его ответом на возражения, выдвинутые против его предложений Банком и Казначейством.

Собственная повестка дня Кейнса, в том что касалось экономической политики, не изменилась с 1922 г., когда он впервые отметил, что «почти бесполезно» пытаться снижать заработную плату в соответствии с ценами, и предложил альтернативную задачу принудительного приспособления цен к уровню «действующих» ставок заработной платы. Менее четкой была нащупываемая Кейнсом идея о необходимости государственных расходов как дополнения

к «дешевым деньгам» в попытках поднять цены и таким образом восстановить «нормальную» прибыль. Вопрос «доверия» мог бы быть решен политикой протекционизма. Наконец, Кейнс раздумывал о «социальном контракте» как способе предотвратить в Британии повышение «реальной» заработной платы, опережающее в конечном счете ее рост в других странах. В таком русле текли его мысли об экономической политике осенью 1930 г.

3. Комиссия экономистов

В Комиссии Макмиллана Кейнс пытался склонять банкиров, государственных служащих и экономистов к пересмотру их принципов. В качестве члена Экономического консультативного совета он имел возможность убеждать правительство в необходимости тех или иных действий. ЭКС проводил свои заседания раз в месяц — под председательством Макдональда и с участием Филипа Сноудена, канцлера Казначейства и Дж.Г. Томаса, лорда хранителя печати. Кейнс скоро понял, что опять попал в «дом дураков», как он любил называть встречи комитета, на которых невозможно было делать что-либо реальное. ЭКС был дополнительно ослаблен тем, что Сноуден успешно блокировал его расследования во многих направлениях, например в отношении денежной политики, и ставил мнения деловых людей выше любых суждений экономистов. Как способ ограничить влияние бизнесменов Кейнс предложил Макдональду создать небольшую комиссию экономистов, которая «замкнулась бы в своем кругу и попыталась выдать, скажем, к концу октября, согласованный диагноз наших нынешних проблем и обоснованный перечень способов их решения»⁶². 24 июля 1930 г. Макдональд учредил комиссию под председательством Кейнса и в составе Пигу, Гендерсона, Стэмпа и Лайонела Роббинса. Секретарями стали А.Ф. Хемминг, Гендерсон от ЭКС'а (пост редактора *'Нации'* он оставил) и ученик Кейнса Ричард Кан, к тому

времени член ученого сообщества Королевского колледжа. На свое первое заседание комиссия собралась 10 сентября.

Путь к этому «маленькому, но существенному завоеванию экономистов»⁶³ открыло ослабление позиций правительства в результате отставки Освальда Мосли 19 мая. В сильной речи, произнесенной 28 мая в объяснение своей отставки, Мосли напал не только на политику бездействия, но и на сам институциональный механизм, используемый для борьбы с безработицей. Отставка Мосли укрепила положение Макдональда в его соперничестве со Сноуденом. Теперь он получил в свои руки руководство группой министров, занимавшихся проблемой безработицы, и переместил дискредитировавшего себя Дж.Г. Томаса в Управление по делам доминионов. Несмотря на возражения Казначейства, местным властям было выделено больше денег для расходов на общественные работы. Теперь Макдональд запрашивал у комиссии экономистов при ЭКС'е рекомендации по поводу дальнейших действий с целью сломить сопротивление Казначейства. Это дало Кейнсу его лучший в послевоенное время шанс изменить направление экономической политики — стоило ему только повести за собой коллег-экономистов.

Для второго заседания комиссии 11 сентября Кейнс составил короткий перечень вопросов. Он попросил коллег дать свои оценки степени, в какой на безработицу, цены и реальную заработную плату могут воздействовать, соответственно, расширение инвестиций (внутри страны и за границей), или введение тарифов, или снижение в Британии денежной заработной платы. Во второй части своей анкеты он просил дать оценки, «насколько завышены (в сопоставимых числовых выражениях): (а) реальная заработная плата, (б) денежная заработная плата при существующем уровне мировых цен?» И далее: «Если ваша оценка избыточной величины реальной заработной платы превышает вашу оценку увеличения реальной заработной платы на единицу производительности [за период после 1910–14 гг.], то как вы это объясняете?» Когда 26–28 сен-

тября доктора собрались в доме Стэмпа, в Шортлэндсе, сопоставлять свои диагнозы болезни британской экономики, они быстро перессорились.

Теоретически осью вращения всей работы должны были стать взгляды Кейнса — Гендерсона, выраженные в их брошюре 1929 г. *‘Может ли Ллойд Джордж сделать это?’*; но, как отметил Дальтон, «позитивный настрой» Гендерсона уменьшился после его назначения одним из секретарей Экономического консультативного совета. Именно Гендерсон, а не Кейнс стал любимым экономистом Макдональда. Макдональд любил подкалывать Сноудена созданием комиссий, но готов был принимать оправдания за бездействие, если их преподносили с шотландским акцентом. Сообщения Гендерсона ЭКС’у неуклонно становились все более мрачными и паникерскими. Он все более и более волновался по поводу воздействия бюджетного дефицита на уровень доверия со стороны деловых кругов. Перемена во взглядах частично была следствием его изменившегося положения: Гендерсон был теперь внутри правительственной машины, Кейнс вне ее. Но Гендерсон думал также, что обвальный спад резко сократил поле для национального маневра. Неортодоксальные эксперименты несли с собой высокий экономический и политический риск. Перемена позиции Гендерсона показательна, она соответствовала сдвигу в настроениях и взглядах широких кругов. Историки преувеличили поддержку, которую могли найти себе радикальные решения проблемы безработицы⁶⁴. Родившийся в хорошую погоду и лишенный опоры в интеллектуальных убеждениях радикализм 1920-х гг. стал первый жертвой резкого спада. Пришли трудные времена, и началось повальное отступление радикализма.

Сигнал об отходе Гендерсона от совместной позиции, выраженной в брошюре *‘Может ли Ллойд Джордж сделать это?’*, был дан в его письме Кейнсу от 30 мая 1930 г. Суть была в том, что в условиях все более углубляющегося спада не следует отстаивать или делать ничего такого, что может заставить деловых людей опасаться более тяжелого налого-

обложения. Учитывая мировую депрессию, бюджетные затраты на планируемые общественные работы непременно будут расти, поскольку финансируемые проекты будут все менее рентабельными («парки и игровые площадки»). Бизнес может ждать более высоких налогов, и

тревога способна довольно легко послужить противовесом всем прибавкам к занятости, которые могут быть получены от осуществления программ, и вы окажетесь в порочном круге требований еще более широких, по-прежнему нерентабельных программ и увеличивающейся дырой в бюджете, вместе с дурными предчувствиями, — до тех пор пока вам не придется выбирать между отказом от всей этой политики и настоящей паникой, порождающей бегство от фунта и все такое прочее⁶⁵.

Отвечая на вопросник Кейнса от 11 сентября, Гендерсон подчеркивал, что было бы «крайне неправильно при существующих обстоятельствах предпринимать что-либо похожее по своей природе на азартную игру... При нынешнем недостатке у деловых кругов уверенности в восприятии складывающейся обстановки я очень сомневаюсь, что какие бы то ни было меры, очевидным образом рассчитанные на некоторое ее ухудшение в недалеком будущем, могли бы хоть как-нибудь немедленно улучшить общее положение». Он поддержал введение фискальных тарифов, как и предложения, связанные с платежным балансом и протекционизмом, но заявил, что они ни в коем случае не являются альтернативой снижению денежной заработной платы, хотя, возможно, и позволили бы необходимое снижение уменьшить. Вопрос о пособиях по безработице требует особого изучения: это, «по существу, новое явление» среди мер воздействия на подвижность рабочей силы и формирование сбалансированного бюджета, «создающее новый порочный круг в движении делового цикла»⁶⁶.

Артур Пигу, кембриджский профессор политической экономии, в свои пятьдесят три года был старше других экономистов — членов комиссии. Его коллега Лайонел

Роббинс говорил о нем как об «отшельнике», ненавидевшем «устное обсуждение специальных вопросов»⁶⁷. В Кембридже, частично по причине такого своего свойства, он стал к этому времени довольно одинокой фигурой. Инсульт, поразивший его в конце 1920-х гг., оставил ему с трудом передвигавшиеся ноги и неопрятный вид. В 1929 г. он писал Кейнсу: «Мое сердце бьется почти как новое; собираюсь теперь ремонтировать голову». Но и Кейнс, и Кан опасались, что *проф* может «съехать с катушек». Кейнс любил Пигу, и во взглядах на экономическую политику они чаще соглашались, чем расходились друг с другом; возражения Кейнса вызывали в основном подходы Пигу к экономической теории. «Более всего, — писал он ему 5 января 1930 г., — меня смущает метод абстракций, который вы сначала используете, разбирая проблемы в понятиях экономики прямого обмена, а затем, на более поздней стадии, вводите соображения монетарного порядка; вызывает сомнение, оправдан ли такой подход к краткосрочной по своей сути проблеме, отличительные черты которой привязаны или могут быть привязаны к обстоятельствам, порождаемым действием денежно-кредитных факторов»⁶⁸. В той мере, в какой '*Общая теория*' явилась переворотом в методологии, она была в основном направлена против Пигу — его метода экономического анализа.

В своем ответе на анкету Кейнса Пигу объяснил проблему безработицы изменениями в спросе, не сопровождавшимися изменениями в перемещениях людей, так что вознаграждение фактически доставалось тем трудящимся, которые оказались не на своем месте. Кроме того, снижение цен после возврата к золоту не компенсировало сокращений денежной заработной платы и позволило реальной заработной плате обогнать рост реального совокупного спроса на труд. Жесткая неподвижность ставок денежной заработной платы в условиях изменений в спросе и падающих цен была закреплена пособиями по безработице. Из анализа Пигу следовало, что, будь ставки денежной заработной платы в полной мере гибкими, не

возникло бы никакой проблемы безработицы. Подобно Кейнсу, Пигу предполагал, что ставки заработной платы закреплялись применительно к кратковременно существующим условиям и потому эта «нездоровая практика» может быть полезна психологически. Таким образом, государственные инвестиции могли бы способствовать увеличению занятости, если «одурачат получателей заработной платы и склонят их не требовать повышения денежной заработной платы, соразмерного повышению цен»; введение тарифов увеличило бы занятость «в той мере, в какой оно освободило бы умы деловых людей от ошибок, порожденных пессимизмом или искусственно созданным оптимизмом». Кейнс отозвался: «Всегда ли это только ошибки?» Монетарные средства, как следовало из рассуждений Пигу, могли воздействовать на ход реальных событий лишь в том случае, если и рабочие, и бизнесмены находятся во власти «денежных иллюзий». Дебаты по этому вопросу продолжаются по сей день.

Самым упорным противником Кейнса был тридцатидвухлетний Лайонел Роббинс, только что ставший профессором экономической теории в Лондонской школе экономики (ЛШЭ). Он ревновал к престижу Кембриджа и был настроен превратить ЛШЭ в конкурирующий центр власти и влияния. Сильный и страстный человек, противник коллективизма, сторонник свободной торговли, нравом столь же стремительный, как и Кейнс, он один обладал интеллектуальной убежденностью, позволявшей сопротивляться втаскивающим в согласие объятиям Кейпса. Возможно, Кейнс не сознавал, как глубоко Роббинс был предан идее *laissez-faire*, когда предложил ввести его в комиссию; или, возможно, он просто переоценивал свою способность убеждать. Два года спустя после своего общения с Роббинсом в Комиссии экономистов он отказался вести с ним на радио дискуссию по проблеме безработицы: «Он такой трудный и странный! Также и причины, заставляющие его не соглашаться, настолько эксцентричны и так не похожи на те, что движут обычным человеком, что могут воз-

никнуть трудности, которые не позволят поднять реальные вопросы, волнующие публику»⁶⁹.

Что неумолимо разводило их в разные стороны, так это диаметрально противоположные *теоретические* взгляды на причины обвала. Роббинс следовал идеям австрийской экономической школы. В его глазах резкий спад был не недугом, а необходимым лечебным средством: устранением ранее разыгравшейся болезни чрезмерно раздувшегося кредита. Обрушившиеся на пациента беды — это, мол, не что иное, как просто удаление опухоли, порожденной годами бурного образа жизни. На случай, если это могло показаться странным в приложении к опыту Британии 1920-х гг., у Роббинса был заготовлен хитроумный ответ: Англия-де страдала от последствий того, что во время войны проедала свой капитал, не снижая своего уровня жизни сообразно сократившимся возможностям. Лечение оказалось бы гораздо менее мучительным, будь восстановлена подвижность ставок заработной платы. Здесь Роббинс смыкался с Пигу. Тем не менее, в отличие от Пигу, Роббинс в корне не устраивали «лекарства» Кейнса, которые, по его мнению, могли только задержать действие оздоровительных сил. В *‘Общей теории’*, Кейнс напишет не без иронии: «Отличительное качество проф. Роббинса в том, что он, почти в одиночку, продолжает поддерживать некую последовательную мыслительную схему, а его практические рекомендации включены в ту же систему, что и его теория»⁷⁰. Позднее Роббинс сожалел о своей ссоре с Кейнсом. Он признал, что, сколь бы обоснованными ни были его объяснения причин обвала избыточным объемом кредита, «последствия... целиком тонули в обширном болоте, возникшем под действием дефляционных сил»; предлагавшиеся им лекарства были «столь же неуместными, как отказ в одеялах и взбадривающих средствах пьяному, свалившемуся в ледяной водоем, на том основании, что исходная причина его беды — перегрев»⁷¹.

Джошуа Стэмп, самый уважаемый государственный служащий своих дней, к теории был равнодушен, но ин-

стинкты в большинстве случаев делали его «кейнсианцем». Хотя он и был одним из директоров Английского банка, своего шефа Нормана находил «импульсивным, жестким и подавляющим»⁷². В показаниях перед Комиссией Макмиллана он утверждал, что возвращение к золоту повергло британскую промышленность в угнетенное состояние, и доказывал, что дефицитное финансирование могло бы поднять равновесие экономики с его нынешнего уровня низкой занятости до уровня равновесия с высокой занятостью⁷³. В примечательно добродушной беседе с Кейнсом в одной из февральских радиопередач 1930 г. («он чуть 'вправо', а вы чуть 'влево'»⁷⁴ и отмеченной дружескими обращениями: «Мой дорогой Стэмп» и «Спокойно, Мейнард») Стэмп тревожился, что Кейнс слишком далеко заходит в своих нападках на экспорт капитала, но любезно отступал, приговаривая: «Я, никогда не могу ответить, едва вы начинаете теоретизировать». В комиссии он играл роль миротворца.

Датированный 21 сентября ответ Кейнса на свой собственный вопросник был настолько плотно набит сложными понятиями и терминами, что ему пришлось молить коллег-экономистов о снисхождении. Однако его «пролегомены», взятые из описанной в *'Трактате'* модели нарушенного равновесия, создавали основу для анализа связи между безработицей и уровнем реальной заработной платы и отличались, по выражению его главного критика Роббинса, «большой эстетической красотой».

Реальная заработная плата, говорил Кейнс, находится в равновесии, когда прибыль «нормальна». Равновесие реальной заработной платы может быть нарушено изменениями либо в производительности труда, либо в условиях торговли, поскольку всякие перемены в том и другом влияют на реальную стоимость производства для фирм. Кейнс отрицал, что в Британии реальная заработная плата растет быстрее производительности. Только девятую часть «ненормальной» безработицы можно приписать такому положению. По большей же части безработи-

ца возникает из-за повышения в 1924–25 гг. курса стерлинга, что ухудшило для Англии условия торговли и «не было компенсировано сокращением денежной заработной платы, которое соответствовало бы новым условиям равновесия торговли»⁷⁵. Завышенный курс стерлинга сузил, таким образом, активное внешнеторговое сальдо, которое могло быть источником средств для вложений за границей и в то же время навязал высокую ставку банковского процента, выталкивавшую британские сбережения за границу. Как выразился Кейнс, «платежный баланс имеет тенденцию сокращаться, в то время как экспорт капитала старается возрасти»⁷⁶. Таким образом, капиталовложения оказываются меньше сбережений — и отсюда потери бизнеса и безработица.

В упаковке узкоспециальной терминологии Кейнс ставил вопрос фундаментального значения. В какой мере рабочие могут что-либо поделать со своей безработицей? Кейнс признавал, что чрезмерная реальная заработная плата взаимосвязана с безработицей, но он отрицал, что причинно-следственная связь шла от заработной платы к занятости, как, следуя собственным аналитическим методам, вынуждены были утверждать другие экономисты. Не чрезмерная реальная заработная плата приводит к «ненормальной» безработице, а скорее, «ненормальная» безработица и чрезмерная реальная заработная плата одинаково являются следствием падения цен и утраты экспортных рынков из-за переоценки стерлинга. Именно сокращение производства привело к возрастанию доли наемных рабочих в стоимости продукции, а вовсе не старания рабочих оторвать кусок от прибылей. Таким образом, «реальная заработная плата представляется мне побочным продуктом использования средств, принимаемых нами для восстановления равновесия. Она появляется в цепи доказательств скорее как конечное, а не начальное ее звено»⁷⁷. Экономистов, подобных Пигу, Кейнс обвинял в том, что вопрос о заработной плате они рассматривают исключительно как «часть теории распределения в его долгосрочном измере-

нии» в закрытой системе, тогда как для «теории краткосрочного движения денег и международной торговли» в их умах отведено отдельное купе⁷⁸.

Альтернативные варианты политики, которые следовали из предложенного Кейнсом анализа, должны были *восполнить* ухудшение условий торгового равновесия путем снижения денежной заработной платы или *улучшить* их уменьшением давления, выталкивающего капитал за границу, или увеличением положительного сальдо внешне-торгового баланса при данных условиях торговли. Из двух последних вариантов первый указывал на поощрение инвестиций внутри страны, второй — на протекционистские меры. Все три варианта подразумевали некоторое снижение «реальной заработной платы» — уровня жизни наемных рабочих, — так как во всех случаях предполагалось сокращение денежной заработной платы относительно стоимости жизни. Но во втором и третьем случаях сокращение реальной заработной платы происходит как «побочный продукт» внешнего стимулирования спроса. Он писал: «По возможности лучше поднимать цены, чем снижать денежную заработную плату», — на что есть три причины: (1) «Потому что сохранение денежной заработной платы на неизменном уровне при повышении стоимости жизни на x процентов вызывает меньшее социальное сопротивление, чем снижение денежной заработной платы на x процентов при неизменных ценах». (2) «Потому что, хотя сокращение в денежной заработной платы на x процентов будет означать меньшее сокращение реальной заработной платы, верить этому не будут». (3) «Потому что метод повышения цен возлагает бремя потерь на гораздо более широкие слои. В частности, соответствующая доля его ложится на класс рантье и других получателей фиксированных денежных доходов. Таким образом, с точки зрения и справедливости, и корыстного интереса, профсоюзные лидеры правы, предпочитая повышение цен сокращению денежной заработной платы как способу восстановить равновесие»⁷⁹. Это — убеждение, с которым Кейнс не расставался с 1922 г.

Развивая свою излюбленную идею наращивания инвестиций внутри страны, Кейнс использовал «простейшую модель» «мультипликатора занятости», разработанную Ричардом Каном, одним из секретарей комиссии, с помощью молодого статистика Колина Кларка. В брошюре *‘Может ли Ллойд Джордж сделать это?’* Кейнс предложил считать, что начальный расход на общественные работы создает «кумулятивный эффект» через увеличение реальной покупательной способности. Кан разработал формулу для вычисления чистого дополнения к занятости, создаваемого потреблением тех, кто получил работу. Следуя Кану, Кейнс предполагал, что «данная количественная мера первичной занятости создает приблизительно равную ей меру вторичной занятости». Он подчеркнул, что «мера вторичной занятости... не зависит от того, как возникла занятость первичная», — то есть отменил таким образом предупреждения Казначейства о возможных последствиях начальных государственных расходов для сохранения доверия деловых кругов. Он рассчитал это 150 миллионов фунтов дополнительных инвестиций (достаточно, чтобы 750 тысяч человек имели работу в течение года) «существенно» выправят положение с безработицей, воздействуя на расходы потребителей. Кейнс отверг представление об инфляционном характере дополнительных расходов; но он не сумел схватить реальное значение работы Кана, состоявшее в том, что выполнение инвестиционной программы создаст и сбережения, требующиеся для ее финансирования⁸⁰.

В докладе Кейпса не оказалось ничего более спорного, чем его поддержка протекционизма. Тарифная защита преподносилась как способ улучшить платежный баланс и, таким образом, учесть «давление, оказываемое предоставлением за границе кредитов по существующим относительным процентным ставкам»⁸¹. Помимо этого, Кейнс подчеркивал, что введение пошлин будет способствовать наращиванию капитала, росту уверенности в деловой среде и увеличению инвестиций внутри страны, а так-

же расширению возможностей уменьшить реальную заработную плату путем повышения цен, а не сокращением ее денежных ставок. Более основательные нападки на свободную торговлю последовали вместе с доводом, что «любая промышленная страна, вероятно, не меньше других способна производить большинство видов изделий». Далее — он сохранил бы «важные отрасли», такие как сельское хозяйство, даже с некоторым ущербом для эффективности, — и это лучше, чем гнать сельское население в Бирмингем, «на изготовление болтов». Столь обстоятельное выстраивание аргументов в пользу введения тарифов показывает, что Кейнс увидел в нем единственный, если не считать невероятной девальвации, оставшийся британскому правительству выбор, который позволяет защитить народ от самых тяжких последствий экономического обвала. Это было политически правильное суждение, застревавшее, однако, в глотке Роббинса.

Что произойдет, если предоставить кризис самому себе и позволить ему выбирать собственный путь развития? Кейнс допускал, что энергия «некоторых сокращений» будет иметь оздоравливающее значение:

Постепенно разрастающееся обнищание страны уменьшит сбережения, а падение денежной заработной платы будет неуклонно прибавлять нам независимости от импорта; если мы будем достаточно долго держаться политики *laissez-faire*, может, например, наступить момент, когда мы в состоянии будем выращивать собственную виноградную лозу. При условии, что Америка пожелает получить какие-то оставшиеся у нас для экспорта предметы (например, пэров и старых мастеров), а мы сможем привести наш необходимый импорт плюс наши избыточные сбережения к равенству с этими остаточными статьями экспорта, равновесие будет восстановлено⁸².

28 сентября экономисты разошлись, чтобы вновь встретиться в Лондоне 7–8 октября. По ходу подготовки к этой встрече Кейнс распространил проект доклада, который представлял собой, возможно, самое взвешенное из выходящих из-под его пера изложение кейнсианской политики

в отношении безработицы — единственно мыслимое в условиях того времени как с точки зрения скромности в оценках того, что могло быть достигнуто за счет увеличения спроса, так и по степени учета факторов, действующих на стороне предложения. Он дает превосходное, хотя и неполное понимание условий, при которых достижима эффективность кейнсианских мер, принимаемых для сокращения безработицы. Уравновешенность была навязана Кейнсу необходимостью считаться с различиями в суждениях его коллег-экономистов. Но это скорее усилило, чем ослабило его позицию, поскольку заставило принять во внимание психологические последствия действий правительства.

Он отклонял политику сокращения денежной заработной платы на тех основаниях, которые он изложил в своем первом докладе, но в угоду Гендерсону, Пигу и Роббинсу, выдвинул требования об определенных реформах на рынке труда, включая удаление помех мобильности рабочей силы и «решительное изменение критериев предоставления пособий по безработице», которые «лишают подвижности» рабочих пребывающей в упадке промышленности и держат ее «в состоянии субсидируемой безработицы»⁸³. Среди мер, направленных на повышение цен, предпочтение следует отдать тем, которые «могут, вероятно, иметь большой эффект для занятости и оказать относительно малое влияние на реальную заработную плату. Он также более основательно использовал мультипликатор Кана, чтобы определить условия, при которых дополнительная первичная занятость может вызывать занятость «вторичную». В какой мере необходима для восстановления полной занятости «рефляция», зависит «от чувствительности производства к небольшому стимулированию ценой», но он полагал, что «при нынешних избыточных мощностях для производства почти всех видов продукции можно обоснованно надеяться, что довольно большой рост производства будет получен за счет довольно скромных изменений в ценах»⁸⁴.

Следующим вопросом, вынесенным на обсуждение, было: «Как на практике может быть получен больший объ-

ем капиталовложений?» Задача состояла в том, чтобы восстановить в деловом мире атмосферу уверенности, и Кейнс принял на вооружение предложенные Хьюбертом Гендерсоном меры, такие как формирование сбалансированного бюджета и решительная реформа системы пособий, но «в долгосрочном плане мы не видим, как иначе можно поддерживать уверенность в деловых кругах, если не реальным восстановлением прибылей деловых людей». Пошлины на ввозимые промышленные изделия появляются как «чрезвычайное» решение — как единственная мера, которая позволила бы поднять производство, занятость и прибыль без разрушения уверенности; это был путь в обход возражения Казначейства против общественных работ⁸⁵.

Проект Кейнса обсуждался на встречах, состоявшихся в Лондоне 7–8 и 15–16 октября. Ко времени, когда состоялась вторая из этих встреч, Гендерсон и Роббинс открыто выступали как мятежники. Гендерсон обвинил Кейнса в том, что, нагромождая в своем проекте «несуветные сложности», он уходит в сторону от «простого смысла ситуации, простого, как прогулочная трость, и состоящего в неприятной, реакционной необходимости урезать издержки (включая заработную плату) в промышленности и сократить расходы на государственные дела». Он обвинял своего прежнего наставника в том, что его мало беспокоят возможные «бегство от фунта и настоящий обвал британской валюты и кредита». Однако он бросил Кейнсу спасательный круг: «Я не вижу никаких достаточных оснований для того, чтобы в очень критическое время лишать себя очень большой помощи, которую может принести общий умеренный тариф, — помощи бюджету, помощи валютному курсу, небольшую прямую помощь занятости — и может дать очень необходимый стимул росту уверенности в деловом мире»⁸⁶.

Вспышка Гендерсона совпала с восстанием Роббинса. Роббинс неистово возражал против введения любых тарифов. Это невероятно, громыхал он, что самые светлые умы в Англии объединяются с Бивербруком и Ротер-

мером в *'Eldorado de tous les vieux garçons'*. Он представил альтернативный проект доклада, который грозил подать от собственного имени, скорее чем согласиться с проектом Кейнса.

К этому времени Кейнс «настолько устал и находился в такой плохой точке цикла, что я едва знаю, что с собой делать»⁸⁷. Напряжением от сверхурочной работы отчасти, несомненно, объясняется то, что Роббинс назвал его «неуправляемым гневом», выплеснувшись при встрече на уикенде в Кембридже, когда Роббинс потребовал права на отдельный доклад. «Он распустил меня в присутствии других и представил дело так, что, находясь в меньшинстве, состоящем из одного человека, я права на отдельный доклад получить не могу»⁸⁸. Гендерсон, конечно, не поддерживал Роббинса в защите свободной торговли. Пигу и Стэмп хотели согласованного доклада. Пигу, представитель солидного Кембриджа, сказал юному выскочке из Лондонской школы экономики: «Сначала... прилагают силы, чтобы по возможности достичь наибольшего согласия, и затем, если необходимо, прилагают записки об особых мнениях по конкретным пунктам»⁸⁹. Были разысканы прецеденты, указывавшие, что Роббинс предлагает нечто недопустимое. Кейнс огласил письмо Хемминга, одного из секретарей комиссии, «очень неблагоприятно» отзывавшегося об эмоциональном состоянии Роббинса. Свара продолжилась на следующей, завершающей встрече в Лондоне 22–23 октября. В конечном счете, по совету Хемминга, Кейнс позволил Роббинсу поместить его отдельный доклад в конце основного доклада, но перед статистическими приложениями⁹⁰. Дальтон, получавший от Роббинса, своего прежнего студента, подробнейшие отчеты о пререканиях, отметил в дневнике: «Разговор о тарифах достоин сожаления. В Кембридже меня учили презирать сторонников протекционизма. Что я и делаю по сей день»⁹¹. Доклад экономистов был подписан 24 октября.

Переписанный и перестроенный Пигу, Гендерсоном и Роббинсом, в рамках первоначально предложенной

Кейнсом структуры, это был «на удивление последовательный документ»⁹². Кейнс пошел на уступки в диагнозе в обмен на максимальное усиление доводов в пользу протекционизма. В разделе, содержащем диагноз, доклад описывает происхождение британской безработицы, следуя линии рассуждений Пигу — Гендерсона — Роббинса: приспособиться к условиям военного времени и послевоенным потрясениям препятствовали жесткие правила, сделавшие рынок труда неповоротливым. О мультипликаторе Кана как доводе в защиту общественных работ не упоминалось. Кейнс получил поддержку большинства в требовании протекционизма, причем он, Гендерсон и Стэмп высказались за временное введение 10-процентной фискальной пошлины на импорт плюс защитного тарифа на железо и сталь при условии, что «промышленность должна самостоятельно осуществить рационализацию в соответствии с одобренным планом». Пигу признал требование тарифов теоретически обоснованным, но не согласился с конкретными сделанными предложениями. У Роббинса возражения против протекционизма прозвучали гораздо сильнее, и они образовали ядро его особого доклада. Хотя позднее он посчитал свою ссору с Кейнсом по поводу государственных расходов «самой большой ошибкой моей профессиональной жизни», он сохранил убеждение, что был прав в вопросе о тарифах. Когда он настаивал, что тарифы легче ввести, чем от них избавиться, Кейнс, судя по всему, ответил: «Как вы можете говорить, что публика не захочет этого принять? Я еще не высказался по этой проблеме»⁹³.

Доклад экономистов, и еще больше предшествовавшая ему дискуссия, важны и как факт в биографии Кейнса, и с точки зрения их интеллектуальной насыщенности, но на политику они никакого непосредственного влияния не оказали. Сноуден, прочитав доклад, говорил «о Кейнсе и Стэмпе с едва скрываемым презрением»; особое мнение Роббинса он посчитал «острейшим ответом», поскольку Роббинс «обратил внимание министров-лейбористов на то, как сильны доводы экспертов, возражающих Кейн-

су»⁹⁴. Мосли пробовал сплотить Лейбористскую партию вокруг политики протекционизма и имперский «изоляции», но хотя это нашло поддержку некоторых молодых тори (и немного позже подвигло его на учреждение *Новой партии*), в Лейбористской партии, в рядах которой преобладали сторонники свободной торговли, отклик был слабый. Пятимесячное обсуждение доклада Экономическим консультативным советом «не может считаться успехом».⁹⁵ Созданная для его рассмотрения комиссия кабинета отклонила этот «разочаровывающий документ», отражавший отсутствие согласия и слишком общий, чтобы годиться для практического использования⁹⁶. Под это заключение его и похоронили. Но значение политэкономических доводов в пользу протекционизма было слишком велико, чтобы от них отмахнуться, хотя для их принятия потребовалась бы замена правительства. Решив оставить разговор об общественных работах и полностью посвятить себя борьбе за тарифы, Ксйнс еще раз выказывал свою поразительную способность предвосхищать то, что вскоре должно стать политически приемлемым. Его собственное публичное преображение в сторонника протекционизма в марте 1931 г. содействовало созданию политического климата для последовавшего через шесть месяцев принятия Акта об импортных пошлинах.

Пока политические деятели, бизнесмены, банкиры и экономисты вели свои разговоры, спад неуклонно углублялся. «Подстегиваемый предчувствием обнищания, порождаемого биржевыми потерями, «порочный круг» реакций, обычно возникающих при всяком падении торговли теперь разворачивался вовсю... Падение цен на первичные товары в течение последних нескольких месяцев... — это сдвиг, измеряемый величиной высшего порядка, если сопоставить его с колебаниями, которые происходили во время самых серьезных депрессий в экономической истории». Так, в мае 1930 г. Гендерсон представил Экономическому консультативному совету надвигавшуюся мировую депрессию. Он все еще надеялся, что депрессия в

торговле, «хотя она в течение некоторого времени и приобретает кумулятивное действие, приведет в движение силы, которые в конечном счете дадут нам средства для излечения, а именно дешевые деньги»⁹⁷. Однако кумулятивное действие продолжало набирать силу. Отметив «катастрофическое падение» цен с сентября 1929 г., экономисты в своем докладе заявляли, что «в недавней экономической истории не зарегистрировано ни одного случая столь сильного и быстрого крушения цен на основные биржевые товары»⁹⁸. После временного восстановления цены на Уолл-стрит снова рухнули в мае и опять в октябре 1930 г. В сентябре Кейнс все еще ожидал восстановления цен и советовал Джону Риану, секретарю *Ланкаширской федерации прядильщиков*, закупить большие партии индийского и американского хлопка со спекулятивным расчетом на повышение цен⁹⁹. 10 октября он писал Лидии: «Очень тяжелый удар на Уолл-стрит, революция в Бразилии, надвигающийся крах в Германии означают, что нет ничего надежного». Безработица неуклонно росла. «Великая депрессия, — которая, как провидчески предсказывал Гендерсон, будет известна потомкам именно под этим именем, — охватила почти каждую страну, будь она сторонницей свободной торговли или протекционизма, сельскохозяйственной или промышленной, отсталой или передовой»¹⁰⁰. Это создало критически важную основу для общего сдвига теории Кейнса от «открытой» к «закрытой» экономике, так же как для его радикальной переоценки перспектив неуправляемого капитализма.

На протяжении 1930 г. Кейнс расходовал огромное количество энергии — и все без толку. Под воздействием депрессии обнадеживавшие расследования правительства были оставлены. Поворотный момент, как пишет А.Дж.П. Тэйлор, наступил в мае 1930 г., когда лейбористы отклонили «новый курс» Мосли: «момент, когда люди в Британии бездумно решили не сворачивать с древних дорог»¹⁰¹. В октябре на съезде Лейбористской партии Макдональд возложил ответственность за обвал на капитализм. «Итак, друзья

мои, — кричал он своим мелодичным шотландским баритоном, — на скамье подсудимых не мы; это — система, в которой мы живем. Она рушится не только на этом небольшом острове; она рушится в Европе, в Азии, в Америке; она рушится повсюду, *потому что обречена рухнуть...*¹⁰² (курсив мой — Р. С.)

4. Бодрый духом Мейнард

Предложенный Кейнсом анализ грянувшего спада примечателен своим бодрым духом. Он решительно отклонил идею Дмитрия Мирского, друга Лидии из числа *больш*, будто налицо заключительный кризис капитализма. Но точно так же он отверг и имевшее сильный моральный подтекст представление, что происшедшему обвалу, который является средством лечения предшествовавшего перегрева, следует позволить делать свое дело. Частично это было следствием присущего ему от природы оптимизма, частично же результатом основанного на анализе убеждения, что капитализм не болен, но страдает неустойчивостью. Активизм Кейнса, так настоятельно привлекавший его внимание к проблемам краткосрочного порядка, делал для него совершенно неприемлемой любую доктрину лечения самой природы явления — не важно, исходила ли такая доктрина от Маркса или от Хайека. Именно поэтому он упорно противился структурным исследованиям спада. Ибо такие исследования подводили к необходимости широкомасштабных, возможно катастрофических, перемен в «производственных отношениях», тогда как его собственный анализ обосновывал идею, согласно которой лекарством должно стать возрождение жизнерадостности, или, как он ее называл, «животной бодрости духа». Разумеется, Кейнс не ограничивался просто тем, что прилагал к теории экономики учение Куэ. Сами собой предприниматели духом не воспрянут, хотя, он полагал, дела утрясутся и все станет на свои места — «тече-

ние времени как таковое рождает тенденцию восстановления в той или иной степени». Следовало произойти чему-то такому, что заставит деловых людей смотреть на мир с большей уверенностью. Но прежде, чем произойдет это желательное «что-то», в случившемся обвале следует видеть катастрофу, сотворенную человеком, а не действие Бога или природы. Должно быть понимание, что спад *управляем*, что не надо придавать ему космического значения, что все происходит в рамках, допускающих технические решения. Парадокс Кейнса, который немногие смогли ухватить, а многие сочтут сегодня неприемлемым, если говорить о нем обычным языком, состоит в том, что ужасающие недуги могут возникать по пустячным причинам, а средства для их лечения могут быть легкодоступными. Когда наш мир раскалывается, мы склонны думать, что это расплата за некий великий грех, и люди не верят, когда кто-то говорит им, что это всего только результат вполне преодолимых промахов в политике.

Присущая Кейнсу бодрость духа проявилась в его выборе темы для публичной лекции в Мадриде 9 июня 1930 г., устроенной по инициативе общества англо-испанской дружбы. Это были *‘Экономические возможности для наших внуков’*, впервые предложенные вниманию Винчестерского общества эссеистов в 1928 г. «Охватившая мир депрессия, — объявил он, —

ужасающая аномалия безработицы в мире, полном нужды, допущенные нами роковые ошибки ослепляют нас и не позволяют... увидеть истинную тенденцию развития. Ибо я предсказываю, что несостоятельность обоих противостоящих друг другу ошибочных выражений пессимизма, которые производят сейчас в мире так много шума, будет доказана еще в наши дни — необоснованность пессимизма революционеров, полагающих, что положение настолько плохое, что нас ничто не может спасти, кроме насильственных перемен, и пессимизма реакционеров, считающих строение нашей экономической и социальной жизни настолько сомнительным, что нам не следует идти на риск каких бы то ни было экспериментов».

Десять дней, которые они с Лидией провели в Испании, были крайне желательным для них обоих перерывом для отдыха. Мейнард был измотан слушаниями в Комиссии Макмиллана и попытками завершить книгу. Сокрушительным ударом стала смерть Фрэнка Рамсея, скончавшегося 19 января. Ему было только двадцать шесть лет; он был «в каком-то смысле самым большим гением в колледже и, кроме того, таким милым существом, — писал Мейнард Лидии. — Бедные Лэттис и эти два младенца». Смерть Рамсея не только стала потерей для экономической теории — которую он уже начал заметно обогащать, — но и пробила брешь в мощном интеллектуальном круге, который сложился с прибытием в Кембридж Сраффы и Витгенштейна, разжегших у Кейнса любовь к философии. Испания дала отдых и взбодрила. После бесцветных мероприятий, устроенных в Мадриде британским послом и испанскими грандами, путешественники медленно двинулись домой через полные романтики города Старой Кастилии.

Тем летом в Тилтоне деревенская жизнь в блумсберийском стиле текла так же безалаберно, как всегда:

Дункан [сообщал Клайв Белл Литтону Стрэчи 6 сентября], похоже, раскручивает свой роман с Джорджем Бергенем, еврейским мальчиком из нью-йоркского Истсайда... Ванесса, боюсь, основательно страдает...

Так же и Кейнсы впали в великую немилость... Вирджиния, в изнурительную жару принимавшая утром за завтраком Виту [Сэквилл-Уэст] и ее детей, потом около полудня Этель Смайт, к ужину дождалась Кейнсов и, показывая им оранжерею, упала в обморок. Вулфы, то ли из принципа, то ли из экономии, слуг не держат, так что Мейнард со своим шофером [Эдгаром Веллером] отнесли ее в дом и уложили на полу. После этого Кейнсы и шофер удалились. Поскольку у Вирджинии через несколько минут случился второй и худший обморок, все потом осудили их поведение, хотя Мейнард говорит, что, судя по цвету ее лица, это был не обморок, а легкий солнечный ожог. Она поправляется, но еще не совсем здорова.

Жизнерадостность, или, как сказали бы другие, безрассудная лихость, присутствовала на переднем плане в той восторженной поддержке, которую Кейнс оказывал новым балетным замыслам Лидии. Свою карьеру драматической актрисы она начала в театре ADC в Кембридже в ноябре 1929 г. Но она горячо ухватилась за возможность второй балетной карьеры, которую открывали планы ставить в Лондоне балеты и давать работу живущим там танцовщикам и хореографам. Осенью 1929 г. она начала брать уроки у мадам Занфретты — «добрая старая итальянская школа, более строгая, чем Чеккетти», — и в конце 1929 г. присоединилась к Арнольду Хэскеллу, Филипу Ричардсону, Эдвину Эвансу и Нинетт де Валуа в усилиях по созданию *Общества Камарго*, которое называли сценическим именем бельгийской танцовщицы восемнадцатого века Анн Куппи. Предполагалось четырежды в год ставить оригинальные и классические балеты для зрителей, привлекаемых в Уэст-Энде по подписке, с приглашением балерин из Театрального клуба *Меркьюри* и *Школы Вик-Уэлса*. Лидия вошла в комитет *Общества* в качестве его «советника по хореографии».

Нинетт де Валуа, Фредерик Эштон и Констан Лэмберт стали теперь постоянными гостями Лидии на ее длившихся целый день воскресных обедах, где шло обсуждение их проектов, поддерживаемое обильным потреблением русской еды и превосходного кларета из запасов Мейнарда. «Мой дорогой, просто поразительно, как много люди говорят», — сказала Лидия Мейнард 13 октября 1929 г. по завершении пятидневного пребывания у них в гостях Нинетт. Ей пришлось объяснять Эштону, тогда молодому танцовщику, хорошо выступавшему в Театральном клубе *Меркьюри*, что его будущее в хореографии, а не в танце и что он не может ожидать ведущих ролей в постановках *Камарго*. «Так что видишь, как тут все тонко, но мы смотрим в глаза реальности», — писала она Мейнард¹⁰⁵. Эштон вспоминает, что «сначала она могла быть чрезвычайно милой, а потом чрезвычайно откровен-

ной и прямолинейной»¹⁰⁶. Жившую в Лондоне Карсавину тоже завербовали помогать новому предприятию. «Она любит поговорить с вами о домашних ремеслах», — писала Лидия Мейнард.

Общество Камарго стало еще одним дополнением к заботам Мейнарда в роли патрона искусств. Он поддерживал *Ассоциацию лондонских художников* из дружбы с Дунканом и Ванессой; он поддержал *Камарго*, так же как позднее построил в Кембридже *Театр искусств*, чтобы дать сцену для гения его любимой Лидии. «Работая языком больше, чем ногами», Лидия выступала в клубе *Театра искусств* с 10 по 16 декабря 1930 г. в музыкально-поэтическом маскараде '*Красоты, Правды и Раритетов*' в постановке Дэди Райлэндса с труппой, составленной из кембриджских студентов. Она вновь исполнила свою партию 1928 г. — партию *Утраченной иллюзии* в '*Жалобе влюбленной*'. В январе 1931 г. танцевала в поставленных *Обществом Камарго* спектаклях '*Cephalus*' и '*Procris*'; в апреле с Эштоном в '*Facade*' Уильяма Уолтона; в ноябре исполняла партию *Королевы шлюх* в '*Рио-Гранде*' Констана Лэмберта; в 1932 г. выступала в '*Рождении узора*' и в 1933 г. в '*Коптели*'. Арнольд Хэскел считал, что Лидия «замечательна и как балерина, и как актриса»¹⁰⁷, но в своем более развернутом суждении приходил к выводу, что ее карьера в английском балете, завершившаяся в 1933 г., не дотягивала до уровня дягилевских дней «по вполне понятной причине: предложенная ей хореография была лишена достаточной сложности, чтобы было в чем развернуться балерине со столь широким опытом. Она навязывала себя и зарабатывала аплодисменты переигрыванием там, где прежде брала тонкостью и сдержанностью... Эта смесь старой традиции с модерном никогда не может привести к успеху»¹⁰⁸. В сеть родственных связей Мейнарда с *Камарго* попал и Джефффри Кейнс, чья адаптация набросков Уильяма Блэйка к поэме «Иов», с музыкальным оформлением Вога-на Уильямса, в хореографии де Валуа и с декорациями его невестки Гвен Равера, стала важнейшей оригинальной постановкой *Общества*.

Патронаж смыкался в уме Мейнарда с более широкими целями. Создание английской балетной труппы в разгар кризиса выглядело многозначительным актом веры, и поддержка Мейнардом этого начинания служила выразительным символом отстаиваемой им бодрости духа. Депрессия была для него временем, когда надо делать дела, а не сворачивать их. «Пациенту не отдых нужен, а упражнения», заявил он в одной из январских радиопередач в 1931 г. Конечно, деньги у них скоро кончились. 29 января 1931 г. Лидия воззвала к Мейнард о помощи: «О Дологовязый! Вечно этот комитет, можно было бы управлять *Камарго* и без комитета, одними наличными деньгами, а мы вместо этого заседаем и все время расходимся во мнениях, как либералы». Мейнард согласился стать их казначеем. Их попытки добыть деньги у Курто привели к тому, что Лидия назвала *frigidaire* в ее отношениях с Сэмом, который выделил в пользу *Общества* лишь 25 фунтов. Лидия не была единственной, кто уходил от него с пустыми руками. Был у него и Мосли, выпрашивавший деньги на свою *Новую партию*. Сэм «очень любил Мосли, но не считал его достаточно большим [деятелем], чтобы руководить страной»¹⁰⁹. Лидии Сэм с достоинством написал, что «мы должны быть способны дружески переносить различия во взглядах на искусство»¹¹⁰. Причина охлаждения Курто была связана не только с искусством: Мейнард отметил в январе 1931 г., что акции компании Сэма упали в цене на 54 миллиона фунтов против того, что было восемнадцать месяцев назад¹¹¹. В мае после «потрясшей» его встречи с Лил и Сэмом он, похоже, заручился их обещанием о поддержке¹¹².

В своих публичных выступлениях Мейнард продолжил требовать действия. 13 декабря 1930 г. он расхвалил и назвал «отправной точкой для мысли и действия»¹¹³ *Манифест*, вышедший из-под пера Освальда Мосли и подписанный семнадцатью членами парламента — лейбористами. В радиопередаче 15 января 1931 г. Кейнс сказал британской домохозяйке, чтобы она не откладывала деньги, а тратила их. То же самое он пытался внушать местным властям:

Несколько дней назад я читал о предложениях провести новую большую дорогу, широкий бульвар, параллельный Стрэнду, на южной стороне Темзы, как новую магистраль, которая соединит Вестминстер и Сити. Это — пример правильного понимания вещей. Но я хотел бы видеть кое-что еще большее. Например, почему бы не снести весь Южный Лондон, от Вестминстера до Гринвича, и на этом месте сделать хорошее дело — обеспечить в удобном районе, вблизи от места работы жилье для гораздо большего, чем сейчас, населения, построить для него много лучшие здания со всеми удобствами современной жизни и в то же время создать на сотнях акров площади и авеню, парки и места общественных собраний, получить в результате нечто радующее глаз своим величием и одновременно полезное и удобное для жизни человека — как памятник нашему веку. Дало бы это людям работу? Ну, конечно, дало бы! Лучше ли, когда люди, праздные и несчастные, маются в очередях за пособием? Конечно, нет¹¹⁴.

Сорок газетных передовиц, множество карикатур и пачки писем, которые последовали за этой радиопередачей, заставили Кейнса почувствовать себя «примадонной». «Никогда в жизни обо мне столько не говорили», — сказал он Лидии. В действительности никогда в жизни он не попадал в такую изоляцию. Шум по поводу бюджетных сокращений, особенно пособий по безработице, стремительно нарастал. 29 января 1931 г. в записке Казначейства, подготовленной Гопкинсом для Королевской комиссии по социальному страхованию от безработицы, было заявлено, что «сохранение нынешних масштабов государственных заимствований без создания должных условий для погашения займов... быстро поставит под вопрос стабильность британской финансовой системы». 11 февраля Сноуден согласился создать Комиссию по экономии (во главе с актуарием, сэром Джорджем Меем) и заметил, выступая в палате общин, что расходы, могущие быть «легкими и терпимыми» в хорошие времена, «становятся невыносимыми во времена серьезной промышленной депрессии».

Гендерсон считал, что Кейнс сошел с ума:

В тоне всех ваших публичных выступлений, устных и печатных... [написал он 14 февраля] меня не устраивает то, что ни в одном из них нет и следа понимания, что ситуация с бюджетом действительно очень серьезная и требует к себе серьезного отношения. Напротив, вы снова и снова давали понять, что дело не имеет равным счетом никакого значения, что расходы, которые вы хотите выжимать — из правительства или кого-либо еще, и сопряженная с ними нагрузка на бюджет — это мелкий вопрос, едва ли стоящий внимания... В результате у всех людей, как бы ни был высок уровень их интеллекта, как бы ни были широки их взгляды, создается впечатление, что вы совсем спятили, и это подрывает всякое ваше на них влияние и доставляет удовольствие только тем, кто говорит, что вам не следует и прикасаться к проблеме пособий по безработице¹¹⁵.

Об ответе Кейнса никаких сведений не сохранилось. Но в письме нью-йоркскому банкиру Уолтеру Кэйзу, владельцу фирмы *Кэйз, Помрой и компания*, Кейнс отказался присоединяться к «медведям» по отношению к стерлингу. «Лично мое представление, — написал он 21 февраля, — состоит в том, что весь этот пессимистический прогноз высосан из пальца... Введение пошлин, которые суть источник средств и для бюджета, и для создания обстановки уверенности в деловом мире, на что мы все еще можем рассчитывать... в состоянии совершенно неожиданно полностью перевернуть настроения, когда обнаружится, что никаких запасов на рынке нет... Я могу, наверно, добавить, что для нынешнего лейбористского правительства ни в коем случае не исключается обращение к такой мере, как введение фискального тарифа»¹¹⁶.

Опять Кейнс, судя по всему, полагается на свою силу убеждения. На вырисовывавшийся финансовый кризис он публично откликнулся 7 марта *‘Предложениями о фискальном тарифе’*, которые были напечатаны в новом издании, недавно образовавшемся из слияния *‘Нью стейтсмена’* и *‘Нации’*. Это было одно из самых сильных сочинений Кейнса. Как акт отречения от своей веры общепризнанного приверженца свободной торговли оно

стало сенсацией¹¹⁷. По просьбе лорда Ротермера он дал более популярную версию статьи газете *‘Дэйли мэйл’* (*‘Daily Mail’*). «Как по-вашему? Не потеря ли это достоинства — писать для лорда Р. за 10 ватных одеял?»¹¹⁸ (Кейнс получил 100 фунтов гонорара). На страницах *‘Нью стейтсмена’* сторонники свободной торговли рванулись защищать лелеемую ими догму. Бранясь и полыхая страстью, Лайонел Роббинс заявлял, что Кейнс на 20–30 миллионов фунтов завысил урожай, который будет получен от его тарифа. Имеется «полдюжины способов решить [проблему бюджета], и каждый из них, и административно, и с точки зрения экономии затрат, лучше, чем этот тухлый и нагоняющий тоску тариф. Единственным решением было бы сократить издержки; тарифы же никогда еще не снижались, они только росли»¹¹⁹. Беверидж и Э.Д. Саймон также бросили свой вес на чашу свободной торговли. Кейнс ответил реалистично: «...Свободная торговля в сочетании с большой подвижностью ставок заработной платы — серьезная и разумная позиция... Практическое возражение против нее, достаточное для данного момента, нравится это нам или нет, состоит в том, что это — не один из имеющихся у нас выборов. Выбора нам не предлагают. Он не существует вне поля чистой гипотезы. Реальная альтернатива — это политика ничегонеделанья».

Споры бушевали в течение нескольких недель и были подхвачены другими изданиями. Политически новая измена Кейнса вызвала немного последствий в кругах, для которых она имела наибольшее значение. Консерваторы приветствовали его преобразование и, проявляя некоторую непоследовательность, присоединяли его аргументацию к собственным доводам в защиту протекционизма. У либералов его новая позиция вызывала сожаление, и они вспоминали его блестящие статьи в защиту свободной торговли в 1923 г. Копии, заранее посланные Макдональду, Сноудену и Ллойд Джорджу, не возымели действия. В представленном 27 апреля бюджете Сноудена никакого фискального тарифа не было; Кейнс в *‘Ивнинг*

стандарт' назвал его «Бюджетом напрасно потраченного времени».

Зимой 1930 и весной 1931 г., в основном в условиях свирепой непогоды, Мейнард опять работал до изнеможения. Ко всем его писаниям, радиопередачам, преподаванию, работе казначея, заседаниям в комитетах, переговорам в Сити, заботам о балете, составлению доклада Комиссии Макмиллана, «препирательствам в защиту *'Трактата'*» с Готри, Робертсоном, Каном и «Цирком» (см. ниже стр. 739–740) добавились хлопоты со свертыванием *'Нации'* и передачей ее прав новой компании, в которой он остался председателем. *'Нация'* скончалась не из-за финансовых проблем. В последние три года ее существования, в результате безжалостного сокращения издержек и большого увеличения дохода от рекламы, годовые убытки уменьшились до 250 фунтов. Принять такое решение заставили Кейнса уход Хьюберта Гендерсона на службу в правительство в 1930 г., надвигавшаяся разлука с Леонардом Вулфом и сорвавшаяся попытка Либеральной партии добиться большого успеха на всеобщих выборах 1929 г. Политический вес левого центра определенно сместился в сторону Лейбористской партии. В свою очередь, правление еженедельника *'Нью стейтсмен'* было решительно настроено избавиться от Клиффорда Шарпа, своего давнишнего редактора, к этому времени совсем спившегося. Слияние двух компаний с образованием вместо них нового «либерального» издания Кейнс впервые предложил летом 1929 г. Это предложение было отвергнуто. Осенью 1930 г. он опять положил на стол проект слияния. Что подвигло его на новую попытку, так это известие о готовности Кингсли Мартина занять пост редактора *'Нью стейтсмена'*. Мартина Кейнс знал по Кембриджу, и хотя тот не смог стать членом ученого сообщества Королевского колледжа, его диссертация, посвященная лорду Палмерстону, произвела на Кейнса такое впечатление, что он подыскал для Мартина в *'Нации'* работу рецензента. Когда Мартин, томившийся в *'Манчестер гардиан'*, сказал Кейнсу, что ищет

другое место, он предложил его Арнольду Беннетту, председателю правления *'Нью стейтсмена'*, как возможного нового редактора.

Первый номер *'Нью стейтсмен энд Нэйшн'* вышел 28 февраля 1931 г. Еженедельник заявлял о себе как о независимом издании левых, не уточняя своей принадлежности к какой-либо политической партии. Многие из авторов *'Нации'* продолжили сотрудничество и с новым изданием, в том числе и Кейнс, который, как мы видели, написал для его второго номера одну из своих самых заметных статей. Кейнс продолжал вмешиваться в редакционную политику, особенно возражая против растущей симпатии, которую газета проявляла к советскому коммунизму; но если на *'Нации'* лежала печать Кейнса, то *'Нью стейтсмен'* явно был газетой Кингсли Мартина.

Задним числом можно видеть, что к этому времени крайнего напряжения относятся появившиеся у Кейнса первые признаки неладов со здоровьем. В конце января он жаловался на сильную зубную боль и провел более часа на приеме у дантиста, который извлек из зуба крошечный фрагмент нерва. Лидия поцеловала его «исправленные зубы», но к концу февраля он страдал уже от тонзиллита и гриппа. После недели отдыха (в течение которой, возможно, и была написана статья о протекционизме) он вовремя явился на шестичасовое заседание Совета колледжа 7 марта: там он «был как бы среди помешанных, каждый из которых видит разбегающихся во все стороны крошечных крыс и мышей, но не находится двух человек, которые видели бы *тех же самых* крыс и мышей». Вдобавок ко всему возникли проблемы со слугами. В январе после десяти лет службы у Кейнса Гарланды внезапно его покинули, и Алиса Браун заменила миссис Гарланд в роли поварихи. Лидия наняла девушку «14 лет от роду, маленькую, один глаз поврежден, очки, никакой мужчина ее не умыкнет, единственный недостаток — католичка». В мае она была уволена. Некоторым намеком на переутомление Мейнарда служат слова из его письма Лидии от 4 мая: «Вчера вечерний загул у Дэди, но

такие вечеринки требуют слишком много внешних проявлений жизненной силы. Я же был сонным и бездеятельным. Сидел рядом с Лэттис [Рамсей] и не мог придумать, о чем бы с ней поговорить. Был представлен сиамскому принцу, наполовину русскому, и не мог найти слов для разговора с ним. Оказался рядом с Майклом Редгрэйвом, и не пришло в голову, о чем с ним потолковать. Так что надо мне возвращаться к моей дорогой графине *Говорилке*¹».

30 мая Мейнард и его графиня погрузились в Саутгемптоне на пароход *Адриатика* и отправились в Нью-Йорк. Он ехал, откликаясь на приглашение Куинси Райта, экономиста из Чикагского университета, принять участие в симпозиуме по безработице. Предоставлялась возможность поближе познакомиться с положением в Америке. Они провели две недели в Нью-Йорке, в отеле *Амбассадор*; Мейнард встречался с газетными обозревателями, служащими Федерального резервного банка и другими банкирами, которым его представлял Уолтер Кэйз, чья фирма *Кэйз, Помрой и компания* наняла его своим консультантом. 20 июня президент Гувер обнародовал свой план годичного моратория (то есть приостановки, но не отмены) всех межправительственных платежей по обязательствам, возникшим из-за войны — включая репарации. В течение недели па мировых биржах акции шли вверх. Они снова покатались вниз, едва только обозначились создаваемые Францией трудности. Кейнс с похвалой отозвался об инициативе Гувера как о «первом шаге самой большой практической ценности». Это было эффективное завершение злосчастной саги о репарациях. Но пришло оно слишком поздно, чтобы можно было спасти финансовую систему. Кейнс сообщил Фолку, что не создавал, насколько глубоким было банкротство банков: «Они накупили множество второсортных векселей, которые обесценились, и их авансовые вы-

¹ Намек и на превращение Лидии из балерины в драматическую актрису, и на ее участие в съемках только что появившейся '*говорилки*' — звукового кино.

платы фермерам и ипотечные ссуды не имели должного обеспечения». Вкладчики пришли в такое возбуждение, что ячейки банковских сейфов стали для них недоступными: сейчас в этих сейфах скопилось, должно быть, 400–500 миллионов долларов¹²⁰. Гендерсону он написал: «В любой момент почти в любом месте страны банковская деятельность может прекратиться. Все это порождает маниакальную погоню за ликвидностью у каждого, кто способен ее заполучить». «Безмозглость» сопротивление ряда нью-йоркских банков удерживало Федеральную резервную систему от интервенций на открытом рынке, которые могли бы поднять цену долговых обязательств.

В Чикаго Кейнс прочитал три лекции, 22 и 26 июня и 2 июля, а также обсуждал мораторий Гувера на чикагском Совете по международным отношениям. Лекции содержали самое полное из известных его объяснений причин Великой депрессии. В них для объяснения происходящего он в последний раз использовал все ту же неизменную модель *‘Трактата’*.

Главной отличительной чертой бума 1925–28 гг., пояснял он, была «необычайная готовность под очень высокие проценты заимствовать деньги на новые реальные инвестиции». Последовавшее отсюда процветание с основой в «строительстве, электрификации мира и связанных с этим развитием дорожной сети и автомобильной промышленности», распространилось из Соединенных Штатов на остальной мир, обойдя только Англию. Роль инфляции оказалась «на удивление незначительной». Последовавший затем обвал был вызван «исключительной глупостью», а не избытком капиталовложений, и не был неизбежной на него реакцией. Интересы делового мира требовали снижения процентной ставки; но вместо этого Федеральная резервная система поднимала учетную ставку в стремлении держать Уолл-стрит под контролем. Очень дорогие деньги в Соединенных Штатах сыграли удушающую роль в других местах. Спекуляция на Уолл-стрит оттянула также деньги от иностранных облигаций. Раз начавшись, сни-

жение стало набирать силу кумулятивного действия. Вот и «все объяснение обвала».

Кейнс также принял участие во множестве обсуждений за круглым столом с экономистами, слушавшими его лекции. Здесь самое интересное то, что чикагские экономисты оказались намного более горячими, чем он, сторонниками общественных работ как средства от безработицы; более того, американские экономисты обсуждали проблемы финансовой стабилизации уже с начала 1920-х гг. Кейнс оставался верным идее своего *'Трактата'*, что в закрытой системе (к которой Америка приблизилась больше, чем Англия) снижение процентной ставки решает проблему¹²¹. Хотя чикагские экономисты представляли кейнсианцами в большей степени, чем был в этом вопросе сам Кейнс, правда и то, что ни один из них не был облачен доверием, которое позволило бы пустить в ход политику на основе теории общественных работ, потому что некоторых частичек теории им не хватало. В частности, о мультипликаторе в Чикаго не знали.

Свой последний в Соединенных Штатах уикенд путешественники провели в компании Уолтера Кэйза и его жены в загородном клубе в Нью-Гемпшире. Лидия сообщала, что это был рай после Чикаго, «где днем нас варили, а ночью жарили и где я ходила по коридорам гостиницы в костюме Евы с риском, что меня арестуют, а тем временем Мейнард, наделенный лучшими манерами, лежал в кровати и потел спокойно...» В Нью-Гемпшире Мейнард играл в гольф днем и в бридж по вечерам, с одинаковым недостатком мастерства.

5. Кубарем вниз

Они возвратились в Саутгемптон 18 июля к началу финансового кризиса в Британии. Они были еще в открытом море, когда Монтегю Норман получил каблогранму от Гаррисона, управляющего Федерального резервного банка Нью-Йорка: «Мы обеспокоены и удивлены сегодняшним

внезапном падением обменного курса стерлинга. Можете ли вы как-то это объяснить?» Норман не мог. Доклад Макмиллана был обнародован 13 июля. По большей части это было сложное описание методов монетарного управления с рекомендацией на долгосрочную перспективу, чтобы денежная политика была направлена гораздо больше на управление внутренними ценами, чем на поддержание валютного курса. Это означало запоздалое согласие с позицией Кейнса, изложенной в *‘Трактате о денежной реформе’*. По вопросу о немедленных антикризисных мерах Комиссия, как и следовало ожидать, раскололась на враждующие группы. Самая большая группа среди тех, кто добавил к докладу свои приложения, присоединилась к идее Кейнса о наращивании капитала под защитой таможенных тарифов. Эрнест Бевин был автором отдельного приложения, отставившего девальвацию, которую группа Кейнса отвергала как неприемлемую «в особых обстоятельствах Великобритании». Доклад в целом воспринимался как триумф Кейнса. В целом он имел гораздо меньший вес, чем один его небольшой раздел, представлявший цифры, которые показывали, что в марте 1931 г. по краткосрочным счетам Лондон был чистым должником на сумму 254 миллиона фунтов стерлингов. Каждый знал, что Сити берет краткосрочные займы и предоставляет долгосрочные. Но когда краткосрочные активы Лондона оказались замороженными иностранными мораториями — Германия объявила о своем дефолте 15 июля, — встал вопрос о платежеспособности Сити. За этим вскоре последовали сомнения в платежеспособности правительства. В докладе от 31 июля прогнозировался бюджетный дефицит в размере 120 миллионов фунтов и предлагались меры экономии, в том числе 20-процентное сокращение пособий по безработице. (Намечавшийся дефицит, как оказалось, должен был составить 170 миллионов фунтов.) Таким образом, наступил час того скатывания кубарем вниз, которое так долго предсказывал Гендерсон. Инвесторы стали приходить к выводу, что помещать капиталы в Англию опасно. В течение месяца лейбористское прави-

тельство было сметено, а за ним последовал и отказ от золотого стандарта.

В отличие от финансового кризиса 1914 г., когда его вызывали в Лондон, кризисные встряски 1931 г. не помешали Кейнсу оставаться в Тилтоне. Правда, Макдональд послал ему 2 августа из Лоссимаута просьбу сообщить, что он думает о майском докладе. 5 августа Кейнс ответил, что его мнение не годится для предания его гласности. Но он настойчиво уговаривал Макдональда не пытаться публиковать доклад по причинам, которые он давно уже излагал, но особенно потому, что «теперь ясно, что мы расстанемся с существующим паритетом в не столь далеком будущем. Когда появляются сомнения относительно процветания валюты, вроде тех, что возникли сейчас по поводу стерлинга, это означает конец игры...». Как всегда, у него был наготове план преобразования бедствия в успех. «Я бы добивался сейчас гегемонии в новом валютном союзе», охватывающем всю империю, но включающем в себя «всех склонных в него войти», и основанном на привязанной к золоту валюте, девальвированной по крайней мере на 25 процентов. Вскоре он пересмотрел свое отношение к обнародованию его взглядов на майский доклад. В *‘Нью стэйтсмене’* появилась его статья с оценкой авторов доклада: «Я полагаю, что они — очень простые люди и выгоды воздержания от расходов представляются им самоочевидными. Они могут быть даже настолько просты, что не сознают существования проблемы, которую я теперь обсуждаю». Проблема же состояла в том, что сокращение покупательной способности, которое последует за рекомендуемой экономией, добавило бы от 250 до 400 тысяч безработных и уменьшило налоговые поступления, сократив тем самым бюджетную «экономия» со 120 миллионов до 50 миллионов фунтов. «В настоящее время — продолжал Кейнс — все правительства имеют большие дефициты. [Это], если можно так выразиться, естественное средство для предотвращения потерь, которые несет бизнес от того, что он... настолько велик, что способен привести все производство в

полное бездействие». Тем не менее доклад полезен, поскольку «он приглашает нас решать, входит ли в наши намерения делать дефляцию реальной, перенося снижения мировых цен на жалованья и зарплаты в Британии».

В статье не было никаких выражений «уверенности» в последствиях девальвации. Более того, в другом письме Макдональду, с приложением окончательного варианта статьи, он сделал шаг назад, сказав, что «пока, вероятно, еще в пределах нашей власти» сохранять золотой стандарт, и он лично «поддержал бы в настоящее время любую избранную политику, лишь бы решение проводить ее в жизнь сопровождалось мерами, достаточно крутыми, чтобы сделать ее действенной». В колебаниях Кейнса Макдональд усмотрел подкрепление поступившего от Банка совета следовать рекомендациям майского доклада. Возможно, от настоятельных требований или желания девальвации Кейнса удерживал его глубоко въевшийся патриотизм. Когда Фолк предложил, чтобы *Независимый инвестиционный трест*, в котором оба они были директорами, продавал стерлинги и покупал доллары, он ответил, что это «при существующих обстоятельствах равнозначно откровенной спекуляции медведей против стерлинга. Я признаю, что не до конца понимаю, какой вред это причинило бы национальным интересам... Все равно мне ясно, что негоже какой-либо организации делать такие вещи в настоящее время». Но обнаруживается и другая позиция, противоречащая его общему предпочтению умеренности: это его требование «действенности» любых, без разбору, принимаемых мер. Эта реакция понятна, но еще раз: в критический момент его совет оказывается туманным. Очень жаль. Когда месяц спустя произошла разлука с золотым стандартом, один из прежних лейбористских министров, Томас Джонстон, сказал: «Никто никогда не говорил нам, что мы можем это сделать».

После того как Английский банк получил временные кредиты от Банка Франции и Федерального резервного банка Нью-Йорка, лейбористский кабинет попытался достичь соглашения о пакете мер экономии как условии по-

лучения дальнейших займов, организовать которые брался его нью-йоркский брокер Дж.П. Морган. Исходившее из Нью-Йорка требование состояло в том, чтобы была принята программа сбалансированного бюджета, поддерживаемая «всеми тремя партиями». Лидеры консерваторов и либералов (за вычетом Ллойд Джорджа, выздоравливавшего после операции на простате) сказали Макдональду, что поддержат его, только если он выполнит рекомендации майского доклада. Они, конечно, осознавали, какой получают политический выигрыш, если «горькие на вкус» меры достанется принимать правительству лейбористов. Пятнадцатью голосами против пяти кабинет поддержал предложение Кейнса, чтобы для балансирования бюджета использовался подходящий налог. Последуй правительство этой стратегии, консерваторы оказались бы под сильным нажимом требований лишить его своей поддержки. Но вето Сноудена оставило правительство без контригры. Когда Макдональд не смог убедить значительное меньшинство своего кабинета пойти на экономию свыше 56 миллионов фунтов, на покрытие остающегося дефицита за счет налогов и в основном не трогать пособий по безработице, ему ничего иного не осталось, как отправиться 21 августа в Букингемский дворец и уйти в отставку для того только, чтобы появиться во главе «Национального правительства», созданного «ради защиты фунта». В него вошли трое (впоследствии четверо) его коллег-лейбористов, включая Сноудена, но, поскольку большая часть Лейбористской партии была теперь в оппозиции, в палате общин ему пришлось полагаться на поддержку консерваторов и либералов. Потерпев неудачу в попытке взвалить на лейбористское правительство осуществление непопулярных мер, оппозиция добилась второго лучшего для нее результата — оторвала Макдональда от руководимой им партии. Новый кабинет принял программу сокращения бюджетных расходов 27 августа. Через два дня правительство получило новые займы в Нью-Йорке и Париже на общую сумму 85 миллионов фунтов.

Кейнсу крайне не нравилось происходившее. В *'Ивнинг стэндарт'* от 10 сентября он по-прежнему настоятельно требовал контроля импорта, хотя лично полагал, что теперь желательна была девальвация¹²⁸. Двумя днями позже он писал в *'Нью стэйтсмене'*, что «политика «экономии» может только задержать, но не может предотвратить, повторение кризиса, подобного тому, через который мы только что прошли». Если новое правительство серьезно относится к сохранению системы золотого стандарта, оно должно немедленно созвать международную конференцию, чтобы «повернуть вспять общую дефляционную тенденцию. Тем временем, Англия должна поставить под контроль вывоз капитала¹²⁹. «Бюджет и законопроект об экономии [представленный 8 и 10 сентября] переполнены недомыслием и несправедливостью», — написал он в *'Нью стэйтсмене'*¹³⁰. Уолтеру Кэйзу он разъяснял 14 сентября, что «в этой стране предельно глупых наклонностей каждый, кто ненавидит социальный прогресс и кому нравится дефляция, чувствует, что пришел его час, и торжествуя объявляет, каким образом, воздерживаясь от экономической деятельности в любой ее форме, мы все сможем снова стать преуспевающими»¹³¹. 16 сентября по приглашению небольшой группы политиков, среди которых был Мосли, он выступал в палате на собрании парламентариев. Тезисы, которые он набросал для своей речи, примечательны вложенной в них страстью, которую он обычно изгонял из своих публичных выступлений:

Я говорю от всего сердца. Проводимый до сих пор политический курс довел нас до такого унижения, о котором нельзя было и помыслить. На протяжении последних 12 лет у меня было очень мало влияния на политику, если оно вообще было. Но в роли Кассандры я пользовался значительным успехом. Я объявляю вам и готов поставить на это всю свою честь: в последние несколько недель мы делали в политике такие ужасные ошибки, какие только могут допускать сбитые с толку государственные деятели¹³².

В палате общин единственным, кто понял и поддержал Кейнса, был Освальд Мосли, которому предстояло быть вскоре брошенным в политическую пустыню. 8 сентября в мощной речи перед вновь собравшимся парламентом он сказал:

Возможно, я могу кратко обобщить мои взгляды, сказав, что по моему мнению, значительно важнее, чем бюджетом, заняться, и заняться поскорее, положением в промышленности. Поэтому: непрерывный упадок и крах отраслей промышленности этой страны делают совершенной иллюзией любую попытку сбалансировать бюджет. Вы можете балансировать бюджет на базе нынешних доходов, но никто в палате не может с какой бы то ни было степенью уверенности утверждать, что эта база сохранится надолго... Предположим, мы согласились, что восстановление промышленности гораздо важнее сбалансированного бюджета... Мы должны тогда принять метод балансирования нашего бюджета, отстаиваемый мистером Кейнсом и другими экономистами и предполагающий просто продолжение заимствований — знаю, что это потрясает уважаемых членов палаты, — продолжение заимствований для пополнения Фонда страхования по безработице или, как я предпочел бы говорить, займов для финансирования строительных работ, способных взамен обеспечить занятость, что предполагает также приостановку работы Амортизационного фонда и покрытие остающегося дефицита фискальными тарифами — я бы их назвал защитными тарифами¹³³.

Предсказанный Кейнсом кризис разразился намного раньше, чем он ожидал. Мятеж техников военно-морского флота в Инвергордоне 16 сентября, наводя на мысль, что рушится сама империя, способствовал еще одному туру давления на фунт. 18 сентября Английский банк заявил правительству, что не сможет удерживать обменный курс после ближайшего уикенда. В понедельник 21 сентября Филип Сноуден полностью перевернул решение, принятое Уинстоном Черчиллем шесть лет назад, и приостановил обратимость фунта. Тяжкий крест золота

был снят с плеч, на сей раз навсегда. «Одним движением Англия вернула себе мировую финансовую гегемонию», — провозгласил Кейнс. Грэм Хаттон вспоминал, что он «хихикал, как мальчишка, только что взорвавший хлопушку-фейерверк под кем-то, кого он не любит»¹³⁴.

Восстановленный международный золотой стандарт рухнул, чтобы никогда больше не возродиться. Почему он второй раз не выдержал испытания?

Ответ Кейнса, данный в статье, которую он написал в апреле 1932 г., состоял в том, что в 1925 г. возвращение Британии к золоту с завышенным обменным курсом стерлинга сделало валютную политику невыполнимой задачей. Невозможно было предписать банковскую процентную ставку достаточно высокую, чтобы уменьшить заработную плату; снижение ставки, с другой стороны, вынудило бы Англию уйти от золота намного раньше. Так что был принят средний курс непрерывного заимствования, но ценой этому стало накопление краткосрочного долга: «Рано или поздно... опасное построение должно было рухнуть»¹³⁵. Нью-йоркское финансовое сообщество держалось иного взгляда. По мнению Томаса Лэмонта, Англия не допустила ошибки, возвратившись к золоту в 1925 г. «Ошибка была в том, что после всеобщей забастовки профсоюзам разрешили навязать британской промышленности жесткую шкалу заработной платы, ошибочным было и субсидирование заканчивавшейся безработицы пособиями»¹³⁶. Его друг Рассел Леффингвелл видел во всем этом пагубное влияние Кейнса. «Служащие Казначейства, которые в большей или меньшей степени следуют за ним, не обладают мышлением практических людей. Они — люди, прошедшие через математические *трайпос*. Они — государственные служащие. Они — профессора... Они — не банкиры, и они — не деловые люди. Есть одна вещь, которую знают банкиры и деловые люди Англии — доверие основывается на выполнении обещаний. Это — нечто, чего Кейнс не будет знать никогда»¹³⁷.

6. Шампанское кончилось

В день, когда фунт оторвался от золота, Беатриса и Сидней Веббы приехали к Мейнарду и Лидии в гости с ночевкой в их «ветхом сельском доме под маяком Ферл», как Беатриса определяла загородную резиденцию Кейнсов. Незадолго до этого, 3 сентября, Беатрис писала Мейнарду: «Что меня пугает в будущем, так это развертывание классовой войны в самой ее коварной форме: саботаж уровня жизни... устраиваемый партией капитала, и, с другой стороны, непреднамеренный саботаж капиталистического предпринимательства лейбористскими профсоюзами... Но какая мораль следует из этой печальной истории... диктатура веры?»¹³⁸ Кейнс, в сопровождении генерального секретаря БКТ Уолтера Ситрина, присоединился к своим гостям перед ужином, находясь «в состоянии глубокого внутреннего удовлетворения по поводу итога своей... инфляционной политики. Он обедал с Уинстоном, который сказал, что никогда не был сторонником возвращения к золотому стандарту». Лидия отметила, что

Беатриса очень оживленно говорила о Королевских комиссиях и Лейбористской партии, она пила вино, курила сигареты и вообще до 12 часов поддерживала в компании жизнь. Муж тоже был мил, но будучи намного старше, он изрядно переживал свою непричастность к делу... И еще у нас был г-н Ситрин... заигрывавший с Мейнардом. Однако всю ночь напролет я слышала шаги и стук дверей. У мистера Ситрина был расстроен желудок, а Беатриса как обычно в 4 часа утра делала себе чай и вытащила Сиднея из постели — для компании. В 8 часов все были одеты до того, как дали воду, хотя я предусмотрительно не обещала им ванну, поскольку наш котел этим летом работать отказывается.

На следующий день Беатриса обедала с Бевериджем, «который терпеть не может Кейнса и считает его шарлатаном от экономической теории»¹³⁹. 27 сентября Кейнс и Лидия вернулись в Лондон. Там сейчас так мно-

го происходит, «что у меня больше нет возможности оставаться на отшибе».

С исчезновением золотого стандарта, а потому и причины для существования Национального правительства, консерваторы горели желанием провести всеобщие выборы, чтобы получить мандат на проведение политики протекционизма, в чем не было больше нужды. Кейнс всеми силами давил на Макдональда, убеждая не поддаваться поднятому шуму и сохранить Национальное правительство у власти на шесть месяцев, чтобы завершить дела с «валютой, совещанием по Индии и конференцией по разоружению», прежде чем партии вернутся к жизни с обычной расстановкой сил. 5 октября он завтракал с премьер-министром в Чекерсе, после чего отправился в Чурт к поправившемуся Ллойд Джорджу.

Что бы Кейнс ни говорил Макдональду, жребий был уже брошен. 6 октября парламент был распущен. В Кембридже «больше демократии, чем фашизма, но в основном замешательство, — писал Мейнард Лидии 11 октября. — Мы обсуждаем, должны ли мы устраивать банкеты и, если да, то подавать ли на них вино. Решили, что банкеты будут, но без кричащей роскоши, и вместо шампанского пойдут пиво и более дешевый кларет! Так что ты видишь, что мы тоже патриоты...». Лидия сказала Сэму и Лил, что будет голосовать за лейбористов. «Я пробежала глазами манифесты Рамсея и Стэнли, но они сразу повергают в тоску». 27 октября Национальное правительство запросило «мандат лекаря», и Сноуден, выступив по радио со свирепыми нападка на «обезумевший большевизм» лейбористской программы, одержал самую оглушительную в британской истории победу на выборах: получил в парламенте 552 места против 46, доставшихся лейбористам.

Содержание

Предисловие к русскому изданию	7
Введение	16

Часть первая

ДОЛГ И БЛАГОДЕНСТВИЕ	39
----------------------------	----

1. Семейные корни	41
2. Кембриджская цивилизация: Сиджвик и Маршалл	70
3. Детство в Кембридже	89
4. Итон	117
5. Кембриджский студент	150
6. Начала моей веры	183
7. Кембридж и Лондон	207
8. Литтон, Дункан, Мейнард	228

Часть вторая

НА КРАЮ ПРОПАСТИ	245
------------------------	-----

9. Первые шаги экономиста	247
10. Грани частной жизни	267
11. Индийское золото	299

Часть третья

РАЗЛУКА С НЕВИННОСТЬЮ	325
-----------------------------	-----

12. Прилаживаясь к войне	327
13. Заботы военного времени	345

14. Ощупью	363
15. Зигзаги: Кейнс на Парижской мирной конференции	395
16. Цивилизация в опасности	421

Часть четвертая

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ .. 449

17. Годы 1920-е	451
18. Переход к миру	477
19. Вероятность и благоденствие	502
20. Любовные истории — русская и немецкая	521
21. Денежная реформа	555

Часть пятая

ЗОЛОТО — ТЯЖКИЙ КРЕСТ .. 589

22. Золото и женитьба	591
23. Средний путь Кейнса	632
24. С Ллойд Джорджем	652
25. Загадка сбережений?	677
26. Обвал	715

Роберт Скидельски
ДЖОН МЕЙНАРД КЕЙНС
1883–1946
Экономист, философ, государственный деятель

Серия «Культура Политика Философия»

Художественное оформление серии *Ф. Домогацкого*

Фото *О. Начинкин*
Корректоры *Л. Бусуек, В. Фрадкина*
Компьютерная верстка *О. Козак*

Подписано в печать 01.06.2005. Формат 84х108/32.
Бумага офсетная. Гарнитура Petersburg. Печать офсетная.
Печ. л. 24,5. Тираж 1 000 экз. Заказ № 727.

Московская школа политических исследований.
121854, ГСП-2, Большая Никитская ул., 44-2, комн. 22.
e-mail: msps@co.ru
<http://www.msps.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Московская типография № 6»
115088, Москва, Ж-88, Южнопортовая ул., 24



МОСКОВСКАЯ ШКОЛА
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Клас Эклунд

Наша экономика
Введение в макроэкономику

Почему нужна
МАКРОЭКОНОМИКА?

Потому что она

*сокращает путь к принятию оптимальных управленческих
решений в экономике и уменьшает вероятность ошибок;*

Потому что она

адекватно отвечает на такие актуальные вопросы, как

- Возможен ли компромисс между «олигархами» и властью?
- Почему рост ВВП страны не обязательно ведет к благосостоянию ее населения?
- Для чего нужна конкурентоспособность?
- Надо ли «отбирать» у богатых, чтобы не было бедных?
- Что хуже — низкая инфляция или высокая безработица?
- Насколько действительно опасны дефицит госбюджета и государственный долг?
- Как привлечь деньги в регион?
- Какая связь между здоровьем президента и валютным курсом?

*и на другие вопросы повседневной экономической жизни
любой страны.*

Уникальная книга

шведского профессора, одного из ведущих мировых экспертов по макроэкономике, позволяет преподавателям, студентам, бизнесменам, политикам, представителям СМИ, а также всем, кто испытывает в этом потребность, расширить знания о ключевых процессах, происходящих в странах с рыночной экономикой, их взаимосвязь, динамику и влияние на благосостояние людей.

Формат 140×210 мм, обложка, 528 стр.

Спрашивайте книгу в магазинах!

По вопросам оптовой закупки обращайтесь
по тел. (095) 937-76-10; e-mail: lion13@mol.ru



**МОСКОВСКАЯ ШКОЛА
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Серия КУЛЬТУРА ПОЛИТИКА ФИЛОСОФИЯ

Родрик Брейтвейт

**За Москвой-рекой
Перевернувшийся мир**

Сэр Родрик Брейтвейт (род. 1932)

возглавлял британскую дипмиссию в Москве в 1988–1992 годах, был свидетелем, а порой и участником ключевых событий в стране накануне, во время и после второй, по его выражению, революции в ее истории.

- Каковы причины распада "советской империи" и краха коммунистических иллюзий?
- Могла ли Россия избежать политического и экономического коллапса после падения советского тоталитарного режима?
- Кто они, главные действующие лица исторической драмы, каковы мотивы их действий или бездействия, личные свойства, амбиции и интересы?
- В чем, собственно, "загадка русской души", и есть ли у России особая миссия в истории или она обречена подчиниться императивам глобализации?
- Способны ли русские построить гражданское общество и нужно ли оно им?

Отвечая в своей книге на эти и другие вопросы, автор приходит к принципиально важному заключению: "русские, несмотря на свое глубокое недовольство тем, как дела идут сегодня, не видят смысла в возвращении к прошлому...", "Россия может надеяться создать жизнеспособную политическую и экономическую систему. Это будет русская модель демократии, существенно отличающаяся от американской или даже от европейской модели".

Формат 135×205 мм, переплет, 552 стр.

Спрашивайте книгу в магазинах!

**По вопросам оптовой закупки обращайтесь
по тел. (095) 937-76-10
e-mail: lion13@mol.ru**

*Получить информацию об изданиях
Московской школы политических исследований
Вы можете на сайте Школы:*
www.msps.ru

ISBN 5-93895-071-6



9 785938 950719 >

